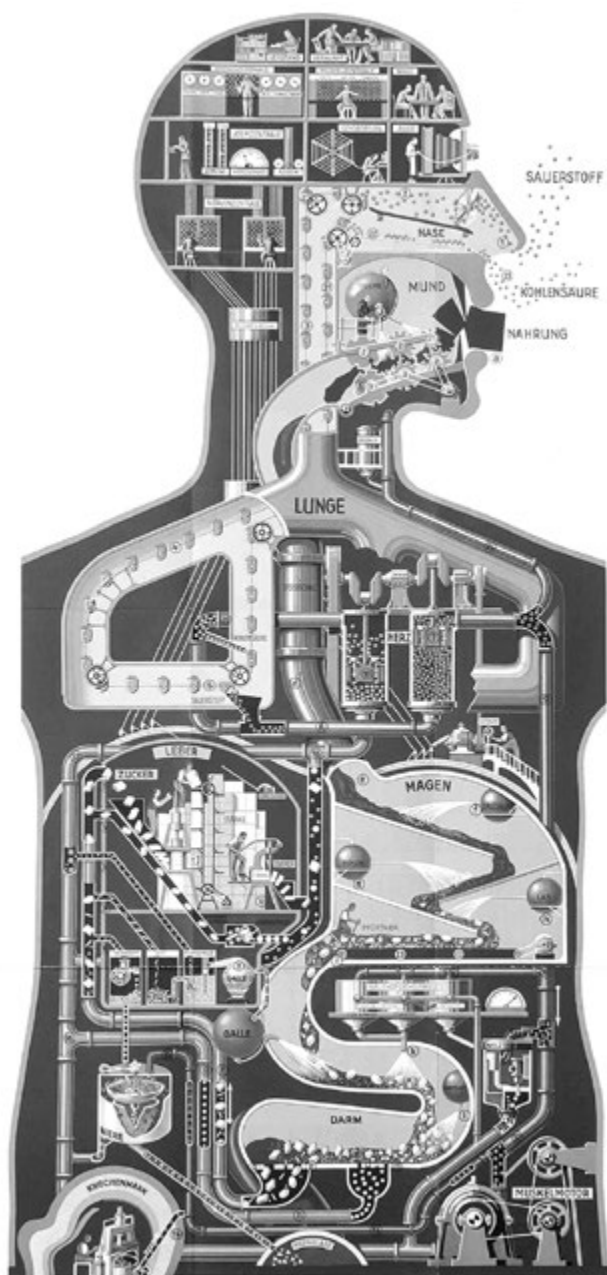


S<sub>ELECTA</sub>

---

XXIV



Aus Kahn, DAS LEBEN DES MENSCHEN / Franck'sche Verlagshandlung, Stuttgart /

М. А. Колеров

# СТАЛИН

ОТ ФИХТЕ К БЕРИЯ

очерки по истории языка  
сталинского коммунизма

Модест Колеров  
Москва 2017

ББК 87.3 (2) 6  
УДК 1(=161.1)(091)"19"  
P51

**SELECTA**  
серия гуманитарных исследований  
под редакцией М. А. Колерова

На титульном листе: Фриц Кан (Fritz Kahn, 1888–1968).  
Der Mensch als Industriepalast (1927)

**Колеров М. А.**

**P51** Сталин: от Фихте к Берия. Очерки по истории языка сталинского коммунизма. М.: Модест Колеров, 2017. 640 с. (Selecta. XXIV)  
ISBN 987-5-91 887-012-9

ББК 87.3 (2) 6  
УДК 1(=161.1)(091)"19"

ISBN 987-5-91887-012-9

© М. А. Колеров, 2017

*Моему старшему сыну Филиппу  
с благодарностью и надеждой*

# СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие .....	7
Ландшафт истории и политического языка. Введение.....	10
Очерки	
Большой стиль Сталина: Gesamtkunstwerk als Industriepalast.....	37
Фихте, Лист, Витте, Сталин: изолированное государство, протекционизм, первоначальное социалистическое накопление и «социализм в одной стране».....	109
Европейские предпосылки сталинизма: индустриализм, биополитика и тотальная война .....	312
Экспюры	
Историческая семантика «Отечественной войны»: между общенациональным и этническим / партийным (1812–1914–1918–1941) .....	472
Этничность как инструмент: Литва в фокусе демографической борьбы XIX–XX вв. ....	554
Измерения массовых репрессий и «новый курс» Л. П. Берия в Советской Прибалтике.....	602
Библиография .....	637

## ПРЕДИСЛОВИЕ

Легко повторить за практиком либерализма и теоретиком индустриализма, обычно глубоким Реймоном Ароном (1905–1983), что «современное индустриальное общество наделило советский режим средствами, которыми не располагала в прошлом ни одна деспотия»<sup>1</sup>. Но в этой инструментальности виден слишком простой цивилизационный расизм, который отводит сталинскому СССР место и роль *принципиально другого*. Легко сказать: Сталин — инобытие современного Запада, его Нового времени, Модерна, Просвещения и индустриализма.

Но это — не инобытие. **Сталин — родная и естественная часть западного Модерна, его продолжение.** Нет ни одного инструмента сталинской власти, который не был выработан ещё до Сталина колониальным, империалистическим, технократическим и социалистическим Западом. Маркс дал революционерам метод, глубоко интегрированный в Модерн. Ленин превратил этот метод в язык немедленной революции. Правящий Сталин вернул этот язык в ландшафт большой истории России.

Настоящая книга очерков выросла из моего предисловия к книге об истории сталинского принудительного труда военнопленных, окончание которой впереди. На этом предисловии я хотел остановиться и обратиться к вопросам экономической истории сталинизма. Но не удалось. Я поставил перед собой ряд вопросов, ответы на которые зажили отдельной от истории военнопленных жизнью и пока далеки от окончания. Первые простые вопросы были связаны с институтами и географией принудительного труда: когда он появился в Советской России / СССР? чем он отличался от иных систем принудительного труда? почему местом его наиболее интенсивного применения стала Сибирь? была ли,

---

<sup>1</sup> Р. Арон. «Демократия и тоталитаризм» (1965, перевод Г. И. Семенова).

когда и почему была особо высокой смертность военнопленных? уникально ли тяжёлыми были их «жилищные» условия? действительно ли был «бесплатным» труд заключённых и военнопленных? был ли он эффективным и почему? чем был принудительный труд в сталинской экономике, управление которой полезно увидеть в категориях административного рынка, где одним из главных ресурсов была рабочая сила? За ними последовали вопросы более общие: какова история стратегического тыла СССР в Сибири? какова историческая практика массовых репрессий? каковы традиции индустриального принудительного труда вообще? каковы истоки и традиции биополитики Нового времени? каков контекст и практический смысл экономической мобилизации СССР периода сталинизма? как присутствует европейский Модерн в практике русского и советского коммунизма? чему научились у него большевики? Ответы на первую часть вопросов я надеюсь дать в будущем — та книга будет основана на контекстуализации архивных материалов «Особой папки» Л. П. Берия в НКВД / МВД СССР из родного для меня Государственного Архива Российской Федерации. Ответы на вторую часть вопросов я пытаюсь дать в этой книге. Для них архивы избыточны.

Картину исторического ландшафта я пытался описывать изнутри его времени. Это, в частности, продиктовало мне многолетний поиск аутентичных изданий 1900–1940-х годов, которые точнее всего выражают осознанное строительство умственной сцены и были отфильтрованы поколениями исторической цензуры. Для своего времени эти издания (в том числе — с положениями Ленина, бывшими в употреблении в несколько ином виде, нежели это отшлифовано позже) — свершившийся факт и фактор. Поэтому они в принципе не следуют указаниям будущих партийных «Кратких курсов» и ближе всего стоят к породившему их ландшафту.

Ещё важнее прямая связь военно-исторических и пропагандистских изданий, например Наркомата обороны СССР, официальной картографии и самой быстрой перемены событий. Она отражается даже в дне сдачи и подписания книг в печать: иной раз политическое высказывание долго ждёт своего часа, чтобы выстрелить. Поражает вряд ли детально прописанный консенсус и коллективная солидарность пропагандистов: если бы не они, уследить за тонкими нюансами их навигации не могла бы даже гениальная универсальная цензура. Потому и кажется, что уверенный в себе сталинский политический язык — при всех колебаниях «линии партии» —

десятилетиями живёт по своей независимой логике, а не внутри исторического ландшафта, где решения во многом predetermined. Но он живёт только внутри ему понятного и для него возможного.

Почти тридцатилетняя моя научная работа неожиданно соединила мои занятия историей русской общественной мысли 1890–1920-х годов, бюрократической историей принудительного труда и практикой постсоветских этнократий и национализмов. В их проекции обнаружилась неотделимая связь традиционного, доктринального и возможного, острый скелет которой проступает через любую политическую риторику. О ландшафте и языке исторической борьбы сталинского коммунизма — мои очерки.

\* \* \*

Приступая к тексту, окончание и публикация которого так затянулись, я боюсь обойти благодарностями тех, кому за эти годы я стал лично и научно обязан. Благодарю всех — *их имена, ты, Господи, веши*. Но более всего благодарю того, кто учил меня изучать сталинизм, и ту, кто помогает мне делом и критическим словом: Владимир Александрович Козлов, Ольга Валериановна Эдельман, низкий поклон вам.

Посвящаю эту книгу памяти тех моих предков, кто в своей судьбе соединил историю старой России, сталинского СССР и современной России. Памяти моего прадеда, русского крестьянина и псалмопевца Ивана Павловича Слесарева (1876–1934), раскулаченного, умученного на строительстве Беломорканала и умершего в тюрьме в Белых Столбах. Памяти его младшей дочери, моей бабушки, русской крестьянки Анны Ивановны Утёнковой (Слесаревой, 1911–1993), пережившей раскулачивание, гитлеровскую оккупацию, военный тыл и голод, образцово верной Русской Православной Церкви, кавалера ордена Отечественной войны. Памяти её мужа, моего деда Фёдора Васильевича Утёнкова (1908–1970), солдата 50 стрелкового полка Красной Армии, 29 октября 1941 года попавшего в гитлеровский плен — и бежавшего из плена, чтобы воевать до Победы. Памяти моей самоотверженной матери, Галины Фёдоровны Колеровой (Утёнковой, 1932–2010), пережившей войну, оккупацию, голод и сорок пять лет непрерывного труда на угольной шахте.

9 мая 2017 года

# ЛАНДШАФТ ИСТОРИИ И ПОЛИТИЧЕСКОГО ЯЗЫКА

## ВВЕДЕНИЕ

В *целом* до сих пор господствует прежний, от прошлого унаследованный и воспринятый тип организационного мышления. И с особенной силой держится он как раз у *идеологов* класса, ещё в большей степени воспитанников старой культуры, чем те широкие массы, делу которых они служат.

А. А. Богданов<sup>2</sup>

В области экономической и политической философии не так уж много людей, поддающихся влиянию новых теорий после того, как они достигли 25- или 30-летнего возраста, и потому идеи, которые государственные служащие, политические деятели и даже агитаторы используют в текущих событиях, по большей части не являются новейшими. Но рано или поздно именно идеи, а не корыстные интересы становятся опасными и для добра, и для зла.

Джон М. Кейнс<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> А. А. Богданов. Новый мир. Вопросы социализма [1924]. М., 2014. С. 98.

<sup>3</sup> Перевод с английского Э. Лаврик.

Научная совесть автора обязывает его признаться в ограничениях своего метода и в бремени своего идейного выбора, бросающего тень на метод. Вот это признание.

Настоящая книга очерков исследует **унаследованный и созданный мир**, который открывался в сознании создателей сталинского коммунизма. Особенно — тот мир, который руководил ими — независимо от внешней истории — внутри, часто в подкладке партийной и доктринальной риторики и лексики марксизма-коммунизма, заставляя на практике подвергать их радикальной ревизии и подмене, меняя смысл и даже сам язык своей идеократической власти. Этот *метаязык*, язык описания общества, сложившийся в России к началу XX века, методом проб и ошибок выстроил целостный **ландшафт политического языка**. Как метаязык, «внутренний язык» описывал, то есть формировал, непосредственно картину мира, доктрины и образы в сознании русских революционеров, пришедших к высшей власти в 1910–1930-е годы. Он был свободен от принуждения к конкретной публичной лексике и риторике. «Наедине с собой» она была свободна от агитации и пропаганды. В этом ландшафте унаследованного ими языка главными были терминология экономической науки, философски обоснованные категории социальной практики, историко-политические аналогии, шаблоны, мифы, образцы, абсолютное большинство которых имело западное происхождение. Центральным моментом в истории этого наследства в России была середина XIX века.

Классик русской славистики В. М. Живов (1945–2013), вслед за общими наблюдениями В. В. Виноградова о том, что в той середине века на первый план вышел газетно-публицистический и научно-популярный язык, определённо указывает, что жертвой этого приоритета стала художественная литературность языка, а рост грамотности и читающей публики создаёт именно книжный рынок и центральное место в чтении — для толстых журналов. Развивая наблюдения современника правящих революционеров над их языком, В. М. Живов отмечает, что они не только вводят в общественно-политическую жизнь книжную философскую, экономическую и социологическую терминологию, но и делают их «коммуникативно избыточными»: «Это означает, что заимствования выполняют не прагматическую, а символическую функцию». Если в царской России «нелюбовь к заимствованиям оказывалась элементом официальной идеологии», то «изобилие заимствований в революцион-

ном языке оказывается, следовательно, манифестацией антирусской политики большевиков в 1910–1920-е годы»<sup>4</sup>. Славист подводит итог тому, какая судьба ждала оппозицию Россию и Запада при коммунистической власти: «русская революция обладает языковым компонентом, а в этот компонент входит усиленное использование «западных» заимствований». Можно смело продолжить этот диагноз, отметив, что такое *избыточное, революционное заимствование* касалось не только лингвистических, но и уже «натурализованных» в русской науке понятий, исторических образов, *метаязыка*. Здесь В. М. Живов близко подходит к описанию того, что я называю *ландшафтом*: «В стандартной коммуникативной ситуации пишущий выбирает из весьма ограниченного репертуара вариантных форм, а степень своего владения языковым стандартом демонстрирует за счёт иных языковых средств — за счёт лексического выбора и стилистики синтаксических конструкций»<sup>5</sup>.

*Ландшафт* дан, разумеется, отнюдь не только революционерам. Люди и общества в целом борются за выживание, власть и ресурсы, вырабатывая или наследуя ритуальный, политический и культурный язык. Государство — непрерывная материализация этого языка, результат его бесконечных усилий описать, то есть подчинить себе, окружающий хаос. По ландшафту этих описаний и следующих им перспектив и движется история обществ. Современный британский историк, исследуя аграрные реформы самодержавия, также вводит в свой лексикон понятие «**рационального ландшафта**», который — *как «предзаданный план»* — в её описании противостоит ландшафту физической географии и аграрного землепользования в России. Понятие это богаче простого его применения как синонима утопии: внедряя в русское сельское хозяйство фермерский образец, правительственные реформаторы следовали его семантической полноте:

«опираясь на убеждение, что земледелие в России призвано пройти тот же путь эволюции к индивидуальному фермерскому хозяйству, какой оно

<sup>4</sup> В. М. Живов. История языка русской письменности: В 2-х т. Том II. М., 2017. С. 1132–1133, 1143–1145.

<sup>5</sup> Там же. С. 1151. Интересно, что В. М. Живов активно использует концепцию «символического капитала» П. Бурдьё, редуцируя её до институционального фактора строительства языка, и затем терминологически дополняет своим нововведением — «лингвистическим капиталом».

прошло в Западной Европе, были уверены, что “сделали ставку на историю”. Сила этого убеждения не только влияла на цели реформы и правила, по которым она осуществлялась, но и представляла собой рамку, в которой понимались результаты реформы»<sup>6</sup>.

**Семантический и символический ландшафт истории** — не только проективное усилие реформаторов, или консервативная логика обществ в их движении внутри истории, но и тот исторический объём сознания, внутри которого тоже протекает деятельность обществ, ставятся их практические задачи. Независимо от действительного расположения звёзд на небосклоне. В прямой связи с тем, как они расположены в его историческом сознании. Великий французский исследователь Мишель Фуко (1926–1984) ещё радикальней увидел этот ландшафт как **архитектоническое единство**, заставляя анализировать уже не просто культурную непрерывность влияний и традиций (которая может прерваться), а более глубокую его основу: «внутренние связи, аксиомы, дедуктивные цепочки, совместимости», **«единый горизонт** для столь различных и последовательно сменяющих друг друга смыслов... проблема не в традиции и следе, а в вырезе и границе»<sup>7</sup>.

Конечно, ничто в границах этого ландшафта не может удержать народы и государства от гибели. Но фаланги и «большие батальоны» проходят именно по этой ментальной земле. Даже безопасность и выживание обществ прямо диктуются географией и ландшафтом исторических угроз вне их конкретных идеологических толкований. В структуре исторических угроз важнее оказываются факторы их интеллектуального пространства: семантический консенсус, исторические прецеденты, история и география конфликта.

<sup>6</sup> Джудит Паллот. Конструирование рационального ландшафта в позднеимператорской России // Русский Сборник: Исследования по истории России XIX–XX вв. Т. I. М., 2004. С. 59, 76. В этом выводе она опирается на труды: R. Stites. *Revolutionary Dreams. Utopian Vision and Experimental Life in Russian Revolution*. Oxford, 1989; D. J. Macey. *The Wager on History: The Stolypin Agrarian Reforms as Process* // J. Pallot (ed.). *Transforming Peasants Society, State and the Peasantry, 1861–1930*. Basingstoke, 1998.

<sup>7</sup> Мишель Фуко. Археология знания [1969] / Пер. М. Б. Раковой, А. Ю. Серебрянниковой. СПб., 2012. С. 38, 39.

Создатель советской экономической географии<sup>8</sup>, марксист конца 1890-х и социал-демократ вплоть до 1917 года Н. Н. Баранский (1881–1963) из глубины сталинского коммунизма, решавшего критически важную для него проблему экономического районирования и экстренного развития «стратегического тыла» перед лицом исторической угрозы с Запада и новой угрозы с Востока, смело соединял физический ландшафт с его общественным переживанием и, главное, почти прямо названной *правлящей волей*: «географически мыслит тот, кто в достаточной мере привык обращать внимание на различия от места к месту не только по природным условиям, но и по историческим судьбам, и по общественным условиям, и по положению, и по хозяйству, кто привык свои суждения “класть на карту” (...) Географическое мышление — это мышление, во-первых, привязанное к территории, кладущее свои суждения на карту, и, во-вторых, связанное, комплексное, не замыкающееся в рамках одного “элемента” или “отрасли”, иначе говоря, “играющее аккордами, а не одним пальчиком”...». Похоже, именно это мышление Сталин называл в 1930-е годы «высшей географией»<sup>9</sup>. Советский последователь Н. Н. Баранского пошёл ещё дальше и прямо соединил экономическую географию, историю и идеологический «отбор»: «Анализ экономико-географического положения приучает,

<sup>8</sup> Создателем экономической географии в России считается В. Э. Ден (1867–1933): важно, что его методы основывались на презумпции единства отраслей хозяйства, географических, физических и культурных условий: М. М. Голубчик. В. Э. Ден и исследование проблем географии мирового хозяйства // Научный симпозиум «В. Э. Ден и современная Россия». Тезисы докладов 25–26 мая 1993. СПб., 1993. С. 25–26. Ден признаётся также учителем «отца советского червонца», воспитанника Санкт-Петербургского политехнического института Л. Н. Юровского (1884–1938): В. А. Исаев. В. Э. Ден и вопросы рационального использования природных ресурсов // Там же. С. 15.

<sup>9</sup> Н. Н. Баранский. Что понимать под выражением «географическое мышление» [1938] // Н. Н. Баранский. Экономическая география. Экономическая картография. М., 1960. С. 143. Эти интуиции проявились (но не получили формального выражения) в важных проговорах периода напряжённого сталинского идеократического творчества — подготовки «Краткого курса истории ВКП(б)»: 25 апреля 1938 Сталин провёл решение Политбюро ЦК ВКП(б), в котором было записано: «Признать необходимым издание «Кратких курсов» и «учебников» по *высшей географии*, всеобщей истории, истории СССР, истории ВКП(б)....». Именно на основе учебника географии Баранского и при его руководящем участии было решено готовить идеологически главный учебник по географии («Краткий курс истории ВКП(б)». Текст и его история. В 2-х частях. Часть 1. История текста «Краткого курса истории ВКП(б)». 1931–1956 / Сост. М. В. Зеленов, Д. Бранденбергер. М., 2014. С. 12, 341, 243).

во-первых, “мыслить территорией”, во-вторых, отбирать наиболее существенное, в-третьих, мыслить в историческом аспекте»<sup>10</sup>.

Это соединение хотелось бы назвать **идейно-историческим ландшафтом**, если бы перед моим исследованием стояла специальная понятийно-терминологическая задача. Это единое чувство физической земли и нефизической истории, острое понимание их мощной инерции и хрупкой уязвимости — ценная редкость. И оно вполне может быть одним из важных результатов исследования. Но для меня здесь важнее обнаружение **исторического ландшафта политического действия**, идеологии, творчества, «положенного на карту» суждения, символической власти или претензии на власть над территорией. Всё это вместе выражает себя через описание ландшафта, и такое описание является способом его контроля<sup>11</sup>.

Если, по точному слову Ханса Зедльмайра (1896–1984), задача истории искусства — получить «целостный рельеф эпохи»<sup>12</sup> (а он имел в виду, прежде всего, историю «больших стилей» в искусстве, то есть историю культурных эпох), то **главная задача идейно-политической истории — установление её «целостного рельефа»** — идейного, институционального, культурного, политического, технологического, производственно-экономического ландшафта. Налицо и обратная зависимость: идейный ландшафт определяет направление потока риторики, образный строй искусства. Понятийный инструментарий политической мысли диктует набор инструментов политики. Исторический ландшафт всегда оказывается глубже и твёрже всех, кто хотел испытать его прочность. «Сломы, разрывы... никогда не разрубают всю толщину истории надвое», — пишет открыватель большого исторического времени<sup>13</sup>. Ландшафт этот создаёт **«зависимость от пути»** (path dependence): её описали экономисты С. Либовиц и С. Марголин (S. Liebowitz, S. Margolin), когда заключили важную мысль о том, что перспективы деятелей и их конкурентов в равной степени

<sup>10</sup> Г. М. Ланто. География городов с основами градостроительства. М., 1969. С. 45.

<sup>11</sup> Здесь я слеую пониманию «символической власти» как «власти учреждать данность через высказывание, власти... утверждать или изменять видение мира и, тем самым,... сам мир» (Пьер Бурдьё. О символической власти [1977] // Пьер Бурдьё. Социология социального пространства / Пер. под ред. Н. А. Шматко. СПб., 2013. С. 95).

<sup>12</sup> Ханс Зедльмайр. Утрата середины [1948] / Пер. С. С. Ванеяна. М., 2008. С. 34.

<sup>13</sup> Фернан Бродель. Что такое Франция? Кн. 2. Люди и вещи. М., 1997. С. 425.

зависят не только от нынешнего их положения, но и от того, где они находились прежде (where we go next depends not only on where we are now, but also upon where we have been). В применении к истории России главное иностранное знание состоит в понимании того явного обстоятельства её природных и географических условий, что исторически низкая производительность её хозяйства является дефицитом прибыли для свободного экономического развития, требующего обеспечения безопасности: высокая себестоимость её производства есть высокая себестоимость её безопасности<sup>14</sup>. Другой западный систематик, экономист-институционалист, резюмирует уже общий характер даже этой специально российской зависимости, подводя итог вековому спору идеологов, учёных и практиков об исторической и политической роли географического фактора: «Спор о сравнительном значении географических и институциональных факторов — это спор не столько о том, влияют ли географические факторы на экономическое развитие, сколько о том, влияют ли географические факторы через формирование институтов или по другим каналам»<sup>15</sup>.

Но, кажется, внутри России это обстоятельство никогда не было выражено с достаточной экономической ясностью. Осознанная «зависимость от пути» чаще всего носила идеологический характер, который не описывал выживание в отдельных категориях развития и безопасности. Общества реализуют свою свободу, насколько она им дана, *внутри языка описания*, живя и развиваясь в его жёстких границах, в тех его «камнях, подводных мелях», что определил Велимир Хлебников (1885–1922) для навигации среди людей.

<sup>14</sup> Allen C. Lynch. How Russia is not Ruled: Reflections on Russian Political Development. Cambridge, 2005. P. 41–42, 46. Русский историк-аграрник выделяет с высоты своих данных сходные факторы исторического развития России: дефицит времени и вековое отсутствие корреляции между качеством земледелия и его урожайностью, то есть связи труда и производительности, централизованная эксплуатация населения для изъятия и концентрации стабильно невысокого прибавочного продукта, в значительной мере расходуемого на стабилизацию внешней угрозы — в виде ордынской дани или военных расходов, в первую очередь для защиты от угроз с Юга и Востока (ордынские государства) и с Запада (Литва и Польша) (А. А. Горский. К концепции исторического развития России Л. В. Милова // Особенности российского исторического процесса: Сборник статей памяти академика Л. В. Милова. К 80-летию со дня рождения / Отв. ред. А. А. Горский. М., 2009. С. 57, 58, 59).

<sup>15</sup> Элханан Хеллман. Загадка экономического роста [2004] / Пер. А. Калинина. М., 2012. С. 195.

Общество ставит себе только поименованные им самим задачи, использует только понятные ему образы, определяет себе место только в описанной иерархии. Вся ближайшая к нам история говорит на самых революционных языках. Но даже революции, изобретая новый язык и новый порядок, изобретают их сначала в словах, выученных с детства, строя свой новый Вавилон из старого камня, как власти довоенного Ленинграда — тротуарный поребрик из могильных плит, хранящих дореволюционные надписи. И если Ленин говорил, что «коммунистом стать можно лишь тогда, когда обогатишь свою память знанием всех тех богатств, которые выработало человечество», то он вовсе не мечтал распустить свою коммунистическую партию для предварительной переподготовки. Он увенчивал своей Вавилонской башней предыдущую цивилизацию и проверял унаследованный вокабуляр.

Массовые армии, массовый плен, массовое убийство, массовое колониальное рабство и массовый колониальный террор, который потом назовут геноцидом, — таков был привычный язык общества Просвещения и индустриального империализма, из которого черпала свой марксистский лексикон Советская власть. Современный немецкий философ Герман Люббе, открыто опасаясь реабилитации и самооправдания тоталитарного террора через обнаружение его корней в Просвещении, не может не признать того, что его корни лежат именно в Просвещении. Но тому, кто политически решил выработать «научное» противоядие против такой реабилитации, но не способен отбросить пропагандистское понятие «тоталитаризма», придётся пойти на историческую подделку — и перестать возводить его генезис к **тотальности современного индустриализма**. Пока такое «научное» самоограничение *разоблачителей тоталитаризма отдельно от разоблачения капитализма* не стало фактом. Поэтому следует признать, что в нашем мире, что «во зле лежит», где государство — неизбежное зло, добровольный грех и единственный гарант доступной общественной свободы, Сталин — зло, равное злу капитализма, колониализма и империализма. Он не создал ни единого инструмента государственного террора, который не создали бы капитализм и Модерн. Осуждая Сталина, нельзя столь же решительно не осудить террор капитализма и колониализма. Как бы ни опасался реабилитации гитлеризма и сталинизма Г. Люббе, этика учёного заставляет его сказать, что «Просвещением порождены концепты как либеральной, так и тоталитарной

демократии», что изобретённая просветительской Великой Французской революцией *гильотина* как инструмент «гуманизации», общественной «гигиены» и прав человека (что было внятно описано ещё Мишелем Фуко (1926–1984)<sup>16</sup>, но Г. Люббе не принято во внимание), «делает террористическое очищение общества технически возможным»<sup>17</sup>.

Перед лицом такого Просвещения, которое в ходе индустриальной демократизации в течение XIX века стало тотальным, после практически мгновенной гибели русской революции Октября 1917 года как *части* революции мировой — сталинский коммунизм в России имел только один исторический ландшафт, по которому ему предстояло идти. Этот ландшафт принуждал к социально истребительной индустриализации, угрожал расистским колониализмом, агрессивным национализмом, империалистическими этническими чистками и, наконец, прямым гитлеровским геноцидом. Здесь сталинский коммунизм пытался остаться в тесной экономической и технологической связи с Западом, ибо иного языка марксизма и индустриализма, кроме западного, не знал. Но Запад, защищая себя от угрозы «мировой революции», обратился к Советской России лицом этнократических диктатур и великодержавных демократий «санитарного кордона», изгнал коммунизм на колониальный Восток, чтобы тот разделил судьбу колониального Востока.

СССР пытался солировать в мировом хоре коммунистического пролетариата и антиколониальных движений Востока, а солировал в антикрестьянской гекатомбе **«первоначального накопления» ради индустриализации и подготовки к войне**, не выходя за пределы политического языка XIX века, не порывая с синтетическим, социально-экономическим шаблоном марксистского языка, в прописях которого России положено было умереть как государству вместе с царизмом и капитализмом. Но индустриального капитализма оказалось слишком мало крестьянской стране, погибшей великой державе, катастрофически превратившейся в объект колониального передела, — чтобы выжить. В век этнического национализма и национальных самоопределений советский коммунизм был им родной окраиной и провинциально пытался стать вполне «своим», а на деле —

<sup>16</sup> Мишель Фуко. Надзирать и наказывать. Рождение тюрьмы [1975] / Пер. с французского В. Наумова под ред. И. Борисовой. М., 2015. С. 18–19.

<sup>17</sup> Герман Люббе. В ногу со временем. Сокращённое пребывание в настоящем [1991] / Пер. с немецкого А. Григорьева, В. Куренного. М., 2016. С. 138–139.

встал в один ряд с Китаем и Индией того времени, обречённый бороться за «Красный Восток», чтобы не стать колонией и вновь занять утраченное место среди великих держав. И, утверждая себя как оплот мировой революции, быстро превратил Коммунистический Интернационал из органа мировой революции (где Россия вначале была расходным материалом коммунистического глобализма) в инструмент своей суверенной внешней политики.

Сталинский коммунизм на пространстве Исторической России в главном всегда был языком европейского и современного радикального индустриализма и традиционной массовой социальной нищеты. Он был обречён преодолевать свой исторический ландшафт, в котором страну, государственность и народ — без экстраординарных усилий — ждали смерть и растворение. И если политический язык Февраля и Октября 1917 года был подражанием французской истории от 1789 до 1871 гг., то язык сталинских 1920-х и 1930-х гг. был немецким — объединяющейся Германии и людоедского «первоначального накопления», протекционизма и колониализма в Англии и Голландии XVI–XIX вв., образцово описанных Карлом Марксом в первом томе «Капитала».

Противостоя колониальной экспансии машины германского милитаризма и индустриализма, Россия умерла в Первой мировой войне, но удивительным образом выжила в СССР и достигла апогея 9 мая 1945 года и в полёте Юрия Гагарина. И вновь умерла в СССР в 1991 году и теперь вновь ведёт историческую борьбу за своё место среди великих держав, чтобы не быть их колонией.

Но Модерн исчерпывает себя, уступая новому «новому средневековью». Ведёт радикальную борьбу против зависимости своего политического языка от того прошлого, что его формирует... Чтобы установить новую монополию на язык описания.

Исследователи слишком долго искали и находили в сталинском коммунизме частное, отдельное и локальное, революционное, присущее культурной и государственной традиции России, что пора найти в сталинском коммунизме и общее, генетически связанное с европейскими Просвещением и Модерном, их экспансией в мире. Общего в эпохе Сталина явно больше, чем частного. В современной политической риторике «западные ценности» — это «Сияющий Град на Холме» США, а до недавнего времени — Иисус Христос, Nabeas corpus, Магдебургское право, «Об общественном договоре» Руссо. Однако

на практике исторический Запад — это инквизиция, капиталистический геноцид, колониализм, расовая сегрегация и рабство, Гитлер и Хиросима. Нет зла, которое не вошло бы в эту практику. Сталин растёт из неё.

С этим не в силах согласиться те исследователи Сталина, стержневой пафос которых определяется не исследованием, а политической критикой сталинизма. Даже архивные источники встраиваются ими в горизонт исторических разоблачений, подчинённых партийной полемике, принуждающей читателя не к знанию, а к партийному выбору. Новый яркий пример превращения огромного количества переработанных важнейших архивных и иных данных по истории сталинизма в подкладку для пропагандистского примитива являет собой книга известного американского историка СССР Арча Гетти. На глазах читателя внутри одного текста и одного исследователя разворачивается впечатляющая борьба агитатора и историка, а источниковое богатство превращается в то, что академик Б. А. Рыбаков нам, студентам исторического факультета МГУ, на своей лекции квалифицировал как «рог изобилия наоборот». Книга А. Гетти — безусловный апогей западной советологии, ибо концентрирует в себе всё, что сказано в русской и западной публицистике против России за последние 200–300–400 лет, и видит своё достоинство в соединении всех мыслимых помрачений Исторической России в фигурах Сталина и Путина. Можно было бы отнести усилия А. Гетти к разряду лубка, но они на самом деле существенно резюмируют то, что в историографии противостоят той контекстуализации сталинизма, с которой намерен в этой книге выступить автор этих строк. Гетти пишет, что сталинизм выражает российские политические и культурные практики, глубинно, неотъемлемо, живо, фундаментально присутствующие в русской истории сотни лет — и поныне, «независимо от господствующей идеологии, религии или государственной программы»: персонализация политики, симбиоз личного и олигархическо-кланового правления, «пренебрежение к регламентированной бюрократии», простительное лишь в контексте (по сути — колониальной! — *М. К.*) отсталости России, располагающей её в одном ряду с модернизирующимися странами Азии, Африки и Латинской Америки. И самое, как, видимо, полагает А. Гетти, уникальное в вечных структурах и контурах русской истории, апогеем которых стал сталинизм: «сильное милитаризованное государ-

ство, личная автократия, прикрепление крестьян к земле»<sup>18</sup>. Создаётся устойчивое впечатление, что, находя вечную персонализацию политики в отсталой России, американец А. Гетти в странном полном ослеплении не видит её в истории, культуре и современности США, что он начисто не знает даже азбучных сведений о европейской и особенно западно-европейской истории, что он вовсе лишён представлений об исторической памяти западных народов. Но это несколько не мешает А. Гетти вступить в заочный спор даже с теми, кто на Западе помещает сталинизм в контекст хотя бы современной ему истории Запада, включая Германию и США, после Первой мировой войны: эти критикуемые им историки, по его словам, игнорируют «глубинные структуры» русской истории потому, что сосредоточились на «идеологии модерна»<sup>19</sup>... И это значит, что «идеологию модерна» А. Гетти смог обнаружить лишь после Первой мировой войны...

Собственное же исследование сталинизма, предпринятое А. Гетти, способно поразить своим антиисторическим темпераментом даже исследователей и коллекционеров нацистской антикоммунистической пропаганды. Вот образец, так сказать, исторического исследования А. Гетти, увенчивающего собой целую традицию в западной науке о сталинизме:

«Поднимая тост в честь 20-й годовщины большевистской революции, Сталин открыто высказался за коллективную ответственность абсолютно досовременного типа: “И мы будем уничтожать каждого такого врага, хотя бы был он и старым большевиком, мы будем уничтожать весь его род, его семью” (...) Можно сравнить этот тост со словами Чингисхана: “Всякий, кто не подчинится и попытается сопротивляться, должен умереть, вместе с женой, детьми, родными и близкими!” Татарские потомки Чингисхана, правившие Россией, наверняка разделяли его взгляды. (...) Сталинисты исповедовали концепцию “объективной вины”, которая расширяла рамки коллективной виновности за пределы конкретных действий и даже сговора. Эта идея, изложенная наиболее чётко в “Слепящей тьме” Артура Кёстлера, заключалась в том, что даже личные сомнения человека в официальной политике равносильны измене ввиду их объективного эффекта. Русская православная традиция тоже признавала “грех помышлением”. (...) Сталин и большевики

<sup>18</sup> *Арч Гетти*. Практика сталинизма: Большевики, бояре и неумирающая традиция [2013] / Пер. Л. Ю. Панфиной. М., 2016. С. 13–14, 29–31.

<sup>19</sup> Там же. С. 32.

не сами изобрели коллективную вину, и Сталин не просто подражал Ивану IV. Практика коллективной ответственности и кары (круговая порука) имеет давнюю традицию в российской истории задолго до Нового времени. Ещё до татаро-монгольского нашествия первый русский свод законов XI в., «Русская правда», возлагал на общины коллективную ответственность за преступления. (...) Хотя аресты и казни целых политических кланов прекратились, падение одного лица по-прежнему влекло за собой падение всей окружающей его группы; как мы увидим, так обстоит дело и при Путине»<sup>20</sup>.

Тем временем, чуть в стороне от советологического комикса и лубка, тоже политический критик Сталина и, плюс ко всему, адвокат внешней политики США и Британии накануне 1939 года вынужден реконструировать «сталинскую систему мировых координат» как сталинскую картину мира — независимо от бредового винегрета из Чингисхана, Кёстлера, Грозного и Путина — созданную, в том числе, реальностью мировой политики его времени. Критик партийно предлагает видеть её чисто «марксистской», «сугубо классовой, ограниченной, преимущественно представленной в чёрно-белых тонах», диктуемой концептом «враждебного капиталистического окружения». Но даже критику, контрфактически уверенному, что никакого не спровоцированного большевиками «враждебного окружения» СССР не было в природе и что категории государственных интересов для Сталина якобы не существовало, приходится признать, что Сталину и СССР «приходилось считаться» с фактом межгосударственной конкуренции<sup>21</sup>. Можно сколько угодно верить в самозаконную опасность ленинско-сталинского коммунизма, порождающую даже нацизм (по уверению Эрнста Нольге), но одно лишь указание на его (по вкусу) либо марксистские, либо русские империалистические идейные корни автоматически помещает этот коммунизм в *контекст исторической традиции и исторической памяти с их традиционными источниками угроз*, конкуренции, центрами силы, приоритетами. Ведь не коммунизм же XX века породил мировую борьбу XIX века и мировую войну 1914 года. И не советский же коммунизм породил тот политический язык, на пространстве которого действовали его лозунги, оперировавшие идейными айс-

<sup>20</sup> Там же. С. 51, 53, 56.

<sup>21</sup> Владимир Наджафов. Пакт, изменивший ход истории. М., 2015. С. 163, 166–167.

бергами империалистического Запада и колониального Востока. Как резюмирует К. Поланы, созданные в 1917–1920 гг. новые государства и их режимы, «когда дым контрреволюции рассеялся» в Венгрии, Австрии, Германии, Финляндии, Латвии, Литве, Эстонии, Польше, Болгарии, Италии, решили задачи национального освобождения и аграрный вопрос в духе революций XVIII–XIX вв.: «не только Вильсон и Гинденбург, но также Ленин и Троцкий в этом, широком смысле принадлежали к западной традиции»<sup>22</sup>. Осталось сказать, что они вообще, во всех смыслах, принадлежали к этой традиции.

Борясь против своего прошлого в его полноте, современный политический язык, оснащённый многочисленными гносеологическими и коммуникативными инструментами, начинает уничтожать своё прошлое так, что в его настоящем, в его практике не остаётся уже ничего, кроме «Краткого курса» любой партии. Исторический ландшафт покрывается новыми интеллектуальными ориентирами, призванными пересоздать язык, но бессильными изменить саму суть правящего социал-дарвинизма, который всё активней манипулирует коллективной памятью. Д. А. Юрьев точно отметил, что теперь человеческое «настоящее в каждый новый момент — одно, а прошлых — бесчисленное множество, и они меняются в зависимости от того, какое в данный момент случается настоящее».

Задаваясь проблемой «политики памяти», операционализируя «историческую политику», современный лоцман всё менее нуждается в знании навигации и ландшафта — он всё более противостоит природному разнообразию исторического языка, заменяя его комиксом или лубком. Но, в отличие от мифов прежнего времени, сегодня этот лубок, чаще всего, — результат не массового сознания, а рациональной селекции и рациональной манипуляции им. Автор классического труда об «исторической политике» подчёркивает в связи с этим само свойство человеческой памяти, буквально вызывающей к той избирательности, что он называет «*политической памятью*»:

«В отличие от технических хранилищ знания или архива, память не стремится к максимальной полноте; она вбирает в себя далеко не всё подряд,

---

<sup>22</sup> Карл Поланы. Великая трансформация. Политические и экономические истоки нашего времени [1943] / Пер. с англ. под ред. С. Е. Фёдорова. СПб., 2014. С. 35.

а всегда производит более или менее жёсткий отбор. Поэтому забвение является конститутивным элементом как индивидуальной, так и коллективной памяти»<sup>23</sup>.

В современности, особенно в нынешней современности, когда разрушаются даже современные связи людей и сообществ и речь идёт о претензиях правящих заменить естественную социальную связь, социальную память — её рациональными симулякрами. Механизм таких *исторически организованных* символов или заменителей (субститутов) социального опыта применим и к рациональному построению идентичности. Они равно реализуются в том, что Поль Рикёр (1913–2005) определяет как «нарративную идентичность»: в процессе, акте «рассказывания» своей символической и мифологической истории. При этом общество в новых событиях само ищет знакомые образы и слова, старые обстоятельства и аналогии. Как сказал бы Марк Блок (1886–1944), ту рассказанную идентичность уже рассказали, придумали, создали другие, даже при том, что рассказ их устарел, а имена ничего уже не именуют: «Всё увиденное состоит на добрую половину из увиденного другими», «изменения вещей далеко не всегда влекут за собой соответствующие изменения в их названиях»<sup>24</sup>.

Управляемая, творящая, меняющая мир под себя, такая «историческая идентичность» неотделима от «исторической политики» любых властей и обществ, сколько бы ни твердили, что такая политика — дело только авторитарной идеократии. Она в любом случае тотальна и радикальна, принудительна и мифологична. Современный исследователь, излагая мысль польского специалиста по посткоммунистической Европе Гжегожа Экерта (Grzegorz Ekiert) о том, что «иного, кроме nation-building, способа вклю-

<sup>23</sup> *Алейда Ассман. Длинная тень прошлого: Мемориальная культура и историческая политика* [2006] / Пер. с немецкого Б. Хлебникова. М., 2014. С. 34. Применение к немецкой практике, развитие и банализацию своих штудий этот же автор представил в своей новой книге: *Алейда Ассман. Новое недовольство мемориальной культурой* [2013] / Пер. с немецкого Б. Хлебникова. М., 2016. О новых западных попытках (тицетно) приручить в интересах исторической науки разрушительные политические инструменты «практического прошлого» см.: *Андрей Олейников. Стоит ли «практиковать» прошлое?* White H. The Practical Past [2014]... Paul H. Key Issues in Historical Theory [2015]... // Новое литературное обозрение. № 143. М., 2017.

<sup>24</sup> *Марк Блок. Апология истории или ремесло историка* [1942] / Пер. Е. М. Лысенко. М., 1986. С. 31, 90.

чения сообществ в глобальные взаимодействия и даже просто сохранения за ними хотя бы минимальной субъектности не изобретено», сообщает: «Nation-building как создание не простого энского общества, но *хорошего* энского общества, “завершённого политического блага”, требует решить, кто был богом, а кто дьяволом; что из бывшего, сущего и предстоящего должно рассматриваться как благо, а что — как зло»<sup>25</sup>.

Сегодня под «исторической политикой» в *широком смысле* в целом понимается *политика единых ориентиров*, единых *формул описания*<sup>26</sup> прошлого с целью нормативного формирования (не только властью, но и любым институтом) партийного или общенационального единства, «политика памяти», историческая часть «национальной идеи». «Историческая политика» в нейтральном, в *узком смысле* — это критическое исследование, описание и распространение исторических знаний-интерпретаций. Это исследование первоначально производится как набор фундаментальных описаний и интерпретаций, подчинённых языку интернациональной науки, и лишь затем *расширяется*, переводится на язык политических задач, «демократизируется» в гамме учебников, имплементируется в широкой сфере культуры и создания идентичности, включая музеи, топонимику, туристические объекты, исторические символы, памятные даты, картографию, внутри- и внешнеполитические исторические претензии, общегосударственные или партийные ритуалы, протокольные мероприятия<sup>27</sup>.

Оба вида «исторической политики» — широкое *формирование* и узкое *исследование* — одинаково, но с разной степенью интенсивности, находят или создают для общественного употребления образ общенациональной (партийной) миссии, жертвы, «исторического врага», чужого, другого. И это лишь подтверждает тот очевидный факт, что «историческая политика» — как всякое идеологическое творчество и культурное самосознание — существовала «всегда», во всём обозримом горизонте сообществ, владеющих чуть более сложными, чем

<sup>25</sup> Святослав Каспэ. Политическая теология и nation-building: общие положения, российский случай. М., 2012. С. 97, 59.

<sup>26</sup> Такие формулы П. Б. Струве некогда удачно назвал — *теория-афоризм*: П. Б. Струве. С. П. Шевырев и западные внушения и источники теории-афоризма о «гнилом» и «гниющем» Западе // Записки Русского научного института в Белграде. Белград, 1941. Вып. 17.

<sup>27</sup> См. более детальное перечисление в: Алейда Ассман. Длинная тень прошлого. С. 27–28, 252–254.

простая космогония или мифология, диахроническими представлениями о человеческом мире. Можно сказать, что любые инструменты создания, сохранения и трансляции идентичности уже были инструментами «исторической политики» до того, как её называли таковой. Так герой Мольера — Журден, на старости лет решив приобщиться к высокой культуре, — с удивлением обнаружил, что уже 40 лет говорит не как-нибудь, а именно «прозой»<sup>28</sup>.

Творящий, избирательный смысл исторического *знания*, проективный и регулятивный, мифологический и утопический смысл массового исторического *сознания* давно выяснен как проблема. Чтобы претендовать на частичное отражение научной истины, исследователь должен избавиться от претензий на аутентичное историческое знание, потому что они делают даже прошлое объектом манипуляций, чтобы управлять будущим с *большой* диахронической глубиной и эмоциональностью. В манипулятивности состоит не только общее человеческих коммуникаций, но и изобретение правил исторического самопознания, осознанное в гуманитарных науках с конца XX века. В новом времени уже само именование ключевых фактов истории обнаруживает свою революционную силу, а язык описания так же начинает конструировать общество как «конструируются» нации, этносы, общества и государства. И это касается не только проектирования будущего: «История превратилась в процесс производства не только социальных и прочих интересов, но и коллективных смыслов...»<sup>29</sup>.

В центр исследовательского внимания с начала 1990-х годов входит «вневременная сила воздействия визуальных образов или символов, а также их историческая сконструированность»<sup>30</sup>.

В полях новых национальных историй посткоммунистического и постсоветского мира идёт бескомпромиссная политическая борьба, подкрепляемая карательными санкциями государства: например, «советская оккупация» стран Прибалтики в 1940 году служит в Прибалтике государственной истиной, а её отрицание — кодифицированным преступлением. *Обычность* этих манипуляций для новых национальных государств или новых в них политических режимов доказывает претен-

<sup>28</sup> Мольер. Мещанин во дворянстве. Действие 2. Явление 6.

<sup>29</sup> Глеб Мусихин. Очерки теории идеологий. М., 2013. С. 199, 201.

<sup>30</sup> Алейда Ассман. Длинная тень прошлого. С. 28.

зии их «исторической политикой» на первичное, лингвистическое проникновение в «самопроизвольную», «естественную», «автоматическую», «органическую» национально-общественную *обыденность*. Лингвистическое «переписывание истории» в интересах новой исторической перспективы, отмечает исследователь современных западных новаций,

«...реконструирует не “историю прошлого”, но, скорее, “историю о прошлом”. Таким образом, история как наука... неизбежно есть акт речевой интерпретации. История как конструкт и “перевод” придавала новый импульс исследованию культурного самосознания того и иного сообщества. В академической историографии всё чаще стало встречаться понятие “коллективная память”, напрямую связываемое с понятием “идентичность”. Такой подход, по сути, означает, что феномен социальной сплочённости скорее “изобретается”, а не “обнаруживается”, т. е. является сконструированным, а не объективно существующим и выводимым из реальной социально-экономической структуры общества»<sup>31</sup>.

Политические селективные манипуляции над исторической памятью не только созвучны естественному для общества самоочищению коллективной памяти от исторической вины (и встречное вытеснение её исторической доблестью)<sup>32</sup>, но и типологически близки, например, фальсифицированию «истории жертвы», «аутовиктимизации», что блестяще продемонстрировало разоблачение швейцарского писателя Биньямина Вилькомирского, в 1995 году придумавшего себе и художественно описавшего свою биографию как жертвы Холокоста. Исследователь скандала обоснованно привлекает к анализу этого литературно-морального повреждения книгу американского психолога Дэвида Шектера о «Семи грехах памяти», среди каковых выявляются «ложные воспоминания», внушаемость, блокирование «нежелательных» и фиксация на травматических воспоминаниях, избирательность и «выцветание» памяти<sup>33</sup>.

<sup>31</sup> Там же. С. 202.

<sup>32</sup> Там же. С. 120, 293–294.

<sup>33</sup> Е. В. Бурмистрова. «Ложные воспоминания»: проблема гетерогенности субъекта в фальсифицированных автобиографиях // Гетерогенность и гибридность как предмет изучения в германистике / Русская германистика: Ежегодник Российского союза германистов. Т. 10 / Отв. ред. Н. А. Бакши, Н. С. Бабенко. М., 2013. С. 156, 158.

Лингвистический, понятийный, «ролевой» контроль над избирательностью коллективной памяти эффективен и тем, что может обойтись без сложных хем, обращаясь сразу к обществу в целом и, что особенно важно, делая это в момент порождения в нём навыков коллективного языка и коллективной мифологии. Он эффективен эксплуатацией того, что в теории риторики анализируется как **«имплицитная семантика», исподволь встраивающая в систему понятий общества сразу весь необходимый контекст** — подсознательные приоритеты именно коллективного исторического сознания<sup>34</sup>.

Так в главных характеристиках всякой «исторической политики», творящей новую национально-политическую идентичность, проступает заурядная идеократическая диктатура. Здесь вполне обоснованно звучит вывод Л. Г. Ионина, сделанный им в ходе исследования современной западной «политической корректности», контролирующей сознание большинства с помощью конструирования внешних для её интересов ценностей и стандартов: «любой “новояз” существует не сам по себе, а как орудие легитимации реальной политики»<sup>35</sup>. Учитывая большее творящее усилие не только языка самого по себе, но и руководящего им идеализма, противостоящего миру в процессе творчества, глубоко звучит формула Н. К. Гаврюшина: «Становясь реальностью, идеализм превращается в реализм тирании».

Всё это имеет довольно отдалённое отношение к критической полноте исторического знания, зато ярко описывает творящий пафос политика или историка. Сталинский академик С. И. Вавилов (1891–1951) писал в 1941 году по этому поводу так: «Историки, видимо, даже не имеют понятия о флуктуациях и статистике. Каждый выбирает флуктуации, подходящие под его схему. Представить себе, что так бы делали, например, изучая броуновское движение!»<sup>36</sup> Французский

<sup>34</sup> Эля Колесникова. Введение в теорию риторики. М., 2014. С. 85–96.

<sup>35</sup> Леонид Ионин. Политкорректность: дивный новый мир. М., 2012. С. 35.

<sup>36</sup> С. И. Вавилов. Дневники. 1909–1951. Кн. 2 / Отв. ред. В. М. Орел. М., 2012. С. 162. Удивительно, но в том же 1941 году в своём тексте «Как жить историей» историк-классик Люсьен Февр говорил нечто подобное: «Исторические факты, пусть даже самые незначительные, зависят от историка, вызывающего их к бытию. Мы знаем, что факты, те самые факты, перед которыми нас то и дело призывают преклоняться, являются само по себе чистыми абстракциями...» (Люсьен Февр. Бои за историю / Перевод А. А. Бобовича, М. А. Бобовича и Ю. Н. Стефанова. М., 1991. С. 28). Современный математик, доказавший

историк, чьи суждения о методе следуют за исследуемым предметом, Жак Ле Гофф (1924–2014), как ему кажется, опровергает грубый произвол коллективного или индивидуального *самоописания как самоопределения*. Он пишет, цитируя:

«История, согласно Хайдеггеру, это не просто осуществлённая человеком проекция настоящего в прошлое, но и проекция в прошлое в наибольшей степени вымышленной части его настоящего; это проекция в прошлое будущего, которое он выбрал для себя, это история-вымысел, история-желание, обращённая вспять... Поль Вен прав в своём осуждении этой точки зрения, говоря, что Хайдеггер “всего лишь встраивает в антиинтеллектуальную философию националистическую историографию прошлого [XIX] века”...»<sup>37</sup>.

Придётся признать, что, выраженные как *политические*, претензии Ле Гоффа и Вена к Хайдеггеру не только слишком просты и поверхностны, но прямо противостоят растущей полноте современного знания о том, как сами же политизирующие историки (и Ле Гофф из их числа) подвергают свой предмет эквилибристическому препарированию, чтобы сделать из него острый (на деле — мифологически отупляющий) общественный инструмент.

Они разоблачительно вменили Хайдеггеру «девятнадцатый век»! Но что иное, кроме как XIX век национальных возрождений, национализма, протекционизма и милитаризма, служит сегодня и до сих пор, и всё более контекстом для абсолютного большинства властвующих «исторических политик» в Центральной и Восточной Европе, Прибалтике, Закавказье и Средней Азии? Разве что-то иное служит внешним актуальным образцом для властей современной России в поиске той «исторической политики», что могла бы построить (с учётом российских многона-

---

теорему Пуанкаре, Григорий Перельман, в свою очередь, подвергает сомнению «реализм» и собственно математики, приравнивая её исследовательскую роль к функции изобретения: «Особенности современной математики заключаются в том, что она изучает искусственно изобретённые объекты. Нет в природе многомерных пространств, нет групп, полей и колец, свойства которых усиленно изучают математики. И если в технике постоянно создаются новые аппараты, всевозможные устройства, то и в математике создаются их аналоги — логические приёмы для аналитиков в любой области науки» ([www.kp.ru/daily/25677.3/836229](http://www.kp.ru/daily/25677.3/836229): 28 апреля 2011).

<sup>37</sup> Жак Ле Гофф. История и память [1986] / Пер. К. З. Акопяна. М., 2013. С. 147–148.

циональности и федерализма) исторический шаблон для общенационального единства? Потому и «академическое» презрение французского историка к утопической и интерпретативной силе истории выглядит неискренней претензией на обладание истиной, свободное от актуальности и контекста. Впрочем, и это академическое высокомерие Ле Гоффа, и моя гипотеза о возвращении контекста национализма находятся внутри единой исторической реальности, давно описанной великим левым мыслителем и — что очень важно, в 1940–1952 гг. — высокопоставленным сотрудником спецслужб и Государственного департамента США, стоявшим у истоков принципиальных решений США о послевоенном мироустройстве в борьбе против СССР и коммунизма. Это он, Герберт Маркузе (1898–1979), писал об этой реальности задолго до того, как она нашла себе частное применение в «исторической политике» США:

«В обществе тотальной мобилизации, формирование которого происходит в наиболее развитых странах индустриальной цивилизации, можно видеть... формирование предустановленной гармонии между образованием и национальной целью; вторжение общественного мнения в частное домашнее хозяйство; открытие дверей спальни перед средствами массовой коммуникации»<sup>38</sup>.

На языке практики этот почти-эвфемизм о **«предустановленной гармонии между образованием и национальной целью»** означает *тоталитарное по своим претензиям, принудительное соответствие* полноты национального просвещения задачам национального (а также националистического и этнократического) властвования. Речь идёт о присущем современности — там, где она устойчива и функционирует как консенсус, — государственном, корпоративном и общественном идеологическом диктате в области массовой культуры и грамотности, острие которого и составляет «историческая политика». «Предустановленное», то есть руководящее, рациональное подчинение общенационального просвещения и воспитания — конструируемой национальной мифологии, — это та самая тотальность Модерна, которая демагогически разоблачает тоталитаризм вне себя.

<sup>38</sup> Герберт Маркузе. Одномерный человек [1964] / Пер. А. А. Юдина. М., 2009. С. 40–41.

Практика же этого тотального Модерна сегодня — тоталитарные и агрессивные претензии новых националистических государств. Исследователь современного национализма в его западной практике, ещё недавно праздновавшей общегражданский «мультикультурализм», а ныне уничтоженной восстанием террористов и радикалов Магриба и Большого Ближнего Востока, свидетельствует:

«Методологический национализм провоцирует веру в изоморфизм пространства наций-государств и пространства культуры, тем самым он препятствует (*как минимум, “препятствует”, на деле же рационально и последовательно исключает.* — М. К.) видению действительной неоднородности культурного пространства, которое оказывается под контролем того или иного национального государства»<sup>39</sup>.

Потому лицемерна прикладная, в согласии с практикой «холодной войны» США, борьба, например, Ханны Арендт (1906–1975) в защиту личности против тоталитаризма, когда она сопровождается у неё апологией самозаконного языка, чьё отношение к обществу столь же тоталитарно. В зените своей борьбы против тоталитаризма она так излагала формулу Вернера Гейзенберга: «всегда, когда человек будет пытаться познать не самого себя и не что-то созданное им самим, он в конце концов столкнётся с самим собой, собственными конструкциями и схемами собственного действия»<sup>40</sup>. Елена Петровская, интегрирующая западную философскую традицию XX века в русский контекст начала XXI века, обоснованно отмечает: «всякий объект исследования необходимо построить или создать». Она говорит о том пределе *создания и эксплуатации варварства*, в коем избегают признаваться себе проектировщики «исторической политики»:

«...массовая культура — это не объект чистого манипулирования, но область активной переработки фундаментальных социальных и полити-

<sup>39</sup> Владимир Малахов. Методологический национализм — миграция — постнационализм // Пути России: Новые языки социального описания / Под общ. ред. М. Г. Пугачёвой и В. П. Жаркова. М., 2014. С. 32–33, 42.

<sup>40</sup> Ханна Арендт. Понятие истории: древнее и современное [1964] // Ханна Арендт. Между прошлым и будущим. Восемь упражнений в политической мысли / Пер. Д. Аронсона. М., 2014. С. 132.

ческих тревог, фантазий и переживаний. На уровне отдельного произведения эта переработка осуществляется таким образом, что “сырой материал” фантазий и желаний часто архаического толка выходит на поверхность только для того, чтобы подвергнуться вытеснению со стороны символических структур произведения, которые обеспечивают реализацию желаний лишь в той мере, в какой их можно тут же нейтрализовать»<sup>41</sup>.

Не только выявление, селекция, но и «*приручение*», *эксплуатация и подмена* исторического опыта (травмы, гордости, миссии) народа в интересах управления этим народом становятся сутью «исторической политики». Стержнем и текстом такой политики выступает не историческое исследование вообще, а то, что Ф. Р. Анкерсмит анализирует как «идеологический нарратив». *Как научный метод* — одновременно со становлением «исторической политики» как инструмента «холодной войны» против СССР — этот нарратив деградирует именно с точки зрения его *научного качества*. Он становится умозрением, «спекулятивной философией истории», не наукой, а предметом веры: «этот тип философии истории, начиная с 1950-х гг., несколько испортил свою репутацию. Спекулятивная философия истории была обвинена в получении псевдознания о прошлом. Говоря конкретнее, было показано, что спекулятивная философия истории есть часть метафизики, поэтому получаемое ею знание не столько ложно, сколько не верифицируемо»<sup>42</sup>. Но, несмотря на всю его архаичность и ангажированность, этот метод остаётся в центре «исторических политик»:

«Нарративные интерпретации *обращаются* к прошлому, а не корреспондируют **и не соотносятся** с ним. Современная философия исторического нарратива околдована идеей утверждений. Язык нарративов автономен в отношении прошлого... Нарративизм — это конструирование не того, чем прошлое могло бы быть, а нарративных интерпретаций прошлого... Нарративные интерпретации являются не знанием, но организацией знания... Современная историография основывается на политическом решении»<sup>43</sup>.

<sup>41</sup> Елена Петровская. Безымянные сообщества. М., 2012. С. 228–230.

<sup>42</sup> Франклин Рудольф Анкерсмит. История и тропология: взлёт и падение метафоры [1994] / Пер. М. Кукарцевой, Е. Коломоец, В. Кашаева. М., 2003. С. 5–6.

<sup>43</sup> Там же. С. 118, 121–123, 129.

В этих точных и актуальных словах мало нового, но больше сложного и прикладного, чем по нынешним временам в слишком простых признаках русского классика Б. М. Эйхенбаума (1886–1959), которые, кажется, прошли мимо сознания его многочисленных поклонников в России:

«...всякая теория — рабочая гипотеза, подсказанная интересом к самим фактам: она необходима для того, чтобы выделить и собрать в систему нужные факты, и только. Самая нужда в этих или других фактах, самая потребность в том или другом смысловом знаке диктуется современностью — проблемами, стоящими на очереди. История есть, в сущности, наука сложных аналогий, наука двойного зрения: факты прошлого различаются нами как факты значимые и входят в систему, неизменно и неизбежно, под знаком современных проблем... История в этом смысле есть особый метод изучения настоящего при помощи фактов прошлого. Смена проблем и смысловых знаков приводит к перегруппировке традиционно-го материала и к вводу новых фактов, выпадавших из прежней системы в силу её естественной ограниченности»<sup>44</sup>.

*Даже научная, политически нейтральная история — осознанный отбор, речь и деяние. Она обнаруживается и как переживание, то есть изменение мира, и как язык описания практики, язык её изменений, и как создание исторического ландшафта, с которым имеет дело каждый исторический деятель. Этот культурный, языковой, политический, экономический, военный ландшафт и есть, собственно, весь наличный ландшафт истории, кроме её природных условий.* По этому ландшафту или против него, по этому «дну возможностей», особенно значимому во времена катастроф, и предписывает следовать логия институтов и пытается следовать навигация идей.

«Пересоздавать» эту и без того полуслепую навигацию по и без того полуслепой логии с помощью разного рода моделей (абстракций, удобных для дидактики) — самое последнее, что может помочь исследованию. Новое исследование неизбежно устремляется прочь от моделей на ландшафт институтов и языка. Важно, что естествен-

---

<sup>44</sup> Б. М. Эйхенбаум. Литературный быт [1927] // Борис Эйхенбаум. Мой временник. Маршрут в бессмертие. М., 2001. С. 49.

ные науки и экономическая наука давно уже поняли, что эти модели и парадигмы — не более чем метафоры<sup>45</sup>, образы, карикатуры, воображаемое без связи с реальностью<sup>46</sup>, «эстетический образ парадигмы», предмет веры культурных и языковых сообществ<sup>47</sup>.

Вне исторической реконструкции языка описания можно увидеть лишь слепое движение примитивных, взаимно изолированных обществ — так, как диктуют им их природные условия, ритуальный опыт и органическое воспроизводство. На деле же доминируют не генеалогия, не диахрония, не рельсы, не русло, а их сеть, среда и ландшафт, управляемые языком их описания. Поэтому в тех сложных обществах, где тотальный идейный диктат невозможен, «историческая политика» выступает не только как «политика памяти» или историография нации, но и как поле конкуренции разных «исторических политик». Равным образом, политическая сфера международных отношений является полем для инструментализации, навязывания стандартов, борьбы, сотрудничества, экспансии, «присвоения» государственных и общественных, национальных и блоковых «исторических политик», если таковые способны к самоорганизации и рационализации.

Но, учитывая всё выше сказанное, исследователь, по-видимому, должен отказаться от презумпции *рационального поведения* человеческих сообществ, рациональности их разнообразных интересов — даже с точки зрения простого эгоизма этих сообществ, от презумпции неизбежности или даже «нормальности» исторического выживания. Ничто не может гарантировать государствам и народам инерционно-го выживания. И рациональность их более чем условна, миметична, не очевидна. И органичность их исторических сознаний и тел столь же органически смертна. Их тела полны болезнями, не совместимыми с исторической жизнью. Но человек и сообщества одинаково ставят над собой эксперименты, где главным инструментом служит то, что Виктор Шкловский (1893–1986) назвал «энергией заблуждения». С чем сталкивается такая псевдорациональность сообществ? С хаосом дру-

<sup>45</sup> Дейдра Макклоски. Риторика этой экономической науки [1994] // Философия экономики. Антология / Под ред. Д. Хаусмана. М., 2012. С. 405.

<sup>46</sup> Роберт Сазден. Правдоподобные миры: статус теоретических моделей в экономической науке [2000] // Философия экономики. Антология. С. 477, 496, 517.

<sup>47</sup> Томас Кун. Структура научных революций [1962, 1969] / Пер. И. З. Налётова. М., 2009. С. 235, 306–307.

гих человеческих образов и волю, описать и предсказать которые эта рациональность может лишь постольку, поскольку она вообще способна формировать динамическую картину мира — его мыслительный ландшафт. Принудительная навигация по такому ландшафту, как минимум, не сразу приводит к национальному самоубийству и только поэтому создаёт иллюзию рациональности пути. В хаотической борьбе таких навигаций, страшно сказать, побеждает не школьная дидактическая рациональность, а физический потенциал, историческая мобилизация обществ, пафос и жертва, где главное — отнюдь не рациональность.

Русский гений Андрей Белый (1880–1934) в 1921 году в поэме «Первое свидание» так описал свою историческую эпоху, когда Сталин уже вышел на борьбу за высшую власть:

Я вижу — дующие зовы.  
Я вижу — дующие тьмы:  
Войны поток краснобагровый,  
В котором захлебнулись мы...

...Что взрывы, полные игры,  
Таят томсоновские вихри,  
И что огромные миры  
В атомных силах не утихли,  
Что мысль, как динамит, летит  
Смелей, прикидчивей и прытче,  
Что опыт — новый...

— «Мир — взлетит!» —  
Сказал, взрываясь, Фридрих Нитче...

Мир — рвался в опытах Кюри  
Атомной, лопнувшей бомбой  
На электронные струи  
Невоплощенной гекатомбой.

Эта предсказанная Андреем Белым Хиросима — для России воплотилась ещё до Хиросимы. Индустриальная культура и биополитиче-

ская наука европейской современности, поставившие своей задачей пересоздание самой жизни, тотальная капиталистическая, революционная и военная *социальность как тотальный социальный контроль* Нового времени — стали вызовом Запада его исторической окраине — России. Перед Советской Россией легла определённая и внятно высказанная перспектива — стать ещё одной Индией и ещё одним Китаем для колониального мирового разделения труда в интересах индустриального империализма. И Советская Россия, став окраиной провалившейся мировой революции, решила стать локомотивом антиколониального восстания «Красного Востока», применив опыт индустриальной эксплуатации, чтобы ответить на вызов капиталистического модерна — утопией изолированного коммунизма. В этой «национализации» коммунизма СССР следовал западному образцу — национально-освободительному и патриотическому мифу Германии.

Отвечая на вызов индустриального Запада, подражая ему, подстраиваясь под него, защищаясь от его миссионерских и колониальных притязаний, технологически и культурно примеряя их к себе, борясь против них за государственное выживание — сначала против империалистической экспансии Швеции и Польши XVI—XVIII вв., затем против экспансии Франции и Германии XIX—XX вв., с опорой на свой тыл на Урале и в Сибири, — Россия, вслед за другими историческими жертвами Нового времени, была обречена на гекатомбу, которая столь естественна для этого времени и уклада, но совершенно не рациональна для любой сферы человеческой деятельности, кроме тотальной войны. И образ этой войны, наряду с образом тотальной мобилизации, оказался способом рационального выживания. Жертвы и логика сталинизма, продиктованные индустриализмом, тотальной войной, национализмом и милитаризмом Запада, получили своё высшее выражение в самоотверженной Великой Отечественной войне нашего народа, когда альтернативой победе был геноцид и смерть государственности Исторической России.

Эта жертва безальтернативна, но никак не может быть принята до конца. Эта жертва забываема.

# БОЛЬШОЙ СТИЛЬ СТАЛИНА

## GESAMTKUNSTWERK ALS INDUSTRIEPALAST

На всей земле был один язык и одно наречие...

И сказали они: построим себе город и башню, высокою до небес, и сделаем себе имя, прежде нежели рассемся по лицу всей земли... И рассеял их Господь оттуда по всей земле; и они перестали строить город [и башню]. Посему дано ему имя: Вавилон.

(Бытие. 11, 1–9)

### УМОЛЧАНИЯ

Наиболее популярной и эвристичной формулой описания сталинской культуры (культуры СССР эпохи Сталина, 1920–1950-х гг.) в современной мировой науке является понятие-теория, которую почти 30 лет назад выдвинул известный исследователь современного искусства, выходец из СССР Борис Гройс<sup>1</sup>. Он подробно, хоть и провокационно, описал, почему культурную эпоху Сталина, равно как и правящий сталинизм в целом, можно назвать **Gesamtkunstwerk** Сталина — всеобщее / всеохватное — **тотальное искусство** Сталина<sup>2</sup>, — потому, что Ста-

---

<sup>1</sup> *Борис Гройс. Gesamtkunstwerk Stalin* [1987]. М., 2013.

<sup>2</sup> Именно таков авторский перевод понятия на итальянский, французский и английский языки: l'opera d'arte totale, oeuvre d'art totale, the total art of stalinism.

лин демонстрировал столь же сильную творческую волю к власти над обществом и природой, как демонстрировал её русский и советский авангард. Независимо от того, как теперь используется эта удачная формула, в восприятии которой, как представляется, преобладает её толкование как целостного, всепроникающего «большого стиля», изначально Б. Гройс поставил перед собой отчасти иную задачу. А именно — «описать сталинизм как эстетический феномен, как тотальное произведение искусства», в котором «тотальное подчинение всей экономической, социальной и просто обывденной жизни страны единой плановой инстанции, призванной регулировать даже её мельчайшие детали, гармонизировать их и создавать из них единое целое, превратило эту инстанцию — партийное руководство — в своего рода художника, для которого весь мир служит материалом, при том что его цель — “преодолеть сопротивление материала”, сделать его податливым, пластичным, способным принять любую нужную форму»:

«совпадают авангард и социалистический реализм, под которым здесь понимается искусство сталинской эпохи, и в мотивации, и в целях экспансии искусства в жизнь — восстановить целостность Божьего мира, разрушенную вторжением техники, средствами самой техники, остановить технический и, вообще, исторический прогресс, поставив его под тотальный технический контроль, преодолеть время, выйти в вечное»<sup>3</sup>.

---

«Стиль Сталин» — такова была версия названия книги-теории при первом русском издании в России в 1993 году, в котором считывался образец: Jugendstil — Stalinstil.

<sup>3</sup> Борис Гройс. Gesamtkunstwerk Stalin. С. 107, 19, 104. Конкурирующая с этим описанием сталинского художественного проекта исторически одновременная концепция В. З. Паперного риторически разделяет историю раннего советского искусства на две части-доктрины: революционную «горизонтальную» *Культуру-1* (1917–1932) и сталинскую «вертикальную» *Культуру-2* (1932–1954). Но и эта, полная условных противопоставлений, концепция обоснованно (но публицистически утрируя) выявляет в сталинском проекте претензию на Большой стиль как проект Вавилонской башни: «Настойчивые усилия культуры 2, направленные на стандартизацию и типизацию проектирования, выдают её мечту однажды спроектировать самое совершенное архитектурное сооружение всех времён и народов и на этом архитектурное творчество вообще закончить, чтобы дальше только бесконечно воспроизводить этот образец» (Владимир Паперный. Культура Два [1985]. М., 2016. С. 152).

Здесь происходит, может быть незаметный с точки зрения теории, но с точки зрения истории и истории искусства — явный сбой: родня сталинскую власть, ставшую личной диктатурой Сталина только на рубеже 1920–1930-х гг., с художественным авангардом, в лице футуризма (особенно) пришедшего к культурно-политической власти в России уже на рубеже 1917–1918 гг., Б. Гройс, похоже, плохо понимает историческую эволюцию диктатуры в абсолютно крестьянской стране, каковой вплоть до начала 1930-х годов была Советская Россия и образцов которой в Европе 1920–1930-х было более чем достаточно. Они оставались авторитарными, пока надстраивались над демографически и социально преобладающими крестьянскими массами, они становились тотальными, когда начинали не только политически, но и экономически подчинять себе крестьянское большинство, например, путём принудительной коллективизации, как в СССР. В таких исторических условиях, перед лицом самодостаточного и социально-экономически всеподавляющего «крестьянского океана», говорить о всепроникающей тотальности власти в СССР не имеет никакого смысла, ибо это не имеет никаких *фактических* оснований<sup>4</sup>.

Если творцом-художником коммунистическую диктатуру сделал *уже действующий* тотальный контроль, то есть «тоталитаризм», а не авангардные тотальные *претензии* на этот контроль над всем живым и мёртвым как материалом, то речь может идти не о «тотальном подчинении всей... жизни страны», а лишь о **желании** этого — скорее умозрительном и безответственно художественном, чем о практическом и властном. Потому что «художником» коммунистическая диктатура стала уже в 1917 году — при Ленине, а используемый ею «тоталитаризм» построила лишь после этого — лет через пятнадцать, при Сталине. Но тогда логичнее говорить о «Ленин-стиле», который, при всей его политической революционности, отнюдь не характеризуется тотальностью и, главное, в области искусства совершенно чужд авангарду, оставаясь в художественном отношении, как минимум, консервативным, а на деле — просто творчески ни на что не способным. Но яркой теории прощаются эти натяжки.

<sup>4</sup> Точно с такой же произвольной лёгкостью написала о мифической истории ГУЛАГа вплоть 1986 (!) года известная американская публицистка Анна Апелльбаум: *Эни Этлбаум*. ГУЛАГ. Паутина Большого террора [2003]. М., 2006.

Более всего странно то, что — ради превращения русского авангарда в соучастника сталинского коммунизма, выдвигая эту свою яркую теорию в Германии в 1987 году, Борис Гройс умолчал, что образ *Gesamtkunstwerk*, идущий от «синтетического искусства» Рихарда Вагнера<sup>5</sup>, за сорок лет до этого громогласно и эффективно (не только для немецкого мира) применил к сфере искусства, культуры и общества классик истории искусства, офицер двух мировых войн и бывший нацист Ханс Зедльмайр (1896–1984). Б. Гройс умолчал, но прибыв в Германию из СССР ещё за десять лет до смерти Х. Зедльмайра, он явно не только следовал его понятию-термину, но, и вступал в полемику с его историческим применением, не называя имени автора. При этом труды и личный политический опыт Х. Зедльмайра заставляют нас увидеть в сталинизме именно то, что в нём присутствует больше, шире, интернациональнее, чем простое умозрительное родство русского авангарда с коммунизмом, его исторический контекст — общеевропейский индустриализм, рационализм и позитивизм. Это умолчание на деле не является случайным и открывает большую историографическую перспективу, равно затрагивая адвокатов революционного авангарда и адептов Большого стиля, которым естественно видеть в сталинизме — исторически последнюю его попытку и отражение.

<sup>5</sup> Одновременно с историческим рождением крупных фабрик и их архитектурных форм Р. Вагнер выступил с манифестом *Gesamtkunstwerk* — то есть будущего коммунистического перерождения человека в общенародном тотальном искусстве, «когда эгоистически обособившиеся чисто человеческие искусства сольются в единое произведение искусства будущего, когда *утилитарный* человек превратится в *артистического* человека будущего», чтобы достичь коммунистических «высших общих целей» — «всё, что отклоняется от них, неизбежно обречено исчезнуть (...) Этих целей не достичь *отдельному виду искусств*, они достижимы лишь для всех вместе, и поэтому всеобщее произведение искусства (*Gesamtkunstwerk*) является таким единственно истинным, свободным, то есть доступным для всех... в котором должны слиться все искусства» (Р. Вагнер. Произведение искусства будущего [1849] / Пер. С. П. Гиждеу. М., 2012. С. 80, 84, 106–107). Вагнерианская генетика «всеобщего искусства» была ясна и некоммунистическим современникам советского коммунизма в России, поначалу искавшим в его практике пример реализации европейской революционной классики как «мечты человечества» и строго следуя тому, что вагнеровскому убеждению, что «художник будущего — народ» (С. 117. См., например: П. П. Гайдебуров. Всенародный театр // Искусство и народ / Сб. под ред. Конст. Эрберга. Пб., 1922). Вероятно, именно из замены «народа» в формуле «художника будущего» и растёт у Б. Гройса образ Сталина как коммунистического сверххудожника и демиурга.

Например, исследователь теоретиков и практиков советского «коммунистического футуризма» («комфутов») и «производственников» И. М. Чубаров выступает на их защиту от вменяемого им сталинского родства. Он обращает внимание на то, что их апология производства, их индустриализм для масс имеет своим центром обычную проблему организации и человеческого развития труда. Он, видимо, предполагает (и верно предполагает), что для коммунистических практиков, особенно сталинского поколения, в центре системы *принудительного* труда стояла не философия его модернизации вообще, а проект мобилизации трудовых ресурсов для политико-экономических задач государства, инструментализация давних традиций индустриальной биополитики, а не подчинение её риторическому пафосу «освобождения труда». Конечно, их роднит само просвещенческое и современное отношение к человечеству как воспитуемо-манипулируемой массе, где все её «воспитатели» — одинаково видят себя творцами истории<sup>6</sup>, но фокусирование политической воли большевиков в «творческой» фигуре их «теурга» Сталина не может скрыть их, практиков, принци-

<sup>6</sup> Критик-толкователь теории Б. Гройса видит эту связь и вводит её в широкий контекст произвольно толкуемой концепции «биополитики» М. Фуко, навязывая ей переход от 1917 до начала 1930-х: «В отличие от Гройса и других исследователей, которые некритически используют представления о власти как заданной форме суверенного субъекта (Сталин), я предлагаю обратиться к современной аналитике власти, широко представленной в работах Мишеля Фуко и его современных последователей... особой рациональности, которая связывает практики искусства в ранний советский период с практиками «биополитической» интервенции, призванной изменить саму жизнь («быт») советских людей (...) Не суверенная власть становится единственным и высшим субъектом-художником, а, скорее, авангардная субъективность становится миметическим образцом для современных процессов и форм жизни (трудовых, коммуникационных, поведенческих). В неустанном умножении децентрализации и состоял жест сопротивления и борьбы художественного авангарда со стратегиями рационализации, которые навязывались ему биовластью (...) Искусство — в тот весьма краткий период между революцией и приходом сталинской системы — обратилось к практикам «жизнестроительства», то есть радикальной коммунистической *биополитике* как учреждению множества новых постреволюционных форм жизни, а не централизованной суверенности» (Алексей Пензин. Биополитика советского авангарда // Художественный журнал. М., 2012. № 2–3 (86–87). С. 77). Чтобы ощутить всю негодность таких толкований, несмотря на маскировочные ссылки на «биовласть» М. Фуко, надо просто повторить их сжато: децентрализованная авангардная субъективность, видите ли, — *образец* для сверхцентрализованной политики и обыденности коммунистической диктатуры в СССР!

пиального отличия от теоретиков авангарда (считать ли важной эту разницу между кабинетным революционером и его военно-полевым однопартийцем во главе «железного батальона пролетариата» — дело личного выбора кабинетного исследователя). И. М. Чубаров это отличие считает важным и изящно подменяет проблему *проектного творческого производства* — проблемой *подчинения творчества производству*:

«Производственники ратовали за новый социокультурный статус художника, предлагая ему... становление пролетарием и, наоборот, становления пролетария художником... Последнее оставалось, конечно, в условиях 1920-х годов не более чем благим пожеланием, слабым звеном в аргументации производственников, которое перехватывалось идеологической машиной государства, легко подменяющей утопии творчества идеологемами труда (...) Из противопоставления труду творчества, а одинокой личности художника — коммунального тела “пролетариата” мы и предлагаем интерпретировать “утилитаризм” производственников, критику ими автономии искусства, только на первый взгляд противоречащие ранним футуристическим манифестациям и теориям ранних русских формалистов. Это соображение опровергает модную идею, что комфуты и производственники были крестными отцами социалистического канона и “стиля Сталин” (Б. Гройс). Различия были здесь принципиальными. Ибо даже рьяно отстаивавшийся производственниками тезис о растворении искусства в общественном производстве не предполагал торжества миметической модели “Государства” Платона, а отмечал переход искусства от станка, музея и салона в самую социальную действительность в формах художественно оформленных элементов быта, новых вещей и освобождённого от эстетства и иллюзионизма языка (...) Это форма производственного искусства, понимающего себя как вид коллективного художественного труда, т. е. социальной практики, направленной на революционное преобразование общества и создание нового типа (ненасильственных) отношений между людьми (...) Имелось в виду возвращение искусства в социальную жизнь, а не наоборот, превращение жизни в род искусства, с сохранением экономических и политических институтов и имущественных отношений, как при фашизме и сталинизме»<sup>7</sup>.

<sup>7</sup> Игорь Чубаров. Коллективная чувственность. Теории и практики левого авангарда. М., 2014. С. 30, 31, 149, 151.

Так получается, что революционный авангард, ещё вчера риторически побеждавший модерное «пересоздание жизни» футуристической «победой над солнцем», лукаво и смиренно стал дизайном на службе индустриального быта, — лишь бы не делить ответственность с политическим коммунизмом и свести своё участие в социальном перевороте к социальному вегетарианству ненасилия и конформизма, то есть к добровольному подчинению тому же самому коммунизму.

Мне представляется слабой такая линия адвокатиrowания. Другой современный исследователь русской культуры первой трети XX века уместно обращает внимание на то, что — больше библиографически — известная революционная книга Николая Пунина и Евгения Полетаева «Против цивилизации» (1918) создаёт «образ сверхчеловеческой реальности нового героического масштаба. Это новое общество... лишено собственно социального измерения и строится согласно моделям природного и технического автоматизма. Оно будет чисто эстетическим феноменом, сгустком энергии невиданной силы, которая станет источником необычайного расцвета бесцельного и иррационального творчества — чистого активизма по ту сторону искусства и политики. (...) Сила, власть становятся формами искусства. Конструкция государственной машины уподобляется композиции художественного произведения. Искусство, как и власть, имеет дело с чрезмерностью, редкими всплесками энергии, бесцельными и потому прекрасными»<sup>8</sup>.

Предъявив усилия оппонентов, откроем внутреннюю логику формулы Гройса, хорошо демонстрирующую, почему аргументы *против* нисколько эту формулу не задевают. В описании Гройса сталинизм

---

<sup>8</sup> *Анатолий Рыков. Между консервативной революцией и большевизмом. Тотальная эстетическая мобилизация Николая Пунина // Новое литературное обозрение. № 140. М., 2016. С. 242, 248. А. Рыков здесь комично видит себя первооткрывателем, ибо уверен, что хрестоматийно и очень давно известная, изученная, описанная тема «соединения модернистских и тоталитарных дискурсивных практик» — «труднейшая для интерпретации», а в России, где даже актуальному политическому искусству уже, как минимум, лет 40 (если отсчитывать его от соц-арта), «в настоящее время искусство и культура в основном воспринимаются как абсолютные антитезы политики и политической философии» (С. 240–241). Комичность этого признания в полной мере демонстрирует на деле очевидный для большинства исследователей — произведённый эпохой модерна и, в частности, эпохой сталинизма финальный синтез искусства и политики, даже если представить себе, что когда-либо в истории человечества язык искусства был действительно глубоко отделён от политики.*

и присоединяемый к нему в соучастники русский авангард — это противопоставленный одновременно и пафосу «естественного человека» Просвещения, идеалу Великой Французской революции, и расовой теории нацизма, «проект построения абсолютно нового общества». Проект, враждебный одновременно старому обществу и природе<sup>9</sup>:

«Там, где была природа, должно стать искусство... Эта воля к радикальной искусственности помещает советский коммунистический проект в художественный контекст... **Само советское государство рассматривается здесь как произведение искусства и одновременно его автор...**

В контексте русской культуры XX века, да и в интернациональном культурном контексте, русский художественный авангард занял самую бескомпромиссную и одновременно влиятельную позицию, направленную против природы и естества... Основной целью русского авангарда было создание Нового Человека, нового общества, новой формы жизни... Русский авангард рассматривал себя не как искусство критики, а как искусство власти, способное управлять жизнью российских граждан и всего мира. Эта установка полностью совпадает с установкой социалистического реализма»<sup>10</sup>.

Изображённый таким образом, но поставленный вне Просвещения и прогресса, совместный проект сталинизма и русского авангарда

<sup>9</sup> Борис Гройс. *Gesamtkunstwerk Stalin*. С. 7 (Предисловие к американскому изданию [1992]). Часть корней этой враждебности Гройс избирательно возводит именно к русскому православию: «Некоторые из корней этой антипатии к природе можно найти уже в Русской православной церкви» (С. 8. Предисловие), а социалистический реализм в СССР, по его просвещённому мнению, ведёт свою преемственность «от западных и русских средневековых христианских прототипов» (С. 93). Впрочем, Гройс непоследователен и рядом говорит, что «революционная идеология была импортирована в Россию с Запада, она не имела собственно русских корней. Русская же традиция ассоциировалась с отсталостью и унижением по отношению к более развитым странам и поэтому вызывала у большинства интеллигенции, да, как выяснилось в ходе революции, и у народа отвращение, а не сожаление» (С. 21). Придуманное автором «отвращение» народа к коммунистической революции, надо полагать, сказалось в том, что этот народ в 1917–1918 гг. массово поддержал и реализовал революционный коммунистический «чёрный передел», уравнительное перераспределение земельной собственности, а в гражданской войне стал на сторону большевиков, несмотря на весь их антикрестьянский «военный коммунизм».

<sup>10</sup> Там же. С. 8–11 (Предисловие к американскому изданию).

появляется принципиально из «ниоткуда» и повисает в воздухе, вне контекста и предысторий, интернациональной исторической перспективы. Словно он не имеет никакого отношения к богато явленным на Западе социал-дарвинизму, принудительному труду, социальному контролю, милитаризму, информационной войне, социальной гигиене и педагогике, колониализму, «войне на уничтожение», полицейской и индустриальной биополитике, наконец. Словно до русских авангардистов и коммунистов в мире не было сциентизма, индустриализма, национализма, концентрационных лагерей, этнических чисток, массовых пыток и казней колониализма и террора.

Но нет — Гройс о коммунистическом терроре всё же знает и не только делает русский авангард со-ответчиком по историческому делу сталинизма, но и привязывает его к этому самому зловещему и этически уязвимому месту в его репутации — террору:

«Художники русского авангарда тоже были, как минимум, безразличны к физическому уничтожению своих противников в период постреволюционного красного террора, предшествующего сталинскому террору. Разумно предположить, что и их противники вряд ли сильно протестовали бы против уничтожения своих оппонентов в случае возможной победы белого террора».

Б. Гройс верно отмечает, что, по сравнению с русским авангардом, собственно сталинский (послеленинский) культурный проект, «парадигма социалистического реализма менее репрессивна и более плюралистична, нежели, к примеру, парадигма супрематизма, поскольку соцреализм позволяет использовать гораздо более богатый лексикон художественных форм, включая формы, заимствованные из исторических традиций»<sup>11</sup>. Описывать эти отношения авангарда и коммунизма как отношения децентрализации и централизации — нет ни малейших оснований.

Так почему же Б. Гройс, неуязвимый для критики со стороны мифических «децентрализации» и «ненасилия», хорошо чувствующий тотальный пафос Gesamtkunstwerk, демонстративно отказывается от помещения его в естественное пространство Большого стиля?

---

<sup>11</sup> Там же. С. 12, 14 (Предисловие к американскому изданию).

Представляется — потому, что одного лишь указания на проективный пафос борьбы с природой явно недостаточно, а идеологические препятствия, создаваемые очередным разоблачением сталинизма как «утопии у власти», — слишком велики, чтобы найти этому Gesamtkunstwerk адекватное место не только среди его корней, но и в его эпохе. Именно поэтому Х. Зедльмайр, указывающий на со-природность этого сталинского Gesamtkunstwerk его эпохе, и не был востребован в описании Stalinstil — и поэтому Б. Гройс «провокационно» маргинализировал сталинизм как тотальный творческий акт авангардно-коммунистической власти, настолько якобы самодостаточный, что от него даже тени не пало ни на Просвещение, ни на Модерн, ни на индустриализм с его капитализмом<sup>12</sup>. «Тотальная мобилизация во имя формы» — громко звучит в исследовании Б. Гройса<sup>13</sup>, но какой формы? Формы чего? Как именно мыслимой и как именно изображаемой формы?

Справедливости ради надо сказать, что красноречивое (громогласное!) умолчание в Германии — при обсуждении Большого стиля — не только о Х. Зедльмайре, но даже о Р. Вагнере, продемонстрировал и такой авторитетный, смелый, отлично интегрированный и административно успешный немецкий философ, как Герман Люббе. Будучи в этом случае либеральным критиком тоталитаризма и исследователем его Большого стиля, Г. Люббе стыдливо возводит проект тотального искусства к Ф. Ницше, к его словно ниоткуда появляющейся фразе «Культура — это, прежде всего, единство художественного стиля во всех жизненных проявлениях народа». При этом в предметном толковании Большого стиля на примере соединения *«Авангардистского искусства и тоталитарного господства»* Г. Люббе обнаруживает ценную наблюдательность. Например, в области «политики памяти»

<sup>12</sup> Важно отметить, что минимальный консенсус в современной, политически раздробленной на партийные куски, русской гуманитаристике о Сталине состоит именно в признании основой его социально-политической философии принципиального и последовательного сверхиндустриализма. См., например: «Сталинизм представляет собой полное и безоговорочное уподобление политической жизнедеятельности производству, которое к тому же мыслится под знаком неуклонного укрупнения и обобществления» (*Андрей Ашкеров*. Нулевая сумма: Советское и постсоветское общество глазами антрополога. М., 2011. С. 202).

<sup>13</sup> *Борис Гройс*. Gesamtkunstwerk Stalin. С. 50.

не произнесённый им Gesamtkunstwerk на самом деле являет собой творящую универсальную волю, подчиняющую себе не только проектируемое будущее, но и представленное в настоящем прошлое: «Тот, кто стремится сделать культурное господство нового действительно универсальным, не имеет права колебаться перед немедленным сносом в духе культурной революции реликтов старого, устаревшего»<sup>14</sup>. Для столь мощной тотальности Г. Люббе использует заведомо более слабое имя «единство стиля», но описывает его интернациональный и целостный предмет весьма узнаваемо:

«Для утверждения “единства стиля” — внесения как можно большего единства стиля во все жизненные проявления — в контексте общества модерна необходимы тоталитарные средства. Тоталитарную эстетику можно определить как эстетику политически господствующей воли к единству стиля. Архитектурной манифестацией тоталитарной воли к единству стиля нужно, естественно, считать тот богатый на вариации неоклассицизм, которым пользовались фашисты, национал-социалисты и большевики в Европе межвоенного периода с поразительным эстетическим сходством поверх острых идеологических разногласий».

Эта формула точна, но мало применима к истории. Она, во-первых, заставляет искать зыбкую грань между, например, авангардной и конструктивистской эпохой советского коммунизма с её совершенно тотальными претензиями и его же неоклассическим «сталинским ампиром». А во-вторых — обрекает на безрезультатный поиск границ между архитектурой тоталитарных государств и архитектурой современных им столь же индустриальных и европейских (но демократических) государств. Ведь в качестве манифестаций «единства стиля» К. Люббе называет не только постройки тоталитарных государств, но и архитектурную среду Лондонского университета, женеvские здания Лиги Наций, городской музей в Париже, парламент Финляндии, упоминает «большое количество» подобных построек того времени в США, Швеции, Норвегии и др. И не только не пытается обнаружить в них тоталитарность, но и фактически признаёт, что «архитектурная

<sup>14</sup> Герман Люббе. В ногу со временем. Сокращённое пребывание в настоящем [1991] / Пер. с немецкого А. Григорьева, В. Куренного. М., 2016. С. 119, 120.

манифестация тоталитарной воли к единству стиля» либо присуща всей эпохе, либо присуща всей географии модерна, либо не является специфически тоталитарной:

«Архитектурный монументализм межвоенного периода был общеевропейским явлением, причём таким явлением, которое совершенно индифферентно ведёт себя по отношению к господствующим в разные времена идеологическим и политическим опциям. Либералы, национал-социалисты, интернационал-социалисты — все они в различных модификациях использовали указанный стиль. Поэтому не эстетика этого стиля является фашистской или какой-то ещё тоталитарной, а политическая воля к единому стилю...»<sup>15</sup>

Этот пример тщетных попыток Г. Люббе избежать признания архитектурного единства нацизма и сталинизма с демократией ясно показывает, что без понимания тотальности единого ландшафта индустриального модерна (равно для демократий и диктатур) вычленение «тоталитарной воли к единству стиля» специально для диктатур просто не имеет смысла. И сама эстетика гигантизма и мегамасштаб архитектурно выраженной политической воли этой эпохи должны быть признаны равно характерными для либеральных демократий и диктатур<sup>16</sup>. Это неизбежно заставит искать для них нечто ещё более общее,

<sup>15</sup> *Герман Люббе. В ногу со временем. Сокращённое пребывание в настоящем. С. 123–126.*

<sup>16</sup> Более того, как свидетельствует современный архитектор, «громадность» — первородное, самодостаточное свидетельство сложности и нового социального «перепрограммирования» и потому, полагаю, противостоящая простой агитации «за» или «против». Архитектор называет эту «громадность» — *Bigness*, а русский переводчик, вслед за В. Паперным, переводит как «гигантизм»: «Трудно осознать и признать, что размер здания может играть роль идеологической программы сам по себе, независимо от тех или иных намерений архитектора. Из всех архитектурных категорий Гигантизм — единственная, которая, как кажется, не нуждается ни в каких манифестах. (...) только Гигантизм является благодатной почвой для режима сложности, требующего максимальной мобилизации интеллектуального потенциала архитектуры и смежных с ней областей. Сто лет назад настоящая лавина концептуальных прорывов и сопутствующих им технологических инноваций спровоцировала архитектурный Большой взрыв. Лифт, электричество, воздушные кондиционеры, сталь и, наконец, полностью модернизированная инфраструктура освободили людские потоки, сжали расстояния, уменьшили массу, увеличили объём сооружений и резко ускорили процесс строительства» (*Рем Колхас. Гигантизм, или Проблема Боль-*

нежели эстетика и индустриальный уклад, что подвергнет стройную дидактику теории «тоталитаризма» неприемлемому для Г. Люббе сильному риску ревизионизма. И научно разрушит её, как слишком простой комикс.

## ФАБРИКА

Обратимся, наконец, к труду Ханса Зедльмайра «Утрата середины» (1948), проигнорированному Б. Гройсом и Г. Люббе в их борьбе против советского коммунизма и тоталитаризма вообще. В нём дано ёмкое определение Gesamtkunstwerk как «истинного стиля» для разных эпох:

«все искусства в своих областях должны нести отпечаток одного и того же основного характера, как бы регулироваться из одного тайного жизненного центра... В полном смысле слова “единый” стиль существует только там, где искусство становится на службу *одной* совокупной задаче, а обширные области гештальтов остаются *за пределами* искусства. Отсюда — величественное стилистическое единство всех ранних периодов развитых культур, в которых мощный, сакрально единый гезамткунстверк<sup>17</sup> в качестве властной упорядочивающей силы всех искусств — а не только изобразительных — ведёт их своим путём. На Западе это непоколебимая стилистическая надёжность романского искусства, в основе своей знающего только *одну* задачу: Дом Божий (Dom) [Храм. — М. К.]»<sup>18</sup>.

Этот *Храм*, модель мира, реализует себя в разные эпохи как *церковь*, или *замок*, или (в барокко) как их синтез в *монастыре*. Видно, что схеме всепроникающего, тотального стиля историк кладёт живые реалистические пределы, для Gesamtkunstwerk считая достаточной только уже «одну задачу», волю к власти, моноидею, фокус, служащий

---

шого / Пер. с англ. М. Визеля [1994] // Рем Колхас. Мусорное пространство. М., 2015. С. 5–6).

<sup>17</sup> Так даёт в русском тексте слово Gesamtkunstwerk переводчик, историк искусства С. С. Ванеян. Ему в этом явно предшествовал советский биограф Вагнера, назвавший его образ «искусства будущего» тоже без перевода — «Гезамткунст» (А. А. Сидоров. Р. Вагнер. М., 1934. С. 148–149).

<sup>18</sup> Ханс Зедльмайр. Утрата середины [1948] / Пер. С. С. Ванеяна. М., 2008. С. 80–82.

центром бесконечной экспансии стиля внутри его реальной истории. Далее первое, что бросается в глаза русскому читателю этого труда, — это то, что Х. Зедльмайр в своём впечатляющем исследовании *Gesamtkunstwerk* — по свежим следам Третьего Рейха и с понятной сдержанностью в отношении советского «Третьего Интернационала» — прямо фиксирует свою интеллектуальную связь с кризисным религиозным, неревolutionонным опытом русской социально-христианской и традиционалистской мысли: активно использует формулы Бердяева, Вячеслава Иванова, Владимира Соловьёва. Даже русский авангард и его генетика от Гегеля и В. С. Соловьёва важны для автора потому, что их «основной пафос состоит в требовании перехода от изображения мира к его преобразению»<sup>19</sup>.

В масштабной исторической перспективе Х. Зедльмайр формулирует мощный исследовательский миф, выбирая его кульминационной точкой Французскую революцию. Он пишет, как перед Французской революцией 1789 года, примерно в 1760 году, «разразилась внутренняя революция невообразимого масштаба», «чудовищная внутренняя катастрофа»: «сложившееся тогда положение дел не удалось преодолеть ещё и сегодня, — ни в области духа, ни в практической области». Катастрофа состояла в том, что на второй план в создании искусства и архитектуры ушли главные задачи искусства: строительство синтетически *церкви* и *дворца-замка* прежних эпох были заменены на тот момент более дробными и прикладными задачами: строительства *ландшафтного парка, архитектурного памятника, музея, театра, выставки, фабрики*. «В отличие от прежних общих задач, в отличие от замка и церкви, новые задачи уже не представляют собой гезамткунстверков, которые указывают изобразительным искусствам их прочное место и чёткую тему. (...) Ничто так не иллюстрирует характер [этой] эпохи, как эта триада: памятник — тюрьма — музей. Во времена Французской революции во дни государственных праздников монументализация охватывает и человеческие массы. Вокруг алтарного куба собираются в могучие геометрические блоки безжизненно застывшие войска и народ: впервые именно в режиссуре этих государственных действ

<sup>19</sup> Ханс Зедльмайр. Утрата середины. С. 32–33, 49. Конкурируя с этим, Б. Гройс тоже пытается встроить В. С. Соловьёва в исследуемый контекст, но терпит явную неудачу, смешивая проповедуемую философом соборность с необоснованно вменяемым ему космизмом (*Борис Гройс. Gesamtkunstwerk Stalin*. С. 38, 49).

подчинение человека толпе становится непосредственно доступным взору»<sup>20</sup>, пишет историк. Но наступил XIX век — и на волне мощной индустриализации в Англии, Франции, германских землях новый Gesamtkunstwerk стала являть собой индустриальная архитектура:

«В [18]30-е годы утилитарная постройка [фабрика] и жилище становятся на короткое время задачами, таящими в себе лучшие и самые свежие достижения, в 1830–1850-е появляются предмодерные масштабные постройки выставок и рынков — из железа и стекла, авторами проектов которых становятся архитекторы, родившиеся в первые годы XIX века и впитавшие с младенчества образ мира французской революции и Бонапарта. — и так до столетия революции — Всемирной выставки в Париже в 1889 году и строительства Эйфелевой башни. Проект культурно-промышленной выставки появляется как единый Gesamtkunstwerk. Вавилонское соревнование науки и техники с Богом становится в повестке дня: “В течение XIX века всевозрастающее вторжение техники в жизнь Европы и вызванное ею разложение привычной целостной картины мира постепенно привели к переживанию смерти Бога или, точнее, убийства Бога, совершенного новым технизированным человечеством”»<sup>21</sup>.

Здесь следует добавить, что Эйфелева башня, построенная к Всемирной выставке в Париже 1889 года, отмечавшей столетие Великой Французской революции и внятно конкурировавшей с выставкой 1851 года в Лондоне, могла толковаться не только как ответ на её «Хрустальный дворец» (о его присутствии в идейно-архитектурном контексте см. ниже), но и выглядела как *завершённая до небес* Вавилонская башня, основанная на мощном фундаменте.

В описании очередной современной выставки, немецкой художественно-промышленной выставки в Дрездене 1906 года, русский экономист А. М. Рыкачёв (1876–1914) прямо вспоминал опыт лондонской выставки 1851 года, где, по его мнению, «коммерческие успехи молодой капиталистической промышленности стояли в печальном противоречии с качеством продуктов, с их эстетической ценностью». Теперь же, цитирует обозреватель участника выставки в Дрездене, производителя

<sup>20</sup> Ханс Зедльмайр. Утрата середины. С. 31, 48.

<sup>21</sup> Там же. С. 31–33, 37–38, 56, 69.

типовой массовой мебели, «мы должны вывести новый стиль мебели из духа самой машины». Несомненно, видя, но не произнося внятную аллюзию на «Рождение трагедии из духа музыки» Ф. Ницше (1872), русский автор договаривает немецкого производителя и ставит культурную задачу: **«Вывести новый стиль из духа машины»<sup>22</sup>**.

## НОВЫЙ ДВОРЕЦ

Важно, что одновременно с индустриализацией меняется представление о призвании архитектора и, значит, синтетического творца Gesamtkunstwerk: «Архитектор, который превратился в конструктора, хочет быть чем-то большим, чем просто конструктором зданий. Он становится реформатором жизни, реформатором-утопистом»<sup>23</sup>. «Смерть Бога» делает необходимой замену религиозной санкции в деле утверждения целостности мира — на технократическую<sup>24</sup>. При этом зыбкость границ для творческого произвола — даже производимого на позитивной основе инженерной и технической мысли — ясно осознавалась и таким самостоятельно (в рамках коммунистического марксизма) мыслящим философом, как М. А. Лифшиц (1905–1983): «Представьте себе, что перед нами не художник, а изобретатель. Он руководствуется принципом целесообразности. Это понятно. Но что если бы он однажды начал создавать не целесообразные конструкции, а те, которые соответствуют его эпохе... остаётся только неопределённость с одним критерием — не так было в другие эпохи». Здесь просматривается вопрос о стержне, критерии Большого стиля эпохи, лишённый ясности для М. А. Лифшица как антисталиниста:

<sup>22</sup> А. Рыкачев. Капитализм и искусство (Из впечатлений на выставке художественной промышленности в Дрездене) // Мир Божий. СПб., 1906. Октябрь [№ 10]. II о. С. 19, 27. Специальное лексико-семантическое исследование показывает, что в русском языке *машина* с начала XIX века неизменно означает, конечно, прежде всего *промышленную машину*, но во второй половине того века и в начале XX века — с дополнительными смыслами *сложной системы* и *человека-машины*, а собственно в начале XX века — и *паровоза-поезда* (Даниил Скоринкин. Машина // Два века в двадцати словах / Отв. ред. Н. Р. Добрушина, М. А. Даниэль. М., 2016. С. 103–112).

<sup>23</sup> Х. Зедльмайр. Революция современного искусства [1950] // Х. Зедльмайр. Утрата середины. С. 310.

<sup>24</sup> См. в русской традиции: Христос в век машин: Вопросы религии и общественной жизни. СПб., 1907.

«Возможно ли наше участие в эпохе? Почему так фатально? Чем руководствовались те, кто создал эту эпоху, которая подчиняет нас себе? Почему именно такой должна быть наша эпоха? (...) “культ” [Сталин. — М. К.] *вынужден был бороться против своей исходной среды*, которая сплошь пропиталась мелкобуржуазным “преображением жизни” (*Город против крестьянского нигилизма, хотя и деспотически*)... Государственный социализм Сталина как протекторат Кромвеля был более *широким и прогрессивным* (...) Нужно смотреть в корень явления, в истоки его, тем более, что так сейчас во всём мире. Отсюда это распространение модернизма, отсюда этот экзистенциализм, эта жажда свободы от “Моп”. И оборачивается это потом тоталитарным Heimatkunst. Это, так сказать, возвращение блудного сына домой»<sup>25</sup>...

Создал ли евроатлантический индустриализм в целом свой особый Gesamtkunstwerk, которому наследовал Сталин? Или индустриальный Gesamtkunstwerk создал только Сталин? Был ли вагнерианский коммунистический проект «тотального искусства» — ядром сталинского проекта<sup>26</sup>? Как минимум, видно, что это индустриальное «тотальное искусство» было неотъемлемой частью индустриально-полицейской биополитики Просвещения и Нового времени, в недрах которых вырос, созрел и предельно инструментализировался язык коммунизма и сталинизма.

Уже в XIX веке индустриализм торжествует, распространяя свои претензии на ландшафт, а главными характеристиками новых утилитарных архитектурных мегаобъектов становятся, по словам Зедльмайра, «объединение пространства, единое пространство, подавляющее, чуть ли не космических размеров», «*плоский свод, утверждение ширины*». Но при этом, по мнению Х. Зедльмайра, в XIX веке отсут-

<sup>25</sup> Мих. Лифшиц, *Varia* / Сост. В. Г. Арсланов. М., 2010. С. 51, 129–130.

<sup>26</sup> Во всяком случае, сталинская система просвещения, в отличие от Б. Гройса и Г. Люббе, не побоялась апеллировать к Вагнеру для установления контраста между ним и пришедшим к власти нацизмом: «В феврале 1933 г. весь цивилизованный мир отметил пятидесятилетнюю дату со дня смерти Рихарда Вагнера, великого музыканта, бывшего вместе с тем поэтом, драматургом, мыслителем и борцом». И напоминала о давней революционной связи наследия Вагнера с русскими коммунистами, напоминая, что «во время революции 1905–06 брошюра Вагнера [“Искусство и революция” (1849)] была дважды переведена на русский язык и снова дважды переиздана после Октября» (А. А. Сидоров. Р. Вагнер. М., 1934. С. 3, 143).

ствуует единый стиль, процветает «стилистический хаос»<sup>27</sup>... Gesamtkunstwerk Вагнера сам по себе не находит себе центрального образа в *фабрике*, а она не демонстрирует свои тотальные претензии на организацию не только искусства, но и жизни. Но уже первые аккорды советского коммунизма определённо вменияют вагнерианскому тотальному *сверхтеатру*, к которому автоматически апеллирует революционная интеллигенция, выросшая в культуре XIX века, именно *сверхфабрику* как главный экономический и технологический итог XIX века. Когда известный левый, но традиционалистски настроенный историк литературы П. С. Коган — президент РАХН (ГАХН), то есть настоящий генерал советской культурной и научной политики, — выступил с недостаточно революционной доктриной театра, он тут же — и что важно: изнутри глухой интеллигентской оппозиции Советской власти — был подвергнут критике за недостаточную радикальность программы. Вот что писал рецензент в известном органе литературной фронды:

«Заявляя, что “искусство должно стать ликующим трудом, а не развлечением” (стр. 42), П. С. Коган готов превратить театр в некую тоскливую артельную мастерскую в то время, как коммунистические идеалы говорят о фабриках-дворцах, стремятся облагородить повседневный труд искусством, стремятся ввести элементы искусства и красоты в весь будничный обиход человечества»<sup>28</sup>.

На смену феодальной Вавилонской башне *дворца-замка*, спасительно замыкающего в себе изолированное биологическое убежище *Ноева корабля-ковчега* и религиозное единство-убежище *храмового ковчега (нефа)*, приходит агрессивно-индустриальное соединение ландшафта и ковчега — Вавилонская башня большого индустриального объекта, будь он выставкой или *фабрикой* (и «Титаника» — как индустриального ковчега). Х. Зедльмайр пишет: «Около 1900 года ведущей задачей становится “дом машины”. Впервые ведущие художники начинают оформлять гаражи, фабрики, вокзалы, позже аэровокзалы... На примере фабрики отчётливее всего прочитываются новые

<sup>27</sup> Ханс Зедльмайр. Утрата середины. С. 80–82.

<sup>28</sup> Ал. Михайлов. [Рец.:] П. С. Коган. В преддверии грядущего театра. Изд. «Первина». Москва, 1921, С. 44 // Летопись Дома литераторов. № 4. 20 декабря 1921. С. 9.

идеалы»: «единое пространство, только задним числом расчленяемом на составные части», «отказ от монументального», экономичность. И далее:

«Поколение [архитекторов], родившись около 1885 года, искореняет последние остатки монументального. Это поколение, уравнилельски игнорируя сам предмет, переносит сформированный в утилитарном строительстве идеал на все без исключения строительные задачи: на жилой дом, театр, дворец, церковь. Внешне многие постройки теперь уже не отличить от фабрики». Эти «пространства, которые согласно своему существу предназначены для целостного человека, создать в качестве “целого” не удаётся... Они со всей определённой требуют, чтобы человек преобразился настолько, чтобы мог соответствовать данной сфере машин. (...) Когда накануне 1900 года новые материалы, бетон и железобетон, соединились с “голыми” формами, всплывшими вначале во времена Французской революции, — именно тогда возникает тоталитаризм “нового строительства”. И этот тоталитаризм находит своё самое последовательное выражение в фабриках, гаражах, зданиях под офисы. (...) Кажется, что революция инженеров, направленная против архитекторов, целевого строительства против трансцендентных притязаний “искусства”, закончилась тотальной победой новых сил. Но это объединение было куплено ценой диктатуры одной сферы — сферы фабрики — и продолжением невыносимого насилия со стороны естественных требований отдельных задач, чьи материальные претензии исполнялись, в то время как потребности душевные и духовные оставались неудовлетворёнными»<sup>29</sup>.

Умеренный французский социалистический политик Поль Луи (1872–1955) так излагал синтетический проект «научного социализма» XIX века в образах индустриализма и резюмировал его «картину будущего»: «Машина освободит рабочего, которого она вот уже больше века порабощает... Машинное производство является для человека неограниченным источником богатств... Грохочущая машина, разрезающий морские волны пароход, испускающая огненные языки доменная печь, мерные шаги пролетариев, идущих на дымящие фабрики или спускающиеся в рудники, — всё это целиком поглощает внима-

<sup>29</sup> Ханс Зедльмайр. Утрата середины. С. 71, 74–77, 91–93.

ние современного человека. Ему уж не приходится искать за облаками проявлений неземной воли»<sup>30</sup>.

Консенсуальный образ идеальной Машины как фабрики, завода, комбината может быть применён к исследуемой практике и как логическое фигуративное продолжение общемарксистских догм конца XIX и начала XX века о преимуществах крупного, коллективного, централизованного, сконцентрированного, часто — универсального производства, догм об абсолютном приоритете промышленности, именно тяжёлой промышленности, производства средств производства, технологически сложного производства вообще. «Государство-фабрика» — так резюмирует современный историк социализма<sup>31</sup> экономический идеал будущего, созданный главным теоретиком германской социал-демократии Карлом Каутским (1854–1938), которому он следовал и после 1917–1918 гг. И этот идеал был для него — и для массового читателя его пропагандистских трудов, которым большевики остались верны даже после того, как Каутский отлучил их от марксистской ортодоксии<sup>32</sup>, — не только этатистским и производственным, но и едва ли не экзистенциальным:

«Мы знаем, что на поле труда, удобренном трупами миллионов пролетариев, взойдёт семя новой, более совершенной общественной формы. Машинное производство составляет почву, на которой вырастет новое поколение... Оно не будет рабом природы, каковым был человек в эпоху первобытного коммунизма... Нет, это будет поколение гармонически развитое, жизнерадостное, самодеятельное! Оно будет властвовать над землёй и всеми силами природы и будет объединять всех членов общества узами братской солидарности»<sup>33</sup>.

<sup>30</sup> П. Луи. Французские мыслители и деятели XIX века: Социальная философия [1905]. М., 2011. С. 155, 156, 163.

<sup>31</sup> Александр Шубин. Социализм. «Золотой век» теории. М., 2007. С. 443.

<sup>32</sup> Многолетний исследователь личной библиотеки Сталина и его инскриптов на книгах этой библиотеки свидетельствует, что «Сталин штудировал в 20–30-х годах работы Каутского, которые и сейчас находятся в его библиотеке» (Б. С. Илизаров. Почётный академик Сталин и академик Марр. О языковедческой дискуссии 1950 года и проблемах с нею связанных. М., 2012. С. 156).

<sup>33</sup> Экономическое учение Карла Маркса в общедоступном изложении Карла Каутского [1888–1903] / Пер. А. О. Вайнштейна под ред. Э. Э. Эссена. Л.; М., 1925. С. 146 (См. в целом Главу X: «Машины и крупная промышленность»).

Тогда же Карл Каутский так описывал *научный* образ коммунизма, который на деле оказывается общим образом мира Просвещения:

«Лишь поскольку наблюдение природы становится завоеванием природы... И лишь по мере того, как растёт власть человека над природой, лишь по мере технического прогресса, расширяется также область научного исследования природы (...) Когда средства производства будут вырваны из праздных и бессильных рук капиталистов и станут общим достоянием всей нации, тогда на земле снова наступит счастье и мир для всех. Ибо общество подчинит себе производительные силы, как оно подчинило себе силы природы»<sup>34</sup>.

Если искать непосредственный образец для этой социалистической картины в исторических образах индустриализма как принципа организации природы, общества и труда, вырастающего из капитализма и преодолевающего его, то он выглядит гораздо привлекательнее и, главное, уже является готовым актом Большого стиля. Здесь следует воспользоваться путеводителем, который составил германский катедер-марксист Вернер Зомбарт (1863–1941). В истории социального движения в ряду крупнейших событий он назвал первую Всемирную торгово-промышленную выставку в Лондоне в мае–октябре 1851 года<sup>35</sup>, для размещения которой был — практически одновременно с манифестом Gesamtkunstwerk Р. Вагнера — построен из стекла и стали «Хрустальный дворец» (Crystal Palace. Лондон, Sydenham Hill, 1851: Илл. 1.), ставший началом и классикой индустриальной архитектуры и модерна, живым образцом промышленного Большого стиля, который очевидным образом архитектурно и, так сказать, утопически вдохновлялся знаменитым коммунистическим фаланстером Шарля Фурье (1772–1837)<sup>36</sup>, в котором уже был заложен принцип локаль-

<sup>34</sup> Карл Каутский. Что хочет и может дать материалистическое понимание истории [1896] // Исторический материализм. Дискуссии, размышления, философские проблемы / Сост. С. Бронштейн. М., 2011. С. 47.

<sup>35</sup> См. отдельное русское издание его хронологии: Вернер Зомбарт. Хронологическая таблица социального движения (1750–1905) / Пер. Ф. Н. Латернера. СПб., 1906. С. 7.

<sup>36</sup> «Улица-галерея — это наиболее важная часть. Те, кто видел галерею Лувра в Париже, могут её рассматривать как образец улицы-галереи в строе гармонии» (Ш. Фурье. Новый промышленный и общественный мир или изобретение ме-



Илл. 1. Дж. Пакстон. Хрустальный дворец (1851). Илл.: [sil.si.edu](http://sil.si.edu).

ного соединения труда и быта. Образцом Запада эта выставка стала и для первого манифеста русских славянофилов — в «Московском сборнике»<sup>37</sup>. А «Хрустальный дворец» — не только образцом индустриального современного здания дворца, железнодорожного вокзала, универсального магазина, но и — в зависимости от политических предпочтений — символом прогресса<sup>38</sup> — промышленного мира, ка-

тогда привлекательной и естественной индустрии, организованной по сериям, построенным на страстях / Пер. И. А. Шапиро. М., 1939 (Ш. Фурье. Избранные сочинения / Под ред. А. Дворцова. Т. II). С. 126). См. традиционное изображение внешнего вида фаланстера в социалистическом издании: *Август Бебель*. Шарль Фурье, его жизнь и учение. С приложением портрета Фурье и вида фаланстера / Пер. Д. Майзеля и В. Сережникова под ред. В. Базарова. СПб., 1906 (Дешёвая библиотека товарищества «Знание»). С. 229.

<sup>37</sup> *Александр Кошелев*. Поездка Русского земледельца в Англию и на Всемирную выставку // Московский сборник. [Под редакцией И. С. Аксакова] Том I. М., 1852.

<sup>38</sup> Именно в этом, потребительском образе универсального прогресса он был избран очевидным образцом для комплекса Верхних торговых рядов в Москве (1893, ныне — ГУМ, во времена СССР — Государственный универсальный магазин). В очерке истории гостиницы «Метрополь» в Москве (1905) художественный критик решил суммировать архитектурную историю, современные и городские мифы об этой современной постройке. Это неизбежно ввело его в контекст «вавилонского мифа» и даже вынудило его следовать традиционному универсальному шаблону *«Метрополь» как Gesamtkunstwerk*, который он, впрочем, истолковал как «синтез искусств» в модерне: «Это даже не здание, это арт-объект, инсталляция, музей под открытым небом. Такого количества искусства, как на его стенах, нет в Москве нигде» (*Николай Малинин*. Метрополь: московская легенда [М., 2015]. С. 139–140). По замыслу С. И. Мамонтова, автора идеи «Метрополя» **как театра** и пространства вокруг него, это единое здание толкуется как «фактически “город в городе”» (С. 45). При этом прообраз «Метрополя», русский автор Н. Малинин — не сам, а исключительно при помощи Вальтера Беньямина! — увидел в «городе пассажей» в фаланстере Фурье и русской его, фаланстера, версии, в «четвёртом сне Веры Павловны» в «Что делать?» Н. Г. Чернышевского (С. 46–47), а вовсе не в «Хрустальном дворце». Впрочем, и В. Беньямин, вероятно, не сам обратил внимание на сон Веры Павловны. В качестве доказательства не «мелкобуржуазной», то есть крестьянской, а пролетарской, **индустриальной** (а не потребительски магазинной) революционности Чернышевского, на «сон Веры Павловны» первым указал Н. А. Бердяев. Он заключал: «В этом сне картина будущего рисуется на основе **крупного общественного производства**, в духе Фурье» (*Н. А. Бердяев*. Субъективизм и индивидуализм в общественной философии. Критический этюд о Н. К. Михайловском [1901]. М., 1999. С. 84, прим. 5). И всё же Н. Малинину принадлежит важная справка: после пожара уже почти построенного здания «Метрополя» (крупная массовая) газета «Русское Слово», похоже, апеллируя к массово принимаемому образу, писала: «наконец, пожар прекратил дальнейшую постройку этой Вавилонской башни двадцатого века» (*Н. Малинин*. Метрополь: московская легенда. С. 186). Когда здание всё же было построено в виде отеля миро-

питализма или коммунизма. Американский эпический поэт Уолт Уитмен (1819–1892), откликаясь в своём сборнике «Листья травы» (1855), несомненно, на лондонский выставочный дворец «Песнью о выставке», развил его промышленный миф до мифа управления природными материалами в целом и соединении всех процессов этого управления в одном месте — нового Вавилона:

...О, мы построим здание  
Пышнее всех египетских гробниц,  
Прекраснее храмов Эллады и Рима.  
Твой мы построим храм, о пресвятая индустрия...

Я вижу его, как во сне, наяву (...)  
Громоздится этаж на этаж, и фасады  
из стекла и железа (...)

В стенах её собрано все, что движет людей  
к совершеннейшей жизни,  
Всё это испытывается здесь, изучается,  
совершенствуется и выставляется всем напоказ.

Не только создания трудов и ремесел,  
Но и все рабочие мира будут представлены здесь.

Здесь вы увидите в процессе,  
в движении каждую стадию каждой работы,  
Здесь у вас на глазах материалы будут,  
как по волшебству, менять свою форму (...)

И это, всё это, Америка, будут твои пирамиды и  
твои обелиски,  
Твой Александрийский маяк, твои сады Вавилона,  
Твой Олимпийский храм<sup>39</sup>.

---

вого класса, аналогия была поддержана поэтом С. М. Соловьёвым (1885–1942): «Как новый Вавилон, воздвигся Метрополь» (С. 201).

<sup>39</sup> Перевод Корнея Чуковского.

Даже либеральные критики консервативных тенденций как архаических внутри капиталистической, всемирной и интернациональной современности мыслили в привычном сопоставлении символов индустриализма с Вавилонской башней. Критик русской консервативной реакции в лице авторов сборника «Вехи» (1909) П. Н. Милюков (1859–1943) пытался дискредитировать этим сравнением новых консерваторов: «они возвели свой небоскрёб. Небоскрёб оказался, при ближайшем рассмотрении, Вавилонской башней. (...) Проверка всей этой ультрамодерной постройки обнаружила под ней весьма устарелую и заплесневевшую модель»<sup>40</sup>. Но такой Милюков в культуре своего времени был одинок.

Известный революционно-консервативный критик одновременно либерализма и интернационализма — в воспроизводстве «вавилонского» мифа был более точен и в своей проповеди континентального национализма отталкивался от более общепризнанного понимания Вавилона. Идеолог-основатель евразийства Н. С. Трубецкой (1890–1938) формулировал такую радикальную дихотомию под стать отвергаемому им большому стилю и вселенскости христианства в пользу неопитского этнофилетизма: «интернациональная культура eo ipso безбожна и ведёт только к сооружению Вавилонской башни; множественность языков (и культур) установлена Богом для предотвращения новой Вавилонской башни; всякое стремление к нарушению этого Богом установленного закона истории — безбожно; истинные духовные ценности может творить только культура национально-ограниченная; христианство выше культур и может освящать любую национальную культуру, преобразуя

<sup>40</sup> П. Н. Милюков. Интеллигенция и историческая традиция [1910] // Вехи [1909]; Интеллигенция в России [1910]: Сборники статей. М., 1991. С. 378. Ясно, что такой критик политической архаики абсолютной монархии, как Милюков, в своей публицистике не хотел видеть технологических последствий модерна, даже в воспроизведении архетипа Большого стиля, свободного от архаики и творящего новую тотальность новыми инструментами. Однако в культуре того времени, например, даже новый для неё сверхиндустриальный образ небоскрёба как реализованной действительно ввысь, а не вширь, Вавилонской башни, в прежней индустриальности мало отличимый от казармы, находил всё новые, именно технологические по сути, образные глубины. Новый пафос небоскрёба-цивилизации хорошо иллюстрируется универсалией *лифта*: где неперемный для небоскрёба лифт изнутри характеризует одновременно разные стороны его как нового Вавилона: «замкнутость пространства, скорость, направленность движения вверх... связь с потусторонним миром» (Т. А. Тернова. Лифт как универсалия цивилизации в литературе авангарда футуристического вектора развития // Универсалии русской литературы. 6 / Научн. ред. А. А. Фаустов. Воронеж, 2015. С. 226).

её, но не уменьшая её своеобразия; как только в христианстве начинается дух интернационализма, оно перестаёт быть истинным»<sup>41</sup>.

## ДВОРЕЦ-КАЗАРМА

Один из первых систематических трудов по истории советского коммунизма как политико-экономического режима и идеологической практики, оставшийся, однако, вне должного внимания мировой историографии, поскольку вышел в свет уже после пика послевоенной анти-сталинской литературы и одновременно с началом продвижения на Западе «теории тоталитаризма» К. Фридриха и З. Бжезинского (1956), в своей детализированной критике «тоталитаризма» как самозарождённого зла невольно и анонимно затронул и его общие современные основания, когда апеллировал к авторитету Ф. М. Достоевского. Авторы из круга профессиональных антикоммунистов периода «холодной войны» США против СССР — русского эмигрантского Национально-Трудового Союза (НТС) — писали: «Великий защитник свободы человека, провидец большевистской революции — Достоевский с ненавистью именвал эту утопическую картину [коммунизма] “муравейником”, “хрустальным дворцом”, “многоэтажным домом с квартирами для бедных жильцов”...»<sup>42</sup>. Критики советского коммунизма явно — к позору своему — упустили, что писатель образом тогдашнего общеевропейского проекта коммунизма избрал «вавилонский» по масштабу и духу именно *британский апологетический* по отношению к «свободе торговли» и капитализму «Хрустальный дворец». Достоевский вспоминал о своём посещении Лондона и вавилонских коннотациях этого «Хрустального дворца» именно как о торжестве капитализма<sup>43</sup>.

<sup>41</sup> Н. С. Трубецкой. Письма к П. П. Сувчинскому, 1921–1928 / Сост. и подг. текста К. Б. Ермишиной. М., 2008. С. 51 (письмо от 18 июля 1923). Здесь он излагает центральные тезисы своей будущей статьи: Н. С. Трубецкой. Вавилонская башня и смешение языков // Евразийский временник. Непериодическое издание под редакцией Петра Савицкого, П. П. Сувчинского и кн. Н. С. Трубецкого. [Утверждение евразийцев.] Книга третья. Берлин, 1923.

<sup>42</sup> [Р. Н. Редлих, С. А. Левицкий, Н. И. Осипов]. Большевистские мифы и фикции // Очерки большевизмоведения / Институт изучения СССР при Национально-Трудовом Союзе / [Под ред. Р. Н. Редлиха]. [Frankfurt/Main] 1956. С. 31.

<sup>43</sup> В советской детской литературе образ Вавилона как символа капитализма — системы эксплуатации, репрессий и потребительского подкупа масс с целью их дебилизации и буквального превращения в бараны стада — стоял в центре из-

«буржуазный порядок в высочайшей степени, эта отравленная Темза, этот воздух, пропитанный каменным углем, эти великолепные скверы и парки, эти страшные углы города, как Вайтчепель, с его полуголым, диким и голодным населением. Сити с своими миллионами и всемирной торговлей, кристальный дворец, всемирная выставка... Да, выставка поразительна. Вы чувствуете страшную силу, которая соединила тут всех этих бесчисленных людей, пришедших со всего мира, в едино стадо; вы знаете исполинскую мысль; вы чувствуете, что тут что-то уже достигнуто, что тут победа, торжество. Вы даже как будто начинаете бояться чего-то. Как бы вы ни были независимы, но вам отчего-то становится страшно. Уж не это ли, в самом деле, достигнутый идеал? — думаете вы; — не конец ли тут? не это ли уж и в самом деле, “едино стадо”. Не придется ли принять это, и в самом деле, за полную правду и занеметь окончательно? Все это так торжественно, победно и гордо, что вам начинает дух теснить. Вы смотрите на эти сотни тысяч, на эти миллионы людей, покорно текущих сюда со всего земного шара, — людей, пришедших с одною мыслью, тихо, упорно и молча толпящихся в этом колоссальном дворце, и вы чувствуете, что тут что-то окончательное совершилось, совершилось и закончилось. Это какая-то библейская картина, что-то о Вавилоне, какое-то пророчество из Апокалипсиса, в очию совершающееся»<sup>44</sup>.

А вот гуру русской «революционной демократии» Н. Г. Чернышевский (1828–1889) одновременно, в 1863 году, в своей картине антикапиталистического будущего изобразил именно символическую «копию» этого Хрустального дворца:

«...ты хочешь видеть, как будут жить люди, когда царица, моя воспитанница, будет царствовать над всеми? Смотри. Здание, громадное, громадное здание

---

вестнейшей политической сказки Н. Н. Носова (1908–1976) «Незнайка на Луне» (1965) — в виде центрального капиталистического города «Давилон» (в этом имени соединено название *Вавилон* и коннотации *давки* (русского фразеологизма «вавилонское столпотворение» как обозначения хаотичной большой толпы, а вовсе не творения *стола*) и *давления* — эксплуататорского «выжимания соков» из трудящихся). Коннотации *давки* и *сплетения* звучат в народном понимании слова «вавилонны» как «переплетения узоров волнистыми линиями» и как «ям, вырытых по берегу (реки) для хранения пойманной рыбы» (Словарь иностранных слов, вошедших в употребление в русском языке. М., 1911. С. 72).

<sup>44</sup> Ф. М. Достоевский. Зимние заметки о летних впечатлениях (1863).

(...) что ж это, какой оно архитектуры? Теперь нет такой; нет, уж есть один на-мёк на нее, — дворец, который стоит на Сайденгамском холме: чугун и стекло, чугун и стекло — только. Нет, не только: это лишь оболочка здания, это его наружные стены; а там, внутри, уж настоящий дом, громаднейший дом: он покрыт этим чугунно-хрустальным зданием, как футляром; оно образует вокруг него широкие галереи по всем этажам. Какая легкая архитектура этого внутреннего дома, какие маленькие простенки между окнами, — а окна огромные, широкие, во всю вышину этажей! Его каменные стены — будто ряд пилястров, составляющих раму для окон, которые выходят на галерею. Но какие это полы и потолки? Из чего эти двери и рамы окон? Что это такое? серебро? платина? Да и мебель почти вся такая же (...) Везде алюминий и алюминий, и все промежутки окон одеты огромными зеркалами. (...) И повсюду южные деревья и цветы; весь дом — громадный зимний сад. Но кто же живёт в этом доме, который великолепнее дворцов? (...) По этим нивам рассеяны группы людей; везде мужчины и женщины, старики, молодые и дети вместе. (...) Почти всё делают за них машины...»<sup>45</sup>

И именно на этот коммунистический проект, равно эксплуатирующий и присваивающий образы коммунистического фаланстера и капиталистического «Хрустального дворца», затем отреагировал Достоевский, когда в следующем, в 1864 году писал:

«Тогда-то, — это всё вы говорите, — настанут новые экономические отношения, совсем уж готовые и тоже вычисленные с математическою точностью, так что в один миг исчезнут всевозможные вопросы, собственно потому, что на них получатся всевозможные ответы. Тогда выстроится хрустальный дворец... (...) Страдание, например, в водевилях не допускается, я это знаю. В хрустальном дворце оно и немислимо: страдание есть сомнение, есть отрицание, а что за хрустальный дворец, в котором можно усумниться? (...) Вы верите в хрустальное здание, навеки нерушимое, то есть в такое, которому нельзя будет ни языка украдкой выставить, ни кукиша в кармане показать. Ну, а я, может быть, потому-то и боюсь этого здания, что оно хрустальное и навеки нерушимое и что нельзя будет даже и украдкой языка ему выставить»<sup>46</sup>.

<sup>45</sup> Н. Г. Чернышевский. Что делать? (1863). Глава XVI. Четвёртый сон Веры Павловны. [Главка] 8.

<sup>46</sup> Ф. М. Достоевский. Записки из подполья (1864). Главы VII, IX, X.

Так Достоевский придал — специально для России — коммунистическому мифу образ высшего достижения современного индустриализма, осудив таким образом коммунизм как естественный плод капитализма — вместе с его истоком. Антикоммунисты из НТС, видимо, не входили так глубоко в детали истории образа, а опирались не на источник, а на хрестоматийно известный труд неонародника Р. А. Иванова-Разумника (1878–1946), в котором тот, выступая в защиту своего индивидуалистического учителя Н. К. Михайловского от коллективистского марксизма писал, что для первого важнее личность сейчас, а для второго — класс и человечество завтра:

«Конечная цель марксизма — это грядущий рай на земле, этот тот *Zukunftstaat*, который Достоевский называл “Хрустальным дворцом”...»<sup>47</sup>

В романе-утопии врача-исследователя, философа, большевика-практика и основателя системы пролетарского классового искусства «Пролеткульт» А. А. Богданова (1873–1928) «Красная звезда» (1907) дано описание гигантского коммунистического города-завода, которое близко следует образу лондонского «Хрустального дворца» и его отражению в романе Чернышевского «Что делать?» — это многофункциональное, многоуровневое (многоэтажное) строение из стекла и металла<sup>48</sup>. А в столь же фантастическом рассказе «Праздник бессмертия» (1914) Богданов вскрывает «вавилонский» масштаб подобной постройки: «На месте городов сохранились коммунистические центры, где в громадных многоэтажных зданиях были сосредоточены магазины, школы, музеи и другие общественные учреждения». А один из руководящих героев этого рассказа продолжал множить эти циклопические образцы и был «занят сооружением грандиозной башни, величиною с Эльбрус»<sup>49</sup>. Именно в «городов вавилонские башни» помещает себя герой поэмы Владимира Маяковского «Облако в штанах» (1915).

Современный российский теоретик географии обнаруживает в организации и централизации любого «культурного ландшафта» доминанты, которые символически рифмуются с образом Вавилонской

<sup>47</sup> *Иванов-Разумник. История русской общественной мысли [1906–1918]. В 3-х т. Т. 3. М., 1997. С. 98.*

<sup>48</sup> *А. А. Богданов. Красная звезда. Часть II. Глава II. На заводе.*

<sup>49</sup> *А. Богданов. Праздник бессмертия. Избранные произведения. СПб., 2014. С. 353, 357.*

башни: узловыми районами такого ландшафта — крупные города (агломерации) и горы. Он пишет: «Города создают вокруг себя зоны и предпосылки сгущения жизни. Горы создают у своих подножий особые условия для биоценозов». И вместе они создают то, что географ называет «большим стилем ландшафта»<sup>50</sup>. Библейский образ Вавилонской башни в массовом сознании, несомненно, был, прежде всего, образом (почти построенной) гигантской Башни *как целого изолированного мира, отдельного города*<sup>51</sup>, а не символом Божьего гнева и разноязычия, уничтожившего строительство. Именно такова известная Вавилонская башня у Брейгеля. И в советском массовом сознании она рифмовалась с родственным образом из русского народного сознания, в котором сказочно фигурирует посреди моря Рыба-Кит («чудо-юдо рыба-кит»), по описанию П. П. Ершова (в «Коньке-Горбунке», 1834), на спине которого выросло целое село, окружённое пахотными землями<sup>52</sup>.

Осваивая, похоже, информацию о строительстве ДнепроГЭСа в ряду первых гигантских сталинских строек в 1927–1932 годах, советское массовое сознание описало её в категориях Вавилона. Пропагандист автоматически записал как нелепый слух, распространявшийся в рабочей казарме текстильной фабрики недалеко от Муром: «Большевики строят огромную башню на Днестре, которая провалилась»<sup>53</sup>.

Схему, сходную с концепцией Х. Зедльмайра в применении к практике революционного искусства, задолго до этого историка искусства, отталкиваясь от опыта архитектуры, изложил классик авангарда Казимир Малевич (1879–1935). «Тотально» обращаясь прямо к материальной ос-

<sup>50</sup> Владимир Каганский. Города как горы — горы как города [1996] // В. Л. Каганский. Культурный ландшафт и советское обитаемое пространство. Сб. ст. М., 2001. С. 97, 100–101, 115. См. также: О. А. Ливинская. Понятие культурного ландшафта в отечественной географии // Псковский регионологический журнал. Вып. 14. Псков, 2012.

<sup>51</sup> Впрочем, в своём тексте, посвящённом языковой множественности и переводу, Ж. Деррида, напротив, исходит не из разноязычия, а из архетипа, отмеченного Вольтером в его статье о Вавилоне в «Философском словаре»: «Я не знаю, почему в книге Бытия сказано, что Вавилон (Babel) означает смешение, поскольку на восточных языках “Ба” (Ba-) означает отец, а “Вил” (Bel) означает Бог, Вавилон означает град Божий, град святой» (Жак Деррида. Вокруг Вавилонских башен [1985] / Пер. В. Лапицкого. СПб., 2002).

<sup>52</sup> При желании в этом можно увидеть модель-пародию на «Изолированное государство» И. Г. Тюнена (1826), окружённое пахотными землями.

<sup>53</sup> В. Ермилов. Быт рабочей казармы. М.; Л., 1930. С. 19.

нове бытия и к смерти как изменению его формы, Малевич систематизирует формы бытия и человеческого общества в уже знакомых категориях: «Бытие направляет моё сознание. Куда? В одном случае понимания бытия к храму, в другом — к фабрике, в третьем — к художеству, т.е. в ту сторону, которой нет в самом бытии. В бытии нет ни храма, ни академии, ни фабрики»<sup>54</sup>. Следовательно, именно творческая воля, «художество», творение целого и создаёт формы бытия. Такое творение целого, как сказано, и есть Gesamtkunstwerk. И это целое — не только некоторая историческая модельная абстракция, в разной степени внятности подчиняющая (но имеющая своей целью одинаково подчинить) все формы творчества Большому стилю<sup>55</sup>. Это — единое здание технологий, производства, науки и знаний, которое даже в применении естественных наук мыслит себя как Gesamtkunstwerk. Ревниво утверждая образ своего тотального искусства, Малевич не случайно избрал объектом своих критических атак здание Казанского вокзала в Москве, построенного по проекту архитектора А. В. Щусева (1917–1919). Малевич упорно стремился доказать, что Щусев не понял, не почувствовал и не реализовал синтетическую природу вокзала как постройки, фокусирующей в себе главные интуиции и задачи Большого стиля и его городской утопии. Он писал: «Задавал ли себе строитель вопрос, что такое вокзал? Очевидно, нет. Подумал ли он, что вокзал есть дверь, тоннель, нервный пульс трепета, дыхание города, живая вена, трепещущее сердце? Туда, как метеоры, вбегают железные 12-колёсные экспрессы; задыхаясь, одни вбегают в гортань железнодорожного горла, другие выбегают из пасти города, унося с собою множества людей, которые, как вибрионы, мечутся в организме вокзала и вагонов. (...) Вокзал — кипучий вулкан жизни, там нет места покою»<sup>56</sup>. И вновь:

<sup>54</sup> *Казимир Малевич. Архитектура как степень наибольшего освобождения человека от веса [1924] // Казимир Малевич. Чёрный квадрат [Статьи об искусстве и манифесты]. СПб., [2014]. С. 167.*

<sup>55</sup> Исследователь цитирует черновую формулу К. Малевича, близкую к пониманию Gesamtkunstwerk: «архитектура будущего примет формы супрематические, необходимо будет вырабатывать и весь ансамбль формы, тесно связанный с архитектурой» и далее — «синтез архитектурного здания наступит тогда, когда формы вещей, в нём находящихся, будут связаны единством их формы и цвета» (*Ю. А. Грибер. Градостроительная живопись и Казимир Малевич. М., 2014. С. 28*).

<sup>56</sup> *К. Малевич. Архитектура как пощёчина бетоно-железу [1918] // Красный Малевич. Статьи из газеты «Анархия» / Сост. Т. Батыров. М., 2016. С. 39.*

«Вот вам наглядный образец у нас в Москве. Постройка Казанского вокзала, где, как ни здесь, можно создать памятник нашего века? Но разве понятна была задача, разве архитектор уяснил себе вокзал? Вокзал — дверь, тоннель, первый пульс, дыхание города, отверстие живой вены, трепещущее сердце. (...) Комок, узел, связанный временем жизни. (...) Мир мяса и кости ушёл в предание старого ареопага. Ему на смену пришёл мир бетона, железа. Железо-машинно-бетонные мышцы уже двигают наш обновляющийся мир. Мы — молодость XX века — среди бетона, железа, машин в паутине электрических проводов, будем печатью новой в проходящем времени»<sup>57</sup>.

Литературный образ вокзала как символа прогресса, в архитектурной и инженерной традиции более всего связанного с внешним обликом лондонского «Хрустального дворца», для русских радикалов дополнительно восходил к культу В. Г. Белинского. Толкуя рассказ Достоевского о Белинском<sup>58</sup>, Н. В. Устрялов (1890–1937) писал: «Наши отцы и деды, воспитанные на бессмертных принципах <17>89 года и горевшие пафосом служения общественного, трогательно верили в незыблемость начал исторического преуспеяния. (...) Нельзя забыть благородный образ Белинского: больной, умирающий, он приходил ежедневно взглянуть на первый строившийся тогда в России вокзал. Этот вокзал был для него великим символом, своего рода моральной иконой, — верным документом торжествующего прогресса»<sup>59</sup>.

## МАШИНА

О присущем эпохе индустриальном превращении науки, позитивного знания в проективное искусство как область производства великий французский историк Люсьен Февр (1878–1956) сказал так: «Бертло говорил в 1860 году об органической химии, основанной на синтезе.

<sup>57</sup> К. Малевич. Мир мяса и кости ушёл [1918] // Там же. С. 147–148.

<sup>58</sup> Достоевский вспоминал в «Дневнике писателя» 1873 года о Белинском начала 1847-го: «Раз я встретил его часа в три пополудни у Знаменской церкви. Он сказал мне, что выходил гулять и идёт домой. — Я сюда часто захожу взглянуть, как идёт постройка (вокзала Николаевской железной дороги, тогда ещё строившейся). Хоть тем сердце отведу, что постою и посмотрю на работу: наконец-то и у нас будет хоть одна железная дорога».

<sup>59</sup> Н. В. Устрялов. Проблема прогресса [1931]. М., 1998. С. 3–4.

Опьянённый первыми её успехами, он восклицал: «Химия сама творит свои объекты!»... современные учёные всё чаще и чаще определяют Науку именно как творчество, являют её нам в момент «создания своих объектов» и подчёркивают постоянное вмешательство в неё самого исследователя — его воли, его творческой активности»<sup>60</sup>. Посетив СССР, лично связанный с русскими Джон Кейнс (1883–1946) с готовностью отказался от леса экономических формул в своём критическом описании практического коммунизма и поддержал в его образе проективно-символический синтез органицизма и сциентизма, который ничем не отличается от позитивистского пафоса XIX века, который хорошо видит массовое социальное и легко игнорирует его, прикрывшись энтузиазмом «социальной гигиены». «Временами ощущается, что именно здесь, — несмотря на бедность, глупость и притеснения, — Лаборатория Жизни», — писал об СССР Кейнс<sup>61</sup>.

Предчувствие русского писателя, высказанное из глубины французского фронта Первой мировой войны, прямо оперировало Машиной: «Как-то рождается вопрос, какой будет война через сто лет, и встают видения не то апокалипсиса, не то утопического романа (...) я скорее чувствую, чем познаю этого страшного бога — Машину»<sup>62</sup>. Современный

<sup>60</sup> Люсьен Февр. Как жить историей [1941] // Люсьен Февр. Бон за историю / Пер. А. А. Бобовича, М. А. Бобовича, Ю. Н. Стефанова. М., 1991. С. 35.

<sup>61</sup> Джон Кейнс. Беглый взгляд на Советскую Россию [1925] // Джон Кейнс. Впечатления о Советской России. Должно ли государство управлять экономикой / Пер. Э. Лаврик. М., 2015. С. 74.

<sup>62</sup> Илья Эренбург. Лик войны [Октябрь 1916] // Илья Эренбург. Лик войны. Воспоминания с фронта, 1919, 1922–1924. Газетные статьи, 1915–1917 / Изд. подг. Б. Я. Фрезинский. СПб., 2014. С. 229. С тем же почти восхищением писал из Франции эсэр Б. В. Савинков: «Война стала машинной. Так говорят газеты, так говорят обыватели, так говорят даже те, которые дерутся в траншеях... Немцы 40 лет готовились к этой войне. Они предвидели значение машины. Они создали её, эту губительную машину. Они поклонились ей... И только через два с половиной года войны французы в неодушевлённом, в машинном, в производственном, в наживном сравнялись с ними и даже их превзошли» (Б. Савинков. Во Франции во время войны. Сентябрь 1914 — июнь 1915 [1916]. М., 2008. С. 251–252). Ср.: «Будущая война — это война механизированная. Каждая страна будет превращена в огромную фабрику средств истребления. Мотору в деле механизированного убийства будет принадлежать решающее место» (Задачи Коммунистического Интернационала в борьбе против войны и военной опасности. Тезисы [Восьмого пленума ИККИ, 18–30 мая 1927] // Коммунистический Интернационал в документах. Решения, тезисы и воззвания конгрессов Коминтерна и пленумов ИККИ. 1919–1932 / Под ред. Бела Куна. М., 1933. С. 705).

исследователь Валерий Подорога детализирует индустриальный Gesamtkunstwerk с высоты опыта XX века и науки XX века о новом времени:

«В центре европейского и русского авангарда — Великая Машина в своих самых различных ипостасях. В отличие от модернистской эпохи, где ещё не сформировался настоящий интерес к науке, её техническим возможностям и машинам. Западноевропейский авангард принял машину как род новой, высшей Реальности, заместившей собой старую, — реальность Природы. Машина, вытесняющая природное, и есть ожидаемая, “обесчеловеченная” новая Природа. Что такое Революция, как не процесс творения новой Мегамашины? Разве она могла стать возможной, если бы не обладала такой машиной, способной разрушить прежний политический строй (...) Общее представление о Машине можно разбить на классы, каждый из которых предполагает соответствующую машину. Классы эти следующие: первый, технические машины...; второй, социальные (сюда можно отнести педагогическо-ортопедические, медицинские, паноптические или следящие-надзирающие, бюрократические, милитарные, террористические, имперские (территориальные) и пр.); третий, биомашины или машины органические, репродуктивные (самовоспроизводящиеся); четвёртый класс машин, которые не относятся прямо ни к одному, ни к другому классу, они — “между”, это машины сновидные, воображаемые или фантастические (литературные, театральные, архитектурные и пр.)...»<sup>63</sup>

Трудно избавиться от впечатления, что этот подробно описанный Валерием Подорогой образ Машины, в котором сливается пафос индустриального Запада и советского коммунизма, в авангардном и творческом его, коммунизма, прочтении — стоит на пути к его художественной реабилитации. А «обесчеловечение» более остаётся на совести западного капитализма, уличённого в обесчеловечении ещё в категориях Карла Маркса. Новая, коммунистическая тотальность Машины здесь выглядит, скорее, как охлаждённая временем цветистая утопия Каутского, нежели чем суровая индивидуалистическая антиутопия Евгения Замятина (1884–1937) в романе «Мы» (1920) — просто хотя бы по историческим и биографическим причинам вдохновлена

<sup>63</sup> Валерий Подорога. Номо ex machina. Авангард и его машины. Эстетика новой формы // Логос. М., 2010. № 1 (74). С. 22, 27.

она была вовсе не коммунизмом, а уже состоявшимся современным опытом Англии, хотя в романе непрерывно проступает след «Что делать?» Чернышевского<sup>64</sup>. Бывший революционный социал-демократ Е. И. Замятин до предела минимизирует даже сексуальную индивидуальность «нумера» (бывшего человека) внутри «вечного, великого хода» интегральной «Машины», пронизанной «Часовой Скрижалью» и подчиняющей Вселенную «благодетельному игу разума»<sup>65</sup>.

Этой тотально примитивной, *унифицирующей* формуле замятинской индустриальной антиутопии противостоит тотально *всепроницающая сложность* утопии Революции. Авангардная и творческая Машина Революции порождает жизнестроительный пафос даже в индустриализме, а античеловеческая Машина капитализма его уничтожает на уровне биологического воспроизводства. И если начальником тотальной Машины (её мозгом — даже в статусе замятинского «нумера») и поэтому — начальником побеждённой Природы становится новый Человек, то это — не более чем взгляд нового Бога-творца на подвластные стихии, объединённые в новом Большом стиле, среди которых одной из стихий должно стать и подвластное (независимо от политической окраски) Машине творца человечество. Протестующий против этого в защиту частной жизни лица и непобеждённой природы М. М. Пришвин (1873–1954) записал в своём дневнике 17 февраля 1944 года, что сам принцип производственного объединения человечества содержит в себе акт и перспективу не только принуждения, но и дегуманизации:

«Возражения коммунистам: можно объединить людей духовно (как в церкви), без принуждения, а всякая организация людей в отношении производства материальных ценностей должна сделаться принудительной, как всякая механизация, и тот идеальный человек, “пролетарий” есть человек выдуманный, механический Робот»<sup>66</sup>.

В своей доктрине коммунисты много полагались на мечту о том, как роботизированное коммунистическое производство освободит работника от места в конвейере и принуждения к коммерчески управ-

<sup>64</sup> Горан Милорадович. Роман Замятина «Мы»: между историей и утопией // Русский Сборник: Исследования по истории России. Том IV. М., 2007. С. 171, 179, 186.

<sup>65</sup> Е. И. Замятин. «Мы». Запись 1-я и Запись 3-я.

<sup>66</sup> М. М. Пришвин. Дневники. 1944–1945 / Подг. текста Я. З. Гришиной. М., 2013. С. 36.

ляемому потреблению, то есть зависимости от материальной тотальности, и достижения свободы от экономического измерения политики вообще. Радикальный марксист-эстет Дьёрдь Лукач (1885–1971), апеллируя к освободительному пафосу Маркса против «овеществления» человека, в 1920-е гг. так описывал эту утопию:

«Освобождение от капитализма равносильно освобождению от господства экономики. Цивилизацией создаётся господство человека над природой, но из-за этого сам человек попадает под власть тех средств, которые позволили ему господствовать над природой. (...) что означает коммунистическое преобразование общества в точки зрения культуры. Оно означает прежде всего прекращение господства экономики над всей жизнью... Господство над экономикой, социалистическая организация экономики означает упразднение автономии экономики»<sup>67</sup>.

Н. А. Бердяев в своей «энциклопедии русской жизни» для Запада горячо поддержал такое перетолковывание марксизма и самого Лукача, видя в его тотальной революционности — отвержение тоталитарной материальности и поиск новой целостной свободы:

«материализм Маркса оборачивается крайним идеализмом, Маркс открывает в капитализме процесс дегуманизации, овеществления (*Verdinglichung*) человека. С этим связано гениальное учение Маркса о фетишизме товаров. (...) Лукач... самый умный из коммунистических писателей, обнаруживший большую тонкость мысли, делает своеобразное и по-моему верное определение революционности. Революционность определяется совсем не радикализмом целей и даже не характером средств, применяемых в борьбе. Революционность есть тотальность, целостность в отношении ко всякому акту жизни... Революционер имеет интегральное мирозерцание, в котором теория и практика органически слиты. Тоталитарность во всём — основной признак революционного отношения к жизни»<sup>68</sup>.

Присутствует ли ядро понимания проблемы *человека внутри церкви и внутри машины* — в теории Х. Зедльмайра? Безусловно, да. Есть ли

<sup>67</sup> Дьёрдь Лукач. Политические тексты / Сост. С. Земляной. М., 2010. С. 153, 163.

<sup>68</sup> Н. А. Бердяев. Истоки и смысл русского коммунизма [1938]. М., 1938. С. 59, 63, 64.

простор для хотя бы противоречивого соединения этого опыта творящего Gesamtkunstwerk'a с антикоммунистически ангажированной формулой Б. Гройса о предварительном «тотальном подчинении всей жизни страны единой плановой инстанции, призванной регулировать даже её мельчайшие детали, гармонизировать их и создавать из них единое целое»? Нет. Между ними, между этими тотальностями Сталина и Вагнера, конечно, нет той связи, из коей следует, что сталинская власть породила вагнеровскую утопию. Для такой связи нет даже хронологической одновременности: историческая пропасть лежит между серединой XIX века и 30-ми и 40-ми годами XX века. И **связь носит обратную последовательность: между утопией Вагнера и диктатурой Сталина.**

Не место здесь говорить и о том, что и формула Гройса о «тотальном подчинении» — публицистическая абстракция, для современной интернациональной науки о реальных Сталине и сталинизме с их практикой непрерывного «административного торга» вокруг плановой мифологии и управленческого репрессивного хаоса — **абсурдная**, пустота этой формулы стала ясна для западной советологии ещё за 30 лет до книги Гройса. Может быть, публицистичность этого определения Гройса была бы простительна для 1987 года, времени антикоммунистических переворотов и эволюций. Но она пуста и внутри антикоммунистического контекста, и именно потому, что уже в 1948 году, почти изнутри Большого стиля, Х. Зедльмайр — повторю: хорошо видя традиционный русский интеллектуальный контекст<sup>69</sup>, — дал Gesamtkunstwerk не публицистическое, а историческое содержание, в котором **коммунизм стилистически неотделим от индустриализма.**

<sup>69</sup> Следуя за русскими экскурсами Х. Зедльмайра в глубь их русского контекста, мы можем убедиться в их точности и репрезентативности. Например, последователь и интерпретатор Владимира Соловьёва Е. Н. Трубецкой (1863–1920) демонстрирует, как Платон строит свой идеальный город как иерархическое, но на высшем уровне — коммунистическое *государство как церковь*, «монастырь идеальных граждан», занимающийся *воспитанием* человека в борьбе не только против его «человеческой, но и всей его земной природы» (Е. Н. Трубецкой. Социальная утопия Платона. Политические аспекты // Е. Н. Трубецкой. Политические идеалы Платона и Аристотеля. М., 2011. С. 39, 41, 49–50, 56–58). Как отмечает современный исследователь, целое направление в дореволюционной русской философской мысли, выросло из «государства-церкви» Ф. Шеллинга через труды Б. Н. Чичерина, А. С. Хомякова, В. С. Соловьёва и др. в известную идею «свободной теократии» как теоретической модели будущего (И. И. Евлампиев. Политическая философия Б. Н. Чичерина. СПб., 2013. С. 147).

И самое главное: что же именно в сталинском Большом стиле было, согласно Гройсу, его историческим «храмом», образным центром этого Gesamtkunstwerk — если не Фабрика и Машина<sup>70</sup>? Если вспомнить наиболее распространённое критическое клише о государственном проекте и искусстве сталинского СССР — «*утопия у власти*»<sup>71</sup>, то логично уточнить: «*утопия чего именно?*» И, продолжая экскурсы в генезис утопий, задаться вопросом: «утопия, отражающая *какую историческую эпоху?*» Каков, наконец, новый образ этого «города солнца» и «фаланстера»? Гройс не даёт, по существу, ничего, кроме указания на тотализаторскую волю творца-властителя в её самоцельной и самодостаточной борьбе с материей и природой.

Увы, этот ответ не может быть признан удовлетворительным. Тем более что — очевидно, вне критических опытов Гройса — эвристическая формула «эстетической» власти в современной политической философии либерализма эксплуатируется не как самоцель, а как разветвлённая система политической репрезентации, способной стать спасительной для демократии и, предполагается, эффективной и результативной. Её автор, классик современной либеральной философии Франклин Анкерсмит в трактате «Эстетическая политика» впервые подробно анализирует связь современного государства с платоновским образом управляемого вождём *корабля-государства* и актуали-

<sup>70</sup> Позднее Гройс в своём анализе коммунизма не мог не эволюционировать в сторону признания его принципиально индустриальной природы, но нашёл генезис образа Машины в основе этого стиля не в проективной, рационалистической, капиталистической эпохе человеческой истории в целом, а чуть ли не в самопорождённых феноменах СССР, Сталине и их утопических внушениях. Трудно, живя на Западе внутри его истории, с большей решительностью игнорировать западные «первоначальное накопление капитала», «положение рабочего класса в Англии», пролетарскую казарму и Кафку. И сочинить такое иначе, как в целях пропаганды, заменяющей Замятиным Карла Маркса и девственно чистой от достижений западной науки, разведки и реальной политики: «в годы холодной войны Запад не был непосредственно знаком с советским опытом, его восприятие коммунизма как царства холодной рациональности, в котором люди превращены в машины, в первую очередь, связано с давней литературной традицией утопических социальных проектов и полемических антиутопий. Эта традиция ведёт от Платона к Томасу Мору, Кампанелле, Сен-Симону и Фурье и далее к Замятину, Хаксли и Оруэллу» (*Борис Гройс. Коммунистический постскрипtum* [2006]. М., 2014. С. 73).

<sup>71</sup> По книге М. Я. Геллера и А. М. Некрича «Утопия у власти» (1982).

зирует её для политической теории<sup>72</sup>. Анкерсмит, живущий *после* «тоталитаризма», уже не только находит в его свободе от общества новый ресурс обновления демократии, ставит ей на службу спасительную диктатуру<sup>73</sup>, но и легко обнаруживает корни «тоталитаризма» в западной демократии, в современной демократической практике — произвол, свободу её политики от демократии, самозаконную творящую тотальность в модерне, в которой узнаётся сталинский Gesamtkunstwerk:

«Ключевая идея состоит в том, что художественная репрезентация не даёт миметического подобия того, что представляется, а замещает его... на самом деле **изобразительные искусства предлагают заместителя реальности** — правда, такого, который вызывает к жизни иллюзию реальности, но всё же остаётся отличимым от самой реальности... Это имеет значение для политической репрезентации... Между представляемым лицом и представителем проходит та же разделительная линия, что и между реальным миром и миром искусства. Кроме того, мы не должны искать фиксированных правил, регламентирующих отношения между представителем и представляемым лицом (...) **Реальность как таковая не существует до того момента, пока не появляется её репрезентация...** только путём создания заместителя реальности (то есть репрезентации)

<sup>72</sup> *Франклин Анкерсмит*. Эстетическая политика. Политическая философия по ту сторону факта и ценности [2000] / Пер. Д. Кралечкина. М., 2014. С. 302–303. В советской эстетической риторике образ корабля-государства оживил многолетний нарком просвещения (1917–1929), пользовавшийся репутацией литературно-художественного архаиста и чудака, но оттого не ставшего менее функциональным идеократом, Луначарский: *А. В. Луначарский*. Джонатан Свифт и его «Сказка о бочке» [1930] // *А. В. Луначарский*. Статьи о литературе / Сост. И. А. Саца. М., 1957. С. 544.

<sup>73</sup> «Государство... сегодня может... вступать в конфликт со *всеми* политическими группами, существующими в гражданском обществе. Только эстетическая политическая философия, не страшась эстетического разрыва между государством и гражданином, может в таких обстоятельствах обеспечить государство теоретическим оправданием его твёрдой решимости следовать тому, что оно считает единственно возможным курсом политических действий... Только так можно найти новый источник легитимной политической власти, который позволит демократии выжить, физически и политически, в эпоху непреднамеренных последствий. Словом, главная задача современной политической философии — выработка концепции демократии, наделяющей государство более широкими полномочиями для эффективного решения масштабных проблем, которые могут возникнуть в ближайшем столетии...» (*Франклин Анкерсмит*. Эстетическая политика. С. 427–428).

мы оказываемся на расстоянии от реальности и тем самым делаем её существующей... политическая реальность не существует до политической репрезентации (...) Следовательно, политическая реальность, созданная эстетической репрезентацией, есть по существу политическая *власть*. Эстетическое различие или зазор между представляемым лицом и его представителем оказывается источником (легитимной) политической власти, которой в связи с этим у нас есть основание приписать скорее *эстетическую*, нежели *этическую* природу (...) В результате... *и* общество, *и* государство стали двойной эманацией одной субстанции. И это привело к тому, **к чему стремился и тоталитаризм: к подчинению государства и общества одному началу**. Отсюда понятно, что насилие и варварство, которые мы обычно связываем с тоталитаризмом... — скорее просто средства достижения единства государства и общества, обещанного миметической теорией репрезентации. А это означает, что **мы должны рассматривать тоталитаризм не как иной и абсолютно чуждый общему направлению развития западной демократии, а как её чудовищную и ужаснейшую фазу**... Соответственно, огромные различия между современными либеральными демократиями и тоталитаризмом связаны не столько с внутренней природой политических систем этих двух типов, сколько с тем, как произошло в них взаимное отождествление государства и гражданина — путём постепенным и контролируемым или путём политического принуждения... Их разделяет только практика политической репрезентации (...) Бюрократия и миметическая репрезентация — ветви одного дерева, и нас не должно удивлять, что это дерево находит самую питательную почву в тоталитарном государстве»<sup>74</sup>.

**Исторически тотальность индустриализма и современности** (Модерна, нового и новейшего времени) состоит из «кристаллической решётки» власти, инфраструктуры одновременно действующих всеобщих институций и практик:

<sup>74</sup> Франклин Анкерсмит. Эстетическая политика. С. 65–69, 72–73, 76 (подчёркнуто мной). Исследователь сталинизма Дэвид Пристланд (*D. Pristland. Stalinism and Politics of Mobilization*. 2007) именно тем заслужил себе особое место в современной историографии предмета, что советские 1931–1934 гг. — время мобилизационного перелома (в области промышленности) — изобразил как апогей «технизма» (*Джон Кит, Алтер Литвин*. Эпоха Иосифа Сталина в России. Современная историография / Пер. В. И. Матузовоной. М., 2009. С. 167; оригинальное название: *Stalinism. Russian and Western views at the turn of the millennium*).

- (1) всеобщего (как минимум, массового) избирательного (как минимум процедурно) права (как минимум, на локальном уровне), превращающего каждого избирателя в объект централизованного (сетевого) политического воздействия;
- (2) всеобщей (массовой) грамотности и единой языковой нормы;
- (3) всеобщего санитарно-гигиенического контроля и медицинского обслуживания, превращающего каждого в объект биополитики (в её узком, не фукианском, смысле);
- (4) всеобщей воинской повинности;
- (5) единого общенационального рынка (народного хозяйства);
- (6) централизованных общенациональной администрации и права;
- (7) общенациональных средств коммуникации и информации;
- (8) единой системы технических стандартов;
- (9) единого рынка труда, капитала, услуг и др.;
- (10) индустриальной урбанизации, подчинённой интересам промышленности и (в мегаполисах) максимальной экономии внутригородской территории.

Изучающая эту реальность с точки зрения истории экономики и технологического уклада современная наука устами, например, историка «первоначального накопления» в Великобритании и индустриализации в России / СССР Роберта С. Аллена даёт внятную формулу этого развития в России: *Farm to Factory*<sup>75</sup>. Именно этому образу и нормативу индустриализма подчинено развитие абсолютного большинства сфер обыденности *нового времени вообще* через выше перечисленные факторы исторической тотальности индустриализма и современности.

## ИЗОЛЯЦИЯ И ЛАНДШАФТ

В прямое развитие Просвещения и Французской революции 1789 года следует не только политическая либерализация старой Европы и её периферии, вовлекающая в активное историческое действие растущие человеческие массы, но и масштабная индустриализация, которая учится заново подчинять массы интересам производства, и научно-технический прогресс, который, вслед за просветительским

---

<sup>75</sup> Роберт С. Аллен. От фермы к фабрике: новая интерпретация советской промышленной революции [2003] / Пер. Е. Володиной. М., 2013.

«воспитанием», учиться не только воспитывать, но и дробить, селекционировать, изменять массы, управлять их эволюцией. Русский историк Р. Ю. Виппер (1859–1954), традиционно энциклопедичный для своего времени, нашёл удачную синтетическую формулу для этого нового мировоззрения, которое он сам называл «теорией бесконечного прогресса», а иные его русские современники — «религией прогресса». Р. Виппер описывает, как из просветительской утопии Н. де Кондорсе (1743–1794) и в либеральных теориях вплоть до отца позитивизма О. Конта (1798–1857) зримо вырастают на месте Театра, Ковчега и Храма универсалистские претензии нового Большого стиля — новой «церкви на земле», вавилонской Фабрики, формируются её новые инструменты, приближающиеся к неорганическому синтезу и конвейеру:

«Вместо хитрой правительственной машины должна стать во главе общества большая организация для научных опытов и открытий, для сосредоточения лучших умов и передовых идей... Соответственно этому должно произойти распространение по всему миру одного языка, научно-алгебраического, космополитического отвлечённого языка мысли, который рядом со старыми языками, живыми и народными. Будет могучим средством ускоренного обмена. Народы образуют единое целое... возникает идея, постоянно повторяемая в конце XVIII в., что земной шар — великая мастерская, в которой разнообразные организации, постепенно совершенствуясь, работают по известному плану, в известной гармонии для общей великой цели. Мечта идёт ещё дальше: иным кажется, **что национальные различия падут так же, как сословные предрассудки, что все люди объединятся в один народ, что установится один общий язык просвещения...** (выделено мной. — М. К.)

Главная черта — внимание к индустриальному перевороту и к научному прогрессу. Их представители берут у реакционеров мысль об органическом характере общества, но вкладывают в неё новое современное содержание. Они видят, что общество стало иным, что в нём господствуют интересы новой промышленности, что оно зависит от новой всесветной организации индустрии, что наука в нём стала мощной направляющей силой, и они пытаются найти регулирующие начала именно для этого общества, движимого новыми мотивами, разбитого по новым группам; из интересов самой индустрии, из общих принципов самой науки пытаются они извлечь новое связующее культурное и даже религиозное начало...

Множество новых видов растительных и животных, и между ними новые виды животного, именуемого человеком, открыли возможность широкого сравнительного изучения. Чем больше сравнивали, тем больше изучали промежуточные виды, больше вытеснялось старое представление о неподвижности форм; больше разгоралось желание, увлекала задача открыть в существующих видах непрерывную цепь развития, схватить в них биение одних и тех же законов жизни. Сильно действовали на общие представления также успехи физики и химии. Открытие магнетизма и электричества, разложение на составные части воздуха и воды, то есть того, что считалось раньше тоже неподвижными элементами, заставляло и в неорганическом мире искать движущих сил, искать возникновения сложных форм и образований из комбинаций простых начал. Между одушевлённой и неодушевлённой природой падали преграды, казавшиеся неодолимыми. Человек был поражён тем, что он находил там и здесь одинаковые составные части... Деятельность общественного организма, вся совокупность жизненных отношений человеческого мира управляется мнениями, идеями. Эта уверенность опирается у Конта на положение ещё более общее, на некоторую основную черту «органических теорий», как бы возникших из жажды порядка... **Если мировой порядок есть порядок логической системы, то пути к постижению этого порядка, то есть науки, должны образовать полное единство:** они все работают к открытию единого закона, они должны составить иерархию, скреплённую строгим взаимным подчинением... Особенно это касается высших ступеней жизни, отношений общественных... Начало XVIII в. создало живо только одну «всемирную» организацию, именно западноевропейскую литературную республику. Позднее, во второй половине века, стали говорить о всемирной мастерской и всемирном рынке. Перевороты конца XVIII и начала XIX в. создали в европейском сообществе подъём религиозного настроения, и образ человеческого мира сложился уже в виде великой церкви на земле»<sup>76</sup>.

Уже после Гитлера и на закате Сталина, поставленного в фокус «холодной войны», — почти одновременно с названным трудом Х. Зедльмайра классики левой критики капитализма не только не отшатну-

<sup>76</sup> P. Vunnet. Общественные учения и исторические теории XVIII и XIX вв. в связи с общественным движением на Западе [1900]. М., 2007. С. 131, 182, 113, 221–222, 229 (Выделено мною. — М. К.).

лись от установления прямой **тотальной (и тоталитарной)** связи Просвещения как апогея проективного знания, Модерна и «всеохватывающей индустриальной техники», но и подтвердили её со всей решительностью, исключаящей компромисс: «Техника есть сущность этого знания. Оно имеет своей целью не понятия и образы, не радость познания, но метод, использование труда других, капитал», «Просвещение — тоталитарно», «Просвещение тоталитарно как ни одна из систем»<sup>77</sup>...

Предвосхищая известные мысли Ханны Арендт об исторических корнях тоталитаризма в разрушении общества традиционных связей и перегородок, внимательный наблюдатель, русский православный социалист и антикоммунистический эмигрант Г. П. Федотов (1886–1951) одним из первых описывал современные ему диктатуры в понятиях тоталитаризма. Важно, что он описывал это явление как следствие утраты западной культурой XX века некоего Большого стиля: в мире демократии, растущем из достижений XIX века, по его мнению, «культура не имеет своего центра (...) Сейчас кажутся немислимы ни общая религия, ни общая философия, ни даже общие основы научного знания. Стиль в искусстве утерян ещё ранее, чем в науке. При таких условиях культура всё более разбивается на отдельные секты (...) Более, чем когда-либо, западная культура напоминает вавилонское смешение языков. Находятся люди, которые готовы принципиально утверждать это смешение как духовную основу демократии»<sup>78</sup>. Г. П. Федотов и ранее жёстко анализировал принудительный и террористический характер коммунизации СССР, особенно крестьянства, целью которой видел создание «технического рая», здание которое на деле выросло не как «новый град», а как «новая тюрьма»<sup>79</sup>, которая одновременно была «гигантами-заводами»<sup>80</sup>. И здесь в радикальном отвержении сталинизма начинала звучать общая с сталинизмом нота социалистической победы над природой

<sup>77</sup> Макс Хоркхаймер, Теодор В. Адорно. Дialeктика Просвещения. Философские фрагменты [1947] / Пер. с немецкого М. Кузнецова. М., 1997. С. 17, 20, 25, 40.

<sup>78</sup> Г. П. Федотов. Мы и они [1940] // Г. П. Федотов. Собрание сочинений в 12 т. Т. 6 / Сост. С. С. Бычков. М., 2013. С. 428.

<sup>79</sup> Г. П. Федотов. К молодёжи [1932] // Г. П. Федотов. Собрание сочинений в 12 т. Т. 4 / Сост. С. С. Бычков. М., 2012. С. 200–201.

<sup>80</sup> Г. П. Федотов. В плену стихии [1932] // Там же. С. 218.

и внепартийная, требуемая Просвещением, жажда новой целостности: «современная техника приводит человека к ещё большему рабству... но задача, поставленная историей, верна — освободить человека от рабствования природе»<sup>81</sup>. Более того — «марксизм в России развил особый пафос техники, свойственный крупнокапиталистическому миру»<sup>82</sup>, то есть — можно договорить эту мысль до конца — именно он достроил крестьянскую страну до индустриального интернационального Большого стиля.

*Индустриализм как церковь и реализованная утопия* делает сферой Gesamtkunstwerk даже ландшафт и в целом **природу, доступную эксплуатации**. Первым образом подчинения ландшафта стала его индустриализация и урбанизация, в исторических условиях XIX и начала XX века выраженная в практике прямо связанной с производственными цехами казармы как доминирующего стандарта промышленной городской застройки. В этом стандарте казармы легко узнавались (разумеется, минимальные) параметры фаланстера, который, в свою очередь, служил образующим элементом современного города как замкнутой Вавилонской башни, противостоящей ландшафту и природе. Как свидетельствует урбанист, «согласно строительному регламенту Берлина, принятому в конце XIX в. (и действовавшему до 1925 г.), здесь сооружались дома-казармы с плотностью застройки до 85–90%; в Париже в <19>20-х и начале <19>30-х годов действовали нормы, допускавшие минимальную величину внутренних дворов в 30 м<sup>2</sup>, а если во двор выходили комнаты для прислуги и другие подсобные помещения — даже 8 м<sup>2</sup>; в Нью-Йорке в кварталах, застроенных пятиэтажными домами, допускался размер дворов в 26 м<sup>2</sup>»<sup>83</sup>. И перспективное преодоление этого урбанизма и освобождение народного большинства от реальности этой общегородской казармы виделось революционерам архитектуры и городского планирования не в расселении, а в создании на месте городов сети широко расположенных на озеленённом («природном») ландшафте изолированных — всё тех же в основе своей — *гипер-казарм / башен*, как то предлагал, например,

<sup>81</sup> Г. П. Федотов. Движение [РСХД] и современность [1933] // Там же. С. 255.

<sup>82</sup> Г. П. Федотов. Проблемы будущей России [1931] // Г. П. Федотов. Собрание сочинений в 12 т. Т. 5 / Сост. С. С. Бычков. М., 2011. С. 142.

<sup>83</sup> Е. Н. Перцик. География городов (геоурбанистика). М., 1991. С. 174.

Ле Корбюзье (1887–1965) для «Плана Вуазен» по перестройке Парижа (1925) — в сети небоскрёбов по 20 000–40 000 жителей в каждом.

В этом контексте примечательна аргументация одного из идеологов (но лишь идеологов, а не практиков) сталинской урбанистики, бельгийского инженера-механика по образованию, основателя советской политической цензуры Н. Л. Мещерякова (1865–1942). Опираясь на набор формул Энгельса, Ленина и Сталина и выхолащивая «вавилонское» усилие революционных образов *Gesamtkunstwerk* в исполнении Шухова и Татлина, Н. Л. Мещеряков описывает марксистскую главную цель коммунизма в пространственном развитии как преодоление «противоположности между городом и деревней» путём всеобщей механизации универсального, взаимозаменяемого труда, равномерного, сетцентричного расселения по ландшафту<sup>84</sup>. Узлами такой сети, по его замыслу, должны стать комплексы взаимосвязанных крупных промышленных производств, так сказать, фабрики-ландшафты. Идеолог вслед за Энгельсом рассматривает крупные города как временное явление, а предложенные советской власти архитектором Ле-Корбюзье проекты небоскрёбов как избыточные и нерентабельные<sup>85</sup>. Ведь не крупные города, дискредитированные социальной критикой капитализма во-

<sup>84</sup> Общепринятость идеи расселения по ландшафту, утопически (без учёта себестоимости транспорта и затрат времени на преодоление расстояния) сопровождающего концентрацию производства, хорошо демонстрировал коммунистический проект французских революционных синдикалистов: «вместо того, чтобы скучиваться в громадных и узких ящиках в 6–7 этажей, расселиться по предместьям и построить там коттеджи» (*Эмиль Пато, Эмиль Пуже. Как мы совершим революцию* [1909] / Пер. Л. В. Гогеля [1921]. М., 2011. С. 128). В этой же утопии трогательно (просвещенческое) единство Энгельса, идеолога-практика коммунизма Мещерякова и критика тоталитаризма и коммунизма Х. Арндт: «Современное градостроительство направлено на озеленение и урбанизацию целых областей, в ходе чего различие между городом и сельской местностью всё больше стирается. Эта тенденция вполне может привести к исчезновению городов даже в нынешнем виде» (*Х. Арндт. Понятие истории: древнее и современное* [1964] // Ханна Арндт. Между прошлым и будущим. Восемь упражнений в политической мысли / Пер. Д. Аронсона. М., 2014. С. 92, прим.). См. также обширное современное исследование темы, которое фактически свелось к детальной студии о бытовании идеи города-сада (Э. Говард, конец XVIII в.) в западных и русских революционных инспирациях и её применении в концепциях и практике СССР — почему-то искусственно очищенных от присутствия идей Энгельса, которые даже излагаются авторам не как широко известные идеи Энгельса, а как особое внушение Говарда: *М. Г. Меерович. Градостроительная политика в СССР (1917–1929). От города-сада к ведомственному рабочему посёлку*. М., 2017. С. 107–108.

<sup>85</sup> *Н. Мещеряков. О социалистических городах*. [М.] 1931. С. 81, 87.

обще и марксистской критикой, в частности, как язвы нищеты, грязи, порока, тесноты и эксплуатации, служат образом будущего Н. Мещерякову, а комплексы научно организованных производств, заполненные работниками-универсалами. Каков же культурный образец этих комплексов? Обнаруживается, что Энгельс внёс в сознание марксистов-большевиков, практиковавших коммунальный быт (например, полностью лишённый индивидуальных ванных и кухонь жилой дом для ответственных чиновников — Дом Наркомфина М. Гинзбурга и И. Милиниса, 1930)<sup>86</sup>, архетип фаланстера, и без того существовавший в русской революционной традиции ещё со времени Чернышевского и его коммунальной утопии<sup>87</sup>. До и без большевиков изданный крупнейшим русским издателем И. Д. Сытиным массовый словарь заключал: «**Фаланстер** — общественные здания, служащие нуждам каждой отдельной социалистической общины», после распространения которых и упразднения частной собственности «должен был наступить золотой век»<sup>88</sup>.

Для выяснения легко считывавшейся просвещёнными марксистами в среде правящих большевиков (а таковых среди них в 1920–1930-е гг.

<sup>86</sup> В одной из трёхуровневых (*первый*: вход — лестница в общую комнату; *второй*: общая комната — лестница в две малые комнаты; *третий*: две малые комнаты) квартир этого дома мне, тогдашнему московскому дворнику, пришлось жить в августе и сентябре 1991 года: в неё уже по углам малых комнат были встроены микроволновка и микрокухня.

<sup>87</sup> Современные исследователи напоминают об опыте народнических коммун, общо называя их «фаланстерами», возникших после романа Чернышевского в Петербурге: художника И. Н. Крамского, писателя В. А. Слепцова и других, которые получили своё продолжение в студенческих коммунальных общежитиях конца XIX века, коммунальных домах правящих большевиков и коммунистической молодёжи, в которых главным принципом было сведение частного пространства к (одноместным и многоместным) комнатам без удобств и обобществление сферы питания, гигиены и досуга. Они же уместно обращают внимание на то, что в своём проекте реквизиции «квартир богатых для облегчения нужд бедных» (конца 1917 — начала 1918 г.) вождь коммунистов В. И. Ленин прямо формулировал, что «богатой», то есть неприемлемой с точки зрения нормы, квартирой «считается всякая квартира, в которой число комнат равняется или превышает число душ населения, постоянно живущего в этой квартире» (В. С. Измозик, Н. Б. Лебина. Петербург советский: «новый человек» в старом пространстве: 1920–1930-е годы: Социально-архитектурное микроисторическое исследование. Изд. 2, испр. СПб., 2016. С. 136–143; В. И. Ленин. Полное собрание сочинений. Т. 54. М., 1975. С. 380).

<sup>88</sup> Словарь иностранных слов, вошедших в употребление в русском языке. М., 1911. С. 403.

было, как минимум, значительное число) коммунистической природы вдохновения урбаниста Мещерякова надо обратиться к контексту рассуждений Энгельса о преодолении присущей капитализму «противоположности между городом и деревней». Из него явственным образом выступают утопические и экспериментальные образцы названных комплексов, выдвинутые Р. Оуэном и Ш. Фурье и поддержанные Энгельсом, причём в течение всего времени его идейного развития. Молодой Энгельс явно зачарован «реалистичностью» деталей расчётов, характерных для этих проектов, и очевидно вовлекает в них всех своих идейных и партийных сторонников. Он специально разбирает вопрос о практическом преодолении противоположности города и деревни на пути коммунистической унификации их хозяйственных укладов и образа жизни, излагая английский образец такого преодоления, который он находит в утопии Р. Оуэна, и французский образец единой коммуны, за которым по умолчанию стоит проект Ш. Фурье: «Англичане, вероятно, начнут с основания отдельных колоний... французы, наоборот, вероятно, будут готовить и проводить коммунизм в национальном масштабе». В прикладном виде этот коммунизм выглядит так:

«... те преимущества, которые даёт коммунистическое устройство в результате *использования ныне расхищаемых рабочих сил*, являются *еще не самыми важными*. Самая большая экономия рабочей силы заключается в *соединении отдельных сил* в коллективную силу общества и в таком устройстве, которое основано на этой концентрации до сих пор противостоявших друг другу сил. Здесь я хочу присоединиться к предложениям английского социалиста *Роберта Оуэна*, так как они наиболее практичны и наиболее разработаны. Оуэн предлагает вместо теперешних городов и сёл с их обособленными, мешающими друг другу домами, сооружать большие дворцы, каждый на площади, имеющей приблизительно 1 650 футов в длину и столько же в ширину и включающей большой сад; в таком дворце смогут с удобством разместиться от двух до трёх тысяч человек. Что подобное здание, дающее его обитателям удобства самых лучших современных жилищ, может быть построено дешевле и легче, чем то количество отдельных, по большей части не столь удобных, жилищ, которые при теперешней системе требуются для того же числа людей, — это очевидно. Большое число комнат, которые в настоящее время почти в каждом порядочном доме стоят пустыми или используются один-два раза в год, может

быть упразднено без всякого неудобства; экономия места, используемого под кладовые, погреба и т.д., точно так же может быть очень велика. — Но если вникнуть в детали домоводства, то тут особенно становятся видны преимущества общественного хозяйства. Какая масса труда и материалов растрачивается при современном раздробленном хозяйстве — например, при отоплении! (...) Затем возьмём приготовление пищи, — сколько затрачивается зря места, продуктов и рабочей силы при современном раздробленном хозяйстве, когда каждая семья отдельно готовит нужное ей небольшое количество пищи, имеет свою отдельную посуду, нанимает отдельную кухарку, отдельно закупает продукты на рынке, в зеленой, у мясника и у булочника! Можно смело предположить, что при общественном приготовлении пищи и при общественном обслуживании легко было бы освободить две трети занятых этим делом рабочих...»<sup>89</sup>

Уже зрелый Энгельс по-прежнему демонстрирует свою верность этой жилищной утопии и пишет:

«Жилищный вопрос может быть разрешён лишь тогда, когда общество будет преобразовано уже настолько, чтобы можно было приступить к уничтожению противоположности между городом и деревней, противоположности, доведённой до крайности в современном капиталистическом обществе. (...) уже первые социалисты-утописты современности — Оуэн и Фурье — правильно поняли это. В их образцовых строениях не существует больше противоположности между городом и деревней. (...) Стремиться решить жилищный вопрос, сохраняя современные крупные города, — бессмыслица. Но современные крупные города будут устранены только с уничтожением капиталистического способа производства, а как только начнётся это уничтожение, — вопрос встанет уже не о том, чтобы предоставить каждому рабочему домик в неотъемлемую собственность, а о делах совсем иного рода»<sup>90</sup>.

«Дело совсем иного рода» Энгельса, то есть глобальное развитие начальных коммун, — будь это сеть фаланстеров для Англии или обще-

<sup>89</sup> Ф. Энгельс. Эльберфельдские речи. Речь 8 февраля 1845 г. // К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения. Т. 2. М., 1955. С. 541–543.

<sup>90</sup> Ф. Энгельс. К жилищному вопросу [1873] // К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения. Т. 18. М., 1961. С. 238.

национальный коммунистический фаланстер для Франции — вновь вызывает к жизни образ рационализированной Вавилонской башни. Рационализация Вавилона, как это было хорошо понятно социалистам той эпохи, толкующим наследие Фурье, подразумевала новый и ясный образ мира и его новый Большой стиль, в основе которого явственно вырастала Машина как Фабрика новой человеческой природы. В специальном очерке чаемого будущего русский постмарксист и социалист, ещё в конце XIX завоевавший стабильную европейскую известность как экономист, М. И. Туган-Барановский (1865–1919) вычленил в «социальном эксперименте» Фурье, претендующем решить «социальный вопрос» на путях «создания социалистической общины», именно тотальный инженерный пафос, выраженный в труде последователя Фурье Виктора Консидерана (1803–1893) «Манифест социетарной школы» (1841):

«Мы — социальные инженеры, мы представляем нашим современникам план нового социального механизма, способного, по нашему мнению, использовать всю энергию движущей силы человеческой природы без того, чтобы какая бы то ни было часть этой энергии растратилась, при предлагаемой нами системе, на бесполезные, вредные или опасные для общества действия»<sup>91</sup>.

В СССР хрестоматийный для европейского коммунизма дебют Оуэна и Фурье стал точкой роста самых смелых фантазий или пропагандистских домислов. В советской апологетической брошюре об Оуэне, проводящей прямые аналогии между его наследием и достижениями Сталина, так же прямо формулировалось: «Двойственная роль машины — как проклятия и благодения для трудовых классов — ни одним из социальных мыслителей и экономистов начала XIX в. до Маркса не была понята и истолкована с такой ясностью, как это сделано Оуэном. (...) развитие научных сил (т.е. техники) и распространение знаний... создают условия для водворения всеобщего счастья». В центре этой уверенности стояла мысль Оуэна: «Да! механика и химия и другие науки и искусства разрушили и уничтожили возможность дальнейшего существования индивидуалистического и отталкивающего современного строя» — «Оуэн свой социализм и коммунизм целиком

<sup>91</sup> М. Туган-Барановский. Как осуществится социалистический строй? // Мир Божий. СПб., 1906. Май [№ 5]. I отд. С. 168.

основывает на сделанных и могущих быть сделанными изобретениях механики и химии». А прямое решение проблемы противоположности города и деревни автору апологии виделось в полной механизации сельского хозяйства и занятости каждого одновременно в земледелии и промышленности. И при этом — таким образом, чтобы коммунистические общины как отдельные поселения посреди природного ландшафта были **«максимально независимыми от внешнего мира — от рынка»**<sup>92</sup>.

Кроме теоретической рационализации коммунистического производства и быта, была очевидна необходимость и особого изобразительно-художественного стандарта, культурно укоренённого в исторической глубине коммунистических прецедентов, столь дотошно собиравшихся советской пропагандой вокруг имён Томаса Мора, Кампанеллы и других. Этот стандарт по масштабу своего замысла также требовал нового Большого стиля, который должен был утвердить образец и практику дома-коммуны.

И в СССР эта задача не осталась без прикладной бюрократической детализации: в 1928 году «Центржилсоюз» (Общесоюзный центр жилищно-строительной и жилищно-арендной кооперации) выпустил «Типовое положение о доме-коммуне», согласно которому его жители «должны были отказаться от мебели и предметов быта, накопленных предыдущими поколениями. В коллективе предполагалось осуществлять воспитание детей, стирку и уборку, готовить еду, удовлетворять культурные потребности и т.д.»<sup>93</sup>. Система обоснования этой, на первый взгляд, самопроизвольной инструкции по организации быта, лишь навеянной трудами Оуэна, Фурье и поддержанной авторитетом Энгельса, была на деле глубоко эшелонированной не только в коммунистической догматике, но и в риторике и выкладках социально-экономического планирования СССР, призванных изобразить «научное управление» обществом и страной. И в официальном быту. Однако исследователь официального советского коммунистического быта заключает: «Попытки реализовать план “коллективной жизни” на прак-

<sup>92</sup> А. Анекштейн (Арх. А-н). Роберт Оуэн: его жизнь, учение и деятельность. М., 1937. С. 129, 164, 166–167, 169–170. Аналогии Оуэна с Лениным и Сталиным см. в этой книге в специальной Главе 8.

<sup>93</sup> В. С. Измозик, Н. Б. Лебина. Петербург советский: «новый человек» в старом пространстве: 1920–1930-е годы. С. 145–146.

тике провалились: строительство домов-коммун оказалось делом дорогим, общественные столовые пустовали, в прачечных была очередь на месяц вперёд. Тем не менее официальный идеал коммунальной квартиры и обобществлённого быта просуществовал фактически до 1930 г. — до момента выхода постановления ЦК ВКП(б) «О работе по перестройке быта». Постановление ориентировало на строительство жилищ «переходного периода», где «формы обобществления быта могут проводиться только на основе добровольности». (...) Если совсем недавно идеалом социалистического общежития считались дома-коммуны, то Планом социалистической реконструкции и развития Москвы, утверждённым в 1934 г., намечалось строительство жилого комплекса на юго-западе столицы, где для каждой семьи предусматривалась отдельная квартира»<sup>94</sup>.

Пожалуй, наиболее известным в историографии проектировщиком социальной реальности коммунизма в СССР стал автор феерической по замыслу и исполнению книги «СССР через 15 лет» (1929) сотрудник ВСНХ, урбанист Л. М. Сабсович<sup>95</sup>, чей порыв был осуждён в упомянутом постановлении ЦК ВКП(б) «О работе по перестройке быта», но лишь как крайность, а не по сути. Думается, что партийный надзор осудил этого одного из главных «проводников вакханалии планирования»<sup>96</sup> Сабсовича не за сам замысел, а за детальную подмену своими расчётами руководящей роли партии в деле «генерального планирования» *вплоть до 1942 года*, проявившуюся в том, что до и без решений вождей СССР автор оснастил перспективы его развития сотнями лично придуманных им руководящих цифр. В главном же он шёл в русле коммунистической доктрины о новом обществе и новом

<sup>94</sup> И. Б. Орлов. Коммунальная страна: становление советского жилищно-коммунального хозяйства (1917–1941). М., 2015. С. 294.

<sup>95</sup> О нём специально см.: Д. С. Хмельницкий. Леонид Сабсович или Кто придумал обобществление быта? // Уваровские чтения-VII: семья в традиционной культуре и современном мире: материалы всероссийской научной конференции. Муром. 29 апреля — 1 мая 2008. Владимир, 2011. Разумеется, вовсе не Л. М. Сабсович «придумал обобществление быта», по крайней мере, после Фурье и Энгельса, но своим сочинением он явно заслужил особого внимания как яркий пропагандист этого.

<sup>96</sup> Так назвал его авторитетный экономист-советолог русского происхождения в своих воспоминаниях о среде правящих советских экономистов 1920-х гг.: Наум Ясный. Советские экономисты 1920-х годов. Долг памяти [1967, 1972] / Пер. А. В. Бельх. М., 2012. С. 203–204, прим. 1.

человеке, обнаруживая в ней пугающие даже коммунистов пределы. Он писал в главе «Культурная революция и обобществление быта», строго следуя Оуэну, Фурье и Энгельсу:

«Наличие материальных и социальных предпосылок ещё недостаточно для построения социалистического общества. Нужна ещё культурная революция, — нужно совершенно переделать человека, а для этого совершенно изменить бытовые условия и формы существования человечества. Условия быта должны быть изменены прежде всего в том направлении, что должно быть уничтожено индивидуальное домашнее хозяйство, тот “домашний очаг”, который всегда являлся и является источником рабства женщины... полное освобождение женщины от домашнего рабства и уничтожение индивидуального домашнего хозяйства является не только задачей, которую желательно осуществить к концу генерального плана, но задачей, положительное разрешение которой является неизбежной необходимостью»<sup>97</sup>.

Не ограничиваясь установлением общего быта и обобществлением воспитания детей, рискованно ссылаясь на упомянутый выше проект уже подвергнутого тогда официальной идеологической критике А. А. Богданова, Сабсович ставил задачу едва ли не биологической селекции нового человека как части универсальной революции:

«Новый строй жизни, даже постройка новой жизни требуют и нового человека. Мы должны переделать человека. (...) В настоящее время мы вступаем в полосу невиданной в мире великой стройки. Период генерального плана является частью той “эпохи великих работ”, которую описывал А. Богданов в своей утопии “Красная звезда” и которая должна быть эпохой коренной переделки земли, коренной переделки всех материальных и духовных условий существования человечества»<sup>98</sup>.

Очевидным традиционным стандартом сталинской тотальности и образцом коммунистического жизнестроительного восстания против природы, одновременно значимого для советского коммунизма

<sup>97</sup> Л. М. Сабсович. СССР через 15 лет: Гипотеза генерального плана, как плана построения социализма в СССР. М., 1929. С. 125–126.

<sup>98</sup> Л. М. Сабсович. СССР через 15 лет. С. 153–154.

и для советского авангарда, укоренённых в индустриальной культуре, служило классическое изображение Вавилонской башни, основанное на образе античного Амфитеатра (Колизея) — самое известное из которых принадлежит Питеру Брейгелю Старшему («Вавилонская башня», 1563; Роттердам: илл. 2). Именно образ Вавилонской башни — как проекта победы над природой и Богом и одновременно изолированного ковчега для единого коллективного человечества — был развит в известных проектах ровесников имперской индустриализации России, инженера Владимира Шухова (1853–1939) (*Радиобашня на Шаболовке* (1919–1920): илл. 3)<sup>99</sup>, инженера Ивана Рерберга (1869–1932) (*Центральный телеграф в Москве* (1925–1927): илл. 4)<sup>100</sup>, революционного художника Владимира Татлина (1885–1953) (*Памятник III Интернационалу* (1920): илл. 5) и предвоенном проекте Дворца Советов архитектора Бориса Иофана (1891–1976). Сопоставление этих образов открывает внутреннюю динамику «индустриальной Вавилонской башни». В её ранних советских реализациях особенно обнажается инженерный скелет, голая логика спирали, иерархия, задача которых состоит в концентрации, мобилизации Машины.

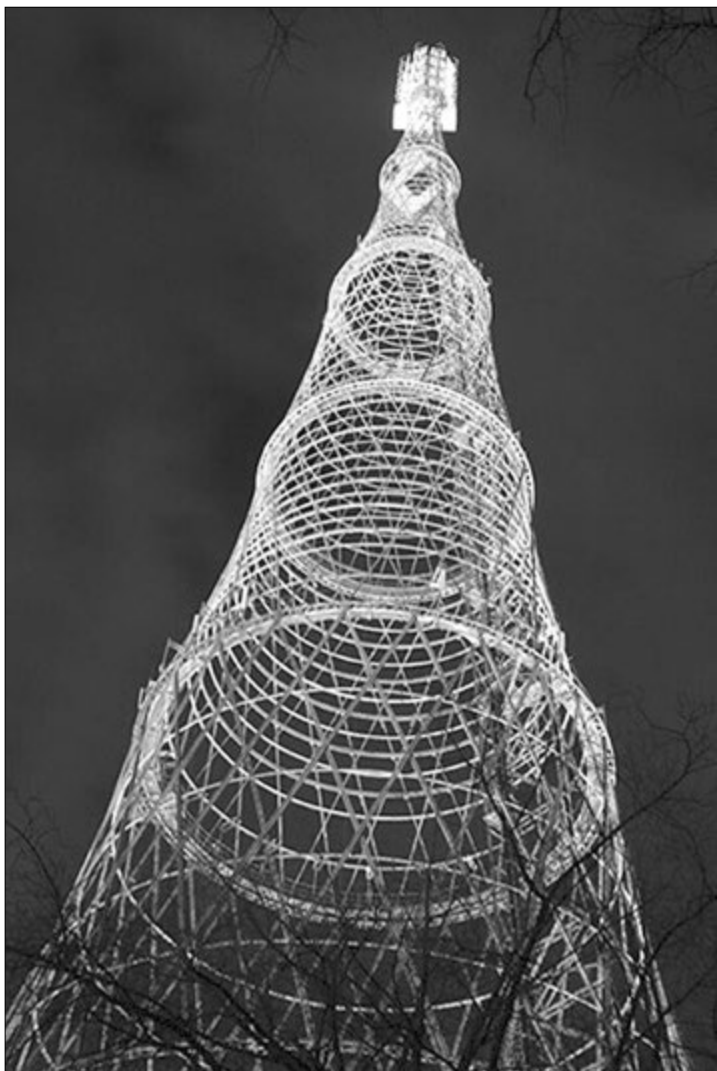
Иная, альтернативная, антииндустриальная, литературоцентричная, кабинетная, консервативная перспектива образа Вавилонской башни в России незадолго до коммунистической революции стала предметом анекдота и высмеивания. И. Е. Репин после смерти Льва

<sup>99</sup> Коллективизм проекта «Башни Шухова» хорошо считывал современный ему советский поэт-пропагандист из среды «Пролеткульта» Илья Садофьев (1889–1965): «Озаряем шпилем башни — / Лик Победного Труда... / Огнекрылости порыва, / Дерзость творческой мечты, / Достиженья Коллектива — / Беспредельной Высоты...» (Цит. по: А. Г. Митрофанов. Прогулки по старой Москве. Ордынка. М., 2011. С. 199).

<sup>100</sup> Не случайно по итогам конкурса на проект Центрального телеграфа был выбран синтетический проект, непосредственно отсылающий к индустриальной классике середины XIX века в образе Фабрики и одновременно содержащий в себе весомый композиционный и идеологический центр в образе Вавилонской башни. Сравнение это проекта с конкурировавшими с ним проектами других первоклассных советских архитекторов ясно демонстрирует, что они, оставаясь проектами «просто» промышленных зданий, фабрик, все в равной степени не имели в центре своего замысла — гипертрофированной угловой Вавилонской башни (Н. Ю. Васильев, Е. Б. Овсяникова, Т. А. Воронцова, А. В. Туканов, М. А. Туканов, О. А. Панин. Архитектура Москвы периода НЭПа и Первой пятилетки. М., 2014. С. 26–27). См. также: дом Моссельпрома, увенчанный башней А. Ф. Лолейта (1925), проект здания Наркомтяжпрома И. И. Леонидова (1934).



*Илл. 2. П. Брейгель Старший. Вавилонская башня (1563, Роттердам)*



*Илл. 3. В. Шухов. Радиобашня на Шаболовке (1919–1920). Илл.: lifeglobe.net*



*Илл. 4. И. Рерберг. Центральный телеграф в Москве (1925–1927)*



Илл. 5. В. Татлин. Памятник III Интернационалу (1920). Илл.: lebbeuswoods

Толстого горячо одобрил и 4 ноября 1911 г. дополнительно рекомендовал публике проект памятника писателю в виде огромного земного шара, увенчанного фигурой сфинкса. В связи с этим крупнейший русский сатирический журнал того времени «Сатирикон» опубликовал карикатуру А. Иванова с подписью:

«На вечере в Дворянском собрании на эстраду вышел художник И. Е. Репин и предложил способ увековечения памяти Льва Толстого: именно — устроить колоссальный земной шар, на котором сидит лев с головой Толстого; внутри шара публичная библиотека имени Толстого»<sup>101</sup>. (Илл. 6.)

Только совпадением, но совпадением, предопределённым общими универсалистскими претензиями на строительство нового Вавилона, можно объяснить то, что в основе проектов «сатириконовского» памятника Толстому и коммунистического проекта Дворца Советов равно лежит сфера-универсум. Но нет ничего случайного в том, что в основе проекта Дворца Советов архитектора Б. М. Иофана (1932: Илл. 7), победившего на первом закрытом конкурсе проектов и затем официально взятого за основу для подготовки окончательного проекта, лежит даже не спиралевидная, а лапидарная копия хрестоматийной, круглой четырёхуровневой Вавилонской башни. Лишь после этого архитектору была поставлена задача увенчать башню фигурой Ленина<sup>102</sup>. Это навершие внешне удаляло прямую аналогию с Вавилонской башней. Но программа развития проекта в ходе второго закрытого конкурса настаивала на возведении внутри башни особого универсума — Большого зала для аудитории итоговым числом 23 900 человек<sup>103</sup>. В окончательно в марте 1937 года утверждённом в качестве единственного официального — в проекте Б. Иофана (Илл. 8.) вовнутрь

<sup>101</sup> Сатирикон. СПб., 16 декабря 1911. № 51. С. 5. Об этом см. также: *И. Репин*. Проект памятника Л. Н. Толстому // Новый Журнал для всех. СПб., 1912. № 1.

<sup>102</sup> *Алексей Рогачев*. Москва. Великие стройки социализма. М., 2014. С. 216, 222, 235, 224. Мотив Вавилонской башни присутствовал на первом конкурсе, например, и в проекте Я. Додина и А. Душкина (С. 219), а центральное здание Дворца в виде полусферы было предложено на предварительном конкурсе в проекте Н. Ладовского (С.196), на первом конкурсе — в проекте М. Гинзбурга, С. Лисагора и немецкого архитектора Г. Гассенпфлуга (С. 217).

<sup>103</sup> *Алексей Рогачев*. Москва. Великие стройки социализма. С. 220, 229.



Илл. Б. «Сатирикон». Проект памятника Л. Н. Толстому (1911)

башни был вписан Большой зал в виде полусферы («полуциркульного амфитеатра»<sup>104</sup>).

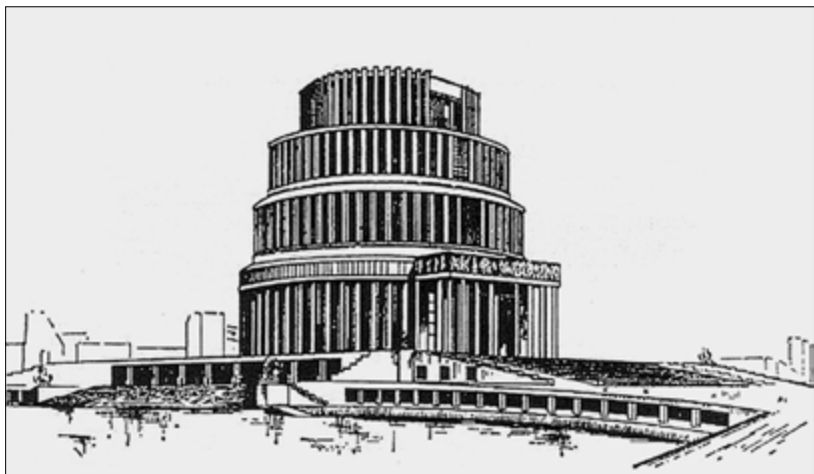
Лингвист-универсал Роман Якобсон (1896–1982), равно близкий к советской власти, футуристам, просоветским евразийцам, свидетельствовал уже в 1921 году, что для немецкого авангарда проект Татлина стал не только признанной классикой, но и тем образцом нового жизненного стиля, превосходящего искусство в целом, который они ёмко называли «*Maschinenkunst* Татлина»<sup>105</sup>, определив таким образом главное содержание этого Gesamtkunstwerk как *глобальной Машины / Фабрики*. В отличие от сугубо художественного синтеза прежних эпох — в этом актуальном Большом стиле ставилась задача синтеза общественного, художественного и научного. В 1912–1914 гг. — свидетельствовал Р. Якобсон — «представлялось совершенно несомненным, что мы переживаем и в изобразительном искусстве, и в поэзии, и в науке — вернее, в науках — эпоху катаклизмов... И ясно рисовался единый фронт науки, искусства, литературы, жизни, богатый новыми, ещё неизведанными ценностями будущего. Казалось, творится новозаконная наука, наука как таковая, открывающая бездонные перспективы...». Причём перспективы этого тотального переворота, конечно, создавали и адекватную ему новую тотальность Большого стиля. Вспоминая о гении этого переворотного футуризма, о Владимире Маяковском, Р. Якобсон отмечал, что тот «себе совершенно не мог представить, что будет культ машин, культ промышленности. Всё это его глубоко не интересовало: ведь он был страшный романтик. А Хлебников понимал — “Но когда дойдёт черёд, / моё мясо станет пылью”...»<sup>106</sup>.

Эта же интуиция авангарда лежит в основе более массового, уже не экспериментального, а вполне нормативного образа нового Gesamtkunstwerk как Фабрики, соединяющей в себе картины и традиционного органицистского функционализма *общества как человеческого тела*, и индустриализма технологичного производства как *единого*,

<sup>104</sup> Памятники архитектуры Москвы: Архитектура Москвы 1933–1941 гг. / Сост. Н. Н. Броневицкая. М., 2015. С. 23, 26.

<sup>105</sup> Р. Якобсон. Дада [1921] // Роман Якобсон. Будетлянин науки: воспоминания, письма, статьи, стихи, проза. Испр. и доп. изд. сб. «Якобсон-будетлянин» / Сост. и комм. Бенгт Янгфельдт. М., 2012. С. 177, 277, 279. На выставке дадаистов в Берлине, о которой предположительно был представлен плакат: «Die Kunst ist tot. Es lebe die neue Maschinenkunst Tatlins».

<sup>106</sup> Роман Якобсон. Будетлянин науки [1977] // Там же. С. 21–22, 88.



Илл. 7. Б. Иофан. Дворец Советов (Проект 1932). Илл.: [krasfun.ru](http://krasfun.ru)



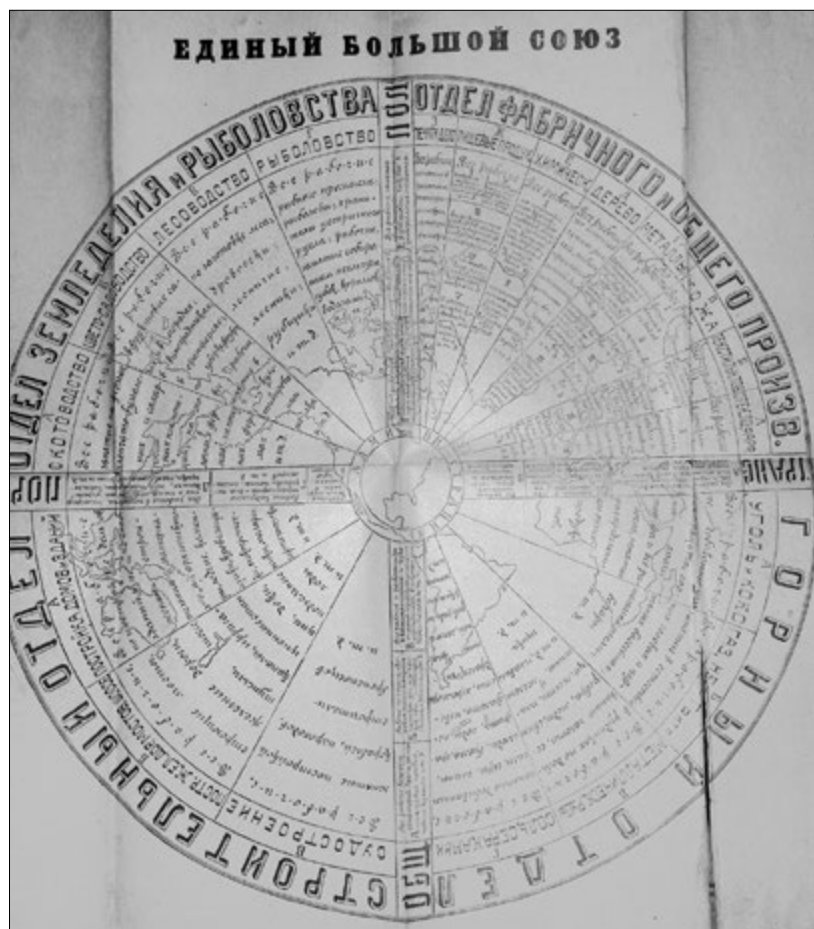
*Илл. 8. Б. Иофан. Дворец Советов (Проект 1937). Илл.: [greedyspeedy.livejournal.com](http://greedyspeedy.livejournal.com)*

замкнутого комплекса, более того — целого мира как единого машинного целого<sup>107</sup> — и нового, преображённого человека, технологически *противостоящего природе*. Речь идёт об известном немецком плакате той же эпохи, созданном Фрицем Каном (Fritz Kahn, 1888–1968) и ныне пережившем своё второе рождение в массовой культурной памяти — *Der Mensch als Industriepalast* (1927). Преодоление схем либерального социал-дарвинизма<sup>108</sup> «свободной конкуренции» уже в течение XIX века и одновременно преодоление почти современного ему социалистического механицизма в виде *Der Mensch als Industriepalast*, конечно, более всего было остроумным артефактом, нежели альтернативным проектом Большого стиля, однако оно актуализировало нечто большее, нежели органицистскую архаику, в которой общественным классам соответствовали члены и органы человека. Русский радикальный социалист и атеист, но принципиальный противник антропоморфизма и органицизма, П. Н. Ткачёв (1844–1886) ясно представлял себе консенсуальное единство современных ему европейских образцов индустриального социального прогресса в символике целостного организма: «Известно, что объективный историко-общественный антропоморфизм прошёл на Западе две ступени развития. Сперва, когда естественные науки были ещё в младенчестве, на общество переносились лишь некоторые процессы органической жизни; впоследствии же понятие об обществе было подведено всецело под понятие об организме, взятом во всём его объёме»<sup>109</sup>. Эта архаика к началу XX столетия оставалась жива как основа современной интеллектуальной картины. Об этом неизменно

<sup>107</sup> См. концентрическую схему (Илл. 9) такого мира, повторяющую в плане классическое изображение Вавилонской башни, в приложении к манифесту революционного анархо-синдикалиста У. Траутмана, изданному в Советской России: В. Е. Траутман. Единый Большой Союз // Производственный синдикализм (Индустриализм). Сб. ст. Пб.; М., 1919 (на обл.: 1920). Точно такой же концентрический градостроительный план был применён в проекте реконструкции Москвы, представленном С. С. Шестяковым в 1925 году: В. М. Чекмарёв. Сталинская Москва. Становление градостроительной темы «мировой коммунистической столицы». Изд. 2, испр. и доп. М., 2013. С. 11.

<sup>108</sup> Вариант: «социальный дарвинизм». Исследователь указывает на позднейшее происхождение этого понятия, допуская, что в XIX веке его — особенно в силу его «уничтожительных» коннотаций — просто не существовало (Роджер Смит. История гуманитарных наук [1997] / Пер. под ред. Д. М. Носова. М., 2008. С. 283).

<sup>109</sup> П. Н. Ткачёв. Ташкентец в науке [1872] // П. Н. Ткачёв. Анархия мысли. М., 2010. С. 82. Об этом же: П. Н. Ткачёв. Что такое партия прогресса [1870] // П. Н. Ткачёв. Анархия мысли. С. 35, 37.



Илл. 9. У. Траутман. Единоы Большой Союз (1919)

твердили британские, немецкие и французские интеллектуалы<sup>110</sup>. Известный советский теоретик организации труда, идеолог «Пролеткульта» А. К. Гастев (1882–1939) так завершал свой манифест прикладной систематизации всего советского хозяйства: «В машине-орудии всё рассчитано и подогнано. Будем также рассчитывать и живую машину — человека»<sup>111</sup>. Признанный только недавно великим, советский писатель и идейный коммунист Андрей Платонов (1899–1951) в своей творческой юности, воспроизводя общий дух эпохи и советского коммунизма, рисовал общественный идеал как соединение *машины* и *труда*, исподволь, лексически проговаривая их органический (телесный) синтез:

«Производство — вот истинное тело коммунистического общества, и организация производства есть организация коммунистического общества. Производство же основано на труде всех. Значит, труд — главный, решающий, универсальный момент жизни коммунистического общества и производство — основная цель этого общества»<sup>112</sup>.

Органицизм советского марксизма отнюдь не был только лишь художественным произволом партийных или беспартийных коммунистов. Он был именно доктриной для массового распространения. Вот так, например, предписывал понимать жизнь известный и успешный советский официальный марксист В. Н. Сарабьянов (1886–1952):

«Общественное бытие и общественное сознание (тело и душа общества) (...) материя и дух общества или, выражаясь проще, тело и душа общества.

<sup>110</sup> Из числа русских переводов на эту тему см. широкий спектр изданий от Константина Франца (1817–1891) до Рене Вормса (1869–1926): К. Франц. Общие начала физиологии государства [1857] / Пер. [1870]. М., 2012; Р. Вормс. Общественный организм [1896] / Пер. под ред. А. С. Травецкого [1897]. М., 2012. См. свод советского официоза описываемого времени о Дарвине: Учение Дарвина и марксизм-ленинизм (к 50-летию со дня смерти Дарвина) / Сб. ст. под ред. П. И. Валескалн и Б. П. Токина. М., 1932. А также представительную марксистскую антологию: Дарвинизм и марксизм / Сб. ст. под редакцией М. Равича-Черкасского. Харьков, 1923 (Энгельс, Вольтманн, Тимирязев, Каутский, Ферри, Лориа, Геркнер, Бюхнер, др.).

<sup>111</sup> А. К. Гастев. Новая культурная установка [1924] // А. К. Гастев. Как надо работать. Практическое введение в науку организации труда. М., 2011. С. 105.

<sup>112</sup> Андрей Платонов. Будущий Октябрь [1920] // Андрей Платонов. Сочинения / Гл. ред. Н. В. Корниенко. Т. 1: 1918–1927. Кн. 2: Статьи. М., 2004. С. 107.

(...) Базис и надстройки общественного тела. (...) Анатомией тела определяется и “анатомия” общественного сознания»<sup>113</sup>.

Словно в развитие этой схемы в 1927 году в советском журнале «Летописи марксизма» были опубликованы тезисы первого русского политического марксиста Г. В. Плеханова (1856–1918) о материалистической основе марксизма, в которых он, в частности, сообщил (нехорошо бравлируя швейцарскими реалиями, словно общие справочные данные были доступны лишь посвящённым):

«Пойдите в Женевскую публичную библиотеку, возьмите там XXVIII том “Biographie universelle ancienne et moderne” и отыщите в нём статью “Ламеттри”. Автор этой статьи говорит, что Ламеттри среди других книг написал книгу “Человек-машина” — “гнусное произведение, в котором пагубное учение материализма изложено без всяких смягчений”. В чём же оно состоит, это пагубное учение. Слушайте внимательно»<sup>114</sup>. И далее Плеханов возвращается к уже однажды рассказанной им истории о материализме. А именно этой: “Декарт утверждал, что животные суть не более как машины, т.е. что у них совсем нет того, что называется психической жизнью; Ламеттри ловит Декарта на слове. Он говорит, что если Декарт прав, то и человек тоже не более, как машина, потому что нет никакой существенной разницы между человеком и животным. Отсюда — название его знаменитого сочинения “L'Homme machine” (Человек-машина). Однако, так как человек не лишён психической жизни, то Ламеттри заключает далее, что и животные тоже одарены психической жизнью. Отсюда название другого сочинения: “Les animaux plus que machines” (Животные — более, чем машины)»<sup>115</sup>.

В этом контексте в изолированном «человеке-дворце индустрии» Ф. Кана, наполняющем человеческий организм иерархией деперсонализированных функций, выявляется «вавилонский» замысел, общий

<sup>113</sup> В. Сарабьянов. Введение в диалектический материализм. [Херсон.] 1923. С. 24, 26, 29.

<sup>114</sup> Г. В. Плеханов. О так называемом кризисе в школе Маркса (конспект лекции против Бернштейна и К. Шмидта) [1901] // Г. В. Плеханов. Против философского ревизионизма. М., 1935. С. 183.

<sup>115</sup> Г. В. Плеханов. Бернштейн и материализм [1898] // Г. В. Плеханов. Против философского ревизионизма. М., 1935. С. 42–43.

для индустриализма и коммунизма. Вавилонская башня в реальности первой половины XX века становится Фабрикой, где человек-творец сам на поверку оказывается машинным созданием. Которым, в свою очередь, управляет *некто*, жизненно требующийся этой одновременно рациональной и органической *машине-городу-государству-человечеству*, знающий и властвующий герой, столь долго и упорно призывавшийся к жизни самим Просвещением на место монарха-по-крови<sup>116</sup>. Его пафос и компетенция не сводятся к обслуживанию машины, но подчиняют её целям радикального переустройства, ставя ей цели, делясь с ней личным знанием Законов Истории, будь то «мировая строительная наука» или «всеобщая организационная наука»<sup>117</sup> и т. п. Именно об этом «встроенном» в машину её внешнем управлении говорит клонящийся к диктатуре Карл Шмитт (1888–1985) в 1920-е годы:

«Если бы в этом заключалась научность социализма, то прыжок в царство свободы был бы только прыжком в царство абсолютного техницизма. Это было бы старым рационализмом Просвещения и одной из излюбленных, начиная с XVIII в., попыток добиться политики, обладающей математической и физической точностью. (...) “Прыжок в царство свободы” необходимо понимать только диалектически. Его невозможно осуществить при помощи одной лишь техники. В противном случае от марксистского

<sup>116</sup> Это заложено в самой рациональности просвещенческого типа: например, «Маркузе убеждён, что в том, что Макс Вебер назвал “рациональностью”, утвердилась не “рациональность” как таковая, но выступающая от имени рациональности определённая форма непризнанного политического господства» и постулирует «сплав техники и господства, рациональности и подавления» (*Юрген Хабермас. Техника и наука как «идеология»* [1968] // Юрген Хабермас. Техника и наука как «идеология» / Пер. под ред. О. В. Кильдюшова. М., 2007. С. 51, 57). Можно увидеть персонализацию такого сплава в образе описанных критиком сталинского коммунизма «философов-заговорщиков», оперирующих диалектической казуистикой — «они мечтали добиться власти, чтобы уничтожить власть навсегда; они мечтали подчинить себе мир, чтобы отучить людей подчиняться» (*Артур Кёстлер. Слепая тьма* [1940] / Пер. А. А. Кистяковского. М., 2010. С. 74), но, не прибегая к казуистике, апогей такого внешне рационалистического не наследственного вождизма легко увидеть в современной риторической и массовой культуре США, где вождь (будь то президент, гоночная машина, робот, или супермен, или целая страна) всегда в одиночестве ведёт за собой отомобилизованную массу (Земной шар), лично доказывая своё индивидуальное творческое, или физическое, или синтетическое лидерство в единомличном противоборстве со Злом.

<sup>117</sup> А. А. Богданов. Новый мир. Вопросы социализма [1924]. М., 2014. С. 94.

социализма нужно было бы требовать, чтобы он вместо политических акций изобрёл новую машину, и сомнительно, что и в коммунистическом обществе будущего были бы сделаны новые технические и химические изобретения, которые затем снова смогли бы изменить основу этого коммунистического общества...»<sup>118</sup>

Именно Фабрику в сталинской Вавилонской башне, в Gesamtkunstwerk Бориса Гройса помогает увидеть Ханс Зедльмайр и художественная практика Модерна. А Фабрика помогает понять: откуда, с чем появились и частью чего были сталинизм и его Большой стиль, в котором Сталин, конечно, был не творцом, а лишь правящим исполнителем модерного консенсуса и строителем его утопии, — до тех пор, пока крупнейшая война в истории человечества не похоронила этот Gesamtkunstwerk. Можно было бы отнести радикализм «вавилонского» индустриализма на счёт не очень сложной философии борющегося и правящего советского коммунизма и его отражений, но глубина его исторически недолговечного Большого стиля в любом случае оказывается не глубиной самого коммунизма и не его собственной гекатомбой. О крепком и укоренённом в целостной мировой истории Нового времени узле неразрешаемых противоречий содержательно говорил другой современник сталинского Gesamtkunstwerk Карл Ясперс (1883–1969), одновременно откликаясь на попытки терминологически «усмирить» сталинизм, сделав его «чужим», отделив его от Модерна и индустриализма. К. Ясперс вернул источники вдохновения и язык этого сталинского Большого стиля к тотальности и биополитике. Анализируя общий контекст сталинской эпохи, он писал:

«Государство, общество, фабрика, фирма — всё это является предприятием во главе с бюрократией (...) Утопически эксплуатацию нашей планеты можно изобразить как местоположение и материал гигантской фабрики, которая приводится в движение массой людей... мир существует только как искусственный ландшафт, аппаратура человека в пространстве и свете...

С помощью евгеники и гигиены создаётся наилучший тип человека. Болезни уничтожены (...) Целое в планирующем мышлении есть, во-первых, *идея*

<sup>118</sup> *Карл Шмитт*. Духовно-историческое состояние современного парламентаризма [1923] // Карл Шмитт. Понятие политического / Под ред. А. Ф. Филиппова. М., 2016. С. 148–149.

*общего* состояния, к которому стремятся программы; во-вторых, конкретное *всемирно-историческое* положение в настоящем,... утопия правильного устройства мира,... метафизика бытия государства самого по себе,... этос самоограничения со стороны государства и общественного аппарата в пользу неприкосновенных прав человека,... историческая жизнь народа как нации,... каждый [из этих образов] становится неистинным в качестве *тотальной программы*, поскольку она претендует на абстрактную всеобщность (...)

**Государство посредством своей власти выступает как гарант любой формы массового порядка.** Сама по себе масса не знает, чего она, собственно говоря, хочет (...) Бога нет — таков всё растущий возглас масс; тем самым и человек теряет свою ценность, людей уничтожают в любом количестве, поскольку человек — ничто»<sup>119</sup>.

В заключение настоящего очерка следует сказать и о логике перерождения сталинской довоенной тотальной Фабрики в послевоенном сталинском «ампире», ярче всего явленном в практике высотных зданий («сталинских высоток») в Москве, Варшаве и Риге, сверхзданий, подчинявших себе окружающий городской ландшафт, задуманных и реализованных как градостроительные самодостаточные «острова». Признано, что генетически проекты «сталинских высоток» не только внешне откликались на образцы и конкурировали с образцами небоскрёбов в США и Великобритании, но более всего технологически и даже политико-идеологически продолжали нереализованный проект Дворца Советов в Москве, то есть реализовывали его в новой, послевоенной реальности уже как серию разнообразных примеров «синтеза искусств», но с менее глобальной, вернее, более реалистической программой дворцов-памятников, нежели она была у Дворца Советов. Труднее уловить, как и почему именно программа *Фабрики-Вавилона* была заменена секвестированной практикой дворцов-муравейников, в которых отчасти сохранялась бытовая сторона изолированного коммунистического общежития (в максимуме приданных жилой «высотке» сфер услуг от прачечных до кинотеатров — и в минимизированных квартирных кухнях). Наряду с роскошью общественных холлов и экстерьеров, уже не ставилась задача зримого объедине-

<sup>119</sup> *Карл Ясперс. Духовная ситуация времени [1931] / Пер. М. И. Левиной. М., 2013. С. 57, 77, 78, 136–137, 149, 199.*

ния масс в общем действе и демонстрации идеальной рациональной общественной иерархии производства и знания. Особый свет на это проливает дискуссия, начавшаяся в официальной (и потому особо ответственной) советской архитектурной профессиональной среде в 1947 году, после того, как высшее руководство СССР приняло решение о строительстве серии «высоток». Исследователь архитектурной и инженерной истории «высоток» приводит дискуссионное мнение теоретика архитектуры, бывшего конструктивиста Н. Н. Соколова, который — с аутентичным знанием дела и пафоса — политически и идеологически мотивированно описал произошедшее. Налицо *отказ от символики (Фабрики) индустриализма* и замена её риторической антикапиталистической критикой индустриально-архитектурного опыта США, словно он был изолирован от такого же опыта СССР. Подыскивая новому смыслу советских небоскрёбов новый образ мира, советский теоретик писал, компетентно подвергая посрамлению самую сердцевину довоенного Большого стиля:

«Основной художественный порок небоскрёбов в США — **механистичность формы**. Их композиция строится либо на беспринципной эклектике, либо на принципах машинной эстетики (...) они рассматривают как добродетель коренной недостаток дешёвой машинной продукции — бедность форм, прямолинейность и однообразие. **Машину фетишизируют, в ней видят основу для нового стиля**. Американский архитектор Бессет Джонс говорит: “Чем больше здание принимает характер машины, тем более его чертёж, конструкция и оборудование подчиняются тем же законам, которые существуют для локомотива”. Здесь подразумевается **господство самодевялюющей техники**, ибо это было сказано в то время, когда Бессет Джонс не подозревал, что сначала автомобильные, а за ними и паровозостроительные и даже самолётные фирмы призовут не инженера, а художника исправить с точки зрения искусства чертежи и спасти их продукцию от того безобразия, которое породили пресловутые “законы локомотива” ...»<sup>120</sup>

Собственно, сколь бы непрерывна ни была связь послевоенного сталинского коммунизма с коммунизмом довоенным и с его восхо-

<sup>120</sup> Цит. по: Н. Н. Кружков. Высотки сталинской Москвы. Наследие эпохи. М., 2014. С. 131 (Выделено мной. — М. К.).

дящим к XIX веку образно-интеллектуальным ландшафтом, после 1947 года *смена* центрального его мифа проявлялась всё предметней. Решительный слом прежней тяжеловесной, монументальной традиции произошёл столь же быстро, сколь быстро стал казаться избыточным индустриализм. Даже в такой прикладной, но оттого более чуткой к художественной эволюции сфере, как фалеристика. Последними советскими наградами, сохранившими в себе монументальность Большого стиля, ещё при Сталине стали, пожалуй, уже медали «В память 800-летия Москвы» (1947) и «За отличие в охране государственной границы СССР» (1950). Вслед за ними в фалеристике, как и в изобразительной советской пропаганде, стали быстро нарастать и доминировать уже другие<sup>121</sup> — принципиально не монументальные, декоративно-орнаментальные, барельефные, всё более маньеристские образы, за которыми уже не было ни Большого стиля, ни коммунизма.

Большой стиль Фабрики исчерпал себя уже к концу 1940-х годов. И Сталин пережил его.

---

<sup>121</sup> Пожалуй, единственным исключением из этого ряда в духе прежнего сталинского Большого стиля стал орден «Трудовая Слава» 1974 года.

## ФИХТЕ, ЛИСТ, ВИТТЕ, СТАЛИН:

ИЗОЛИРОВАННОЕ ГОСУДАРСТВО, ПРОТЕКЦИОНИЗМ,  
ПЕРВОНАЧАЛЬНОЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ НАКОПЛЕНИЕ  
И «СОЦИАЛИЗМ В ОДНОЙ СТРАНЕ»

Промышленное производство в наше время означает крупную промышленность... Вы **должны** быть в состоянии ремонтировать ваши собственные паровозы, вагоны, железные дороги, а это можно сделать дёшево только в том случае, если вы в состоянии *строить* у себя всё то, что намереваетесь ремонтировать... если Россия действительно нуждалась в своей собственной крупной промышленности и решила иметь её, то она не могла создать её иначе, как посредством хотя бы *известной* степени протекционизма.

Ф. Энгельс — Н. Ф. Даниельсону, 1892

В своих неизмеримых пределах Англии не тесно; сама она с ее колониями представляет еще не сложившийся, но замкнутый мир, который мог бы прекрасно существовать без участия остального человечества... вот вам идеальное «замкнутое» государство, о котором мечтали философы... России, может быть, волей-неволей придет-

ся — или вступить в экономическую федерацию с еще не замкнутыми державами, или и самой попробовать уединиться в своих огромных границах, поискать дома всего, что ей нужно...

*М. О. Меньшиков. Замкнутое государство. 1902*

Всю нашу надежду мы возлагаем на то, что наша революция развяжет европейскую революцию. Если восставшие народы Европы не раздавят империализм, — мы будем раздавлены, это несомненно.

*Л. Д. Троцкий, 26 октября 1917*

Мы отстали от передовых стран на 50–100 лет. Мы должны пробежать это расстояние в десять лет. Либо мы сделаем это, либо нас сомнут.

*И. В. Сталин, 4 февраля 1931*

## **КОНЕЦ МИРОВОЙ РЕВОЛЮЦИИ**

10 февраля 1921 года народный комиссар РСФСР по делам национальностей, член Политбюро РКП (б) И. В. Сталин выступил в печати с утверждёнными Политбюро тезисами к докладу X съезду РКП (б) «Об очередных задачах партии в национальном вопросе». Формально касался он лишь территории Советской России и бывших народов Российской империи, где действовала вертикаль РКП (б). Но на деле — задолго до решительного определения задач «строительства социализма в одной стране», ставших программной инициативой в 1925 году на XIV съезде ВКП (б), когда доктрина приоритетной мировой революции была вместе с её идейным лидером Л. Д. Троцким отодвинута от политической власти, а сама мировая революция в итоге была подчинена интересам СССР не как Мировой ССР, а как одной из великих держав<sup>1</sup>, —

---

<sup>1</sup> В классической западной историографии, ищущей аргументов в пользу концепции «национализации» Сталиным большевистского интернационального проекта, принято считать, что она стала результатом рационального союза сталинской власти с русским политическим национализмом, тактически начатого ещё Троцким и др., а сам Сталин лишь в декабре 1924 года выдвинул лозунг «социализма

Сталин изображал тот ландшафт, на котором мировой коммунизм не только не был приоритетом, но буквально тонул в хаосе империалистической и национальной борьбы. Из этого хаоса можно было бы умозаключать нечто важное о мировой борьбе, но руководствоваться этими умозаключениями в интересах элементарного государственного выживания РСФСР, то есть на практике, было нельзя. Не было «руководящей нити». Ещё 26 ноября 1920 года политический и идейный вождь РСФСР В. И. Ленин заявил: «Мы всегда говорили, что мы только одно звено в цепи мировой революции и никогда не ставили себе задачи победить одними своими силами». И вот, три месяца спустя, стало выясняться, что мир лежит в межгосударственной борьбе и руководящей помощи оказавшейся в одиночестве РСФСР ждать неоткуда.

Радикальный враг большевистской власти, не останавливавшийся перед проповедью военной интервенции ради сокрушения Советской России, П. Б. Струве сразу после Октябрьского переворота 1917 года писал: «России нужна для окончания войны, как внешней, так и гражданской, большая вооружённая сила в руках твёрдой государственной власти, а армия в силу целого ряда причин, заложенных в ходе революции, превратилась в огромное погромное бесчинство вооружённых людей, руководимых преступниками и безумцами»<sup>2</sup>. А уже

---

в одной стране», вслед за тем, как Бухарин в феврале заговорил об *одной стране в изоляции* (краткое резюме этой концепции: М. Азурский. Идеология национал-большевизма. Paris, 1980. С. 201–203). Авторам этой схемы следовало бы, однако, признать, что в главном она восходит к антисталинской критике в публицистике Троцкого, а не к изучению доктринального марксистского контекста и полноты взглядов Сталина. И, главное, эта схема не проводит ясной границы между абстрактным, среднеарифметическим «русским национализмом» и политико-экономическим (сутобо терминологическим) «национализмом» государственности, народного хозяйства, суверенитета и т.п. Не говоря уже о национальных приоритетах главных социалистических сил Запада, фактом были их страновые различия, ставшие острыми во время Первой мировой войны. На деле уже первое приближение показывает, что о национальном масштабе русской революции большевики задумались ещё до Октября: «Мы перешли с курса на мировую революцию на курс национальной революции», — говорил член Петросовета и Петроградского комитета РСДРП (б) Антонов на совещании ЦК, ПК РСДРП (б) и большевиков-делегатов Всероссийского Демократического совещания в Петрограде 24 сентября (7 октября) 1917 года (Петербургский комитет РСДРП (б) в 1917 году: Протоколы и материалы заседаний / Подгот. Т. А. Абросимова, Т. П. Бондаревская, Е. Т. Лейкина, В. Ю. Черняев. СПб., 2003. С. 473).

<sup>2</sup> П. Б. Струве. В чём революция и контрреволюция? // П. Б. Струве. Избранное / Сост. М. А. Колеров. М., 1999. С. 254–255.

в ноябре 1919 года, далеко до окончания белой борьбы против красных, Струве признавал, что, начав с «антипатриотичной» и «противо-государственной» революции, большевики создали военно-государственную организацию и, «начав с провозглашения мира, с отрицания и разрушения армии, эта социалистически-интернационалистская организация с неслыханным упорством начала войну, всем ей жертвуя и ради самосохранения всё подчиняя социалистическому милитаризму... Уничтожение армии привело к превращению всего государства в красную армию»<sup>3</sup>. То есть Россия уже через два года получила в свои руки армию и твёрдую государственную власть, о которой мечтал самый радикальный враг большевиков и за неимение которых отказывал большевикам в праве вообще в России существовать. Но призрак мировой революции удалился.

Армия-государство за спиной и мировой ландшафт перед глазами, описанный в начале 1921 года Сталиным, открывали Советской России только одну реалистичную перспективу — стать, в случае успеха, одним из игроков в этом хаосе, выбирая себе место либо среди империалистических великих держав и эфемерно независимых новых национальных государств — либо среди колоний, борющихся за освобождение:

«Послевоенный период открывает неутешительную картину национальной вражды, неравенства, угнетения, конфликтов, войн, империалистических зверств со стороны наций цивилизованных стран как в отношении друг к другу, так и к неполноправным народам. С одной стороны, несколько “великих” держав, угнетающих и эксплуатирующих всю массу зависимых и “независимых” (фактически совершенно зависимых) национальных государств, и борьба этих держав между собой за монополию на эксплуатацию национальных государств. С другой стороны, борьба национальных государств, зависимых и “независимых”, против невыносимого гнёта “великих” держав; борьба национальных государств между собой за расширение своей национальной территории; борьба национальных государств, каждого в отдельности, против своих угнетённых национальных меньшинств. Наконец, усиление освободительного движения колоний против “великих” держав и обострение национальных кон-

---

<sup>3</sup> П. Б. Струве. Размышления о русской революции // П. Б. Струве. Избранное. С. 286–287.

фликтов как внутри этих держав, так и внутри национальных государств, имеющих в своём составе, как правило, ряд национальных меньшинств. Такова «картина мира», оставленная в наследство империалистической войной»<sup>4</sup>.

В этом ландшафте и сформировалась для большевиков проблема **«социализма в одной стране»**, то есть установления в России и СССР суверенного политического режима, основанного на коммунистической (социалистической) экономике, — главной задачей Советской власти. Несмотря на то, что доминирующая марксистская традиция говорила о коммунизме как о масштабе мировой революции, задача *суверенного социализма* не была новым или монопольным изобретением, или вынужденным открытием руководства большевиков.

В осознании этой задачи они нашли опору в широком социалистическом консенсусе внутри России, суверенизаторский пафос которого ещё вполне не описан, но интеллектуально совершенно ясно проявил себя в том же 1921 году. Именно тогда он выразил себя, можно сказать, в самой сердцевине социалистического сознания, а именно в попытке научного конструирования экономического проекта новой, *отдельной* России (о его предпосылках и направлениях подробнее ниже): именно его выдвинул экономист-аграрник, активист кооперативного движения, бывший товарищ земледелия Временного правительства, действующий член коллегии Наркомата земледелия РСФСР, в историографии пользующийся — наряду с Н. Д. Кондратьевым — репутацией противника сталинизма, А. В. Чаянов (1888–1937). Формально он претендовал на проявление общих методологических подходов к исследованию народного хозяйства в традиции «изолированного государства» (Тюнена), но на деле исходил из новой реальности России. Он, разумеется, теоретически анализировал перспективы массового крестьянского мелкотоварного аграрного производства в советской России, ставшего реальностью в результате революционного «чёрного передела» (уничтожения помещичьего землевладения и перераспределения земли) 1917–1918 гг., но делал это в **жёстких пределах национальной территории**. Этому были посвящены специальные

---

<sup>4</sup> И. Сталин. Статьи и речи об Украине. Сборник / Подг. Н. Н. Попов. [Киев,] 1936. С. 118–119.

главы его работы «Опыты изучения изолированного государства»: «Проблема населения в изолированном государстве-острове» и «Трудовое и капиталистическое хозяйство в изолированном государстве-острове»<sup>5</sup>. Специальные разъяснения потребовались Чаянову и для того, чтобы сместить фокус теории с мировой на национальную экономическую систему:

«Употребляя термин “страна”, мы теоретически понимаем под этим изолированную страну, практически его следует понимать как более или менее замкнутую рыночную систему. При развитом мировом хозяйстве “страной” в данном случае является весь мир. Однако с некоторой долей приближения под этим термином можно понимать и некоторые более или менее замкнутые народно-хозяйственные национальные системы»<sup>6</sup>.

И позже, в другом месте — и что важно: в немецкой статье, в естественном научном контексте для наследия Тюненна — Чаянов легко защищал презумпцию «изолированного государства» от (звучавшей в СССР из среды проповедников мировой революции) примитивной критики. Её главным пунктом была сугубо лексическая, недобросовестная эксплуатация понятия «изолированный» (= отдельный) как синонима якобы полной самоизоляции от внешнего мира. Чаянов разъяснял, говоря о «сосуществовании форм... первоначального капитализма с феодальным и крепостническим» и явно подразумевая актуальное тогда сосуществование западного капитализма и советского социализма: «...каждая система, оставаясь замкнутой в себе, будет соприкасаться с другими объективно общими народнохозяйственными элементами»<sup>7</sup>.

Проблема признания «социализма в одной стране» задачей Советской власти — и вне упомянутого контекста — имела существенную основу внутри марксистской доктрины и была производной

---

<sup>5</sup> А. В. Чаянов. Опыты изучения изолированного государства [1921] // А. В. Чаянов. Организация крестьянского хозяйства. М.; Екатеринбург, 2015. С. 79, 90.

<sup>6</sup> А. В. Чаянов. Номографические элементы экономической географии [1921] // А. В. Чаянов. Организация крестьянского хозяйства. С. 117.

<sup>7</sup> А. В. Чаянов. К вопросу [о] теории некапиталистических систем хозяйства [1924] // А. В. Чаянов. Крестьянское хозяйство. Избранные труды / Сост. Н. К. Фигуровской, А. И. Глаголева. М., 1989. С. 143.

от доктринально хорошо выясненной марксистами неравномерности капиталистического развития. Эта неравномерность с самого начала стояла в центре теории мировой революции, поскольку она всегда в 1840–1870-х гг. исходила из идеи лидерства в ней западных стран, Англии или Франции, а в 1890-х — Германии. Соответственно вне стран-лидеров осознавалось существование европейских держав меньшего веса и Северной Америки, которое, взятое вместе с лидерами, предопределяло для остального мира статус зависимых стран или колоний, чьей главной характеристикой была их сравнительная отсталость. Единственным исключением из их числа понималась Россия — единственная великая держава среди «не передовых» стран, чей военно-политический вес дополнялся её аграрно-монархической и «синодальной» отсталостью от тех, с кем политически конкурировала Россия. Великими державами Запада ей было бы определено место колонии, если бы не её военно-дипломатический вес. «Вплоть до конца XIX в. история была для нас, по существу, историей Запада. Весь остальной мир оставался в сознании европейцев того времени колониальной территорией второстепенного значения, предназначенной для того, чтобы быть добычей европейцев», — свидетельствовал Карл Ясперс (1883–1969)<sup>8</sup>.

Таким образом, неравномерность капиталистического развития оставляла России перспективы преодоления отсталости в ходе (западной, европейской) мировой революции и для этого предопределяла ей судьбу либо ассистента революционного процесса, либо нового объекта экспорта революции, для старой **французской и фихтевской революционной войны ради свободы и просвещения**, революционной войны, в плане которой силы революционного Запада теперь уничтожали царизм при помощи русских революционеров и устанавливали в России «коммунизм сверху». Гипотетическое отсутствие географической связи между революционным лидером мира (Францией или Германией) и *революционной Россией* обрекало Россию на «вре-

<sup>8</sup> Карл Ясперс. Истоки истории и её цель [1949] / Пер. М. И. Левиной // Карл Ясперс. Смысл и назначение истории. М., 1994. С. 141. Современный взгляд на проблему см. здесь: Антуан Брюне, Жан-Поль Гишар. Геополитика меркантилизма: новый взгляд на мировую экономику и международные отношения [2011] / Пер. под ред. В. А. Шупера. М., 2012. С. 44–64 (оригинальное название книги: La visée hégémonique de la Chine — L'impérialisme économique).

менное» самостоятельное поддержание статуса революционной, — в *не революционном окружении* и перед лицом своих не революционных (отсталых) производительных сил и технологического уклада, далёких от тотальной западной индустриализации. Её «временное» одиночество подразумевало и «временно» самостоятельное преодоление отсталости и самозащиту, пока западная революционная война не достигнет её пределов.

Отлично помня, что догма марксизма отнюдь не включала Россию (как «оплот реакции» и как «отсталую» страну) в круг стран, где произойдёт мировая революция (реакционная Германия, однако, технологически могла стать «ареной первой великой победы европейского пролетариата»<sup>9</sup>), и включала Россию в число тех, куда будет направлен экспорт революции<sup>10</sup>, старые русские народники и социал-демократы конца XIX века не могли видеть для России иного сценария, кроме участия в мировом революционном процессе. Но русские большевики начала XX века были рождены новым мессианским пафосом В. И. Ленина, который был экспрессивно выражен в его ставшей очень популярной брошюре «Что делать?» (1902):

«История поставила теперь перед нами [русскими революционерами. — М. К.] ближайшую задачу, которая является наиболее революционной из всех ближайших задач пролетариата какой бы то ни было другой страны. Осуществление этой задачи, разрушение самого могучего оплота не только европейской, но также (можем мы сказать теперь) и азиатской реакции [царской России. — М. К.], сделало бы русский пролетариат авангардом международного революционного пролетариата...»<sup>11</sup>

Поэтому падение самодержавия, царской России и Российской империи (как — в изображении западных критиков, в том числе Маркса и Энгельса — *реакционной* державы, **ради ликвидации которой им**

<sup>9</sup> Ф. Энгельс. Введение к английскому изданию «Развития социализма от утопии к науке» [1892] // К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения. Т. 22. М., 1962. С. 320.

<sup>10</sup> «Может ли... революция произойти в одной какой-нибудь стране? Ответ: Нет... коммунистическая революция будет не только национальной, но произойдёт одновременно во всех цивилизованных странах, то есть, по крайней мере, в Англии, Америке, Франции и Германии» (Ф. Энгельс. «Принципы коммунизма» (1847) Вопрос 19).

<sup>11</sup> В. И. Ленин. Полное собрание сочинений. Т. 6. М., 1963. С. 28.

**и нужна была революция в России, которая стала бы частью революционной войны** социал-демократов Германии<sup>12</sup>) в феврале–марте 1917 года открыло самую главную перспективу в доктринальном сознании русских большевиков — перспективу участия в мировой революции. В отличие от русских марксистов вообще, которые, следуя западной традиции русской мысли и *экономической* догме марксизма, более всего желали для России западного пути (последовательно) либерализма, социализма и мировой революции как нового качественного скачка, основанного на высшем уровне промышленного и технологического развития, русские большевики, видимо, следовали именно *политическому* наследию Маркса и Энгельса. В политическом наследию Маркса и Энгельса — в том, что в нём прямо касалось России, — в течение полувека, с 1840-х по 1890-е годы, было многократно, резко, настойчиво сформулировано, что главный враг революции в Европе — царская Россия, главное препятствие на пути победоносной социалистической революции — русский царизм. Выступив в 1914 году за поражение русского царизма и России в целом в войне

<sup>12</sup> «Россия, несомненно, находится накануне революции. (...) эта революция будет иметь величайшее значение для всей Европы хотя бы потому, что она одним ударом уничтожит последний, все еще нетронутый резерв всей европейской реакции» (Ф. Энгельс. Эмигрантская литература [1875] // К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения. Т. 18. М., 1961. С. 548). Германский биограф Маркса, лично знавший его в течение многих лет и доживший до революции в России, так изложил структуру политической и идейной борьбы Маркса против России в целом: здесь он жёстко требовал от революционной Германии антифеодальной аналогии с революционной Францией 1789 года с её революционными войнами, ибо «лишь война против России есть война революционной Германии». И в этом биограф видел особую логику глобального взгляда Маркса и Энгельса на место Германии в мировой революции, косвенно подвергая сомнению их патриотическую ангажированность: «Они обозревали события со своего интернационального сторожевого поста, и это мешало им проникать в глубь жизни отдельных наций. Даже их восторженные поклонники во Франции и в Англии признавали, что они не вникли до конца в условия английской и французской жизни. И с Германией, с тех пор как они покинули свою родину, им также никогда не удалось установить по-настоящему тесную связь» (Ф. Меринг. Карл Маркс. История его жизни [1918]. М., 1957. С. 187, 529). Нет сомнения в связи марксистской «революционной войны» с «истинной войной» у Фихте (в «Назначении человека»), где действует «истинное государство против государств несвободных с целью их освобождения»: в России впервые на это косвенно обратил внимание А. 3. Штейнберг, сравнивая периоды после 1789 года и после 1917–1918 гг. (А. 3. Штейнберг. Братство (Ереси вслух!) [1922] // А. 3. Штейнберг. Философские сочинения / Сост. В. Г. Белоус. СПб., 2011. С. 275).

против Германии, русские большевики строго следовали именно этим заветам. В феврале–марте 1917 года они с полным доктринальным основанием могли полагать, что чем дальше и больше дойдёт разрушение России как «оплота реакции», тем ближе будет завещанная мировая (европейская) революция. Этой особой роли России Маркс, Энгельс, оставаясь немецкими патриотами, и большевики, будучи крайними интернационалистами, отвели исторически краткую, отдельную инструментальную роль. Но эта роль ещё до революций 1917 года была для России историческим фактором, даже если была просто фактом догматического сознания.

Чуткий политический публицист и крупный газетный организатор А. С. Суворин (1834–1912) эту инструментальность русского освободительного (от самодержавия) движения, его осознанно вторичную роль, которая всё же сохраняла за ней хоть какие-то собственные исторические амбиции в мировом (европейском) прогрессе, точно описал на примере зависимости русской либеральной сцены от британского образца, где английский либерализм звучал как покровитель, подобно тому как покровителем русской социал-демократии ожидалась Германия. Он писал в сентябре 1906 года об англоманских надеждах, пародируя известный русский текст «Рабочей Марсельезы», написанный революционным народником П. Л. Лавровым. На мотив этой «Рабочей Марсельезы» Суворин и, метя в либералов-англоманов, изобразил исторические надежды русских революционеров, что их отчаянная революция против царизма будет учтена и поддержана мировым прогрессом:

Вставай, поднимайся, рабочий народ,  
Идёт англичанин к тебе на подмогу...<sup>13</sup>

Так могли бы пропеть и о германцах русские марксисты.

<sup>13</sup> *Алексей Суворин. Русско-японская война и русская революция. Маленькие письма [в газете «Новое Время»] (1904–1908 гг.). М., 2005. С. 600.* На рубеже XIX–XX веков наибольшую зависимость именно от интересов Англии в экономике и политике России демонстрировали более всего либералы и промышленники, а также — часть бюрократии, десятилетиями демонстрировавшие свои частные, семейные и деловые связи с Британией и выступавшие с фритредерских и антипротекционистских позиций (*Ф. А. Селезнёв. Революция 1917 года и борьба элит вокруг вопроса о сепаратном мире с Германией (1914–1918 гг.). СПб., 2017. С. 14, 18, 20, 28–29, 50–51.*)

Но когда мировая революция не наступила ни в 1917-м, ни в 1918-м, ни в 1919-м, ни в 1920-м году, большевикам настал момент определить-ся. Большевики — исходя из практического здравого смысла — не могли стать в один ряд с империалистами или лимитрофами, но явно ощущали совпадение своих антиимпериалистических интересов с колониями, в которых шла или должна была идти освободительная борьба. И в таком контексте мировая революция уже не могла быть мировой революцией Запада (как по умолчанию считалось во времена Маркса и Энгельса), но — по плану большевиков — должна была стать мировой национально-освободительной борьбой колониально-го Востока против империалистического Запада, в которой Советской России принадлежала бы не только роль авангарда, но и донора, вождя и технологического лидера Востока — пока на Западе не началась пролетарская революция. Вторичность СССР в этом замысле, вновь подчиняющем его перспективам революционного Запада, была велика, сколь бы идеолог большевиков Н. И. Бухарин в 1923 г. ни пытался скомпоновать теоретический союз и сказать, что «западноевропейский пролетариат и русский пролетариат имеют в восточных колониях гигантскую резервную революционную пехоту, которую надо втягивать в бой»<sup>14</sup>. Промежуточные сценарии мировой революции, в которых СССР отводилась роль не только авангарда Красного Востока, но и медиатора между *реальной* национально-освободительной борьбой колониального Востока и *гипотетическими* социалистическими революциями Запада<sup>15</sup>, в советской риторике не прижились

<sup>14</sup> В. Юдовский. Двенадцатый съезд. Изд. 5. Харьков, 1930. С. 24.

<sup>15</sup> Первоначально использование колониального Востока против империалистического Запада доктринально объяснялось прагматическими экономическими соображениями, далёкими от национально-освободительного пафоса. Второй конгресс Коминтерна летом 1920 года говорил в своих тезисах: «Сверхприбыль, получаемая с колоний, является главным источником средств современного капитализма. Европейскому рабочему классу удастся только тогда свергнуть капиталистический строй, когда этот источник окончательно иссякнет. (...) Отделение колоний и пролетарская революция у себя дома свергнет капиталистический строй в Европе» (Коммунистический интернационал в документах. Решения, тезисы и воззвания конгрессов Коминтерна и Пленумов ИККИ. 1919–1932 / Под ред. Бела Куна. М., 1933. С. 130). См. также: «СССР есть основная опора грядущей мировой революции. Мировая революция сольётся из двух истоков: из революционной борьбы пролетариата в Европе и Америке и из освободительной борьбы угнетённых капитализмом народа Востока (Индии, Китая, Индонезии, Африки и др.)» (П. Керженцев и А. Леонтьев. Азбука

и скоро оставили СССР наедине с Востоком, отводя коммунистическим представителям Запада подчинённую роль.

Роль *революционной* державы против великих империалистических держав была Советской России не по ресурсам, и потому первой задачей в мировой борьбе становилась задача создания государственности, равно независимой, изолированной и от колониальной экономической перспективы, и от гибели в военно-политической конкуренции держав. В центре внешнеполитической идеологии большевиков, таким образом, стояла не борьба за всемирный коммунизм, а борьба против империализма.

Уже после того, как Ленин на VII съезде партии большевиков 7 марта 1918 года, обсуждавшем Брестский мир с наступающей Германией, настойчиво заявил, что сама революция в России — лишь «толчок» к мировой революции, без её достаточной «подготовки», с расчётом на внешнюю коммунистическую интервенцию, «революционную войну»<sup>16</sup>, многим (кто не считал революцию чистой авантюрой) была ясна не только подчинённость, но и изолированность России от европейского процесса. Иначе бы и речи не было о преодолевающей эту изолированность «революционной войне».

Это понимание периферийности революционной России отнюдь не было предметом «тайного знания» лидеров большевизма. Ещё до идейного осознания большевистскими вождями, что «мы — одни» (Ленин, 1922), и до доктрины «социализма в одной стране» (Сталин, 1921) юный коммунист и будущий писатель Андрей Платонов (1899–1951), оживляя старые славянофильские эмоции о «гнилом Западе», рассказывал, как переживалось революционное одиночество Советской России перед лицом поражения (мировой) революции в Западной Европе и как трансформировалась советская идеология революционизирования колониального Востока:

«Русский пролетариат начинает терять веру в близкую помощь европейских рабочих. Если эта помощь и придёт, то она не будет могуществен-

---

ленинизма. Пособие для городских партшкол и самообразования. М.; Л., 1928. С. 283).

<sup>16</sup> Протоколы съездов и конференций Всесоюзной коммунистической партии (б). Седьмой съезд. Март 1918 года / Под ред. Д. Кина и В. Сорины. М.; Л., 1928. С. 18, 68.

ной. Нам поможет не Запад, а Восток. Восток окончит революцию, начатую Россией. Запад — меньшевик. Но бьёт господ с трясущимися руками, он одряхлел и изнасилован веками богатства и власти. (...) В бывшем черепе мира — Европе — завелись черви, мозг человечества гниёт. Революция даст земле новую голову — Восток»<sup>17</sup>.

В вопросе о колониальном Востоке и отношении к нему революционной России вновь вставал старый, народнический по сути, выбор: можно ли и как именно можно избежать капитализма. Ответом на этот вопрос были старые же надежды на *внесение коммунизма извне* — то с Запада в Россию, то из России на Восток, то есть шаблон *революционной войны*. Бессильная на Западе, в борьбе с Западом, Советская Россия — *рисковавшая стать, в случае поражения, колонией Запада* — поднимала на борьбу колониальный Восток, рассчитывая нанести Западу сначала экономическое и демографическое поражение. В тезисах для Второго конгресса Коммунистического интернационала в августе 1920 г. (принятых им как руководство к действию) Ленин откровенно показывал, как народническое стремление избежать капитализма, то есть убийственной конкуренции, превращается в экспорт революции на Восток, туда, где пролетариата ещё нет, а революционна только национальная буржуазия. А экспорт революции в союзе с ней превращается в (противоречащее классовой догме) признание **ценности национальной государственности**:

«Можем ли мы признать правильным утверждение, что капиталистическая стадия развития народного хозяйства неизбежна для тех отсталых народов, которые теперь освобождаются и в среде которых теперь, после войны, замечается движение по пути прогресса. Мы ответили на этот вопрос отрицательно. Если революционный победоносный пролетариат поведёт среди них систематическую пропаганду, а советские правительства придут им на помощь всеми имеющимися в их распоряжении средствами, тогда неправильно полагать, что капиталистическая стадия развития неизбежна для отсталых народностей. (...) с помощью пролетариата передовых стран отсталые страны могут перейти к советскому строю

<sup>17</sup> Андрей Платонов. Восстание Востока [1920] // Андрей Платонов. Сочинения / Гл. ред. Н. В. Корниенко. Т. 1: 1918–1927. Кн. 2: Статьи. М., 2004. С. 58–59.

и через определённые ступени развития — к коммунизму, минуя капиталистическую стадию развития»<sup>18</sup>.

Сталин и его единомышленники в деле «строительства социализма в одной стране», выбирая догматическую санкцию своей доктрине именно в трудах Ленина и понимая актуальные в начале 1920-х гг. политические ограничения этой санкции, *запрещавшие* вновь утверждать вторичность, отсталость, зависимость социалистических перспектив России от мировой революции на Западе, в итоге нашли у Ленина *только одно положение*, удовлетворяющее столь рафинированным требованиям. В 1915 году Ленин такую санкцию дал (правда, гораздо менее настойчиво, чем он же в 1917–1918 гг. говорил об обязательности мировой революции для выживания революции в России), повторил за марксистскими классиками самоочевидную истину о том, что страны в мире развиваются неравномерно, и далее нарисовал картину не столько коммунистического строительства, сколько нового общемирового милитаризма, в котором **национальный масштаб социалистических государств**, несмотря на мировую революцию, — длительная норма, что их мировое объединение на пути к коммунизму невозможно без революционных войн, принуждающих к этому объединению:

«Неравномерность экономического и политического развития есть безусловный закон капитализма. Отсюда следует, что возможна победа социализма первоначально в немногих или даже в одной, отдельно взятой, капиталистической стране. Победивший пролетариат этой страны... встал бы против остального, капиталистического мира, привлекая к себе угнетённые классы других стран, поднимая в них восстание против капиталистов, выступая в случае необходимости даже с военной силой против эксплуататорских классов и их государств. Политической формой общества, в котором побеждает пролетариат, свержая буржуазию, будет демократическая республика, всё более централизующая силы пролетариата данной нации или данных наций в борьбе против государств, ещё

<sup>18</sup> В. И. Ленин. Полное собрание сочинений. Т. 41. М., 1981. С. 245–246. Партийный комментарий в пользу союза с революционной национальной буржуазией см. в статье видного якутского большевика М. К. Аммосова: *Максим Полярный*. О путях к коммунизму в остальных странах // Большевик. М., 1924. № 7–8. С. 72–73.

не перешедших к социализму... Невозможно свободное объединение наций в социализме без более или менее долгой, упорной борьбы социалистических республик с отсталыми государствами»<sup>19</sup>.

Выросший в Праге (и немного, как я лично видел, понимавший русский язык) известный либеральный исследователь и разоблачитель национализма Эрнест Геллнер (1925–1995) верно писал о пафосе **преодоления отсталости**, имманентном марксизму: «Марксизм вначале и был обращением к отсталым народам (в своих первых формулировках — к немцам), и смысл его сводился к тому, что не надо никого догонять, — лучше присоединиться к истории на следующей, более высокой ступени, — но в конце концов он превратился в универсальный инструмент навёрстывания упущенного»<sup>20</sup>. *Экспорт революции* в отсталые страны в этом контексте вполне может выглядеть как борьба за их ресурсы в ходе конкуренции с их империалистическими метрополиями, стержнем колониализма которых было именно выкачивание ресурсов из этих отсталых стран. Экспорт революции в *отсталые страны* в этом контексте означает, что её экспортёром будут выступать всё те же капиталистические метрополии, переставшие быть капиталистическими. Революция же в *отсталых странах*, инициативно призывающая на их территорию коммунистическую интервенцию, не была проговорена, но вполне могла уместиться в доктрину «поражения своего правительства» от более развитого врага, уже испробованную большевиками против царизма во время Первой мировой войны.

Российские и немецкие социал-демократические критики большевистской социалистической революции октября 1917 года — как слишком радикальной, неадекватной уровню развития России, в центре которого стоит вполне буржуазный по задачам аграрный вопрос, а не социализм, находили дополнительные основания рассматривать Россию отдельно от мировой революции. И эту отдельность русской революции горячая сторонница большевиков в германской социал-демократии Роза Люксембург (1871–1919) верно рассматривала (но отвергала) как перспективу её «национализации», ибо она ведёт

<sup>19</sup> В. И. Ленин. Полное собрание сочинений. Т. 26. М., 1969. С. 354–355.

<sup>20</sup> Эрнест Геллнер. Условия свободы. Гражданское общество и его исторические соперники [1994] / Пер. под ред. Б. Макаренко. М., 1995. С. 45.

«к оригинальному “марксистскому” открытию, что социалистический переворот является будто бы национальным, так сказать, домашним делом каждого современного государства в отдельности»<sup>21</sup>. Критик большевиков справа, изнутри знавший доктрину и практику русской социал-демократии, П. Б. Струве также почувствовал «государственную» эволюцию большевизма, но не в хорошо известной их эволюции к диктатуре как формы государственности, противостоящей хаосу и Смуте<sup>22</sup>, а в самозаконной *воле к власти*<sup>23</sup>.

Споря с белыми противниками большевиков и указывая на их прямую зависимость от империалистов и интервентов, Сталин агитационно, риторически и вполне доктринально, нащупывал **«национализацию» революции, национально-освободительную коалицию Советской России** с колониальным Востоком, которая была бы невозможна без идеологии национальной независимости (далее выделено мной):

«Победа Деникина Колчака есть потеря самостоятельности России, превращение России в дойную корову англо-французских денежных мешков. В этом смысле правительство Деникина Колчака есть самое антинародное, самое антинациональное правительство. В этом смысле Советское правительство есть **единственно народное и единственно национальное** в лучшем смысле этого слова правительство, ибо оно несёт с собой не только освобождение трудящихся от капитала, но и **освобождение всей России от ига мирового империализма**, превращение России **из колонии в самостоятельную свободную страну**. (...) Ещё в начале Октябрьского переворота наметилось некоторое географическое размежевание между революцией и контрреволюцией. В ходе дальнейшего развития гражданской войны районы революции и контрреволюции определились окончательно. Внутренняя Россия с её промышленными и культурно-политическими центрами — Москва и Петроград, — с однородным в национальном отношении населением, по преимуществу русским, — превратилась в базу революции. Окраины же России, главным образом южная и восточная окраины, без

<sup>21</sup> Роза Люксембург. Рукопись о русской революции [1918] // Роза Люксембург. О социализме и русской революции. Избранные статьи, речи, письма / Сост. Я. С. Драбкин. М., 1991. С. 307.

<sup>22</sup> См.: М. Азурский. Идеология национал-большевизма. Paris, 1980. Часть 2.

<sup>23</sup> См. об этом выше в примечании 3.

важных промышленных и культурно-политических центров, с населением в высокой степени разнообразным в национальном отношении, состоящим из привилегированных казаков-колонизаторов, с одной стороны, и неполноправных татар, башкир, киргиз (на востоке), украинцев, чеченцев, ингушей и других мусульманских народов, с другой стороны, — превратились в базу контрреволюции. (...) Для успеха войск, действующих в эпоху ожесточённой гражданской войны, абсолютно необходимо единство, спаянность той живой людской среды, элементами которой питаются и соками которой поддерживают себя эти войска, причём **единство это может быть национальным (особенно в начале гражданской войны)** или классовым (особенно при развитой гражданской войне). Без такого единства немыслимы длительные военные успехи. Но в том-то и дело, что окраины России (восточная и южная) не представляют и не могут представлять для войск Деникина и Колчака ни в национальном, ни в классовом отношении даже того минимума **единства живой среды, без которого (как я говорил выше) невозможна серьёзная победа**»<sup>24</sup>.

Опираясь на классический марксистский образ Ирландии как жертвы британского колониализма, исторически имея перед глазами вооружённое национально-освободительное движение в Ирландии 1916 и 1919–1921 гг. и массовый расстрел британцами мирной демонстрации в индийском Амритсаре в 1919 году, весной 1921 года Сталин определённо описывал новое место России в мировой революции. Он говорил, что борьба Советской России «против империализма имела ряд успехов и, естественно, вдохновила угнетённые народы Востока, разбудила их, подняла их к борьбе и тем самым дала возможность создать общий фронт угнетённых национальностей от Ирландии до Индии»<sup>25</sup>. Это не было экспромтом. Ещё до Октябрьской революции, весной 1917, Сталин уже отмечал: «Имеется движение за независимость Ирландии. За кого мы, товарищи? Либо мы за Ирландию, либо мы за английскую империю (...) нам необходимо создать тыл для авангарда социалистической революции в лице народов, поднимающихся против национального угнетения, — и тогда мы прокладываем мост

<sup>24</sup> *И. В. Сталин*. К военному положению на Юге // В. И. Ленин, И. В. Сталин. О защите социалистического отечества. М., 1945. С. 143–145 (7 января 1920).

<sup>25</sup> *И. Сталин*. Очередные задачи партии в национальном вопросе. Доклад на X съезде РКП (б), 10 марта 1921 // И. Сталин. Статьи и речи об Украине. С. 130.

между Западом и Востоком, — и тогда мы действительно держим курс на мировую социалистическую революцию»<sup>26</sup>.

Позже, даже утверждая приоритет мировой революции, а именно — коммунистической революции в Германии, что не уставали делать и Троцкий, и Сталин со сталинцами<sup>27</sup>, с годами они одинаково сместили акцент с роли Советской России как подчинённого и начального звена мировой революции — на роль СССР как оплота и руководящего её центра. Постепенное сближение большевиков с реальностью «изолированного государства» шло по пути осознания ими России/СССР как независимого государства даже внутри мирового коммунистического проекта, — борющегося против империализма, против колониализма. К услугам осознания была и ещё дореволюционная формула Ленина о том фронте, где теперь хотели лидировать русские большевики, — там, где «неизбежны в эпоху империализма национальные войны со стороны колоний и полуколоний. В колониях и полуколониях (Китай, Турция, Персия) живёт до 1 000 миллионов человек, т.е. больше половины населения земли. Национально-освободительные движения здесь либо уже очень сильны, либо растут и созревают. Всякая война есть продолжение политики иными средствами. Продолжением национально-освободительной политики колоний неизбежно будут национальные войны с их стороны против империализма»<sup>28</sup>.

Это с самых первых революционных деклараций правящих большевиков 1917–1918 гг. неизбежно, в силу риторической логики, сближало *бывшую империю/великую державу* с колониальными странами, в которых начались **национально-освободительные движения**, особенно с Индией и Китаем, чьё прогрессивное развитие предполагало

<sup>26</sup> И. Сталин. Доклад по национальному вопросу на VII (апрельской) Всероссийской конференции РСДРП (б), 29 апреля 1917 // И. Сталин. Статьи и речи об Украине. С. 10.

<sup>27</sup> См.: [Резолюция от 29 апреля 1925] О задачах Коминтерна и РКП(б) в связи с расширенным пленумом ИККИ // Четырнадцатая конференция... С. 309–314; Н. Н. Попов. Очерк истории Всесоюзной коммунистической партии (большевики) [1925]. Изд. 7, стереотипное. М.; Л., 1928 (этот автор был одним из первых, кто в обоснование роли СССР сослался на его ресурсно-географический потенциал: С. 351, прим. 2); И. Сольц. Четырнадцатый съезд. Изд. 5. М., 1931. М. 16–17, 23; Ем. Ярославский. История ВКП(б). М., 1933. С. 229, 344.

<sup>28</sup> В. И. Ленин. О брошюре Юниуса [1916] // В. И. Ленин. Полное собрание сочинений. Т. 30. М., 1973. С. 6–7.

ло сначала достижение или защиту независимости от капиталистических колонизаторов, а уже затем — интеграцию в Коммунистический интернационал. Такое сближение *изначально* существенно уточняло и идентификацию СССР, развивая его образ в сторону от периферии капиталистического мира — к самостоятельному центру и лидеру некапиталистического большинства. Тому свидетельством — резолюции X съезда РКП (б) (1921), ещё свободные от риторики «социализма в одной стране», но уже эксплуатирующие крипто-изоляционистский понятийный ряд «капиталистического окружения» и потому уверенно формулирующие свою картину мира даже в нейтральных этатистских (а не классовых) категориях. Например, этот съезд в резолюции «Советская республика в капиталистическом окружении» заявил:

«Капиталистические державы... пытались... низвести Россию до роли колонии и, таким образом, превратить русское сырьё и русских рабочих и крестьян в источник прибыли для иностранного капитала. Геройскими усилиями трудящихся Советская республика отбила эти попытки и тем завоевала себе возможность вступить в общение с капиталистическими государствами как независимое государство, на основе взаимных обязательств политического и торгового характера»<sup>29</sup>.

Общее убеждение большевиков в особой роли Советской России в управлении противоречиями между капиталистическим, империалистическим Западом и колониальным, некапиталистическим Востоком ради коммунистической (и вовсе не только коммунистической<sup>30</sup>) перспективы, для марксистов начала XX века больше напоминало немецкие представления о роли Германии как лидера «Срединной Европы» между Западом и «жизненным пространством» Востока, нежели

<sup>29</sup> Всесоюзная коммунистическая партия (большевики) в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК (1898–1932). Ч. I. 1898–1924. Изд. 4, испр. и доп. М., 1933. С. 462.

<sup>30</sup> См. разъяснение партийного пропагандиста: описывая Восток и колониальные страны как опыт общенациональных процессов и угроз, он отстаивает лозунг «единого фронта» — здесь «коммунисты ни в коем случае не должны отказываться от участия в общей национальной борьбе против империализма под предлогом якобы «защиты» самостоятельных классовых интересов» (А. Тивель. Четвёртый конгресс Коминтерна (5 ноября — 5 декабря 1922 г.) / Под ред. А. Лозовского. Харьков, 1929 (История Коминтерна в конгрессах). С. 53–54.

маргинальную, уничтоженную временем, архаичную доктрину православного «Третьего Рима». Это убеждение развивалось параллельно с «суверенизацией» той части мировой революции, что была очерчена границами СССР. Если в первые дни революции Сталин начинал свою антиколониальную агитацию с клише «С Востока свет!», то далее изобретательнее утверждал, что СССР «между Западом и Востоком... одним своим существованием революционизирует весь мир»<sup>31</sup>. В специальном коллективном труде под редакцией Е. Варги, пользовавшегося многолетним интеллектуальным доверием Сталина, даже представитель антисталинской оппозиции, бывший секретарь Ленина и руководитель восточной политики Коминтерна Г. И. Сафаров (1891–1942), косвенно, но уже в ином порядке, повторяя надежды большевиков 1918 и 1923 гг. на цивилизующую роль революционной Германии<sup>32</sup>, при-

<sup>31</sup> См. сборник тщательно отобранных текстов Сталина (включая беспрецедентную для большевистской пропаганды того времени публикацию прежде секретного письма Сталина Л. М. Кагановичу и другим членам ЦК компартии Украины 1926 года): *И. Сталин. Марксизм и национально-колониальный вопрос. Сборник избранных статей и речей* / [Сост. И. Товстуха]. М., 1937. В него не был включён эмоциональный манифест наркома по делам национальностей И. Сталина «Не забывайте Востока», уже тогда более весомо оценивший значение антиколониальной борьбы, нежели перспективы европейского коммунизма: «забывать Восток нельзя ни на одну минуту хотя бы потому, что он служит “неисчерпаемым” резервом и “надёжнейшим” тылом для мирового империализма (...) Без этого нечего и думать об окончательном торжестве социализма, о полной победе над империализмом» (*И. В. Сталин. Сочинения. Т. 4. М., 1946. С. 171–172* («Правда», 24 ноября 1918)). Подражая приоритетам ранней государственной деятельности Сталина, свою речь на последнем партийном съезде, на котором присутствовал сам Сталин, Л. П. Берия композиционно-тематически сконцентрировал на проблемах национального вопроса, государственном строительстве национальных республик, сравнительного положения зависимых и колониальных стран и советских республик Востока (*Л. Берия. Речь на XIX съезде ВКП (б). 7 октября 1952 г. М., 1952*).

<sup>32</sup> Перебежчик из советской разведки на Запад в своих хорошо политически продуманных мемуарах свидетельствовал как об общем мнении то, что Ленин «понимал, что его смелый эксперимент обречён на неудачу, если к отсталой аграрной России не присоединится хотя бы одна великая индустриальная держава. Самые большие свои надежды он возлагал на скорую революцию в Германии» (*Вальтер Кривицкий. Я был агентом Сталина. На секретной службе СССР [1939]* / Пер. И. А. Вишневской. М., 2013. С. 43 (оригинал: *In Stalin's secret service: An Expose of Russia's Secret Policies by the Former Chief of the Soviet Intelligence in Western Europe*)). В Советской России сразу отметили, что эту проблему толковал в контексте послевоенного экономического урегулирования и Дж. М. Кейнс, полагаясь на аграрное перерождение большевистской власти. По его, аккуратно отмеченному в Москве, мнению, возрождение крестьянско-

меряя её былую роль в отношении России к роли СССР на Востоке<sup>33</sup>, прямо писал: «СССР стал базой развёртывания мировой революции и на Западе, и на Востоке»<sup>34</sup>. И отводил СССР роль центрального модератора в отношениях между этими полюсами, которая вряд ли выглядела реалистичной: «большевизм... революционным путём вмешался в *противоположность между городом и деревней*, порождённую капитализмом, — в *противоположность между великодержавными и угнетёнными нациями*, унаследованную вместе с остатками крепостничества и распространённую на весь мир и усиленную империализмом, — в *противоположность между передовыми и отсталыми элементами экономического, политического и культурного развития вообще...*»<sup>35</sup>. Самым реалистичным здесь было ожидание непрерывной и близкой индустриализации деревни, которая не могла не начаться с её пролетаризации. Самым оригинальным — включение в сферу мировой ответственности СССР управления национально-освободительными движениями не только в интересах борьбы против колониализма, но и в интересах преодоления *отсталости вообще*. Так не в первый раз осознание технологической и социальной **отсталости** СССР придавало оттенок **национального освобождения** пафосу большевиков.

---

го хозяйства (с помощью Германии) «будет развиваться независимо от формы политического устройства России, но в конечном результате оно “будет способствовать уничтожению тех учений насилия и тирании”, проповедниками которых является советское правительство» (Н. Любимов. Мировая война и её влияние на государственное хозяйство Запада: критическое изложение работы Кейнса «Экономические последствия мира» / Институт экономических исследований НКФ. М., 1921. С. 132).

<sup>33</sup> См. современную событиям книгу советского автора, который — в полном понимании политического контекста — выбрал для своего труда именно такой эпиграф из Сталина: «Известно, что в начале XIX века точно так же смотрели на Италию и Германию, как смотрят теперь на Китай, т.е. считали их “неорганизованными территориями”, а не государствами, и поработщали их. А что из этого получилось? Из этого получилась, как известно, война Германии и Италии за независимость и объединение этих стран в самостоятельное государство» (В. Невлер (Вилин). К истории воссоединения Италии. М., 1936. С. 3).

<sup>34</sup> Г. Сафаров. Ленинизм на фронте национал-колониальной революции // Ленин и проблемы современного империализма / Сб. под ред. Варга, Хмельницкой, Иткиной. М., 1934. С. 185–186, 199. Об этом же: Дм. Бухарцев. Пролетарская диктатура в борьбе за передышку // Там же. С. 223–225; Лев Мендельсон. К ленинскому учению о кризисе капиталистической системы // Там же.

<sup>35</sup> Г. Сафаров. Основы ленинизма. Л., 1924. С. 189–190.

Точно в дни прихода Гитлера к власти в Германии московское партийное издательство выпустило в свет популярную брошюру, которая прямо ставила себе вопросы о том, что случилось с проектом мировой революции в СССР. Можно строить убедительные предположения о том, что послужило непосредственным толчком к составлению этого текста тогда, когда идеология «строительства социализма в одной стране» давно уже стала единственной официальной, искать внешние поводы, но важно увидеть, что сама постановка вопроса в 1933 году никому ещё не казалась искусственной. Видимо, потому, что в этом пропагандистском продукте, повсюду пронизанном обширными цитатами из сочинений Сталина, их подбор и толкование уже были подчинены «национализации» мировой революции, её подчинения интересам СССР. Брошюра гласила, в частности, что ближе всего к мировой революции, начатой в России, стоят Испания и Китай, а за ними следуют Германия и Польша. И в такой конфигурации особо звучала логика, которая вырастала в доктрину: «Октябрьская революция является началом и составной частью мировой социалистической революции... мировую социалистическую революцию нужно рассматривать как целую историческую эпоху. Свержение господства капиталистов произойдёт в отдельных капиталистических странах или в группах стран разновременно». А особые *внутренние* предпосылки России к тому, чтобы стать первой в этом ряду, со ссылкой на книгу Сталина «Вопросы ленинизма» (1924) брошюра находила в том, что рисовало ресурсы и размер России, служащие гарантами её самодостаточности: Советская власть «имела в своём распоряжении огромные пространства молодого государства, где она могла свободно маневрировать, отступать, когда этого требовала обстановка, передохнуть, собраться с силами и пр... Октябрьская революция могла рассчитывать в своей борьбе с контрреволюцией на наличие достаточного количества продовольственных, топливных и сырьевых ресурсов внутри страны». Среди названных Сталиным (и процитированных в массовом издании) минусов России, с точки зрения Советской власти, громко звучало признание: «отсутствие пролетарского большинства в стране»<sup>36</sup>.

<sup>36</sup> Вопросы рабочих и колхозников. [Вып. 3.] Почему задерживается мировая революция? Где начнётся мировая революция? Что будет раньше: война или революция? Ответы. М., 1933. С. 9, 2, 10.

Было ясно, что даже доктринально крестьянское большинство в стране было обречено на пролетаризацию.

## ОТ «СВОБОДЫ ТОРГОВЛИ» К ПРОТЕКЦИОНИЗМУ

У каждого исторического выбора есть свой образ и даже идеологический символ. Перед сознанием правящих в *оказавшейся отдельной стране* большевиков — хотели они это видеть или нет — стоял ряд исторических семантических образов, которые весь XIX век и в первой половине XX века были значимы для русской политической мысли и формировали идейно-семантический ландшафт, на пространстве которого равно действовали власть и её противники. Исследователь противоречий Троцкого и Сталина удачно формулирует *диктат семантики* в их взаимной борьбе — даже там, где практика «социализма в одной стране» не оправдывала ожидания мировой революции: **«семантика должна быть поставлена выше прагматики»**<sup>37</sup>. То есть революционная мысль большевиков была обязана найти в своём наследстве то, что позволяло ей доктринально описать новую для неё реальность и выйти из-под обязательной мировой, внешней легитимации своего социализма. И в этом у неё просто не было альтернативы углублению в собственный идейно-исторический багаж. Пространство прямых идейно-политических заимствований в советской современности 1920-х годов было политически ограничено, идейная беспринципность запрещена. Но внутренняя, семантическая и образная глубина революционной истории и недавнего индустриального контекста, впитанного с азбукой, пожалуй, наиболее динамичной в том мире, марксистской школы, была огромна и вполне искупала демонстративный примитив правящей диктатуры. Весь европейский XIX век и его живые следы в XX веке были значимы для русской политической мысли и формировали её идейно-семантический ландшафт, поскольку публицистика Маркса, Энгельса, Ленина затронула огромный спектр политических событий. В них развивалась общая европейская история, предопределяя язык большевистской власти на каждом этапе её эволюции.

<sup>37</sup> I. Halfin. Intimate Enemies. Demonizing the Bolshevik Opposition, 1918–1928. Pittsburgh, 2007. Цит. по: Александр Резник. Троцкий и товарищи: левая оппозиция и политическая культура РКП (б), 1923–1924 годы. СПб., 2017. С. 263.

Как сказано, главный вопрос о выборе пути развития России к социализму был представлен славянофильски-народнической по происхождению дилеммой: **сможет ли Россия избежать капитализма?** А ответ на него звучал на языке Маркса и протекционистского учения Ф. Листа: **хватит ли России собственного рынка для органического развития промышленного капитализма?** Если хватит — не избежит, если не хватит, то социалистическая по сути сельская община останется неприкосновенной — и будет лишь ждать, когда грядущий европейский промышленный коммунизм протянет России братскую руку коммунистической помощи.

В обиход русской политической мысли наследие Фридриха Листа (1789–1846), и прежде хорошо известное русским экономистам, было введено в 1880-е гг. восходящей звездой русской индустриализации С. Ю. Витте (1849–1915) как доктрина протекционизма и стратегия развития национальной промышленности в опоре на собственные силы. Это должно было обеспечить стране новую экономическую основу для политической независимости перед лицом мирового промышленного и торгового лидерства Британской империи, долго остававшегося вне конкуренции и обоснованного доктриной «свободы торговли». Это совпало с интенсивным освоением в России учения Карла Маркса, в том числе тех страниц его «Капитала», где было описано, как в образцовой капиталистической Великобритании происходило «первоначальное накопление (капитала)» — с изображением крайней пролетаризации мелких собственников.

В этом наступлении капитализма и обнищании крестьянства в России ясно виделась её собственная перспектива на пути общеевропейского прогресса. За этим прогрессом теоретически следовал социализм более высокого, нежели в сельской общине, уровня культуры, коллективизма, технологии и производительности труда. И, поскольку руководящая роль в определении целей и темпов индустриализации явственно принадлежала государству, русские социалисты и консерваторы апеллировали к государству и общественному мнению с требованием отказаться от форсированной индустриализации, которая быстро уничтожала общину и сельский уклад, где пребывало крестьянское абсолютное большинство населения России.

Учение Ф. Листа о самодостаточности промышленного развития Германии в тени всемирной монополии Британской империи ставило

проблему принципиальной достаточности внутреннего рынка Германии, который бы обеспечивал достаточно большой и растущий спрос на продукцию внутренней промышленности. Здесь внешне отрицательным примером служила Англия — как народное хозяйство, давшее достаточный внутренний старт для промышленности, которая затем смогла завоевать весь мир. Именно этот внутренний рынок и внутренний стартовый капитал и исследовал Маркс в своём учении о «первоначальном накоплении». Английский образец требовал колоний для сбыта товаров промышленности, протекционизм Листа требовал таможенного объединения германских земель для обеспечения германской промышленности большого внутреннего рынка (за которым должны были последовать колонии или экономически зависимые территории, прежде всего, на Востоке).

Почему же для русской мысли было столь страшно зрелище наступающего капитализма и почему сторонники цивилизующей роли капитализма стремились отделить его национальный вариант от всемирной «свободы торговли»? Коротко говоря, не многие даже либеральные англоманы готовы были погрузить свою страну в реальность социцида ради индустриализации, а саму страну сделать торгово-промышленной колонией Англии, следуя лицемерию её «свободы торговли». Великий венгерский экономист Карл Полаanyi (1886–1964) ярко описал эту «катастрофическую» историю как «утопическую попытку экономического либерализма создать саморегулирующуюся рыночную систему».

Вот его резюме: созданное в 1820-е в Англии практическое движение за «свободную торговлю» в реальности стало результатом большого числа «интервенционистских мер, беспрестанно организуемых и контролируемых из центра», «экономика *laissez-faire* была продуктом сознательной государственной политики», «простое невмешательство в естественный ход вещей никогда бы не смогло породить свободные рынки», а свободный (для социальной вивисекции) рынок труда повлёк за собой «человеческую деградацию трудящихся классов... [в] результате социальной катастрофы, которая не поддаётся выражению в экономических терминах», особенно в колониях, — «постигшая туземные общества катастрофа есть прямое следствие стремительного и безжалостного разрушения их фундаментальных социальных институтов (...) страшный голод, три или четыре раза опустошавший

Британскую Индию... не был следствием ни жестокости природных стихий, ни эксплуатации; единственной его причиной являлась новая рыночная система организации трудовых и земельных отношений... Индия... в социальном отношении была ввергнута в хаос и потому оказалась жертвой обнищания и деградации», в итоге — уже 1870–1880-е гг. стали временем «крушения ортодоксального либерализма», его внутренние пороки «обнаружились с полной очевидностью», промышленные страны стали переходить к социальной политике и протекционизму» и даже радикальные приверженцы экономического либерализма не могли не осознать того факта, что *laissez-faire* несовместим с условиями развитого индустриального общества, ибо в принципиально важных вопросах «сами же ультра-либералы вынуждены были требовать широкого правительственного вмешательства», и только внутренний (социальный) и внешний (таможенный) протекционизм создали «твёрдый панцирь» для растущего и всё более сложного социального организма индустриальной эпохи<sup>38</sup>.

В эту мясорубку практического либерализма британский промышленно-торговый колониализм неизбежно вводил всех, кто следовал его правилам, абсолютно доминируя как цивилизованная норма — и потому экономический либерализм оставался монопольной экономической идеологией высших административных властей и их академических теоретиков. Преодолевая сопротивление живой экономики, либеральные ориентиры уверенно вошли в первоначальную индустриализацию России и её таможенную политику.

С другой стороны, даже проблема ограниченного масштаба народного хозяйства и узости внутреннего рынка отдельной страны для развития собственного, а не импортированного, не *колониального*, капитализма была прямым выводом из истории британского образца. За этим применением вставала очевидная конкуренция великих держав и угроза колониальной зависимости. Германия, уничтоженная Наполеоном (который первым испытал на прочность самодостаточность экономики Англии, введя против неё «континентальную блокаду»), устами великого немецкого мыслителя И. Г. Фихте (1762–1814) формулировала принципы национального возрождения и объеди-

<sup>38</sup> Карл Поппер. Великая трансформация. Политические и экономические истоки нашего времени [1943] / Пер. с англ. под ред. С. Е. Фёдорова. СПб., 2014. С. 41, 156–158, 310, 178, 179, 163, 167, 223.

нения, а трудами Листа — принципы экономической консолидации, возрождения и независимости, применённые в Германии Бисмарка и в Америке. Культурный национализм и прагматический протекционизм стали инструментами национальной государственности. Для России XIX века эти **инструменты национального возрождения** в целом остались недоступными: «национализация» (превращение в национальное государство) империи было нейтрализовано и реальной этнографической сложностью России, вступившей в период этнического строительства, и общенациональным (а не племенным) характером русского народа, и вселенской проповедью православия, и провалом панславистской политики, и антироссийским проектом восстановления независимости именно национальной и *экономически самодостаточной* Польши.

Русские практики и теоретики были поставлены перед (долгое время не осознаваемой) дилеммой: либо колониальные рынки и разорительные войны за эти рынки, либо превращение собственно России в огромный континентальный рынок — по аналогии с Германией и США (САСШ). Русские социалисты марксистского образца приложили экстраординарные усилия к догматическому доказательству того, что пролетаризация крестьянства и рост городов сами по себе создают внутренний рынок, достаточный для развития капитализма. Протекционизм Листа и континентальный образец Америки, безусловно, были важны как пример, но оставались на втором плане этих важных интеллектуальных усилий. Всё вместе это звучало как открытая поддержка марксистами государственной политики индустриализации, лицом которой был министр финансов Витте. В тени этой индустриализации был суровый монетаристский проект министра финансов И. А. Вышнеградского (1831–1895, министр в 1887–1892) и его заместителя Витте, запомнившийся под именем *«не доедим, но вывезем»*. Это был проект переноса центра тяжести фискальных доходов государства, ради повышения которых оно было вынуждено «торговать» своим внутренним рынком для иноземного товара, облегчая таможенные пошлины и подавляя собственную промышленность, в сферу «золотого стандарта» для рубля, который уже не конфликтовал с промышленным протекционизмом. Но для этого государство вынуждено было сделать ставку на масштабный экспорт хлеба, укреплявший «золотой стандарт», изымая (рыночными методами) прибавочный

продукт сельского хозяйства и подавляя его собственные ресурсы для развития. Это делало русскую деревню крайне уязвимой для неурожая и голода, которой отнюдь не могла противостоять «социалистическая» община.

На этом фоне страшная моральная и общественная угроза неизбежности «первоначального накопления» в России, жестоко проиллюстрированная массовым голодом 1891–1892 гг., становилась *инструментальной, управляемой и теоретически легитимной*. Это стало тем более легитимным сценарием индустриализации и строительства капитализма, что развивался он одновременно с подобным же сценарием для Италии, Швеции, Австро-Венгрии. А они не знали названных теоретических ограничений *достаточности внутреннего рынка*. Получалось, что для индустриализации России, то есть для первоначального накопления капитала, необходима предварительная пролетаризация крестьянства, по своему масштабу равная социальной революции. Массовое отделение крестьянства от земли делало его источником массового городского пролетариата (который — при всей своей нищете — и составлял тот огромный внутренний рынок для простейшей продукции местной промышленности) и освобождало для концентрации («мобилизации») свободную земельную собственность и связанный с ней капитал, который подлежал перераспределению. Цена этого перераспределения была уже хорошо известна науке. Описывая названный процесс, один из двух первых (наряду с Ю. Г. Жуковским) русских исследователей экономической доктрины Маркса Н. И. Зибер (1844–1888) привёл в пример британскую Ирландию, где в результате агрессивного развития британского капитализма с 1841 по 1866 гг. население сократилось на треть. Вот «наиболее блестящая иллюстрация капиталистического накопления», — тихо восклицал исследователь<sup>39</sup>.

Признание Британской империи лидером и образцом экономического и политического прогресса, вслед за которым выстраивался ряд «догоняющих» этот прогресс государств, к концу XIX века сменилось признанием успеха тех, кто конкурировал с этим *мировым* образцом, опираясь на (идеологически) континентальное, самодостаточное, са-

<sup>39</sup> Н. И. Зибер. Давид Рикардо и Карл Маркс в их общественно-экономических исследованиях. Опыт критико-экономического исследования [1885]. Изд. 3. СПб., 1897 (на обл.: 1898). С. 509.

мозамкнутое и изолированное, *отдельное народное хозяйство* Германии и США (САСШ). *Неравномерность индустриализации* и развития капитализма создавала неизбежность *индустриализации в одной стране*, если она обладала достаточными для этого естественными ресурсами.

В своей одной из дебютных книг, популярных в нелегальном чтении революционеров, отец русского политического марксизма Г. В. Плеханов (1856–1918) впервые сформулировал ответ народнической критике на поставленную ею для России проблему достаточности внутреннего рынка для развития капитализма в России. Из самой постановки этой проблемы следовало два одновременных и конфликтующих (умозрительных) вывода: что Россия имеет шанс дожидаться установления коммунизма в Западной Европе и приберечь для этого не затронутую капитализмом и промышленностью *почти-коммунистическую* сельскую общину — и что, несмотря на подавляющую экономическую конкуренцию Запада, Россия имеет шанс сохранить своё народное хозяйство изолированным от западного капиталистического влияния. Плеханов писал, полемизируя с Л. А. Тихомировым, вполне безапелляционно и ссылаясь на фактический и идейный прецедент Германии:

«Фридрих Лист устанавливает особый закон, по которому каждая страна может выступить на поприще борьбы на всемирном рынке, лишь давши окрепнуть своей промышленности, путём господства на внутреннем рынке. (...) Лист не смущался ни обвинением его взглядов в отсталости, ни указанием на невозможность для Германии приобрести сколько-нибудь счастливые шансы будущей борьбы на всемирном рынке. На первое возражение он отвечал, что он вовсе не безусловный противник свободной торговли, так как требует лишь временных для неё ограничений, и притом стоит за неё в пределах германского таможенного союза. На второе возражение он отвечал критикой самой теории рынков или, вернее, условий их завоевания. Он указывал на то обстоятельство, что отсталые страны могут и должны озаботиться заведением собственных колоний. (...) Теперь не только ни один скептик не спрашивает, возможна ли крупная обрабатывающая промышленность в отечестве Листа, но г. Тихомирову “указывают”, между прочим, “на Германию, где капитализм объединил рабочих” и где “частный предприниматель” имел будто бы перед собою “громадные

рынки”. (...) Мы знаем теперь, что каждая отсталая страна может, на первое время, до переполнения внутреннего рынка, устранять “непосильную конкуренцию” своих более развитых соседей путём таможенной системы. Соображение г. Тихомирова о том, что у нас совсем почти нет рынков, теряет таким образом значительную часть своего удельного веса»<sup>40</sup>.

Уже к началу 1900-х гг. славянофильски-народнические надежды на то, что основой для социализма в России станет сельская община, были уничтожены научной критикой русских марксистов. Неонародники быстро перешли на язык марксистской экономической теории и ответили аграрной программе о коллективизации крестьянства хорошо продуманной теорией «трудового крестьянского хозяйства» (фермерства, что Лениным было названо «американским» путём аграрного развития). Эта теория в наибольшей степени отвечала надеждам крестьянского большинства на «чёрный передел» — раздел феодальной земельной собственности между крестьянами. В 1917–1918 гг., борясь за власть, большевики приняли в качестве программы народнический лозунг «земля — крестьянам» и вступили в правящую коалицию с неонародниками (левыми эсерами). В начале 1920-х большевики уничтожили легальные политические организации эсеров и меньшевиков, согласившись с насыщением их кадрами сельской кооперации, наркоматов земледелия и финансов, Госплана и Высшего совета народного хозяйства, которые определяли практические приоритеты экономического строительства. Но массовая принудительная коллективизация и мобилизационная индустриализация, в главном проведённые в СССР в конце 1920-х — начале 1930-х гг., стали новой социальной революцией, которая уничтожила результаты «чёрного передела» в интересах огосударствленных колхозов и выбросила на рынок индустриального труда миллионы обнищавших крестьян. Это породило уверенность власти в том, что новая социальная реальность неизбежно будет использована народнической оппозицией

---

<sup>40</sup> Г. В. Плеханов. Наши разногласия [1884] // Г. В. Плеханов. Избранные философские произведения в 5 т. Т. 1. М., 1956. С. 214–216. Кратко Плеханов подтвердил свою историческую апелляцию к опыту Листа и Германии и десять лет спустя — в первой книге, легально (под псевдонимом) опубликованной в России: Г. В. Плеханов. К вопросу о развитии монистического взгляда на историю [1894] // Там же. С. 719.

внизу и во власти. Бывшие народнические и меньшевистские кадры экономических ведомств были подвергнуты тотальной чистке.

Готовя унификацию идеологии ВКП(б) в едином курсе истории большевистской партии, ЦК ВКП(б) 13 июня 1935 г. приняло постановление «О пропагандистской работе в ближайшее время», в котором отныне предписало считать народническое наследие враждебным и альтернативным марксизму: «Необходимо добиться, чтобы члены партии усвоили, что марксизм-ленинизм вырос, окреп и победил прежде всего в борьбе со старыми народниками, а потом в борьбе с меньшевиками и эсерами»<sup>41</sup>.

Эта примитивная схема породила историографический миф о народнической альтернативе марксизму<sup>42</sup> и умолчание о том, что именно *поставленная народниками в категориях марксистской политической экономии* проблема внутреннего рынка для развития индустрии стала центральной в строительстве «социализма в одной стране». Споря с народниками задолго до осознания **проблемы одинокчества революционной России** в мировой коммунистической революции, до идейной эволюции от «слабого звена» в системе капитализма до строительства **«социализма в одной стране»** во враждебном окружении, в предисловии к своей монографии «Развитие капитализма в России. Процесс образования внутреннего рынка для крупной промышленности» (1899) В. И. Ленин уже в проблеме *самодостаточного* внутреннего рынка для капитализма открыл прямой путь к проблеме изолированной экономики и государства. Он писал: «мы берём здесь вопрос о развитии капитализма в России исключительно с точки зрения внутреннего рынка, оставляя в стороне вопрос о внешнем рынке и данные о внешней торговле». Семантика *самодостаточности* России всегда была востребована, когда перед её вла-

<sup>41</sup> «Краткий курс истории ВКП(б)». Текст и его история. В 2-х частях. Часть 1. История текста «Краткого курса истории ВКП(б)». 1931–1956 / Сост. М. В. Зеленов, Д. Бранденбергер. М., 2014. С. 6.

<sup>42</sup> Ведущий русский марксист 1890-х П. Б. Струве, первым в русской легальной печати начавший марксистскую критику народничества, в частности, по вопросу о рынках для развития капитализма, в 1920-е годы, в эмиграции, ещё до новой большевистской критики, развил аргументацию о *народничестве* русской интеллигенции, капитулирующей перед Советской властью как властью большинства и отказывающейся от революционного её свержения извне или изнутри.

стью вставала задача управления *страной и народным хозяйством* — с их сложившейся географической, ресурсной и военной судьбой, с традиционными внешними угрозами её существованию<sup>43</sup>.

В интернациональном языке, на котором говорила русская мысль, семантически доминировали революционная Франция, либерально-индустриальная Англия, национально-освободительные Испания и Италия, государственно-интеллектуальная Германия. Следует вспомнить, в каком описании представлялась в России борьба немецкого общества за объединение Германии, обнаруживая прямую связь этого национального строительства с экономической доктриной протекционизма. Основой для соединения военной и экономической защиты национальных интересов стал опыт нашествия Наполеона Бонапарта, которое уничтожило Священную Римскую империю германской нации и подчинило немецкие государства Франции. Именно Пруссия, независимость которой была уничтожена Наполеоном, дала наиболее мощную формулу национального строительства в тени империй. И. Г. Фихте ещё в 1800 году выступил с принципиальным трактатом «Замкнутое торговое государство», а в 1808 году заключил свои известные программные революционно-патриотические «Речи к немецкой нации», с которыми он, смертельно рискуя, выступил в условиях наполеоновской оккупации, напоминанием:

«Почти десятилетие назад, когда ещё никто не мог предвидеть, что потом произойдёт, немцам был дан совет — сделать себя независимыми от мировой торговли и замкнуться в качестве торгового государства... все эти завиральные учения о мировой торговле и производстве для мира годятся для иностранцев и принадлежат как раз к их оружию, с помощью которого они с давних пор воюют с нами...»<sup>44</sup>.

Этот призыв Фихте, конечно, не так много значил для революционной традиции XIX века по сравнению с его же призывом к национальному освобождению и национальному объединению Германии, не так много давал и для подтверждения расхожей тогдашней схемы

<sup>43</sup> См.: И. Л. Беленький. Роль географического фактора в отечественном историческом процессе. Аналитический обзор. М., 2000.

<sup>44</sup> И. Г. Фихте. Речи к немецкой нации [1807–1808] / Пер. А. А. Иваненко. СПб., 2009. С. 298.

о том, что если Кант — либерал, то Фихте — социалист<sup>45</sup>, но этот призыв неизменно присутствовал в практическом программировании политической власти над контролируемым ею народным хозяйством, в понимании того, что неравенство и конкуренция государств неизбежно ставит проблему достижения государственной субъектности. Важной была именно тесная связь философского идеализма Фихте с практическими задачами политической борьбы. Современный центральным событиям настоящего очерка историк русской философии Э. Л. Радлов (1854–1928), даже сохраняя общественный нейтралитет, не мог не отметить 15 августа 1920 года, подсознательно строя свою речь на *аллюзиях*:

«Русская мысль не могла примириться с философией, *замкнутой в самой себе*, философией *par excellence*, русская мысль искала философии, приложимой к действительности, философии, объяснявшей задачи человека... Поэтому Фихте, Гегель и Шеллинг оказались для русской философской мысли дороже и ближе, чем Кант»<sup>46</sup>.

О социализме Фихте и о требующем социализма примере Германии в России стали говорить даже в академических кругах. Революционеры-интеллектуалы откликалась на известную формулу Энгельса о том, что «мы, немецкие социалисты, гордимся тем, что ведём свое происхождение не только от Сен-Симона, Фурье и Оуэна, но также и от Канта, Фихте и Гегеля»<sup>47</sup>, в 1890-е растиражированную Петром Струве в энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона, а позже внесённую в коммунистическую догму Лениным. В пробной лекции о Фихте, прочитанной в Московском университете в феврале 1908 года, Б. П. Вышеславцев (1877–1954), будущий глубокий исследователь индустриализма и коммунизма, сообщал своим слушателям: «Сочинения Фихте появляются в свет раньше, чем труды родоначальников французского и английского социализма: Фурье, Сен-Симона, Оуэна, Томсона. Мы

<sup>45</sup> Пётр Струве. Г. Чичерин и его обращение к прошлому [1897] // Пётр Струве. На разные темы (1893–1901). Сб. ст. СПб., 1902. С. 619.

<sup>46</sup> В. Г. Белоус. ВОЛЬФИЛА [Петроградская Вольная Философская Ассоциация]: 1919–1924. Кн. 1: Предыстория. Заседания. М., 2005. С. 376.

<sup>47</sup> Ф. Энгельс. Развитие социализма от утопии к науке. Предисловие к немецкому изданию [1882] // К. Маркс, Ф. Энгельс. Сочинения. Т. 19. М., 1961. С. 323.

имеем в лице Фихте, таким образом, не только первого немецкого теоретика социализма, но и первого значительного мыслителя вообще, выступившего с обоснованием социализма в новой философии». И далее, описывая общественные задачи, поставленные Фихте перед социализмом, тогда уже взятые у социализма на вооружение либеральным консенсусом о «достойном человеческом существовании» — прямо переходил к образу изолированного государства:

«Он признаёт оба основных социалистических принципа: право на полный продукт труда и право на существование, причём даёт их синтез — право существовать своим трудом и не простое право на существование, а право на достойное человека существование, право на свободный досуг, право на умственное развитие. Так широко понимает Фихте задачи социалистического государства. Теперь спрашивается, каковы те практические средства, которые ведут к осуществлению этих целей. На это Фихте отвечает в своём “Замкнутом торговом государстве” ...»<sup>48</sup>.

Примечательно, что итоги картографирования и освоения Сибири как тыла и продолжения России уже к концу допетровского времени, по убеждению картографа рубежа XVII и XVIII веков, звучали вполне в духе этой просветительской замкнутости: «дары Сибири включают естественные границы, которые изолируют её и защищают от враждебных соседей»<sup>49</sup>. Тем не менее, государство в России — вплоть до царствования Александра III (1881–1894) — в целом исходило из принципов «свободы торговли», применяя меры таможенного протекционизма, прежде всего, ради повышения государственных доходов (особенно в годы финансовых кризисов, связанных с экстраординарными расходами казны в годы Крымской войны (1853–1856) и русско-турецкой войны (1877–1878), а не для защиты отечественной промышленности,

<sup>48</sup> Б. Вышеславцев. Обоснование социализма у Фихте // Вопросы философии и психологии. Кн. 93 (III). Май–июнь 1908. С. 571, 584. Ещё один важный русский исследователь этой индустриальной связи, также обратившийся к ней уже в условиях антикоммунистической эмиграции и также — философ с ярко выраженным общественно-политическим темпераментом, Н. О. Лосский: Н. О. Лосский. Индустриализм, коммунизм и утрата личности // Новый Град. Париж, 1936. № 11.

<sup>49</sup> Валери Кивельсон. Картографии царства: земля и её значения в России XVII века / Пер. под ред. М. Крома. М., 2012. С. 180, 189.

идеология которой чаще всего проигрывала идеологии конкуренции, исходящей из «свободы торговли». Конкуренции, надо сказать, совершенно уничтожающей и суверенную транспортную инфраструктуру внешней торговли, и собственную перерабатывающую промышленность России вне простой добычи природных ресурсов. И власть, и наука, и политическая оппозиция в России так и не смогли полностью избавиться от монопольного британского экономического образца даже тогда, когда эта британская монополия «свободы торговли» была уже уничтожена протекционизмом Германии и США (САСШ).

В XIX веке Россия, совершенно независимо от политических приоритетов конкретных царствований, их внутренней политики и абсолютно независимо от внешнеполитических и военных поражений, особенно во время царствования Николая I, особенно в период реакционного так называемого «мрачного семилетия» 1848–1855 гг. продемонстрировала свою особую зависимость от британского стандарта «свободы торговли» и шаг за шагом наращивала соответствие своей внешнеэкономической политики её либеральным, космополитическим и колониальным образцам.

Ещё старые исследователи (разных политических убеждений, но солидарно) показали эту зависимость России доказательно и в полной мере. Например, сторонник «свободы торговли» М. Н. Соболев дал такую периодизацию государственной экономической политике: в 1841–1860-е — «Период фритредерских тенденций», затем период вынужденной и постепенной эволюции к протекционизму, и лишь с 1876 года — «Период усиленного фискализма и протекционизма». Одновременно с этим историк чётко указал, что эта либеральная внешнеэкономическая политика отнюдь не диктовалась государству изнутри страны ни одним из профильных сообществ, а была результатом исключительно бюрократического решения, следующего британскому образцу и своим приоритетом выбравшего фискальные интересы казны. Ещё даже великий министр финансов Российской империи Е. Ф. Канкрин (1874–1845, министр в 1823–1844) ради фиска начал в 1841 году снижать ставки протекционистского тарифа 1822 года. После смерти Канкрина, в 1846 году, последовало официальное поручение известному польскому фритредеру Л. В. Тенгоборскому (1793–1857), даже не знавшему русский язык, согласовать тариф имперского Царства Польского с российским для объединения их таможенных территорий, что и было сделано в 1850 году. При этом новый

министр финансов так докладывал императору Николаю I в апреле 1848 об идеологии нового, либерального тарифа, словно речь шла о применении школьной азбуки, а в России уже существовала мощная отечественная промышленность: «поощрение внутренней промышленности путём развития иностранной конкуренции»<sup>50</sup>. У объединения таможенных территорий в 1848 году — году европейских революций — возник и новый импульс: раздел Польши в конце XVIII века между Австрией, Пруссией и Россией и затем присоединение в 1815 году Герцогства Варшавского к России дали им значительные польские этнографические территории. И революционные движения прямо использовали польский этнический фактор, внося революционную смуту на территорию русского Царства Польского сквозь фактически внутриэтнографические границы, пользуясь ангажированностью и слабостью собственной пограничной и таможенной охраны Царства Польского на его государственных границах с Пруссией и Австрией. На этих границах процветала военная и политическая контрабанда, готовя поляков к восстанию 1863 года. Поэтому включение с 1 января 1851 года — на чрезвычайно льготных для Русской Польши — её в общую таможенную и пограничную территорию Российской империи имело и чисто военно-политические задачи<sup>51</sup>. Примечательно, что экономическую контрабанду победить так и не удалось: польские предприятия успешно обходили ограничения, незаконно интегрируясь с прусскими поставщиками. Лишь потом стало ясно, что особо льготное развитие польской промышленности за счёт общероссийского рынка в перспективе послужило ускоренному и усиленному развитию польской национальной буржуазии и пролетариата, что стало новой фундаментальной основой для польских национализма и независимой государственности.

«Система протекционизма, применявшаяся в течение тридцати лет, вызвала в России довольно развитую мануфактурную деятельность, которая пустила прочные корни. Изданием тарифа 1850 г. было открыто свобод-

<sup>50</sup> М. Н. Соболев. Таможенная политика России во второй половине XIX века. Томск, 1911. С. 18–19. См. также об этом: К. Н. Ладыженский. История русского таможенного тарифа [1886]. М.; Челябинск, 2016. С. 210–211, 219–220.

<sup>51</sup> Г. Н. Симаков, Н. А. Бородкина. Военная и политическая контрабанда в Царстве Польском и Литве в конце 1850-х — начале 1860-х годов // Русский Сборник: Исследования по истории России. Том XV: Польское восстание 1863 года. М., 2013. С. 158.

ное соперничество русских и польских фабрик и вместе с тем значительно уменьшен размер пошлин, охранявших русскую промышленность от конкуренции иностранной. (...) [тогда и позже] переход к умеренным пошлинам вызывался экономическими воззрениями лиц, которым была поручена выработка новых тарифов, также требованиями, высказывавшимися большинством представителей русской интеллигенции. (...) Числом приверженцы понижения пошлин были вообще гораздо многочисленнее, нежели сторонники протекционистских идей... Теорию свободной торговли разделяла тогда большая часть русской интеллигенции; её идеями были проникнуты те лица, через которых проводились преобразовательные меры царствования [Александра II]»<sup>52</sup>.

Позднейший исследователь (известный *В. В.*, в отношении России долго утверждавший, что её рынок недостаточен для промышленного капитализма) ярко описал секрет успеха польской промышленности, совершенно не связанный с антипольской политикой русского империализма, но связанный именно с ёмкостью рынка и последующей его защитой, а не с тем, что «польская промышленность есть всецело создание иностранцев», как настойчиво он твердил:

«Благоприятным условием для развития этой [польской] промышленности, которым воспользовались иностранные капиталисты, было уничтожение в 1850 г. таможенной пошлины, взимавшейся при ввозе польских

<sup>52</sup> *К. Н. Ладыженский*. История русского таможенного тарифа. С. 223, 202, 222, 227 («Большинство газет и журналов того времени («Русский Вестник», «Отечественные Записки», «Современник» и т.п.) были проникнуты более или менее фритредерским направлением; для протекционистов были открыты только сравнительно немногие издания — «Северная пчела», «Библиотека для чтения Боборыкина» и др.). Ср.: «Наибольшую известность и наибольшее влияние среди них имел «Экономический указатель»... Ту же либеральную точку зрения разделяли и все прогрессивные издания, как, напр., «Современник», «Отечественные Записки», «Голос»...» (*М. Н. Соболев*. Таможенная политика России. С. 360–361). Ср. также: «За свободу торговли выступали крупнейшие периодические издания — «Голос», «Московские ведомости», «Отечественные записки», «Русский вестник», «Экономический указатель». Среди фритредеров были светила экономической науки (Н. Х. Бунге, А. И. Бутовский, И. В. Вернадский, Л. В. Тенгоборский), они пользовались поддержкой общественного мнения и правительственных кругов. Несмотря на то, что большинство предпринимателей со страниц «Вестника промышленности» и «Торгового сборника» требовало сохранения высоких таможенных барьеров, позиции протекционистов выглядели гораздо слабее» (*В. Л. Степанов*. Н. Х. Бунге: Судьба реформатора. М., 1998. С. 79).

изделий в Россию, этим для польских изделий был открыт огромный рынок сбыта, образуемый многочисленным населением России. После этого в названном крае стали открываться (тоже иностранцами) и крупные металлургические заводы. Новый ещё более решительный толчок развитию польской промышленности был дан сильным возвышением таможенных пошлин на иностранные изделия в конце [18]70-х годов. При прежних, умеренных тарифах, в Германии у польской границы возник ряд фабрик и заводов, производивших товары для России. После возвышения пошлины на эти товары немецкие капиталисты перенесли свои предприятия через границу и основали их в польском крае. Новое поднятие таможенных пошлин в 1892 г. усилило прилив в этот край иностранных предпринимателей и дало новый толчок развитию польской промышленности»<sup>53</sup>.

В самой России 1850–1860-х гг. было видно, что — помимо государственных решений — идеологически «к числу фритредеров относится большинство наших учёных (...) Любопытно отметить, что “Московские Ведомости” под редакцией Каткова в 50-х годах и 60-х годах весьма энергично отстаивали начала свободы торговли, но затем в 70-х круто поворачивают в сторону протекционизма»<sup>54</sup>. При этом «ни земства, ни дворянство, ни сельскохозяйственные общества, ни другие

<sup>53</sup> В. П. Воронцов. Очерки экономического строя России [1906]. М., 2015. С. 96–97. По его данным, сумма производства польских заводов была: 1860 — 32 млн руб., 1870 — 67 млн руб., 1880 — 167 млн руб., 1893 — 227 млн руб.; 1897 — 426 млн руб.

<sup>54</sup> В 1876–1889 гг. были повышены (прежде всего, по фискальным соображениям) ввозные пошлины в целом и в частности: на хлопок, уголь, металлы и металлические изделия, которые до того ввозились беспошлинно (М. Н. Соболев. Таможенная политика России. С. 693), сталь, сельскохозяйственные машины, руды, медь, цемент, локомотивы, кирпич, аммиак, целлюлозу, суда, воск, вагоны, кабели, порох, крахмал. Вершиной «образцового» протекционизма в России стал тариф 1891-го («Подготовительные работы в министерстве финансов начались с 1887 года при участии целого ряда специалистов, главным образом профессоров Петербургского Технологического Института... Рассматривая напечатанные записки экспертов, мы видим, что они были проникнуты крайним протекционистским духом. Уже на первых же стадиях подготовительных работ были даны министерством финансов директивы определённого характера»: М. Н. Соболев. Таможенная политика России. С. 417–687, 698). «Идейным творцом» тарифа 1891 года, вдохновлённым доктриной Ф. Листа, исследователь называет Д. И. Менделеева (П. Б. Струве. Д. И. Менделеев [1934] // П. Б. Струве. Торговая политика России. М.; Челябинск, 2016. С. 249, 251). Протекционизм стал побеждать и в таможенной политике Франции в 1875 и 1892-м, в Германии в 1879-м, Австро-Венгрии в 1878, 1882 и 1887-м, Италии в 1878 и 1887-м.

организации почти никогда не выступали защитниками свободы торговли. Доминирующее влияние принадлежит самому государству, которое, как самодовлеющее учреждение, стремилось извлекать из таможенных пошлин наибольший доход. Понижение тарифных ставок производилось в надежде увеличить с ростом ввоза и таможенный доход», но эти надежды «оправдались в более, чем меньшей степени»<sup>55</sup>.

П. Б. Струве сообщал в своём исследовании, что формально централизаторское решение о таможенном присоединении Польши проводилось по инициативе самих поляков, впервые высказанной ещё в 1826 году<sup>56</sup>, но тогда остановленной Канкриным ради защиты внутренних русских губерний от непреодолимой польской контрабанды (из Пруссии) и чтобы избежать «совершенного упадка российской фабричной промышленности, ещё в младенчестве находящейся». «Польский тариф был либеральнее Имперского и иначе построен. Отсюда вытекла необходимость коренного пересмотра нашего таможенного тарифа». При этом упомянутый Тенгоборский был «в меньшей степени польским националистом, чем космополитом»<sup>57</sup>. Потому логично, что перед таможенным открытием России мировой (то есть британской) свободе торговли национальные интересы России отсутствовали вообще. Смерть Канкрин бюрократически отдала внутренний рынок России и для польской промышленности, обеспечив ей огромный льготный спрос и потому — опережающее её развитие, которое создало феномен индустриализации Польши исключительно благодаря рынку России. Старый немецкий исследователь польского происхождения Валентин Витчевский (Valentin Wittschewsky, 1854–?), по недоразумению некоторыми исследователями в России сегодня считающийся «отечественным», отмечал уникальное положение Польши между Пруссией и внутренней Россией и то, что тариф 1851 года «обеспечил

<sup>55</sup> М. Н. Соболев. Таможенная политика России. С. 360–361, V, 219.

<sup>56</sup> Есть сведения, что после предсмертной отставки Канкрин с инициативой об отмене вывозных пошлин на русское сырье для сбыта в Великобритании и об одновременном облегчении ввоза английских товаров в Россию выступил британский посол в Санкт-Петербурге (В. Витчевский. Торговая, таможенная и промышленная политика России со времён Петра Великого и до наших дней [Рус. пер. 1909]. М.; Челябинск, 2017. С. 91. Немецкий оригинал: *Valentin Wittschewsky. Russlands Handels-, Zoll- und Industriepolitik, von Peter dem Grossen bis auf die Gegenwart.* Berlin, 1905).

<sup>57</sup> П. Б. Струве. Торговая политика России [1913]. М.; Челябинск, 2016. С. 178–180.

польской индустрии значительные преимущества: из Империи в Польшу ввозились главным образом сырые продукты и жизненные припасы, из Польши же сбывались внутрь Империи индустриальные продукты, и притом в значительных количествах», это «открыло польским продуктам беспрепятственный доступ на рынки внутренней России и далее, вплоть до самых крайних восточных границ империи и рынков соседних азиатских государств. Польско-немецкие представители железной и текстильной индустрии не замедлили, к крайнему недовольству их московских конкурентов, во всех отношениях использовать благоприятно сложившиеся для них обстоятельства. (...) Это парализовало предприимчивость русского капитала в деле эксплуатации естественных богатств страны. Покровительство, которое оказывалось в <18>60-х гг. заводам, перерабатывающим иностранный чугун, вызвало значительное расширение этих предприятий, число их возросло за время от 1867 до 1870 г. с 65 до 164. Притом эти предприятия, естественно, сосредоточились главным образом в пограничных областях. Привислянская область обязана расцветом своей железной индустрии указанному направлению промышленной политики и близости своей к западной сухопутной границе». К 1905 году в ряду промышленных районов Российской империи Польша («индустриализм импортированный») занимала третье место по объёму производства после Московского района («старый индустриализм») и Петербургского (практически с ним сравнявшись)<sup>58</sup>.

Дальнейшее погружение общественной мысли и правительственной экономической политики России в глубины «свободной торговли» шло *в целом независимо не только от Крымской войны* (и вызванной ею финансовой катастрофы, бюджетного дефицита и высокой инфляции), *но и от Великих реформ* 1860–1870-х гг. — при не принципиальных протекционистских поправках — при всех министрах финансов империи в 1850–1880-х годах<sup>59</sup>. Биограф одного из этих глав

<sup>58</sup> В. Витчевский. Торговая, таможенная и промышленная политика России со времён Петра Великого и до наших дней. С. 93, 254, 256–257, 327.

<sup>59</sup> Краткий очерк идеологической сути деятельности ближайших предшественников Витте в должности министра финансов М. Х. Рейтерна (1862–1872), Н. Х. Бунге (1881–1887) и И. А. Вышнеградского (1887–1892), чьё время и пришлось на период собственно первой промышленной индустриализации России: С. Д. Мартынов. Государство и экономика: система Витте. СПб., 2002. С. 35–37, 47. Ср.: Б. В. Ананьич, Р. Ш. Ганелин. С. Ю. Витте и его время. СПб., 1999.

министерства финансов — Н. Х. Бунге — даёт содержательную картину идеологической и бюрократической судьбы «свободной торговли», идейно и практически уничтожавшей протекционизм:

«Бунге неоднократно обращался к вопросу о таможенном обложении. В предреформенный период он защищал лозунг свободы торговли и учение английской классической школы о международном разделении труда. В 1856 г., накануне принятия нового таможенного устава [1857 года], в печати началась дискуссия между фритредерами и протекционистами. Её исход был заранее предreshён. Ещё в 1850 г. взамен существовавшей с 1822 г. запретительной таможенной системы правительство ввело менее жёсткую охранительную. Либералы-западники видели в дальнейшем понижении пошлин одно из основных условий экономического прогресса России. (...) Новый тариф 27 мая 1857 г., ещё более ослабивший таможенную охрану, свидетельствовал о победе фритредеров. По словам Бунге, он “выразил собой положительное отрицание протекционизма”. Но приверженцы свободы торговли не питали лишних иллюзий... Бунге отмечал узость внутреннего рынка для сбыта иностранных товаров, низкий уровень доходов основной массы населения, слабость торговых оборотов, плохие пути сообщения... Фактически в европейском понимании они представляли собой умеренных протекционистов. Уже во второй половине <18>60-х годов Бунге пересмотрел свои прежние взгляды. Это объяснялось падением популярности фритредерской доктрины на Западе и явной потребностью в корректировке таможенной политики России. Тариф 1857 г. не оправдал надежд правительства. Вследствие роста импорта уменьшился активный итог торгового баланса. Не удалось добиться и увеличения таможенного дохода. И всё же очередной тариф 5 июля 1868 г. был выдержан в прежнем духе... В последующие годы это привело к преобладанию импорта над экспортом и пассивному сальдо торгового баланса»<sup>60</sup>.

<sup>60</sup> В. Л. Степанов. Н. Х. Бунге: Судьба реформатора. М., 1998. С. 79–81. «Практическое применение начал Смита не оправдало, однако же, надежд, возбуждённых школой свободы промышленности, — писал Бунге в 1869 г. — И в практической деятельности, и в науке является мысль о необходимости ограничений свободы и об устройстве народного хозяйства при участии государства» (С. 48). «В современной российской литературе экономические работы Бунге не получили должной оценки. Удачная в целом биография Степанова не даёт достаточного представления о Бунге как экономисте, поскольку автор чётко не разграничивает различные периоды его творчества» (Йоахим Цвайнерт. История эконо-

Ярким примером конфликта либеральной догмы с национальной практикой стали последствия введения нового таможенного тарифа 1868 г., которое сопровождалось настоящим бумом интенсивного железнодорожного строительства, с той лишь важной особенностью, что этот тариф, удвоив таможенные доходы казны, не стал стимулом для развития отечественной промышленности, ибо уничтожил возможные защитные меры, которые направили бы мощный платёжеспособный спрос железнодорожных грюндеров на продукцию машиностроения и связанные с ним сырьевые сферы внутри страны, а не за рубеж. Вместо этого первый этап широкого строительства железных дорог в России тариф 1868 года сопровождал беспрошльным ввозом хлопка, каменного угля, ряда машин, почти беспрошльным ввозом чугуна и стали. Импорт господствовал над экспортом из России. Ставка на частную инициативу в деле кредитования и учреждения акционерных обществ, казённые им дотации и льготы привели к массовым мошенничествам и банкротствам, на деле распылявшим отечественный частный и государственный капитал. В этот период Россия дважды пережила острый бюджетный кризис, сопоставимый с кризисом, вызванным Крымской войной, — в результате русско-турецкой войны 1877–1878 гг. и завоевания Туркестана в 1877–1881 гг. Это вновь склоняло либеральное общество и либеральную часть власти к фритредерским искушениям, но уже сталкивало эти искушения с новой реальностью — с реальностью новых военно-промышленных задач, железнодорожного строительства и индустриализации. Поэтому даже либеральная финансовая власть была вынуждена с 1882 г., а затем и с 1891 г. повысить таможенные ставки на ввоз сырья и промышленных изделий. Именно эти шаги подготовили феномен экономической политики Витте ещё до его назначения министром

---

номической мысли в России. 1805–1905 [2002] / Пер. под ред. В. С. Автономова. М., 2008. С. 252), и даёт важное резюме эволюции экономических взглядов Н. Х. Бунге: «в 1895 году он пишет о том, что опыт последних пятидесяти лет показал, насколько бесполезно полагаться на частную инициативу там, где она традиционно слабо выражена... он требует теперь расширения сферы государственной деятельности, “насколько это необходимо для устранения губительных последствий неограниченной свободы интересов”. Одновременно он подчёркивает, что такая концепция государственного социализма не имеет ничего общего с “настоящим социализмом”... он во второй период творчества выступает за кооперативы и активную социальную политику» (С. 250).

финансов, стройную систему своих экономических взглядов который изложил в применении к развитию народного хозяйства как развитию тяжёлой индустрии. Сердцевина индустриализации была им сформулирована совершенно в духе марксистского взгляда на технологический прогресс: «Во всех отраслях современной промышленности основными материалами для изготовления орудий производства служат железо, чугун и сталь. Размер потребления этих металлов в стране является показателем уровня её промышленного развития»<sup>61</sup>.

Одновременные этим событиям быстрые шаги Германии к национальному политическому объединению и промышленному прогрессу показали, что есть практическая альтернатива британской «свободе торговли» — политика государственного экономического строительства, основанная на философии изолированного государства и протекционизма. Победа Пруссии над Францией в 1871 году дала этой германской альтернативе — последнее, чего ей не хватало: огромный единовременный, централизованный и бесплатный капитал контрибуции<sup>62</sup> за проигранную Францией войну (примечательно, что это поражение страны, породив многочисленные историко-психологические последствия, всё же не заставило французов формулировать свою «отсталость» как историческую проблему). Эрик Хобсбаум (1917–2012) заметил в связи с этим историческим событием, что именно война 1870–1871 гг. с вызванной ею Парижской коммуной и взрывом коммунистических пророчеств и публицистики в Европе сделала знаменитым Карла Маркса, а уголовно-политический процесс в Германии 1872 года над его последователями заставил предать широкой огласке его «Манифест коммунистической партии»<sup>63</sup>.

<sup>61</sup> С. Ю. Витте. Конспект лекций о народном и государственном хозяйстве, читанных его императорскому высочеству великому князю Михаилу Александровичу в 1900–1902 годах [по изданию 1911 года]. М., 2011. С. 102. Консервативный публицист И. Ф. Цион (1842–1912), критикуя Витте, ещё в 1896 году обвинил его в приверженности «евангелию Карла Маркса» (А. Э. Котов. «Царский путь» Михаила Каткова: Идеология бюрократического национализма в политической публицистике 1860–1890-х годов. СПб., 2016. С. 266).

<sup>62</sup> «Благодатные французские миллиарды» поставили промышленность Германии «в прямо-таки тепличные условия» (Ф. Энгельс. Введение к работе К. Маркса «Классовая борьба во Франции с 1848 по 1850 г.» [1895] // К. Маркс, Ф. Энгельс. Сочинения. Т. 22. М., 1962. С. 538).

<sup>63</sup> К. Маркс, Ф. Энгельс. Манифест коммунистической партии / Вст. ст. Э. Хобсбаума / Пер. с англ. А. Мороз. М., 2013. С. 7–9.

Известный американский экономист, один из первых либертарианцев Генри Джордж (1839–1897) в 1886 году вынужден был признать: «Протекционизм торжествует повсюду... Из великих наций одна Англия сорок лет назад перешла к системе свободной торговли. Наоборот, британские колонии сейчас же оградилась тарифами, как только получили самоуправление<sup>64</sup>. О всех других народах нечего и говорить. Фритредерам нечего оболящаться», — цитировал Г. Джорджа русский критик протекционизма. И находил новое отступление от экономического либерализма в трудах даже его защитника П. П. Леруа-Больё (1843–1916), который признал наиболее существенными аргументами протекционизма его указание на противоречие «всемирных интересов» с интересами национальными, что внешняя конкуренция способна даже уничтожить национальное производство, а разделение труда, выходящее за пределы государства, угрожает его независимости<sup>65</sup>.

В конце 1890-х гг. Менделеев подвёл в абсолютных цифрах национальные итоги конкуренции «свободной торговли» и протекционизма в течение XIX века и, в частности, за 1860–1898 гг., что можно округлённо суммировать по его данным в финальную таблицу, ярко демонстрирующую гораздо большие успехи протекционистских Германии и США по сравнению с фритредерской Великобританией:

*Совокупный объём экспорта и импорта (млн франков)*

	Россия	Германия	Великобритания	САСШ
1860	2 300	2 400	9 450	3 400
1870	2 150	5 350	13 800	4 150
1890	3 200	9 200	18 900	8 500
1898	3 600	11 600	19 300	9 450

Связывая наибольший рост объёма внешней торговли именно с периодом постепенного распространения идей протекционизма

<sup>64</sup> Подробно об этой проблеме см. исследование французского автора, переведённое в СССР: *Э. Галеви. История Англии в эпоху империализма. I. [1926]* / Пер. под ред. Б. Вебера. М., 1937. С. 309–320.

<sup>65</sup> *М. В. Аничков. Война и труд [1900].* Челябинск, 2007. С. 199, 218.

в 1860–1880-х гг., Менделеев резюмирует: «...не подлежит сомнению, что быстрота возрастания внешних оборотов и главных способов для неё (внешней торговли. — *М. К.*), т.е. морского пароходства, определяется прежде всего развитием внутренней промышленности стран, зависящей от распространения протекционизма. (...) Ни для кого, например, не спрятано то обстоятельство, что Германия выиграла в последнюю четверть XIX ст. настолько же от французских своих побед и тройственного союза, насколько от умелой и последовательной политики по отношению к внешней торговле, политики чисто протекционной и умевшей доставить германскому народу такое благосостояние, какого эта по существу бедная страна не имела никогда по отношению к другим странам». При этом Менделеев замечал вполне в духе требований социальной политики, фиксируя связь протекционизма и государственного социализма: «...германский протекционизм состоит не из одних таможенных пошлин, но включает в себя и широкое покровительство всему реальному просвещению (в духе реальных училищ в Германии и России, дававших, в отличие от классического образования в гимназиях, в дополнение к основному, прикладное техническое и математическое образование. — *М. К.*), всему развитию внешней торговли и обеспечению заработков лиц, трудящихся на фабриках и заводах»<sup>66</sup>.

Опоздание России с проведением политики последовательного протекционизма вплоть до середины — конца 1880-х гг. лишило её возможностей целой исторической эпохи, начиная с 1850 года, когда власть отказалась от протекционизма как раз в момент перехода от мануфактурного производства к фабричному и заводскому. Но к началу XX века уже ничто не могло помешать разительным успехам системы индустриализации России, построенной благодаря подготовленному по решению императора Александра III министром финансов И. А. Вышнеградским и реализованному товарищем министра финансов С. Ю. Витте (министр в 1892–1903) тарифу 1891 года и протекционистски выращенной на его основе экономике собственного чугуна и угля. Широко признанный, в том числе русскими марксистами, немецкий специалист по русской экономи-

<sup>66</sup> *Д. И. Менделеев. Заветные мысли* [1905]. М., 1995. С. 103–105. Уже в 1906 году на Менделеева как на гуру индустриализации ссылался Троцкий: *Л. Д. Троцкий. Итоги и перспективы. Движущие силы революции* [1906, переизд. 1919] // *Л. Д. Троцкий. Из истории русской революции* / Сост. Н. А. Васецкий. М., 1990. С. 89, 91.

ке Г. Шульце-Геверниц (1864–1943) говорил о тарифе 1891 года, что он «превосходит всё, что когда-либо было сделано в Европе в смысле таможенной охраны. (...) Тариф 1891 года... создал прочную таможенную стену, ограждавшую промышленность от иностранной конкуренции, обеспечившую промышленникам крупную норму прибыли, — эту самую главную приманку для притока в промышленность как отечественных, так и иностранных капиталов»<sup>67</sup>. Авторитетный для правящих большевиков автор уже при Советской власти на части территории России прямо подтверждал: «Таможенная охрана нашего производства путём усиленного обложения сырья, полуфабрикатов и изделий, являлась основным мотивом нашей экономической политики с 1890-х годов. Все задачи развития промышленности решались главнейше этим орудием экономической политики, которому приписывалась значительно большая универсальность и действительность, чем это было фактически. Тариф 1891 г. вызвал, в связи с железнодорожным строительством, значительное развитие нашей металлургии, горного дела и металлообрабатывающей промышленности»<sup>68</sup>.

Даже кризис 1899–1900 гг. не привёл к отказу от этой основы народного хозяйства, сближая Россию с «догоняющей» самодостаточной экономикой другой страны-континента — США:

*Таможенные пошлины на стоимость товаров (1907, %)*<sup>69</sup>

Россия	США	Австро-Венгрия	Германия (1906)	Франция	Великобритания
31,4	21,5	10,0	7,9	6,8	5,0

В те годы исследователь уверенно писал, смиряя свои фритредерские симпатии, что итоги индустриализации России в 1881–1905 гг.

<sup>67</sup> М. Балабанов. Промышленность России в начале XX века // Общественное движение в России в начале XX века / Под ред. Л. Мартова, П. Маслова и А. Потресова. Т. I. Предвестники и основные причины движения. СПб., 1909. С. 41–42.

<sup>68</sup> В. И. Гринецкий. Послевоенные перспективы русской промышленности. Харьков, 1919. С. 20.

<sup>69</sup> М. Н. Соболев. Таможенная политика России. С. 824.

являются «поражающими» и что, «вопреки всем фритредерским соображениям о благодетельности международного разделения труда, Россия будет продолжать свой путь к индустриализации и не уклонится от этого своего основного направления всей её хозяйственной политики»: отказываясь «примириться со всё большей эксплуатацией её иностранными государствами, выменивая по ничтожным ценам продукты своей почвы на чужой труд», — «стремиться к интенсивному индустриальному использованию внутренних производительных сил, т. е. спуститься в свои собственные недра, извлекать оттуда сырьё для индустриализации. (...) Если бы Россия была отдалённой колониальной страной, эксплуатация сокрытых в её недрах сокровищ составила бы прямую обязанность международного подвижного капитала. Тем сильнее должна была себя чувствовать обязанной Россия не оставлять втуне богатств, которыми так щедро наградила её природа». Поэтому исторически «коренными устоями» промышленного расцвета России в 1880-х были протекционизм и железнодорожное строительство, а центральным событием — «колоссальный рост» южнорусской горной промышленности<sup>70</sup>, то есть Кривого Рога и Донбасса. Сводные критические данные этого роста даны в таблице:

*Производство чугуна в России (млн пудов)<sup>71</sup>*

1870 г.	1880 г.	1890 г.	1895 г.	1900 г.
21,9	27,4	56,5	88,6	178,7

Одновременно с этими академическими исследователями итоги протекционистской индустриализации подводил знаменитый большевистский трибун *мировой революции и международного разделения труда* Троцкий, уклоняясь от точного указания на протекционистский секрет создания и концентрации промышленности, но честно иллюстрируя его революционные результаты: «за десятиле-

<sup>70</sup> В. Витчевский. Торговая, таможенная и промышленная политика России. С. 329, 330–332, 261.

<sup>71</sup> В. Витчевский. Торговая, таможенная и промышленная политика России. С. 264.

тие промышленного подъёма — 1893–1902 — основной капитал акционерных предприятий возрос на 2 миллиарда рублей, между тем как за период 1854–1892 гг. он увеличился всего на 900 миллионов»<sup>72</sup>.

Ещё дореволюционный марксист и социал-демократ, отец советской экономической географии Н. Н. Баранский (1881–1963), чья доктрина природно-идеологической многофакторности географии была принята Сталиным, в своём позднем сводном очерке внятно обрисовал практический (фактически альтернативный теоретическому у Троцкого) взгляд на международное разделение труда в его индустриальной перспективе, в котором было легко увидеть общий экономико-исторический консенсус тех в СССР, кто сознательно принял сталинскую идеологию «социализма в одной стране»:

«Англия, первой ставшая на путь индустриализации, вначале далеко опередила все остальные страны и долгое время пользовалась мировой монополией во всём, что касалось крупной машинной индустрии. И Германии и Соединённым Штатам для своих первых железных дорог пришлось ввозить оборудование из Англии. Только что зародившаяся промышленность этих стран совершенно не могла поднять головы из-за конкуренции Англии. При таких условиях английской буржуазии было вполне естественно держаться принципов свободной торговли, ибо при наличии фактического неравенства “свобода” не означает ничего другого, как лишь обеспечение власти сильного над слабым. (...) Опыты, проделывавшиеся в направлении свободы торговли некоторыми континентальными странами Европы, давали весьма печальные результаты и для их промышленности, и для платёжного баланса и денежной системы. Немудрено, что в странах, в которых в то время было больше всего данных для промышленного развития и которым поэтому конкуренция Англии была всего более досадна, а именно в Германии и Соединённых Штатах, раньше всего создавалась и идеология протекционизма (в виде учений Листа и Кери)... Пример этих стран, сумевших под защитой таможенных пошлин вырастить свою собственную промышленность до такого уровня развития, что она уже давно опередила английскую и перестала бояться её конкуренции, показал, что

<sup>72</sup> Л. Д. Троцкий. Итоги и перспективы. Движущие силы революции [1906, переизд. 1919] // Л. Д. Троцкий. Из истории русской революции / Сост. Н. А. Васецкий. М., 1990. С. 93.

связь между таможенными пошлинами и географическим разделением труда в условиях неравномерного развития капиталистических стран оказывается совсем иной и гораздо более сложной, чем это могло бы показаться, исходя из чисто формальных рассуждений. Дело в том, что таможенные пошлины, применяемые страной более молодой и промышленно слабой, против страны, опередившей её в своём развитии, хотя и затрудняют, конечно, осуществление географического разделения труда через границу, но зато, обеспечивая развитие промышленности внутри страны, тем самым **увеличивают географическое разделение труда в её пределах и ведут к развитию тех её производительных сил, которые иначе оставались бы втуне.** (...) Таким образом, таможенные пошлины как бы “загоняют” географическое разделение труда внутрь страны с тем, чтобы, развив, её производительные силы, сделать её при наличии известных условий конкурентоспособной на мировом рынке и тем подготовить дальнейшее развитие географического разделения труда и вширь, и вглубь в мировом масштабе. Государственная власть вмешивается в условия географического разделения труда не только путём установления таможенных пошлин, но и путём регламентации железнодорожных тарифов»<sup>73</sup>.

Здесь же важно специально проанализировать также *историческое, фактическое качество* догмы (и постоянных к ней апелляций Троцкого) о приоритетности (если не абсолютной ценности) «международного разделения труда» как фактора мировой (глобальной) экономики и обязательного условия мировой революции и (мирового же) социализма. Некритическое повторение этой догмы на всех этапах марксистской мысли сделало обязательным представление о едва ли не автоматическом и линейном развитии этого разделения труда как всеподавляющего прогресса, о котором протекционисты разных политических убеждений вынуждены были молчать, даже не соглашаясь, ибо достаточных данных тогда, чтобы опровергнуть эту догму, ещё не существовало. Но правда и в том, что эту догму никто из её догматиков так и не проверял на фактическом материале, ограничиваясь повторением. В центре догмы стоял, конечно, старый образ мирового

<sup>73</sup> Н. Н. Баранский. Географическое разделение труда [1956] // Н. Н. Баранский. Экономическая география. Экономическая картография. М., 1960. С. 71–73. Подчёркнуто мной.

господства свободы торговли, а затем — новый образ империализма и империалистической конкуренции, в мясорубке которой, казалось, не было места не только слабым, но и самодостаточным. Выдающийся русский историк-марксист и востоковед М. Павлович (М. Л. Вельтман, 1871–1927) широкими мазками рисовал общую картину этого мира накануне Первой мировой войны: «Прообразом либерализма была европейская Англия. Прообразом империализма служит мировая Британская империя, в которой сотни миллионов подвластны одной господствующей нации, а на самом деле — господствующим классам этой нации»<sup>74</sup>. Современные исследователи так резюмируют этот цивилизационный расизм: «В начале XX в. все великие державы считали колониальную империю абсолютно законной целью национальных устремлений»<sup>75</sup>. И если можно с уверенностью заключить, что мобилизационная и военная мощь великих держав в целом была достаточной для поддержания системы *глобального колониального милитаризма*, то второй важнейший фактор *индустриально-ресурсной глобализации* того времени как основы *международного разделения труда* — **империалистический финансовый капитал переживал серьёзный кризис**. Да и структура собственной экономики СССР обрекала её исключительно на колониальный статус, откройся она «мировому», а на деле — хозяйству одной из колониальных великих держав (учитывая экономическую слабость Германии и наложенные на неё Антантой послевоенные ограничения, это могли быть лишь Великобритания и Франция). На пике внешнеторговых возможностей, накануне мирового кризиса, к декабрю 1927 года структура экспорта из СССР выглядела так: пушнина (17%), нефть и нефтепродукты (15,4%), продукция лесного хозяйства (12,6%), марганец (2,2%), остальное — продукция сельского хозяйства (52,8%)<sup>76</sup>. Современный историк напоминает: «Условия внешней торговли в 20-е были для России неблагоприятными. После Первой мировой войны зерновой рынок

<sup>74</sup> М. Панин. Спор об империализме в германской социал-демократии // Наша Заря. № 11–12. СПб., 1912. С. 68.

<sup>75</sup> Яри Элоранта, Марк Харрисон. Война и период распада в 1914–1950 гг. // Кембриджская экономическая история Европы Нового и Новейшего времени. Т. 2: 1870 — наши дни [2010] / Под ред. Стивена Бродберри и Кевина О'Рурка. М., 2013. С. 193.

<sup>76</sup> Юрий Жуков. Иной Сталин: Политические реформы в СССР в 1933–1937 гг. М., 2010. С. 23.

был захвачен США, Канадой, Аргентиной и Австралией. В начале 20-х годов произошло крушение льняного рынка из-за вытеснения льняных тканей хлопчатобумажными. Находясь в стеснённых экспортных условиях, Россия не могла удовлетворить своих потребностей в импорте. Баланс внешней торговли, за исключением 1923 и 1924 гг., был отрицательным, что вело к значительному отливу золота из страны»<sup>77</sup>.

Как и в иных случаях, ещё до начала публичной полемики троцкистов и сталинистов государственное издательство в СССР выпустило в свет перевод крайне уместного в её контексте труда авторитетного австрийского марксиста, первого канцлера Австрии Карла Реннера (1870–1950), который без особых усилий отмёл столь интенсивно навязываемый Троцким фактор мирового хозяйства как непререкаемого условия развития. Прежде всего, К. Реннер **уже тогда, внутри актуальных событий** попросту показал его мифологичность: «**Мировое хозяйство разлагается на антагонистические национальные хозяйства**. Социалистические вожди ещё не подвергли разработке этого факта с привлечением для этого всего необходимого багажа... Мировая война была лишь одною фазою, правда решающею, этого процесса, а выходом из этого процесса может быть лишь создание наряду с хозяйственным интернационалом и политического интернационала мирового государства, владычествующего над мировым рынком»<sup>78</sup>.

Разделение труда в целом развивалось между двумя полюсами, которые можно назвать так: *бедный мир с его избытком трудовых и природных ресурсов* (к нему надо отнести и Россию) и *богатый мир с его избытком капитала и дефицитом природных ресурсов*. Историки экономики авторитетно заключают (и я верю, что эту тенденцию и современники могли бы при желании заметить «изнутри истории»): в мировых отношениях ресурсов и капитала **фактом первой половины XX века был рост взаимного протекционизма, «фрагментация рынков труда и капитала»**<sup>79</sup> и, добавлю, превращение

<sup>77</sup> Ю. П. Бокарев. НЭП как самоорганизующаяся и саморазрушающаяся система // НЭП: экономические, политические и социокультурные аспекты / Отв. ред. А. С. Сенинский. М., 2006. С. 133.

<sup>78</sup> Карл Реннер. Теория капиталистического хозяйства: марксизм и проблема социализирования [1924] / Пер. Г. Б. Гермаидзе. М.; Л., 1926. С. 329.

<sup>79</sup> Джоан Р. Роузес, Николаус Вольф. Совокупный рост в 1913–1950 гг. // Кембриджская экономическая история Европы Нового и Новейшего времени. Т. 2:

труда в предмет массового экспорта из бедных стран в богатые. Вероятно, главный советский внешнеэкономический и внешнеполитический аналитик, бывший австро-венгерский профессор экономики, в 1918–1919 — нарком финансов и глава ВСНХ Венгерской советской республики Е. С. Варга (1879–1964) уже после изгнания Троцкого из СССР — с полным знанием дела разрушал доктринальное здание его «мирового разделения труда», не рискуя быть фактически опровергнутым даже заочно. Он профессионально описывал то, что видел в мире вокруг СССР в 1910–1930-е гг. (и что не могло не признаваться в СССР технологическим ориентиром), и то, что Троцкий в своей риторике наивно описывал как благое международное разделение труда, в которое должен встроиться СССР — «систематическое организационное переключение хозяйства на работу для войны», происходившее во всех европейских государствах:

«каждое государство стремится к тому, чтобы в возможно большей степени производить наиболее необходимые для войны жизненные припасы, сырьё и предметы вооружения у себя же в стране. (...) Каждое маленькое государство стремится создать у себя в стране известный минимум тяжёлой промышленности, производства оружия, искусственного шёлка, чтобы в случае войны не зависеть всецело от ввоза из-за границы. (...) В результате мы имеем **тенденцию к прекращению разделения труда в мировом хозяйстве**... известную “аграризацию” промышленных стран и искусственную индустриализацию аграрных стран. Идеологическим выражением этого развития служит теория автаркии, наиболее усердно провозглашаемая германскими фашистами (при этом под “автаркией” всегда понимают только *ограничение ввоза, но никогда не имеют в виду добровольное сокращение вывоза*). Одновременно подготавливается мобилизация и милитаризация всей рабочей силы на случай войны (принудительная «трудовая повинность» для молодёжи в Германии и т. д.). Организационная подготовка хозяйства к войне наиболее далеко продвинулась в Германии и Японии. В Германии все отрасли хозяйства объединены в картели, вступление в которые является обязательным, сырьё распределяется между производствами под контролем государства...

Переход к «организованному голоду» может быть осуществлён в самое короткое время»<sup>80</sup>.

Современные исследователи суммируют сведения науки о том, что в 1914–1950 гг. произошла **дезинтеграция мировой торговли**, массовое и быстрое усиление протекционизма в сельском хозяйстве и промышленности в Болгарии, Чехословакии, Германии, Венгрии, Италии, Румынии, Испании, Швейцарии, Югославии. Причиной было то, что Первая мировая война «покончила с либеральным устройством XIX в... Производство и потребление в тотальной войне требовали гарантированных поставок жизненно важных стратегических материалов, сырья и продовольствия, и это вынуждало воюющие страны к ограничению экспорта и максимально возможному расширению импорта. Кроме того, участники войны применили борьбу с торговлей как одну из военных стратегий, стремясь блокадой и голодом поставить противника на колени. Международные товарные рынки были разрушены, объём мировой торговли сократился. (...) В глобальных масштабах доля торговли в ВВП сократилась с 22% в 1913 г. до 15% в 1929 г. и лишь 9% в 1938 г.»<sup>81</sup>

Ясно, что вся эта реальность — *которую не видеть было нельзя* — была категорически против «мировой» риторики Троцкого и фактически обрекала руководимую им страну на судьбу ресурсной колонии империализма — и она, колония, может быть, даже придавала бы ряду колониальных империй ещё по несколько десятилетий жизни без деколонизации. Но и помимо мировой экономической реальности в правящем классе СССР существовал доминирующий пафос категорического отвержения приоритета *торговли как капитализма* вообще и *мировой торговли* в частности, в котором по умолчанию воспитывался приоритет внутреннего промышленного развития. Предельно примитивное как историческая доктрина, учение о «торговом капитале» и «промышленном капитале», выдвинутое ещё в 1915–1918 гг. главным

<sup>80</sup> Е. С. Варга. Между VI и VII конгрессами Коминтерна. Экономика и политика, 1928–1934 [1934]. М., 2014. С. 143–144. См. откровенное обсуждение экономической политики СССР в контексте автаркии, которого не мог себе позволить Е. С. Варга, в социалистической среде русской эмиграции: С. И. Гессен. О пятилетке и проблеме хозяйственной автаркии // Новый Град. Париж, 1932. № 5.

<sup>81</sup> Яри Элоранта, Марк Харрисон. Война и период распада в 1914–1950 гг. С. 215–216.

официальным советским историком, заместителем наркома просвещения РСФСР, куратором науки и высшего образования М. Н. Покровским (1868–1932), делало именно экспортный «торговый капитал» в России источником внешнеполитической агрессивности самодержавия, а «промышленный» — опирающимся на внутренние ресурсы России.

## ПРОТЕКЦИОНИЗМ

В середине XIX века Россия, подобно Пруссии начала XIX века, столкнулась с тяжёлым военно-стратегическим поражением от коалиции во главе с мировым лидером — Британской империей. И также столкнулась с необходимостью сравнить собственные военно-промышленные и инфраструктурные ресурсы, степень их развитости, с ресурсами противников, которые, всё по тому же «совпадению», являли собой признанные исторические образцы развития и цивилизованности. Это поражение не могло не актуализировать германский пример.

Поражение, нанесённое Англией и Францией России в Крымской войне — на её собственной территории России, — логично ложилось в перспективу её вероятного колониального подчинения. Это же поражение должно было стать и главным, грубым и наглядным, фактором обнаружения того простого обстоятельства, что даже добровольное участие страны в британской системе «свободы торговли» отнюдь не гарантирует её от военно-политического диктата Британской империи. Столь унижительное *отрицательное обнаружение суверенитета* России как жертвы колониальной экспансии обрекало её либо на стратегическую капитуляцию, либо на создание промышленной основы военного суверенитета и, следовательно, отказа от «свободы торговли» в пользу протекционизма. Из исторического далёка, сорок пять лет спустя, Энгельс внятно излагал суть этого выбора, в котором прозрачно виделись индийский промышленный шаблон и индийская колониальная альтернатива:

«Россия в 1892 г. не могла бы существовать как чисто сельскохозяйственная страна, её сельскохозяйственное производство должно быть дополнено производством промышленным. (...) В тот день, когда Россия ввела у себя железные дороги, введение этих современных средств про-

изводства было предрешиено. Вы *должны* быть в состоянии ремонтировать ваши собственные паровозы, вагоны, железные дороги, а это можно сделать дёшево только в том случае, если вы в состоянии строить у себя в стране всё то, что вы намереваетесь ремонтировать. С того момента как военное дело стало одной из отраслей крупной промышленности (броненосные суда, нарезная артиллерия, скорострельные орудия, магазинные винтовки, пули со стальной оболочкой, бездымный порох и т. д.), крупная промышленность, без которой всё это не может быть изготовлено, стала политической необходимостью. Всё это нельзя производить без высокоразвитой металлообрабатывающей промышленности, а эта промышленность не может существовать без соответствующего развития всех других отраслей промышленности, особенно текстильной. Я совершенно согласен с Вами, что начало новой промышленной эры для вашей страны следует отнести приблизительно к 1861 году. Крымскую войну характеризовала именно безнадёжная борьба нации с примитивными формами производства против наций с современным производством. (...) В таком случае с этой точки зрения и вопрос о протекционизме становится только вопросом степени, а не принципа; самый же принцип был неизбежен. И ещё в одном можно не сомневаться: если Россия после Крымской войны нуждалась в своей собственной крупной промышленности, то она могла иметь её лишь в одной форме: в капиталистической форме. (...) Но я не вижу, чтобы результаты промышленной революции, совершающейся на наших глазах в России, отличались чем-нибудь от того, что происходит или происходило в Англии, Германии, Америке. (...) русским надо было решить — будет ли их домашняя промышленность уничтожена их собственной крупной промышленностью, или это будет совершено путём ввоза английских товаров. При протекционизме это сделают русские, без протекционизма — англичане. Мне всё это кажется совершенно очевидным»<sup>82</sup>.

Но, давая волю своей политической страсти и фобиям, именно с колониальной точки зрения — и уже безо всяких ободряющих авансов русским социалистам — Энгельс в 1893 году, вскоре после того, как, по его же предельно русофобским признаниям, Россия

---

<sup>82</sup> Переписка К. Маркса и Ф. Энгельса с русскими политическими деятелями. С. 165–167 (письмо к Н. Ф. Даниельсону от 22 сентября 1898).

как славянская раса в целом<sup>83</sup> стала не только традиционно угрожать цивилизованной Европе «азиатским варварством», но и так ступила на путь промышленного, то есть самостоятельного развития (и поэтому тоже угрожает цивилизации, борясь за внешние рынки)<sup>84</sup>, теперь прямо определил Россию в образе цивилизационной отсталости, обречённой на колониальное подчинение — «этот европейский Китай»<sup>85</sup>. И из такой аналогии ничего хорошего для России не следовало.

Проигранная Россией Крымская война 1853–1856 гг. против коалиции Англии, Франции и Османской империи уничтожила многие результаты 150-летней борьбы России за выход в Чёрное море и её безопасность с юга: Черноморское побережье России было оголено, военная инфраструктура разрушена, экономические интересы — и без того критически зависимые от иностранного торгового флота (монопольно обслуживавшего русскую внешнюю торговлю) как вестника иностранной *свободы торговли* — не защищены. Впервые не как риторическое преувеличение и не как политический штамп,

<sup>83</sup> Чтобы не «сделаться *явным* орудием русской завоевательной политики», Германия должна (курсив Энгельса) «готовиться к (...) войне расовой, к войне против объединённых славянской и романской рас» (Ф. Энгельс. Введение к работе К. Маркса «Гражданская война во Франции» [1891] // К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения. Т. 22. М., 1962. С. 190).

<sup>84</sup> И в этой своей предполагаемой борьбе за внешние рынки для капитализма протекционистская Россия была для Энгельса — что не объяснимо вне пределов британской пропаганды — страшнее уже существующих Французской и Британской империй: после поражения в Крымской войне создав свою промышленность, «необъятная русская империя должна была превратиться в существующую за счёт собственной продукции производящую страну, способную полностью или почти полностью обходиться без иностранного ввоза. И вот для того, чтобы не только непрерывно расширялся внутренний рынок, но чтобы внутри страны производились также продукты более жарких поясов, возникает постоянное стремление к завоеваниям на Балканском полуострове и в Азии, причём конечной целью в первом случае является Константинополь, а во втором — Британская Индия» (Ф. Энгельс. Социализм в Германии (1891) // К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения. Т. 22. М., 1962. С. 261–263). Обо «всей русской крупной промышленности, существующей только благодаря... покровительственным пошлинам», он писал при первых же её результатах, когда о систематическом протекционизме в России на деле говорить можно было лишь рассматривая её разве что в тени Германии: Ф. Энгельс. Эмигрантская литература [1875] // К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения. Т. 18. М., 1961. С. 540.

<sup>85</sup> Ф. Энгельс. Может ли Европа разоружиться? [1893] // К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения. Т. 22. М., 1962. С. 406.

не как интеллектуальная игра между кружками западников и славянофилов, но как грубый исторический ландшафт для навигации встала проблема, которой язык военно-политического поражения дал имя (подобное тому, что дали своему поражению от Бонапарта в 1807 году немцы) — **отсталость**. Именно эта *травма экономической отсталости от главных внешнеполитических противников и конкурентов* отдала ещё большую инициативу в руки фритредерам в экономической политике власти. Эта политика и без того уже с начала 1840-х и особенно с 1850 года, года таможенного присоединения к империи Царства Польского (по тарифам 1851, 1857, 1867, 1868 гг.), напротив, всё более отрицала протекционизм, на деле демонстрируя зависимость от той коалиции, которая победила Россию в Крымской войне. И экономические выводы из поражения в сторону *свободы торговли* лишь усиливали эту зависимость. Историк русской экономики поколение спустя так описывал «новые успехи фритредерства»:

«Во время Крымской кампании было проведено общее понижение таможенных пошлин при сухопутном привозе, ибо движение морским путём было затруднено. Эта временная мера и по миновании её срока была оставлена в силе, так как в правительственных кругах назрело намерение произвести новый общий пересмотр тарифа. (...) Характер этого пересмотра определился общим фритредерским настроением эпохи... общее состояние атмосферы того времени повелительно диктовало дальнейший уклон в сторону свободы торговли. Это была весна идеи свободной торговли, когда ею увлекались во всех странах и от её осуществления ожидали чуть ли не полного социального переворота и воцарения всеобщего благополучия. В России выдвинулась в это время целая плеяда экономистов, находившихся под влиянием фритредерской пропаганды. Это течение делается академической доктриной: представители его занимают в это время важнейшие университетские кафедры. (...) Протекционистское течение было представлено людьми практики: администраторами, представителями торгово-промышленных кругов...»<sup>86</sup>

<sup>86</sup> П. Б. Струве. Торговая политика России [1913]. М.; Челябинск, 2016. С. 191–192. См. также: И. А. Христофоров. Между рынком и утопией: либеральные экономисты и начало эпохи великих реформ // Российская история. М., 2015. № 3.

Говоря уже не исторически, а идейно и политически, историк — в начале XX века известный правый либерал и проповедник государственного экономического могущества — ярко демонстрировал, насколько такой выбор имперского правительства в пользу внешне-экономического либерализма, правила которого устанавливал главный противник России в Крымской войне — Англия, служил интересам России. П. Б. Струве (1870–1944) так писал о месте России в шкале индустриализации и о роли протекционизма на этом пути: «экономическое развитие, одним из необходимых исторических условий которого является протекционизм, знаменует собой переход к высшей хозяйственной системе сравнительно с тем земледельческим укладом (в чём видел главный смысл протекционизма и Ф. Лист. — М. К.), на смену которого идёт эта новая хозяйственная система. Она представляет из себя высшую ступень, так как подымает производительность труда в стране...»<sup>87</sup>.

Радикальные критики России — и особенно во время Крымской войны — Маркс и Энгельс к тому времени уже подробно рассмотрели проблемы *отсталости* на примере немецких земель, которые с начала XIX века вели борьбу за преодоление исторического поражения. В этом мире Россия и германские земли были равны. Энгельс вспоминал:

«мировой рынок состоял тогда ещё из некоторого числа стран, преимущественно или исключительно сельскохозяйственных, группировавшихся вокруг одного крупного промышленного центра — Англии, которая потребляла большую часть излишков их сырья и взамен удовлетворяла большую часть их потребностей в промышленных изделиях. (...) Теория свободы торговли основывалась на одном предположении: Англия должна стать единственным крупным промышленным центром сельскохозяйственного мира»<sup>88</sup>.

Неизменные критики русского царизма, России как оплота общеевропейской реакции, как *мировой* угрозы, затмевающей в их сознании

<sup>87</sup> П. Б. Струве. Торговая политика России. С. 52–53.

<sup>88</sup> Ф. Энгельс. Предисловие ко второму немецкому изданию «Положения рабочего класса в Англии» 1892 года // К. Маркс, Ф. Энгельс. Сочинения. Т. 22. М., 1962. С. 328, 337.

даже мировой британский и французский колониализм и милитаризм, ради борьбы против царизма поддерживавшие даже славянофильские общинные фантазии русских народников, даже националистическую, полуфеодальную и ассимиляторскую борьбу поляков за независимость от России в границах 1772 года<sup>89</sup>, Маркс и Энгельс с острым вниманием следили за тем, как Россия и её самодержавная власть пытаются преодолеть отсталость. В их оценках говорил их собственный немецкий опыт: разгрома 1807 года, борьбы за национальное объединение, протекционизма как фундамента объединения и независимости, военно-политической конкуренции — и, с другой стороны, победного шествия Британской империи с её внешними правилами «свободы торговли», колониальными внешними рынками для развития своего капитализма, политическим либерализмом. Их задачей было совместить цивилизационно-политическую критику России с проповедью либерально-капиталистического прогресса, ведущего Европу и мир, вслед за Англией, к коммунизму, и с национальными интересами объединённой Германии, где главным союзником поли-

<sup>89</sup> «Никакая революция в Западной Европе не может окончательно победить, пока поблизости существует современное российское государство. Германия же — ближайший его сосед, на Германию, стало быть, обрушится первый натиск армий русской реакции. Падение русского царизма, уничтожение Российской империи является, стало быть, одним из первых условий окончательной победы немецкого пролетариата. Но этого падения никоим образом нельзя вызвать извне, хотя внешняя война могла бы его очень ускорить. Внутри самой царской империи имеются элементы, которые мощно работают над её разрушением. Первый из них — это *поляки*. В результате столетнего угнетения они очутились в таком положении, что должны либо быть революционными, поддерживать всякое действительно революционное восстание на Западе как первый шаг к освобождению Польши, либо же погибнуть. И как раз теперь они в таком положении, что западноевропейских союзников они могут искать себе только в лагере пролетариата. В течение вот уже ста лет все буржуазные партии Запады то и дело предают их. (...) Но деятельность поляков территориально ограничена. Она ограничивается Польшей, Литвой и Украиной. Подлинное ядро Российской империи — Великороссия — остаётся почти совершенно исключённой из области этой деятельности. Сорок миллионов великороссов образуют слишком большой народ, и у них было слишком своеобразное развитие, чтобы им можно было навязать извне какое-либо движение. (...) когда в дальнейшем речь идёт о России, то под ней надо понимать не всю Российскую империю, а исключительно Великороссию, то есть область, у которой на крайнем западе находятся губернии Псковская и Смоленская, а на крайнем юге — Курская и Воронежская» (Ф. Энгельс. Введение к брошюре «О социальном вопросе в России» [1875] // К. Маркс, Ф. Энгельс. Сочинения. Т. 18. М., 1961. С. 567–568).

цейской монархии представлялась Россия. То есть для Маркса и Энгельса было важным обеспечить единство исторического прогресса Старого Света при лидерстве Британии, демократизации Германии и вовлечении «нейтрализованной» России на периферию западной антикапиталистической революции. То есть **использовать её общинную отсталость**, чтобы вслед за Западом привести Россию к социализму, не создавая царизму возможностей к развитию капитализма и военно-промышленному выживанию и, таким образом, борьбе против прогрессивного Запада. Для своей же тогда ещё не объединённой родины, Германии — в её собственной борьбе против экономической отсталости в тени доминирования Англии — Маркс и Энгельс уже в 1840-х гг. с небольшими, преимущественно риторическими оговорками, выступали за протекционизм как инструмент суверенного промышленного развития. Ещё в так называемых «Эльберфельдских речах» молодой Энгельс, апеллируя к авторитету главного проповедника германского протекционизма Ф. Листа и позже признавая, что «Лист является самым лучшим из того, что произвела немецкая буржуазная экономическая литература»<sup>90</sup>, пропагандировал принцип «золотой середины» между свободой торговли и протекционизмом, при том что вред крайностей первой видел преимущественно в актуальности, а вред крайностей второго — преимущественно в будущем, когда его польза окажется исчерпанной. В этих признаниях молодого Энгельса звучит вполне ясное противопоставление практических интересов национального (народного) хозяйства и интернационального экономического и, следовательно, социально-политического прогресса, капиталистического (индустриального) развития как приоритета национальной экономики — и коммунистической перспективы как результата мировой революции. Выступая как немец перед немцами и прямо ссылаясь на «систему» Ф. Листа, Энгельс писал:

«Если мы провозгласим *свободу торговли* и отменим наши пошлины, то вся наша промышленность, за исключением немногих отраслей, будет разорена. О бумагопрядильном производстве, о механическом ткачестве, о большинстве отраслей хлопчатобумажной и шерстяной промышленно-

<sup>90</sup> Ф. Энгельс. Карл Маркс. «К критике политической экономии» [1859] // К. Маркс, Ф. Энгельс. Собрание сочинений. Т. 13. М., 1959. С. 490.

сти, о важных отраслях шёлковой промышленности, почти о всей желе-  
зодобывающей и железообрабатывающей промышленности *тогда* и речи  
не будет. Занятые во всех этих отраслях промышленности рабочие, ока-  
завшись внезапно безработными, хлынут массами в сельское хозяйство  
и уцелевшие ещё остатки промышленности; повсюду начнётся быстрый  
рост пауперизма, централизация собственности в руках немногих уско-  
рится в результате такого кризиса, и, судя по событиям в Силезии, не-  
избежным следствием этого кризиса явится социальная революция.  
Предположим теперь, что мы введём *покровительственные пошлины*.  
(...) Г-н Лист предлагает ввести постепенно возрастающие охранительные  
пошлины, которые со временем должны стать достаточно высокими, что-  
бы обеспечить за фабрикантами внутренний рынок; в течение известного  
времени они должны оставаться на этом высоком уровне, а затем посте-  
пенно начать снова снижаться, с тем чтобы, в конце концов, после ряда  
лет, покровительственная система могла быть уничтожена. Допустим,  
что этот план будет проведён и возрастающие покровительственные по-  
шлины будут декретированы. Промышленность будет развиваться, сво-  
бодный ещё капитал будет вкладываться в промышленные предприятия,  
спрос на рабочих, а вместе с ним и заработная плата возрастут, приюты  
для бедных опустеют, и, судя по внешним признакам, наступит период  
полного процветания. Это будет продолжаться до тех пор, пока наша про-  
мышленность не разовьётся настолько, чтобы удовлетворить внутренний  
рынок. Дальше она расширяться не сможет... К этому времени, полагает г-н  
Лист, отечественная промышленность уже настолько окрепнет, что будет  
меньше нуждаться в покровительстве и можно будет начать понижать  
пошлины»<sup>91</sup>.

В середине 1920-х гг. бывший социалист-революционер, помощ-  
ник главы Временного правительства А. Ф. Керенского, известный  
советский экономист, директор Конъюнктурного института при Нар-  
комате финансов РСФСР/СССР Н. Д. Кондратьев (1892–1938), счита-  
ющийся в историографии оппонентом сталинской аграрной полити-  
ки<sup>92</sup>, верно обнаружил в самом факте определения Энгельсом границ

<sup>91</sup> Ф. Энгельс. Эльберфельдские речи. Речь 15 февраля 1845 г. // К. Маркс и Ф. Эн-  
гельс. Сочинения. Т. 2. М., 1955. С. 548–549.

<sup>92</sup> «Кондратьев настаивал на существенном углублении НЭПа, возлагая надежды  
на зажиточных крестьян, поскольку именно они обеспечивали рост произ-

позитивного действия протекционизма проблему *принципиальной применимости протекционизма к стратегии развития народного хозяйства* в целом, то есть **первый очерк проблемы достаточности (крестьянского) внутреннего рынка для развития капитализма**, в чём состоял центр полемики народников против марксистов в 1890-е гг. Марксисты, говорившие о достаточности этого рынка, одержали победу в позитивной оценке перспектив капитализма в России и, подразумевалось, в оценке перспектив социализма в стране. Комментируя Эльберфельдские речи Энгельса, Н. Д. Кондратьев писал, что Энгельс, «допуская, что под влиянием протекционизма промышленность подымается, полагал, что этот подъём продолжится лишь до того времени, пока он не исчерпает ёмкости внутреннего рынка... Жизнь показала, что в данном случае прогноз Листа был верен, а Энгельс, подобно нашим народникам, ошибался»<sup>93</sup>. В контексте дискуссии в СССР 1920-х годов о строительстве **«социализма в одной стране»** — то есть **сталинской самозамкнутости СССР от троцкистского «международного разделения труда», «социалистического первоначального накопления» за счёт внутренней административной эксплуатации крестьянства** — признание Кондратьевым применимости такого протекционизма и при исчерпании внутреннего рынка звучало как признание верности стратегии «изолированного государства» Сталина<sup>94</sup>.

---

водства. Также Кондратьев не одобрял идею о монополии внешней торговли (в СССР это была отнюдь не «идея», а практика. — М. К.)... Кондратьев же выступал за гораздо более низкие темпы капиталовложений и считал, что в будущем основной акцент в развитии страны нужно сделать на сельском хозяйстве» (*Наум Ясный. Советские экономисты 1920-х годов. Долг памяти* [1967, 1972] / Пер. А. В. Белых. М., 2012. С. 250–251, 253). Приведённые здесь цитаты хорошо говорят о степени адекватности образа Кондратьева, нарисованного Н. Ясным. Пожалуй, первым обратил особое внимание на коллективизационный пафос Н. Д. Кондратьева Ю. А. Васильев, когда заметил, что Кондратьев в борьбе с аграрным перенаселением предлагал увеличение занятости в сельской местности, но именно в сферах организованного массового труда — в колонизации, мелиорации, с. х. индустрии (Ю. А. Васильев. Модернизация под красным флагом. М., 2006. С. 229).

<sup>93</sup> Н. Д. Кондратьев. Проблема предвидения [1926] // Н. Д. Кондратьев. Избранные сочинения. М., 1993. С. 162.

<sup>94</sup> Это единство вынужден был признать даже партийно-карательный критик Кондратьева в специальном издании, призванном, напротив, максимально его «разоблачить» как противника Сталина: «В простом признании курса

Вообще согласие близких к Советской власти некоммунистических интеллектуалов со сталинской доктриной «социализма в одной стране» как доктриной суверенной и самодостаточной России было не только актом оппортунизма, облегчённого идейной погружённостью сталинской доктрины в традицию протекционизма, но и актом политической стратегии. Один из таких интеллектуалов прямо писал конфиден্তু:

«нужно бояться превращения России в колонию. (...) я “за Сталина”... прежде всего потому, что “именно центральная установка Сталина гарантирует на некоторое время функционирование того партийно-государственного аппарата, внутри которого и создаётся, и формируется новая государственно-правящая психология, вырастает кадр государственных спецов”. Готов подписаться под этой формулой. Могу сказать, что её разделяет и весь “непартийный правящий слой” в Москве (точно знаю это)»<sup>95</sup>.

Убеждение Энгельса и Маркса в том, что именно протекционизм создаёт (в Германии) крупную промышленность, получило непрерывное развитие в их работах 1840-х годов<sup>96</sup>. В свою очередь, исто-

---

на индустриализацию страны ещё нельзя было отличить позиции простого буржуа и коммуниста. Гвоздь вопроса в проблеме индустриализации страны лежал в вопросе о том, какой тип индустриализации страны должен у нас быть (включая и проблему роста экономической самостоятельности), какой темп индустриализации должен у нас быть, какие источники ресурсов определяют этот темп» (*Я. П. Никулихин*. Кондратьевцы и правые в вопросах индустриализации страны // Кондратьевщина (Сборник) / Коммунистическая Академия. Аграрный институт. М., 1930. С. 63).

<sup>95</sup> Это писал прославленный коммунистической пропагандой — ради приведения к лояльности массы несоветских специалистов — в качестве образца лояльного противника, «национал-большевик» и зарубежный гражданин СССР Н. В. Устрялов (1890–1937) одному из вождей эмигрантского евразийства П. П. Сувчинскому, уже вступившему на путь сотрудничества с СССР. И вскоре: «сейчас *не время* громко говорить о замене коммунистов вообще, о наследниках большевизма, о новой единой и единственной партии, “предлагаться” в наследники и т.д. (...) Сейчас можно и удобно говорить о... том или другом отдельном, очередном шаге власти, умеючи находить реальные звенья подлинной жизни (ср. деятельность проф. Кондратьева — “устряловского полпреда в Москве”, по выражению Зиновьева)» (*Н. В. Устрялов*. Письма к П. П. Сувчинскому. 1926–1930 / Сост. Е. В. Ермишиной. М., 2010. С. 23 (4 февраля 1927), 30 (5 октября 1927)).

<sup>96</sup> *Ф. Энгельс*. Протекционизм или система свободы торговли [1847] // К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения. Т. 4. М., 1955. С. 63–64; *К. Маркс*. Протекционисты,

рия марксистского прогноза о шансах капиталистического развития России<sup>97</sup> имела в своём распоряжении прямо высказанные основателями политического коммунизма уже упомянутые тактические надежды на то, что — *в контексте общемирового и, в первую очередь, западноевропейского развития в сторону коммунизма* — общинная Россия может, сохранив свой патриархальный коллективизм, прямо — *при помощи Запада* — перейти к коммунизму. И этим внешне подтверждалась утопия ещё А. И. Герцена о прямом переходе от общины к социализму. Для этого России оставалось «лишь» избежать капиталистического развития, главные препятствия на пути которого были ликвидированы с отменой крепостного права в 1861 году. Заметив внимание к своей теории в России и выучив, как следует из переписки, русский язык для чтения описания пролетаризации России в труде В. В. Берви-Флеровского (1829–1918), Маркс<sup>98</sup> напрямую обратился к русской аудитории, произвольно теоретизируя в духе Герцена:

«Если Россия будет продолжать идти по тому пути, по которому она следовала с 1861 г., то она упустит наилучший случай, который история когда-либо предоставляла какому-либо народу, и испытает все роковые злоключения капиталистического строя. (...) Если Россия имеет тенденцию стать капиталистической нацией по образцу наций Западной Европы, — а за последние годы она немало потрудились в этом направлении, — она не достигнет этого, не превратив предварительно значительной части своих крестьян в пролетариев»<sup>99</sup>.

---

фритредеры и рабочий класс [1847] // Там же. С. 254–255; К. Маркс. Речь о свободе торговли [1848] // Там же. С. 417–418.

<sup>97</sup> Далее я следую моему очерку марксистской биографии П. Б. Струве: М. А. Колеров. П. Б. Струве в русском идейно-политическом и литературном процессе: новая биография // Исследования по истории русской мысли. 11: Ежегодник за 2012–2014 годы. М., 2015.

<sup>98</sup> Знание русского языка немцами столь важно для русского революционного мифа о Марксе (и вообще о Германии, где русский язык знали также Каутский, Р. Люксембург, Людендорф, Гинденбург и др.), что честь заинтересовать Маркса этим иной раз передаётся Н. Г. Чернышевскому (*Николай Бердяев*. Истоки и смысл русского коммунизма [1938]. М., 2012. С. 30).

<sup>99</sup> К. Маркс. Письмо в редакцию «Отечественных Записок» [1878] // К. Маркс, Ф. Энгельс. Сочинения. Т. 19. М., 1961. С. 119–120. Впервые опубликовано на русском языке в 1886 г.

В формально личном письме (несомненно, ставшем известным целевой русской аудитории) к тогда ещё радикальной народнице В. И. Засулич, одной из первых начавшей примерять марксизм к революционной борьбе в России, Маркс писал:

«Анализ, представленный в “Капитале”, не дает, следовательно, доводов ни за, ни против жизнеспособности русской общины. Но специальные изыскания, которые я произвел на основании материалов, почерпнутых мной из первоисточников, убедили меня, что эта община является точкой опоры социального возрождения России, однако для того чтобы она могла функционировать как таковая, нужно было бы прежде всего устранить тлетворные влияния, которым она подвергается со всех сторон, а затем обеспечить ей нормальные условия свободного развития»<sup>100</sup>.

В прямом обращении к русской революционной аудитории Маркс и Энгельс, хорошо известные своей политически мотивированной русофобией, откровенно льстили именно русским народникам, эксплуатируя их совершенно абстрактные надежды:

«Россия представляет собой передовой отряд революционного движения в Европе... рядом с быстро развивающейся капиталистической горячкой и только теперь образующейся буржуазной земельной собственностью мы находим в России большую половину земли в общинном владении крестьян. Спрашивается теперь: может ли русская община — эта, правда, сильно уже разрушенная форма первобытного общего владения землей — непосредственно перейти в высшую, коммунистическую форму общего владения? Или, напротив, она должна пережить сначала тот же процесс разложения, который присущ историческому развитию Запада? Единственно возможный в настоящее время ответ на этот вопрос заключается в следующем. Если русская революция послужит сигналом пролетарской революции на Западе, так что обе они дополняют друг друга, то современная русская общинная собственность на землю может явиться исходным пунктом коммунистического развития»<sup>101</sup>.

<sup>100</sup> К. Маркс. Письмо В. И. Засулич 8 марта 1881 // К. Маркс, Ф. Энгельс. Сочинения. Т. 19. М., 1961. С. 251.

<sup>101</sup> К. Маркс, Ф. Энгельс. Предисловие к русскому изданию «Манифеста коммунистической партии» [1882] // К. Маркс, Ф. Энгельс. Сочинения. Т. 19. М.,

Позже в переписке со своим русским корреспондентом, уже квалифицированным марксистом, но политически близким к народничеству, Н. Ф. Даниельсоном (в русской печати под псевдонимом: *Николай -он*)<sup>102</sup> Энгельс предметно проанализировал перспективы общины, промышленности, капитализма и социализма в России в контексте масштабного голода 1891–1892 гг., показавшего экономическую слабость общинного сельского хозяйства, на который Маркс и русские социалисты-народники полагались как на зародыш будущего социализма. Здесь русским народникам, взявшим на вооруже-

---

1961. С. 305. В этом тексте можно было бы обнаружить, по-видимому, первое внятное изложение не только двигавшего большевиками в 1917 году взгляда на Россию как на «слабое звено» в цепи мирового капитализма, разрыв которого способен инициировать мировую революцию, а также зародыш теории «социализма в одной стране», применённой к России в ожидании отклика на её «сигнал» с Запада. Этот «прогноз» Энгельс текстуально повторил и годы спустя, процитировав названное предисловие 1882 года: *Ф. Энгельс. Предисловие к немецкому изданию «Манифеста коммунистической партии» 1890 года* // К. Маркс, Ф. Энгельс. Сочинения. Т. 22. М., 1962. С. 57–58. Но представляется, что в этом обращении Маркса и Энгельса к русской публике всё-таки было больше политической вежливости, чем реальных надежд на революционную Россию. Более всего, сильно преувеличивая опасность (видимо, после участия России в подавлении венгерского восстания 1848 года), они хотели, как минимум, нейтрализации царской России как «всемирного» врага прогресса и потенциального союзника германской монархии. И к этому были направлены все их авансы русским революционерам. См.: «Россия, несомненно, находится накануне революции. (...) эта революция будет иметь величайшее значение для всей Европы хотя бы потому, что она одним ударом уничтожит последний, все еще не тронутый резерв всей европейской реакции» (*Ф. Энгельс. Эмигрантская литература [1875]* // К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения. Т. 18. М., 1961. С. 548).

<sup>102</sup> В современной событиям публицистике, мемуарной, пропагандистской и дидактической литературе, а также до недавнего времени — в историографии, такое соединение политического народничества и доктринального марксизма в старшем поколении русских социалистов 1880–1890-х гг. находилось в тени центральной линии разделения народовольцев и народников с первыми марксистами во главе с Г. В. Плехановым. Затем интеллектуальная эволюция неонародничества конца 1890–1910-х гг., придавшая партии социалистов-революционеров сложный синтетический фундамент этических учений П. Л. Лаврова и Н. К. Михайловского в соединении ревизионистки и философски переосмысленным марксизмом, нашла некоторое освещение в современной историографии. Известный экономист писал о Даниельсоне так: «корифей народнического движения и одновременно марксист в области теории стоимости» (*В. Я. Железнов. [Современные теории хозяйства] Россия [1927]* // Историки экономической мысли России: В. В. Святловский, М. И. Туган-Барановский, В. Я. Железнов / Сост. М. Г. Покидченко. М., 2003. С. 283).

ние «букву» марксизма<sup>103</sup> и уже с её помощью отстаивавшим особость русского пути к коммунизму, минуя капитализм как общую индустриальную основу народного хозяйства в силу его прогнозируемой маргинальности из-за слабости внутренней основы и недоступности внешних рынков, удалось найти в марксистском учении для Германии противоречие между **образцом интернационального британского капитализма** и случаем его **особого национального развития в условиях германского протекционизма**. В противоречие своим ранним надеждам на переход Германии к коммунизму именно в силу невозможности беспредельного локального развития капитализма<sup>104</sup>, но не переставая говорить, что голод и сокращает внутренний рынок (в деревне), и создаёт его (в городе), Энгельс всё же определённо писал Даниельсону: «переход от общинного земледелия и патриархаль-

<sup>103</sup> «Народники очень любят подчёркивать своё полное согласие с чисто экономическим учением Маркса», — констатировал ещё марксист и социал-демократ Н. А. Бердяев (1874–1948) (*Н. А. Бердяев. Субъективизм и индивидуализм в общественной философии. Критический этюд о Н. К. Михайловском* [1901]. М., 1999. С. 294, прим. 62).

<sup>104</sup> Об этом подробно писал позже русский марксист 1890-х М. И. Туган-Барановский (1865–1919): он обратил внимание на то, что в своих речи конца 1840-х (в «Рейнском Ежегоднике») и статье 1850 года (в «Новом Рейнском Обозрении») Энгельс заключал (изложение): «Германия должна выбирать между свободой торговли и протекционизмом. Если Германия предпочтёт первое, то германская промышленность будет уничтожена английской конкуренцией и массовая безработица вызовет в Германии социальный переворот. Но если Германия пойдёт другой дорогой и введёт высокие покровительственные пошлины, то это должно иметь своим следствием быстрое развитие германской промышленности. Внутренний рынок скоро окажется слишком узким для всё возрастающей массы её продуктов, и Германия быстро окажется в необходимости искать для своей промышленности внешние рынки, что, в свою очередь, должно повести не на жизнь, а на смерть между немецкой и английской промышленностью. (...) Эта же теория недостаточности рынка для продуктов быстро развивающейся промышленности составляет и в других сочинениях Маркса и Энгельса теоретическую основу их рассуждений о необходимости крушения капиталистического строя, так, напр., в знаменитом «Манифесте» и в полемической книге Энгельса против Дюринга» (*М. И. Туган-Барановский. Теоретические основы марксизма* [1905]. М., 2015. С. 192, 194). Более того, замечал экономист, проблема достаточности внутреннего рынка для развития капитализма оставалась не решённой и для Германии — настолько, что ещё в 1903 году, когда для России она была уже теоретически решена, знаменитый выходец из марксизма Вернер Зомбарт по итогам специально предпринятого статистического исследования доказал, что внутренний рынок способен поглотить растущую производительность национального капитализма (С. 211–212).

ной домашней промышленности к современной промышленности... со временем... распространит капиталистическую систему также и на сельское хозяйство»<sup>105</sup>.

<sup>105</sup> *К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения. Изд. 2. Т. 38. М., 1965. С. 312, 400.* В январе 1894 года Энгельс подвёл итоги своим и Маркса народническим искушениям и дал им неутешительное для народников заключение: «как формулировал мысль Чернышевского Маркс...: “Должна ли Россия, как того хотят ее либеральные экономисты, начать с разрушения сельской общины, чтобы перейти к капиталистическому строю, или же, наоборот, она может, не испытав мук этого строя, завладеть всеми его плодами, развивая свои собственные исторические данные?” (...) инициатива подобного преобразования русской общины может исходить исключительно лишь от промышленного пролетариата Запада, а не от самой общины. Победа западноевропейского пролетариата над буржуазией и связанная с этим замена капиталистического производства общественно управляемым производством — вот необходимое предварительное условие для подъёма русской общины на такую же ступень развития. (...) один тот факт, что, существуя бок о бок с русской крестьянской общиной, капиталистическое производство в Западной Европе приближается в то же время к моменту своей гибели, и в нём самом уже имеется зародыш новой формы производства, при которой средства производства в качестве общественной собственности будут применяться в плановом порядке, — один этот факт не может вдохнуть в русскую общину силу, дающую ей возможность развить из самой себя эту новую общественную форму. (...) ..не только возможно, но и несомненно, что после победы пролетариата и перехода средств производства в общее владение у западноевропейских народов те страны, которым только что довелось вступить на путь капиталистического производства и в которых уцелели еще родовые порядки или остатки таковых, могут использовать эти остатки общинного владения и соответствующие им народные обычаи как могучее средство для того, чтобы значительно сократить процесс своего развития к социалистическому обществу и избежать большей части тех страданий и той борьбы, через которые приходится прокладывать дорогу нам в Западной Европе. Но неизбежным условием для этого являются пример и активная поддержка пока ещё капиталистического Запада. Только тогда, когда капиталистическое хозяйство будет преодолено на своей родине и в странах, где оно достигло расцвета, только тогда, когда отсталые страны увидят на этом примере, “как это делается”, как поставить производительные силы современной промышленности в качестве общественной собственности на службу всему обществу в целом, — только тогда смогут эти отсталые страны встать на путь такого сокращённого процесса развития. Но зато успех им тогда обеспечен. И это относится не только к России, но и ко всем странам, находящимся на докапиталистической ступени развития. В России, однако, это будет сравнительно наиболее легко, потому что здесь часть коренного населения уже усвоила себе интеллектуальные результаты капиталистического развития, благодаря чему в период революции здесь возможно будет совершить общественное переустройство почти одновременно с Западом. Это было уже высказано Марксом и мною 21 января 1882 г. в предисловии к русскому изданию «Коммунистического манифеста» в переводе Плеханова. (...) Поражения во время Крымской войны ясно показали необходимость для России быстрого промышленного развития. Прежде всего нужны были железные доро-

«Для 70-х годов прошлого столетия характерно, что Маркс был как бы экономическим и историко-философским авторитетом русского народничества — в эту эпоху духовное влияние Маркса, пожалуй, нигде не было так велико, как в России. Между тем, через 10–20 лет в борьбе русского марксизма с народничеством, начавшейся в 80-х годах за границей и в 90-х годах породившей русский, так называемый “легальный” марксизм, авторитетом того же Маркса побивалось народничество»<sup>106</sup>, — вспоминал марксист П. Б. Струве.

ги, а их широкое распространение невозможно без отечественной крупной промышленности. Предварительным условием для возникновения последней было так называемое освобождение крестьян; вместе с ним наступила для России капиталистическая эра, но тем самым и эра быстрого разрушения общинной собственности на землю. (...) В короткое время в России были заложены все основы капиталистического способа производства. Но вместе с тем был занесен топор и над корнями русской крестьянской общины. (...) последовали субсидии и премии за учреждение промышленных предприятий, а также покровительственные пошлины в интересах отечественной промышленности, пошлины, из-за которых ввоз многих предметов стал в конце концов совершенно невозможным. Русскому государству, при его безграничной задолженности и при его почти совершенно подорванном кредите за границей, приходится в прямых интересах фиска заботиться об искусственном насаждении отечественной промышленности. (...) если правительство не желает для уплаты процентов по заграничным долгам прибегать к новым иностранным займам, ему надо позаботиться о том, чтобы русская промышленность быстро окрепла настолько, чтобы удовлетворять весь внутренний спрос. Отсюда — требование, чтобы Россия стала независимой от заграницы, самоснабжающейся промышленной страной; отсюда — судорожные усилия правительства в несколько лет довести капиталистическое развитие России до высшей точки. (...) Так и идёт во всё более ускоряющемся темпе превращение России в капиталистически-промышленную страну, пролетаризация значительной части крестьян и разрушение старой коммунистической общины. Я не берусь судить, уцелела ли ныне эта община в такой мере, чтобы в нужный момент, как Маркс и я еще надеялись в 1882 г., она смогла, при сочетании с переворотом в Западной Европе, стать исходным пунктом коммунистического развития. Но одно не подлежит сомнению: для того чтобы от этой общины что-нибудь уцелело, необходимо прежде всего ниспровержение царского деспотизма, революция в России. (...) русская революция даст также новый толчок рабочему движению Запада, создаст для него новые лучшие условия борьбы и тем ускорит победу современного промышленного пролетариата, победу, без которой сегодняшняя Россия ни на основе общины, ни на основе капитализма не может достичь социалистического переустройства общества» (Ф. Энгельс. Послесловие к работе «О социальном вопросе в России» [1894] // К. Маркс, Ф. Энгельс. Сочинения. Т. 22. М., 1962. С. 443–445, 450–453).

<sup>106</sup> Пётр Струве. Карл Маркс и судьба марксизма [1933] // Исследования по истории русской мысли. [4] Ежегодник за 2000 год. М., 2000. С. 328–336.

Таким образом, народники должны были доказать, что капитализм в России уже проиграл, а марксисты — что он побеждает и уже победил. И в равной степени сделать это на общем для них марксистском языке. Именно поэтому главным источником идейного переворота стало не распространение марксизма, а обнаружение его равной применимости и к России с её «социалистической» сельской общиной, и к Западной Европе, где община уже была уничтожена. «Меня марксистом гораздо больше сделал голод 1891–1892 гг., чем чтение “Капитала” Маркса», — вспоминал Струве<sup>107</sup>, обнажая трагедию отсталости, но умалчивая о том, что, подобно славянофилам, политические операторы отсталости, народники, уже вполне освоились с «Капиталом» и выступали его главными толкователями<sup>108</sup>. Именно проблему *достаточности* внутреннего рынка страны для развития капитализма начал исследовать Струве, дебютировав в немецкой социалистической прессе в 1892 году: он был обречён либо расстаться с образом промышленной и социалистической революции для России, либо увидеть, что обнищание деревни не уничтожает внутренних ресурсов развития капитализма и, значит, революционного пролетариата в стране.

В октябре 1893 года, продолжая давний спор с народническими политическими надеждами своего компетентного марксистского со-

<sup>107</sup> Пётр Струве. *Patriotica*. Политика, культура, религия, социализм. Сборник статей за пять лет (1905–1910 гг.). СПб., 1911. С. 410.

<sup>108</sup> Народническое истолкование взгляда Маркса на источники развития капитализма и разъяснений Энгельса о применении его к реальности России ёмко дал В. В. (В. П. Воронцов, 1847–1918), дополнительно к тезису об обнищании народа, утверждая недостаточность внутреннего рынка в силу сужения и платёжеспособного спроса. Позже он всё же признал, что промышленное и железнодорожное строительство, специализация продукции и спроса, лишившие крестьян сезонного приработка, стимулируют развитие внутреннего рынка, но продолжал настаивать уже не на экономических, а общесоциалистических оговорках: «Рост внутреннего рынка далеко не соответствует возрастанию производства, потому что наибольшая часть дохода от умножающихся фабрик и заводов поступает в руки небольшой кучки капиталистов, которые не имеют возможности потребить достигающуюся им долю национальной продукции и не предъявляют достаточного спроса на товары. Для широкого развития крупной капиталистической промышленности нужно иметь возможность продавать её продукты не только на внутреннем, но и на внешних рынках. Наиболее промышленные европейские государства на завоевании таких рынков и основали пышный расцвет своего капитализма» (В. П. Воронцов [В. В.]. Очерки экономического строя России [1906]. М., 2015. С. 64–68).

беседника Н. Ф. Даниельсона, в ходе которого отрабатывались марксистские формулировки для России, Энгельс впервые заметил появление Петра Струве (в немецких публикациях: Peter von Struve) — нового русского марксистского теоретика, который, пожалуй, первым для русских революционеров «реабилитировал» протекционизм Ф. Листа, до того в России почти монополизированный консервативными модернизаторами С. Ю. Витте и его идейным единомышленником и активным пропагандистом протекционизма, великим химиком Д. И. Менделеевым (1834–1907)<sup>109</sup>. Здесь Энгельс решил: (1) покончить с русским экономическим мифом о России как новой Америке, (2) мифом об общине как первичной основе будущего коммунизма, (3) вновь подчеркнуть главную роль Запада в экспорте коммунизма — и так писал в связи с новой книгой своего конфидента «Очерки нашего пореформенного развития»:

«В берлинском „Sozialpolitisches Centralblatt“ (третий год издания, № 1, 1 октября 1893 г.) некий г-н П. фон Струве опубликовал о Вашей книге большую статью; я должен согласиться с ним в одном пункте — что и для меня современная капиталистическая фаза развития в России представляется неизбежным следствием исторических условий, которые были созданы Крымской войной, способа, каким было осуществлено изменение аграрных отношений в 1861 г., и, наконец, неизбежным следствием общего политического застоя во всей Европе. Но где Струве решительно не прав, это там, где он, желая опровергнуть то, что он называет Вашим пессимистическим взглядом па будущее, сравнивает современное положение России с положением Соединенных Штатах. Он говорит, что пагубные последствия современного капитализма в России будут преодолены так же легко, как и в Соединенных Штатах. (...) ясно, что в России эта перемена должна носить гораздо более насильственный и резкий характер и сопровождаться несравненно большими страданиями, чем в Америке. (...) всё же более чем стомиллионное население образует, в конце концов, очень большой внутренний рынок для весьма значительной *крупной промышленности*; и у вас, как и в других странах, все выравнивается, — конечно, если капитализм в Западной Европе продержится достаточно долго. (...) в России,

<sup>109</sup> Об этой стороне деятельности Менделеева см. специально: А. А. Матвейчук. Первые нефтехимики России: Исторические очерки. М., 2014. С. 25–44.

так же, как и во всяком другом месте, невозможно было бы развить из первобытного аграрного коммунизма более высокую социальную форму, если только эта более высокая форма не была бы *уже воплощена в жизнь* в какой-либо другой стране и могла быть использована в качестве образца. (...) Будь Западная Европа зрелой в 1860–1870 гг. для такого переворота, будь этот переворот начат тогда Англией, Францией и т.д., — тогда русские действительно были бы призваны показать, что могло быть сделано из их общины, в то время ещё более или менее не тронутой. Но Запад пребывал в застое... России не было иного выбора, кроме следующего: либо развить общину в такую форму производства, от которой её отделял ещё ряд промежуточных исторических ступеней и для осуществления которой условия ещё не созрели тогда даже на Западе — задача, очевидно, невозможная, — либо развиваться в направлении капитализма»<sup>110</sup>.

В полемике с Энгельсом Н. Ф. Даниельсон попутно проговорил и подспудное убеждение марксистов-народников (и народников-славянофилов, и правящих славянофилов) в том, что — если государственная власть в России ценой разорения народного, крестьянского большинства навязывает «сверху» крупную капиталистическую промышленность, — то эта же государственная власть может с такой же лёгкой решительностью, буквально верхушечным решением, — уничтожить этот капитализм, открыв путь для свободного саморазвития из общины «народного производства» (социализма). Логика был такова: **если государство без колоний (внешних рынков) ради своего капитализма уничтожает не колониальную, а собственную крестьянскую экономику — и защищает этот капитализм протекционизмом, то этот протекционизм оно может посвятить и созданию** в рамках народного (общенационального) хозяйства — **замкнутого, изолированного от внешнего капитализма, социализма**. Вот из чего у Даниельсона рождалась недоговорённая до конца доктрина **протекционизма ради изолированного социализма**:

«Разве нельзя изменить цель покровительства? Изменить “курс”? Разве современная промышленность возможна только на капиталистической

<sup>110</sup> Переписка К. Маркса и Ф. Энгельса с русскими политическими деятелями / Под общ. ред. П. Н. Поспелова. М., 1951. С. 177–178 (17 октября 1893).

основе? Мы видим борьбу между двумя способами производства: крестьянским, развитие которого сознательно задерживается, но которое имеет все шансы пустить более глубокие корни и, следовательно, быть более прочным, и другим способом, совершенно искусственным, выращенным в теплице, выращенным за счёт крестьянства, т. е. большинства народа, и, тем не менее, мы продолжаем *поддерживать* его и *покровительствовать* ему. Кажется, что наше любимое детище — капитализм, — подрывая основы крестьянской промышленности, но не имея ни внешнего, ни внутреннего рынков, не имеет прочной почвы для своего развития. “Сложился внутренний рынок и одновременно снова оказался почти совсем разрушенным”, как Вы правильно выражаетесь. “Таким образом будет утрачена великая возможность” (на самом ли деле она утрачена?)...»<sup>111</sup>

«Конечно, мы не можем найти каких-либо новых факторов, отличных от тех, которые действуют в Западной Европе; но в неприкрытой экспроприации и эксплуатации населения (...) в нашем полу-изолированном состоянии» я вижу доказательство того, что мы достигли критического периода в нашей экономической истории. Вы говорите, что это кажущееся безвыходное положение находит в других странах выход в торговых потрясениях, в насильственном открытии новых рынков. У нас нет такого выхода. Россия принуждена искать его в своих собственных экономических учреждениях, она не может найти никаких внешних рынков; кроме того, её освобождённое население слишком многочисленно»<sup>112</sup>.

Видно, что эта квазидоктрина марксиста Даниельсона не давала ответа на главный вопрос: **за чей счёт будет происходить накопление капитала**, который государство будет инвестировать в некапиталистическую индустриализацию, если не за счёт собственного, но мелкотоварного сельского хозяйства? Кого будет грабить это государство, если возможность ограбления колоний для него закрыта, вместо своих крестьян?

<sup>111</sup> Переписка К. Маркса и Ф. Энгельса с русскими политическими деятелями. С. 159 (Письмо Н. Ф. Даниельсона к Ф. Энгельсу, 12 (24) марта 1892).

<sup>112</sup> Переписка К. Маркса и Ф. Энгельса с русскими политическими деятелями. С. 170 (Письмо Н. Ф. Даниельсона к Ф. Энгельсу, 3 (15) октября 1892).

Великий мастер упрощения и дидактики, продиктовавший постсоветской России и Западу XX века основные школьные формулы русской истории, которые раз за разом обнажаются в подкладке многочисленных интерпретаций России и мифов «русской идеи» и «русского ренессанса», Н. А. Бердяев, с юности впитавший в свой исторический язык марксизм и его народническое перерождение в социалистическом идеализме, невольно нащупал потенциал некапиталистического идейного поворота в самой проблеме внутреннего рынка и накопления капитала. Предельно сжимая лозунг народнического сопротивления капитализму, в котором, как известно, ради прекращения пролетаризации в ходе индустриализации, это социалистическое народничество готово было апеллировать даже к славянофильской партии внутри самодержавной власти, Бердяев наткнулся на не произнесённую народничеством проблему накопления капитала. Получалось, что от государства, которое насаждало капитализм, народники требовали достроить общинный коллективизм до общегосударственного социализма, решив (не произнесённую) задачу аккумуляции распылённых аграрных ресурсов до масштабов народного хозяйства и тем разрешить «традиционный для русской мысли XIX века вопрос о том, может ли Россия избежать капиталистического периода развития... в том смысле, что Россия может *сократить до нуля срок капиталистического периода* (курсив мой. — М. К.) и прямо перейти от низших форм хозяйства к хозяйству социалистическому. Коммунисты, несмотря на свой марксизм, именно и пытаются сделать»<sup>113</sup>.

Так диагностически точно писал Бердяев в 1938 году, когда Сталин — в ходе принудительной и радикальной коллективизации — уже решил эту задачу исторически мгновенного накопления капитала в интересах социализации всего народного хозяйства. Получалось, что государству не только теоретически по силам осуществить этот антикапиталистический переход прямо от общинного земледелия к общенациональному коллективизму. И если перед постфеодальной автократией было позволительно ставить задачу мобилизации внутренних ресурсов, то ничто не мешало поставить эту задачу и перед коммунистической диктатурой. Надо отметить, что — как член

<sup>113</sup> Николай Бердяев. Истоки и смысл русского коммунизма [1938]. М., 2012. С. 30.

киевского марксистского и социал-демократического «Союза борьбы за освобождение рабочего класса» второй половины 1890-х гг. — Бердяев, несомненно, хорошо знал русскую марксистскую классику, в первую очередь — марксистские труды Г. В. Плеханова, широко распространившиеся в России в нелегальных изданиях. В самом первом из них Плеханов спорит с народническими попытками перетолковать перспективы индустриального (то есть капиталистического) развития России, противопоставляя, отделяя предпосылки капитализации, «период капиталистического накопления» от собственно «периода капиталистического производства» (в первом издании было написано: «периода свободной торговли на Западе»), чтобы, видимо, обосновать особый путь России<sup>114</sup>. Из этой терминологически ещё не до конца продуманной эскапады в любом случае следовало убеждение патриарха русского марксизма в том, что *индустриализация и накопление капитала* в интересах индустриализации — *единый и одновременный процесс*, оставляющий простор для *революционной индустриализации и одновременного поиска для неё первоначального капитала*.

Годы спустя после описанной выше дискуссии с Энгельсом о внутренних ресурсах для капиталистического (промышленного) развития России и полгода спустя после солидарного утверждения капиталистического фатализма из уст Энгельса и Струве Н. Ф. Даниельсон настаивал на критической недостаточности рынка для развития капитализма в России — и по-прежнему ожидал прекращения капиталистического развития страны<sup>115</sup>. Струве же выбрал фокусом своей политической публицистики именно вопрос о приятии русского капитализма как фактора общечеловеческого прогресса и пути самой России к социальному и политическому освобождению — и сделал это общепринятым фактом в среде революционной интеллигенции уже к концу 1890-х годов. Оставалось понять: какой именно путь наиболее подходит России? Названный Лениным в применении к перспективам капиталистического аграрного развития «прусским» (латифундистским) или «американским» (фермерским) — путь крупнотоварной концентрации сельского хозяйства или путь победы массового мел-

<sup>114</sup> Г. В. Плеханов. Социализм и политическая борьба [1883] // Г. В. Плеханов. Избранные философские произведения в 5-ти т. Т. 1. М., 1956. С. 67, 778.

<sup>115</sup> Николай -он. Нечто об условиях нашего хозяйственного развития // Русское Богатство. СПб., 1894. № 6.

котоварного крестьянского хозяйства? Иначе говоря, путь «первоначального накопления» или путь длительной эволюции?

## МИРОВАЯ РЕВОЛЮЦИЯ БЕЗ ГЕГЕМОНА

К концу XIX века с кандидатурой мирового (европейского) *донора* капитализма и коммунизма, наличие которого, судя по словам Энгельса, было обязательно для перспективы коммунистического развития России (в качестве, как минимум, аграрного придатка<sup>116</sup>), возникли трудности. Гигант Британской колониальной империи сталкивался со всё большей мировой конкуренцией, но вряд ли сулил своим революционным союзникам нечто большее, чем место колонии. «Срединная Европа» Германии ещё не была мировым гигантом и естественным образом выдвигалась в революционные покровители России.

Западная Европа 1860–1870-х гг. не оправдала революционных надежд Маркса и Энгельса. Как писал позже русский марксист, «Интернационал окончательно умер в 1876 году. В <18>77 году германская партия праздновала свои избирательные победы. Франция не оправдывала надежд на скорое оздоровление, Англия замкнулась в борьбе за легализацию тред-юнионов, Романские страны были во власти Бакунина, Германия, одна только Германия представляла из себя единственный оплот движения, это была “скала”, на которой зиждилась церковь будущего»<sup>117</sup>.

Поэтому главным внутри мирового (европейского) социалистического прогресса стал вопрос об истории, взаимоотношении и проти-

<sup>116</sup> Позицию Маркса, изложенную им в известном письме по поводу статьи Ю. Г. Жуковского и предисловии к русскому переводу «Коммунистического манифеста», Энгельс в конце жизни суммировал так: для перехода России к коммунизму «первым необходимым условием был **толчок извне**, — переворот в экономической системе Европы (...) Если переворот в экономической системе в России совпадёт с переворотом в экономической системе на Западе так, что обе они пополняют друг друга, то современное русское землевладение может явиться исходным пунктом нового общественного развития» (Переписка К. Маркса и Ф. Энгельса с русскими политическими деятелями / Под общ. ред. П. Н. Поспелова. С. 174 (Письмо Энгельса Даниельсону, 24 февраля 1893. Фрагмент фразы выделен Энгельсом)).

<sup>117</sup> А. Брам [Н. В. Крыленко]. В поисках «ортодоксии». СПб., 1909. С. 92.

воборстве доктрин и практик «свободы торговли» Британской империи и протекционизма Германии.

В течение всего XIX века образ великой державы и путь преодоления отсталости не мыслился без следования британскому индустриальному образцу, которое даже не подвергалось сомнению абсолютное политическое и экономическое лидерство Британской империи во главе целого мира её колоний и протекторатов. Пока германские земли были политически раздроблены, России было ещё не столь неуютно в положении государства-ученика и потенциальной жертвы колониального раздела. Но Германия объединилась и вступила в круг великих держав. И во второй половине XIX века в русской радикальной оппозиции отсталость России всё чаще переживалась в образах потенциальной колонии, прежде всего Британии, чья колониальная практика изображалась на примерах британского владычества в Ирландии и в Индии, а вовсе не близкой ей, например, аграрной и, благодаря Бакунину, Мадзини и Гарибальди, популярной Италии<sup>118</sup>.

Исследователь и критик марксизма, отец государственности Чехословакии (Чехословакии) Т. Г. Масарик (1850–1937) точно сфокусировал эту зависимость от образца на личных предпочтениях Маркса и Энгельса: они «более, чем это подобает, судят о всём человечестве и о всей истории по образцу сначала Франции, а потом Англии»<sup>119</sup>, видимо, ориентируясь на французскую революционную и на британскую экономическую традиции. Ёмкий очерк победного шествия английского образца по Европе дал и Вернер Зомбарт (1863–1941), бывший марксист, чья компетентность была высоко оценена самим Энгельсом и с научным авторитетом которого принуждены были считаться даже

<sup>118</sup> Риторическое сближение Ирландии и Индии как жертв британского колониализма и одновременно как близких примеров его социальных последствий провёл Маркс: «в социальном отношении Индостан представляет собой не Италию, а Ирландию Востока» (*К. Маркс*. Британское владычество в Индии [1853] // *К. Маркс и Ф. Энгельс*. Сочинения. Т. 9. М., 1957. С. 130). Точно об этом же позже писал и авторитетный для них русский автор: «сильное впечатление на меня производили описания страданий ирландского народа, и вот мне пришлось убедиться, что бедствия русского рабочего, несомненно, значительнее. Для того чтобы найти ему подобие, надо было бы отправиться в Индию» (*В. В. Берви-Флеровский*. Три политические системы: Николай I, Александр II, Александр III [1891]. Саратов, 2015. С. 181).

<sup>119</sup> *Т. Г. Масарик*. Философские и социологические основания марксизма. Этюды по социальному вопросу [1899] / Пер. с немецкого П. Николаева. М., 2014. С. 524.

в СССР. С высоты опыта первой четверти XX века Зомбарт очертил судьбу фритредерства уже вне его идеологических применений:

«Англия переходит в 40-х годах XIX столетия к свободной торговле. За ней следуют другие страны; в течение первой половины 50-х годов большинство европейских страны пересмотрели свои тарифы в либеральном духе. Так поступили Пруссия, Швеция, Норвегия, Дания, Сардиния... В 1860 году заключается торговый договор между Англией и Францией. Он определил собой эпоху: за ним последовали подобные же договоры с Бельгией, Италией, Германским таможенным союзом, Австрией и Швейцарией... [Однако] глубоких корней фритредерское движение, пожалуй, никогда не пускало, жизненных интересов и инстинктов крупных государств оно никогда не затрагивало. Россия всегда шла своим путём. Англия, которая его породила, никогда не помышляла о том, чтобы пожертвовать идее фритредерства своими государственными интересами (...) Англия как нация была *заинтересована* во внешней торговле... Англия после наполеоновских войн стала, благодаря своему быстрому промышленному развитию, “мастерской всего мира”; она была переполнена промышленными продуктами, которых сама не в состоянии была потребить, и поэтому была живейшим образом заинтересована в том, чтобы иметь всюду открытые рынки. Ей самой не приходилось опасаться ввоза, так как никакая другая страна не могла вступить с ней в конкуренцию. В качестве колониальной страны Англия тоже занимала исключительное положение...»<sup>120</sup>

Надежды Маркса и Энгельса на особый путь России и на превращение монопольного промышленного лидерства Англии в её лидерство революционное и коммунистическое — не оправдались. Именно тогда родилась неутешительная даже для принципа «свободы торговли» формула национального и самодостаточного развития капитализма (то есть объективных предпосылок успешности протекционизма) и разоблачение подлинного смысла колониального британского фритредерства, хрестоматийной жертвой которого уже стала Ирландия:

---

<sup>120</sup> Вернер Зомбарт. Современный капитализм. Т. 3. Хозяйственная жизнь в эпоху развитого капитализма [1927]. Первый полутом. 2 изд. / Пер. Ст. Вольского и Б. Я. Жуховецкого. М.; Л., 1930. С. 64–65.

«Теория свободы торговли основывалась на одном предположении: Англия должна стать единственным крупным промышленным центром сельскохозяйственного мира. Факты показали, что это предположение является чистейшим заблуждением. Условия существования современной промышленности... могут быть созданы везде, где есть топливо, в особенности уголь, а уголь есть, кроме Англии, и в других странах: во Франции, Бельгии, Германии, Америке, даже в России. И жители этих стран не видели никакого интереса в том, чтобы превратиться в голодных ирландских арендаторов только ради вящей славы и обогащения английских капиталистов. Они сами стали производить, причем не только для себя, но и для остального мира; и в результате промышленная монополия, которой Англия обладала почти целое столетие, теперь безвозвратно утеряна»<sup>121</sup>.

Энгельс также писал из Лондона Н. Ф. Даниельсону 9 ноября 1886: «промышленная монополия Англии приходит к концу. С появлением Америки, Франции, Германии в качестве конкурентов на мировом рынке, с введением высоких таможенных пошлин, на допускающих таможенные товары на рынки других развивающихся промышленных стран, дело становится вопросом простого расчёта»<sup>122</sup>. Ему же 15 октября 1888 о том, что происходит уже «повсюду»: «даже самые вульгарные приверженцы и глашатаи свободной торговли встречают теперь высокомерное презрение...»<sup>123</sup> Именно в контексте победившего протекционизма в конце жизни Энгельс внятно, трезво и практично резюмировал опыт России после Крымской войны и отмены крепостного права:

«Поражения во время Крымской войны ясно показали необходимость для России быстрого промышленного развития. Прежде всего нужны были железные дороги, а их широкое распространение невозможно без отечественной крупной промышленности»<sup>124</sup>. Предварительным условием для возник-

---

<sup>121</sup> Ф. Энгельс. Англия в 1845 и 1885 годах [1885] // К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения. Т. 21. М., 1961. С. 203. Ср. с описанием Энгельса в «Предисловии ко второму немецкому изданию «Положения рабочего класса в Англии» 1892 года»: прим. 1 настоящего очерка.

<sup>122</sup> Переписка К. Маркса и Ф. Энгельса с русскими политическими деятелями. С. 128.

<sup>123</sup> Там же. С. 136.

<sup>124</sup> Об «увенчании здания» (Маркс также использует это понятие, принятое в тог-  
дашней России для иносказания о необходимости введения конституции над

новения последней было так называемое освобождение крестьян; вместе с ним наступила для России капиталистическая эра, но тем самым и эра быстрого разрушения общинной собственности на землю. (...) В короткое время в России были заложены все основы капиталистического способа производства. (...) если правительство не желает для уплаты процентов по заграничным долгам прибегать к новым иностранным займам, ему надо позаботиться о том, чтобы русская промышленность быстро окрепла настолько, чтобы удовлетворять весь внутренний спрос. Отсюда — требование, чтобы Россия стала независимой от заграницы, самоснабжающейся промышленной страной; отсюда — судорожные усилия правительства в несколько лет довести капиталистическое развитие России до высшей точки»<sup>125</sup>.

И ещё более определённо — именно Н. Ф. Даниельсону, чьи экстремальные надежды на превращение русской сельской общины в основу для коммунизма в индустриальном мире столь долго, как минимум, не опровергали однозначно его идейно-политические конфиденцы Маркс и Энгельс, Энгельс писал с нехарактерным для него оптимизмом в отношении России 15 марта 1892 — точно против возведения всех экономических проблем России к действию политики протекционизма, с которым выступал его адресат:

«С 1861 г. в России начинается развитие современной промышленности в масштабе, достойном великого народа. Давно уже созрело убеждение, что ни одна страна в настоящее время не может занимать подобающего ей места среди цивилизованных наций, если она не обладает машинной промышленностью, использующей паровые двигатели, и сама не удовлетворяет — хотя бы в незначительной части — собственную потребность в фабричных изделиях. Исходя из этого убеждения, Россия и начала действовать, причём действовала с большой энергией. Если она оградила себя стеной покровительственных пошлин, то это вполне естественно, ибо конкуренция Англии принудила к такой политике почти все боль-

---

фундаментом и «стенами» реформ 1860–1870-х гг.) промышленности железными дорогами и одновременной их инициативной роли Маркс подробно писал Даниельсону 10 апреля 1879: Переписка К. Маркса и Ф. Энгельса с русскими политическими деятелями. С. 103.

<sup>125</sup> *Ф. Энгельс. Послесловие к работе «О социальном вопросе в России» [1894] // К. Маркс, Ф. Энгельс. Сочинения. Т. 22. М., 1962. С. 450–453.*

шие страны; даже Германия, где *крупная промышленность* развивалась *при почти полной свободе торговли*, присоединилась к общему хору и перешла в лагерь протекционистов только для того, чтобы ускорить тот процесс, который Бисмарк назвал “выращиванием миллионеров”. А если Германия вступила на этот путь без всякой необходимости<sup>126</sup>, можно ли порицать Россию за то, что для неё *было* необходимостью, раз уж определилось новое направление промышленного развития?»<sup>127</sup>.

И вновь Энгельс терпеливо, настойчиво и подробно выступал с апологией протекционизма и великого потенциала России против антипротекционистской апокалиптики Даниельсона в письме к нему от 18 июня 1892:

«Не подлежит сомнению, что нынешний внезапный рост современной “крупной промышленности” в России был вызван искусственными средствами — запретительными пошлинами, государственными субсидиями и т.п. То же самое имело место во Франции, где запретительная система существовала уже со времён Кольбера, в Испании, в Италии, а с 1878 г. даже в Германии, хотя эта страна почти уже завершила свой промышленный переворот, когда в 1878 г. были введены покровительственные пошлины, чтобы дать возможность капиталистам принудить своих отечественных потребителей платить им такие высокие цены, которые позволили бы им продавать эти же товары за границей ниже издержек производства. И Америка поступила точно так же, чтобы сократить тот период, в течение которого американские промышленники не будут ещё в состоянии на равных условиях конкурировать с Англией. Что Америка, Франция, Германия и даже Австрия смогут достичь

<sup>126</sup> Посреди событий Энгельс квалифицировал протекционизм Бисмарка менее радикально, говоря, что тот «одарил Германию двумя крупными “социальными мероприятиями”... Первым из них был таможенный тариф, который должен был обеспечить германской промышленности монопольную эксплуатацию внутреннего рынка». Вторым подарком было признано железнодорожное строительство: *Ф. Энгельс. Социализм г-на Бисмарка [1880] // К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения. Т. 19. М., 1961. С. 176.*

<sup>127</sup> Переписка К. Маркса и Ф. Энгельса с русскими политическими деятелями. С. 153. Примечательно, что в том же письме от 15 марта 1892 года Энгельс благодарил Даниельсона за присланный им трактат одного из главных тогда идеологов русского протекционизма Д. И. Менделеева «Толковый тариф или исследование о развитии промышленности России в связи с её общим таможенным тарифом 1891 г.» (СПб., 1891–1892) (С. 155).

такого положения, при котором они будут способны успешно бороться с конкуренцией Англии на открытом мировом рынке — по крайней мере в отношении некоторых важных товаров, — в этом я не сомневаюсь. И теперь уже Франция, Америка и Германия сломили в известной степени промышленную монополию Англии, и здесь (*в Лондоне. — М. К.*) это ощущается очень сильно. Сможет ли Россия достигнуть такого же положения? В этом я сомневаюсь, так как Россия, подобно Италии, страдает от отсутствия каменного угля в наиболее благоприятных для промышленности местностях (...) Но тут перед нами возникает другой вопрос: могла бы Россия в 1890 г. существовать и удерживать независимое положение в мире как чисто сельскохозяйственная страна, живущая за счёт экспорта своего зерна и покупающая за него заграничные промышленные изделия? Я думаю, что мы с уверенностью можем ответить — нет. Стомиллионный народ, играющий важную роль в мировой истории, не мог бы при современном состоянии экономики и промышленности продолжать оставаться в том состоянии, в каком Россия находилась вплоть до Крымской войны. Введение паровых двигателей и машинного оборудования, попытки изготовлять текстильные и металлические изделия, хотя бы только для отечественного потребления, при помощи современных средств производства, должны были иметь место раньше или позже, но во всяком случае в какой-то момент между 1856 и 1880 годами. Если бы этого не произошло, ваша домашняя патриархальная промышленность всё равно была бы разрушена конкуренцией английского машинного производства, и в результате получилась бы Индия — страна, экономически подчинённая великой центральной мастерской — Англии. (...) Английские писатели, находящиеся на предвзятой позиции, никак не возьмут в толк, почему подаваемый Англией пример свободы торговли повсюду отвергается и вызывает в ответ установление покровительственных пошлин. Конечно, они просто не осмеливаются понять, что эта, ныне почти всеобщая, протекционистская система является более или менее разумным, хотя в некоторых случаях и совершенно нелепым средством самозащиты против той самой английской свободы торговли, которая подняла английскую промышленную монополию до её апогея. (...) Я рассматриваю всеобщее возвращение к протекционизму не как простую случайность, а как реакцию против невыносимой промышленной монополии Англии»<sup>128</sup>.

---

<sup>128</sup> Переписка К. Маркса и Ф. Энгельса с русскими политическими деятелями. С. 160–162.

Надо отдельно подчеркнуть это положение Энгельса о (подразумевается: законной) реакции против индустриальной монополии Англии, которую так долго обслуживали формально всеобщий, универсальный, прогрессивный лозунг и политика «свободы торговли». В тех конкретно-исторических условиях, когда Энгельс, наконец, почти признал законность этой реакции, главными реальными противниками «невыносимой монополии» Англии были именно быстро восходящие экономики Германии и США. Даже русский консервативный критик государственного протекционизма и валютной политики министра финансов России Витте С. Ф. Шарапов (1855–1911) оптимистично изображал победу антибританского промышленного протекционизма как событие якобы самоочевидное и нетрудное, верно находя новую угрозу для стран победившего — по доктрине Ф. Листа — протекционизма в новом глобальном проекте империи, а именно — в монополизированном Лондоном рынке всемирного финансового капитала, что было немым признанием того, что протекционизм успешно справился с задачей накопления капитала:

«Если европейское человечество без особого труда справилось с промышленной гегемонией Англии, если Германия, Австрия, Италия и даже Россия (про Францию и Соединённые Штаты нечего и говорить) освободились от мануфактурного и денежного верховенства Англии, создали свою промышленность и завоевали самостоятельные внешние рынки, то та же Европа попала в полном составе в кабалу ещё горшую, допустив развиться международной биржевой спекуляции...»<sup>129</sup>

Позитивный географический образ собственного индустриального развития России революционеры и контрреволюционеры равно видели в Америке (столь же обширной, населённой и полной ресурсами, как Россия). Следуя за русскими последователями Маркса (по крайней мере, в области его экономической теории) Струве и В. П. Воронцовым (В. В., 1847–1918), другой русский марксист 1890-х С. Н. Булгаков (1871–1944) прямо применял образ Америки к «обширному и блестящему будущему» русского капитализма:

---

<sup>129</sup> С. Ф. Шарапов. Бумажный рубль (Его теория и практика) [1895] // С. Ф. Шарапов. Избранное / Сост. А. В. Репников. М., 2010. С. 169.

«производство может здесь безгранично расширяться на основе внутреннего рынка» и потому перспективой России для него была «самодовлеющая капиталистическая страна типа Соединённых Штатов»<sup>130</sup>.

В унисон с марксистской доктриной достаточного внутреннего рынка проводя протекционистскую политику обеспечения индустриализации, развивал аналогии между континентальными масштабами России и Северной Америки и Витте<sup>131</sup>: «Раскинутая на обширном пространстве, на сплошной территории, обеспеченная всем необходимым для достижения высшей степени экономического развития, Россия сама представляет единственный по величине рынок сбыта и её международные торговые сношения являются для неё не вопросом существования, а лишь способом естественного и потому мирного обмена излишков. В колониальной политике Россия не нуждается»<sup>132</sup>. Поклонник Менделеева, консервативный публицист М. О. Меньшиков (1859–1918) писал: «Будущая Россия — Сибирь, которую недаром все ставят в па-

<sup>130</sup> С. Булгаков. О рынках при капиталистическом производстве. Теоретический этюд. М., 1897. С. 199, 203, прим., 182, прим.

<sup>131</sup> Я не останавливаюсь здесь специально на тесной идейной связи русского протекционизма, доктрин России как отдельной цивилизации, русского марксизма с его доктриной достаточности внутреннего рынка России для собственного развития капитализма, традиционных русских аналогий между Россией и Америкой, формул страны-континента, народного хозяйства-континента, изолированного государства-острова, «социализма в одной стране» с доктриной евразийцев, в этой части более всего развитой учеником Струве П. Н. Савицким (важно, что он именно в 1921 году опубликовал в Софии свой концептуальный манифест о положении и предначертании России с красноречивым названием «Континент — Океан (Россия и мировой рынок)». Но тот факт, что советские спецслужбы верно оценили родство евразийства идеологии «социализма в одной стране» и оказали ему решительную поддержку, с несомненностью доказывает, что принадлежность евразийства к описанному интеллектуальному ландшафту и консенсусу была очевидна даже большевикам — вне научной и исторической дистанции от этого движения. См., кстати, переход между аналогиями Америки и континента: «Мы недостаточно оцениваем значение огромной непрерывности нашей территории. Подобно Северо-Американским Соединённым Штатам, мы являемся государством-континентом» (В. И. Вернадский. Задачи науки в связи с государственной политикой России [1917] // В. И. Вернадский. Избранные труды / Сост. Г. П. Аксёнов. М., 2010. С. 394–395).

<sup>132</sup> С. Ю. Витте. Конспект лекций о народном и государственном хозяйстве [1902, 1911]. М., 2011. С. 237.

раллель с Америкой»<sup>133</sup>. Другой консервативный идеолог С. Н. Сыромятников (Сигма, 1864–1933) писал в 1903 году: «Восток не только наша колония, он зародыш новой России, по типу более близкий к Америке, чем к Европе и Азии»<sup>134</sup>. Исследователь свидетельствует, что «к 1890-м гг. в народнической прессе аналогии Сибири и Америки стали достаточно расхожим явлением, публицистическим штампом»<sup>135</sup>.

Альтернативой такому мифу процветающей *России как Америки* и была угроза превращения отсталой и зависимой России в аналог британских Ирландии и Индии — и её де-факто колониальная эксплуатация. Маркс и Энгельс уделили значительное внимание тому, что из себя представляет этот последний сценарий, который, несмотря на сохранённый Россией статус великой державы, делал его экономически наиболее обоснованным. Можно с достаточной уверенностью полагать, что присоединение Российской империи к пространству «свободной торговли» во главе с Британией лишь укрепляло эту перспективу, превращая Россию более всего в рынок сбыта для иностранной промышленности и встречного поставщика первичных ресурсов. Такая перспектива была описана Марксом более на примере британской Индии, чем даже на примере Ирландии (он всё же риторически более отводился Польше — как анти-России<sup>136</sup>). Причём из описания ясно вырисовывалась *ресурсная неизбежность* протекционистской борьбы России против превращения её в колонию, строительства в ней *капитализма сверху* или, наоборот, опустошающее превраще-

<sup>133</sup> М. О. Меньшиков. Памяти Д. И. Менделеева [1907] // М. Меньшиков. Национальная империя / Сост. М. Б. Смолин. М., 2004. С. 110.

<sup>134</sup> А. В. Ремнев. Россия Дальнего Востока: имперская география власти XIX — начала XX в. Омск, 2004. С. 344.

<sup>135</sup> Н. Н. Родигина. Образ Сибири как интеллектуальный конструкт и феномен общественного мнения России второй половины XIX в. // История и культура Сибири в исследовательском и образовательном пространстве. Новосибирск, 2004. С. 137.

<sup>136</sup> «Налицо факт английского завоевания и 700-летнего угнетения Ирландии, и пока это угнетение существует, было бы оскорблением для ирландских рабочих требовать от них подчинения Британскому федеральному совету. Положение Ирландии в отношении Англии не является равноправным: оно аналогично положению Польши по отношению к России» (Ф. Энгельс. О взаимоотношениях между ирландскими секциями и Британским федеральным советом [1872] // К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения. Т. 18. М., 1961. С. 75). См. также сквозной ряд аналогий с Польшей: «Ирландия, Россия под монгольским игом» (Ф. Энгельс. За Польшу [1875] // Там же. С. 555).

ние России в *континентальную колонию* при следовании её в фарватере британской «свободы торговли»:

«раз вы ввели машину в качестве средства передвижения в страну, обладающую железом и углем, вы не сможете помешать этой стране самой производить такие машины. Вы не можете сохранять сеть железных дорог в огромной стране, не организовав в ней тех производственных процессов, которые необходимы для удовлетворения непосредственных и текущих потребностей железнодорожного транспорта, а это повлечёт за собой применение машин и в тех отраслях промышленности, которые непосредственно не связаны с железными дорогами. Железные дороги станут поэтому в Индии действительным предвестником современной промышленности. (...) Опустошительное действие английской промышленности на Индию — страну, которая по своим размерам не меньше Европы и имеет территорию в 150 миллионов акров, — совершенно очевидно, и оно ужасно»<sup>137</sup>.

Аналогия с Америкой была важна марксистам для утверждения достаточной ёмкости внутреннего рынка России для развития в ней капитализма, спор о котором в 1890-е гг. породил главные русские марксистские экономические труды того времени, посвящённые развитию капитализма как индустрии: «О рынках при капиталистическом производстве» (1897) и «Капитализм и земледелие» (1900) С. Н. Булгакова, «Русская фабрика в прошлом и настоящем» (1898) М. И. Туган-Барановского, «Развитие капитализма в России. Процесс образования внутреннего рынка для крупной промышленности» (1899) В. Ильина (В. И. Ульянова-Ленина) (в журнальной полемике к ним присоединился и П. Струве<sup>138</sup>). В той полемике народники, опираясь на Маркса,

<sup>137</sup> К. Маркс. Будущие результаты британского владычества в Индии [1853] // К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения. Т. 9. М., 1957. С. 227–230. О строительстве железных дорог, самом по себе создающем внутренний рынок для промышленности, прямо говорил и русский народник В. В., поклонник экономической доктрины Маркса: «правительство, в управление финансами Вышнеградским и Витте, задалось целью вызвать, во что бы то ни стало, быстрое развитие русской промышленности и приступило к форсированному сооружению железных дорог не с целью только оборудования страны хорошими путями сообщений, но и для того, чтобы открыть рынок для русских фабрик и заводов и вызвать умножение этих последних» (В. П. Воронцов. Очерки экономического строя России [1906]. С. 90).

<sup>138</sup> Его марксистские статьи на эту тему выросли в книгу: П. Б. Струве. Крепостное хозяйство: Исследование по экономической истории России в XVIII и XIX в. [СПб.] 1913.

указывали на бедность крестьянского большинства в населении России и, следовательно, абсолютное сокращение ёмкости внутреннего рынка при индустриализации и сокращение перспектив капитализма. В условиях невозможности для России самой приобрести себе колонии, подобные британским, под вопросом оказывалось само развитие капиталистической промышленности в России. Как мы увидим далее, в полемике о «социалистическом первоначальном накоплении» в СССР, которая отлилась в формулировки «Краткого курса истории ВКП(б)», ясно продолжилась эта полемика о внутреннем рынке и её положения об отсутствии у России колоний (британского образца).

В главном же — именно русский марксизм 1890-х соединил исследование экономической реальности России с доктриной марксизма и поставил перед будущими правящими в ней социалистами почти все главные задачи её экономического и технологического развития, дал язык их описания и вооружил идейными знаками, задал систему координат государственного управления, внутри которой могли свободно развиваться любые политические лозунги.

В 1894 году в своей первой книге, ставшей первым легальным манифестом политического марксизма в России, Струве, опираясь на доктрину Листа, фактически связал идею «изолированного государства» с проблемой *максимального, то есть суверенного* использования внутренних ресурсов и народного (национального) хозяйства страны. При этом важно, что такую рационализацию он видел именно в категориях товарного обмена (и разделения труда, отделения промышленности от земледелия) и прямо противопоставил её именно натуральному, архаическому, интегральному (то есть общинному) хозяйству. Он писал:

«...“историческая роль” обмена и товарного производства (капитализма) в рамках народного хозяйства — в преодолении ограничений и зависимости народонаселения и внутреннего рынка от естественных, натуральных средств (при натуральном хозяйстве. — М. К.) к существованию за счёт повышения производительности труда — и, далее, увеличения ёмкости внутреннего рынка... Роль эта обуславливается тем, что ёмкость страны по отношению к населению зависит от уровня его её производительных сил, которые по историческим условиям могут развиваться только при стимулах, представляемых обменом. Эта зависимость с полной ясностью, насколько нам известно, была впервые указана Фридрихом Листом в его “Националь-

ной системе политической экономии” (...) Самое это “отделение” создаёт ту “конфедерацию национальных производительных сил”, о которой говорил Лист и которая есть основа дальнейшего экономического и социального прогресса (...) гармонического развития сельского хозяйства и обрабатывающей промышленности (...) где оно всего теснее связано со всесторонней фабричной промышленностью... могущей опираться на внутреннее сельскохозяйственное производство. (...) Не надо забывать, что взгляды Листа сложились в целую систему под влиянием факторов американской жизни, где расцветающее капиталистическое производство было, в особенности в ту пору, свободно от многих печальных сторон, столь характерных для капитализма в Англии и на континенте Европы. Не случайна, конечно, и та роль пропагандиста железных дорог, которую играл Лист в своём отечестве... Я не знаю книги, которая бы более убедительно, чем “Национальная система”, говорила об исторической неизбежности и законности капитализма в широком смысле слова (как товарного производства. — М. К.)... Не надо забывать также, что Лист всюду в своих рассуждениях исходил из понятия о нации и национальном хозяйстве; в основе всех его построений лежит тот исторический факт, что население земного шара не представляет в политическом отношении целого, а распадается на ряд государств. Вся новая и новейшая экономическая история красноречиво говорит о связи современного хозяйственного строя с *современным государством*»<sup>139</sup>.

<sup>139</sup> П. Б. Струве. Критические заметки к вопросу об экономическом развитии России. Вып. I. СПб., 1894. С. 115–116, 121–123, 284. Благодаря своей службе в министерстве финансов при С. Ю. Витте в 1892–1894 гг. и личным связям с теми, кто участвовал в подготовке протекционистского тарифа 1891 г. (в комиссии по его подготовке заседали, в частности, Менделеев, Витте и (от Петербургского биржевого комитета) его глава в 1881–1893 гг. К. Ф. Винберг (1817–1897), его сын либеральный деятель В. К. Винберг (1836–1922), зять В. К. Винберга — экономист А. И. Яроцкий (1866–1944): М. Н. Соболев. Таможенная политика России во второй половине XIX века. Томск, 1911. С. 699), Струве с предсказуемым вниманием относился к опыту Ф. Листа. Обычная же социал-демократическая критика в этом отношении следовала за германскими коллегами, противостоявшими протекционизму Листа–Бисмарка как реакции против прогрессивной британской «свободы торговли». Например, в отклике на процитированную книгу Струве В. И. Ленин не сказал ничего более (народнического по сути) осуждения национальной капиталистической промышленности как таковой и более утверждения того, что обрекало Россию на колониальный «индийский» сценарий в поле влияния Англии: «Русские марксисты... должны стоять за свободу торговли, так как в России с особенной силой сказывается реакционность протекционизма, задерживающего экономическое развитие страны,... так как свобода торговли означает ускорение того процесса, который несёт

Важно, что целостное народное хозяйство и суверенный капитализм тогдашний социалист Струве внятно противопоставил либеральной доктрине XIX века, следовавшей риторике «свободы торговли» и риторике невмешательства в хозяйственную жизнь, образно изображаемого фигурой «ночного сторожа» (*Nachtwächter*, охраняющего самозаконный бизнес от ночных хулиганов, по словам Струве, — «будочника»). И просто отверг эту доктрину с высоты новых знаний и практики. Струве подчёркивал: «Эта ***Nachtwächteridee* — оказалась несостоятельной и в теоретическом, и в практическом отношении**»<sup>140</sup>. Позже он ещё внятней определил этот воспринятый на Западе и реализованный в России экономический либерализм, противостоявший протекционизму: «господство либерально-фритредерских фраз и народнических широковещаний»<sup>141</sup>.

Социалистический взгляд на историю диктовал Струве необходимость соединить доктрину Листа о (формально противостоящем либеральному, если считать его исключительно фритредерским и глобальным) протекционистском пути развития национального капитализма — коммунистической перспективой Маркса (которая так же формально противостояла протекционизму, будучи столь же глобальной, наследующей капиталистическому интернационализму Британской империи). Точкой соединения Листа и Маркса Струве видит социализм и его революционную перспективу, в уважение цензурных условий называемый автором «социальной эволюцией» того капитализма, успешное развитие которого обеспечивалось следованием России заветам Листа для Германии:

«Тот же самый процесс, который интересовал Листа с точки зрения развития “национальной промышленности”, перед Марксом являлся как

---

средства избавления от капитализма» (*В. И. Ленин*. Экономическое содержание народничества и его критика в книге г. Струве (Отражение марксизма в буржуазной литературе). По поводу книги П. Струве: «Критические заметки к вопросу об экономическом развитии России». СПб., 1894 г. [1895] // *В. И. Ленин*. Полное собрание сочинений. Т. I. М., 1960. С. 457–458).

<sup>140</sup> *П. Б. Струве*. Критические заметки к вопросу об экономическом развитии России. С. 71. Здесь же Струве касается политики Витте (с. 69) в едином контексте с анализом отношения Маркса 1840-х к протекционизму (с. 70) и неверия молодого Энгельса в протекционизм Листа, ограничивавший рост промышленности объемом внутреннего рынка (с. 81).

<sup>141</sup> *Пётр Струве*. Научная история русской крупной промышленности [1898] // *Пётр Струве*. На разные темы (1893–1901). С. 448.

процесс социальной эволюции, как развитие капитализма. Оба автора, именно благодаря различию их точек зрения, прекрасно дополняют друг друга. (...) [Капиталистическая] формула экономической эволюции, данная Листом, есть формула экономического развития России. (...) Культурный прогресс России тесно связан с развитием... капитализма. (...) Капитализм... как эксплуатация человека человеком... не только зло, но и могущественный фактор культурного прогресса... коллективного действия трудящихся масс [по] эволюции капиталистического строя»<sup>142</sup>.

Струве удачно выявил идейный и административный стержень практического применения доктрины Листа в России. Цитируя упомянутый труд Менделеева «Толковый тариф» и воодушевлённо говоря о виттевском проекте строительства Транссибирской железной дороги, Струве уверенно описывал и, учитывая особую популярность его книги не только в марксистской, но и в русской революционной в целом, властной и университетской среде 1890-х гг., *марксистски* дополнительно легитимировал **протекционистски обоснованные (в целях опоры на собственные ресурсы) перспективы пространственно-экономической стратегии развития России**, которые в первой трети XX века стали предметом политического консенсуса, и даже предвосхищал свои собственные империалистические проекты<sup>143</sup>:

«Менделеев предсказывает Донецкому краю блестящую будущность, и нам это предсказание представляется верным. А будущая Донецкая промышленность может явиться, благодаря своим необыкновенным выгодным географическим условиям, — сильным конкурентом западно-европейской индустрии на рынках Балканского полуострова и Передней Азии. (...) Не надо забывать, что с постройкой Сибирской или — надо надеяться — сети сибирских железных дорог значение Азиатской России, как рынка для произведений нашей обрабатывающей промышленности, возрастет

<sup>142</sup> П. Б. Струве. Критические заметки к вопросу об экономическом развитии России. С. 182, 283, 284, 287.

<sup>143</sup> О необходимости приоритетной экономической экспансии Российской империи на Ближний Восток и вообще в направлении Османской империи Струве подробно писал в своём национал-либеральном проекте — в статье «Великая Россия: Из размышлений о проблеме русского могущества» (1908).

во много раз. (...) Если пример Северной Америки что-нибудь доказывает, то только одно, а именно, что, при известных условиях, капиталистическая промышленность может получить очень широкое развитие, опираясь почти исключительно на внутренний рынок. Эти предпосылки в России налицо... Сравнение Северной Америки и России прекрасно иллюстрирует мысль Листа об экономическом превосходстве *Agriculturmanufacturstand'a* над *Agriculturstand'ом*. (...) Чем обширнее территория и многочисленнее население данной страны, тем менее нуждается последняя для своего капиталистического развития во внешних рынках»<sup>144</sup>.

Здесь следует сделать уточнение и провести ограничение. Практическая близость немецкого протекционизма и марксизма была близостью не столько Листа, Маркса и Энгельса как искренних немецких патриотов, сколько близостью именно русского марксизма 1890-х гг. как доктрины капиталистической модернизации России ради её социалистического преобразования и, несомненно, была продиктована самой проблемой *осознанной отсталости России от Запада* и философией её преодоления **до и независимо от мировой революции**<sup>145</sup>.

Это зримо следует из богатого коннотациями важного разъяснения лидера германской социал-демократии Августа Бебеля (1840–1913). Аргументируя общемировое измерение социально-экономи-

<sup>144</sup> П. Б. Струве. Критические заметки к вопросу об экономическом развитии России. С. 256–257, 260, 261, 284.

<sup>145</sup> В русской мысли была произнесена и иная перспектива, иная задача преодоления отсталости России на пути индустриализации. Бывший революционер-народник, в 1880-е — главный оппонент другого бывшего революционера-народника, марксиста Г. В. Плеханова, уже в 1890-е — зрелый консерватор и антиреволюционер Л. А. Тихомиров (1852–1923) писал: «Крупное производство в единственно испробованной капиталистической своей форме есть явление *само по себе* только благотворное», ибо «это может дать нам средства культурное сравняться с Европой» — и таким образом вырваться из-под влияния социализма (Л. Тихомиров. Нужна ли нам фабрика? // Русское Обозрение. Т. I. Январь. М., 1891. По. С. 308–309). То есть в то время, когда русские марксисты ещё только надеялись убедить народников в полезности промышленного капитализма вообще и возможности для России формы его концентрации до европейского образца, из правого и монархического лагеря такое признание уже прозвучало, но для истории русской мысли и для абсолютного большинства тех, кто участвовал в дискуссии о судьбе капитализма в России, такого признания словно не существовало: оппозиционный консенсус игнорировал Тихомирова.

ческого и политического прогресса *против политики преодоления отсталости с помощью протекционизма* в своей книге «Женщина и социализм», давшей, по общему признанию, наиболее детализированное изображение коммунистического будущего, Бебель писал:

«Достойное человека существование для всех не может быть уделом какого-нибудь одного привилегированного народа, так как, будучи изолирован от всех других народов, он не мог бы ни основать, ни удержать этого состояния».

И далее — прямо актуализировал давнюю традицию экономической мысли, обнаруживая *стадии* мирового прогресса: «Новое общество будет воздвигнуто... на международной основе. Народы заключают между собою братский союз: они протянут друг к другу руки и будут стремиться к тому, чтобы новое состояние постепенно распространилось на все народы мира». И добавил к этому «прогнозу» примечание: «Национальный интерес и интерес человечества в настоящее время враждебны друг другу. На высшей ступени цивилизации оба интереса когда-нибудь совпадут и составят единое целое» — фон Тюнен «Изолированное государство»...<sup>146</sup>, то есть избрав таким образом в апологеты национально-государственных интересов теоретика предельного протекционизма, который, видимо, заслуживал такого же признания, как и Ф. Лист, но публично был едва замечен Марксом.

Русский либеральный критик Маркса нашёл объяснение этому умолчанию, в том числе, в том, что Тюнен наибольшее внимание уделил сельскому хозяйству, которое занимало Маркса заметно меньше<sup>147</sup>.

<sup>146</sup> А. Бебель. Женщина и социализм [1878] / Пер. под ред. В. А. Поссе. М., 2011. С. 455. Видимо, главным адресатом этого критического пассажа Бебеля был известный деятель германской социал-демократии, государственный и патриот Г. Фольмар, автор книги «Изолированное социалистическое государство» (1879). Именно пример Фольмара как негативный (но не объяснив, чем он действительно плох) вспомнил позже Л. Д. Троцкий в своей полемике против сталинской доктрины «социализма в одной стране»: Л. Д. Троцкий. Две речи на заседании Центральной контрольной комиссии [1927] // Л. Троцкий. Сталинская школа фальсификаций: Поправки и дополнения к литературе эпигонов. М., 1990. С. 141–142.

<sup>147</sup> Обнаруживая предвосхищение учения Маркса о капитале и труде в наследии политэконома Г. фон Тюнена, критик был склонен объяснить пренебрежение

Но более оправданным оказалось внимание к продолжателю Фихте — И. Г. фон Тюнену (1783–1850) у русских неонародников и большевиков в 1920-е гг., когда на примере Советской России и решалась судьба изолированного земледельческого государства перед лицом индустриализации (об этом подробно ниже).

В ранней истории Советской России, когда основой её идеологического самоопределения ещё оставалась радикальная марксистская доктрина мировой революции, названный труд А. Бебеля (с его отсылками) был широко переиздан. Однако в официальную пропаганду Советской России вошли и иные образы будущего — они в некотором условном *идейном балансе* уравнивали (должны были уравновесить) позицию Бебеля. И нет сомнений, что этот баланс был результатом сознательных идеологических усилий большевистской власти. Историк мировой социалистической традиции отмечает влияние в СССР идей немецкого автора Атлантикуса (Карла Баллода), который в своей книге 1898 года «Государство будущего» (переиздана в Советской России в 1921 г.) исследовал потенциал «социализма в одной стране» и был фактически одобрен — уже не политическим, как А. Бебель, — а теоретическим вождём германской социал-демократии конца 1890–1900-х гг. Карлом Каутским (1854–1938). «Совершенно нет необходимости, чтобы весь земной шар одновременно перешёл к социализму», — писал он. «Баллод пытался выяснить, каково максимально рациональное использование имеющихся производительных сил и ресурсов», и видел его в централизованном «крупном производстве, организованном как единый организм народного хозяйства», электрификации, территориальных производственных комплексах — и поэтому влияние этой книги «заметно в советском планировании» 1920–1930-х гг.<sup>148</sup>

С другой стороны, социалистический проект «изолированного государства» как *социальной утопии* подвергал критике такой русский

---

к нему Маркса не только марксовым нарциссизмом, но и тем, что достигнутые Тюненом «научные результаты [прежде]... не вошли в общий оборот экономической литературы, и что главные отделы его трактата об “изолированном государстве”, касаются специально сельского хозяйства, мало интересующего большинство экономистов» (Л. З. Слонимский. Экономическое учение Карла Маркса. СПб., 1898. С. 158).

<sup>148</sup> Александр Шубин. Социализм. «Золотой век» теории. М., 2007. С. 444–446, 450, 458.

либеральный мыслитель, как П. И. Новгородцев (1866–1924), дидактически упрощая этот интернациональный проект до образа предельной самозамкнутости и, значит, игнорируя глобальные претензии Маркса и предчувствуя тот русский социализм, что вырастал из предпосылок протекционистской индустриализации и мобилизации России. «Роковой недостаток» социальных утопий Новгородцев находил в их «замкнутости, исключительности жизни»:

«чтобы устроиться хорошо и счастливо, надо отделиться от этих других и замкнуться в себе, надо создавать свою особую и самобытную жизнь (...) совершенно последовательно авторы подобных проектов проповедуют полное обособление от прочего мира... Подобно Платону и Фихте, они создают проекты уединённых колоний и замкнутых государств, разобщённых с прочим миром и пытающихся именно на почве этой замкнутости и разобщённости создать свой счастливый быт. (...) В каких бы ярких красках ни рисовали нам прекрасную гармонию идеального общества, мы твёрдо знаем одно: в своём осуществлении гармония эта неизбежно превратится в принудительную задержку личного развития, в вынужденный режим внешнего согласия»<sup>149</sup>.

Публицистика, легко проводящая словесную связь между православной доктриной самодержавного «Третьего Рима» и практикой большевистского «Третьего Интернационала» (иногда даже с «Третьим Заветом» и странно, что не с германским «Третьим Рейхом» или французской «Третьей республикой»), иной раз прямо связывает и немецкую идеологию протекционизма (в современном английском лексиконе часто называемом *экономическим национализмом*) Листа и интернационалистским ленинизмом<sup>150</sup>, отвоdivшим России роль

<sup>149</sup> П. И. Новгородцев. Об общественном идеале [1910–1922]. М., 1991. С. 124, 126.

<sup>150</sup> Один из недавних и возмутительных примеров — книга, русскими издателями названная «одной из самых цитируемых работ по предреволюционной эпохе»: *Эрик Лор. Русский национализм и Российская империя: кампания против «вражеских подданных» в годы Первой мировой войны* [2003] / Пер. В. Макарова. М., 2012. Издатели перевода пропагандистски и недобросовестно придали нейтральному *гражданскому* английскому оригиналу названия (*Nationalizing the Russian Empire*) ничем не обоснованный смысл *этнического* национализма как стержня политики России. Но, говоря о борьбе против засилия немцев и евреев в экономике, и сам Э. Лор придумывает нечто совершенно фантастическое: что для этого «была взята на вооружение одна из идей классового национализма —

не столько звена в цепи, сколько фрагмента (запала, интерлюдии) мировой революции. Благодаря этому терминологическому фокусу<sup>151</sup>, недобросовестно подменяя западную *гражданскую* «национализацию» — русским *этническим* национализмом, в западной пропаганде риторически соединяется самодержавие и коммунизм как две стороны единого вечного врага либерального Запада — антизападной России. Поэтому и игнорируется настоящий немецкий семантический ландшафт, на котором развивалась идеология индустриализации России, и, несмотря на прямые сближения, остаётся недооценённым.

Можно сказать, что сама проблема достаточности национального рынка (масштаба национальной экономики) для развития суверенной промышленности (капитализма) генетически восходила к доктрине

освобождение «коренной» нации от якобы зависимых отношений с мировой экономической системой (...) марксизм-ленинизм завершил диалектическую трансформацию марксизма от идеологии, провозгласившей международный пролетариат основной движущей силой исторического процесса, к новой идеологии, прежде всего стремящейся к освобождению и развитию сравнительно отсталых наций, то есть фактически «марксизм-ленинизм стал одним из вариантов национализма»... Если советская система гораздо в большей степени, чем принято считать в историографии, обязана экономическому национализму, то появление этого вида национализма во время Первой мировой войны становится важнейшим формообразующим эпизодом» (С. 16, 201–203; 206, прим. 18). Вместо того, чтобы на деле оценить нелинейные отношения Маркса и Энгельса к Листу, а также изучить реальное отношение к нему Ленина и реальную судьбу наследия Листа в советской доктрине, Э. Лор «аргументирует» выдуманную им связь между протекционизмом Ф. Листа и *ленинизмом* единственной ссылкой на единственную (и заведомо лживую) фразу своего учителя, профессора истории Украины Романа Шпорлюка о том, что «марксизм-ленинизм стал одним из вариантов национализма»: *R. Szporluk. Communism and Nationalism: Karl Marx versus Friedrich List. New York, 1988. P. 225* («The ideas of Marx and List remained powerful—indeed, they gained in influence after 1917. But their respective doctrines lost their former intellectual and political unity and coherence. Marxism, or to be more precise, Marxism-Leninism, became a variant of nationalism»). В поисках неблагоприятной связи Листа и коммунизма Э. Лор мог бы, конечно, сослаться на мнение западного классика советологии, но в нём, не менее радикальном, он не смог бы найти указаний на национализм: «Исторически Фридрих Лист предшествовал Марксу как отец теории планирования; Ратенау, организовавший первое современное плановое хозяйство в Германии времен Первой мировой войны, предшествовал Ленину, чей подход к проблеме планирования в Советской России сознательно основывался на немецких прецедентах» (*Эдвард Карп. История Советской России* [1978]. Кн. 1. Т. 2 / Пер. З. П. Вольской и др. М., 1990. С. 680).

<sup>151</sup> Точный анализ таких историографических фокусов см. специально здесь: *Отто Дани. Нации и национализм в Германии. 1770–1990* [1996] / Пер. И. П. Стребловой. СПб., 2003. С. 23, 25, 53–54.

протекционизма Ф. Листа. Именно поэтому обязательное знание наследия Ф. Листа, хотя бы опосредованного Марксом и Энгельсом, стало частью марксистской школы в России уже в 1890-е, когда русский марксизм ещё только завоёвывал себе место среди лидеров русской социальной науки. Яркий представитель младшего поколения русских марксистов и социал-демократов, петербургский ученик Туган-Барановского и киевский ученик Булгакова, а тогда — решительный поклонник радикального революционаризма В. И. Ленина — Н. Валентинов (Вольский, 1879–1964) вспоминал о беседе 1903 года, в которой были внятно произнесены актуальные требования к интеллектуальному багажу вообще и багажу марксиста особенно:

«Я не буду, — говорил Туган-Барановский, — касаться Ленина как политика и организатора партии. Возможно, что здесь он весьма на своём месте, но экономист, теоретик, исследователь — он ничтожный. Он вызубрил Маркса и хорошо знает только земские переписи. Больше ничего. Он прочитал Сисмонди и об этом писал, но, уверяю вас, он не читал как следует ни Прудона, ни Сен-Симона, ни Фурье, ни французских утопистов. История развития экономической науки ему почти неизвестна. Он не знает ни Кенэ, ни даже Листа»<sup>152</sup>.

Даже советская литература имела очерк истории русского идейного протекционизма, одновременного интуициям Фихте и Листа<sup>153</sup>. С ним выступил петербургский социал-демократ начала 1890-х, экономист В. В. Святловский (1869–1927), обнаружив, вслед за Туган-Барановским, что в России Листа на четверть века опередил Н. С. Мордвинов (1754–1845), многолетний президент Вольно-Экономического Общества:

«Он понимал, что Россия не в силах была идти по стопам Англии и, не будучи в состоянии бороться с её конкуренцией, должна была стать на противоположную точку зрения, как то сделали впоследствии и другие конти-

<sup>152</sup> Н. Валентинов. Встречи с Лениным [1953] // Н. Валентинов. Недорисованный портрет. [Сб.] / Под общ. ред. В. В. Шелохаева. М., 1993. С. 54.

<sup>153</sup> Бегло, буквально одним словом, связь Фихте и Листа в вопросе о суверенном развитии народного хозяйства, связь модернизации и национализма упомянул итальянский исследователь России А. Грациоци (*Андреа Грациоци*. Война и революция в Европе: 1905–1956 [2001] / Пер. с итал. Л. Ю. Пантиной. М., 2005. С. 91.

нентальные страны во главе с Германиею. Протекционистские воззрения должны были коренным образом расходиться с господствующими фритредерскими взглядами того времени. (...) В своей записке, поданной им в середине 1816 г. "Мнение о способах, коими России удобнее можно привязать к себе постоянство кавказских народов", Мордвинов развивает целый план создания для русской промышленности внешнего азиатского рынка..."<sup>154</sup>

Как удачно резюмирует взгляды идейного англомана Мордвинова современный исследователь, «именно пример Англии, которая сама на протяжении двухсот лет проводила протекционистскую политику, показывает, насколько долгим может быть обучение процессу производства. Идея тотальной свободной торговли представляет собой утопию, поскольку в этом случае не учитываются национальные особенности народов». То есть обычно приписываемую Ф. Листу идею об обучении нации производству до него впервые и как раз в России высказал Мордвинов<sup>155</sup>.

Ещё более крупной фигурой традиционного русского имперского протекционизма, обеспечившей его строгое практическое применение (хоть и преимущественно в фискальных целях), был признан министр финансов империи в 1823–1844 годах Е. Ф. Канкрин (1774–1845), в научном наследии которого историк, наряду со служебными записками о районировании России и проблемах Сибири (что логично для детализации доктрины протекционизма к практике народного хозяйства), выделяет написанные им по-немецки ещё в начале 1820-х труды о военной экономике, соотношении мирового и национального хозяйства<sup>156</sup>. Старый русский исследователь К. Н. Ладыженский (1858–1915) отметил (столь же присущее Ф. Листу) убеждение Канкрина в том, что

«всякая нация представляет особое, самостоятельное целое, должна стремиться к достижению известной независимости от других народов как

<sup>154</sup> В. В. Святловский. История экономических идей в России [1923] // Историки экономической мысли России: В. В. Святловский, М. И. Туган-Барановский, В. Я. Железнов / Под ред. М. Г. Покидченко, Е. Н. Калмычковой. М., 2003. С. 149–151. Подробно о Мордвинове и его образе в русской и советской литературе см.: *Йоахим Цвайнерт*. История экономической мысли в России. 1805–1905 [2002] / Пер. под ред. В. С. Автономова. М., 2008. С. 96–108.

<sup>155</sup> *Йоахим Цвайнерт*. История экономической мысли в России. С. 104, 106.

<sup>156</sup> В. В. Святловский. История экономических идей в России. С. 153.

в политическом, так и в экономическом смысле. (...) если стать на национальную точку зрения, то представляется ещё весьма сомнительным, всегда ли для народа выгоднее покупать дешёвые иностранные изделия, нежели самому вырабатывать их с большими издержками: не надо забывать, говорит он, что выгодность такого положения покупается ценой потери экономической независимости от других народов, которая составляет органическое условие существования народности»<sup>157</sup>.

В другом, раннем исследовании, даже в самом кратком резюме вклада русского марксизма 1890-х в историю экономических идей, В. В. Святловский по умолчанию воспроизводит именно дискуссионную дихотомию якобы «естественного» либерального капитализма британского образца — и административного капитализма «сверху» германского образца. Подводя ещё самые предварительные итоги развития русского марксизма как политического течения, изнутри дискуссии «ортодоксов» и «критиков (идеалистов)», он специально акцентирует внимание на (увы, оставшемся тогда без развития) исторически глубоко фундированном заявлении Струве 1898 года, которое подаётся как предмет марксистского консенсуса и который одновременно можно счесть абсолютной формулой не только истории капитализма, но и *индустриального протекционизма вообще*:

«Нигде вы не встретите пресловутого “естественного” или самопроизвольного развития капитализма везде он был “искусственным”. Да иначе и быть не может. Современное государство и капитализм — это исторические близнецы»<sup>158</sup>.

Русский неонароднический историк мысли так описал идейный переход, в котором растущий отказ России от миметического экономического либерализма совпал с растущим идейным влиянием Герма-

<sup>157</sup> К. Н. Ладыженский. История русского таможенного тарифа [1886]. С. 182. Е. Ф. Канкрин верно указывал на принципиальную зависимость Англии от доступа на рынок Индии и уверенно предсказывал конкурентную победу над ней Северной Америки и «промышленных стран Европы» (с. 183, прим. 2).

<sup>158</sup> В. В. Святловский. От славянофильства до идеализма (Развитие взглядов на сущность экономической эволюции России) [1904] // Историки экономической мысли России: В. В. Святловский, М. И. Туган-Барановский, В. Я. Железнов / Под ред. М. Г. Покидченко, Е. Н. Калмычковой. М., 2003. С. 246.

нии и германского образца, который теперь включал в себя политический марксизм: «идеологами русской буржуазии начала шестидесятых годов были эпигоны западничества, российские фритредеры; но мы видели тогда же, что вместе с ростом буржуазии неизбежен был её переход от фритредерства к крайнему протекционизму. Процесс этого перехода совершался в семидесятых и восьмидесятых годах, а к началу девяностых протекционизм был уже боевым кличем всей буржуазии (типичным идеологом которой в этом случае был, например, Менделеев). Русские марксисты, не будучи идеологами буржуазии, тоже стояли за протекционизм...»<sup>159</sup>.

С этих пор пример объединённой Германии начинает конкурировать в России с британским образцом, становясь стандартом практической экономики и политической самоорганизации, отличным от британского — прежде всего, чисто идеологического парламентаризма и экономического либерализма, поскольку на деле последний требовал от поклонников Англии не только идеологического копирования, но реального включения их народного хозяйства в сферу британского доминирования. Об этом вызове сразу для России и для Германии ярко написал американский экономист русского происхождения, в первой своей эмиграции прошедший трудную школу австрийского марксизма и австрийской социал-демократии, Александр Гершенкрон (1904–1978), который получил мировое признание, в том числе, и благодаря своему исследованию конкурентных преимуществ отсталости, появившемуся очень вовремя — с началом «холодной войны», когда слова не только об отсталости СССР, но и об её технологической выгоде звучали явно против пропагандистского консенсуса Запада. В этом смелом знании говорил опыт не только социалиста, но и участника восстания австрийских рабочих в феврале 1934 года<sup>160</sup>. А. Гершенкрон писал в 1952 году:

«Признаём мы это или нет, но на наши рассуждения по поводу индустриализации экономически отсталых стран огромный отпечаток наклады-

<sup>159</sup> *Иванов-Разумник*. История русской общественной мысли [1906–1918]. В 3-х т. Т. 3. М., 1997. С. 90–91.

<sup>160</sup> *Лев Рожанский*. Айвенго в Гарварде, или Труды и дни Александра Гершенкрона // Русские евреи в Америке. Кн. 10 / Ред.-сост. Э. Зальцберг. Торонто; СПб., 2015. С. 264.

вает важное обобщение, сделанное Марксом, согласно которому история экономически развитых стран указывает пути развития более отсталым странам: «Страна, промышленно более развитая, показывает менее развитой стране лишь картину её собственного будущего»... Вполне можно было бы утверждать, что в период между серединой и концом XIX века Германия следовала по тому же пути развития, что и Англия на более раннем этапе. Однако я бы поостерёлся безоговорочно полагаться на справедливость этого вывода, поскольку он верен лишь наполовину. За скобками остаётся вторая важная сторона вопроса: во многих отношениях отсталая страна именно в силу своей отсталости может демонстрировать существенные различия по сравнению с развитой страной... Эти различия касались не только скорости развития (то есть темпов промышленного роста), но также производственной и организационной структуры промышленности, возникавшей благодаря индустриализации. Более того, различия в темпах роста и характере промышленного развития в значительной степени были обусловлены использованием тех или иных институциональных инструментов, которые сильно различались или вообще не имели параллелей в промышленно развитых странах. Помимо этого, в развитых и в отсталых странах различным был интеллектуальный климат (то есть «дух» и «идеология»), на фоне которого происходил процесс индустриализации»<sup>161</sup>.

Именно идеология немецкого протекционизма Фридриха Листа, реализованная объединённой Германией Отто фон Бисмарка (1815–

---

<sup>161</sup> *Александр Гершенкрон. Экономическая отсталость в исторической перспективе* [1952] // А. Гершенкрон. Экономическая отсталость в исторической перспективе / Научн. ред. А. А. Белых, пер. с англ. А. В. Белых. М., 2015. С. 61–62. Подводя итоги развитию России до её индустриализации, А. Гершенкрон вычленил его главные факторы: ведущая экономическая роль государства, преследовавшего военные цели, скачкообразный экономический рост, обременительность его для населения, суровые меры государства по закреплению населения, длительные периоды застоя от социально-экономического истощения страны после периодов её быстрого развития (С. 74–75). Ядро теории догоняющего развития и азбуку либеральных диктатур и революционаризма находят и в записях великого русского историка В. О. Ключевского (1848–1911): «Закон жизни отсталых государств или народов среди опередивших: нужда реформ назревает раньше, чем народ созревает до реформ. Необходимость ускоренного движения вдогонку ведёт к перениманию чужого наскоро» (С. И. Дудник. Маркс против СССР: Критические интерпретации советского исторического опыта в неомарксизме. СПб., 2013).

1898), своим примером и пафосом породила индустриализацию эпохи императора Александра III, которую в наибольшей степени идеологически связывают с экономической политикой С. Ю. Витте. В этой идейной формуле, лежащей на поверхности интеллектуальных интересов Витте и его союзника Менделеева, можно искать особые смыслы — и они найдены<sup>162</sup>. Одним словом, именно германский протекционизм Ф. Листа стал образцом индустриального успеха России<sup>163</sup>. Популярный и энергичный очерк француза русского происхождения уверенно проводит прямую связь между образцом и успехом, реконструируя, на какой исторической сцене пришлось действовать России во второй половине XIX века, одновременно с объединением Германии:

«в самом сердце Европы появляется другой титан. Бедный ещё в 1870 году, немецкий колосс четверть века спустя лишь немногим уступает французскому уровню жизни. Причина этого успеха — в политике протекционизма, основанного на ярой англофобии. Фридрих Лист выразил это в своей “Отечественной”<sup>164</sup> системе политической экономии: “мы ненавидим всей душой коммерческую тиранию в Джона Буля [Британии — М. К.], норовящую всем завладеть в одиночку, не позволяющую ни одному народу подняться на более высокий уровень и показать свои преимущества”. Под

<sup>162</sup> Примером тому — недавнее тиражное переиздание книги Ф. Листа, дополненной очерками его русских учеников: *Фридрих Лист. Национальная система политической экономии* [1841] / Пер. с нем. К. Трубникова. Приложение: *Д. И. Менделеев. Толковый тариф или исследования о развитии промышленности России и в связи с ее общим таможенным тарифом 1891 года* [1892]; *С. Ю. Витте. По поводу национализма. Национальная экономия и Фридрих Лист* [1889, 1912] / Сост. В. А. Фадеев. М., 2005.

<sup>163</sup> Кратко и ёмко об этом: *Дэвид Схimmelменник ванн дер Ойе. Навстречу Восходящему солнцу: как имперское мифотворчество привело Россию к войне с Японией* [2001] / Пер. Н. Мишаковой. М., 2009. С. 116, 122. В оригинале заголовок книги не содержит никакой «абличительной» публицистики, добавленной ему издателями русского перевода. Оригинал, напротив, сохраняет убеждение автора книги в сложных отношениях идей и внешней политики: *Russian Ideologies of Empire and the Path to War with Japan*.

<sup>164</sup> Здесь «отечественная» вместо «национальной» оригинала — результат переводческого произвола, противостоящий всей традиции русских переводов названия книги Листа. Но по духу этот произвол очень точен, ибо обнажает именно «отечественный» характер пропагандируемой экономики. Об общенациональной и национальной семантики «отечественного» см. мой очерк «Историческая семантика “Отечественной войны” между общенациональным и этническим / партийным (1812–1914–1918–1941)» в настоящей книге.

прикрытием таможенных бастионов Германия развивала свои сильные стороны (...) Следует ли приступать к созданию железнодорожных сетей? Инженеры относят к этому скептически, учёные — сдержанно, а банкиры — с тревогой. Между тем, в 1842–1843 годах ситуация в мире резко меняется, главным образом под влиянием экономистов. Подобно Фридриху Листу в Германии, они прежде других поняли, что железная дорога играет ведущую роль в процессе индустриализации (...) Технологическая цепочка *уголь — металл — машина* воплощается в жизнь»<sup>165</sup>.

Глубокий французский исследователь основ европейского модерна (современности) как раннего капитализма, практически и идеологически тесно связанного с полицейским государством и биополитикой, Мишель Фуко (1926–1984) убедительно выразил реализацию либерального (особенно британского) капитализма конца XVIII–XIX вв. как системы не столько свободы, сколько принципиального и крайнего неравенства, доминирования и взаимной вражды. Они и стали тем историческим ландшафтом, на котором разворачивались конкурирующие *образы/образцы* развития для России. Это был выбор без выбора, наука для *уже* избранных и бремя для всех остальных. М. Фуко пишет:

«В эту эпоху открывается мировой и планетарный рынок, а по отношению к этому мировому рынку утверждается привилегированное положение Европы, хотя в эту эпоху в равной мере утверждается идея о том, что конкуренция между европейскими государствами есть фактор всеобщего благосостояния... в XIX в. мы вступаем в тяжелейшую эпоху войн, таможенных тарифов, экономического протекционизма, национальных экономик, политического национализма, [самых] великих войн, которые только знал мир. (...) Чтобы спасти свободу торговли, к примеру, американские правительства, сами воспользовавшиеся этой проблемой, чтобы восстать против Англии, с начала XIX в. установят защитные таможенные тарифы, спасая свободу торговли, которую могла скомпрометировать английская гегемония»<sup>166</sup>.

<sup>165</sup> Жорж Соколофф. Бедная держава. История России с 1815 года до наших дней [1993] / Пер. Н. Ю. Паниной. 2 изд. М., 2008. С. 78, 169, 188–189.

<sup>166</sup> Мишель Фуко. Рождение биополитики. Курс лекций, прочитанных в Коллеж де Франс в 1978–1979 учебном году / Пер. А. В. Дьякова. СПб., 2010. С. 81, 88.

Непосредственно для России здесь антилиберальным образом была Германия:

«Во-первых, практически сформулированный к 1840 г. Листом принцип, согласно которому национальная политика и либеральная экономика несовместимы, по крайней мере, в Германии. Поражение Zollverein [Германского Таможенного союза 1819–1866 гг.] в попытке создать немецкое государство, исходя из экономического либерализма, было тому своего рода доказательством. И Лист, и последователи Листа отстаивали принцип, согласно которому либеральная экономика, не будучи общей формулой, универсально применимой ко всякой экономической политике, никогда не могла быть и действительно не была ничем иным, как тактическим инструментом или стратегией в руках некоторых стран для обретения позиции экономической гегемонии и империалистической политики в отношении остального мира. Говоря просто и ясно, либерализм не есть общая форма, которую должна принимать всякая экономическая политика. Либерализм — это всего лишь английская политика, политика английского доминирования. В силу этого Германия со своей историей, со своим географическим положением, со всеми её сложностями, не может позволить себе либеральную экономическую политику. Ей нужна протекционистская экономическая политика. Вторым одновременно теоретическим и политическим препятствием, с которым столкнулся немецкий либерализм в конце XIX в., был бисмарковский государственный социализм: чтобы немецкая нация существовала в единстве, нужно, чтобы она не просто была защищена извне протекционистской политикой, нужно ещё подавить, пресечь всё то, что может скомпрометировать национальное единство изнутри, то есть чтобы пролетариат как угроза национальному и государственному единству эффективно реинтегрировался в социальный и политический консенсус»<sup>167</sup>.

Логично, что в точности эти же положения развивали в России Витте и Менделеев<sup>168</sup>. Вдохновлённые теорией Фридриха Листа, ставшей

<sup>167</sup> Мишель Фуко. Рождение биополитики. С. 141–142.

<sup>168</sup> Витте, реферируя Листа («Фритредеры считают протекционную систему выдумкой взбалмошных умов. Но история свидетельствует, что система эта представляет собой средство к национальной независимости и могуществу... Большая нация должна базировать свою экономическую жизнь на внутреннем про-

в Германии теорией «катедер-социалистов», монопольно занявших кафедры местных университетов<sup>169</sup>, идеология и практика Витте стали политикой интенсивной индустриализации, чему нимало не помешали его консервативно-славянофильские среда и родственные связи<sup>170</sup>. Уже в социал-либеральной своей жизни экс-марксист Струве, рискуя хвалами в адрес самодержавной бюрократии, утверждал политический смысл промышленного прогресса России, какой бы ценой он ни был достигнут: «В политике Витте... в период 1892–1902 гг. ...объективно заключался глубоко революционный элемент: его промышленная политика подготавливала элементы новой России»<sup>171</sup>.

Первый русский экономист, познакомивший русского читателя, в частности, с учением Карла Маркса, с 1885 года — товарищ управляющего, в 1889–1894 — управляющий Государственным банком Российской империи Ю. Г. Жуковский (1833–1907), подводя неформальный итог рецепции учения Листа в России, пытался уравновесить его

---

изводстве и потреблении...»), и Менделеев, развивая его идеи («государственное невмешательство, т.е. laissez faire, и «свобода торговли» (free trade) не есть общий закон, человечеству обязательный и полезный, а непременно приведёт к экономической гегемонии народов, у которых промышленность успела развиться ранее признания указанного принципа, над народами. Принявшими принцип невмешательства ранее, чем у них развилась своя промышленность, могущая бороться с иностранною») (*Фридрих Лист*. Национальная система политической экономии [1841]. С. Ю. Витте. По поводу национализма: Национальная экономия и Фридрих Лист [1889, 1912]. Д. И. Менделеев. Толковый тариф, или Исследование о промышленности России в связи с её общим таможенным тарифом 1891 года [1892]. С. 299–300, 314). Хорошим свидетельством восприимчивости общества к протекционистским идеям, в частности, Менделеева служит такой пример изоляционной лексики протекционизма, по умолчанию использованной в актуальном очерке нефтедобычи: «Ни одна отрасль добывающей промышленности не обнаруживает в настоящее время, при изолировании от искусственных влияний, такой высокой степени доходности, как нефтяной промысел» (*Н. И. Стрижов*. Коренной вопрос нефтепромышленности // *Русская Мысль*. М., 1900. Кн. VIII. II отд. С. 105). Кратко о трансляции идей Листа в трудах Витте и интерпретации её в немецкой историографии см.: *Йоахим Цвайнерт*. История экономической мысли в России. 1805–1905 [2002] / Пер. под ред. В. С. Автономова. М., 2008. С. 287–289.

<sup>169</sup> А. Эспинас. История политико-экономических доктрин [1891] / Пер. с франц. М., 2015. С. 206–208.

<sup>170</sup> С. Ю. Витте был племянником известного славянофильского писателя и деятеля — генерал-майора Р. А. Фадеева (1824–1883).

<sup>171</sup> *Пётр Струве*. Patriotica. Политика, культура, религия, социализм. Сборник статей за пять лет (1905–1910 гг.). СПб., 1911. С. 264 («17-го Октября 1909 г.», 1909).

практическую популярность — идеологическими перспективами, его именно «национальную систему» — образом интернационального прогресса, не акцентируя внимания на том, что именно применение учения Листа в Европе стало одним из факторов развития прогрессивной экономической конкуренции, а интернациональные принципы более всего служили национальным интересам экономически лидирующей Британской империи, и что крымское поражение в войне было бы слишком легко превратить в экономическую капитуляцию. Следуя этому умолчанию, которое впоследствии не могло не войти в конфликт с политикой Витте, Ю. Г. Жуковский всё же писал, видя разрыв между колониальной угрозой и ценностями прогресса:

«Протекционизм всегда находил своих защитников не только между классами, лично в нём заинтересованными, но и между людьми, которые по личному своему положению могли относиться к вопросу совершенно беспристрастно. Поддержка местного производства была главным его основанием. Защита местных производителей от разорения — вот тот главный аргумент, в силу которого протекционизм постоянно поддерживался политикой отдельных стран. Если свобода торговли может быть безусловно выгодна в интересах общечеловеческих, то в смысле национальной политики отдельных стран она могла быть связана с потерями, которые всегда обрушаются на страну менее развитую, и дело может кончиться для такой страны совершенной эксплуатацией и низведением на степень колонии страну более развитой. Положение это остаётся совершенно верным, но только с известными ограничениями и при известных условиях. Непосредственные материальные выгоды, извлекаемые страной менее развитой из сношения с страной более развитой, могут быть ниже непосредственных торговых барышей, получаемых страной более развитой; но выгод, получаемых первой страной из такого сношения, мы не можем измерять исключительно одними коммерческими барышами, а должны принять в расчёт всё, что может извлечь такая страна из подобного сношения в смысле её цивилизации. Если последняя представляет известную ценность, то она не может доставаться ей даром, как всякая ценность, и она должна более или менее дорого заплатить за такое приобретение, и естественно платить тем дороже, чем она сама менее развита»<sup>172</sup>.

<sup>172</sup> Ю. Г. Жуковский. История политической литературы XIX столетия: От преддверия до середины XIX века [1871]. М., 2015. С. 437.

При **наличии независимых народных хозяйств и «изолированных государств»** — генетическую запрограммированность «чистого» экономического развития не только в сторону либертарианской *мировой диктатуры*, но и в сторону *конкуренции* экономических суверенитетов хорошо видели не только левые критики либерализма, но и такой консервативный антикоммунистический ритор, как И. А. Ильин: «хозяйственный интерес принимает форму государственного размежевания, и, вследствие этого, взаимная конкуренция государств приобретает остро выраженный экономический характер»<sup>173</sup>. Следуя за историей либеральных идеологий, Впрочем, не следует забывать и о противостоявшей им экономической реальности, которая на поверку оказывалась гораздо более инертной и мало восприимчивой к идеологической моде, чем это следовало из растиражированных образов косности, отстающей перед прогрессом. Историки экономики убедительно показали, что **ещё до ренессанса протекционизма, при доминировании «свободы торговли» реальная экономическая открытость** (совокупная доля экспорта и импорта в ВВП, %) в Западной Европе с 1850 по 1870 гг. **едва достигла 28%**, а в период максимальной свободы торговли в 1870–1880 гг. **не превысила 35%**, достигнув лишь трети, а с 1880 до 1902 гг. находилась в стагнации<sup>174</sup>.

Это значит, что даже на пике эпохи свободной торговли и идеологии, ведшей от имени Британской империи борьбу за мировое господство, **в самой ойкумене либерального прогресса доминировал практический протекционизм**. Важно и то, что западное понимание «иного», по сути колониального статуса России среди «европейских цивилизаций», подобного статусу Латинской Америки как объекта экспансии, было настолько консенсуально, что — вне ритори-

<sup>173</sup> И. А. Ильин. Мировые причины русской революции // И. А. Ильин. Собрание сочинений / Кто мы? О революции. О религиозном кризисе наших дней / Сост. Ю. Т. Лисица. М., 2001. С. 200.

<sup>174</sup> А. Каррерас, К. Джозефсон. Совокупный рост в 1870–1914 гг.: развитие на пределе производственных возможностей // Кембриджская экономическая история Европы Нового и Новейшего времени. Т. 2. 1870 — наши дни / Под ред. С. Бродберри и К. О'Рурка [2010] / Пер. Н. Эдельмана. М., 2013. С. 86, рис. 2.13. Интерпретируемая здесь таблица подготовлена на основе: A. Carreras, X. Tafunell. The European Union Economic Growth Experience. 1830–2000 // Exploration in Economic Growth / S. Heikkinen and J. L. Van Zanden (Eds.). Amsterdam, 2004.

ки вежливости и толерантности — присутствует даже в лапидарных описаниях мира, как, например, в подготовленном, по собственному признанию автора, для 18-летних кратком очерке мировой истории «Грамматика цивилизаций» классика французской историографии XX века Фернана Броделя (1903–1985). Он прямо определил России место и имя «Другой Европы»<sup>175</sup>. Однако формула индустриализации «европейских цивилизаций» вне Англии оказалась, по оценке того же Броделя, единой: если в Англии она стартовала с хлопчатобумажной промышленности, то во Франции, Германии, Канаде, США и России — со строительства железных дорог<sup>176</sup>. Примечательно, что в связи с этим строительством и вокруг него уже к концу XIX века, например, во Франции Бродель находит своеобразный **государственный социализм** и так характеризует её экономическое лицо: «Система управления промышленностью опиралась на государственный дирижизм в хозяйственной жизни. Цель промышленной политики состояла в управлении развитием ключевых производственных и инфраструктурных секторов, поскольку считалось, что только государство в силах защитить прогресс от действий предпринимателей, эгоистично преследующих собственные интересы, и иррациональных рыночных сил»<sup>177</sup>.

Так практический протекционизм в Европе естественным образом соединялся с экономическим социализмом. После отставки Витте с государственных постов теперь либеральный (но пребывавший в идейном одиночестве среди русских либералов — фритредеров и англоманов) экономист и политик П. Б. Струве в курсе лекций в одном из созданных Витте учебных заведений уже как непременный факт констатировал убедительную победу протекционизма независимо от форм, которые он принимает: **«Протекционизм побеждает совершенно неизбежно как более производительная система национальных экономических сил (...)** Интересы самого произ-

<sup>175</sup> Фернан Бродель. Грамматика цивилизаций [1963] / Пер. Б. А. Ситникова. М., 2014. Раздел III. Часть 3.

<sup>176</sup> Фернан Бродель. Грамматика цивилизаций. С. 371. В частном случае Швеции — с деревообработки и железных рудников.

<sup>177</sup> Фрэнк Доббин. Формирование промышленной политики: Соединённые Штаты, Великобритания и Франция в период становления железнодорожной отрасли [1994] / Авториз. пер. Е. Головляничиной. М., 2013. С. 31.

водства создали английскую свободу торговли. Английское фритредерство не есть выражение интересов английского потребителя, а есть выражение окончательной зрелости, окончательного подъёма английского производства, которое не только уже не нуждается в подпорках протекционизма, а, наоборот, в интересах удовлетворения своей безграничной активности сбрасывает с себя путы всякой охраны»<sup>178</sup>.

Перед Первой мировой войной конкурентная «правота «национальной экономики» Ф. Листа подтвердилась, прежде всего, тем, что США и Германия, которые придерживались политики протекционизма, **экономически опередили фритредерскую Британию**. Однако промышленный рывок Германского рейха был тесно связан с имперским милитаризмом, выигрывавшим от раскручивания винта охранительных таможенных пошлин и казённых заказов и подтолкнувшим в конце концов мир к мировой войне. Эпоха после неё стала временем дезинтеграции мировой экономики и торжества протекционизма, национализма и милитаризма. Как писал в конце Первой мировой войны правящий большевик-идеолог, новой реальностью стал «экономический национализм», например, Франции против Германии в ходе подготовки к войне, когда германские товары начали вытеснять французские с французского рынка, — «исходя из той правильной мысли, что военная мощь и политическое влияние страны прямо пропорциональны экономическому развитию ея»<sup>179</sup>.

В пору Великой депрессии 1929–1933 годов принципами свободы торговли поступилась даже Британия, «благодаря чему её экономическое развитие в 1930-х годах оказалось более успешным, чем в 1920-х. Но после Второй мировой войны вышедшие из неё явно сильнейшими США задали тон возрождению фритредерства... Говорить о протекционизме стало считаться дурным тоном...»<sup>180</sup> Новой абсолютной мировой империи конкурирующие великие державы стали мешать точно так же, как они мешали Британской империи в XIX веке. Менделеев разъяснял: «государственное невмешательство, т. е. *laissez faire*,

<sup>178</sup> П. Б. Струве. Торговая политика России [1911]. Челябинск, 2007. С. 31, 22.

<sup>179</sup> М. Н. Покровский. Франция до и во время войны. Пб., 1918. С. 104.

<sup>180</sup> Георгий Гловели. Лист, Витте и «национальная экономия» в России // Фридрих Лист. Национальная система политической экономии [1841] / Сост. В. А. Фадеев. М., 2005. С. 17–18.

и “свобода торговли” (*free trade*) не есть общий закон, человечеству обязательный и полезный, а непременно приведёт к экономической гегемонии народов, у которых промышленность успела развиться ранее признания указанного принципа, над народами, принявшими принцип невмешательства ранее, чем у них развилась своя промышленность, могущая бороться с иностранною»<sup>181</sup>. Современные французские исследователи мировой экономики объясняют, как на деле на мировом рынке действовали эти британские *laissez faire* и *free trade* в XIX веке: «Англия прагматично прибегала как к приёмам “свободной торговли”, так и к протекционистским приёмам, в зависимости от обстоятельств. Свободная торговля применялась, если не существовало опасности для британской продукции; наоборот, она позволяла им завоёвывать иностранные рынки, а когда конкуренция принимала неблагоприятный оборот для местных производителей, тогда без колебаний применялись протекционистские меры. Таким образом, протекционизм и свободная торговля последовательно применялись в определённых секторах, например, в сельском хозяйстве и текстильной промышленности»<sup>182</sup>.

<sup>181</sup> Фридрих Лист. Национальная система политической экономии [1841]. С. Ю. Витте. По поводу национализма: Национальная экономия и Фридрих Лист [1889, 1912]. Д. И. Менделеев. Толковый тариф, или Исследование о промышленности России в связи с её общим таможенным тарифом 1891 года [1892] / Сост. В. А. Фадеев. М., 2005. С. 299–300, 314.

<sup>182</sup> А. Брюне, Ж.-П. Гишар. Геополитика меркантилизма: новый взгляд на мировую экономику и международные отношения. М., 2012. С. 53. «Прогресс капитализма во Франции обуславливался отнюдь не только усилиями энергичных, трудолюбивых и жаждавших прибыли индивидов. Абсолютистское государство, исходя из своих целей военно-политической стратегии, колониальной экспансии, экономической борьбы с другими странами и не в последнюю очередь просто из соображений национального престижа, поощряло развитие промышленности... были созданы при прямом содействии государства крупные централизованные мануфактуры в кораблестроении, производстве оружия, сукноделии. Значительная часть централизованных мануфактур существовала как бы вне рынка. Приходя из года в год к отрицательному сальдо своего баланса, подобные предприятия были обречены на банкротство, но субсидиями, дотациями, премиями за нововведения государство неизменно спасало их от финансового краха. С точки зрения формально мыслящего экономиста, сторонника *laissez faire, laissez passer*, эти искусственные образования не сыграли никакой роли в развитии французского капитализма. Поглощая капиталы, аккумулированные через систему фиска, “отвлекая” квалифицированных работников, централизованные, по сути государственные мануфактуры, казалось бы, лишь обескровливали свободное производство. Но становление капитализма отнюдь

В момент же созревания русского коммунизма в форме большевизма и коммунистического государства в России в форме изолированного социализма, в форме сталинизма, — в начале XX века, перед войной и во время Первой мировой войны, на самой заре XX века британская «свобода торговли» умерла, уступив место взаимной борьбе протекционизмов, породив в этой борьбе новый инструмент территориальной экспансии капитализма — империализм, который взял на своё вооружение милитаризм, мобилизацию и тотальную войну. Британский идеолог Дж. Гобсон (1858–1940) открыл век особо ценным в устах британца признанием (выделено мной):

**«Империализм отвергает принцип свободной торговли: он покоится на экономической основе протекционизма. Поскольку империалист логичен, он откровенно признаёт себя протекционистом»<sup>183</sup>.**

Один из вождей русского либерализма П. Н. Милюков (1859–1943), после поражения его антибольшевистских ставок в Гражданской войне переживший стремительную эволюцию влево, во вновь отредактированном издании своего сводного труда по русской истории решительно поддержал противостоящий всемирной «глобализации» национальный, суверенный взгляд на историю, лежавший в основе интеллектуального ландшафта сталинского «социализма в одной стране». Восприняв тер-

---

не являлось сугубо органическим, самопроизвольным процессом. В некоторых сферах промышленного производства частная инициатива без государственной поддержки оказывалась бессильной; подчас обнаруживалась и определённая экономическая рутинность частных предпринимателей. Существовал предел риска, за который решалось переступать только государство. Так, начавшееся в конце XVIII в. серьёзное техническое перевооружение французской промышленности (первые шаги промышленного переворота) субсидировалось в значительной степени королевской администрацией и местными властями... Несмотря на то, что английское правительство чинило всяческие препятствия вывозу из страны новейших машин и эмиграции специалистов, Франции путём промышленного шпионажа и переманивания мастеров, предпринимателей и простых рабочих удалось значительно ускорить процесс обновления своей индустрии. С благословения французского правительства десятки и сотни английских специалистов не только поступали на службу к французским предпринимателям, но и обзаводились собственным делом и становились крупными промышленниками» (Е. М. Кожокин. История бедного капитализма. Франция XVIII — первой половины XIX века. М., 2005. С. 21–23).

<sup>183</sup> Джон Гибсон. Империализм [1902]. Л., [1927]. С. 70.

мин-теорию евразийца П. Н. Савицкого о «месторазвитии» как индивидуальном комплексе географических, исторических и культурных факторов в применении к России, Милоков утверждал: «Научная социология отодвигает на второй план точку зрения всемирной истории. Она признаёт естественной единицей научного наблюдения отдельный социальный (национальный) организм»<sup>184</sup>.

## ИЗОЛИРОВАННОЕ ГОСУДАРСТВО

Когда на рубеже 1890–1900-х гг., выстраивая «критическое направление» в русском марксизме и социализме, лидер русского марксизма 1890-х П. Б. Струве решил принять среднюю линию, равно независимую от материализма Маркса и неокантианства уже идущего по пути ревизионизма Бернштейна, он продекларировал свою солидарность с метафизическим идеализмом создателя германской социал-демократии Ф. Лассалю и Фихте<sup>185</sup>, а политически последовал за Энгельсом 1890-х. Это не было случайным выбором, ибо было выбором *внутри социализма*. Именно трактат Фихте «Замкнутое торговое государство»<sup>186</sup> известный русский марксист, а затем — ревизионист

<sup>184</sup> П. Н. Милоков. Очерки по истории русской культуры [1936]. В 3-х т. Т. 1. М., 1993. С. 43, 45.

<sup>185</sup> П. Струве. Ещё о Лассалю [1901] // П. Струве. На разные темы (1893–1901). Сборник статей. СПб., 1902. С. 278.

<sup>186</sup> В России второй половины XIX в. перевод этого заглавия выявил его тесную связь с общим контекстом суверенного национально-государственного строительства. Авторитетный русский либеральный мыслитель А. Д. Градовский переводил оригинальное «Der geschlossene Handelsstaat» как «Уединённое торговое государство», то есть не столько отгородившееся *под замок*, сколько изолированное (А. Градовский. Возрождение Германии и Фихте Старший [1871] // А. Градовский. Национальный вопрос в истории и литературе. М., 2009. С. 163. Ср. толкование: «Изолировать — отделять, разобщать, уединять» (а не закрывать), по аналогии с латинским *Insula* (остров) (М. И. Михельсон. Русская мысль и речь. Свое и чужое. Опыт русской фразеологии. Сборник образных слов и иносказаний [1892–1893]. Т. 1. М., 1994. С. 364). Ср. концепцию «Остров Россия» В. Л. Цымбурского (1957–2009), развивающую также русские идеи конца XIX века о переносе «геоэкономического», политико-экономического центра тяжести в центр страны: «Предлагается рассматривать нынешнюю Россию как платформу с двумя внешними флангами — евро-российским и дальневосточным, — обращёнными, соответственно, к восточноевропейским «территориям-проливам» и к Тихому океану. При этом ареал Сибири и Большого Урала (Урало-Сибирь) выступает сегодня стержнем России, обеспечивая её коммуникационную целостность. Он — посредник между

и религиозный мыслитель С. Н. Булгаков в своём университетском курсе определённо назвал «планом организации экономического быта и борьбы с бедностью при посредстве государственной власти, идеей социалистического государства»<sup>187</sup>.

Трактат Фихте «Замкнутое торговое государство» был переведён и издан в России ещё в годы перехода к идейному протекционизму и ускоренной индустриализации 1880-х и повторно — «неожиданно», с предисловием идейного большевика, накануне решающей полемики о «социализме в одной стране»<sup>188</sup>.

Лев Троцкий в своих мемуарах, неизменно сводя свои счёты со Сталиным, свидетельствовал, что своеобразный национал-революционный эгоизм Сталин молча, втайне проявил ещё в начале 1918 года, во время переговоров РСФСР с Германией в Брест-Литовске, которые для Троцкого и Ленина были эпизодом в ожидавшейся мировой революции<sup>189</sup>. Для Троцкого в ходе этих переговоров и, видимо, в их результате непосредственно для России была важна гораздо более масштабная, иная «главная забота: сделать наше поведение в вопросе о мире как можно более понятным мировому пролетариату, [эта забота] была для Сталина делом второстепенным. Его интересовал “мир в одной стране”, как впоследствии — “социализм в одной стране”»<sup>190</sup>. Природу этого интереса Сталина Троцкий прозревал в том, что Сталин, как и его выдвиненцы во власти, на деле не был интернациональным революционером, а был революционным этатистом и националистом: «Ворошилов был только национальным революционным демократом из рабочих, не более. Это обнаружилось

---

Западной Россией, без него оказывающейся дальним окраинным тупиком Европы, и Дальним Востоком, способным отколоться от России, втягиваясь также на правах тупиковых окраин в тихоокеанский мир. Урало-Сибирью эти фланговые ареалы соединяются в систему, способную придать им новое стратегическое качество» (*В. Л. Цымбурский. Морфология российской геополитики и динамика международных систем XVIII–XX веков. М., 2016. С. 234–235*).

<sup>187</sup> *С. Н. Булгаков. История социальных учений в XIX в. [1908–1910] // С. Н. Булгаков. Избранное / Сост. О. К. Иванцова. М., 2010. С. 264.*

<sup>188</sup> *И. Г. Фихте. Замкнутое государство. СПб., 1883; И. Г. Фихте. Замкнутое торговое государство / Пер. Э. Э. Эссена. Вступ. ст. В. Невского. М., 1923.*

<sup>189</sup> Содержательный детальный анализ реальной стратегии и тактики Ленина и Троцкого в Брестских переговорах и их политическом сопровождении в большевистском руководстве дан в книге: *Ю. Г. Фельштинский. Крушение мировой революции. Брестский мир: октябрь 1917 — ноябрь 1918. М., 2014.*

<sup>190</sup> *Л. Троцкий. Моя жизнь. Опыт автобиографии [1930]. М., 1991. С. 377–378.*

особенно ярко сперва в империалистической войне, затем в февральской революции. (...) во время войны эти люди были в большинстве патриотами и прекратили какую бы то ни было революционную работу<sup>191</sup>. В февральской революции Ворошилов, как Сталин, поддерживал правительство Гучкова — Милюкова слева. Это были крайние революционные демократы, отнюдь не интернационалисты. Можно установить правило: те большевики, которые во время войны были патриотами, являются теперь сторонниками сталинского национал-социализма»<sup>192</sup>.

Но это было сказано в мемуарах. А в ходе первого, в начале 1920-х гг., непосредственного переживания революционного одиночества России без мировой *именно западной* революции принуждение мыслить страну в качестве изолированного пространства, обречённого опираться только на собственные ресурсы, понимание «одной страны» разделяли даже влиятельные и открытые политические сторонники Троцкого, фактически споря с ним. На XI съезде РКП (б) 27 марта 1922 г. выступил один из них — начальник Политического управления Революционного Военного Совета СССР В. А. Антонов-Овсеенко. Он заявил нечто далёкое от широких троцкистских схем мировой революции:

«Мы должны осознать, что мы находимся и на долгое время, до развития мировой революции, несомненно долженствующей иметь место, будем находиться в положении осаждённой крепости, ни в коем случае не возлагая сколько-нибудь серьёзных надежд на существующую помощь иностранного капитала... Мы должны... больше возложить непосредственных задач на наши внутренние силы и направить своё внимание на поиски непосредственно внутри России тех возможностей, которые в ней имеются. Это обязывает к очень многому. Это обязывает к тому, чтобы считаться с нашей собственной экономикой, с которой мы чрезвычайно мало считались»<sup>193</sup>.

<sup>191</sup> Троцкий прекрасно знает, но умалчивает, что в 1914–1917 гг. «оборонцами», «социал-патриотами», в ленинской бранной стилистике — «социал-шовинистами» были такие несомненные революционеры и интернационалисты, создатели русской социал-демократии, как Г. В. Плеханов, В. И. Засулич, А. Н. Потресов, отнюдь не прекратившие свою революционную работу. Во всяком случае, работа самого Троцкого в эти годы была ничуть не более революционной, чем у них.

<sup>192</sup> Л. Троцкий. Моя жизнь. С. 419.

<sup>193</sup> Одиннадцатый съезд РКП (б). Стенографический отчёт. 27 марта — 2 апреля 1922 г. М., 1922. С. 67.

Четвёртый конгресс Коминтерна в ноябре—декабре 1922 в своей резолюции «О русской революции» с видимым мучительным усилием искал баланс между лозунгом-догмой мировой революции и интересами *единственного правящего социализма* (в России), рискуя сорваться в отчаянное заклинание:

«пролетарская революция никогда не сумеет восторжествовать в пределах одной только страны — она может восторжествовать только в международном масштабе, вылившись в мировую революцию. (...) Русские пролетарии полностью выполнили перед мировым пролетариатом свой долг передовых борцов за революцию. Мировой пролетариат должен наконец, в свою очередь, выполнить свой долг»<sup>194</sup>.

В это время Троцкий переиздаёт свою брошюру 1917 года «Программа мира» о мировом характере революции и против «оборончества», дополняя её послесловием 1922 года. Сначала он действительно глубоко обнаруживает тесную связь *национального государства и национальной обороны*, но, как ему кажется, нейтрализуя их приоритет тем, что апеллировал к социализму как не национальной, а мировой проблеме, то есть (как было показано выше) мифическому, уже разрушенному общемировому контексту, который он противопоставлял конкретной стране: *«Если бы проблема социализма могла быть совместима с рамками национального государства, то она тем самым была бы совместима с национальной обороной»*. Но проблема социализма встает перед нами на империалистической основе, то есть в таких условиях, когда сам капитализм вынужден насильственно ломать им же установленные национально-государственные рамки. И в послесловии 1922 года смело идёт против складывающейся доктрины «социализма в одной стране», которую позже сам якобы не смог найти ранее конца 1924 года (выделено мной):

«Несколько раз повторяющееся в “Программе мира” утверждение, что пролетарская революция не может победоносно завершиться в национальных рамках, покажется, пожалуй, некоторым читателям опровергнутым почти пятилетним опытом нашей Советской Республики. Но такое заклю-

---

<sup>194</sup> Коммунистический интернационал. С. 326.

чение было бы неосновательно. Тот факт, что рабочее государство удержалось **против всего мира в одной стране, и притом отсталой**, свидетельствует о колоссальной мощи пролетариата, которая в других, более передовых, более цивилизованных странах способна будет совершать поистине чудеса. Но, отстояв себя в политическом и военном смысле, как государство, мы к созданию социалистического общества не пришли и даже не подошли. Борьба за революционно-государственное самосохранение вызвала за этот период чрезвычайное понижение производительных сил; социализм же мыслим только на основе их роста и расцвета... До тех пор, пока в остальных европейских государствах у власти стоит буржуазия, **мы вынуждены, в борьбе с экономической изолированностью, искать соглашения с капиталистическим миром**... подлинный подъем социалистического хозяйства в России станет возможным только после победы пролетариата в важнейших странах Европы»<sup>195</sup>.

«Соглашение с капиталистическим миром в стране, не признанной абсолютным большинством государств, только что пережившей массовый истребительный голод, кровавую Гражданскую войну и отражение иностранной интервенции, переживающей экономическую блокаду, идущей на территориальные, экономические уступки ради подписания договоров с государствами-лимитрофами, чтобы получить через них выход во внешний мир и уже одним этим преодолевая *формальную изоляцию*, — звучало, конечно, не иначе как требование ещё большей, уже неуправляемой капитуляции, делающая бессмысленными и революционный переворот, и войну, и революционное переустройство, и собственную революционную власть. Нужно было действительно считать себя вождем мировой революции, чтобы выступить против абсолютного большинства правящих в отвоёванной стране революционеров с теоретизированием столь кабинетного толка, как это сделал Троцкий. Один из прежних вождей партии социалистов-революционеров и министр Временного правительства В. М. Чернов в 1928 году писал в эмиграции о расколе большевиков неожиданно с **большим** сочувствием оппозиционным “мировым революционерам”, чем правящим сталинским “суверенизаторам”, на-

<sup>195</sup> Л. Д. Троцкий. Программа мира // Л. Д. Троцкий. Из истории русской революции. С. 145.

мекая на их близость к нравам “[полицейского] участка”: “Троцкий, Зиновьев, Каменев, Радек издеваются над идеей “социализма в одной стране” и насмешливо спрашивают насчёт “социализма в одном уезде” или даже “в одном участке”...»<sup>196</sup>.

Но что на деле могла предложить разорённая войной и революцией страна капиталистическому миру, мировому разделению труда, если бы оно не пало жертвой протекционизма? Только зерно, лес и иное сырьё. Хороша ли была для неё мировая конъюнктура? Нет. Было ли это актом колониального сосуществования России империализмом? Да, это было актом колониальной капитуляции. Социализм ли в России поддержал в лице Троцкого эмигрант Чернов или шанс собственного возвращения к власти?

Решительный противник Брестского мира Ленина–Троцкого в 1918 году, сторонник революционной войны против Германии и тем не менее — любимец Ленина в среде высшего руководства большевиков Н. И. Бухарин (1888–1938) вспоминал о недавнем прошлом осенью 1926 года, когда к уже произнесённой формуле «социализма в одной стране» идеологи ВКП(б) мучительно подыскивали доктринальные и политико-экономические основания. Бухарин, фиксируя особую, жизненно важную зависимость революционной России от уже утраченных к 1926 году перспектив революционной Германии<sup>197</sup>, намечал и формулу защиты *отечества как такового* (в отличие от защиты *социалистического отечества* по лозунгу Троцкого–Ленина 1918 года), противостояния революционного *национального государства* всемирному империализму. Он говорил, имея в виду Германию, в образце которой легко угадывалась негативная перспектива России:

«Ленин ещё в начале империалистической войны считал возможной такую перспективу, когда в случае победы какой-нибудь из коалиций в Европе станет возможной национальная война против победоносной

<sup>196</sup> А. В. Урядова. Советская Россия 1920-х: восприятие эмиграции. Ярославль, 2011. С. 182.

<sup>197</sup> Очень эмоционально звучит эта зависимость в Манифесте Второго конгресса Коммунистического интернационала 1920 года: согласно ему, в 1914 г. предательство СДПГ состояло в том, что она «искала покровительства империализма на Западе, вместо того, чтобы искать союза с революцией на Востоке» (Коммунистический интернационал в документах. Решения, тезисы и воззвания конгрессов Коминтерна и Пленумов ИККИ. 1919–1932 / Под ред. Бела Куна. М., 1933. С. 152).

империалистской коалиции: если какое-нибудь из крупных, ранее жизнеспособных империалистских государств будет наголову разбито. Когда Германия была разбита, была поработана, когда она перешла на положение полуколонии, когда она в этом своём качестве оказывала известное сопротивление победоносному антантовскому империализму, тогда... постановка вопроса в Германской коммунистической партии была такова, что не исключалась возможность защиты германского отечества против победоносного антантовского империализма...»<sup>198</sup>.

Седьмой расширенный пленум Исполнительного комитета Коминтерна (ИККИ) в ноябре–декабре того же 1926 года в своём постановлении по «русскому» вопросу, отвечая на обвинения троцкистов в «национальной ограниченности» тех, кто согласился строить «социализм в одной стране», ясно и требовательно сократил значение фактора мировой революции до служебного по отношению к судьбе СССР: формально идя на компромисс с Троцким, Сталин потребовал от мировой революции, так сказать, *аванса*, доказывающего её *платёжеспособность*. А роль СССР перенёс с периферии сцены мировой революции в её центр:

«недооценка внутренних сил развития в СССР... выражается в отрицании возможности построения социализма в СССР... пленум ИККИ полагает, что Советская Страна объективно является главным организующим центром международной революции... пленум считает клеветой на ВКП (б) обвинения в **национальной ограниченности**. Ориентируясь во всей своей работе на международную революцию, считая, что **окончательная** победа социализма возможна лишь как победа мировой революции, что только эта революция может **гарантировать** СССР от войны и интервенции и поможет ещё более ускорить темп хозяйственного развития СССР... СССР имеет **внутри страны “всё необходимое и достаточное” для построения полного** социалистического общества»<sup>199</sup>.

В этом пространном контексте важно, что большевики продолжали искать и находили прецеденты положения СССР в большой

<sup>198</sup> XV конференция ВКП (б). 26 октября — 3 ноября 1926. Стенографический отчет. М.; Л., 1927. С. 29–30.

<sup>199</sup> Коммунистический интернационал. С. 680 (выделено мной).

исторической глубине немецкой национальной мысли и актуальной политической практике и в общем без особых препятствий их находили. И изображать противостояние троцкистов с их *мировой революцией любой ценой* — и сталинистов с их *изолированным государством* — как борьбу нового издания интернационального западничества против нового издания русского национализма нет никаких оснований. Есть основания полагать, что не пропагандистский миф о «Третьем Риме», а именно конкретные исторический национально-освободительный пафос и опыт Германии были традиционно близки большевикам и хорошо служили их суверенным задачам. Поэтому независимый, национальный (национально-объединительный, национально-освободительный<sup>200</sup> и национально обособленный) характер социалистического «замкнутого» государства, изложенный Фихте для Германии, — в отличие от интернационального социализма, социализма всемирного, следовавшего в этом британскому глобальному экономическому и колониальному интеллектуальному ландшафту и политической географии, — и был предметом осознанного выбора

<sup>200</sup> Именно к таковому качеству социализма, соединённого с общенациональным освобождением и национальным возрождением, в интерпретации Фихте (и Лассаля), равно как к фигуре Мадзини во главе итальянского национально-освободительного движения, обращалось недолговечное «идеалистическое направление» (в социализме / освободительном движении), которое в 1902–1905 гг. в России пытались сформулировать вышедшие из марксизма и социал-демократии революционеры: П. Б. Струве, С. Н. Булгаков, Н. А. Бердяев, С. Л. Франк и другие. Об этом см.: М. А. Колеров. Сборник «Проблемы идеализма» (1902): история и контекст. М., 2002. Даже такой классик позднего британского либерализма середины XIX в., как Дж. Актон (1834–1902), принципиально отрицая *социализм* и *национальную независимость*, не мог не признать движущей силы обеспеченного ресурсами *значительного государства* (как определял Маркс, например, для Польши — 20 миллионов человек), оригинально находя его корни не в немецком движении начала XIX, а в Польше с конца XVIII в.: «раздел Польши был актом безрассудного, бесстыдного насилия, означавшего не только попрание патриотических чувств народа, но и надругательство над публичным правом. Впервые в новой истории значительное государство было раздавлено соединёнными усилиями врагов, которые поделили между собой всю его территорию и весь народ. И вот эта знаменитая мера, ставшая самым революционным проявлением старого абсолютизма, пробудила к жизни в Европе теорию национального самоопределения, обратила дремавшую правоту в действительное устремление, не вполне осознанное чувство — в политическое требование» (Джон Актон. Национальное самоопределение [1862] // Лорд Актон. Очерки становления свободы. 2 изд., доп. / Пер. Юрия Колкера. М.; Челябинск, 2016. С. 140).

для марксиста 1890-х гг. Булгакова и, можно предположить, той части поколения русских марксистов, которые следовали Марксу и Энгельсу, включившим в ряды своих предшественников немецкую классическую философию, и широким философским традициям немецкой социал-демократии. Булгаков обращал внимание своих учеников:

«Итак, идеи социализма в германской мысли сознательно провозглашены впервые Фихте, в позднейшее время этот факт слишком часто забывается в истории социальной мысли, но с тем большей энергией следует его подчеркнуть. Следует остановить внимание ещё на одной особенности мышления Фихте, которая сближает его из позднейших социалистических теоретиков — больше с Родбертусом, до известной степени с Лассалем, но, соответственно, отличает его от Маркса. Это именно момент национальный. Его социалистическое государство является вместе с тем и национальным. Идея замкнутого государства существенно основана на национальной независимости государства от всех других. Замкнутость государства в торговых сношениях, как предполагает и Фихте, возможна лишь тогда, когда государство в своих пределах способно удовлетворить все свои потребности. Для этого государство должно найти свои естественные границы. Эти естественные границы намечаются лишь там, где есть возможность удовлетворять все эти потребности, где есть свои рудники, своё земледелие, своя промышленность и т. д.»<sup>201</sup>.

<sup>201</sup> С. Н. Булгаков. История социальных учений в XIX в. [1908–1910]. С. 264, 270. Следуя очерку Б. П. Вышеславцева «Обоснование социализма у Фихте» (1908), современный исследователь обнажает в социалистическом пафосе Фихте не только освободительный, но и особый экономически антилиберальный смысл, сближая здесь либерализм и марксизм как стоящие на одном фундаменте материализма: «Противопоставляя Фихте таким утопистам, как Ш. Фурье или П. Прудон, которые связывали идеальный строй общественной жизни с эвдемонизмом, наивной “докритической” метафизикой или натурализмом, Б. П. Вышеславцев подчёркивает, что Фихте выводит свой социализм “из строго нравственного мирозерцания, которое требует только деятельности, только непрестанного морального творчества, а не наслаждения”. В отличие от марксизма, который, ставя научные и моральные воззрения человека в зависимость от хозяйственной деятельности, оказывается модификацией всё того же натурализма, у Фихте именно мораль и наука определяют экономику: мир есть продукт свободного творчества. И только для реализации этой свободы требует Фихте национализации земли и обобществления производства. Принцип “выгоды”, “либеральную” экономику, “нетрудовой доход” Фихте называет “беззаконием”, которое ведёт к экономическому рабству. В дальнейшем Б. П. Вышеславцев ещё не раз уточнит своё отношение к марксизму, социализму

Важно также, что текст трактата служил одновременно и хорошим риторическим образцом для нейтрализации возможных упреков в самоизоляции как политике регресса. Он гласил, звуча на максимуме прогрессивной риторики:

«Правовое государство является замкнутою совокупностью множества людей, подчинённых одним и тем же законам и одной и той же высшей принудительной власти (...) если действительной задачей государства является помощь всем своим гражданам в овладении тем, что им принадлежит, как соучастникам человечества, и, затем, сохранение за ними этого... чтобы это было возможно выполнить, должно быть отстранено неподдающееся упорядочению влияние иностранца, и государство разума является таким же *замкнутым торговым государством*, каким оно является замкнутым торговым государством законов и индивидов (...) *государство должно прежде всего замкнуться от иностранной торговли* и образовать с этого момента такой же обособленный торговый организм, какой оно уже образовало — обособленный юридический и политический организм»<sup>202</sup>.

Как уже говорилось, именно Ф. Энгельс дал революционной традиции конца XIX — начала XX в. карт-бланш на изображение учения Маркса философским наследником немецкого идеализма<sup>203</sup> и тем самым санкционировал, при необходимости, избирательное использование наследия, в том числе Фихте. Энгельс писал: «мы, немецкие социалисты, гордимся тем, что ведём свое происхождение не только от Сен-Симона, Фурье и Оуэна, но также и от Канта, Фихте и Гегеля»<sup>204</sup>, а Бердяев много лет спустя, уже глубоко изнутри эпохи сталинизма,

---

и капитализму, индустриальной культуре, но принципиальные свои позиции он определил уже в этой статье» (Н. К. Гаврюшин. «Логика сердца» и безумие индустриализма: философские взгляды Б. П. Вышеславцева // Борис Петрович Вышеславцев / Под ред. А. И. Алешина. М., 2013. С. 25).

<sup>202</sup> И. Г. Фихте. Замкнутое торговое государство. Философский проект, служащий дополнением к науке о праве и попыткой построения грядущей политики [1800] / Пер. Э. Э. Эссена. М., 2010. С. 5, 42, 114.

<sup>203</sup> М. А. Колеров. П. Б. Струве в русском идейно-политическом и литературном процессе: новая биография. С. 250–251.

<sup>204</sup> Ф. Энгельс. Развитие социализма от утопии к науке [1880] // К. Маркс, Ф. Энгельс. Сочинения. Т. 19. М., 1961. С. 323 (Предисловие к немецкому изданию, 1882).

особо повторял это как нечто важное: «Не нужно забывать, что Маркс вышел из недр немецкого идеализма начала XIX века, он проникнут был идеями Фихте и Гегеля»<sup>205</sup>.

В немецкой экономической мысли несомненным и скорым публицистическим продолжением линии Фихте стал труд Тюнена «Изолированное государство в его отношении к сельскому хозяйству и национальной экономике» (*Der Isolierte Staat in Beziehung auf Landwirtschaft und Nationaloekonomie*). Общей предпосылкой своего исследования он взял условный образ замкнутой, суверенной и сбалансированной экономики «изолированного государства», доведённый до абсолюта<sup>206</sup>. Логично, что и этот труд был тогда же издан государственным издательством в СССР, специально сориентированный на его аграрную специфику, но в интересах её суверенного функционирования, а вовсе не в интересах описания её зависимости от мирового хозяйства в целом и экспорта в частности. Книге было предпослано предисловие видного советского экономиста-аграрника. В контексте общего советского увлечения подсчётом межотраслевого баланса и равновесия народного хозяйства как главной единицы экономических обобщений, то есть фундаментального признания факта и нормы суверенной экономической системы в контексте мирового хозяйства, он писал:

«За последние годы мы видим в русской экономической мысли большое оживление интереса к Тюнену. “Изолированное Государство” стало одной из постоянных тем семинарских занятий почти всех высших сельскохозяйственных школ... “Изолированное Государство” есть одна

---

<sup>205</sup> Николай Бердяев. Истоки и смысл русского коммунизма [1938]. М., 2012. С. 58.

<sup>206</sup> «Представьте себе очень большой город, расположенный посередине плодородной равнины, не прорезанной никакими судоходными реками и каналами. Пусть эта равнина имеет совершенно одинаковую почву, везде одинаково удобную для обработки, и пусть на большом расстоянии от города она переходит в девственные пространства, которые отделяют всё государство от остального мира. На равнине нет других городов, кроме упомянутого единственного большого города, на который и падает обязанность снабжать всю страну продуктами промышленного производства, который, в свою очередь, получает продукты питания исключительно от окружающей его равнины. Копи и солеварни, которые удовлетворяют все потребности государства в металлах и соли, мы мыслим себе лежащими также вблизи этого центрального города...». См. о Тюнене в послесталинской советской литературе: Ю. Г. Саушкин. Введение в экономическую географию. М., 1958. С. 78–80.

из интереснейших попыток построения рациональной системы народного хозяйства как в целом, так и в её конкретных выражениях на местах, в районах».

А главными читателями труда автору предисловия виделись: «Творцы современной сельскохозяйственной политики нашей республики, экономисты, агрономы, землеустроители, работники пути и другие лица, проникнутые задачами рационального районирования страны, ищущие лучших методов и форм организации крестьянского хозяйства, стремящиеся найти правильную экономическую оценку технически возможного и достигнутого, разрабатывающие и осуществляющие широкие землеустроительные и мелиоративные планы...»<sup>207</sup>.

Значимым для общественной актуализации наследия Фихте в России рубежа XIX–XX вв. было и философское «расширение» исторического и экономического учений марксизма до пределов универсального (в СССР риторически реализованного «диалектическими материалистами»). В Германии названные части марксизма не ограничивались непременно именно материалистической философией, а соединялись и с позитивизмом, и с «критическим позитивизмом», с «критическим направлением в марксизме», то есть неокантианством. П. И. Новгородцев в своём исследовании социалистической практики конца XIX — начала XX века писал: «практические положения марксизма вытекают не из марксизма, а из теории правового государства, из принципов Руссо, Канта и Гегеля, проникших в немецкий социализм под влиянием Лассалья»<sup>208</sup>. Отстаивая совместимость идеализма с революционностью, Струве вычленил примеры соединений: «Фихте — идеалист и социалист, Кант — идеалист и либерал»<sup>209</sup>.

Но после того как один из идейных вождей немецкой социал-демократии Эдуард Бернштейн (1850–1932), прямо соединил свой ре-

<sup>207</sup> А. А. Рыбников. Предисловие к русскому изданию // И. Г. Тюнен. Изолированное государство [1826] / Перевод Е. А. Торнеус под ред. А. А. Рыбникова. М., 1926. С. IX–X. А. А. Рыбников (1878–1938) — один из основателей советской экономической географии, аграрник, сотрудник А. В. Чаянова, в 1921 году — один из тех общественных деятелей, кто первым сообщил в Москве о катастрофическом голоде в Поволжье и призвал к помощи голодающим.

<sup>208</sup> П. И. Новгородцев. Об общественном идеале [1917] / Сост. А. В. Соболева. М., 1991. С. 376.

<sup>209</sup> Пётр Струве. Г. Чичерин и его обращение к прошлому [1897]. С. 619.

формистский политический ревизионизм, отказ от революционной перспективы с этическим учением Канта («назад к Канту!»), перед марксистами встала опасность, во-первых, утраты собственного «этического лица» на фоне кантианских аргументов либерально-социалистического «естественного права» (главным проповедником которого в России был П. И. Новгородцев, тесно связанный с «критическими марксистами» Булгаковым и Струве), а во-вторых, утраты революционного идеала, с которой не могли согласиться и «критические марксисты». Здесь на идейную помощь марксистам-философам и было призвано учение Фихте, пользовавшегося репутацией не только революционного трибуна, но и революционного «преодолителя» Канта. Заимствуя философские аргументы перехода к Фихте у неокантианца Г. Риккерта, Струве, в частности, выступил с лозунгом «назад к Фихте!». Бремя объяснить прикладной смысл этого лозунга пало уже на других марксистов. Ученица Г. В. Плеханова, темпераментный марксистский философ и критик, нашедшая своё место и в Советской России, Л. И. Аксельрод (Ортодокс, 1868–1946), будучи уже марксистским авторитетом, отметила столетие смерти Фихте полновесной апологией, которая, учитывая время её публикации, вошла в подбор «образцовой» марксистской литературы для первого поколения правящих большевистских интеллектуалов. Апологию Фихте как общественного деятеля, «первого социалиста в Германии», «последовательного демократа и утопического социалиста», «крепко родственно связанного... с современным международным социалистическим движением»<sup>210</sup> Л. И. Аксельрод соединила с особым вни-

<sup>210</sup> В этих квалификациях Фихте она уверенно следовала целой традиции марксистских и социалистических текстов. См., например, «Философия Фихте и значение немецкого народного духа» Ф. Лассалья, «Речи Фихте к немецкому народу» Ф. Меринга. Ср.: А. В. Луначарский. Фихте // А. В. Луначарский. От Спинозы до Маркса. Очерки по истории философии как мирозерцания. М., 1925. Современный историк русской философии почему-то игнорирует труды Вышеславцева, Франка, Струве, Бубнова, Яковенко, Н. О. Лосского, И. А. Ильина и других о Фихте и (если верить его оценке) заставляет думать, что в России репутация Фихте была преобладающе общественной, ибо утверждает, что «философия Фихте пользовалась в России куда меньшей популярностью, чем философия Канта, Шеллинга или Гегеля» (В. А. Жучков. Фихте как индикатор противоречий русской философии конца XIX — начала XX века // Философия Фихте в России / Ред.-сост. В. Ф. Пустарнаков. СПб., 2000. С. 214). Разумеется, бороться за приоритет с репутацией Канта в России Фихте не смог бы, но — судя по литературе — с вниманием к Шел-

манием к книге Фихте о «замкнутом государстве», которое противопоставила капитализму, меркантилизму и фритредерству: «философ приходит к заключению, что личность имеет право на жизнь, на труд и на собственность. Цель и задача государства состоит поэтому в обеспечении этих, согласно нравственному закону, неотъемлемых прав за каждым гражданином... План создания такого государства будущего Фихте развил в философско-социальном проекте, носящем заглавие: "Der geschlossene Handelstaat" ...»<sup>211</sup>

В этой интеллектуальной традиции и выступил немецкий экономист Фридрих Лист с продуманной философией национальной экономики и национального суверенитета:

«Между отдельным человеком и человечеством стоит нация с её особенным языком и литературой, с её собственным происхождением и историей, с её особенными нравами и обычаями, законами и учреждениями, с её правами на существование, на независимость, прогресс, вечную устойчивость и с её обособленной территорией; образовавшись в ассоциацию посредством солидарности умственных и материальных интересов, составляя одно самостоятельное целое, которое признаёт над собой авторитет закона, но в то же время, как целое, владея ещё естественной свободой по отношению к другим подобного рода ассоциациям, нация при существующем мировом порядке не может обеспечить свою самостоятельность и независимость иначе, как собственными силами и своими частными интересами. (...) Народная экономия становится национальной экономией в том случае, когда государство или федерация обнимает целую нацию, которая по количеству населения, территории, политическим

---

лингу и Гегелю он поспорил бы успешно. Даже марксистский интерес Л. Аксельрод к Фихте как к антикантианцу носил не только политически антилиберальный и антиревизионистский, но и вполне философский характер: Л. Аксельрод. Двойственная истина в современной немецкой философии // Л. Аксельрод (Ортодокс). Философские очерки. Ответ философским критикам исторического материализма. М.; Пг., 1923 (первое изд.: 1906). С. 31–40. См. также: С. Живаго. В последнюю годину власти тьмы // Полярная Звезда. СПб., 1906. 12 марта. № 13; Л. Двиг. Иоганн Готлиб Фихте — философ-гражданин // Вестник знания. СПб., 1914. № 1; Б. П. Вышеславцев. Фихте и немецкая нация // Юридический вестник. М., 1914. Кн. VII–VIII.

<sup>211</sup> Л. И. Аксельрод. Иоганн Готлиб Фихте (К столетию со дня смерти) [1914] // Л. И. Аксельрод (Ортодокс). Против идеализма. Критика некоторых идеалистических течений философской мысли. М., 2011 (по изданию 1922 года). С. 49, 51.

учреждениям, цивилизации, богатству и могуществу призвана к самостоятельности и представляет нацию, способную приобрести устойчивость и политическое значение. В данном случае народная и национальная экономии будут равнозначущи<sup>212</sup>. Вместе с государственной финансовой экономией они образуют политическую экономию нации... Здесь следовательно политика должна быть исключена из экономии... С этой точки зрения развивалась в Германии та наука, которую называли прежде государственным хозяйством (Staatswirthschaft), потом национальной экономией (National-Ökonomie), наконец, народным хозяйством (Volkswirthschaft). (...) чтобы поднять все страны на ту же степень богатства и цивилизации, на какой находится Англия, нет лучшего средства, как свобода торговли. Это аргумент школы. Но к каким результатам привела бы свобода торговли при существующих всемирных отношениях? Для англичан как нации независимой и изолированной национальные интересы послужили бы, конечно, руководящей нитью в их политике. Англичанин из пристрастия к своему языку, к своему законодательству и конституции, к своим привычкам, напрягал бы все свои силы и употреблял все капиталы для развития туземной промышленности, в чём ему помогала бы свобода торговли, которая открыла бы для английских мануфактур рынки всех стран; ему бы и на мысль не могло прийти основывать фабрики во Франции или в Германии. (...) Вся Англия, таким образом, обратилась бы в один необъятный мануфактурный город. Азия, Африка, Австралия были бы ею цивилизованы и усеяны государствами по английскому образцу. Таким образом, создался бы впоследствии под главенством метрополии целый мир английских государств, в котором европейские континентальные нации затерялись бы, как незначительные и бесплодные расы. (...) Политика, однако, признаёт такое развитие при помощи свободы торговли вполне неестественным; если бы, рассуждает она, во времена ганзейцев была применена всеобщая свобода торговли, то вместо английской немецкая нация опередила бы в торговле и промышленности все прочие нации. (...) Для того чтобы действие свободы торговли было естественным, необхо-

<sup>212</sup> Глубоко обоснованное здесь новое понимание национального интереса как общенародного и воспринятое из немецкого экономического языка XIX века при посредстве марксизма понятие «народного хозяйства» (national ökonomie) как обозначения общенационального масштаба экономики перешло в русский язык советской экономики и, став архаичным и уже не решая этих задач гражданской «национализации», существует до сих пор, в постсоветском экономическом языке, уже без этого подтекста.

димо, чтобы отставшие нации посредством искусственных мероприятий поднялись до той же степени развития, какой достигла искусственным образом Англия. (...)

...при современных мировых отношениях молодая, не обеспеченная покровительством промышленность не в состоянии развиться при свободной конкуренции с промышленностью, давно уже окрепшей, покровительствуемой на своей собственной территории... Верно, что ввозные пошлины сначала вызывают удорожание мануфактурных изделий; но так же верно и то, как признает и сама школа, что нация, способная к значительному развитию промышленности, с течением времени может вырабатывать эти произведения сама дешевле той цены, по какой они могут ввозиться из-за границы. Если ввозные пошлины требуют жертв в ценности, то эти жертвы уравниваются приобретением производительной силы, которая обеспечивает нации на будущее время не только бесконечно большую сумму материального богатства, но, кроме того, и промышленную независимость на случай войны»<sup>213</sup>.

Объединительный (немецких государств в Германию) протекционизм Ф. Листа, как уже было сказано, встретил внимательный анализ молодых Маркса и Энгельса, которые видели главное течение мирового прогресса в опыте Англии и Британской империи, вовне исповедовавших идеологию «свободы торговли», но оставались германскими патриотами и потому не могли игнорировать ничего, что обещало развить и объединить Германию. Пафос национального объединения и национального освобождения Германии, в русском восприятии внутренне родственный пафосу национально-религиозного освобождения и объединения Италии, ведомой столь любимыми в России и особенно русскими социалистами второй половины XIX — начала XX в. Дж. Гарибальди и Дж. Мадзини<sup>214</sup>, здесь узнавался и в наследии Листа. Главный пропагандист Листа в России и главный практик протекционизма и индустриализации в правительстве России С. Ю. Вите в лекциях наследнику престола сдержанно признал, что «национальное

---

<sup>213</sup> *Фридрих Лист*. Национальная система политической экономии [1841]. С. 152, 166, 122–123, 131–132.

<sup>214</sup> Об этом подробно см.: *М. А. Колеров*. Сборник «Проблемы идеализма» (1902): история и контекст. М., 2002. Глава «Идеализм в марксизме. Лассаль. Герцен. Мадзини».

движение в Европе (объединение Италии, Германии) совпало с общим протекционистским движением»<sup>215</sup>.

Годы спустя после своего марксизма и после яркого обращения к задаче синтеза социального, национального и религиозного освобождения России, С. Н. Булгаков в своих лекциях по политической экономии, которые настолько входили в обязательный минимум образования, что продолжали переиздаваться студентами и в годы Гражданской войны, начиная говорить о Листе, первым делом подчёркивал патриотическое значение его наследия:

«Наиболее полным и талантливым представителем протекционизма в своей критике смитианизма и манчестерства является германский писатель Фридрих Лист, который был не только теоретическим мыслителем, но и практическим деятелем. Его бурная и неудачная в личном отношении жизнь протекла в патриотическом служении своему отечеству; и недаром современная Германия в числе создателей немецкого национального могущества с благодарностью упоминает и всё более и более оценивает Фридриха Листа. (...) Между личностью и человечеством, по мнению Листа, стоит государство или нация: (...) “все нации несравненно легче достигали бы своих целей, если бы они были соединены правом, вечным миром и свободой сношений”. А для того, чтобы это осуществить, требуется известное могущество отдельной нации, а это могущество зависит от её экономического положения. (...) приходится ставить вопрос о тех средствах, которые должны в государствах содействовать развитию производительных сил. Таким средством является таможенная охрана и введение пошлин. (...) Политическая экономия Смита и его школы, по мнению Листа, есть экономия меновых ценностей. Он же хочет создать экономию развития производительных сил. В настоящее время понятие производительных сил и развитие производства до такой степени связаны с учением Маркса и его школы, что забывают о том, что первый, кто высказал эту мысль, был Лист. (...) Лист рассматривает таможенные пошлины как воспитательные средства, которые должны быть отменены по мере надобности. Он называет их костылями промышленности, будучи убеждён, что “протекционная система является единственным средством

<sup>215</sup> С. Ю. Витте. Конспект лекций о народном и государственном хозяйстве, читанных его высочеству великому князю Михаилу Александровичу в 1900–1902 годах. Т. 1. М., 2015. С. 234.

для поднятия отставших стран до уровня опередивших их наций, которые от природы не получили никакой вечной монополии мануфактурной промышленности, а лишь выиграли во времени перед другими нациями" (...) В настоящее время эти идеи Листа сделались до такой степени признанными истинами политической экономии, что свобода торговли защищается лишь как частное средство в применении к определённым условиям, но отнюдь не как универсально применимое начало экономической политики. Принцип исторически-относительной национальной обособленности данного хозяйства, выдвинутый Листом, получил всеобщее признание в политической экономии»<sup>216</sup>.

Аргументированию того, что именно Германия — достаточно зрелое для революции «слабое звено» в цепи капитализма, которое может стать первым примером победы коммунизма, посвятил особые усилия главный идеолог немецкой революционной социал-демократии Карл Каутский.

Продолжая выдвинутые Энгельсом аналогии между революционным движением в Германии и реформацией и крестьянской войной там же в первой четверти XVI века, Каутский ещё в 1899 году писал в полемике с экс-секретарём Энгельса Э. Бернштейном: «Победа рабочего класса Европы зависит не от одной Англии. Она может быть обеспечена лишь взаимодействием, по крайней мере, Англии, Франции и Германии. В двух последних странах рабочее движение значительно опередило английское. В Германии оно даже отстоит на вполне измеримом расстоянии от победы. (...) Почти четыреста лет назад тому Германия была исходным пунктом первых великих восстаний среднего класса Европы; не возможно ли при теперешнем положении вещей, что Германия станет также ареной первой великой победы европейского пролетариата?»<sup>217</sup> Конечно, после того как в 1914 году Каутский повёл германскую социал-демократию на защиту агрессивного блока

<sup>216</sup> С. Н. Булгаков. История экономических учений. Выпуск второй. 8-е издание. М., 1919. С. 153–158. Центральной фигурой протекционизма Ф. Лист был обозначен уже в программе курса «Истории экономических учений» Булгакова: П. И. Новгородцев, С. Н. Булгаков, Г. Ф. Шершеневич, Б. А. Кистяковский. Программы учебных курсов в Московском коммерческом институте (1911–1912) // Исследования по истории русской мысли. 6. Ежегодник за 2003 год. М., 2004. С. 575.

<sup>217</sup> К. Каутский. Бернштейн и материалистическое понимание истории [1899] // Исторический материализм [Хрестоматия] / Сост. С. Бронштейн [1908]. М., 2010. С. 183.

Центральных держав и когда после 1917 года он подверг жёсткой критике практику большевистской власти, в СССР не могли официально сослаться на его известные признания того, что неравномерность развития стран в мире автоматически сократит начальную территорию победившего социализма до нескольких (наиболее развитых) стран — и потому и речи не может быть о некой «всеобщности» мировой революции. В советской полемике догматика была успешна только при ссылах на Ленина. И беглые формулы о такой естественной неравномерности у Ленина найдены были.

Если бы партийные политические противоборцы в СССР не боялись в ходе полемики пригасить искомую монополию Ленина на уникальность и обнажить склонность Ленина к авантюризму, откровенно рассматривавшего Россию не только как «слабое звено», но и как простой «запал» к мировой революции, они легко обнаружили бы мощные корни доктрины «социализма в одной стране» во всей идейной предстории большевизма. И в споре о внутреннем рынке для капитализма, и в практике протекционизма, и в широко и без Ленина доктринально известной неравномерности развития, наконец, в уже высказанных Лениным признаниях об объективной незрелости России и неготовности её к социализму (не к собственной стабильной власти, а лишь к экспорту революции, для которого эта незрелость считалась достаточной). Ленин откровенно писал об этих своих планах уже тогда, когда о близости мировой революции речь на Западе даже не заходила, и ставил задачу для победившей рабоче-крестьянской диктатуры:

«перенести революционный пожар в Европу. Такая победа нисколько ещё не сделает из нашей буржуазной революции революцию социалистическую; демократический переворот не выйдет непосредственно из рамок буржуазных общественно-экономических отношений; но тем не менее значение такой победы будет гигантское для будущего развития и России и всего мира. (...) Насколько вероятна такая победа — вопрос другой. (...) Правда, наше, социал-демократическое, влияние на массу пролетариата ещё очень и очень недостаточно; революционное воздействие на массу крестьянства совсем ничтожно...»<sup>218</sup>

<sup>218</sup> В. И. Ленин. Полное собрание сочинений. Т. 11. М., 1960. С. 45 («Две тактики социал-демократии в демократической революции», 1905).

Что же можно было бы считать «победой»? Ориентируясь на образец Парижской Коммуны, просуществовавшей в рамках лишь столицы страны и всего 72 дня, ответ Ленин давал предельно ясный:

нужен «захват власти (хотя бы частичный, эпизодический и т.д.)», при этом «правительство не перестает быть правительством от того, что его власть распространяется не на много городов, а на один город, не на много районов, а на один район» и потому достаточен даже «частичный “захват власти” в городе или районе», при этом только «полная победа (...) даёт нам возможность поднять Европу», которая «в свою очередь поможет нам совершить социалистический переворот», ибо в самой России «вы найдёте ничтожный процент групп и кружков, сознавших задачи вооружённого восстания»<sup>219</sup>.

Не только марксистские прецеденты и шаблоны руководили Лениным, когда он, стоя во главе коммунистической диктатуры в изолированной стране, вынужден был признать очевидное: что диктатура эта выжила в одиночестве и что у «одной страны», наравне с другими «одними странами», возникают интересы, отдельные от мирового масштаба. Можно даже сказать, что — проживи Ленин конец 1922 — начало 1924 года в работоспособном состоянии, проживи он вообще дольше — Ленин вполне мог с присущей ему радикальной гибкостью сделать поворот в сторону изолированного социализма, гораздо радикальнее, чем это мог и хотел сделать Сталин<sup>220</sup>. Однако Ленину было бы труднее «просто» стать во главе изолированного государства и подчинить его внешней политике риторику мировой революции, не замысливая использовать Советскую Россию как плацдарм для мирового переворота и не подчиняя её ресурсы задачам мировой революции.

<sup>219</sup> В. И. Ленин. Полное собрание сочинений. Т. 11. С. 67–73, 95 (Там же). О том, что образец Парижской Коммуны был для Ленина не столько точным сценарием, сколько общепонятным образом и примером, ещё до октября 1917 года писал его давний партийный союзник и критик: А. А. Богданов. Государство-коммуна [1917] // А. А. Богданов. Новый мир. Вопросы социализма. М., 2014. С. 128.

<sup>220</sup> См. кстати содержательную дискуссию о долгосрочной капитуляции сталинского суверенизаторского проекта перед ленинским, *конфедеративным* проектом Мирового СССР: А. В. Марчуков [Рец.] Ю. Н. Жуков. Первое поражение Сталина. 1917–1922 годы: От Российской Империи к СССР. М., 2011 // Русский Сборник: Исследования по истории России. Т. XI. М., 2012. С. 547, 552.

Близкий конфидент Ленина, Максим Горький *именно в 1924 году (первая редакция) и 1930 году (вторая редакция)* — фактически становясь на сторону Сталина в его споре с Троцким — цитировал сказанные ему Лениным примерно в 1919 году слова, в которых ясно вставало осознание свершившейся изоляции<sup>221</sup> и следующей из неё практики «изолированного государства»: «Нас блокирует Европа, мы лишены ожидавшейся помощи европейского пролетариата»<sup>222</sup>. Ещё подробнее позже описывал эту встречу с реальностью и (в классических категориях) выводы из неё ближайший дореволюционный соратник Ленина, а в 1919—

<sup>221</sup> Да и мудрено было эту свершившуюся изоляцию не увидеть: несмотря на положение принятой в марте 1919 года программы РКП (б) о том, что «ход развития революции в Германии и Австро-Венгрии... распространение советской формы этого движения... всё это показало, что началась эра всемирной пролетарской, коммунистической революции», коммунистическая революция потерпела поражение в Германии уже в 1918-м и в январе 1919-го и в Венгрии летом 1919 года. Описание этапов реализации внешней экономической блокады Советской России начиная с октября—декабря 1918 г. см.: В. А. Шишкин. Советское государство и страны Запада в 1917–1923 гг. Очерки истории становления экономических отношений. Л., 1968. С. 104–108.

<sup>222</sup> Максим Горький. В. И. Ленин [1924, 1930] // Максим Горький. Литературные портреты. М., 2008. С. 203. Интересно, что, прежде чем изложить в своих воспоминаниях это признание Ленина, и прежде, чем оно было произнесено Лениным перед коммунистами (чего Горький уже не слышал), формулу революционного одиночества Горький породил сам, когда абсолютное большинство идейно близких ему большевиков ещё пребывало в эйфории от ожидания ближайшей мировой революции. Он писал, критикуя их в своём известном цикле «Несвоевременные мысли»: «Социальная революция без пролетариата — нелепость, бессмысленная утопия (...) Вожди пролетариата, — как я не однажды говорил, употребляют его как горючий материал, чтобы разжечь общеевропейскую революцию. Раньше, чем это нам удастся, русский рабочий будет раздавлен европейским солдатом (...) Мы — одиноки...» (Новая Жизнь. 11 января 1918). Ещё 27 апреля 1918 г. заместитель наркома внешней торговли РСФСР М. Г. Бронский на пленуме ВСНХ говорил: «Теория была рассчитана на осуществление социализма в целом ряде государств, экономическая политика которых была бы исключительно направлена к планомерному распределению продуктов между освобождёнными — социалистически организованными народами. На деле получилось не так... Общего мирового хозяйства ещё нет» (Цит. по: В. А. Шишкин. Советское государство и страны Запада. С. 24). О том, что Горький не приписал Ленину собственных мыслей, свидетельствуют черновые записи Ленина ноября—декабря 1922 года, подготовленные им к докладу «Пять лет российской революции и перспективы мировой революции» на IV конгрессе Коминтерна и речи на X съезде Советов: «5 лет мы одни; революции в других странах ещё нет; война и голод. Гибнуть? Мы вылезаем, одни, без помощи... Итог: значит, успех возможен, успех есть налицо... Мы одни, без чужой помощи вылезаем. Никакой помощи, напротив». И в другом месте: «мы одни, мы везём, а надо бы, чтобы нас везли».

1926 годах официальный глава Коммунистического Интернационала как исполнительного органа мировой революции Г. Е. Зиновьев:

«Было время, когда в момент Брестского мира даже В. И. [Ленин] считал, что вопрос о победе пролетарской революции в целом ряде передовых стран Европы есть вопрос двух–трёх месяцев. Было время, когда у нас, в Центральном Комитете партии, все часами считали развитие событий в Германии и Австрии. В этом смысле мы, конечно, ошиблись (...) Да, дело пошло так, что вопрос мировой революции — не вопрос трёх месяцев, а гораздо большего периода, но в то же время дело пошло так, что первая якобы изолированная революция продержаться одна тоже может гораздо больше, чем мы себе представляли... Я сказал: *якобы* изолированная революция. Мы не были в самом деле изолированы в полном смысле слова... наши силы зреют в каждом из буржуазном государств. (...) Теперь ясно, что ряд лет мы уже выиграли, что ряд лет мы имеем впереди даже в том случае, если темп событий не ускорится, даже если мы останемся изолированным Советским государством»<sup>223</sup>.

Нельзя сказать, что в этом осознании практической, несмотря на лозунги о пролетарской солидарности и всемирную сеть Коминтерна, **политической изоляции** (то есть в контрасте с образом мировой революции — «не всемирности») революционных событий в России состояла интеллектуальная революция или какой-нибудь особый «экономический национализм»<sup>224</sup>. Сама европоцентричная,

<sup>223</sup> Г. Зиновьев. Политический отчёт ЦК // Тринадцатый съезд Российской коммунистической партии (большевиков). Стенографический отчёт. 23–31 мая 1924. М., 1924. С. 41, 43. И после Зиновьев не устал повторять, что «мы были и остаёмся международными революционерами» и поэтому «окончательная победа [социализма в СССР] лежит на международной арене» (см. выступление Г. Зиновьева в дискуссии на партийной конференции 29 апреля 1925: Четырнадцатая конференция Российской коммунистической партии (большевиков). Стенографический отчёт. М.; Л., 1925. С. 244).

<sup>224</sup> Можно найти и более раннее свидетельство того, что большевики с самого начала революции 1917 ясно понимали своё одиночество. См. признание другого, кроме Зиновьева, секретаря Ленина: «В настоящее время очень часто приходится слышать ссылки на 1793 год во Франции и, притом, с разных сторон. Причина этому — очевидная: известное сходство между международным и внутренним положением русской революции 1917 года и великой французской революцией в 1793 году. Русской революции противостоит объединённая международная буржуазная реакция...» (Георгий Сафаров. Две диктатуры // Спартак. № 10. 29 октября 1917. М., 1917. С. 23–24. Рядом с републикацией ста-

общая для либералов, социалистов, марксистов, традиционная идеология «лидеров прогресса», «передовых стран» или революционного лидерства содержала в себе неизбежное географическое разделение центра мировой цивилизации / революции и её периферии. Новация состояла лишь в поиске субъекта *свершившейся* социально-политической революции, подобно революции 1789 года во Франции. Промежуточный формат «изолированной революции» определил её самый главный противник, неизменный апологет мировой революции, не способный, в отличие от Ленина, даже к немногочисленным оговоркам, Троцкий. 30 июля 1923 года в «Правде», в очередном ожидании скорейшей победоносной коммунистической революции в Германии, он уже писал о перспективе революционных «Соединённых Штатов Европы», которые должны были бы покончить с ненавистным проекционизмом национальных государств, питаясь внешними ресурсами. Так, как всегда в Новое время это делала европейская экономика за счёт колоний и периферии: «Даже временно изолированная Европа (а изолировать её будет не так-то легко при наличии великого моста на Восток в виде Советского Союза) не только удержится, но и поднимется и окрепнет, уничтожив таможенные перегородки и сомкнув своё хозяйство с необъятными естественными богатствами [колониального Востока и России. — М. К.]»<sup>225</sup>. То есть Троцкий вновь выступил с той идеологией ресурсного донорства аграрного СССР в пользу промышленной Германии, которая ещё недавно с участием Ленина была одобрена Политбюро ЦК РКП (б), изложена в его тезисах от 21 сентября 1921 г., ничем не отличалась от идеологии большевистской власти 1917–1918 гг. и таким образом выражала руководящий большевистский консенсус: «...такой союз имел бы в своём распоряжении все хозяйственные ресурсы, какие только необходимы для процветания и советской Германии, и СССР (...) Лозунг “Соединённые Штаты” для коммунистов является не чем иным, как этапом к лозунгу “Союз советских республик Европы”»<sup>226</sup>. А поскольку к такому союзу, разумеет-

---

тии Н. Ленина «Кризис назрел» (впервые: газета «Рабочий путь», 7 (20) октября 1917)).

<sup>225</sup> Цит. по: Ю. Н. Жуков. Обратная сторона НЭПа. Экономика и политическая борьба в СССР. 1923–1925 годы. М., 2014. С. 148–149.

<sup>226</sup> В Разделе первом Конституции СССР, принятой 6 июля 1923 и окончательно утверждённой 31 января 1924 на этот счёт было сказано: «Воля народов совет-

ся, будет принадлежать и СССР — лозунгу “Союз советских республик Европы и Азии”...»<sup>227</sup>

Таким образом, в 1922 году упорная борьба Сталина против проекта *СССР как федерации/конфедерации* за СССР как *унитарное государство* противостояла романтическому консенсусу большевиков о мировой революции, пока Сталин сам не открыл для себя внешнеполитических возможностей строительства «иррендентистских» национальных государств в составе СССР — в лице Украинской ССР, Белорусской ССР, Молдавской АССР, а с 1940 года и Карело-Финской ССР, чтобы — во исполнение планов мирового коммунизма, но более всего перед лицом исторической угрозы со стороны Румынии, Польши и Финляндии с их империалистическими проектами «Великой Румынии» (и аннексии Бессарабии), Польши в границах 1772 года и «Великой Финляндии». Это давало Сталину под контролем СССР подготовить и реализовать своеобразный *анти-аншлюс* — «национальное воссоединение» Молдавии, Украины, Белоруссии и Финляндии и Карелии<sup>228</sup>. И создать вокруг СССР пояс социалистических национальных государств в качестве протекторатов.

### «СОЦИАЛИЗМ В ОДНОЙ СТРАНЕ»

«Россия представляет собой передовой отряд революционного движения в Европе... Если русская революция послужит сигналом пролетарской революции на Западе...», — такие процитированные выше аван-

---

ских республик, собравшихся недавно на съезды своих Советов и единодушно принявших решение об образовании Союза Советских Социалистических Республик, служит надежной порукой в том, что (...) новое союзное государство (...) новым решительным шагом по пути объединения трудящихся всех стран в Мировую Социалистическую Советскую Республику».

<sup>227</sup> Цит. по: Ю. Н. Жуков. Обратная сторона НЭПа. С. 151–152. Автор исследования обращает внимание на то, что правящие большевики, конструируя в течение 1922 года СССР, делали это «таким образом, чтобы облегчить вступление в него Советской Германии» (С. 138).

<sup>228</sup> Об этом специально см. мой подготовляемый к печати очерк на основе доклада на международной конференции «Россия и славянские народы Восточной Европы в XIX–XX веках» в Центре евразийских исследований (Минск, 10 апреля 2016): «Анти-аншлюс вместо мировой революции: национальные государства СССР против лимитрофного империализма (1920–1940-е гг.)».

сы Маркса русским революционерам, конечно, были приятны их уху, хотя и были мотивированы пафосом уничтожения царской России как «оплота реакции». Авансы были услышаны и хорошо поняты. Но, если бы абсолютное большинство большевиков до конца поверило в эти авансы и эти призывы к *чистому разрушению как главной задаче*, оно не держалось бы столь цепко за веру в мировую революцию, вторичную роль в ней России и устами Ленина и Троцкого не утверждало бы, что без как можно более скорой мировой революции их большевистскую власть ждёт немедленная гибель. Они адекватно — вслед за Марксом, видевшим естественную неравномерность капиталистического развития в мире, — понимали неравномерность промышленного развития передового Запада и капиталистическую периферийность России. В 1898 году тогда признанный, наряду с Плехановым, ведущим русским теоретиком марксизма Пётр Струве писал (выделено мной):

«О равномерном развитии капиталистической промышленности во всем мире совершенно невозможно думать реалистически. Естественные различия отдельных хозяйственных областей всегда создают материальный базис для различных хозяйственных форм. Но было бы поистине печально ждать с социализмом до конца капиталистической перестройки всего земного шара. Таким образом, **нам следует представить “крушение” не во всей мировой экономике**, которая всегда будет охватывать некапиталистические и, что столь же важно, непромышленные отрасли хозяйства, но в одной более или менее ограниченной области промышленности»<sup>229</sup>.

Проблема индустриальной периферийности России (в экономике которой абсолютно преобладало некапиталистическое сельское хозяйство, если не считать, вслед за радикальными марксистами, капитализмом любое товарное производство) возвращала большевиков к поддержанному Марксом и Энгельсом спору русских марксистов и народников о достаточности внутреннего рынка этой аграрной России для *развития в ней капитализма, — то есть крупной промышленности, то есть перспектив индустриального социализма, то есть*

<sup>229</sup> Пётр Струве. Марксова теория социального развития. Критический опыт (1898) / Пер. А. В. Чусова под ред. Н. С. Плотникова // Исследования по истории русской мысли. Ежегодник на 2000 год / Под ред. М. А. Колерова. М., 2000. С. 118.

полноценного участия России в мировой революции на пути к коммунизму. Лежавший в подкладке этой проблемы вопрос о протекционизме как главном средстве «догоняющей» индустриализации уже был решён самым опытом Германии и опытом российского правительства Витте, но этот опыт большевикам ещё только предстояло осознать *не как партийный, а как государственный и даже общенациональный*. И он был осознан. Когда в СССР уже началась ускоренная сталинская индустриализация, бывший большевик, а в эмиграции видный германский социал-демократический экономист В. С. Войтинский (1885–1960) компетентно писал, следуя логике своего марксистского поколения:

«Для хозяйственно отсталых стран вопрос стоит совершенно так, как стоял он сто лет тому назад для немецкого капитализма... — речь идёт об использовании местных производительных сил, о развитии собственных фабрик и заводов, в частности, о переработке на месте имеющегося налично сырья. Все эти задачи рано или поздно встанут перед *каждым* народом, способным к развитию и исторической жизни. Но разрешение их требует усилия, разрыва с установившимися привычками, а порой — в зависимости от принятых “темпов” — и более суровых жертв. А для творчества и для жертв нужно народам — “во имя”. Таким “во имя” является неизменно одна и та же идея — идея *национального* утверждения. Она лежит в основе Петровской реформы, так же, как и в основе “Системы Национальной Экономии” Фридриха Листа. Она воодушевляет Кемаля так же, как южно-американских, прибалтийских и придунайских политиков. Она даёт жизнь и пафос советской “пятилетке”. Правда, как самоутверждение личности, так и самоутверждение народа легко принимает мало привлекательные” и даже опасные формы. Так было в прошлом, в героическую пору государственной стройки России, Германии, Соединённых Штатов, и то же самое повторяется на наших глазах в различнейших уголках земного шара. (...) Так как создаваемые ими фабрики и заводы могут сбывать свои продукты лишь на внутреннем рынке, и — вначале, во всяком случае, — работают хуже и дороже, нежели соответствующие предприятия старых капиталистических стран, то неизбежным спутником *индустриализации* оказывается *протекционизм*»<sup>230</sup>.

<sup>230</sup> Вл. Войтинский. Мировое хозяйство или автаркия? // Современные Записки. Кн. 54. Париж, 1934. С. 373–374.

Легко упрекнуть проводимое В. С. Войтинским применение исторической перспективы национального возрождения (объединения), изоляционизма и протекционизма к сталинскому «социализму в одной стране» в своеобразном адвокатировании сталинского коммунизма. Но какая именно альтернатива, какой именно позитивный сценарий надо было бы противопоставить такому адвокатированию доктрины мобилизации, изоляционизма и протекционизма в ландшафте разодранной мировой войной капиталистической экономики, особенно в годы кризисов рубежа 1910–1920-х и 1920–1930-х, перед лицом глобальной катастрофы 1940-х? Даже смотрящий на эти события предельно широко и в огромной исторической перспективе Бердяев ясно писал об этом в 1938 году в своём историософском труде, который, подобно сталинскому «Краткому курсу истории ВКП (б)» — для коммунистов, а троцкистским трудам — для антисталинистов, стал для западных исследователей катехизисом описания русской истории и русского коммунизма (выделено мной):

**«Национализация русского коммунизма**, о которой все свидетельствуют, имеет своим источником тот факт, что **коммунизм осуществляется лишь в одной стране, в России**, и коммунистическое царство окружено буржуазными, капиталистическими государствами. Коммунистическая революция в одной стране неизбежно ведёт к национализму и националистической международной политике. Только Троцкий остаётся интернационалистом, продолжает утверждать, что коммунизм в одной стране не осуществим, и требует мировой революции. Поэтому он и был извергнут, оказался ненужным, не соответствующим конструктивному национальному периоду коммунистической революции»<sup>231</sup>.

Противостоящая мировой преобладающе протекционистской практике теория мировой революции не только догматически игнорировала всеобщую лихорадку милитаризма, но и отражала колониалистский солипсизм её авторов и провинциальную вторичность её последователей: теория доминирования, теория цивилизаторского расизма, изначально — теория британского лидерства, она всегда отводила русским не равную, а подчинённую роль — просто в силу самой

<sup>231</sup> Николай Бердяев. Истоки и смысл русского коммунизма [1938]. М., 2012. С. 87.

дихотомии прогресса и отсталости. В годы кризисов и катастроф эта роль была ролью «расходного материала», а не решения собственных социальных и национальных задач страны и народа. Даже в устах тех русских, кто, как Ленин, претендовал стать главным цивилизатором России, теория мировой революции не случайно определяла России роль «запала» и «горючего материала»<sup>232</sup>. В лучшем случае — как ресурсной базы для экспорта революции. Критикуя — уже в изгнании — Сталина за «предательство мировой революции» в пользу status quo, в труде «Преданная революция. Что такое СССР и куда он идёт?» (1936) Троцкий писал:

«Уже “теория” социализма в отдельной стране, впервые возведённая осенью 1924 года, знаменовала стремление освободить советскую внешнюю политику от программы международной революции... Опасность комбинированного нападения на СССР только потому принимает на наших глазах осязательные формы, что страна советов всё ещё изолирована; что

<sup>232</sup> Горький писал об этом предельно откровенно: «Продолжаю думать, что для Ленина Россия — только материал опыта, начатого в размерах всемирных, планетарных. Раньше эта мысль, затемнённая чувством жалости к русскому народу, возмущала меня, но, наблюдая, как течение событий русской революции, расширяясь и углубляясь, всё более возбуждает и организует силы, способные разрушить основы капиталистического строя, я нахожу теперь, что если Россия и обречена служить объектом опыта, то несправедливо возлагать ответственность за это на человека, который стремится превратить потенциальную энергию русской трудовой массы в энергию кинетическую, актуальную. Каждый получает то, что заслужил: это справедливо. Народ, загинувший в духоте монархии, бездеятельный и безвольный, лишённый веры в себя, недостаточно “буржуазный”, чтобы быть сильным в сопротивлении, и недостаточно сильный, чтобы убить в себе нищенски, но цепко усвоенное стремление к буржуазному благополучию, — этот народ, по логике бездарной истории своей, очевидно, должен пережить все драмы и трагедии, обязательные для существа пассивного и живущего в эпоху зверски развитой борьбы классов, гнуснейшим выражением которой является кровавая мерзость, как война 1914–1918 годов. (...) В этих строках шла речь о человеке, который имел бесстрашие начать процесс общеевропейской социальной революции в стране, где значительный процент крестьян хотят быть сытенькими буржуями, не более того. Это бесстрашие считают безумием. (...) Был момент, когда естественная жалость к народу России заставила меня считать безумие почти преступлением. Но теперь, когда я вижу, что этот народ гораздо лучше умеет терпеливо страдать, чем сознательно и честно работать, — я снова пою славу священному безумству храбрых. Из них же Владимир Ленин — первый и самый безумный» (*М. Горький. Владимир Ильич Ленин // Ленин / Сост. В. Крайний и М. Беспалов под ред. Д. Лебеда. Изд. 2, испр. и доп. Харьков, 1924. С. 141–142, 146*).

на значительном своём протяжении “одна шестая часть земного шара” представляет царство первобытной отсталости (...) Октябрьская революция, в которой вожди её видели только вступление к мировой революции, но которая ходом вещей получила на время самодовлеющее значение, обнаруживает на новой исторической ступени свою глубокую зависимость от мирового развития. Снова становится очевидно, что исторический вопрос: кто — кого? не может быть разрешён в национальных рамках... Борьба за благоприятное изменение соотношения мировых сил налагает на рабочее государство постоянную обязанность приходить на помощь освободительным движениям в других странах. Но именно эта основная задача находится в непримиримом противоречии с консервативной политикой статус-кво».

Меньшевистские критики Сталина в рамках пропагандистской марксистской догмы (но против многочисленных практических оговорок Маркса, Энгельса и их личных учеников) законно спорили с Сталиным (и косвенно с его апелляциями к единичным пассажирам Ленина), естественно сходясь в этом с троцкистами (что большевистские критики Троцкого отметили уже в 1925 году)<sup>233</sup> *в защиту мировой революции и исключительно мирового масштаба перемен и международного разделения труда для её успеха.*

Есть основания полагать, что многое в этом противопоставлении мировой революции «социализму в одной стране» было актом противопоставления марксистской догмы XIX века, мастерами повторения которой оставались меньшевики и троцкисты, особенно в эмиграции,

<sup>233</sup> «Отрицание возможности построения социализма *в одной стране*, в сущности, было давним убеждением всей марксистской мысли. (...) правящая часть Политбюро, в противоположность Троцкому и всей прежней троцкистской мысли, начала склоняться к теории о социализме в одной стране... когда в июне 1925 г. Сталин выступил с докладом среди студентов Свердловского института... На одну из них [записок] Сталин ответил следующими словами: “...Нельзя строить на авось, ожидая социальной революции во всем мире. Вопрос о перспективе есть важнейший вопрос нашей партии. Мы можем построить социализм без предварительной победы социализма в других странах, без прямой помощи техникой и оборудованием победившего пролетариата Запада. Мы уже строим социализм. Отрицание возможности строительства в нашей стране есть ликвидаторство, ведущее к перерождению партии”...» (Н. Валентинов (Н. Вольский). Новая экономическая политика и кризис партии после смерти Ленина: Годы работы в ВСНХ во время НЭП. Воспоминания. М., 1991. С. 222–223).

и советской практики XX века, объединявшей вокруг себя тех, кто имел в своём распоряжении Советскую власть и СССР как суверенное государство. Троцкий, беря в политические свидетели память о Ленине, ясно рисовал (предположительно) их с Лениным общие амбиции не только не смиряться с рамками СССР как отдельного государства, но и признавать, что в ряду «цивилизованных» государств СССР нет:

«Мировая территория, захваченная так называемым цивилизованным человечеством, рассматривается как единое поле гигантской борьбы, составными элементами которой являются отдельные народы и их классы. Ни один крупный вопрос не замыкается в национальные рамки»<sup>234</sup>.

Но практическая эрозия догмы с годами распространилась даже на самих меньшевиков: один из их самых влиятельных и успешных лидеров в эмиграции (чему не помешало его родство с правящим большевиком А. И. Рыковым и деловые отношения с официальными историками партии, равно как затем — со спецслужбами США), Б. И. Николаевский (1887–1966) уже в 1931 году, когда сталинский курс на радикальную экономическую мобилизацию терпел крах, а виноватыми за него были назначены и подвергнуты чистке, напротив, склонные к эволюционной мобилизации бывшие меньшевистско-народнические кадры, интенсивно представленные в экономических ведомствах, своеобразно выступил в пользу перспективы «социализма в одной стране». Споря с меньшевиком Ф. И. Даном, полагавшимся на общее движение всего Запада к социализму и демократии («вывод для России: она не вырвана из международной обстановки»), Николаевский заявлял: «Моя позиция — это ориентация на “плохонькую демократию в одной стране”, и в этом отношении я такой же утопист, конечно, с обратным знаком, как Сталин, мечтающий о социализме в одной стране»<sup>235</sup>.

Можно характеризовать эту перспективу как изоляционистскую, суверенную, протекционистскую, народно-хозяйственную, но глав-

<sup>234</sup> Л. Троцкий. Ленин, как национальный тип // Ленин / Сост. В. Крайний и М. Беспалов под ред. Д. Лебеда. Изд. 2, испр. и доп. Харьков, 1924. С. 33.

<sup>235</sup> Б. И. Николаевский — И. Г. Церетели 13 января 1931 // Из архива Б. И. Николаевского. Переписка с И. Г. Церетели 1923–1958 гг. Вып. 2: Письма 1931–1958 гг. / Отв. ред. А. П. Ненароков. М., 2012. С. 19.

ным в ней был очевидный отказ от догмы мировой революции (в которой реальный СССР неизбежно превращался в подчинённую периферию) и практическое превращение доктрины мировой революции (которой следовал созданный большевиками Коммунистический интернационал) в инструмент мировой политики собственно СССР, обслуживающей его суверенные интересы (которым и был подчинён Коминтерн). Информированный перебежчик передавал на Западе якобы лично известную ему фразу Сталина на заседании Политбюро (о чём перебежчик знать принципе не мог), которая, конечно, была не более чем частью устного предания в высшей большевистской среде: «Отношение Сталина к Коммунистическому Интернационалу и его зарубежным функционерам всегда было циничным. Ещё в 1927 году на заседании Политбюро он сказал:

— Кто такие эти люди Коминтерна? Это — нахлебники, живущие за наш счёт. И через девяносто лет они не смогут сделать ни одной революции»<sup>236</sup>.

И, ориентируясь на вкусы троцкистского издания, перебежчик точно определил центральный антисталинский риторический миф о разногласиях между коммунизмом Троцкого и «национализмом» Сталина, в котором главной задачей Сталина была названа «окончательная ликвидация революционного интернационализма, большевизма, учения и всего дела Октябрьской революции»<sup>237</sup>.

Полемика, очевидно, шла о доступе к суверенной власти.

Противостоящие «глобалистской» перспективе троцкизма и его апологии *международного разделения труда*, которое теперь — при свете науки — оказывается догматическим либеральным мифом из XIX века, который противостоял **мировой реальности дезинтеграции и суверенизации**<sup>238</sup>, сталинисты и после поражения Троцкого не могли простить ему отрицания самостоятельной советской государственности, то есть их собственной власти. **«Товарищи, когда-то Троцкий (произносишь это имя, и нехоро-**

<sup>236</sup> Вальтер Кривицкий. Я был агентом Сталина. С. 86–87.

<sup>237</sup> Из беседы Льва Седова с Вальтером Кривицким [1937] // Вальтер Кривицкий. Я был агентом Сталина. С. 283.

<sup>238</sup> Этот процесс экономической дезинтеграции мировой экономики фиксируется и в период 1913–1980 гг.: *Грегори Кларк*. Прощай, нищета! Краткая экономическая история мира / Пер. Н. Эдельмана. М., 2012. С. 441.

шее сразу настроение делается, будь он трижды проклят, чтобы его поминать на таких наших съездах!) обвинял нашу партию в «национальной ограниченности», в измене интернационализму», — говорил верный сталинец С. М. Киров на XVII съезде ВКП (б) 31 января 1934 года<sup>239</sup>. Троцкий был прав — и Киров напрасно стеснялся признать реальность.

В осознании государственного смысла независимой, самодостаточной экономики и суверенной власти большевики, сколь бы они ни уходили от прямого признания, пользовались идейной поддержкой широкого спектра подсоветской интеллигенции и политически разномысленных патриотов России в эмиграции. Г. Г. Шпет (1879–1937), тогда успешный советский служащий (вице-президент Государственной академии художественных наук), определял фронт культурных работ в антитроцкистском духе: «в интересах государственности... если экономическая и политическая ситуация заставляют нас провозгласить лозунг самостоятельной промышленности, то тем самым уже она энергично толкает нас в сторону изучения, на первом плане, собственных естественных богатств, но не в меньшей мере, надо думать, и культурных»<sup>240</sup>. Сотрудник Политического Красного Креста Е. П. Пешковой (1922–1937), бундовец и инженер М. Л. Винавер (1880–1942) писал по этому поводу известной социалистической политической деятельнице Е. Д. Кусковой (1869–1958) в эмиграцию: «Капитал заграничный — вещь весьма нужная, действующая как катализатор при возрождении Народного хозяйства России; но, очевидно, и без этого заграничного капитала Россия помаленьку возродит-

<sup>239</sup> Такое сведение счётов с оттенком самооправдания за «недостаточную революционность» задал, конечно, Сталин. В 1932 г. он уязвленно спорил: «История знает немало социалистов, которые с пеной у рта требовали от рабочих партий *других* стран самых что ни на есть революционных действий. Но это ещё не значит, что они *не пасовали* в своей собственной партии или в своей собственной стране перед *своими* оппортунистами, перед *своей* буржуазией» (И. В. Сталин. О некоторых вопросах истории большевизма. Письмо в редакцию журнала «Пролетарская революция» // Литературная учёба. М.; Л., 1932. № 4. С. 8), а пропагандист здесь же разяснял прозвучавший намёк: «Троцкий подsunул всем врагам советских республик и рабочего класса тезис о невозможности построения социализма в Советском Союзе...» (Письмо тов. Сталина в редакцию журнала «Пролетарская революция» «О некоторых вопросах истории большевизма» и задачи литературоведения // Там же. С. 17).

<sup>240</sup> Г. Шпет. К вопросу о постановке научной работы в области искусствоведения // Бюллетени ГАХН / Под ред. А. А. Сидорова. [Вып.] 4–5. М., 1926. С. 10.

ся — и вопрос времени; если с капиталом ей нужно бы, скажем, 20 лет, то без капитала заграничного потребуется 40 лет; но зато она будет менее экономической колонией (а следовательно, и политической), чем при усиленном наплыве заграничного капитала»<sup>241</sup>. Русский религиозный философ, сотрудник Всесоюзного электротехнического института, знаковая фигура внешне лояльного подсоветского духовного диссидентства П. А. Флоренский (1882–1937) в адресованном Советской власти трактате «Предполагаемое государственное устройство в будущем» (1933), который можно трактовать как его политическое завещание для СССР, ратовал за внешнеполитически и экономически самодостаточное государство, критиковал его зависимость от экспорта и импорта, ставил в центр экономической политики природные ресурсы страны с целью «экономической изоляции от внешнего мирового рынка»<sup>242</sup>. Консервативная часть радикально антисоветской эмиграции, кстати, вполне адекватно осознала главное содержание решаемой большевиками проблемы «социализма в одной стране». «Мы должны вскрыть ту роль, которую призвана играть здоровая Россия в мировом хозяйстве. Степень хозяйственной зависимости России от других держав, причины этой зависимости и возможности борьбы с нею; пути, ведущие к увеличению хозяйственного веса и влияния России в мировом масштабе; хозяйственная связь России с ближайшими политическими соседями; хозяйственные конкуренты России в мире и возможные столкновения интересов с ними...», — трезво писал об этом И. А. Ильин<sup>243</sup>. Это было написано незадолго до того, как по заданию германских (и затем, в частности, гитлеровских) ведомств он начал описывать реальность СССР в категориях абсолютного зла и абсолютного ему противостояния<sup>244</sup>.

<sup>241</sup> «Наш спор с Вами решит жизнь»: Письма М. Л. Винавера и Е. П. Пешковой к Е. Д. Кусковой, 1923–1936 / Сост. Л. А. Должанской. М., 2009. С. 60.

<sup>242</sup> Об этом подробно: М. А. Колеров. К определению социально-политического смысла трактата П. А. Флоренского «Предполагаемое государственное устройство в будущем» (1933) // Исследования по истории русской мысли. 9. Ежегодник за 2008–2009 год. М., 2012. С. 456.

<sup>243</sup> И. А. Ильин. Общее направление журнала [«Русский Колокол»] [1927] // И. А. Ильин. Собрание сочинений / Сост. Ю. Т. Лисицы. Русский Колокол: Журнал волевой идеи. М., 2008. С. 33.

<sup>244</sup> Welt vor dem Abgrund. Politik, Wirtschaft und Kultur im kommunistischen Staate. Nach authentischen Quellen / Ein Sammelwerk, bearbeitet und herausgegeben von Iwan Iljin. Berlin, 1931. Русский перевод: И. А. Ильин. Собрание сочинений /

Социал-демократ, политический эмигрант из СССР, православный мыслитель, историк и критик равно имперской и советской России, делавший ставку на её демократическое антисталинское перерождение и возрождение, Г. П. Федотов (1886–1951) был одним из первых исследователей, кто уверенно поместил сталинский коммунизм в длительный исторический контекст. И на этом пути он сделал важные наблюдения, редкие для современника, погружённого в политическую борьбу, но созвучные логике государственного строительства. Г. П. Федотов писал в 1931 году, повторяя традиционные, историографически весьма давние и глубокие аналогии с Америкой / США:

«Чуткость большевиков (впрочем, связанная с их доктриной) сказалась в обострённом внимании к проблемам техники и индустрии. Разрушители русской промышленности, они мечтают продолжать дело Витте, окарикатурив его до сталинской пятилетки. (...) Разумеется, мы не помышляем о превращении русского мужика в фабричного рабочего, России в Англию. Естественные условия и богатство страны, всё наше прошлое — предопределяют аграрный тип России. Но Россия может и должна перерабатывать своё сырьё. Россия может добиться экономической независимости от Запада. Россия должна обеспечить снабжение своей армии на случай войны. По природе, по географическому размаху России, она призвана стать независимым хозяйственным миром. Экономическая автаркия, которая является вредной утопией для мелких государств, для России вполне достижима. Америка — хозяйственный организм, наиболее близкий России, несмотря на полярную разницу хозяйственной психологии»<sup>245</sup>.

---

Сост. Ю. Т. Лисицы: Мир перед пропастью. Политика, хозяйство и культура в коммунистическом государстве. Часть I и II / Пер. О. В. Колтыпиной. М., 2001; *И. А. Ильин. Собрание сочинений* / Сост. Ю. Т. Лисицы: Мир перед пропастью. Часть III. Аналитические записки и публицистика (1928–1941) / Пер. О. В. Колтыпиной. М., 2001. С. 7–152.

<sup>245</sup> Г. П. Федотов. Проблемы будущей России [1931] // Г. П. Федотов. Собрание сочинений в 12-ти т. / Сост. С. С. Бычков. Т. 5. М., 2011. С. 141–142. Пример *splendid isolation* Британии и географической изоляции Нового Света, акцентированной в «доктрине Монро» (1823) С.-А. С. Ш. (которая самоизолировала страну от событий в Европе и Старом Свете в целом, но объявляла её монополию на доминирование в Северной и Южной Америке), не мог не вызвать в России настроений о достижимости этого сценария для неё самой, который бы мог, не порывая её культурного единства с внешней Европой, помочь преодолеть её периферийное и вторичное положение. Служа продолжением конструкции «отдельного», а не «периферий», сравнение чаемой России / СССР с Америкой не часто, но уве-

Критически настроенный Э. Ф. Голлербах (1895–1942) записал в 1939 году, комментируя мысль Ленина об интернациональном соединении пролетарских частей национальных культур в противоречии культурно-национальным автономиям: «Изолированность — типичное свойство всех великих отошедших культур. Ещё в большей мере это грех маленьких культур, изолированных по национальному признаку»<sup>246</sup>. А уже с высоты опыта Второй мировой войны

ренно присутствовало в русской и советской политической культуре: впервые появившись в XIX веке как аналог Сибири, образ Америки стал распространяться на всю Россию. О таком развитии образа писал и Г. П. Федотов, отталкиваясь от стихотворения А. А. Блока и сравнивая её масштаб с масштабом России как целостного политико-географического «евразийского континента» (*Г. П. Федотов. Создание элиты [1939] // Там же. Т. 6. М., 2013. С. 401; Г. П. Федотов. Завтрашний день [1938] // Там же. Т. 6. С. 390*). Г. П. Федотов писал в связи с этим, что «для России было бы опасно вторичное включение в “политический концерт” Европы в момент его зловещей какофонии и политического пробуждения Азии. Россия должна выдержать нейтралитет в борьбе Европы с миром цветных рас... Россия имеет ещё много неизжитых возможностей для относительной хозяйственной автаркии» (*Г. П. Федотов. Сумерки отечества [1931] // Г. П. Федотов. Судьба и грехи России. Избранные статьи по философии русской истории и культуры / Сост. В. Ф. Бойков. Т. 1. СПб., 1991. С. 327*). А затем, что «автаркия России может быть оправдываема, на худой конец, лишь экономически. Подобно Соединённым Штатам, российский материк представляет условия, почти удовлетворяющие требованиям хозяйственного самодовления» (*Г. П. Федотов. Федерация и Россия [1940] // Г. П. Федотов. Собрание сочинений в 12 т.: Т. 7. Статьи из журналов «Новая Россия», «Новый Град», «Современные записки», «Православное дело», из альманаха «Круг», «Владимирского сборника» / Сост. С. С. Бычков. М., 2014. С. 16*). См.: «Путь степной — без конца, без исхода, / Степь, да ветер, да ветер, — и вдруг / Многоярусный корпус завода, / Города из рабочих лачуг... (...) Уголь стонет, и соль забелелась, / И железная воет руда... / То над степью пустой загорелась / Мне Америки новой звезда!» (*А. А. Блок. «Новая Америка», 12 декабря 1913*). См. очерк темы, начиная с Радищева, Пушкина, Герцена и др.: *Валентина Сушкова. «Имидж» Америки в контексте русской художественной мысли конца XIX — начала XX века // Конструкты национальной идентичности в русской культуре: вторая половина XIX столетия — Серебряный век. Материалы конференции. Июнь 2009 г., Тюмень / Тобольск / Под ред. Р. Нохейль, Ф. Карл, Э. Шоре. М., 2011*. Одно из первых упоминаний-сравнений в таком контексте см.: «Европа в России не нуждалась... да ведь она и в Америке не нуждалась. Две страны эти *нарождались* по сторонам её, как два огромных флигеля. Смысл и значение Америки и России только теперь начинает проясняться, особенно с 1848 года» (*А. И. Герцен. Россия и Польша. Письмо третье [1859] // А. И. Герцен. Полное собрание сочинений в 30 т. Т. 14: Статьи из «Колокола» и другие произведения 1859–1860 годов. М., 1958. С. 32*). Об идеях Герцена об Америке и Сибири см. специально: *В. Г. Мирзоев. Историография Сибири (Домарксистский период). М., 1970. С. 217*.

<sup>246</sup> *Эрих Голлербах. Meditata // Эрих Голлербах. Встречи и впечатления / Сост. Евгений Голлербах. СПб., 1998. С. 411, 550.*

русский эмигрант, социалист и выдающийся французский социолог Г. Д. Гурвич (1894–1965) неожиданно встал на защиту СССР от подготавливаемой «холодной войны» и констатировал его здоровые государственные интересы, реализуемые как раз со времени выбора между Троцким и Сталиным: «Приход Сталина к власти ознаменовался возобладанием национальных задач над международными. Провозглашается строительство социализма в одной стране, и страна постепенно переходит к усиленному строительству и индустриализации...»<sup>247</sup>.

Последовательно антикоммунистически настроенный русский эмигрант-экономист с полной уверенностью отстаивал самодостаточность народного хозяйства России. А. Д. Билимович (1876–1963) писал:

«народное хозяйство России ясно выступает как некое органическое единство, как живой хозяйственный организм, как органически цельная хозяйственная сторона того органического же культурного, хозяйственного и геополитического единства, которое представляет собою путём долгого исторического процесса образовавшееся Российское государство. Единства, которое органически росло, пока не достигло своих естественных пределов, так же, как органически росли США, пока из прибрежной полосы на Атлантическом океане не достигли размеров целого континента. А потому это хозяйственное единство не может быть рассечено на части без гибельных последствий для всех его частей, в том числе и в первую голову тех частей, которые были бы отсечены от целого и легко стали бы простой игрушкой в руках врагов цельной России. Надо, однако, сказать, что в это органическое единство входят не все области, составлявшие в своё время территорию России. Так, например, в него не входила Финляндия или национально-польская часть Польши»<sup>248</sup>.

Догматическим инструментарием проекта «социализма в одной стране» стала проблематика источников «первоначального накопления» капитала для финансирования индустриализации страны, протекционизма в её внешнеэкономических отношениях с заведомо более

<sup>247</sup> Г. Д. Гурвич. Будущность России [1944] // М. В. Антонов. Право и общество в концепции Георгия Давидовича Гурвича. М., 2013. С. 306.

<sup>248</sup> А. Д. Билимович. Экономический строй освобождённой России [1960] // А. Д. Билимович. Труды / Сост. Э. Б. Корицкий, А. Л. Дмитриев. СПб., 2007. С. 457–458.

сильными зарубежными странами, факторах и целях изолированного существования России в контексте политики великих держав Запада, объективно превращающей страну в объект колониальной эксплуатации. Марксист, бывший высокопоставленный советский экономический чиновник, эмигрант Н. В. Валентинов (1879–1964) вспоминал, упрощённо (и необоснованно) возлагая всю интеллектуальную инициативу в этом историческом споре и выборе на троцкистов:

«Отрицая возможность без мировой революции построения социализма в одной стране, троцкисты (Пятаков, Преображенский) уже в 1925 г. начали изменять свою концепцию исключительно важным дополнением: если допустить, говорили они, что возможно построение социализма в одной стране, то для этого нужны не черепашьи шаги, нужно идти с максимальной быстротой, форсируя темпы строительства, напрягая все силы страны (...) Е. Преображенский в статье, появившейся в 1923 г.<sup>249</sup> в восьмой книге “Вестника коммунистической академии” стал доказывать, будто накопление, необходимое для строительства хозяйственной базы социализма в СССР, может и должно быть создано лишь методом первоначального капиталистического накопления. (...) род накопления, который он называет “первоначальным социалистическим накоплением”, черпает свои средства “вне комплекса государственного хозяйства”, выгребая их разными способами из деревни. Теория Преображенского<sup>250</sup>, немедленно

<sup>249</sup> Ошибка. Верно: 1924.

<sup>250</sup> Критикуя Преображенского, Н. И. Бухарин писал: «...в 1920 г. я в своей “Экономике переходного периода” употребил термин “первоначальное социалистическое накопление” и в сноске прибавил: “термин, предложенный В. М. Смирновым”. На это Ленин реагировал следующей припиской: “и крайне неудачный. Детская игра, копирование терминов, употребленных взрослыми» (*Н. И. Бухарин. К вопросу о закономерностях переходного периода (Критические заметки на книгу тов. Преображенского: «Новая экономика», изд. Комм. Академии. М., 1926 г.)* [1926] // Н. И. Бухарин. Путь к социализму. Избранные произведения. Новосибирск, 1990. С. 126). Исследователь уверяет, напротив, что лозунг «*первоначального социалистического накопления*» был изобретением Л. Д. Троцкого и приобрёл партийное звучание, когда он по личной инициативе и вне коллективного обсуждения в Политбюро выдвинул его на XII съезде РКП (б) в апреле 1923 года, затем на пленуме ЦК 14–15 января 1924, за ним это повторил председатель СНК СССР А. И. Рыков на XIII конференции 16 января 1924 и 2 июня 1925 Сталин, секретари ЦК В. М. Молотов и А. А. Андреев. При этом Троцкий изначально был против частного накопления в крестьянских хозяйствах, видимо, представляя себе перспективу аграрных фабрик, а Сталин и сталинцы — отказывались рисковать конфликтом с крестьянством и полага-

подхваченная Пятаковым и некоторыми другими троцкистами, вне этого небольшого круга ни в 1923, ни в 1924 г. внимания к себе не привлекала. Но когда в 1925 г. в связи с построением социализма в одной стране был поставлен вопрос о необходимости для этого накопления — теория Преображенского, с циничной ясностью указывающая, как и откуда оно может быть получено, не могла не стать предметом обсуждения (...) Через четыре года теория Преображенского была полностью и в ещё более чудовищном виде усвоена Сталиным и сделана основным законом генеральной линии партии. Накопление капитала, строительство социализма в одной стране с помощью пятилетних планов Сталин базировал на “дани” (это его слова), взимаемой жесточайшими мерами с крестьянства»<sup>251</sup>.

В этой мемуарной схеме Валентинова ответственность за приложение к социалистическому строительству социоцидной практики марковского «первоначального капиталистического накопления», таким образом, возлагается на Сталина. Однако, полемизируя против теории «социалистического первоначального накопления», тогдашний сталинец Бухарин не видел, что в ней Е. А. Преображенский (1886–1937) *прямо и сознательно* намерен революционно снижать массовый спрос и даже потребление ради резкого накопления-экс-

---

лись на рыночные правила НЭПа (Ю. Н. Жуков. Обратная сторона НЭПа. Экономика и политическая борьба в СССР. 1923–1925 годы. М., 2014. С. 86, 237–238, 347–348).

<sup>251</sup> Н. В. Валентинов. Наследники Ленина [1958–1959] / Ред.-сост. Ю. Г. Фельштинский. М., 1991. С. 84–85. Ср. реферат взглядов Преображенского: «Первоначальное социалистическое накопление», по Преображенскому, черпает свои средства «вне комплекса государственного социалистического хозяйства» — «из деревни, из хозяйства мелких производителей», «из источников *досоциалистических форм хозяйства*»: «Задачи социалистического государства не в том, чтобы брать с мелкобуржуазных производителей меньше, чем брал капитализм, а в том, чтобы брать ещё больше... Чем более экономически отсталой, мелкобуржуазной, крестьянской является та или иная страна... — тем относительно больше социалистическое накопление будет вынуждено опираться на отчуждение части прибавочного продукта *досоциалистических форм хозяйства*» (Н. Валентинов (Н. Вольский). Новая экономическая политика и кризис партии после смерти Ленина: Годы работы в ВСНХ во время НЭП. [1956]. С. 219). Эта восходящая к Карлу Марксу большевистская доктринальная логика «первоначального социалистического накопления» также может быть возведена к дискуссии об источниках капитала для отечественной индустриализации, которую ещё до Первой мировой войны вёл, например, марксистский экономист М. И. Туган-Барановский (1865–1919).

проприации. Бухарин предполагал, что Преображенский намерен развивать спрос ради эволюционного накопления централизованного капитала, но оспаривал реалистичность таких намерений, апеллируя к старой марксистской мудрости о самодостаточности внутреннего рынка: «ёмкость внутреннего рынка, определяющая спрос, есть один из важнейших факторов, непосредственно определяющих размеры легкой индустрии, и отчасти металлической и проч. промышленности... Никакого плана индустрии, *взятой “в себе”*, построить поэтому *нельзя*... Попробуйте теперь сочинить “план” *помимо* учета “ёмкости крестьянского рынка”, *отвлекаясь* от этого вопроса! Разве это не абсурд?»<sup>252</sup>.

Но для Е. А. Преображенского это был не абсурд, а **сознательный курс на массовую экспроприацию**, говоря марксистским языком, прибавочного и части необходимого продукта. В этом пункте в 1920–1921 гг. Преображенский принципиально спорил и с самим Троцким, и его излюбленным (и быстро провалившимся) проектом трудовых армий. Преображений выступал против трудармий в пользу «развёрстки труда между крестьянством»<sup>253</sup>, т. е. против плана мобилизации рабочей силы *только* в промышленности и на транспорте — за тотальную мобилизацию *всей* (то есть, прежде всего, крестьянской) рабочей силы, которая была невозможна без распространения мобилизации на крестьянство, которое в 1920–1921 гг. подвергалось лишь разовым и локальным трудовым повинностям. В таких планах Преображенский был отнюдь не одинок: советский экономист, собравший наиболее общие положения о направлениях подготовки к будущей войне, вполне определённо очерчивал и источники финансирования военной подготовки и самой войны: 1. прибавочный продукт государственной и частной промышленности, капитал страны, экономия государственных расходов, 2. (косвенное) «изъятие прибавочного продукта у крестьянства»<sup>254</sup>.

В коллективном труде сталинских пропагандистов, детально отредактированном самим Сталиным, в осознанно созданной «энци-

<sup>252</sup> Н. И. Бухарин. К вопросу о закономерностях переходного периода (Критические заметки на книгу тов. Преображенского: «Новая экономика», изд. Комм. Академии. М., 1926 г.) [1926]. С. 151–152.

<sup>253</sup> Л. В. Борисова. Трудовые отношения в Советской России (1918–1924 гг.). М., 2006. С. 74.

<sup>254</sup> Г. Шигалин. Подготовка промышленности к войне. Л., 1928. С. 190–191.

клопедии» идеократического государства, его высшем знании о себе и высшей идеологии — «Кратком курсе истории ВКП (б)», увидевшем свет в 1938 году, когда и Преображенский, и Бухарин уже были расстреляны, доктрины «первоначального социалистического накопления» не было. Но вся логика и содержание его были изложены с предельной ясностью. Здесь были внятно соединены «социализм в одной стране», преодоление отсталости и колониальной угрозы. Ответом на эти вызовы стал лозунг «индустриализации», внутри которого, неназванная, звучала главная проблема внутреннего рынка потребления и капитала для индустрии — *первоначальное накопление за счёт ограбления крестьянства*. «Краткий курс» сообщал, что на XV съезде партии в декабре 1925 года Сталин — совершенно в логике Ф. Листа о протекционистском превращении земледельческой страны в промышленную, опираясь на собственные силы, — провозгласил (выделено мной):

«Две трети всей продукции давало сельское хозяйство, только одну треть — промышленность. Перед партией, говорил тов. Сталин, стоит во весь рост вопрос о превращении нашей страны в индустриальную страну, экономически независимую от капиталистических стран. (...) Должны ли мы и можем ли мы построить социалистическое хозяйство, или нам суждено унавозить почву для другого, капиталистического хозяйства? Возможно ли вообще построить социалистическое хозяйство в СССР, а если возможно, то возможно ли его построить при затяжке революции в капиталистических странах и стабилизации капитализма? (...) Социалистическая индустриализация страны — вот то основное звено, с которого нужно начать разворот строительства социалистического народного хозяйства. Ни затяжка революции на Западе, ни частичная стабилизация капитализма в несоветских странах не могут приостановить нашего продвижения вперёд — к социализму. (...) Капиталистические страны обычно создавали свою тяжёлую индустрию за счёт притока средств извне: за счёт ограбления колоний, за счёт контрибуций с побеждённых народов, за счёт внешних займов. (...) [СССР] нужно было найти **средства внутри страны**. (...) **крестьянство могло помочь государству** строить новую, мощную промышленность»<sup>255</sup>.

<sup>255</sup> История ВКП (б). Краткий курс. [1 изд.] М., 1938. С. 260, 261, 263, 268, 269.

Сталин в докладе активу ленинградской организации о работе пленума ЦК ВКП (б) 13 апреля 1926 года «О хозяйственном положении Советского Союза и политике партии», в ходе открытой публичной внутрипартийной полемики с Троцким при фактическом нейтралитете вчерашних противников Троцкого, других высших политических вождей СССР, Г. Е. Зиновьева и Л. Б. Каменева, дал, наконец, сводную формулу аргументов в пользу однозначного строительства в СССР экономически самодостаточной великой державы, призванной выжить независимо от внешней конъюнктуры — и даже в борьбе с ней. Он сказал: «Не может страна диктатуры пролетариата, находящаяся в капиталистическом окружении, остаться хозяйственно самостоятельной, если она сама не производит у себя дома орудий и средств производства, если она застревает на той ступени развития, где ей приходится держать народное хозяйство на привязи у капиталистически развитых стран, производящих и вывозящих орудия и средства производства. Застрять на этой ступени — значит отдать себя на подчинение мировому капиталу»<sup>256</sup>.

Такую всё более лапидарную доктрину «замкнутого государства» всё более откровенно (и, конечно, риторически опираясь в этом на Ленина<sup>257</sup>) опровергал Троцкий, прямо критикуя, например, в докладе на VII расширенном пленуме ИККИ 13 декабря 1926 г., ключевые категории немецкой протекционистской и национально-государственной мысли, которые в СССР того времени уже были повторно введены в интеллектуальный оборот государственной пропагандой, — и терминологически невольно демонстрируя, что Сталин, которого Троцкий всегда считал «посредственностью»,

<sup>256</sup> *И. В. Сталин. Сочинения. Т. 8. М., 1948. С. 121.*

<sup>257</sup> Влиятельный, высокопоставленный сторонник Троцкого Г. Л. Пятаков говорил Н. Валентинову в 1926 году: «Ленин постоянно твердил: рядом с капитализмом мы жить не можем, либо он нас съест, либо мы его убьем. При этих условиях мировая революция делается основным условием самого нашего существования. Однако мысль о ней должна заполнять наше сознание не только по этой причине. Есть другая, ещё более важная: если мы действительно настоящие коммунисты, настоящие интернационалисты, а не замаскированные националисты, тогда ограничиться, *замкнуться в установлении благ социализма в одной стране, мы не можем.* Это было бы полной изменой интересам мирового пролетариата» (*Н. Валентинов (Н. Вольский).* Новая экономическая политика и кризис партии после смерти Ленина: Годы работы в ВСНХ во время НЭП. Воспоминания [1956]. М., 1991. С. 249–250).

вставал в курс очень мощной и успешной политико-экономической традиции Фихте–Листа–Бисмарка. Троцкий говорил, демонстративно упрощая: «Представлять социалистическое хозяйство как абсолютно (! — М. К.) замкнутое и абсолютно (!!! — М. К.) независимое от окружающих народных хозяйств — значит утверждать глупость». Троцкий, похоже, не вполне отдавал себе отчёт в том, что формула его критики не только не подрывала основ критикуемой доктрины, но и вряд ли вообще содержала в себе нечто очевидно дискредитирующее. Разве из того, что «защитники новой теории... исходят... из предпосылки замкнутого экономического и политического развития», что они не признают ничего, кроме «изолированного накопления хозяйственных успехов», мало интересуются тем, что будет рядом происходить «с Европой и вообще мировым хозяйством», следовало нечто более преступное, чем хозяйственный рационализм? И если, по Троцкому, в «замкнутом социалистическом развитии» лежит принцип «национальной ограниченности, дополненный провинциальным самомнением»<sup>258</sup>, то был ли этот (скопированный с Германии и США) провинциализм большим, чем желание самого Троцкого, опираясь на нищую Россию, решить судьбу мировой революции и хозяйства?

Но, доводя полемику до абсурда (заведомо ложно говоря о требовании «абсолютной» замкнутости)<sup>259</sup>, Троцкий не мог скрыть, что утверждение «изолированного государства» автоматически актуализирует целую библиотеку связанных с ним детальных теорий и выставку успешных практик. Незадолго до этого, в мае 1926 года, Троцкий, отмечая продуктивность выдвинутой Е. А. Преображенским концепции «первоначального социалистического накопления», вынужден был признать: «исследование это необходимо было начать в рамках замкнутого советского хозяйства. Но сейчас вырастает опасность того, что этот методологический подход будет превращён в законченную экономическую перспективу “развития социализма в од-

<sup>258</sup> Цит по: *Ричард Б. Дэй*. Лев Троцкий и политика экономической изоляции [1973] / Пер. А. В. Белых. М., 2013. С. 324.

<sup>259</sup> Троцкий шутил: «утверждают, что мы можем построить социализм не только в одной стране, а если поднатужиться, даже и в одном уезде. (Об этом, насмехаясь, направо и налево говорил Радек)» (*Н. Валентинов (Н. Вольский)*. Новая экономическая политика и кризис партии после смерти Ленина [1956]. С. 312).

ной стране"...»<sup>260</sup>. И здесь он был прав. А вот его собственный проект интеграции СССР в мировое хозяйство исходил из того, что освоение природных ресурсов страны возможно только с использованием «интернациональных накоплений», а освоение Сибири должно стать «гигантской международной задачей»: «Мы считали и считаем, что Соединённые Штаты Европы и наш Советский Союз сомкнутся в одно хозяйственное целое. Мы считали, что Советский Союз явится гигантским мостом между социалистической федерацией Европы и федерацией Азии. Мы не думали и не думаем, что свободная Индия и социалистическая Англия будут вести замкнутое, независимое друг от друга существование... То же самое, скажем, относится и к нашей северной Индии — Сибири»<sup>261</sup>. Остаётся неясным: как в таком космогоническом колониальном сценарии он мог ожидать сохранения у власти над чем бы то ни было не только для большевиков в целом, но и для себя лично? И главное — для какой бы то ни было России? Предметному властному инстинкту Сталина в *строительстве государства для диктатуры* Троцкий на деле противопоставлял схоластические планетарные претензии, для предположительной реализации коих это советское государство должно было превратиться в расходный материал.

Впрочем, апеллируя к Коминтерну и потому ища формулу компромисса с лидерством СССР в мировом коммунистическом движении, уже после высылки из Москвы Троцкий признал отрицательные последствия предлагавшегося ослабления государственной монополии СССР на внешнюю торговлю и капиталы: это увеличило бы ввоз товаров и капитала, но «это были бы успехи на капиталистическом пути, который через несколько коротких этапов включил бы СССР в импе-

<sup>260</sup> Цит по: Ричард Б. Дэй. Лев Троцкий и политика экономической изоляции. С. 302. Положение теории первоначального накопления в центре внутрибольшевистской полемики и её важная роль (несмотря на политическую близость Преображенского к Троцкому) в антитроцкистской консолидации партии были хорошо видны и со стороны — об этом писал, например, компетентный автор социалистического журнала в эмиграции: В. В. Сухомлин. Политические заметки. Спор о характере русской революции. Ленинизм и троцкизм. Разногласия в стане ленинистов. Первоначальное накопление. Аграрно-кооперативный социализм // Воля России. Прага, 1925. № 1.

<sup>261</sup> Цит по: Ричард Б. Дэй. Лев Троцкий и политика экономической изоляции. С. 337–338.

риалистическую цепь, и в этой цепи «Россия № 2» снова оказалась бы слабым звеном с вытекающими отсюда последствиями полукOLONиального существования»<sup>262</sup>. Другой формулой компромисса он готов был принять и «диктатуру пролетариата» без социализма: «Разве Россия, изолированно взятая, созрела для социализма? Она созрела для диктатуры пролетариата как для единственного разрешения всех национальных проблем»<sup>263</sup>. Но это, разумеется, нисколько не помогло компромиссу там, где вопрос о Троцком был предreshён — и предreshён он был в категориях «социализма в одной стране». Сталин, остроумно эксплуатируя признания Троцкого, писал тогда: «Кто дал контрреволюционной буржуазии духовное, идеологическое оружие против большевизма в виде тезиса о невозможности построения социализма в нашей стране, в виде тезиса о неизбежности перерождения большевиков и т. п.? Это оружие дал ей троцкизм. Нельзя считать случайностью тот факт, что все антисоветские группировки в СССР в своих попытках обосновать неизбежность борьбы с Советской властью ссылались на известный тезис троцкизма о невозможности построения социализма в нашей стране, о неизбежности перерождения Советской власти, о вероятности возврата к капитализму»<sup>264</sup>.

Примечательно, что главный в западной историографии труд по теме противостояния Троцкого проекту «строительства социализма в одной стране» абсолютно не содержит в себе *никаких указаний* на идейно-исторический контекст самой проблемы «изолированного государства», сводя его к *внутрибольшевистской* полемике и не видя даже многочисленных отсылок самих большевиков к хронологической глубине этого исторического спора. Исследователь борьбы Троцкого против «изолированного государства» в СССР (Ричард Б. Дэй. «Лев Троцкий и политика экономической изоляции») и его научный

<sup>262</sup> Л. Д. Троцкий. Обращение VI Конгрессу Коммунистического интернационала. 12 июля 1928 // Л. Д. Троцкий. Письма из ссылки. 1928 / Сост. Ю. Г. Фельштинский. М., 1995. С. 93.

<sup>263</sup> Л. Д. Троцкий. Письмо к Е. А. Преображенскому от 1 марта 1928 // Л. Д. Троцкий. Письма из ссылки. 1928. С. 11.

<sup>264</sup> И. В. Сталин. О некоторых вопросах истории большевизма: Письмо в редакцию журнала «Пролетарская Революция» [1931] // «Краткий курс истории ВКП (б)». Текст и его история. В 2-х частях. Часть 1. История текста «Краткого курса истории ВКП (б)». 1931–1956 / Сост. М. В. Зеленов, Д. Бранденбергер. М., 2014. С. 71.

публикатор в современной России — самым удивительным образом не хотят видеть среди предшественников этой *теории-афоризма* ни Фихте, ни Тюнена, ни Листа, ни Витте, ни даже официально признанного Советской властью (одновременно с антисоветской эмиграцией<sup>265</sup>) национальным гением Менделеева<sup>266</sup>, ни Струве и т. д. Тем временем в своей «Истории русской революции», в особом экскурсе «Социализм в отдельной стране?» (1932), сам Троцкий попытался дать фактическую справку по истории вопроса в уже знакомых категориях «изолированного государства» (выдающих, как любили говорить большевики, *с головой* — замолчанное самим Троцким хорошее знание истории вопроса):

«Промышленно более развитая страна показывает менее развитой лишь образ её собственного будущего». Это положение Маркса, методологически исходившее не из мирового хозяйства как целого, а из отдельной

<sup>265</sup> См. предпринятое правым публицистом А. А. Салтыковым переиздание: *Д. Менделеев. К познанию России*. Мюнхен, 1924; а также: *С. К. Рамзин. О бытии России* (Концепция Менделеева). Белград, 1940.

<sup>266</sup> О рецепции наследия Менделеева в высшем эшелоне большевистской власти и трансляции его в государственную политику см.: *Л. Троцкий. Д. И. Менделеев и марксизм* (Доклад четвертому Менделеевскому съезду по чистой и прикладной химии 17 сентября 1925 г.). Не случайно в развитие этой декларации Троцкого видный деятель Академии Наук В. И. Вернадский инициировал присвоение созданной в 1915 году принципиально важной академической Комиссии по изучению естественных производительных сил (КЕПС) России статуса КЕПС СССР и имени Менделеева (*В. И. Вернадский. Очередная задача в изучении естественных производительных [1926] // В. И. Вернадский. Начало и вечность жизни / Сост. М. С. Бахраковой, И. И. Мочалова, В. С. Неаполитанской. М., 1989. С. 393*). См. также о масштабном праздновании 100-летия Менделеева в СССР по решению Политбюро в 1934 г.: Академия Наук в решениях Политбюро ЦК РКП (б) — ВКП (б). 1922–1952 / Сост. В. Д. Есаков. М., 2000. Ритуальное, но красноречивое упоминание наследия Менделеева в ряду клятв о верности наследию Маркса: *Н. С. Курнаков. Особые точки Д. И. Менделеева в учении о растворах // Памяти Карла Маркса. Сб. статей к пятидесятилетию со дня смерти. 1883–1933 / Ред.: Н. И. Бухарин, А. М. Деборин. М., 1933. И анонсы Издательства социально-экономической литературы (Соцэкгиза) СССР о так и нерезализованном переиздании в составе строго отобранной с точки зрения идейной чистоты серии «История русской экономической мысли» на 1937 год классической книги Менделеева «К познанию России». На роль наследия Менделеева в риторике СССР в своём выдающемся труде обратил внимание и Г. Киссинджер, говоря об апелляции к Менделееву в советской литературе об атомной проблеме и в книге М. И. Корсунского «Атомное ядро» (1952) (*Г. Киссинджер. Ядерное оружие и внешняя политика [1957]. М., 1959. С. 426*).*

капиталистической страны как типа, становилось тем менее применимо, чем более капиталистическое развитие охватывало все страны, независимо от их предшествующей судьбы и экономического уровня. Англия показывала в свое время будущее Франции, значительно меньше — Германии, но уже никак не России и не Индии (...) До 1917 года партия вообще не допускала мысли, чтобы пролетарская революция могла совершиться в России раньше, чем на Западе. Впервые на апрельской конференции, под давлением обнажившейся до конца обстановки, партия признала задачу завоевания власти... Диктатура пролетариата в России была для большевиков мостом к революции на Западе... Только в 1924 году в этом основном вопросе произошёл перелом. Впервые было провозглашено, что построение социализма вполне осуществимо в границах Советского Союза, независимо от развития остального человечества, если только империалисты не опрокинут советскую власть военной интервенцией. (...) В известной книге Степанова-Скворцова “Электрификация”<sup>267</sup>, вышедшей под редакцией и с предисловием Ленина, в главе, которую редактор особенно горячо рекомендует вниманию читателей, говорится: “Пролетариат России никогда не думал создавать изолированное социалистическое государство. Самодовлеющее “социалистическое” государство — мелкобуржуазный идеал...”. Эти замечательные строки, по которым, несомненно, прошлась рука Ленина, бросают яркий луч света на последующую эволюцию эпитетов!.. В замкнутых границах отдельных государств социалистическое производство уже не могло бы вписаться — как по экономическим, так и по политическим причинам»<sup>268</sup>.

Как бы ни сводил Троцкий суть полемики к тактике и деталям, ясно, что в центре послеленинской полемики советских вождей Сталина, Зиновьева, Каменева против несостоявшегося преемника Лени-

<sup>267</sup> И. Степанов. Электрификация РСФСР в связи с переходной фазой мирового хозяйства. М., 1922.

<sup>268</sup> Именно здесь Троцкий, как казалось, остроумно лишил Сталина чести создателя теории «социализма в одной стране» и «закона неравномерного развития капитализма», указав, что ещё в 1878 году немецкий социал-демократ Георг фон Фольмар (1850–1922) описал ситуацию, при которой социализм побеждает первоначально не везде в мире, и поэтому «мы приходим к изолированному социалистическому государству». Однако следует помнить, что о неравномерности движения стран к коммунизму не раз писали и Карл Маркс, и Фридрих Энгельс, и Карл Каутский. И потому остроумие Троцкого состоит в эксплуатации предполагаемого им марксистского невежества партийного большинства.

на — Троцкого, начатой с целью полностью исключить его претензии на высшую власть, всё же стояли не «надуманные споры», как о том пишет автор нарциссических воспоминаний, бывший технический секретарь Политбюро ЦК ВКП(б) Б. Г. Бажанов<sup>269</sup>, а принципиальный выбор, поставленный и предопределённый внутри сценариев политического развития капитализма и индустриализации ещё за сто лет до СССР. Даже из примитивного изложения Бажанова видно, что доктринальным нервом полемики было идейно фундированное *изолированное государство*<sup>270</sup>.

Кратко опишу главный фокус внутрипартийной полемики о «строительстве социализма в одной стране» в 1926 году, когда она развернулась с максимальным звучанием между Троцким, Зиновьевым, Каменевым (когда оба последних уже вновь были противниками Троцкого, как в 1924 году) — и Сталиным (когда он уже остался без поддержки Зиновьева и Каменева, но приобрёл красноречивого союзника в лице Бухарина). Главные публичные события произошли на XV конференции ВКП(б). Тяжёлое положение РККА, обнажившее для политического руководства СССР её низкую боеспособность и неготовность к длительной войне, приход к диктаторской власти в Польше успешного в войне против Советской России Ю. Пилсудского, проблема подготовки к современной войне — стали частью проблемы стратегического курса страны на индустриализацию и экономическое обеспечение независимой государственности, расколов высшее большевистское руководство на условных «этатистов-изоляционистов» и условных «мировых революционеров».

В своём докладе на конференции Сталин, идя в открытую атаку против правящей оппозиции во главе с Троцким, Зиновьевым и Каменевым, тем не менее придерживался согласованной с ними компромиссной формулы советской государственности, определив её центральной задачей ближайшего времени строительство социализма (политическая легитимность режима), способного противостоять

<sup>269</sup> Борис Бажанов. Я был секретарём Сталина [1930, 1977]. М., 2014. С. 158 (Название оригинала: «Воспоминания бывшего секретаря Сталина»).

<sup>270</sup> «По мысли Троцкого, надо активно строить коммунизм в России; но, по его мнению (и надо сказать, что Ленин до революции целиком это мнение разделял), одна изолированная русская революция едва ли долго устоит перед натиском остальных. «капиталистических» стран, которые постараются подавить её силой оружия» (Борис Бажанов. Я был секретарём Сталина. С. 157).

военной интервенции (государственная легитимность)<sup>271</sup>. Выступая с докладом 1 ноября 1926 года, Сталин сказал в общих рамках компромисса о сохранении в партийной риторике ссылки на мировую революцию: «Что такое окончательная победа социализма в нашей стране? Это значит создание полной гарантии от интервенции и попыток реставрации на основе победы социалистической революции, по крайней мере, в нескольких странах»<sup>272</sup>. Верно чувствуя в словах Сталина подмену мирового масштаба на «несколько стран» (которые в 1926 году уже можно было формально предъявить в лице СССР и контролируемых им Монгольской народной республики и Тувинской народной республики), то есть ревизию абсолюта мировой революции, Троцкий, Каменев, Зиновьев предприняли на конференции политически убедительные атаки на Сталина, законно апеллируя к марксистским «писанию» и «преданию». Эти марксистские тексты и традиции, конечно, никакой самоцельной и самоценной победы социализма в одной стране не предусматривали, но хорошо описывали неизбежность неравномерного движения к социализму (и, если угодно, к мировой революции) и ясно, особенно в наследии Маркса и Энгельса, изображали практику межгосударственной борьбы и конкуренции. Троцкий неопровержимо ссылаясь на актуальные высказывания непререкаемого авторитета — Ленина: «если на Западе не будет социали-

<sup>271</sup> О ней на конференции напомнил Л. Б. Каменев, процитировав резолюцию XIV конференции РКП (б) (апрель 1925): «Наличие двух прямо противоположных систем вызывает постоянную угрозу капиталистической блокады, других форм экономического давления, вооружённой интервенции. Единственной гарантией окончательной победы социализма, гарантией от реставрации, является, следовательно, победоносная революция в ряде стран» (XV конференция Всесоюзной коммунистической партии (б). 26 октября — 3 ноября 1926. Стенографический отчёт. М.; Л., 1927. С. 471. 1 ноября 1926). Много лет спустя Сталин придерживался той же формулы, модернизирував её в риторической части, то есть открыто разделив партийные (политическо-идеологические) и государственные ценности. В приказе Верховного главнокомандующего № 20 от 1 мая 1945 года задачами Красной Армии он определил защиту «великих социалистических завоеваний» и обеспечение «государственных интересов» СССР (Внешняя политика СССР в период Отечественной войны. Документы и материалы. Т. III. 1 января — 3 сентября 1945 г. М., 1947. С. 42. Генезис «нейтрального» (внепартийного и внеидеологического) осознания Сталиным государственных интересов СССР обещает стать перспективным предметом специального исследования.

<sup>272</sup> XV конференция Всесоюзной коммунистической партии (б). 26 октября — 3 ноября 1926. Стенографический отчёт. С. 442.

стического переворота, без этого условия реставрация [капитализма в России] неизбежна»<sup>273</sup>. Или другое аутентичное заявление Ленина из уст Троцкого (курсив его):

«Мы думали: либо международная революция придёт к нам на помощь, и тогда наши победы вполне обеспечены, либо мы будем делать нашу скромную работу в сознании, что в случае поражения мы всё же послужим делу революции и наш опыт пойдёт на пользу другим революциям. Нам было ясно, что без поддержки международной мировой революции победа пролетарской революции невозможна. Ещё до революции, а также и после неё, мы думали: сейчас же, или очень быстро наступит революция в остальных странах, в капиталистически более развитых, или, в противоположном случае, мы должны погибнуть»<sup>274</sup>.

Возникает логичный вопрос: зачем же один из вождей революции, Красной Армии, партии и государства, ещё вчера, после смерти Ленина, претендовавший в них на единоличное лидерство, говорил о неизбежной гибели СССР почти миллиону членов ВКП (б), в том числе «ленинскому призыву» 1924 года, миллионам советских бюрократов, сотням тысяч бойцов, командиров и комиссаров Красной Армии? Какой мобилизующий эффект он хотел произвести своей речью<sup>275</sup>? Неужели действительно таким образом он хотел укрепить лояльность людей к олицетворяемой им власти? Ясно, что все эти ленинские экскурсы Троцкого хорошо подходили для обеспечения вождям классических театральных ролей романтических героев, гибнущих в борьбе со враждебной стихией, но вряд ли их трагедийная судьба могла устроить абсолютное большинство тех, кто связал свою судь-

<sup>273</sup> XV конференция Всесоюзной коммунистической партии (б). С. 517. 1 ноября 1926.

<sup>274</sup> XV конференция Всесоюзной коммунистической партии (б). С. 520.

<sup>275</sup> Позволю себе личное воспоминание. Во второй половине 1980-х гг. на исторический факультет Московского университета пришёл выступить перед нами, студентами, последний выживший в СССР видный троцкист, активный участник революции 1917 года И. Я. Врачёв (1898–1997). На вопрос студентов, на что рассчитывал Троцкий, объявляя на переговорах по Брестскому миру состояние «ни мира, ни войны» и понимая, что германские войска продолжают наступление на территории России, И. Я. Врачёв громко и эмоционально ответил: «мы рассчитывали, что в такой ситуации мы обратимся к рабочим Германии с призывом: „братья-рабочие, вы видите, как нас убивают!“ ...И германский пролетариат восстанет и совершит в Германии революцию».

бу и судьбу своей страны с коммунизмом в СССР. На конференции ВКП (б) оказалось, что эта шекспировская роль понадобилась Троцкому не только в силу его традиционной самопрезентации как *вождя мировой революции*, но и для доказательства необходимости экономического компромисса с «враждебным окружением», который, как минимум, для очень многих (если не большинства) революционеров и советских активистов не мог не казаться капитуляцией. Но под этой капитуляцией Троцкий подписал имя Ленина, уже единственного в тот политический момент бога-отца Советской власти, в партийной риторике только что вытеснившего Троцкого с одного из двух *первых* мест в советской иерархии<sup>276</sup>. И догматически доступная реакция на этот акт Троцкого была единственна и проста: не опровергая неудобное в Ленине и на самом деле уже сделав свой выбор, искать и найти у Ленина санкции для своей отдельной от мировой революции жизни — просто потому, что иное противоречило жизненному и государственному инстинктам большинства. Здесь Сталин был вместе с тем партийным большинством, кто искал этой санкции и независимо от её наличия уже сделал свой выбор. За этим выбором «социализма в одной стране», то есть на деле — не более чем выбором в пользу «власти большевиков в одной стране», стояли не только общественные инстинкты, но и длительная европейская образцовая традиция «изолированного государства» и протекционизма, приоритетная для любой национальной власти. Троцкий же настаивал, уже формулируя самостоятельно:

<sup>276</sup> Ещё в 1922 году в партийной риторике Троцкий был фактически первым. См. его апологию в официальном издании РКП (б) и СНК РСФСР в сравнении с квалификацией Ленина: в 1917-м Троцкий «после того, как Петроградский Совет перешёл в руки большевиков, был избран его председателем, в качестве которого организовал и руководил восстанием 25-го октября по ст. ст., после чего... взялся за организацию социалистической рабоче-крестьянской Красной Армии, будучи по главе её, организовал победу над врагами Республики. Вождь рабочего класса и мировой пролетарской революции, выдающийся организатор, наделённый непоколебимый силой воли, пламенный трибун, талантливый литератор, Троцкий вызывает к себе восхищение трудящихся масс и бешеную ненависть буржуазии всего старого мира», а Ленин — всего лишь «становится во главе борьбы за власть Советов... твёрдой железной рукой ведёт первую в мире Советскую Республику... В 1919 г. В. И. удаётся созвать первый конгресс III Интернационала» и более никакого восторга (Политический словарь. Краткое научно-популярное толкование слов / Под общей ред. Б. М. Эльцина. Перепечатка с издания Главполитпросвета. Курск, 1922. С. 147–148, 71).

«Полная победа социалистической революции немыслима в одной стране, а требует самого активного *сотрудничества*, по меньшей мере, нескольких передовых стран, к которым мы Россию причислить не можем»<sup>277</sup>.

Такое революционное сотрудничество (со странами, а не пролетариатами или революционерами) ради мировой революции вполне могло быть понято как принципиальное сотрудничество СССР с «капиталистическим окружением» в области продвигавшихся Троцким концессий<sup>278</sup>, если не кредитов. Это стало ясно из суждений Троцкого об опасности интервенции (указание на которую было внесено в упомянутую компромиссную формулу Политбюро), которая в устах Троцкого оказывалась не вооружённой (против общего мнения и памяти) интервенцией, а опасность её переставала быть опасностью. И экономическому суверенитету СССР противопоставлялась его интеграция в мировой рынок, словно государственная монополия на внешнюю торговлю СССР мешала этой интеграции или её протекционизм — против партийных решений — должен был быть отменён. Следовательно, речь шла о большем, на этот раз плохо скрытом неловкой и неубедительной казуистикой Троцкого:

«И разве же, товарищи, в самом деле, вопрос сводится к интервенции? Ведь нельзя же себе дело представлять так, что вот мы строим в этом доме социализм, а враги извне нам могут стёкла разбить. Вопрос не так просто стоит. Интервенция есть война, а война есть продолжение политики другими средствами, а политика есть обобщённая экономика. Стало быть, вопрос идёт об экономических взаимоотношениях СССР с капиталистическими странами в полном объёме. Эти отношения отнюдь не исчерпываются той исключительной формой, которая называется интервенцией»<sup>279</sup>.

<sup>277</sup> XV конференция Всесоюзной коммунистической партии (б). С. 523.

<sup>278</sup> Позже концессии, имея в виду идеологического и бюрократического (1925–1927) главу Главконцесскома при СНК СССР — Троцкого, сделали символом буржуазной продажности, политической измены и позёрства. И, чуткий к партийным веяниям, советский поэт Н. Н. Асеев (1889–1963) в поэме «Маяковский начинается» (1940), за которую он был удостоен Сталинской премии, писал: «Метались тревожно милиционеры за валютчиками у Ильинских ворот. / А те, притаившись за шторками в доме, глядели, когда эти беды минут; / их папа, нахохлясь, сидел в Концесскоме и ждал для сигнала удобных минут. / От них, ограниченных, самовлюбленных, мечтавших фортуна за хвост повернуть...».

<sup>279</sup> XV конференция Всесоюзной коммунистической партии (б). С. 529. Здесь Троцкий уличил Сталина в том, что ещё в 1924 году тот требовал междуна-

В такой готовности встроить на любых условиях Советскую Россию в международное колониально-капиталистическое разделение труда Троцкий на самом деле был отнюдь не одинок: «Мы существуем в системе капиталистических государств... На одной стороне — колониальные страны, но они еще не могут нам помочь, а на другой — капиталистические страны, но они наши враги... **Либо немедленная победа над всей буржуазией, либо выплата дани.** Мы совершенно открыто признаём, мы не скрываем, что концессии в системе государственного капитализма означают дань капитализму»<sup>280</sup>.

Но цитирование Троцким апокалиптических признаний уже коммунистически канонизированного и потому защищённого от противоречий Ленина, как сказано, вряд ли могло политически мобилизовать партийную массу. Социалистическая апокалиптика Ленина могла лишь бросить тень на того, кто напоминал о ней поклонникам Ленина. И для партийного большинства, победившего в Гражданской войне и занявшего руководящие места по всей территории СССР, выглядело, как минимум, провокационной подготовкой к капитуляции. Но усилия Троцкого в этом направлении продолжили Каменев и Зиновьев, демонстрируя странное бесчувствие к интересам своей главной целевой аудитории. Зиновьев апеллировал к Марксу («рабочая революция нигде не разрешима в пределах национальных границ») и Энгельсу («победоносной может быть только общеевропейская революция») <sup>281</sup>, из коих следовала невозможность «изолированного социализма» в СССР. И одновременно снаряжал эту невозможность ещё более слож-

---

родной помощи Советской России для «организации социалистического хозяйства» в крестьянской стране. Это, однако, не произвело должного впечатления на Сталина, и тот, чувствуя поддержку делегатов, сделал публичный выбор, одной фразой отказавшись от компромисса с Троцким, Зиновьевым и Каменевым: «Тов. Троцкий говорил о том, что я заменил неточную и неправильную формулировку вопроса о победе социализма в одной стране (...) Что может быть плохого в том, что я исправил неправильную формулировку, заменив её правильной? (...) Дело идёт теперь не о социалистическом характере нашей промышленности, а о том, чтобы построить социалистическое хозяйство в целом, несмотря на капиталистическое окружение...» (XV конференция Всесоюзной коммунистической партии (б). С. 751–752. 3 ноября 1926).

<sup>280</sup> В. И. Ленин. Доклад о тактике РКП [III конгрессу Коммунистического интернационала, 5 июля 1921] // В. И. Ленин. Полное собрание сочинений. Т. 44. М., 1970. С. 49–50. Выделено мной.

<sup>281</sup> XV конференция Всесоюзной коммунистической партии (б). 26 октября — 3 ноября 1926. Стенографический отчёт. М.; Л., 1927. С. 572.

ными условиями, которые уже требовали не только помощи «передовых стран», но и собственного социалистического лидерства СССР в отношениях с Востоком:

«Когда нас спрашивают, построим ли мы социализм, мы говорим, — да, построим! Когда нас спрашивают, как мы его построим, мы говорим, что построим его в союзе с рабочими других стран, что построим его в союзе с мировой революцией... и колониальными народами»<sup>282</sup>.

И всё же перед лицом этого пафоса (из хора которого уже выпал Запад), в борьбе за то, чтобы сделать своим союзником Ленина, в его публицистическом наследии антитроцкисты во главе со Сталиным смогли найти буквально считанные отрывки фраз о возможности строительства социализма сначала *в одной стране*, которая лишь варьировала общее убеждение марксистов того времени, что этой страной станет Германия, более революционная, нежели уже коррумпированная колониальными сверхприбылями Англия, технологически и политически более «образцовая» как страна мирового прогресса. Умилительно, что современный американский историк, издаелека, упрощая, — *в полном соответствии со сталинской аргументацией* — приписывает заслугу вынужденного поворота Советской России от мировой революции к изолированному суверенитету именно Ленину: начало Первой мировой войны нанесло мировой социал-демократии мощный удар, продемонстрировав в действиях её национальных подразделений, что для них «националистический энтузиазм» оказался выше интернациональных классовых интересов, которым упорно следовал Ленин, а в 1917 году «то, чего достиг Ленин, не было международной революцией». «Напротив, это было уходом России из Европы. Чтобы выжить в российской гражданской войне, Ленину пришлось выбросить международный коммунизм за борт. Его правительство устояло, но Советский Союз остался единственной коммунистической державой в мире»<sup>283</sup>. Сталин был бы доволен таким результатом свободного исследования.

<sup>282</sup> Там же. С. 576. 2 ноября 1926.

<sup>283</sup> Джон Лукач. Конец двадцатого века и конец эпохи модерна [1993] / пер. Н. М. Селиверстова. СПб., 2003. С. 10–11.

В своей резолюции «О грядущей империалистической войне» X съезд РКП (б) конкретизировал главный внеидеологический смысл внешнего суверенитета страны, которой управляли большевики, в том числе, для того, чтобы избежать вовлечения России в войну: «только при сохранении советского строя Россия будет избавлена от непосредственного участия в мировой войне. Всякое правительство, кроме советского, неминуемо пойдёт на поводу одной из групп борющихся империалистов и неминуемо вовлечёт разорённую страны в ещё большее, колоссальное разорение»<sup>284</sup>. В каком масштабе и с какими техническими новациями произойдёт будущая мировая война, в неизбежности которой в 1920–1930-е гг. никто в мире из числа ответственных лиц даже не сомневался. Предметом абсолютного консенсуса в понимании характера будущей войны было растущее ещё из Просвещения, Великой Французской революции конца XVIII века и индустриального XIX века убеждение в её непрерывной тотальности, когда границы между фронтом и тылом будут полностью уничтожены, а военными ресурсами станут все экономические и демографические ресурсы воюющих стран в целом.

В СССР это общее убеждение о приближении тотальной войны получило, в частности, редкое по внятности изображение в одном из многочисленных оригинальных и переводных трудов, который был тем более замечателен, что содержал в себе формулу *тотальной мобилизации на принципах изолированного государства*, адекватно описывавшую, как именно должен строить свою оборону СССР в окружении враждебных государств. Историк экономики П. Шаров, суммировав военно-организационный и экономический опыт противостоявших коалиций, с пророческой точностью и трезвостью составил для СССР и открыто опубликовал целую программу практической экономической подготовки к войне, прогностическая правота которой была продемонстрирована лишь в итоге многолетних ошибок планирования не только в СССР, но и в Германии. Он писал (выделено мной):

«Современная война ведётся всей страной. Война ведётся не только массами людей, но и огромным количеством угля, железа, стали, азота и их производных (...) Боеспособность стран в мировую войну определяется наличием вы-

<sup>284</sup> Всесоюзная коммунистическая партия (большевиков) в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК (1898–1932). Ч. I. 1898–1924. Изд. 4, испр. и доп. М., 1933. С. 464.

сокоразвитой промышленности, её готовностью, умением приспособиться к нуждам войны, и максимальным развитием путей сообщения: железные дороги, флот, шоссе, внутреннее речное судоходство, мощность транспорта (недостаточная мощность транспорта в России имела бы для неё большие последствия, чем неудовлетворительная финансовая система). (...) Мировая война показала первенствующее значение роли металлургической промышленности в деле боеспособности государства. (...) В условиях мировой войны с её многомиллионными армиями, с интенсивным развёртыванием военных производств вопрос рабочих рук приобрёл характер исключительной важности, был одним из главнейших вопросов экономики войны, получившим в мировую войну почти решающее значение. Баланс людских контингентов между “армией фронта” и “армией тыла” — основное условие правильного взаимодействия фронта с тылом. (...) Напрашивается главнейший вывод: **надёжной гарантией хозяйственной мощи страны может быть только её полная экономическая независимость** (...) **мы должны всё внимание перенести на внутреннее производство, его расширение во всех областях.** Естественно, что нам такой путь обойдётся дороже, придётся переплачивать на вновь организовываемых производствах, но этот путь будет в конечном счёте самым дешёвым в предвидении неизбежности войны. Подготовка народного хозяйства СССР к обороне должна основываться **на предвидении, если не полной, частичной блокады нашей страны.** (...) Вопрос размещения промышленности имеет особо важное значение во время войны. Важность этого вопроса определяется по двум линиям: опасность захвата промышленных районов противником (пример Франции и России в мировой войне), и второе — вопрос размещения промышленности должен быть разрешён правильно под углом зрения связанности всей экономической системы и с учётом наибольшего благоприятствования обслуживанию будущих вероятных театров военных действий»<sup>285</sup>.

Когда Зиновьев и Каменев вышли из тактического антитроцкистского союза со Сталиным и направили свои полемические стрелы против «изолированного государства», то есть против политического лидерства Сталина и той части большевистской партии, для которой, кратко говоря, реальная Советская Россия была важнее, «несомненное»

<sup>285</sup> П. Шаров. Влияние экономики на исход мировой войны 1914–1918. М.; Л., 1928. С. 147–149, 154–156.

теоретической мировой революции, внешний политический вес Сталина заметно сократился. Тогда поддержавшие Сталина в его полемике с Троцким руководящий коммунистический идеолог Бухарин и старый большевистский публицист, глава Центрального статистического управления СССР В. В. Осинский (1887–1938) посвятили свои усилия операционализации выводов из формулы Сталина о «социализме в одной стране», ради одобрения которой и была созвана XV партийная конференция в 1926 году. С гораздо меньшей убедительностью (нежели Троцкий на апокалиптику Ленина) ссылаясь на положения Ленина о шансах самостоятельного выживания революции в России, Бухарин договорил то, что опасался договорить Сталин. Видимо, чтобы удержать в тонусе мировой революции иностранные отряды Коммунистического интернационала, обеспечивавшие активную внешнюю политику СССР на территории врага. Бухарин сказал именно то, что от него хотело услышать абсолютное большинство членов партии и солдат:

«У нас спор идёт относительно того, позволяют ли нам наши внутренние силы с полной уверенностью вести вперёд дело социалистического строительства. Мы утверждаем, — да! Мы можем построить социализм»<sup>286</sup>.

В тени лозунгов, проблему приоритетной опоры на собственные силы детализировал на XV конференции партии — практически единственным из всех участников полемики, кто не только вёл речь о лозунгах, но, как видно из стенограммы, действительно пользовался терпеливым вниманием аудитории, был В. В. Осинский. Он уверенно напоминал партийцам старые марксистские споры, показывая, что они носят не просто тактико-политический характер:

«...самая идея *строительства* социализма прямиком и неизбежно ведёт к постановке вопроса о строительстве социализма в одной стране (...) *возможно* ли строительство социализма в нашей стране нашими собственными средствами, без существенной экономической помощи извне, возможно ли это *материально*... это возможно (...) Возьмём Соединённые Штаты Северной Америки и посмотрим, препятствует ли их связь с ми-

<sup>286</sup> XV конференция Всесоюзной коммунистической партии (б). 26 октября — 3 ноября 1926. Стенографический отчёт. М.; Л., 1927. С. 586, 604.

ровым хозяйством тому, чтобы имея *обширнейший внутренний рынок*, — заметьте, как раз это самое имеется и в России, — имея обширнейший внутренний рынок, они в первую очередь развивались за собственный счёт и экономика их определялась в первую очередь внутренними процессами, а не внешними условиями. Мы должны ответить, что не препятствует»<sup>287</sup>.

Аргументы в пользу теории «строительства социализма в одной стране» Бухарин идейно (демонстративно) сблизил с традицией русской географической мысли о континентальном характере России, получившей своё наивысшее развитие в идеологии эмигрантского евразийства 1920–1930-х гг., а позже детализировал образ России, обозначив переход от антиколониальной и антиимпериалистической риторики «света с Востока» и лидера восставших народов колоний — к риторике великой державы, ресурсную военно-экономическую задачу которой начала решать сталинская индустриализация. В момент ускорения этой индустриализации, на чрезвычайной сессии Академии наук СССР в июне 1931 года Бухарин рассказал о «естественных предпосылках» проекта изолированного, автаркического суверенитета СССР, в котором звучал отголосок евразийского «континента»:

«с точки зрения *естественных* условий социализм отвоевал себе страну, которая является самым мощным *единым* участком мировой территории. *Великобритания* [имеется в виду Британская империя. — М. К.] территориально больше, но она разбита на куски и географически и ещё более экономически... Таким образом "*строительная площадка*" социализма *занимает лучший участок мира*. По разведанным запасам нефти, водяной энергии, леса, торфа СССР занимает первое место. Но остальные категории естественных богатств (уголь, металл, нерудные ископаемые и т.д.) *наверняка* должны дать гораздо более высокие показатели, чем обычно принимается (...) социализм получил в своё распоряжение первоклассную величину, будучи поставлен перед задачей освоения "Евразии"..."<sup>288</sup>.

<sup>287</sup> XV конференция Всесоюзной коммунистической партии (б). 26 октября — 3 ноября 1926. С. 608, 611, 614–615.

<sup>288</sup> Н. Бухарин. Борьба двух миров и задачи науки (Наука СССР на всемирно-историческом перевале) [1931] // Н. Бухарин. Этюды. М.; Л., 1932 [репринт 1988 года]. С. 24, 25.

## «ПЕРВОНАЧАЛЬНОЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ НАКОПЛЕНИЕ»

Даже в сознании такого верного сталиниста, но далеко не очень просвещённого марксиста, как Л. М. Каганович, проблема изолированного государства как предмет стратегического противостояния Троцкого и Сталина уверенно помещалась в контекст традиционных, ещё дореволюционных экономических споров, хотя и с грубыми ошибками в деталях. Он писал: «Троцкий занимал позицию, что социализм без помощи Западной Европы строить невозможно. Мировая революция провалилась, и у нас нет капиталов для восстановления промышленности. Красин... занимал позицию струвистскую. Струве говорил: нам надо учиться у капиталистов»<sup>289</sup>. Красин тоже говорил, что давайте, мол, отдадим концессии направо-налево, пусть хозяйничают, а страну мы на этом поднимем, промышленность. Позиция Сталина и сталинцев была такова: нет, мы должны строить социализм собственными силами»<sup>290</sup>.

Вне партийной схоластики и академических споров действительное развитие капитализма в России не просто как эволюции товарного хозяйственного уклада, а как ускоренной индустриализации ещё в эпоху Витте, уже тогда поставило вопрос об источниках накопления для финансирования индустриализации. Достигший громкого мирового авторитета, а в 1920-е годы ещё более прославленный его

<sup>289</sup> Даже в таком образе Струве ясно прослеживался след Витте как «индустриализатора», хотя на деле в 1894 году марксист П. Б. Струве (1870–1944) всего лишь призывал крестьянскую Россию «пойти на выучку капитализму», чтобы воспитать революционный пролетариат. С 1892 года, с момента назначения С. Ю. Витте министром, в качестве доверенного лица помощника министра А. Н. Гурьева («Основным помощником С. Ю. Витте был А. Н. Гурьев (1864–1921?), активный популяризатор его экономической политики. После окончания Санкт-Петербургского университета со степенью магистра финансового права А. Н. Гурьев служил в 1889–1903 гг. учёным секретарём учёного комитета Минфина России, был литературным секретарём С. Ю. Витте, “пером министра”» (*Мст. П. Афанасьев*. Предисловие // С. Ю. Витте. Конспект лекций о народном и государственном хозяйстве, читанных его императорскому высочеству великому князю Михаилу Александровичу в 1900–1902 годах [по изданию 1911 года]. М., 2011. С. 16.) Струве ряд лет работал библиотекарем в библиотеке Учёного комитета Министерства финансов, а в октябре 1905 года по личному заступничеству С. В. Витте Струве получил амнистию и смог вернуться из эмиграции в России, где принял активное участие в идейно-политической борьбе.

<sup>290</sup> *Феликс Чуев*. Так говорил Каганович: Исповедь сталинского апостола. М., 1992. С. 111.

коммунистическим критиком Бухариным, избравшим его символом «неправильной» теории накопления, Туган-Барановский так подводил итоги первой русской индустриализации. Описывая «крупные успехи» в развитии тяжёлой промышленности в России конца XIX века, тогда уже традиционно связываемые с политикой С. Ю. Витте по оздоровлению финансовой системы, перераспределившей приток иностранных капиталов, и усилению государственного железнодорожного строительства, экономист особо подчеркнул управляемость и «искусственность» этих достижений, ибо «Россия принадлежит к числу стран, бедных капиталом»<sup>291</sup>, и не накапливает его в достаточном количестве. В таких условиях даже внутренние источники экономического роста вызывают удивление специалистов: «Поэтому без помощи иностранных капиталов нечего и думать о развитии нашей промышленности»<sup>292</sup>.

Но главной новостью промышленного развития Российской империи становилось то, что исторически короткий период обилия внешнего капитала, выпавший на время индустриализации под руководством министра финансов Витте, очевидным образом заканчивался в перспективе мировой войны.

В начале 1910-х уже либеральный политик, экономист и идеолог государственной мощи России в своём имперском проекте «Великой России» П. Б. Струве не был ярким сторонником протекционизма, видя в этом следствие узкого, «оборонительного» национализма, чуждого масштабных исторических задач России как великой державы. Но и он, формулируя «экономическую проблему Великой России» в контексте её подготовки к мировой войне, то есть к наивысшей форме внешнеполитической и внешнеэкономической конкуренции, исходил из того, что главными противниками России в этой войне станут Германия и Австро-Венгрия (и именно им предстоит эксплуатировать экономические причины внешней военной слабости России). В интересах этой военно-стратегической

<sup>291</sup> М. И. Туган-Барановский. Состояние нашей промышленности за десятилетие 1900–1909 гг. и виды на будущее [1910] // М. И. Туган-Барановский. Избранное / Сост. Г. Н. Сорвина. М., 1997. С. 487–489; М. И. Туган-Барановский. Народное хозяйство [России в 1913 году] // Там же. С. 528.

<sup>292</sup> М. И. Туган-Барановский. Иностранные капиталы // М. И. Туган-Барановский. Избранное. С. 531.

конкуренции, по мнению Струве, для России «нет более настоящей общей задачи, чем укрепление её экономического состояния или иначе, чем политика, направленная на накопление капиталов в стране»<sup>293</sup>. Так прямолинейно он выразил самую суть проблемы экономического развития страны в ходе подготовки к войне, поставив в её центр вопрос о накоплении капитала, что в Советской России 1920-х гг. было главным пунктом в полемике внутри большевистского руководства.

Если большевики приходили к выводу о необходимости суверенного существования СССР, т.е. «строительства социализма в одной стране», т.е. независимого от Запада, и ставили его под защиту государственной монополии внешней торговли, т.е. максимального протекционизма (редкими исключениями из которого стали немногочисленные иностранные концессии), то первым выводом из реальности этого «изолированного государства» становился вопрос об источниках финансирования *этого* суверенитета, индустриализации *этой* великой державы, способной выжить в борьбе с внешним миром, — источниках накопления капитала в аграрной и бедной стране, лишённой иных значимых экспортных товаров, кроме зерна, леса и иного дешёвого сырья. Альтернативой этому могли бы быть иностранные кредиты, но конфликт Советской России с победителями в Первой мировой войне исключал сколько-нибудь реалистическую перспективу политически нейтрального внешнего кредитования.

Угроза войны и «холодный мир» вокруг СССР принципиально были подобны задачам государственной самозащиты накануне Первой мировой войны, которые Струве описывал так: «Европейская война стоила бы нам, без всяких преувеличений, в соответствующий промежуток времени раза в 4–5 дороже японской. Ещё важнее быть может то, что в этой войне мы должны были бы неизбежно опираться на свои наличные хозяйственные силы: внешний кредит был бы для нас отрезан или почти отрезан...»<sup>294</sup>.

<sup>293</sup> Пётр Струве. Экономическая проблема «Великой России». Заметки экономиста о войне и народном хозяйстве // Великая Россия. Сборник статей по военным и общественным вопросам / Ред.-изд. В. П. Рябушинский. Книга вторая. М., [1911] С. 152.

<sup>294</sup> Пётр Струве. Экономическая проблема «Великой России». Заметки экономиста о войне и народном хозяйстве. С. 153.

Струве ясно писал, что главным отличием Германии и Австрии от России в этой войне будет их **способность к «принудительным займам» на внутреннем рынке**, закрытая для России. В 1920-е гг. большевистские теоретики-практики назвали это принудительное изъятие капитала в крестьянской стране «первоначальным социалистическим накоплением», колеблясь лишь в выборе средств: изымать ли прибавочную стоимость, производимую крестьянскими хозяйствами, административно-экономическими методами (цены, налоги) или сразу путём прямой административной эксплуатации (коллективизация). В этом вопросе, таким образом, заранее проявилась прямая связь протекционистского «изолированного государства» с проблемой капитала. И новый смысл это проблеме придал милитаризм.

Великий теоретик и практик германской социал-демократии и марксизма, Роза Люксембург накануне Первой мировой войны дала глубокий очерк природы капиталистического накопления в эпоху империализма, одновременно указывая будущим правящим большевикам на практически неисчерпаемые мировые ресурсы антикапиталистического развития, которое, однако, в силу самих условий эпохи тотальных войн с её принуждением вряд ли отличалось бы от капиталистической эксплуатации. Не признавая именно это методологическое значение труда Р. Люксембург для социалистического строительства, особенно индустриализации, большевики многократно переиздавали его в СССР и рекомендовали в качестве предмета для партийно-марксистского самообразования. В своей пророческой книге Р. Люксембург писала, тесно связывая проблему накопления капитала с историей протекционизма в зарубежной Европе и России в 1880-е гг., после короткого периода общеевропейского увлечения свободой торговли в 1860–1870-х, и империализма:

«Милитаризм выполняет в истории капитализма вполне определённую функцию. Он сопровождает накопление во всех его исторических фазах. В периоде так называемого “первоначального накопления”, т. е. при зарождении европейского капитала, милитаризм играет решающую роль при завоевании Нового Света и индийских стран пряностей; но он сохраняет решающее значение и позже — при завоевании современных колоний (...) при навязывании отсталым странам железнодорожных концессий и при проведении в жизнь требований европейского капитала в форме между-

народных займов; милитаризм играет, наконец, решающую роль как средство конкурентной борьбы между капиталистическими странами из-за областей некапиталистической культуры. (...) Монополизация некапиталистических районов, необходимая для экспансии капитала, внутри старых капиталистических государств и вне их пределов — в заокеанских странах — стала лозунгом капитала, в то время как свободная торговля — политика «открытых дверей» — стала специфической формой незащитности некапиталистических стран против международного капитала и специфической формой равновесия этого конкурирующего капитала; свободная торговля превратилась в предварительную стадию частичной или полной оккупации некапиталистических стран как колоний или сфер интересов. (...) Итак, капиталистическое накопление как целое, как конкретный исторический процесс складывается из двух различных частей. Одна из них совершается на месте производства прибавочной стоимости — на фабрике, в руднике, имении — и на мировом рынке. (...) Другая сторона процесса накопления капитала совершается между капиталом и некапиталистическими формами производства. Ее ареной служит весь мир. В качестве методов здесь господствуют колониальная политика, система международных займов, политика сфер интересов и войны»<sup>295</sup>.

Исследователь нашёл в государственном опыте столь же ориентированного на *весь мир* Троцкого интересные результаты его руководящей реакции на условия внешней блокады и принудительной изоляции Советской России со стороны стран Запада. К концу 1919 года (на самом деле, к концу 1918 года), параллельно установлению блокады, используя опыт германской военной экономики и Временного правительства в России, Троцкий разработал свой (наряду с иными советскими) план милитаризации и создания системы принудительно труда. Самым важным исследовательским открытием в этом плане (даже если оно «открывает» не прямое, а подсознательное намерение Троцкого) является мысль о том, что если «Ленин с самого начала считал, что для России подходит форма германского “государственного капитализма”...», то «Троцкого больше интересовала существовавшая в Германии система мобилизации трудовых ресурсов», «он полагал,

<sup>295</sup> Роза Люксембург. Накопление капитала [1913] / Пер. под ред. Ш. Двойлацкого. Изд. 5. М.; Л., 1934. С. 323–326, 336.

что если изоляция России становилась неизбежной, то появлялась необходимость замены капитала трудом»<sup>296</sup>.

Если это так, то — в переводе на язык тогдашних марксистских понятий — эта *замена капитала трудом* и означала «первоначальное социалистическое накопление», где главным объектом государственной эксплуатации и источником принудительной концентрации внутреннего капитала для его централизованного инвестирования в индустриализацию становился именно самый массовый в СССР 1920–1930-х гг. труд — труд крестьянского большинства. Впрочем, даже современный либеральный экономист, Нобелевский лауреат, исследуя начальные этапы индустриализации, вынужден резюмировать, имея в виду не только мобилизацию, но и интенсификацию качества и производительности рабочей силы и общества в целом, что (выделено мной), «пока труд остаётся в значительной степени немобильным, гораздо больше потенциалом обладают **политические меры, влияющие на накопление человеческого капитала**»<sup>297</sup>. Надо отдать должное тому изяществу, с которым они теперь иногда по-новому называют старые методы Троцкого–Сталина.

Политическое решение вопроса о принятии в качестве государственной доктрины теории «строительства социализма в одной стране» автоматически предопределяло и решения вопроса об источниках этого строительства именно как промышленного, а не аграрного, что диктовалось не только марксистской догматикой, но и практикой военно-стратегического выживания с опорой на собственный тыл. Внутренние источники индустриализации неизбежно создавались только

<sup>296</sup> Ричард Б. Дэй. Лев Троцкий. С. 123–125, 154. Распространённое в исторической риторике и публицистике убеждение в том, что «победи Троцкий, он делал бы всё то же самое, что делал Сталин», как видим, игнорирует принципиальную разницу «глобализма» Троцкого и «суверенитета» Сталина, акцентируя внимание на одинаково репрессивной природе представлений о власти у этих вождей. Это бесчувствие позволяет и цитируемому исследователю находить изоляционистский пафос у Троцкого, и, кстати, давно проявилось в советологии, которая за методами не хотела видеть разницы целей: «Троцкий, если бы ему удалось получить власть в свои руки, действовал бы в направлении ускоренной индустриализации СССР и коллективизации крестьянского хозяйства методами, подобными сталинским» (*Панас Феденко*. Новая «История КПСС» / Институт по изучению СССР. Мюнхен, 1960. С. 88).

<sup>297</sup> Роберт Э. Лукас. Лекции по экономическому росту [2002] / Пер. Д. Шестакова. М., 2013. С. 112.

административно-принудительной практикой «первоначального социалистического накопления», которое единственное обещало обеспечить СССР достаточный объём внутреннего труда и капитала. Но пока такое решение о принудительном изъятии капитальных ресурсов, само решение об «изолированном государстве», пусть и защищённом протекционистской монополией на внешнюю торговлю, оставалось лишь теоретическим пожеланием, сроком проверки которого должна была стать ближайшая война. В этих условиях даже большевистский пропагандист вещал с плохо скрываемой расслабленностью, словно не в его же партийных газетах ежедневно звучала барабанная дробь о подготовке к будущей войне: «Партия неоднократно спотыкалась именно на том, что, что желала развёртывать промышленность быстрее, чем то позволяли народно-хозяйственные ресурсы... Весь восстановительный период был проведён таким образом, что темп развития промышленности превышал темп развития сельского хозяйства»<sup>298</sup>. Поэтому главным тестом на начало «строительства социализма в одной стране» стала политика власти в отношении крестьянства.

Мелкотоварное и в этом смысле «почти» некапиталистическое крестьянское большинство в Советской России, учитывая теоретический консенсус марксистов, выступало естественным объектом для принудительного «социалистического накопления» точного так же, как некапиталистические колониальные страны — накопления капиталистического. Подход к такому пониманию содержится в книге руководящего коммуниста-востоковеда Г. И. Сафарова, когда он пишет, не скрывая тревоги перед возможным политическим доминированием крестьянства, чья социально-экономическая автономия от капитализма, города, промышленности, пролетариата за годы мировой войны (и Гражданской войны в России), создавшей дефицит продовольствия, резко выросла, одновременно мобилизовав массы крестьянства на фронт и тем самым увеличив его военно-политическое влияние: «Империалистическая война впервые в истории вовлекла крестьянство в таких огромных массах в политику»<sup>299</sup>. Долгосрочное подчинение крестьянского большинства таким образом вырастало в осознаваемую задачу внутреннего военно-политического принуждения.

<sup>298</sup> Г. Крумин. Основные вопросы хозяйства и оппозиция. М., 1927. С. 9.

<sup>299</sup> Г. Сафаров. Основы ленинизма. Л., 1924. С. 218.

Ещё в доктринальной логике наследия Маркса и Энгельса обнаруживалась **внутренняя связь протекционизма, изолированной экономики и первоначального накопления** — так, как его суть описал сам Карл Маркс — то есть:

«Исходным пунктом развития, создавшего как наёмного рабочего, так и капиталиста, было рабство рабочего. (...) В истории первоначального накопления эпоху составляют перевороты, ...когда значительные массы людей внезапно и насильственно отрываются от средств своего существования и выбрасываются на рынок труда в виде поставленных вне закона пролетариев. Экспроприация земли у сельскохозяйственного производителя, крестьянина, составляет основу всего процесса»<sup>300</sup>.

Комментируя речь Маркса 1848 года в конце своей жизни, Энгельс акцентировал внимание на обычной для Запада тесной связи *ускорения индустриализации с экспроприацией* работников и *капитализацией* национальной экономики, то есть полагал частями одного целого экспроприацию и капитализацию в национальном масштабе, без дополнительных источников капитала: «Система протекционизма, — говорит Маркс, — была искусственным средством фабриковать фабрикантов, экспроприировать независимых рабочих, капитализировать национальные средства производства и существования, насильственно ускорять переход от старого способа производства к современному». Таков был протекционизм в период своего возникновения в XVII веке, таким он оставался многие годы и в XIX веке. Протекционизм считался тогда нормальной политикой всякого цивилизованного государства Западной Европы»<sup>301</sup>. Особенно весомыми для дискуссии в СССР об источниках накопления капитала для индустриализации, которые продолжали давно решённый русскими марксистами вопрос таким образом, что накопления достаточно внутреннего рынка, стали архивные публикации из наследия Маркса, предпринятые в СССР именно в 1924 году. Речь идёт о набросках его

<sup>300</sup> К. Маркс. Капитал. Т. 1. Гл. 24.1 // К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения. Т. 23. М., 1960. С. 727–728.

<sup>301</sup> Ф. Энгельс. [Протекционизм и свобода торговли:] Предисловие к брошюре: Карл Маркс. «Речь о свободе торговли» (1888) // К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения. Т. 21. М., 1961. С. 372.

ответа на письмо В. И. Засулич (они остались ей неизвестны) о судьбе русских общины и капитализма, то есть — в условиях 1920-х гг. — **о судьбе сельского хозяйства и индустриализации СССР**. Маркс описывал прогресс методов экспроприации, что выглядело идейной инструкцией для действий советской власти в деревне в конце 1920-х гг. (выделено мной):

«Чтобы экспроприировать земледельцев, нет необходимости изгнать их с их земель, как это было в Англии и в других странах; точно так же нет необходимости уничтожить общую собственность посредством указа. **Попробуйте сверх определённой меры отбирать у крестьян продукт их сельскохозяйственного труда — и, несмотря на вашу жандармерию и вашу армию, вам не удастся приковать их к их полям. (...) За счёт крестьян государство выпестовало те наросты капиталистической системы, которые легче всего было привить — биржу, спекуляцию, банки, акционерные общества, железные дороги, дефицит которых оно покрывает и авансом выплачивает прибыль предпринимателям, и т.д. и т.д.»**

При этом Маркс дидактически легко оперировал условиями изолированной экономики, понимая её как теоретически работоспособную модель: **«Если бы Россия была изолирована от мира, если бы она должна была сама, своими силами, добиться тех экономических завоеваний, которых Западная Европа добилась, лишь пройдя через длинный ряд эволюций...»**<sup>302</sup>. Источник этих достижений был ясен всем без исключения.

Ещё до коллективизации в СССР русский экономист-эмигрант В. Ф. Гефдинг (1887–1979) безошибочно выявил единственный возможный источник «социалистического накопления» — сферу преобладающе натурального крестьянского хозяйства<sup>303</sup>. Планы принудительной эксплуатации крестьянства России (и без того непрерывно нёсшего разнообразные трудовые иные дополнительные чрезвычайные повин-

<sup>302</sup> К. Маркс. Наброски ответа на письмо В. И. Засулич [1881] // К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения. Т.16. М., 1960. С. 408, 409, 413.

<sup>303</sup> В. Ф. Гефдинг. Живой опыт коммунизма (К десятилетию русской революции) // Русский Колокол. 1927. № 2 (И. А. Ильин. Собрание сочинений: Русский Колокол: Журнал волевой идеи / Сост. Ю. Т. Лисицы. М., 2008. С. 180, 184).

ности и в мировую, и в Гражданскую войны) становятся предметом консенсуса в среде советских экономистов-аграрников. Например, вскоре репрессированный Н. Д. Кондратьев, полемизируя с, напротив, прожившим длинную и успешную советскую жизнь зампредседателя Госплана СССР С. Г. Струмилиным (1877–1974), ставит задачу «правильного соотношения индустрии и сельского хозяйства», чтобы оно соответствовало «намеченному темпу роста продукции». И высказывается в пользу активного использования накоплений в сфере сельского хозяйства для инвестирования в крупные государственные проекты — против тезиса Струмилина о том, что это невозможно, ибо деревня «живёт на *пороге физиологических норм существования*» и поэтому «не может служить сколько-нибудь заметным источником для социалистического накопления»<sup>304</sup>. На это якобы антисталинский аграрник отвечает сталинскому плановику неожиданно инквизиторски и более радикально:

«Мы не будем останавливаться на вопросе о том, какая группа населения является основным источником бюджетных изъятий и социалистического накопления. Это завело бы нас слишком далеко».

Невзирая на близкий **порог физиологических норм существования**<sup>305</sup>, Кондратьев ставит задачу форсированного повышения производительности труда крестьянства. В условиях принимаемого как неизбежность отсутствия крупных инвестиций в сельское хозяйство и даже наоборот — принимаемого как неизбежность изъятия накопле-

<sup>304</sup> В другом месте С. Г. Струмилина почти буквально повторило уже формально высшее должностное лицо советского планирования — председатель Госплана СССР Г. М. Кржижановский (выделено мной): «за счёт деревни мы не располагаем никакими ресурсами для намечаемого нами плана индустриализации... При низком уровне производительности труда и низком душевом доходе **деревня живёт на пороге физических норм существования и не может служить сколько-нибудь заметным источником для социалистического накопления**» (Цит. по: Н. Л. Роголина. Индустриализация в рамках нэпа и перспективы советской модернизации // Экономическая история: Ежегодник. 2006 / Отв. ред. Л. И. Бородин, Ю. А. Петров. М., 2006. С. 377).

<sup>305</sup> В 1927 году и Преображенский, констатируя «все время возрастающий дефицит государственного хозяйства на средства производства», в его финансировании за счёт экспорта (выделено мной) «**товаров потребления** крестьянского хозяйства» для приобретения «заграничного оборудования» (Е. А. Преображенский. Новая экономика (теория и практика): 1922–1928 / Сост. М. М. Горинов, С. В. Цакунов. М., 2008. С. 391–392).

ний из сельского хозяйства, это, несомненно, означает усиление административной эксплуатации и принудительное изъятие не только прибавочного, но и части необходимого продукта, то есть более, чем это допустимо для нормального воспроизводства рабочей силы. И приоритет у аграрника совершенно индустриализаторский: «одной из основных причин срыва выдвинутой программы индустриализации является именно недостаточный темп роста сельского хозяйства, так как отсюда... проистекает невозможность как необходимого накопления, так и экспорта-импорта». Кондратьев определённо выбирает сценарий финансирования высокого темпа роста промышленной продукции за счёт снижения потребления населения, уровня жизни, необходимых вложений в сельское хозяйство, в крайнем случае — временно за счёт концентрации их только в государственном секторе, то есть в принципе за счёт разорения частно-хозяйственного крестьянского большинства:

«вопрос о расширении капитальных вложений в сельское хозяйство, естественно, приводит к вопросу об *источнике* этих средств... вопрос о расширении ассигнований сельскому хозяйству может быть решён... путём некоторого снижения темпа роста промышленной продукции, или путём увеличения резервов накопления [прибавочного продукта в сельском хозяйстве. — М. К.] ... здесь возможны две линии. Можно пойти по линии увеличения накопления в государственном секторе и усиления воздействия на сельское хозяйство путём государственных вложений. Но эта линия возможна, очевидно, на первых порах, лишь при условии более медленного роста личного потребления населения... Очевидно, что ставить себе задачу максимального роста благосостояния населения, не обеспечивая других условий, в частности, соответствующего роста сельскохозяйственной продукции и экспорта, — значит ставить неразрешимую задачу...»<sup>306</sup>.

Говоря о социально-экономической модернизации («реконструкции») Советской России, Н. Д. Кондратьев выступал с **апологией централизации капитала как стержня всей модернизации**: «предпосылкой таких реконструкций является концентрация капитала в распоряжении мощных предпринимательских центров. Этой

<sup>306</sup> Н. Д. Кондратьев. Критические заметки о плане развития народного хозяйства [1927] // Н. Д. Кондратьев. Проблемы экономической динамики / Отв. ред. Л. И. Абалкин. М., 1989. С. 161, 164, 166, 167.

концентрации способствует система кредита и фондовая биржа», придающая капиталу «подвижность» и «дешевизну» — после этого «начинается полоса для каждого данного исторического периода относительно грандиозного нового строительства, когда находят своё широкое применение накопившиеся технические изобретения, когда создаются новые производительные силы». Анализируя самый фокус проблем СССР — волны накопления для инвестирования и депрессий — он видит причину и условия внутреннего развития «длительной волны» «инвестирования капитала в крупные и дорогие сооружения» вплоть до дефицита накоплений — «в развитии внешневоенных и внутреннесоциальных потрясений»: **в военной угрозе и социальных революциях**. Как известно, именно усиленно нагнетаемая в СССР внешняя «военная угроза» 1927 года стала непосредственным политическим сигналом к началу ускоренной коллективизации и индустриализации. Здесь же Кондратьев фактически проговаривает приглашение к ограблению сельского хозяйства: ибо «промышленность быстрее приспосабливается к новым условиям... подвергается большим потрясениям под влиянием военно-революционных столкновений... Наоборот, сельское хозяйство... в меньшей степени подвергается разрушительным социальным и военным потрясениям»<sup>307</sup>.

Другим примером теоретической санкции аграрников на принудительную эксплуатацию крестьянства в интересах индустриализации за счёт абсолютного снижения их уровня жизни служит «плановое» убеждение в том, что промышленность должна исходить из возможности централизованного массового перемещения практически неограниченных человеческих ресурсов из даже коллективизированного (то есть уже встроенного в систему государственной эксплуатации) сельского хозяйства, **не задумываясь о нижних пределах себестоимости и качестве социального обустройства** такой рабочей силы:

«Те, кто утверждают, что коллективизация поглощает всю рабочую силу в сельском хозяйстве, выдвигают по существу лимит для развития про-

<sup>307</sup> Н. Д. Кондратьев. Большие циклы экономической конъюнктуры [1925] // Н. Д. Кондратьев. Проблемы экономической динамики. С. 219, 220, 221.

мышленности в недостатке рабочей силы, ибо коллективизация СССР к концу пятилетки в основном должна быть закончена, и если пока индустрия может черпать рабочую силу из индивидуального хозяйства, то в ближайший период этот источник будет исчерпан. На самом же деле коллективизация не ставит предела развитию индустрии, а наоборот, благодаря росту производительности труда в сельском хозяйстве, открывает широкие источники снабжения индустрии рабочей силой (...) благодаря быстрому непрерывному росту промышленности спрос на рабочую силу будет поглощать целиком освобождающуюся в сельском хозяйстве рабочую силу... Особенности социалистического хозяйства определяют возможность планового перемещения рабочей силы из сельского хозяйства в индустрию. Уже в настоящем году сделаны попытки регулировать отход из деревни и снабжение промышленности сезонной деревенской рабочей силой. С развитием сплошной коллективизации и перестройкой мелкого индивидуального хозяйства в крупное социалистическое хозяйство будут созданы условия для перераспределения рабочей силы, перемещения её в город в строго плановом порядке»<sup>308</sup>.

Политическая история советской доктрины «первоначального социалистического накопления», то есть накопления, построенного на столь же принудительном ограблении крестьянского большинства, как это было исторически описано Марксом на опыте капиталистической Англии, таким образом, нисколько не выпадала из консенсуса советской экономической мысли, искавшей ресурсов для изолированной (суверенной) индустриализации. Только соображения политического маневрирования и социальной демагогии заставляли правящих большевиков перед большими аудиториями отрицать это предсказанное в теории практическое возвращение к «военному коммунизму» с его принудительным и экономически произвольным изъятием прибавочного и даже необходимого продукта из крестьянской экономики. На деле все были едины в убеждении: иного источника для внутреннего финансирования индустриализации в продиктованные военной опасностью сроки не существует. Главным разработчиком доктрины этого «социалистического накопления» стал, как было

<sup>308</sup> А. С. Либкинд. Аграрное перенаселение и коллективизация деревни. М., 1931. С. 195.

сказано, один из самых влиятельных — по смертельной для него иронии судьбы — сторонников Троцкого, председатель Финансового комитета ЦК РКП (б) и СНК РСФСР Е. А. Преображенский. Троцкому была догматически чужда эта доктрина и всё, что стояло за ней, а именно — изолированное, протекционистское существование СССР в эпоху глобальной конкуренции таких же изолированных и протекционистских великих держав. Но политический союз Троцкого и Преображенского заставлял их быть вместе во внутривнутриполитической борьбе и вместе идти к гибели. Политически отрицая *только имя* его доктрины, именно её на деле **взяла на вооружение и реализовала Советская власть во главе со Сталиным**. Советский критик Преображенского, проводя аналогию между его учением и сочинением О. Шпенглера «Деньги и машина» (русский перевод: Пг., 1922)<sup>309</sup>, сделал весьма точное наблюдение: говоря о социализме и индустриализации, в аграрной сфере Преображенский игнорирует такую необходимую цель как «крупное машинное земледелие». Отметив, что Преображенский «механически» копирует «закон первоначального социалистического накопления» с «закона первоначального капиталистического накопления» — Вайнштейн сомневается в правильности этого, ибо даже согласный здесь с Преображенским Шпенглер говорит: крестьянскому «производящему хозяйству противопоставляется другое — хозяйство присваивающее, которое пользуется первым (производящим) как объектом, заставляет питать его, делает его своим данником или грабит его»<sup>310</sup>. То есть, говоря коротко, Преображенский полностью сосредоточен на краткосрочной (и, видимо, финальной) экспроприации прибавочного продукта крестьянства, а не на создании устойчивого

<sup>309</sup> Ср.: «Вся высшая экономическая жизнь развивается на крестьянстве и над ним. Само же крестьянство ничего, помимо себя, не предполагает. Оно является, так сказать, расой как таковой, растительной и внеисторической, производящей и потребляющей исключительно для самой себя... И вот этой производящей разновидности экономики оказывается противопоставлена разновидность завоёвывающая, пользующаяся первой как объектом, от неё питающаяся, накладывающая на неё дань или её грабящая... В развитых своих формах политика и торговля, как искусство приобретать материальные преимущества над противником с помощью духовного превосходства, являются заменой войны другими средствами...» (Освальд Шпенглер. Закат Западного мира: Очерки морфологии мировой истории. Т. 2 / Пер. с нем. И. И. Маханькова. М., 2009. С. 637).

<sup>310</sup> И. Я. Вайнштейн. Гегель, Маркс, Ленин: Этапы развития диалектической мысли [1928]. Изд. 3-е. М., 2012. С. 268–269.

механизма выкачивания капитала. И тут стоит оценить: не было ли единственным отличием между формальной доктриной Преображенского и фактической практикой Сталина желание последнего создать постоянно действующий механизм прямой эксплуатации в сельском хозяйстве<sup>311</sup>.

Социалист-революционер, известный аграрник и борец против Советской власти С. С. Маслов (1887–1965), в эмиграции (*и до появления «Краткого курса», но лексически близко к его тексту*) подводя итоги сталинской коллективизации, обращал внимание именно на это сталинское желание выстроить механизм непрерывного выкачивания ресурсов, вообще характерного для сталинской системы труда. По оценке С. С. Маслова, экономический смысл ограбления крестьянства через колхозы состоял в том, чтобы обеспечить «долгое, регулярное и легкое отчуждение для задач власти продуктов сельского хозяйства в натуре»: «Власть считала необходимой быструю индустриализацию России, чтобы строить свой “социализм”, крепить своё правящее положение и быть обороноспособной при неизбежном, по её оценке, вооружённом нападении на “социалистическое государство”

<sup>311</sup> Современный научный адвокат Преображенского стремится отвести от него, как ему кажется, обвинения в «перекачке ресурсов» из аграрной сферы в индустриальную, утверждая, что Преображенскому важнее всего едва ли не математическое «равновесие» в экономике: «Е. А. Преображенского часто неправомерно изображали человеком, давшим теоретическое обоснование политике, впоследствии проводимой И. В. Сталиным, который высказывался за взимание “дани” с крестьянства для проведения индустриализации. Во-первых, Е. А. Преображенский выступал, в отличие от И. В. Сталина, за перекачку ресурсов с помощью ценовой и налоговой политики в рамках сохранения НЭПа, а во-вторых, был, как и Н. И. Бухарин, сторонником равновесного роста. Перекачка ресурсов между секторами для него была средством поддержания равновесия в экономике» (А. А. Бельх. История российских экономико-математических исследований. Первые сто лет. М., 2011. С. 64–65). Я не могу признать такое адвокатиrowание убедительным, ибо полностью верю самому Преображенскому в том, что для него важнее всего была скорейшая победа коммунизма в России и мире, построенный промышленный коммунистический строй и немедленное его развитие до высших пределов за счёт внутренних, «докапиталистических» ресурсов крестьянства, а не «равновесие» между коммунизмом и крестьянством. Об этом, собственно, здесь и говорит сам Преображенский в приведённых цитатах. Ещё одно опротестование идейной связи Преображенского и Сталина, но уже с (в высшей степени ангажированных) позиций троцкистской критики Сталина, см. здесь: А. В. Гусев. Осуществил ли Сталин программу Троцкого? (К вопросу о ликвидации нэпа) // НЭП: экономические, политические и социокультурные аспекты / Отв. ред. А. С. Сенинский. М., 2006.

капиталистических держав. Нужные для промышленного развития займы отсутствовали. По обычному каналу займов власть их получить не могла — внешний мир не давал, внутри разорённой страны их совсем не было». Маслов констатировал прямую связь и сходство в развитии сталинских концлагерей и колхозов: «колхозная система в целом, наряду с земледелием, производит также все работы, которые выполняются заключёнными в лагерях, и колхозники по нарядам своих правлений также принудительно отправляются в качестве рабочей силы в разнообразные советские предприятия, но заработок от принудительных работ на стороне колхознику поступает полностью, а заключённому в лагере — не полностью». Колхозы — основной продукт коллективизации, но в них, по Маслову, мягче принуждение, лагеря — побочный продукт, но в них жёстче принуждение, хуже условия жизни, хотя «местом принудительных работ являются оба сталинские создания»<sup>312</sup>.

Выступая 26 мая 1924 года на XIII съезде РКП (б), Преображенский, можно сказать, публично демонстрировал, как логически рождается его доктрина. Он говорил о необходимости мыслить «нашим государственным хозяйством как единым целым», из которого уже следовала не столько хозяйственная (ясно, что не чисто экономическая), а чисто политическая природа консолидации государственного хозяйства для кратного увеличения его совокупной мощи: «сила наша заключается не в том, что мы имеем *достаточно накопленных средств* (курсив мой. — М. К.), а в том, что мы в состоянии соединить все наши ресурсы, опираясь на диктатуру пролетариата». И далее — *о цели такого диктаториального накопления* сначала в государственной промышленности и о создании основы для дальнейшего накопления — уже на основе внешне преобладающим над государственной (социалистической) промышленностью крестьянским хозяйством. То есть об изначально стоящей задаче **инвестирования капитала, изъятото из аграрной сферы, в крупное и интегрированное производство**, что принципиально исключает эволюционное инвестирование в разного рода мелкие производства, приближённые к крестьянскому рынку потребления и труда — и ставит перед ним жёсткие сроки. Под-

<sup>312</sup> С. С. Маслов. Колхозная Россия. История и жизнь колхозов [1937]. М., 2007. С. 260–263.

разумевалось, что именно в этом состоит отличие социалистического накопления от капиталистического — и что **в этом социалистическом накоплении — экономическая основа для выживания «социализма в одной стране»**. Преображенский говорил на съезде:

«вопрос о социалистическом накоплении в том, чтобы... побеждать мелкое производство, — имеет центральное значение. Этот промежуток времени мы должны будем прожить с величайшей экономией... И это тягчайший период первоначального социалистического накопления...»<sup>313</sup>

А в тексте своей статьи-манифеста Преображенский доформулировал, что последующее расширение накопления касается **исключительно мелкого негосударственного («несоциалистического») производства, то есть массы мелких крестьянских хозяйств**: «Чем более экономически отсталой, мелкобуржуазной, крестьянской является та или иная страна, переходящая к социалистической организации производства, чем меньше наследство, которое получает в фонд своего социалистического накопления пролетариат данной страны в момент социальной революции, **тем больше социалистическое накопление будет вынуждено опираться на эксплуатацию досоциалистических форм крестьянства**». В истории же Англии это накопление, писал он, было «систематическим грабежом мелкого производства», «другой формой грабежа... была колониальная политика стран мировой торговли», «методы насилия и грабежа по отношению к крестьянскому населению метрополий». Закрывая для Советской власти перспективу грабежа колоний, Преображенский открывал для неё перспективу грабежа «досоциалистического» крестьянства:

«Что касается колониального грабежа, то... этот источник первоначального накопления для [социалистического государства] с самого начала

<sup>313</sup> XIII съезде РКП(б). Стенографический отчёт. 23–31 мая 1924. М., 1924. С. 201–202. Развивая тезисы своего выступления на съезде, Е. А. Преображенский прямо подчёркивал, что «первоначальному социалистическому накоплению» должна предшествовать политическая диктатура и национализация промышленности (Е. А. Преображенский. Основной закон социалистического накопления [1924] // Е. А. Преображенский, Н. И. Бухарин. Пути развития: дискуссии 20-х годов / Сост. Э. Б. Корицкий. Л., 1990. С. 57–58).

и навсегда закрыт. Совсем иначе обстоит дело с эксплуатацией в пользу социализма всех досоциалистических экономических форм. Обложение несоциалистических форм не только неизбежно должно иметь место в период первоначального социалистического накопления, но оно неизбежно должно получить огромную, прямо решающую роль в таких крестьянских странах, как Советский Союз. (...) Пробежать быстрее этот период, поскорей достигнуть момента, когда социалистическая система развернёт все свои естественные преимущества над капитализмом, — это есть вопрос жизни и смерти для социалистического государства. По крайней мере, так стоит вопрос сейчас для СССР, и так он будет стоять известное время для ряда европейских стран, в которых победит пролетариат. В таких условиях рассчитывать только на накопление внутри социалистического круга — значит рисковать самым существованием социалистической экономики либо продлить до бесконечности период предварительного накопления [только в социалистической промышленности. — М. К.], что, впрочем, не зависит от доброй воли пролетариата»<sup>314</sup>.

Уже ведя внутрипартийную борьбу против Троцкого и троцкистов (и первого среди них — Преображенского), их политические противники в руководстве ВКП (б), однако, могли лишь непринципиальными отговорками дистанцироваться от лапидарного конфискационного смысла «первоначального социалистического накопления», которое неизбежно стояло на повестке дня после объявленного на XIV съезде партии в 1925 году курса на индустриализацию СССР, которая самым радикальным образом ставила перед властью срочную проблему накопления для инвестирования в индустриализацию. Именно отговорками, призванными не отвергнуть, а камуфлировать принудительное накопление, выглядели благие пожелания, привязавшие индустриализацию к темпу накопления, то есть подчинившие перспективные планы развития возможностям описательной статистики. Мотивы этих отговорок были ясны: в условиях едва закончившейся гражданской войны и военной реформы, обнажившей практическое отсутствие военной промышленности и современной армии, осознаваемой (и акцентируемой пропагандой) угрозы военной интервенции Польши

<sup>314</sup> Е. А. Преображенский. Основной закон социалистического накопления [1924]. С. 61–62, 65–66.

и великих держав второй половины 1920-х, растущего социального сопротивления крестьянства, курс на высокий темп принудительного накопления требовал радикального политического решения, которое расколотое руководство ВКП (б) принять не могло. Поэтому, например, XV конференция партии (октябрь–ноябрь 1926) в своей резолюции «О хозяйственном положении страны и задачах партии» стыдливо топил *безальтернативную связь именно накопления и индустриализации* — в риторике «нагнать и превзойти», которой, однако, прямо противоречит ссылка на «темпы накопления» в бедной стране, то есть ссылка на то, что бедность сама по себе порождает столь низкий темп накопления, что не даёт никаких шансов «нагнать и превзойти»:

«Необходимо стремиться к тому, чтобы в относительно минимальный исторический срок нагнать, а затем и превзойти уровень индустриального развития передовых капиталистических стран. Успешное осуществление этого зависит от темпа накопления в народном хозяйстве и от тех ресурсов, которые оно сможет выделить для разрешения задачи индустриализации»<sup>315</sup>.

Примечательно, что в этой резолюции большевики фактически открыто порывают с надеждами на возможную в будущем революционно-промышленную помощь «передовых стран» и утверждают отдельное, экономически конкурирующее с ними сосуществование «социализма в одной стране». Партийный законодатель идёт дальше и, посвящая избыточно много усилий описанию того, как накопление для развития промышленности будет происходить *внутри самой промышленности* (то есть в минимальном темпе, учитывая очень низкую производительность труда в ней и изношенность её основных фондов), в итоге вынужден признать их недостаточность и возложить главную надежду на «дополнительные средства». Ставка на *внутрипромышленное накопление* — старше доктрины Преображенского, хотя была сделана одновременно с громким рождением самой формулы «первоначального социалистического накопления» — и сделано это было эволюционистским оппонентом

<sup>315</sup> КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. Изд. 7. Часть II: 1925–1953. М., 1953. С. 175.

Преображенского Н. И. Бухариным ещё в 1920 году в его знаменитой книге «Экономика переходного периода», эволюционизм которой, надо признать, отходил на второй план перед лицом её же крайней апологии голого политического насилия диктатуры, творящей себе новую реальность. Именно здесь Бухарин писал, демонстрируя глубокое родство доктрины Преображенского доктринальному консенсусу русских марксистов:

«придётся пережить на первых порах период первоначального социалистического накопления (термин, предложенный тов. В. М. Смирновым (в «Еженедельнике „Правды“»). В чём состояла производственная сущность капиталистического первоначального накопления? В том, что политическая власть буржуазии мобилизовала огромные массы населения, ограбив их, превратив их в пролетариев, создав из них основную производительную силу капиталистического общества. *Производство пролетариата* — вот «сущность» периода первоначального накопления. (...) Но и социализм, вырастающий на груде обломков, должен неизбежно начинать с мобилизации живой производительной силы. Эта трудовая мобилизация составляет основной момент социалистического первоначального накопления. (...) На первых ступенях развития, когда пролетариату достаётся в наследство жестоко пострадавший материально-машинный технический остов, особое значение приобретает живая рабочая сила. Поэтому переход к системе всеобщей трудовой повинности, т.е. вдвигание в пролетарски-государственный трудовой процесс и широких непролетарских масс, в первую очередь, масс крестьянства, является повелительной необходимостью... Наиболее важными сферами труда первоначально являются транспорт, подготовка топлива, сырья и продовольствия»<sup>316</sup>.

Здесь же, в главе «Внеэкономическое принуждение в переходный период», Лениным оценённой как «превосходная», именно Бухарин провёл прямую и циничную параллель:

«Ограбление общинных земель в Англии в период первоначального накопления, массовый принудительный труд рабов в Древнем Египте, коло-

---

<sup>316</sup> Н. И. Бухарин. Экономика переходного периода [1920] // Н. И. Бухарин. Избранные произведения / Сост. С. Л. Леонов, А. В. Лобова. М., 1990. С. 161–162.

ниальные войны, “великие бунты” и “славные революции”, империализм, коммунистическая революция пролетариата, трудовые армии в Советской Республике — все эти разношёрстные явления разве не связаны с вопросом о принуждении? Конечно, да»<sup>317</sup>.

В этой апологии массового принудительного *физического, неквалифицированного, непроизводительного* труда, направляемого голой политической волей власти почему-то на стимулирование *внутри-промышленного накопления (без промышленности)*, — нет ни слова о *накоплении собственного капитала*<sup>318</sup>. И потому — нет главного для *промышленной* индустриализации в категориях XX и даже XIX века. Есть система принудительного труда, выросшая в ГУЛАГ, но нет того, чему служили главные усилия ГУЛАГа по созданию энергетической, транспортной и ресурсной базы индустриализации; есть создание пролетариата, но нет создания технологичного производства, которое требует именно свободного и централизованного капитала.

План массовой пролетаризации «непролетарского» крестьянства и его же массового принудительного труда — и есть план социалистического закрепощения крестьянства, в целях которого Бухарин так и не определился (оставляя пролетаризацию самоцелью для концентрации труда), утверждая голое насилие без внятной экономической цели. А Преображенский, напротив, внятно определил его целью — экспроприацию и капитализацию прибавочного продукта, неизбежными продуктами которых становятся и капитал, и армия труда для индустриализации.

Тем временем Бухарин сам признался, что большевистский общественно-экономический проект 1917–1918 гг., как известно, включающий проект «прямого продуктообмена» и ещё военную продовольственную развёрстку для крестьянства, доведённую до максимального изъятия прибавочного продукта, был не ситуативным (вырастающим

<sup>317</sup> Н. И. Бухарин. Экономика переходного периода [1920]. С. 189, 524.

<sup>318</sup> В толковании накопления капитала как накопления физического труда Бухарин был в своём времени не одинок. В этом он вполне мог вдохновляться мыслью известного голландского коммуниста-милитариста о том, что «развитие, накопление капитала путём всё совершенствующейся техники и всё увеличивающихся масс пролетариата принимает всё более быстрый темп» (*Герман Горттер*. Империализм, мировая война и социал-демократия [1914] / Пер. М. И. Ульяновой, предисл. И. И. Степанова. М., 1920. С. 129).

из войны и примера Германии), а именно что программным проектом «военного коммунизма»:

«...“военный коммунизм” мыслился нами не как “военный”, то есть пригодный только определённой ступени в развитии гражданской войны, а как универсальная, всеобщая и, так сказать, “нормальная” функция экономической политики победившего пролетариата»<sup>319</sup>.

Каковы же на практике должны были быть обещанные в резолюции XV конференции «дополнительные средства»? Ответом на это — на фоне более чем откровенных признаний Бухарина — звучали длинные рассуждения о «союзе рабочего класса и крестьянства» и красноречивое отрицание планов экспроприации крестьянства, которое более всего служит свидетельством того, что иного источника накопления, кроме вслух названного Преображенским ограбления (и, следовательно, **пролетаризации**) крестьянства (даже ценой деградации деревни), в стране нет (далее курсив мой):

*«Попытка рассматривать крестьянство только как объект обложения, дабы путём чрезмерных налогов и повышения отпускных цен увеличить изъятие средств из крестьянского хозяйства, должна неизбежно приостановить развитие производительных сил деревни, уменьшить товарность сельского хозяйства и создать угрозу разрыва союза рабочего класса и крестьянства, ставя под угрозу социалистическое строительство»<sup>320</sup>.*

Уже через год после этого откровенного покаяния в неотвратимом партийный законодатель на объединённом пленуме ЦК и ЦКК ВКП (б) в октябре 1927 начал переход к практической программе «первоначального социалистического накопления» (масштабной принудительной коллективизации сельского хозяйства), публично отказываясь от оказавшегося «некорректным» термина *накопления*, но произнося проблему «*максимальной*» (курсив источника. — М. К.) перекачки

<sup>319</sup> Н. И. Бухарин. О ликвидаторстве наших дней [1924] // Н. И. Бухарин. Избранные произведения / Сост. С. Л. Леонов, А. В. Лобова. С. 254.

<sup>320</sup> КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. Изд. 7. С. 176, 180.

средств из сферы крестьянского хозяйства в сферу индустрии». Плеханов пожертвовал абстракцией «максимальной перекачки» и позволил всё «не максимальное»: **«неправильно было бы отказываться от привлечения средств деревни к строительству индустрии»**; это в настоящее время означало бы замедление темпа развития и нарушение равновесия в ущерб индустриализации страны»<sup>321</sup>. А задачу определить «равновесие» и объём и меру «перекачки средств» партия передала в ведение своего высшего партийного руководства, ничем его не ограничив, кроме риторики. Преображенский, политически и терминологически проиграв, практически — победил.

Доктринальная победа Преображенского была совершенно ясна для всех большевистских вождей — и особенно стала ясна, когда коллективизация началась. Бухарин признавался Каменеву в июле 1928 года: «Линия же его [Сталина] такая: 1) Капитализм рос или за счёт колоний, или займов, или эксплуатацией рабочих. Колоний у нас нет, займов не дают, *поэтому наша основа — дань с крестьянства* (ты понимаешь, что это то же, что теория Преображенского). 2) Чем больше будет расти социализм, тем больше будет сопротивление... 3) Раз нужна дань и будет сопротивление — нужно твёрдое руководство». Рупор Сталина, в 1927–1947 — директор Института мирового хозяйства и мировой политики АН СССР Е. С. Варга прогнозировал: «голод неизбежен, раз индустриализация»<sup>322</sup>.

Не была секретом и преемственная антикрестьянская природа сталинской индустриализации и для внешнего компетентного русского взгляда. В эмигрантской полемике о перспективах развития Советской власти, о «термидоре» как буржуазно-демократическом перерождении социалистической революции и «бонапартизме» как контрреволюционной военной диктатуре П. Н. Милуков писал так: «в личном режиме Сталина есть сразу элементы “Робеспьера” и “Бонапарта”, но как раз “Бонапарта”, никоим образом не опирающегося на крестьянскую “базу” ...»<sup>323</sup>.

<sup>321</sup> Там же. С. 279.

<sup>322</sup> Л. Б. Каменев. Конспективная запись беседы с Н. И. Бухариным и Г. А. Сокольниковым 11 июля 1928 года // И. В. Сталин. Сочинения. Т. 14. Изд. 2 / Сост. Р. И. Косолапов. Тверь, 2007. С. 635, 639.

<sup>323</sup> П. Н. Милуков. Термидор и бонапартизм [17 апреля 1929] // П. Н. Милуков: «русский европеец». Публицистика 20–30-х гг. XX в. / Отв. ред. М. Г. Вандалковская. М., 2012. С. 112.

Обращение к истории политических формул руководящих большевиков показывает, что в мучительном поиске языка индустриализации, который бы соединил доктринальную верность Марксу и Ленину с реальным ландшафтом капитала и индустрии, Сталин непростительно долго для лица высшего уровня власти оставался почти в одиночестве. Исследователь акцентирует внимание на истории формулирования позиции Сталина в ответах на заранее согласованные вопросы при выступлении в Свердловском университете 9 июня 1925 (выделено мной). Вопрос: «возможно ли развитие крупной советской промышленности... без кредитов извне». Ответ: «Да, возможно. Дело это будет сопряжено с большими трудностями, придётся при этом пережить тяжёлые испытания, но индустриализацию нашей страны без кредитов извне мы всё же можем провести... Остаётся новый путь развития, путь, не изведанный ещё полностью другими странами, **путь развития крупной промышленности без кредитов извне...** Национализированная земля, национализированная промышленность, национализированные транспорт и кредит, монополизированная внешняя торговля, регулируемая государством внутренняя торговля, — всё это такие новые источники “добавочных капиталов”, которых не имело ещё ни одно буржуазное государство». Исследователь находит первое упоминание формулы в неопубликованных тезисах Сталина конца 1922 года: «больших внешних займов, *обычно* питающих тяжёлую индустрию в промышленном отношении малоразвитых стран, нам не получить»<sup>324</sup>. Но получается, что эта мысль Сталина очень долго оставалась чуждой и непонятной даже самым верным сталинцам. Например, в 1927 году нарком внешней торговли А. И. Микоян всё ещё утверждал: «Не имея заграничных кредитов в достаточной степени, не имея валютных ресурсов, мы не сможем больше ускорять темп роста нашего производства»<sup>325</sup>.

Любой знакомый с доминирующей формулой советского описания индустриализации, повторяющей формулу, данную в «Кратком курсе

<sup>324</sup> В. А. Сахаров. На распутье: Дискуссия по вопросам перспектив и путей развития советского общества (1921–1929). М., 2012. С. 279–281.

<sup>325</sup> Цит. по: Н. Л. Роголина. Индустриализация в рамках нэпа и перспективы советской модернизации // Экономическая история: Ежегодник. 2006 / Отв. ред. Л. И. Бородкин, Ю. А. Петров. М., 2006. С. 371.

истории ВКП (б)», подтвердит, что её фокусом действительно был (поставленный Преображенским) вопрос о финансировании индустриализации, аккуратно лишённый центрального понятия финансирования индустриализации — накопления<sup>326</sup> и инвестирования капитала, *помимо колониальной эксплуатации*. Само понятие накопления, развитое в доктрину Преображенским, по политическим соображениям борьбы против троцкистов было удалено из позитивной истории партии. Однако легко убедиться, что известный фрагмент «Краткого курса» об индустриализации сохраняет почти в нетронутом виде положения очерка Н. Н. Попова, который позже стал одним из авторов начальной версии текста. Заведующий Агитационно-пропагандистским отделом ЦК КП(б) Украины Н. Н. Попов (1891–1938) — подлинный автор этой широко известной выхолощенной схемы, которая благодаря именно ему сохранила в себе публично зафиксированную логику «социалистического накопления» партийно уже осуждённого Преображенского. Попов писал о хозяйственном росте 1924–1926 гг.:

«мы... подошли к новым трудностям, ставши лицом к лицу с проблемой капитального строительства и переоборудования промышленности, с необходимостью вкладывать в это дело сотни и сотни миллионов. При крайней ограниченности иностранных кредитов единственным источником, откуда можно было взять эти сотни миллионов, оставались *внутренние*

<sup>326</sup> Глава X: «Одна из труднейших задач индустриализации — задача накопления средств для строительства тяжелой промышленности (...) Капиталистические страны обычно создавали свою тяжелую индустрию за счёт притока средств извне: за счёт ограбления колоний, за счёт контрибуций с побеждённых народов, за счёт внешних займов. Страна Советов принципиально не могла прибегнуть к таким грязным источникам получения средств для индустриализации, как грабёж колониальных или побеждённых народов. Что касается внешних займов, для СССР был закрыт этот источник ввиду отказа капиталистических стран дать ему займы. Нужно было найти средства *внутри* страны. И в СССР нашлись такие средства. В СССР нашлись такие источники накопления, каких не знает ни одно капиталистическое государство. Советское государство получило в своё распоряжение все фабрики и заводы, все земли, отнятые Октябрьской социалистической революцией у капиталистов и помещиков, транспорт, банки, торговлю внешнюю и внутреннюю. Прибыль от государственных фабрик и заводов, от транспорта, торговли, банков шла теперь не на потребление паразитического класса капиталистов, а на дальнейшее расширение промышленности... Благодаря режиму экономии с каждым годом стали собираться все более значительные средства на капитальное строительство».

*ресурсы страны. Только мобилизацией внутренних ресурсов можно было форсировать темп социалистического накопления, темп индустриализации нашей страны».*

Далее Попов уже риторически равно отсекал как крайние перспективы — капитуляцию перед «царством крестьянской ограниченности» и откровенно проговорённую до конца «колониальную политику односторонней эксплуатации [крестьянской массы] **хотя бы под маркой первоначального социалистического накопления**» (выделено мной. — М. К.)<sup>327</sup>. «Колониальные» уличения (несправедливости эксплуатации («грабежа»!) колоний Западом и равной несправедливости эксплуатации крестьян в СССР) стали общим местом критики теории Преображенского сначала для главного идеолога большевиков второй половины 1920-х Н. И. Бухарина, а затем и для штатных пропагандистов. Особенно досталось его неосторожным признаниям в «грабеже»: Бухарин вполне лицемерно возмущался тем, что Преображенский говорит об экспроприации, эксплуатации всего крестьянства, а не только сельской буржуазии<sup>328</sup>. Однако и критики Преображенского верно проговаривались о сути этой эксплуатации, ровным счётом ничего не противопоставляя ей, кроме риторики о «союзе» рабочих и крестьян, особенно в самый разгар принудительной коллективизации. Они ясно понимали, о чём на самом деле идёт речь на практике:

«Если логически довести эту идею до конца, то мы придём к необходимости присвоения всего прибавочного продукта крестьянина...»<sup>329</sup>.

Поэтому естественно, что наиболее глубокому анализу **принуждение к «первоначальному социалистическому накоплению» ради изолированной и ускоренной индустриализации** подвергли именно русские экономисты-аграрники, связавшие свою судьбу

<sup>327</sup> Н. Н. Попов. Очерк истории ВКП (б) [1926]. Изд. 7. М.; Л., 1928. С. 346–347.

<sup>328</sup> Н. И. Бухарин. Критические замечания на книгу Е. Преображенского «Новая экономика» [1926] // Н. И. Бухарин. Избранные произведения / Сост. С. Л. Леоннова, А. В. Лобова. С. 449.

<sup>329</sup> И. Лапидус, К. Островитянов. Политическая экономия в связи с теорией сельского хозяйства. М.; Л., 1930. С. 569.

с изучением крестьянства. Упомянутые Н. Д. Кондратьев и А. В. Чаянов, пришедшие в советскую экономическую власть из революционной неонароднической научной и политической среды, были естественными носителями доктрины «трудового крестьянского хозяйства» как основы справедливой экономики и общественности, но именно им суждено было определить перспективы *сельского хозяйства России как основы внутреннего рынка для промышленности*. Их готовность пожертвовать приоритетами «трудового крестьянского хозяйства» (в апологии которого их обвиняли большевистские критики и следователи) *ради доходности* требует особого внимания. В экскурсе в историю земельной ренты Чаянов показывал, что именно высокая доходность земли предопределяет направление аграрного развития, ибо в России 1861–1917 гг. малоземельные крестьяне платили за землю сравнительно больше, и это вело к распродаже крупных хозяйств, а в Англии (неназванного периода «первоначального накопления»), наоборот, высокая земельная рента от крупного овцеводства предопределила «ограбление крестьянского арендаторства»<sup>330</sup>. Из такой логики капитализации ренты исходил Чаянов, рисуя проект кооперации сельского хозяйства как равной капиталистической его концентрации. Перед реальностью аграрной страны, получающей более половины дохода от земледелия и скотоводства 18,5 миллиона мелких крестьянских хозяйств, Чаянов писал в условиях НЭПа и перед коллективизацией о вполне диктаториальных и ультраконцентраторских задачах, под которыми подписался бы и Сталин:

«Если мы не хотим, вообще говоря, рисковать устойчивостью и манёвренной гибкостью самой системы государственного капитализма, мы не можем оставить главнейшую отрасль нашего народного хозяйства в состоянии стихийных форм развития... мы должны стремиться к прямому организационному овладению стихийным крестьянским хозяйством... основным и наиболее сложным вопросом нашей системы государственного капитализма является вопрос о том, какими методами мы можем увя-

<sup>330</sup> А. В. Чаянов. К вопросу [о] теории некапиталистических систем хозяйства [1924] // А. В. Чаянов. Крестьянское хозяйство. Избранные труды / Сост. Н. К. Фигуровской, А. И. Глаголева. М., 1989. С. 143. См. также об этом: А. В. Чаянов. Организация крестьянского хозяйства [1925] // А. В. Чаянов. Крестьянское хозяйство. Избранные труды. С. 409.

зять эту крестьянскую стихию в общую систему государственного капитализма и, подчинив регулирующему влиянию государственных центров, ввести в общую систему нашего государственного планового хозяйства... вводить в будущую организацию земледелия такие элементы, дальнейшее развитие которых... могло бы стать основой для будущей социалистической системы народного хозяйства... В настоящее время в этом вопросе уже не существует двух мнений, и все организаторы сельского хозяйства уверенно полагают, что главнейшими методами в работе по реорганизации нашего земледелия явятся методы вертикальной концентрации» (выделено мной. — М. К.)<sup>331</sup>.

Другой знаменитый русский экономист-аграрник, близкий к народникам, в частности к Чаянову, и марксистам-аграрникам ревизионистского толка, идейный сторонник «трудового крестьянского хозяйства», но *последовательный противник Советской власти* Б. Д. Бруцкус (1874–1938) также давал основания полагать, что судьба мелкого крестьянского хозяйства была предreshена и оно было обречено даже в глазах его учёных апологетов. Уже в 1917 году Бруцкус приходил к выводу, что «для радикального решения аграрного кризиса в конце концов имеется только одно средство: дифференциация населения на почве развития промышленности и капитализма», мобилизация земли, единое наследие, «отход от земли лишних ртов»<sup>332</sup>. Если перевести это суждение на язык социальной науки, то Бруцкус предрекал неизбежность обнищания массы крестьянства, его пролетаризацию и вытеснение в города и промышленность в сферу дешёвого неквалифицированного труда, то есть то, что вошло в формулу Маркса о капиталистическом первоначальном накоплении. То есть то, что было на практике реализовано в сталинской коллективизации, ставшей прямой и непосредственной прелюдией к радикальной индустриализации в области принудительной концентрации капитала и труда.

Крупный историк-марксист, уделивший много исследовательского внимания аграрному вопросу в России, А. В. Островский (1947–2015)

<sup>331</sup> А. В. Чаянов. Организация крестьянского хозяйства [1925] // А. В. Чаянов. Крестьянское хозяйство. Избранные труды. С. 437–439.

<sup>332</sup> И. А. Кузнецов. Преодолевая народничество: концепции аграрной экономики Б. Д. Бруцкуса // Экономическая история. Ежегодник 2014/2015. М., 2016. С. 599, 589, 592, 593.

обратил внимание на сложившийся консенсус дореволюционных русских практиков в отношении перспектив индустриального развития (вернее сказать — индустриального переворота) в сфере крестьянского хозяйства. Этот консенсус не оставлял никаких аргументов в пользу мелкого «трудового крестьянского хозяйства» против ускоренной его концентрации, кроме идеологических и моральных. Саморазрушительные итоги экономического развития России вплоть до Первой мировой войны политически (сохранением феодальных пережитков в земельной собственности) лишили инвестиций отечественное сельское хозяйство и потому безальтернативно подчинили русскую промышленность иностранным инвестициям. А. В. Островский подводит итоги:

«факт усиления зависимости России от иностранного капитала — это бесспорный факт. С одной стороны, приток иностранных инвестиций сопровождался внедрением новых технологий, с другой стороны, выкачиванием из России необходимых ей самой ресурсов, в том числе капитала. В результате этого иностранный капитал становился одновременно двигателем и тормозом внутреннего накопления. Баланс этих двух тенденций не подведён. Однако можно утверждать, что иностранные инвестиции двигали вперёд промышленность и транспорт, а откачиваемые средства поступали главным образом из деревни, что способствовало разрушению крестьянского хозяйства. Процесс первоначального накопления приобретал однобокий характер: в России оставались разорённые крестьяне, а прибыль от инвестиций уплывала за границу, что сдерживало формирование отечественной буржуазии»<sup>333</sup>.

Поэтому повышение производительности земли и **увеличение внутреннего накопления (которое так и не смогло «натурализовать» внешние инвестиции в индустриализацию)**, то есть — сокращение издержек сельскохозяйственного производства в России к моменту революций 1917 года, по мнению А. В. Островского, было возможно либо «за счёт роста производительности труда (механизации сельского хозяйства)», либо «за счёт усиления эксплуатации

<sup>333</sup> А. В. Островский. Российская деревня на историческом перепутье. Конец XIX — начало XX в. М., 2016. С. 80.

крестьянства». В это время доминирующее пренебрежение власти к интересам крестьянского большинства не позволило ей приложить практические усилия к тому, чтобы облегчить крестьянству интеграцию в капитализм (и тем оправдать теоретически доказанную марксистами — против обоснованных тревог народников — и выгодную индустриализации Витте схему того, как разоряемое крестьянство поглощается городами). Историк резюмирует ситуацию рубежа XIX и XX вв.:

«то, что процесс разорения крестьянства опережал процесс накопления в деревне, не вызывает сомнения, в результате чего избыточные рабочие руки не могли найти себе применения в сельском хозяйстве и устремлялись в другие отрасли экономики. Между тем есть основания утверждать, что темпы развития капиталистической промышленности отставали от темпов разорения крестьянства, поэтому имело место увеличение аграрного перенаселения, а значит, развитие не только процесса пролетаризации, но и пауперизации крестьянства... Увеличение численности ненужных рабочих рук (т.е. едоков) имело своим следствием возрастание нерентабельности, убыточности крестьянских хозяйств... Крестьянское население, не затронутое процессом пролетаризации и пауперизации, составляло около 56,8 млн человек, 46% всего населения»<sup>334</sup>.

Тем временем, в условиях мирового снижения цен на продукцию сельского хозяйства, зерновое и животноводческое производство в России были в целом убыточны и убыточность их росла. И их крупное производство в сельском хозяйстве было рентабельным только «там, где было возможно получение дифференциальной ренты» (то есть при инвестициях в земледелие), «на основе кабальной аренды», «на основе использования кабального наёмного труда»<sup>335</sup>. Одним словом — только методами принудительной, конфискационной и кабальной сталинской коллективизации крестьянского хозяйства. Ещё в 1980 году А. В. Островский обратил внимание научной общественности на консенсус в деловой среде относительно направления аграрного развития России. Понимая описанные условия сельского

<sup>334</sup> А. В. Островский. Российская деревня на историческом перепутье. Конец XIX — начало XX в. М., 2016. С. 377, 382.

<sup>335</sup> Там же. С. 81, 318.

хозяйства, весной 1915 г. Совет съездов представителей промышленности и торговли представил их очередному съезду программу «О мерах по развитию промышленных сил России», в которой говорилось, что **«в течение десяти лет Россия должна или удвоить, утроить свой хозяйственный оборот, или обанкротиться»** и для этого, в частности, форсировать перемены в земледелии: повысить плодородие земли за счёт *неорганических* удобрений и повысить производительность труда за счёт внедрения машинной техники, *внедрить производственную кооперацию*. В начале 1917 г., ещё до Февральской революции, Московское общество сельского хозяйства и Союз кооператоров подготовили доклад «Неотложные мероприятия по земледелию в связи с народным продовольствием», в котором говорилось: «Перечисленные условия... неуклонно толкают Европу и Россию на путь *национализации и кооператизации* сельскохозяйственного производства. Таковая, вероятно, осуществится в ближайшем будущем»<sup>336</sup>.

Ученик Струве, вождь эмигрантского евразийства П. Н. Савицкий — тонко чувствуя альтернативу иностранной экономической, кредитной и инвестиционной колонизации — приветствовал сталинскую ускоренную индустриализацию, прежде всего, потому, что в ней он нашёл продолжение и исправление русских традиций имперской, континентальной индустриализации и самодостаточности:

«Русский промышленный подъём эпохи пятилетки куплен дорогою ценою. Промышленные расцветы, во многих случаях, обходятся не дешёво тем странам, в которых они происходят. Иногда этой ценой является закабаление страны иностранному капиталу. Элемент поставления русской промышленности в финансовую зависимость от заграницы, несомненно, присутствовал в русском промышленном подъёме 1893–1899 гг. В меньшей степени он чувствовался в расцвете 1910–1916 гг. Ценой осуществления пятилетнего плана является сильнейшее сокращение народного потребления... Средства для строительства небывалых в России размеров получены путем возложения на страну такого же масштаба лишений. Здесь действуют и рычаги налогового пресса, и принудительные займы, и политика высоких цен на промышленные изделия, диктуемых стране государством, выступающим в качестве производителя-моно-

<sup>336</sup> Там же. С. 426, 430, 431.

полиста. Положительную цель пятилетки с максимальной точностью можно определить, как строительство особого мира России-Евразии. (...) В духовной обстановке СССР эпохи пятилетки слышатся мотивы, созвучные установкам 1916 г. И в тот момент страна была охвачена идеей автаркии. Деятели русского капиталистического хозяйства с таким же увлечением служили ей, как сейчас ей служат “строители социализма”... Увлекала и увлекает организационная идея, капиталистически-националистическая в первом случае, коммунистически-националистическая во втором... В первые революционные годы звучали горькой иронией слова о достижении самодостаточности русского мира, столь популярные в 1916 г. Это не помешало им, на несколько лет позже, возродиться к новой власти и силе»<sup>337</sup>.

Привлекательность протекционистского проекта в эмигрантской среде оказалась столь велика, что радикальному консерватору П. Н. Савицкому, стоило ему попытаться изобразить автаркию частью планового хозяйства и вообще евразийской идеологии, тут же оппонировал «правовой социалист» С. И. Гессен (выделено мной):

«Надо сказать, что из всех мыслей, составляющих евразийское учение, **идея хозяйственной автаркии наименее евразийская. Сейчас это одна из наиболее интернациональных мыслей, выдвигаемая во всех странах национальными политическими группировками.** В Германии идея хозяйственной автаркии защищается национал-социалистами, в Италии — фашистами, в Англии — консерваторами, в Польше — идеологами национального блока, поддерживающими диктатуру Пилсудского (...) Хозяйственная автаркия есть, увы, факт современной действительности, громко заявляющий о своём существовании и каждодневно увеличивающийся в своей подрывной, разрушительной силе. Таможенные валютные и всякого рода другие заставы, которыми даже самые мелкие государства отгородились сейчас друг от друга, каждодневно усиливая строгость ввозных и вывозных запрещений и высоту таможенных ставок, есть мыслимый предел автаркии. Крайним доктринерством было бы, однако, считать (как это делают некоторые публицисты демо-

<sup>337</sup> П. Н. Савицкий. Пятилетний план и хозяйственное развитие страны // Новый Град. № 5. Париж, 1932. С. 47–48, 50.

кратического лагеря нашей эмиграции), что эта уже существующая ныне автаркия есть только плод политического национализма (...) Никакими выкриками по адресу националистического интернационала нельзя отменить того факта, что автаркия есть симптом распада мирового хозяйства прежнего капиталистического стиля и что распад этот обусловлен глубокими сдвигами внутри капиталистического рынка. Идеология свободной торговли имела глубокий смысл тогда, когда Европа была как бы громадным промышленным городом на теле мирового капиталистического рынка, и когда возможности горизонтального расширения этого рынка были практически неограниченными. Правда, даже и тогда — в эпоху не утратившего своей ликвидности капитала — идеология свободной торговли была внутри Европы естественной идеологией тех стран, которые ранее других успели индустриализироваться. (...)

Требуя автаркии, немецкие национал-социалисты прямо заявляют, что автаркия должна обеспечить независимость Германии на случай войны. Тот же политический привкус слышен и в программе фашистов и польских пилсудчиков, так же как **и в сталинской теории социализма в одной стране**. Автаркия мыслится во всех этих случаях, как орудие великодержавности и империализма. (...) Автаркия в смысле подчинения хозяйства государству, превращения его в простое орудие власти и великодержавной политики государства, представляет собой прямую противоположность плановому хозяйству, которое в полной мере может быть осуществлено лишь на путях мира, а не войны, т. е. на путях ограничения суверенности отдельных государств хозяйственным международным правом»<sup>338</sup>.

Точно тогда же поклонник сталинского коммунизма в знаменитом французском научном журнале «Анналы» эмоционально изобразил «изолированную» индустриализацию СССР как «вечную борьбу России за свою независимость», которую он был (вполне евразийски) склонен рассматривать не как периферию, а как самодостаточную страну-континент. И предвосхитил общий смысл положений «Краткого курса» о тайне советских внутренних инвестиций, в рассказе о способе капитализации принудительного труда оказавшись откровенней большевистских идеологов: «Главным было обеспечить внутренние

<sup>338</sup> С. И. Гессен. О пятилетке и проблеме хозяйственной автаркии // Новый Град. № 5. Париж, 1932. С. 61–63, 66.

капиталовложения... На самом же деле Советское государство, которое как первоначальным капиталом располагало землёй и недрами, крупными промышленностью и транспортом и т. п., в качестве оборотного капитала могло рассчитывать на прибавочную стоимость труда людей. Но следовало ещё реализовывать эту прибавочную стоимость, чтобы затем накопить её в виде новых предприятий или модернизированного оборудования... Нужно было добиться от населения, чтобы оно кредитовало государство своим трудом. А это чрезвычайно сложно сделать по отношению к людям, которые десять лет переживали тяжелейшие времена и, конечно же, надеялись на относительно безбедную жизнь»<sup>339</sup>. Это значило полное понимание той политической воли, которая решилась обречь крестьянское большинство на труд в условиях ниже *порога физиологических норм существования*...

Перед лицом этой крайней эксплуатации, несоразмерной с задачами мировой революции и едва представимой с точки зрения возможностей «замкнутого» СССР, чуткий, враждебный и компетентный наблюдатель, описывая эволюцию сталинского коммунизма, обнаружил в ней связанность протекционистского «изолированного государства» и «социализма в одной стране» — с изначально заложенной в немецком образце теорией гражданской «национализации» — против интернационализма мировой революции. И назвал это «национализацией Октября»: «Начавшись некогда с ограничения революционных задач “построением социализма в одной стране”, за последние годы национализация революции сделала огромные успехи. Реабилитация родины, патриотизма, русской истории, русской культуры — вот положительные итоги духовной контрреволюции Сталина... Оправдывая подвиг святого Владимира, Дмитрия Донского, Петра Великого, Сталин чувствует себя продолжателем их исторического дела. Кажется, что он предпочёл бы быть русским царём, чем вождём мирового пролетариата»<sup>340</sup>. Современный либеральный теоретик также вынужден признать этатистский смысл сталинского превращения коммунистического проекта: «Сталин не сделал ничего такого, что способствовало бы отмиранию государства, хотя Маркс предсказывал и поддерживал это отмирание. Зато он

<sup>339</sup> Гюстав Меке. По поводу пятилетнего плана [1932] // *Анналы экономической и социальной истории*. Избранное. М., 2007. С. 119–120, 126–128.

<sup>340</sup> Г. П. Федотов. Год борьбы [1937] // Г. П. Федотов. Собрание сочинений. Т. 6. С. 340–341, 350.

сделал всё возможное для увеличения силы и мощи советской военной машины и необходимой для неё промышленной и научной базы»<sup>341</sup>.

Один из русских экономистов, ставших основателями американской славистики, А. Гершенкрон (1904–1978), убедительно помещал сталинскую *индустриализацию-за-счёт-крестьянства* в её широкий исторический контекст: «Важнейший факт, подлежащий рассмотрению, заключается в том, что промышленный труд в смысле устойчивой, прочной и дисциплинированной группы работников, которая порвала пуповину связи с землёй и стала годной для использования на фабриках, в отсталой стране (как Россия. — М. К.) не избыточен, но крайне редок. Создание такой промышленной рабочей силы, которая реально соответствует своему названию, есть очень трудный и затяжной процесс. История российской промышленности предоставляет некоторые разительные примеры этого. Многие германские промышленные рабочие XIX столетия были выращены жестокой дисциплиной юнкерского поместья, подготовившей их, по-видимому, к суровости фабричных правил. И всё трудности были велики, и можно вспомнить восхищённые и завистливые взгляды, которые в конце (XIX) столетия германские авторы вроде Шульце-Гевверница бросали через Ла-Манш на английского промышленного рабочего, “человека будущего... рождённого и воспитанного для машины... [которому] нет равных в прошлом”...»<sup>342</sup>. На самом деле: между машинной промышленностью, эволюционно выросшей из феодальной экономики, и передовым машинным капитализмом, в почти готовом виде имплантированным в отсталое феодальное общество, существовала чувствительная разница, которая ещё прежде Гершенкрона, русскими народниками, уже была выражена как дополнительное преимущество для имплантации коммунизма помимо капитализма:

«Россия пользуется опытом передовых стран в области, политики, в сфере образования, медицины, обрабатывающей промышленности, транспорта. (...) Благодаря своей отсталости или, если угодно, своей молодости Россия

<sup>341</sup> Мансур Олсон. Власть и процветание. Перерастая коммунистические и капиталистические диктатуры [2000] / Пер. Б. Пинскера. М., 2012. С. 146.

<sup>342</sup> А. Гершенкрон. Экономическая отсталость в экономической перспективе [1962] / Пер. Г. Д. Гловели // Истоки: экономика в контексте истории и культуры / Гл. ред. Я. И. Кузьминов. М., 2004. С. 424–425.

избавлена от тяжёлого труда вырабатывать более совершенные формы удовлетворения разнообразных своих потребностей и может заимствовать эти формы у своих старших соседей. Этим только и обеспечивается возможность участия отставшей страны, в качестве равноправного члена, в культурной жизни Запада. Если бы ей приходилось повторять медленный процесс развития, пройденный в своё время Западной Европой, то ей нужно было бы уединиться от цивилизованного мира или вечно находиться в порабощении у более культурных народов»<sup>343</sup>.

И выстроенная для того, чтобы избежать этой перспективы, государственная машина, как показывают современные исследования национального дохода России / СССР, «в годы Великого перелома и Второй мировой войны... работала без сбоев. Производство не снижалось даже в годы тяжелейших катастроф»<sup>344</sup>.

Ценой этому была *социально предопределённая гекатомба*, прежде всего, крестьянства и заключённых, принесших многократные жертвы — повышенной смертности от рабского труда и голода в тылу, военной смерти на самой первой линии фронта Великой Отечественной войны или прямого гитлеровского геноцида в оккупации и плену. *Индустриализация для победы в войне* обрекла народное большинство на двойную социально-демографическую катастрофу — в индустриализации и в войне.

---

<sup>343</sup> В. П. Воронцов. Очерки экономического строя России [1906]. С. 18.

<sup>344</sup> Андрей Маркевич, Марк Харрисон. Первая мировая война, Гражданская война и восстановление: национальный доход России в 1913–1928 гг. М., 2013. С. 42.

# ЕВРОПЕЙСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ СТАЛИНИЗМА:

ИНДУСТРИАЛИЗМ, БИОПОЛИТИКА  
И ТОТАЛЬНАЯ ВОЙНА

«Вся Россия делается тюрьмой... и будут войны — вот уже время близко».

*Схиеромонах Аристоклий Афонский. 1917–1918*

«Война устроила нечто вроде экзамена нашему советскому строю, нашему государству... как бы говоря нам: вот они, ваши люди и организации, их дела и дни, — разглядите их внимательно и воздайте им по их делам».

*И. В. Сталин. Речь на предвыборном собрании избирателей Сталинского избирательного округа г. Москвы 9 февраля 1946*

Идеология сталинской **модернизации как тотальной мобилизации** доктринально глубоко укоренена в традиционных для европейской государственно-экономической мысли XIX–XX вв. этатизме и культе индустриализации как научно-технологическо-

го, социально-экономического и политического прогресса. Им сопутствовали в начале XX века — «социальная педагогика», концентрационные лагеря как «социальные технологии» Первой мировой войны и колониализм. Они развивали новые принципы власти эпохи Модерна и Просвещения<sup>1</sup>. Это милитаризм, социал-дарвинизм, позитивизм, утверждение цивилизующей роли государства, творческой роли интернационализма и культурного национализма, преобразующей роли науки, протекционизм, изоляционизм и в конечном счёте — теории германского континентального империализма, яснее всего выраженные в концепции «Срединной (Центральной) Европы» (Mitteleuropa), которая служила ядром немецких утопий о продвижении Германии на Ближний и Средний Восток против Британской империи, и утопии о почти мировом господстве Северной Америки в западном полушарии<sup>2</sup>. В России в 1880–1900-е гг. синтез философии и теории «замкнутого торгового государства» Фихте с «национальной экономикой» немецко-американского экономиста Листа прямо пропагандировал главный идеолог и практик государственной индустриализации и транспортно-промышленной колонизации С. Ю. Витте и развивал биографически тесно связанный с ним его оппозиционный антипод, идеолог промышленного социализма П. Б. Струве. Стратегию замкнутого ресурсно-пространственного развития государственной территории и экономики России в своих трудах предлагал конфидент С. Ю. Витте великий русский химик и практик разработки энергетических месторождений Д. И. Менделеев. Формулу ресурсно самодостаточной «страны-континента» — раньше русских эмигрантов-евразийцев (ставших осознанными агентами сталинской разведки) — с 1915 года наполнял практическим геохимическим исследовательским и научно-государствен-

<sup>1</sup> *David L. Hoffmann. Cultivating the Masses: Modern State Practices and Soviet Socialism, 1914–1939.* N. Y., 2011. P. 240, 242, 244. Удивительно, но факт: большинство западных историков сталинского СССР настолько радикально игнорируют хорошо изученную политическую, социальную, военную и экономическую историю своих стран, глубокие научные открытия последних десятилетий об их собственной обыденности Нового времени, что кажется, что они просто не знают своей истории, не живут в ней, а от рождения заняли место судей в трибунале над Сталиным и какой-то особо преступной русской историей, в которой единственной был изобретён весь ужас истории Нового времени.

<sup>2</sup> Об этом: *М. Д. Сулов.* Феномен империалистического утопизма, 1880–1914 // Вопросы философии. М., 2010. № 3.

ным содержанием другой великий русский учёный В. И. Вернадский, в конце жизни превратившийся в сталиниста. Отнюдь не случайно сын состоявшего в узком руководящем кругу сталинцев А. А. Жданова, сам видный функционер ЦК ВКП (б), активный участник бюрократической борьбы конца 1948 гг. Ю. А. Жданов не раз говорил о важности наследия Вернадского и Менделеева как идеологов индустриализации и освоения ресурсов России для своего политического мировоззрения<sup>3</sup>.

В посткоммунистическую эпоху в России, исторически буквально накануне 11 сентября 2001 года, агрессий Запада в Афганистан, Ирак, Ливию, Сирию, исследователям сталинизма — вместо лоции и навигации! — предписывалась французская «Чёрная книга коммунизма». Эта книга, изданная с предисловием «отца перестройки» А. Н. Яковлева и затем распространённая невозможным для современной русской научной книги массовым тиражом в 100 000 (!) экземпляров, наверное, сильно удивила русских историков тем, что объединила ссылки на их предметные труды алхимической и демагогической формулой своеобразного *самозарождения* коммунизма из средневековых утопий и злого русского большевизма: «Среди трагедий, потрясавших мир в XX веке, коммунизм — грандиозный феномен эпохи, начавшейся в 1917 году и окончившейся в Москве в 1991... Методы, пущенные в ход Лениным и возведенные в систему Сталиным, не только схожи с методами нацистов, но являются их предтечей»<sup>4</sup>. Словно не видя кругом ни материала для «чёрной книги капитализма», или «...колониализма», или «...демократических умиротворителей Гитлера», ни собственной истории Нового времени с имманентной ей историей террора, авторы-разоблачители возвышали голос, полный ложного пафоса:

«Почему Ленин, Троцкий, Сталин и другие считали необходимым уничтожать всех, кто представлялся им “врагами”? Почему сочли они себя врапа-

<sup>3</sup> Ю. А. Жданов. Взгляд в прошлое: Воспоминания очевидца. Ростов-на-Дону, 2004. С. 138–144, 160–161, 166, 422–423.

<sup>4</sup> С. Куртуа. Преступления коммунизма // С. Куртуа, Н. Верт, Ж.-Л. Панне, А. Пачковски, К. Бартошек, Ж.-Л. Марголен, при участии Р. Коффер, П. Ригуло, П. Фонтен, И. Сантамария, С. Булук. Чёрная книга коммунизма: преступления, террор, репрессии [1997] / Пер. под ред. Е. Л. Храмова. М., 1999. С. 34, 47.

ве преступить священную заповедь, обращённую ко всему человечеству: «Не убий»?»<sup>5</sup>

И такую свою моральную чистоту оснастили фактическим обвинением коммунизма в изобретении «тотальной войны», поставили в вину Сталину смерть доведённых Паулюсом до алиментарной дистрофии военнопленных немцев Сталинграда, получение законных репараций с Германии и её союзников, одновременную борьбу против обеих сторон польско-украинской резни на Волыни, гитлеровских коллаборационистов и даже... афганских моджахедов<sup>6</sup>. Получалось также, что именно на основе рыночного либерализма и строгого следования заповеди «Не убий» западные демократии вели свою истребительную «войну на уничтожение» друг против друга, против большевиков, колоний и Гитлера, а предвоенный СССР не только обязан был игнорировать мобилизационный опыт Первой мировой войны, но и даже перспективу и практику тотальной войны создал сам и совершенно самопроизвольно. Большевики в этом агитационном комиксе были почти безродными жертвами кинокатастрофы, обживающими необитаемый остров — вне истории и вне контекста, якобы даже вообще вне существования Запада.

<sup>5</sup> С. Куртуа. Преступления коммунизма... С. 60.

<sup>6</sup> «Законы и обычаи (войны) были записаны в различных конвенциях, из которых наиболее известна Гаагская конвенция 1907 года, гласящая: «Во время войны гражданское население и участники боевых действий остаются под защитой принципов права, установленного цивилизованными народами, законов гуманности и требований совести»... А ведь множество военных преступлений были совершены по распоряжению Сталина или с его одобрения. Ликвидация почти всех польских офицеров, сдавшихся в плен в 1939 году, — самый наглядный тому пример, получивший широкую огласку. Но преступления несравненно большего размаха остались по существу незамеченными, в их числе — убийства или смерть в лагерях ГУЛАГа тысяч немецких солдат и офицеров, попавших в плен в 1943–1945 годах; прибавим к этому массовые изнасилования солдатами Красной Армии женщин в оккупированной Германии, не говоря уже о систематическом разграблении промышленных предприятий в странах, занятых Красной Армией. К той же самой статье... надо отнести и судьбы организованных участников сопротивления, боровшихся с коммунистической властью с оружием в руках, когда они попадали в плен и отправлялись на расстрел или в ссылку: участь бойцов польского антинацистского сопротивления (ПОВ и АК), «лесных братьев» в Литве и украинских партизан, афганских моджахедов и т. д.» (Там же. С. 38).

Очарованный Сталиным, а потом разочарованный в Сталине и затем в коммунизме югославский коммунистический идеолог, в годы своего антикоммунизма тоже продемонстрировал крайнее мемуарное упрощение, сводя не только свою личную борьбу к личным счетам, но и всю историю коммунизма к подобию придворного макиавеллизма, распространившегося на всю Россию. Этот Милован Джилас (1911–1995) так писал в духе азбучного либерализма, словно в пережитые им десятилетия он сам или кто-то ждал от коммунизма не победы в войне, а исполнения утопии Маркса о том, как «все источники общественного богатства польются полным потоком»:

«[советская] система не может быть экономически продуктивной, да и не в этом её задача. Цель системы — власть и господство над другими... Методами угнетения и террора система смогла осуществить индустриализацию страны — со всеми недостатками поверхностного планирования... Это планирование оказалось неэффективным со всех точек зрения: и продуктивности, и качества продукции, и её способности выдержать конкуренцию»<sup>7</sup>.

Современный историк сталинской экономики Пол Грегори даёт ещё более смелое определение предпосылок ГУЛАГа, локализуя их в непосредственно сопутствующем ему контексте и даже — в будущей войне (!): коллективизации, «большой чистке», «драконовской трудовой политике» и последствиях... Второй мировой войны<sup>8</sup>. Мимо его собственных теоретизирований Грегори возвращается к самой лапидарной из существующих интерпретаций сталинизма, упирающейся в давнюю теорию профессиональной антикоммунистки Ханны Арендт (1906–1975) о том, что тоталитаризм — это злой умысел inferнального зла, зло сверху донизу, уничтожение политики как таковой<sup>9</sup>. Следуя такой теории заговора, Грегори делает странные,

<sup>7</sup> М. Джилас. Предисловие // М. С. Восленский. Номенклатура. Господствующий класс Советского Союза. М., 1991. С. 9–10.

<sup>8</sup> Paul Gregory. An Introduction to the Economics of the Gulag // The Economics of Forced Labor. P. 21.

<sup>9</sup> Это кстати, противоречит итогам предметных исследований О. А. Хлевнюка об «олигархизации» сталинской диктатуры (О. Хлевнюк. Хозяин. Сталин и утверждение сталинской диктатуры. М., 2010. Прежде: О. В. Хлевнюк. Ведомственные интересы в советской истории // Отечественная история. М., 1995.

скандально внеисторические выводы из своих штудий: «Сталин [т. е. те самые форсированные коллективизация и индустриализация, ГУЛАГ, ограничение потребления ради более быстрых темпов экономического развития] не был необходим, так как все долгосрочные цели развития России / СССР могли быть достигнуты на путях функционирования стабильной рыночной экономики»<sup>10</sup>. Неужели на самом деле современный историк экономики всерьёз полагает, что главная долгосрочная цель эпохи — победа во Второй мировой войне — была достигнута другими участниками антигитлеровской коалиции, США и Великобританией, на пути стабильной рыночной экономики и что в 1920–1930-е гг. где-либо в мире могла существовать «стабильная» и особенно — не замутнённая ничем «рыночная» экономика? Похоже, посвятив себя изучению сталинизма, уважаемый западный автор так и не поинтересовался экономической реальностью хотя бы родного ему Запада, ограничившись заучиванием либеральных азов из агитационного букваря.

Но эта ретролиберальная мифология (для которой и сам либерализм существует в виде либертарианской абстракции, а не в категориях либеральной практики XX века) имеет в своих исследованиях сталинизма почти непреходимую грань, за которую ей больно не только переходить, но даже делать риторический экскурс. Касаясь предыстории и контекста сталинизма, она упорно не говорит о тотальности индустриального капитализма, геноцидальной природе колониализма, грубейших актах репрессивной биополитики в западных демократи-

---

№ 5), вернее — о возвращении в её практику начал коллективной диктатуры, что, учитывая взаимоистребительную конкурентность в кругу ближайших соратников Сталина, и есть не что иное, как непубличная криптополитика, политическая борьба в форме групповой и ведомственной борьбы, по условиям сталинского СССР находящей своё наиболее радикальное выражение в направлении конкурирующих групп друг на друга острия политических репрессий. Впрочем, описание скрывающихся под скорлупой советского «тоталитаризма» разнородных социальных «групп интересов» было исследовательски дано в западной историографии более сорока лет назад: *G. Skilling. Interest Groups and Communist Politics // Soviet Politics* / Ed. Gordon Skilling and Franklyn Griffiths. Princeton (N. J.), 1971.

<sup>10</sup> *П. Грегори. Экономический рост Российской империи (конец XIX — начало XX в.): Новые подсчёты и оценки.* М., 2003. С. 247, 249. Книга представляет собой перевод глав из монографий: «Russian National Income. 1885–1913» (1982) и «Before Command: An Economic History of Russia from Emancipation to First Five-years Plan» (1994).

ях и историческом соучастии Запада в рождении «тоталитаризма». Эта традиция более не имеет отношения к исследованию эпохи, оставаясь набором интерпретаций, а источниковедение истории сталинизма уже не требует пропагандистских поводов.

Современная историография России уже далеко обогнала в концептуализации и контекстуализации истории России отечественную историографию сталинизма. При этом отечественная историография сталинизма фактографически чрезвычайно фундирована и за 20 лет совершила подлинную источниковедческую революцию, которая похоронила историографическое реноме целого созвездия «властителей дум», от А. И. Солженицына (1918–2008) и А. В. Антонова-Овсеенко (1920–2013) до М. Н. Восленского (1920–1997) и Р. А. Медведева, упаковывавших своё творчество в одежды исторического знания, и продолжает усложняться в предметных, региональных и отраслевых исследованиях. Однако в выяснении общих предпосылок и оснований сталинизма эта историография до сих пор капитулирует перед историософским дилетантизмом «властителей дум» и, в лучшем случае, по-прежнему остаётся в плену у антикоммунистической пропаганды или, что хуже, в плену у либеральной критики «тоталитаризма», которая на поверку оказывается лишь политической пропагандой и агитацией в защиту либертарианства, то есть ничем не ограниченного первобытного капитализма. Выступает не исследованием России и СССР, а демонстрацией исторической связи между «русским варварством» и «тоталитаризмом». Даже западные знатоки России, такие, как автор классического, вдохновенного историко-поэтического труда «Икона и топор: Опыт истолкования истории русской культуры» (1966) Джеймс Х. Биллингтон, своими образами лишь укрепляли лживую и примитивную формулу о том, что царизм был апогеем русского национализма и коллективизма, а сталинизм — его родным тоталитарным и великодержавным наследником. Этот главный официальный американский русист пишет, сразу отсекая любой горизонтальный контекст и выстраивая предпосылки сталинизма по линии если не цивилизаторского расизма, то уж во всяком случае — колонизаторской русофобии:

«Тоталитаризм советского общества при Сталине логически следовал из ленинской доктрины партии... Сталин стал преемником Ленина как

верховного диктатора не только потому, что был ловким интриганом и организатором, но и потому, что по складу ума стоял ближе к ограниченному и малопросвещённому русскому обывателю, чем его соперники. Не в пример большинству других большевистских руководителей — а многие из них были по происхождению евреями, поляками или прибалтами — Сталин воспитывался исключительно на каноническом православном богословии... Если говорить о превращении ленинизма в национальную религию, то и здесь семинарист явно находился в более выгодном положении, чем космополит... Содержание же новой эрзац-культуры было регрессивно националистическим... Однако при всех связях с русской традицией эпоха Сталина ознаменовалась промышленным развитием и социальными переменами, которым нелегко найти аналог в предшествующей истории... Счёт смертям шёл не на единицы и даже не на тысячи, но на миллионы. Более 10 млн голов крупного рогатого скота было забито на ранних этапах коллективизации (!! — *М. К.*), не менее 5 млн крестьян погибли в общинных бунтах 30-х гг...»<sup>11</sup>

Из такой — совершенно в духе колониального и империалистического расизма — сравнивающей смерть людей со смертью скота перспективы с неизбежностью следовало, что «европейский», немецкий, итальянский, венгерский, польский шовинизм были идеологией национального освобождения, а немецкий, венгерский, польский, румынский и т.д. исторический антисемитизм невинным преувеличением — на фоне русских православия, «чёрной сотни» и полицейского антисемитизма. Что сталинское и коммунистическое — это и есть подлинное русское, требующее нещадного преодоления. Книга Эрика Лора «Русский национализм и Российская империя: кампания против “вражеских подданных” в годы Первой мировой войны» из всего исследовательского багажа западной историографии и, в первую очередь, западного самопознания причин и свойств «тотального» XX века извлекла лишь ту часть общей для Европы «тотальности», которая показалась автору агитационно безотказной в анализе имперских корней советского коммунизма. Э. Лор пишет: «ключевым аспектом первой для России тотально-мобилизационной

<sup>11</sup> Джеймс Х. Биллингтон. Икона и топор: Опыт истолкования истории русской культуры. [1966]. М., 2011. С. 526, 532, 533.

войны явилась масштабная кампания, направленная против определённых меньшинств»<sup>12</sup>. Даже если принять на веру такую репрессивную исключительность тогдашней России, нельзя не обнаружить, что для Э. Лора «ключевым аспектом... тотально-мобилизационной войны явилась не тотальность как таковая, не предельная для своего времени мобилизация, не сама война, а антименьшинственный их характер...» Представляет ли себе тотальность той войны этот писатель? Описывает ли его монополярный фокус меньшинств историческую реальность начала XX века?

Британский исследователь СССР и политический мыслитель Ричард Саква пишет: «Несмотря на ряд серьёзных недостатков, понятие тоталитаризма тем не менее даёт возможность задавать правильные вопросы, а именно: как мы можем объяснить феномен абсурдного роста государственных амбиций, а во многих случаях реальной власти, в XX в. Исследователи нацистской Германии показали изощрённость режима и использовали понятие тоталитаризма только для того, чтобы продемонстрировать ограниченность возможности его применения в немецких условиях. В ходе Historikerstreit (спора историков) с 1986 г. предпринимались новые попытки найти причины и связи между советским и немецким гиперавторитаризмом (если не тоталитаризмом) в XX в. Эрнст Нольте рассматривал историю большевизма, СССР, национал-социализма и Третьего рейха в контексте того, что Европа, по его утверждению, находилась в состоянии гражданской войны»<sup>13</sup>. Другими словами, Нольте уверен, что нацистские зверства

<sup>12</sup> Эрик Лор. Русский национализм и Российская империя: кампания против «вражеских подданных» в годы Первой мировой войны [2003]. М., 2012. С. 9. Из современной русской историографии темы хорошо видно, что её возвращение в контекст открывает не менее широкие перспективы: С. Г. Нелипович. Репрессии против подданных «центральных держав» // Военно-исторический журнал. М., 1996. № 6; С. Г. Нелипович. Население оккупированных территорий рассматривалось как резерв противника // Военно-исторический журнал. М., 2000. № 2; Г. З. Иоффе. Выселение евреев из прифронтовой полосы в 1915 году // Вопросы истории. М., 2001. № 9; О. Р. Айрапетов. Немецкий погром в Москве в июне 1915 г. в контексте боев на внешнем и внутреннем фронте // Русский Сборник. Том VIII. М., 2010; Ю. Бахурин. Принудительные миграции еврейского населения России в годы Первой мировой войны (1914–1917 гг.): причины и последствия // Журнал российских и восточноевропейских исторических исследований. М., 2011. № 1 (3).

<sup>13</sup> На эту мысль Э. Нольте (1923–2016) косвенно, но хорошо ответил русский историк в Германии, напоминая о подлинном, мировом масштабе контекста:

отчасти были ответом на ранее совершённые преступления большевиков<sup>14</sup> и, таким образом, не представляли собой уникальный или конкретный атрибут немецкой истории. Исследуя историю Третьего рейха в рамках более широких достижений европейской истории в XX в., и в частности большевистской революции и сталинского правления, он неизбежно рассматривает злодеяния немецкого режима как относительные и, таким образом, в известной степени оправдывает его преступления... Поиск истоков “тоталитаризма” продолжается. В своей во многом блестящей книге “Истоки тоталитаризма” Ханна Арендт взялась за проблему, имея недостаточно материала, чтобы говорить о развитии коммунизма в России<sup>15</sup>, тем более что она (*абсолютно*

---

«XX век кончается, но столетняя гражданская война, начавшаяся в 1901 году в Китае, не хочет и сейчас, в 1998 году, когда пишутся эти строки, прекращаться...» (Л. Копелев. Вопросы остаются // Германия и русская революция. 1917–1924 / Издание Г. Кёненна и Л. Копелева. М., 2007. С. 752). В качестве ещё одного из источников теории Э. Нольте о «европейской гражданской войне», который дополнительно обнаруживает её, так сказать, «умышленный» характер, может рассматриваться известное признание Черчилля, поместившего именно обе мировые войны, начатые Германией, в «домашний» контекст исторического внутриевропейского конфликта, в котором за Германией однозначно сохранялось место агрессора: «Мы должны рассматривать эти тридцать с лишним лет раздоров, беспорядков и страданий в Европе как часть одного исторического периода. Я участник этого периода, так как в 1911 году был направлен в Адмиралтейство для подготовки флота к предстоящей войне с Германией. В своей основе — это история более чем тридцати лет войны, в которой британцы, русские, американцы и французы сражались до предела своих возможностей, сопротивляясь германской агрессии. От каждого из нас это потребовало самых тяжёлых жертв. Но наибольшие жертвы принёс русский народ, чья страна дважды подвергалась разорению. На широких просторах этой страны лилась кровь десятков миллионов русских людей, павших за общее дело» (У. Черчилль. Мускулы мира. [Избранные речи, 1938–1946] / Сост. Л. Яковлева. М., 2011. С. 445–446 (27 февраля 1945)).

<sup>14</sup> Советский и российский историк-социалист тоже готов поддержать это изображение революции России 1917 года как первопричины для важных общеевропейских событий и, следуя за советским публицистическим общим местом, но прямо противореча всей истории европейского социал-либерализма и социальной политики, уверяет, что государственный социализм Дж. Кейнса и Ф. Рузвельта был ответом на русский 1917 год, даже приравнивает нацизм и новый либерализм друг к другу с точки зрения их якобы миметической реактивности, несамостоятельности и неукоренённости в собственных обществах и собственной истории (И. К. Пантин. Русская революция. Идеи, идеология, политическая практика. М., 2015. С. 293–294).

<sup>15</sup> Современный немецкий историк и подлинный специалист по России, критически излагая теорию Арендт, более чем вежливо, но от того ничуть

*ложно, контрфактически.* — М. К.) делала акцент на *роль панславизма как прототипа пангерманизма*. Панславизм, однако, очень отличается и не играет почти никакой роли в становлении великого русского национализма, который (как и антисемитизм) не является главной составляющей советского авторитаризма. Она боялась обвинить Маркса в том, что он дал толчок для развития деспотических особенностей коммунистического строя... Якобинский террор выступал в качестве модели для Ленина, хотя советское принуждение было

---

не менее точно обнажает умозрительное ничтожество этой теории, которую не только легитимизирует, но и в своей книге перелагает Саква: «Период между мировыми войнами с инфляцией, уничтожением буржуазной собственности, безработицей, миграцией и переселениями народов демонстрировал конец действия триады “территория—народ—государство”, вёл к массовому явлению утраты отечества, к новому типу бесправия народных низов, возвращению их к доцивилизационному натуральному состоянию. Разложение классовых структур, появление выкорчеванных из родной почвы масс, а также современных технологий под началом бюрократов, управляющих миллионами бесправного люда, нуждались в силе, которая могла бы на языке времени предложить выход из кризиса. Эту силу представляли тоталитарные движения... Остановить их можно лишь вмешательством извне. Типичным институтом времени стал концлагерь, а самозащита общества и государства была квинтэссенцией того урока XX века, который включил в себя также и рекомендацию Ханны Арендт, гласившую, что демократический мир должен решиться даже на бомбардировку советских концлагерей». (Заметим, что демократический мир вскоре решился и бомбардировал «тоталитарные» японские города Хиросиму и Нагасаки). Историк резюмирует: «Россия, как предмет, исследования, для неё [Арендт] — не результат многолетних занятий, она появляется скорее на краях картины, центр которой занимает германский национал-социализм... Было бы немалой заслугой нового прочтения книги “Элементы и истоки тотального господства, если бы оно поставило нас на почву реальных исторических фактов, т.е. проблем современного массового общества в Европе, а не отношений между Россией и Европой или вопроса о существовании некоего особенного “русского духа”... Становится ясным, что Арендт могла иметь лишь смутное представление о “русском обществе” того времени... В общем виде мы имеем дело с её представлением о России как некоем “обществе”, о советском государстве как некоем “государстве”, о трудовых лагерях, как воплощении современного типа техники заключения людей и организации принудительного труда... Другими словами, это крайне абстрактное пространство, в котором редко удаётся распознать реально действующие исторические силы. Советская Россия видится издалека, скорее как модель, чем как историческая конкретность» (К. Шлёгель. Археология тотального господства. Российский горизонт Ханны Арендт // Германия и русская революция. 1917–1924 / Издание Г. Кённа и Л. Копелева. М., 2007. С. 723, 724, 732, 725–726).

сформулировано на языке классов. У большевиков был перед глазами и пример судьбы Парижской коммуны 1871 г., когда после поражения коммунаров тысячи людей были уничтожены силами “закона и порядка”. Террор не являлся заповедной зоной тоталитарных режимов левых и правых»<sup>16</sup>. Изложенное Р. Саква заставляет полагать, что, несмотря на фрагментарные оговорки и фундаментальные требования исторической науки о контекстуализации исследуемых явлений, **сталинизм до сих пор более всего изучается в интеллектуальной резервации**, в парадигме либеральной идеологической критики, сопровождавшей его становление и развитие. Современные исследования сталинизма основываются, прежде всего, на двух традициях идеологической критики советского тоталитаризма — либеральной и социалистической — в том их виде, какой они получили своё наибольшее распространение в трудах внешних, либеральных, и внутренних, марксистских, противников советского коммунизма. Квинтэссенция первой традиции дана в трудах Х. Арендт, Ф. А. фон Хайека (1899–1992), Л. фон Мизеса (1881–1973), второй — в трудах Л. Д. Троцкого (1879–1940) и русских меньшевиков круга «Социалистического вестника». Даже исследующие нацизм в его противопоставлении сталинизму ревизионисты во главе с Э. Нольте действуют скорее в русле либеральной критики сталинизма, «реабилитируя» врага России и сталинизма — нацизм — в качестве защитника всё более риторических европейских ценностей. Реальности тотальной войны и тотальной мобилизации, ставших итогом общеевропейской индустриализации, либерально-социалистическая критика сталинизма противопоставила лозунги о ценности свободы, подменив исследование — публицистикой, в тени которой стало удобно расположиться даже ревизионизму с пропагандой «европейского единства» от Гитлера до Альберта Эйнштейна, который после Второй мировой войны буквально по прописям Мизеса выступил с идеей мирового правительства, что в конкретно-исторических условиях прозвучало как апология мирового лидерства США.

Джорджо Агамбен обращает внимание на то, что «глубокие размышления», например, Ханны Арендт о «тоталитаризме» свой недостаток

<sup>16</sup> Р. Саква. Коммунизм в России. Интерпретирующее эссе [2010]. М., 2011. С. 77, 133–135.

имеют в «отсутствии даже минимальной биополитической перспективы» — в то время как «политика смогла в невиданных прежде масштабах состояться как политика тоталитарная только благодаря тому, что в наше время она полностью обратилась в биополитику... Связь между массовой демократией и тоталитарными государствами не может быть понята как внезапный переворот... Лишь исходя из того, что биологическая жизнь с её потребностями повсюду стала ключевым политическим аргументом, можно понять ту парадоксальную скорость, с которой парламентские демократии в XX веке превратились в тоталитарные государства... Наиболее значимое явление в этой перспективе — параллельное введение в правовые системы многих европейских стран норм, делающих возможными денатурализацию и денационализацию множества собственных граждан. Первооткрывателем здесь была Франция (1915) — в отношении натурализованных граждан “вражеского” происхождения; в 1922 году примеру Франции последовала Бельгия, аннулировавшая натурализацию граждан, совершивших “антинациональные” действия во время войны; в 1926 году фашистский режим издал аналогичный закон о гражданах, оказавшихся “недостойными итальянского гражданства”; в 1933 году наступил черёд Австрии, и так далее, пока Нюрнбергские законы о “гражданстве рейха” и “защите немецких крови и чести” не довели этот процесс до крайности... Известно, что юридической основой для интернирования послужило не обычное право, но *Schutzhaft* (буквально: предварительное заключение), юридическое учреждение прусского происхождения, которое нацистские юристы иногда классифицировали как превентивную полицейскую меру, поскольку она позволяла “брать под стражу” людей, независимо от степени их уголовной ответственности, единственно для того, чтобы отвести угрозу для государственной безопасности. Однако истоки *Schutzhaft* лежат в прусском законе от 4 июня 1851 года об осадном положении, которое в 1871 году распространилось на всю Германию (за исключением Баварии), и, ещё раньше, в прусском законе о “защите личной свободы” от 12 февраля 1850 года... Не нужно забывать, что первые концентрационные лагеря в Германии были созданы не нацистским режимом, а социал-демократическими правительствами, которые не только в 1923 году, после введения чрезвычайного положения, интернировали, пользуясь *Schutzhaft*, тысячи коммунистов, но и открыли в Котбус-Зиле *Konzentrationslager für Ausländer*, при-

нимавший в первую очередь еврейских беженцев из стран Востока... Лагерь — это пространство, возникающее тогда, когда чрезвычайное положение превращается в правило... Правильный вопрос об ужасах концентрационных лагерей — это не лицемерное вопрошание о том, как стало возможным совершение столь чудовищных преступлений против человеческих существ (об этом вопрошает Х. Арендт. — М. К.); честнее и, главное, полезнее тщательно исследовать, с помощью каких правовых процедур и политических средств люди могли быть столь полно лишены собственных прав и преимуществ — до такой степени, что любое действие, совершённое по отношению к ним, больше не являлось преступлением (и тогда действительно уже всё становилось возможным)<sup>17</sup>. Здесь важно помнить, что столь близкий к коммунистическому проекту левый радикал, как Вальтер Беньямин (1892–1940), уже не с точки зрения институционализации насилия, а исходя из интересов страдающего большинства, совершенно однозначно резюмировал итог своего идейного изучения современной ему истории в категориях именно «чрезвычайного положения»: «Традиция угнетённых учит нас, что переживаемое нами “чрезвычайное положение” — не исключение, а правило».<sup>18</sup>

В этом контексте хорошо звучит и признание классика французской критики сталинских концлагерей М. Мерло-Понти (1908–1961), сделанное им в 1948 году, с началом рационально централизованной и хорошо управляемой «холодной войны» против СССР: дескать, не критикуя СССР до войны, мы жили так, как будто не было ни границ, ни наций, ни войны, всё происходило так, «как будто бы мы тайком решили игнорировать такие элементы истории, как насилие и несчастья, ибо принадлежали стране слишком счастливой и слишком слабой, чтобы их вообразить... Мы жили в некоем обиталище мира, опыта и свободы, образованном счастливым стечением обстоятельств, и не понимали, что эту землю надо защищать»<sup>19</sup>. Это о чём же так лживо свидетель-

<sup>17</sup> Дж. Агамбен. *НОМО SACER. Суверенная власть и голая жизнь* [1995]. М., 2011. С. 153, 155, 168, 212, 214, 217.

<sup>18</sup> Вальтер Беньямин. О понятии истории [1940] // Вальтер Беньямин. Учение о подобии. Медиаэстетические произведения / Сост. И. Чубаров, И. Болдырев. М., 2012. С. 241.

<sup>19</sup> Цит. по: М. М. Федорова. Феноменология политического действия // Философия политического действия. Из истории левой политической мысли XX века. М., 2010. С. 211.

ствовал чуткий экзистенциалист? О каком рае, добровольно закрывшем глаза на сталинизм? О Франции и Западе 1920–1930–1940-х годов? О Первой мировой войне и капиталистической биополитике? О мировом кризисе? О психозе мобилизации? О колониальной гекатомбе на большей части земного шара? О Мюнхенском сговоре 1938 года? После подобной избирательности невольно предпочтёшь самый ползучий позитивизм о сталинском СССР, лишь бы не повреждать свой моральный вкус такого рода антисталинским философствованием.

Современный исследователь русской историографии сталинизма справедливо отмечает, что над её эмпиризмом — и до тех пор, пока он вращается вокруг формулы «тоталитаризма», — доминирует манихейская схема распределения научных ориентаций на «либеральную» и «консервативно-охранительную», что в современной русской историографии сталинизма новые источники лишь оснащают старые, ещё «перестроечные» публицистические схемы сталинизма как тоталитаризма, «в то время как для западных исследователей (наверное, всё-таки только для настоящих исследователей. — М. К.) сталинизм предстаёт как ключевая тема для понимания природы современного общества вообще, какова бы ни была его идеология»<sup>20</sup>.

Изоляционизм, индустриализация и милитаризм, многократно усиленные открытым английскими и германскими учёными и бюрократами в ходе Первой мировой войны опытом тотальной мобилизации экономики и трудовых ресурсов, — вот что было историческим ландшафтом для СССР во время подготовки к новой мировой войне — *модернизации как тотальной мобилизации* Сталина. Об этом мировом контексте в один голос говорят свидетели, современники, теоретики, практики, западные историки и экономисты. Но с трудом удаётся увидеть место России и СССР в этом контексте и его инструментарий. Главными инструментами советской мобилизации, приобретёнными большевиками **из опыта революций, войны и капитализма**, были: политическая диктатура, ускоренное завершение индустриализации, милитаризация и тотальное огосударствление средств производства, включая ресурсы сельского хозяйства. Советский консенсус относительно мобилизации и милитаризации труда был частью ев-

<sup>20</sup> А. Е. Чельцова. Феномен «сталинизма» в отечественной историографии // Проблемы российской историографии середины XIX — начала XXI в. / Отв. ред. А. С. Усачев. М.; СПб., 2012. С. 210, 257, 267, 277.

ропейского консенсуса о тотальной мобилизации: «Накануне 1914 г. Запад был не только накануне войны, но и накануне социализма. Социализм близко подошёл к завоеванию власти, к модернизации Европы», — писал специалист по большим историческим экспозициям<sup>21</sup>. И даже радикальный либертарианский критик государственного воздействия на экономику как *актов тоталитаризма* — после Второй мировой войны признавал глубинный и долгосрочный исторический факт, действующий с середины XIX века:

«Успехи человека в овладении силами природы за последние 100 лет немало способствовали развитию убеждения, что аналогичный контроль над силами, действующими в обществе, принесёт соответствующее улучшение условий жизни. Иными словами, идея о том, что в общественных делах использование инженерных методов, управление всеми видами человеческой активности в соответствии с взаимоувязанным планом должно оказаться столь же успешным, как и при решении бесчисленных инженерных задач, — слишком напрашивающийся вывод, чтобы не соблазнить тех, кто окрылён успехом естественных наук»<sup>22</sup>.

О всеобщем движении к централизованному политическому, экономическому и социальному контролю свидетельствовал и такой радикальный противник советского коммунизма, в прошлом сам коммунист, марксист и социалист, как П. Б. Струве: «Мировая война выдвинула на авансцену широкие народные массы и в то же время заставила государство применить в небывалых размерах тот принцип государственного вмешательства в экономическую жизнь, доведение которого до конца и составляет социализм»<sup>23</sup>. При этом Струве как последовательный государственник внятно выражал национальный и оборонительный смысл войны для России, теоретически создавая шанс для («национал-большевистского») объединения этатизма с признанием Советской власти как власти объективно суверенной и на-

<sup>21</sup> Фернан Бродель. Грамматика цивилизаций [1963] / Пер. Б. А. Ситникова. М., 2014. С. 384.

<sup>22</sup> Ф. Хайек. Интеллектуалы и социализм [1949] // Фридрих Хайек [сост.]. Капитализм и историки. Челябинск, 2012. С. 245.

<sup>23</sup> Пётр Струве. Размышления о русской революции. I. После мировой войны [Ноябрь 1919] // Русская Мысль. София, 1921. Кн. I–II. С. 18–19.

циональной (сам Струве не воспользовался этим шансом, настаивая на антигосударственном и антинациональном характере большевизма на любой стадии его развития):

«Для Германии первой и основной целью войны, которая началась с объявления войны России, было сокрушение и разрушение России, как великой державы, в её историческом образе и в её исторической мощи. Когда после войны 1870–1871 года знаменитый французский политический деятель и историк революции и Наполеона, потом первый президент французской республики, Тьер, объезжая разные дворы с целью отыскания поддержки у других европейских держав, встретился, если не ошибаюсь, в Вене с знаменитым немецким историком Ранке, с которым он был связан узами личной дружбы, и спросил Ранке: с кем после свержения Наполеона III Германия ведёт войну? — Ранке отвечал: с Людовиком XIV. Этот ответ для того, кто знает историю Европы, ясен. Смысл его заключается в том, что Эльзас был присоединён к Франции Людовиком XIV, и Германия в последней трети XIX вела войну с Францией за отторжение Эльзаса от Франции. Германия в 1914 г. начала войну против России и вела её против Ивана Грозного и Петра Великого, т. е. вела её с целью сокрушения и расчленения России»<sup>24</sup>.

Известный художник-иллюстратор А. Радаков в последний год мировой войны и после Брестского мира опубликовал карикатуру на первой, заглавной странице выходившего под редакцией Аркадия Аверченко и Аркадия Бухова журнала «Новый Сатирикон» (июль 1918, № 17, специальный номер «Купальный сезон»), в центре которой три обнажённые и полуобнаженные дамы-купальщицы (Франция, Германия, Англия) стоят по колено в морской воде, отгородившись глухим забором от полуголой старухи в лохмотьях на голой земле. Карикатура называлась: «Советская республика без морей». Ей сопутствовала подпись: «Россия (там, вдали): — Европейцы упрекают меня в том, что я грязная... Ещё бы! Сами все мои моря отобрали и купаются, а меня и близко не подпускают!».

Важно при этом, что мировая война 1914–1918 гг. стала наивысшим на тот момент выражением и многомерным воплощением Просвещения и Модерна, к которому более 200 лет последовательно и всесто-

---

<sup>24</sup> Там же. С. 8.

ронне стремились в России общество и государство. Именно Просвещение и Модерн ещё до войны принципиально сделали абсолютно все сферы человеческой деятельности предметами селекции и управления, абсолютно все формы человеческого знания и общественно-го быта — инструментами войны. Война довела до высшего развития всеобщие учёт и контроль:

«К 1917 г. карточная система и военные нужды заменили рыночные цены в качестве регуляторов распределения всех товаров первой необходимости. Расчёты потребностей в рабочей силе, сырье, транспорте и энергии преобладали над финансовым контролем и расчётами... Военная организация имперской Германии также распространилась, хотя и не так совершенно, на территории союзников или стран, завоёванных немецкими войсками. Концентрация мощи государства во имя целей государства таким образом превратилась, в рамках, поставленных австрийской расхлябанностью, бельгийской замкнутостью и балканской отсталостью, в международный тоталитаризм. Во время Первой мировой войны немцы быстро превзошли все другие нации в достижении максимальной концентрации и нивелирования человеческих и механических ресурсов для военных целей... Открытие возможностей того, чего могут достигнуть решительные, беспощадные и умные люди, вдохновлённые корпоративной солидарностью и организованные в жёсткую иерархию власти, намеренные сконцентрировать энергию и ресурсы всей нации на достижении целей правящей клики, не давало покоя одним, вдохновляло честолюбие других и означало наступление новой эры в мировой истории. (...) Точно так же, как и в XIX в. в некоторых странах различие между экономикой и политикой почти исчезло или затухало, так и более древнее различие между и войной стало не таким ярко выраженным»<sup>25</sup>.

После Второй мировой войны британский стратег так писал о Первой мировой войне: «Для Англии это была первая тотальная война, в которой принятие почти каждого военного решения требовало учёта таких важных факторов, как моральное состояние народа, использование национальных материальных ресурсов и распределение

---

<sup>25</sup> Уильям Мак-Нил. Восхождение Запада. История человеческого сообщества [1963] / Пер. под ред. А. Галушки. Киев, 2013. С. 952, 1019.

людских ресурсов»<sup>26</sup>, — и, значит, централизованного и чрезвычайно-го управления ими. При этом исследователь убедительно показывает, что «исходными пунктами тотальной войны» в пределах западной цивилизации были американская и французская революции конца XVIII века и их полное развитие в середине XIX века: общенациональный характер войн, индустриализация войны, обширная мобилизация, практика массовых убийств<sup>27</sup>. При этом неизменно преобладающее молчание западной *историографии насилия* об **инфильтрации колониальной практики западных держав**, наполненных тем, что теперь назвали бы геноцидом<sup>28</sup>, **в европейскую биополитику**. И это умолчание — тоже отражает историческую европейскую практику «допустимости» и «нормальности» массовых убийств там, где это имеет презумпцию убийства социально, этнически, расово, конфессионально *другого* как *цивилизационно «неполноценного»*<sup>29</sup>.

<sup>26</sup> Э. Дж. Кингстон-Макклори [McCloughry]. Руководство войной. Анализ роли политического руководства и высшего военного командования [1955] / Пер. Н. П. Павлова и Е. М. Михайлова. М., 1957. С. 58.

<sup>27</sup> С. Фёрстер. Тотальная война. Концептуальные размышления к историческому анализу структур эпохи 1861–1945 гг. // Опыт мировых войн в истории России. Сб. ст. / Редколл.: И. В. Нарский, др. Челябинск, 2007. С. 13–15.

<sup>28</sup> Только массовая миграция из бывших голландских колоний Индонезии и Суринама в метрополию в последние 50 лет «обнаружила» для голландцев историю их колониальной работорговли (*Герт Остинди*. Возвращённая история Нидерландов: постколониальные миграции и новая правда о рабстве // Новое литературное обозрение. М., 2016. № 142. С. 79). Точно так же вплоть до недавнего времени во Франции «национальная история долгие годы обходилась молчанием неблагоприятную роль французов в организации работорговли и жестокую эксплуатацию рабов на плантациях» (*Алексей Васильев*. Невольники памяти и работа освобождения // Новое литературное обозрение. М., 2016. № 142. С. 118). Даже о таком значительном событии, как голод в Бенгалии (Британская Индия) (Bengal Famine), унесшем в 1943 году 2,1 миллиона жизней хранится интерпретационная тишина. Сталинская пропаганда, разумеется не имея полных данных, не могла пройти мимо этого факта: «В Бенгалии в 1943 году умерло от голода и вспыхнувших в связи с ним эпидемических заболеваний около полутора миллионов человек. Ужасное бедствие имело своей непосредственной причиной сокращение сбора риса зимнего посева 1942 года при одновременном сокращении прежних запасов» (Из международной жизни: Голод в Индии // Новый мир. № 1 (11). 1 июня 1945. М., 1945. С. 20).

<sup>29</sup> Современный немецкий историк свидетельствует, что итогом только современного историографического развития, что его приобретением стало доказательное обнаружение «колониальных практик и образов «внутри» европейских или североамериканских «центров». Это могли быть войны на уничтожение, ведшиеся армиями нацистской Германии на Востоке, или практики внутрен-

Авторитетный историк и теоретик войны признаёт: международные соглашения о правилах ведения войны, начиная с середины XIX века и заканчивая решениями Второй Гаагской конференции (1907), «дабы терминологически отделить войну от просто преступления, она была определена как нечто, ведущееся суверенными государствами и только ими». Современному читателю, как абсолютизирующему вневременность международного права, так и утверждающему его всепобеждающий смысл, придётся признать и обратную сторону государственного «права войны», которое в условиях Нового времени и присущего ему колониального «цивилизационного расизма» автоматически вывело из сферы права всё, что не было включено в предметы его регулирования, более того — фактически санкционировало колониальный геноцид:

«Одним из преднамеренных или невольных результатов этих соглашений оказалось то, что неевропейское население, никогда не знавшее государства и связанного с ним жёсткого разделения на правительство, армию и народ, автоматически объявлялось бандитским. Как только местные жители хватались за оружие, их сразу же называли *bors de loi* [изгоями]. Тем самым была открыта широкая дорога для разного рода зверств. Европейские войска нередко вели себя так, будто они были не на войне, а на сафари. Они истребляли местных жителей как животных, не делая различия между вождями, воинами, женщинами и детьми. Даже в так называемом цивилизованном мире нарушение правил войны не было чем-то немислимым»<sup>30</sup>.

Известные французские мыслители достраивают генетику этой тотальности до её исторической сердцевины — и тогда оказывается, что между колониальными рабами и европейскими пролетариями как целями насилия и уничтожения нет большой разницы: «факторы,

---

ней колонизации в различных контекстах как европейской, так и североамериканской истории. Таким образом, беспощадное насилие и владычество *modo coloniale* было принято и осуществлялось не только за пределами западных “центров”, а такое азиатское национальное государство, как Япония, выработало на этом фоне свой способ колониальной экспансии и контроля» (А. Людтке. История повседневности в Германии: Новые подходы к изучению труда, войны и власти. М., 2010. С. 73).

<sup>30</sup> Мартин ван Кревельд. Трансформация войны [1991]. М., 2005. С. 74–76.

превращающие государственную войну в тотальную, тесно связаны с капитализмом — речь об инвестициях постоянного капитала в оборудование, индустрию и военную экономику, а также об инвестициях переменного капитала в население в его физическом и духовном аспектах (одновременно — и как в того, кто порождает войну, и как в жертву войны). Действительно, тотальная война — это не только война на уничтожение; она появляется и тогда, когда уничтожение принимает за свой “центр” не столько вражескую армию или вражеское Государство, сколько всё население в целом с его экономикой<sup>31</sup>... Кодекс Наполеона представляет собой поворотный пункт, собирающий вместе все элементы тотальной войны — мобилизацию, транспортировку, инвестиции, информирование и т.д.»<sup>32</sup>.

Острое понимание тотальности будущей мировой войны не исчезало из документов Коммунистического Интернационала, тесно связанного с социальным и антиколониальным движением. Восьмой пленум Исполкома Коминтерна (ИККИ) в мае 1927-го формулировал:

«Во Франции принимается закон о “вооружении наций”, сущность которого сводится к чудовищной, проникающей во все поры политической и экономической жизни, милитаризации. Согласно новому закону, в случае войны всё население, без различия возраста и пола, как метрополии, так и колоний, мобилизуется. Рабочие на предприятиях приравняются к солдатам... Каждому участнику стачки грозит военно-полевой суд. (...) Каждая страна будет превращена в огромную фабрику средств истребления... Будущая война по своим последствиям превзойдёт все те ужасы, участниками которых трудящиеся массы были в 1914–1918 годах»<sup>33</sup>.

<sup>31</sup> «Война теперь почти в равной мере затрагивает жизни мужчин, женщин и детей всей нации... Война будущего, в особенности со времени развития химического и воздушного оружия, потребует ещё в большей мере участия всех слоёв населения» — и далее автор приводит примеры милитаризации гражданской сферы управления и обучения в рамках подготовки к войне Англии, Италии, США и Франции (*Отто Гроос*. Учение о морской войне в свете опыта Мировой войны [1923]. М.; Л., 1930. С. 100–102).

<sup>32</sup> *Жиль Делёз, Феликс Гваттари*. Тысяча плато: Капитализм и шизофрения [1980]. Екатеринбург; М., 2010. С. 712.

<sup>33</sup> Коммунистический Интернационал в документах. Решения, тезисы и воззвания конгрессов Коминтерна и пленумов ИККИ. 1919–1932 / Под ред. Бела Куна. М., 1933. С. 703–705. Разве что в одном большевистская пропаганда позволяла

И на Шестом конгрессе в августе 1928 г.: «Грядущая мировая империалистическая война будет не только механизированной войной, во время которой будут использованы громадные количества материальных ресурсов, но вместе с тем войной, которая охватит многомиллионные массы и большинство населения воюющих стран. Границы между фронтом и тылом всё более и более стираются»<sup>34</sup>.

\* \* \*

Сталинский период истории СССР<sup>35</sup> в середине XX века, пожалуй, был временем **наивысшего военно-политического могущества Исторической России**. Основой могущества сталинского СССР, явленного в победе над нацистской Германией и её европейскими союзниками в оборонительной войне на уничтожение — и созданного, в первую очередь, ради этой победы, стала тотальная мобилизация всех ресурсов страны, основанная на репрессивной политической диктатуре, форсированной индустриализации, принудительной коллективизации и всеобщей системе принудительного труда.

Политическая диктатура и репрессии, принудительный труд, централизованное планирование народного хозяйства, военно-мобилизационная экономика, обширный социальный контроль — сами по себе отнюдь не изобретение большевизма. Доктринальная и инструментальная уверенность большевиков в полезности и исторической «естественности» «трудового перевоспитания», «трудовой

---

себе свой собственный сценарий будущей истребительной войны — надеясь на её скоротечность: «Лейтмотивом всех предсказаний о характере будущей войны... является тезис о том, что война не будет длительной и что новые мощные средства борьбы — авиация, химия и массированные в огромном количестве танки — позволят наносить молниеносные удары не по вооружённым силам воюющих, но и по их жизненным центрам, стирая грань между фронтом и тылом» (Б. Фельдман. О будущей войне // Мировое хозяйство и мировая политика. М., 1933. № 11–12. С. 61, 65–66, 76).

<sup>34</sup> Там же. С. 794.

<sup>35</sup> Понятие «сталинский период», «сталинизм» я принимаю здесь для обозначения политического, экономического и социального режима в СССР периода единоличной диктатуры И. В. Сталина (1929–1953). Очерк более литературно-общественной, чем историографической, дискуссии в СССР и постсоветской России о границах и содержании «сталинизма» см.: А. Е. Чельцова. Феномен «сталинизма» в отечественной историографии // Проблемы российской историографии середины XIX — начала XXI в. / Отв. ред. А. С. Усачев. М.; СПб., 2012.

повинности», «милитаризации труда», «внеэкономического принуждения», входили в идеологию и практику Советской власти с первых дней её существования. Избранная большевиками в качестве исторического, культурного и даже художественного образца Великая Французская революция давала им многочисленные примеры прямого принуждения и террора, окружавшая Советскую Россию индустриальная и колониальная реальность — избыточные примеры массового принудительного, рабского и тяжелого физического труда, концентрационных лагерей и резерваций. Принудительный труд в ходе отбывания заключения — современная цивилизованная практика, один из элементов карательной «самозащиты свободы». Принудительный труд как инструмент социального контроля и экономической политики — практика всех без исключения государств, особенно в межвоенный период, отделявший Первую и Вторую мировую войны. Угроза войны и подготовка к ней в 1920–1930-е гг. — вот главные исторические условия сталинизма, в которых он существовал вместе со всем миром и особенно вместе со всей Европой и Азией. Международная изоляция СССР этого времени, его относительная отсталость, международная конкуренция за обладание его ресурсами, обострение исторических угроз безопасности, опыт капиталистической индустриализации и социального контроля — вот его главные предпосылки. Родившийся и выросший в России американский экономист Александр Гершенкрон (1904–1978) точно формулировал место СССР на ландшафте такого индустриализма: «Советская индустриализация, несомненно, включает все основные общие элементы индустриализаций в отсталых странах в XIX столетии. Упор на тяжёлую индустрию и заводы-гиганты как таковой типичен не только для Советской России. Но в ней общие черты процесса индустриализации были гипертрофированы и искажены сверх всякой меры. Эта проблема настолько же политическая, насколько экономическая. Советское государство само является продуктом экономической отсталости страны»<sup>36</sup>.

В 1920–1930-е гг., исходя из опыта участия России в Первой мировой войне и в ходе подготовки к будущей войне, в которой основной

<sup>36</sup> А. Гершенкрон. Экономическая отсталость в экономической перспективе [1962] / Пер. Г. Д. Гловели // Истоки: экономика в контексте истории и культуры / Гл. ред. Я. И. Кузьминов. М., 2004. С. 446.

противник располагался на западных границах СССР, особое внимание политическое руководство и военная мысль СССР уделяли согласованию мобилизационных планов и обеспечению вооружённых сил — с мобилизационной подготовкой народного хозяйства, для которого главным фактором становилось «обеспечение стабильности экономической системы в экстремальных военных условиях»<sup>37</sup>. Это требовало решения вопросов эффективной централизации военной экономики, мобилизационных возможностей отраслей «двойного назначения», эвакуационного планирования и создания в глубине страны резервных топливно-промышленных центров, умения военно-политического руководства «маневрировать всеми ресурсами страны», как на то претендовал один из высших советских военачальников М. Н. Тухачевский — «наиболее оголтелый красный милитарист»<sup>38</sup>. Историк уточняет, словно отводя от Тухачевского традиционные ещё с начала 1920-х гг. обвинения (или эмигрантские поощрения) в бонапартизме и передавая *милитаристские претензии* всему классу высших военных в Красной Армии: помимо Тухачевского, все советские военные того времени «выступали за усиление контроля военных специалистов над экономическим планированием и работой промышленности»<sup>39</sup>. Похоже, именно советские военачальники (и военачальники именно нового, советского поколения, а не военные специалисты из императорского Генерального штаба, в большом числе поступившие на советскую службу) более всего отстаивали милитаризацию («военизацию») советской экономики с самых первых лет планирования её индустриализации, опираясь, видимо, не столько на букву военной стратегии, сколько на дух тотальной мобилизации, вынесенной из опыта капитализма и империализма одновременно с идеологией всеобщего «вооружения народа» Великой Французской

<sup>37</sup> Алексей Мелия. Мобилизационная подготовка народного хозяйства СССР (1921–1941 гг.). Сб. М., 2004. С. 54. См. также: О. Н. Кен. Мобилизационное планирование и политические решения (конец 1920 — середина 1930-х годов). СПб., 2002.

<sup>38</sup> А. К. Соколов. «Военизация» первой пятилетки (советская военная промышленность в 1927–1932 гг.) // Экономическая история: Ежегодник. 2007 / Отв. ред. Л. И. Бородин, Ю. А. Петров. М., 2008. С. 417.

<sup>39</sup> А. М. Маркевич. Нужды обороны и планирование военной промышленности в СССР в конце 1920-х — 1930-е гг. // Экономическая история. Ежегодник 2007 / Отв. ред. Л. И. Бородин, Ю. А. Петров. С. 442.

революции. При этом пафос милитаризации у военных явственно дополнялся выражением ответственности за экономику страны в целом. Заместитель наркома по военным и морским делам СССР Тухачевский требовал:

«военизировать всю страну, всю экономику так, чтобы, с одной стороны, дать возможно большие ресурсы для ведения войны, а с другой стороны, чтобы эта мобилизация не разрушала основного хозяйственного костяка. Вы видите результат, которого достиг английский империализм [проигравший экономическую конкуренцию с США]. Он отмобилизовал все свои силы, но на этой мобилизации он прогорел и потерял свои прежние позиции. (...) Генеральные штабы привыкли обращаться с готовыми вооружёнными силами, маневрировать искусно и быстро на театрах войны. Но **маневрировать всеми ресурсами страны** никто ещё не умеет, а этот манёвр наши работники должны знать так же хорошо, как они знают полевое вождение войск»<sup>40</sup>.

И позже: «План войны должен соразмерить строительство вооружённых сил... с промышленной мобилизацией. Эта связь... охватывает мобилизацию всего народного хозяйства»<sup>41</sup>. Об этом же — М. В. Фрунзе: «Основным и важнейшим выводом из опыта минувшей империалистической войны 1914–1918 гг. является переоценка вопроса о роли и значении тыла в общем ходе военных операций. (...) Центр тяжести переносится на организацию промышленности и вообще всего хозяйства страны. (...) *мобилизация промышленности и вообще хозяйства страны*»<sup>42</sup>. 26 декабря 1926 Тухачевский представил доклад «Оборона СССР», в котором оценил ситуацию так:

<sup>40</sup> М. Н. Тухачевский. Вопросы современной стратегии [1926] // М. Н. Тухачевский. Избранные произведения. Т. 1 (1919–1927 гг.). М., 1964. С. 259–260. Выделено мной. — М. К.

<sup>41</sup> М. Н. Тухачевский. «Война как проблема вооружённой борьбы» [1928] // М. Н. Тухачевский. Избранные произведения. Т. 2 (1928–1937 гг.). М., 1964. С. 5.

<sup>42</sup> М. В. Фрунзе. Фронт и тыл в войне будущего» [1925] // М. В. Фрунзе. Избранные произведения. М., 1984. С. 182, 191. О доктринальной основе Всеобуча (Всеобщего военного обучения, 1918–1948) — как системы факультативной военной подготовки мобилизационного резерва для пополнения личного состава Красной армии, в возрасте 18–40 лет: М. Д. Бонч-Бруевич. Вся власть Советам: Воспоминания. М., 1958. С. 313–314.

- «1. Наиболее вероятные противники на западной границе имеют крупные вооружённые силы, людские ресурсы, высокую пропускную способность железных дорог. Они могут рассчитывать на материальную помощь крупных капиталистических держав. (...)»
3. В случае благоприятного для блока развития боевых действий первого периода войны, его силы могут значительно вырасти, что в связи с «западноевропейским тылом» может создать для нас непреодолимую угрозу. (...)»
6. наших скудных материальных боевых мобилизационных запасов едва хватит на первый период войны. В дальнейшем наше положение будет ухудшаться (особенно в условиях блокады).
7. Задачи обороны СССР РККА выполнит лишь при условии высокой мобилизационной готовности вооружённых сил, железнодорожного транспорта и промышленности.
8. Ни Красная Армия, ни страна к войне не готовы»<sup>43</sup>.

Историки советской экономики справедливо резюмируют: «К середине 1920-х гг. заметно усиливается напряжение в области производства вооружений. Острее звучат вопросы об отставании не только военной промышленности, но и всех производств, связанных с обороной страны. Вооружённые силы СССР и в количестве и качестве уступали «лимитрофам», которые рассматривались как наиболее вероятные противники, причём, в случае военного конфликта, они рассматривались лишь в качестве сил «первого эшелона», за которыми неизбежно встанут вооружённые силы более мощных в экономическом отношении стран. (...) В ноябре 1925 г. при президиуме ВСНХ для общего руководства военной промышленностью на базе комитетов по мобилизации и демобилизации промышленности и военных заказов ВСНХ было образовано Главное военно-промышленное управление (ГВПУ), в дальнейшем — Производственное объединение военной промышленности ВПУ ВСНХ (Военпром). Таким образом, переход к индустриализации и создание отраслевых объединений в промышленности раньше всего обозначилось в военном производстве»<sup>44</sup>.

<sup>43</sup> Н. С. Симонов. Военно-промышленный комплекс СССР в 1920–1950-е годы: темпы экономического роста, структура, организация производства и управление. М., 1996. С. 65.

<sup>44</sup> А. К. Соколов, Т. В. Сорокина. Новая экономическая политика и военная промышленность Советской России // НЭП: экономические, политические и со-

Председатель Мобилизационно-планового совещания ВСНХ И. Т. Смилга в докладе на Секции экономики войны Сектора обороны Госплана в 1929 году «констатировал грядущую неизбежность войны, которая будет войной на полное низвержение противника»: «Это будет война не только армий», но и экономик. Смилга призвал к отказу от модели царской России — отдельной военной промышленности в пользу европейской и американской модели — «ассимиляции и кооперирования»<sup>45</sup> военной и гражданской промышленности — «трактор в мирное время есть танк в случае войны»<sup>46</sup>. В условиях СССР того времени это означало милитаризацию гражданской промышленности.

Однако никакая военно-мобилизационная риторика не помогла исторически и особенно послевоенному бедному государству в России / СССР решить главный вопрос в подготовке к войне — вопрос о финансировании военно-промышленной модернизации — **в 1920-е годы вопрос о финансировании перевооружения Красной Армии и создания военной промышленности так и не был решён**. Авторитетный историк подчёркивает свой вывод из изучения открытых архивов: «раньше мы считали, что решающий поворот в сторону увеличения расходов на оборону начался в 1934 г., после прихода к власти нацистов в Германии. Однако теперь мы узнали, что этот поворот произошёл тремя годами ранее в течение 1931 г., вслед за возросшим уровнем угрозы со стороны Японии, достигшим

---

циокультурные аспекты / Отв. ред. А. С. Сениянский. М., 2006. С. 193–194, 196. См. также: А. М. Маркевич. Нужды обороны и планирование военной промышленности в СССР в конце 1920-х — 1930-е гг. // Экономическая история. Ежегодник 2007 / Отв. ред. Л. И. Бородин, Ю. А. Петров. М., 2008; Н. Л. Роголина. Индустриализация в рамках нэпа и перспективы советской модернизации // Экономическая история. Ежегодник. 2006 / Отв. ред. Л. И. Бородин, Ю. А. Петров. М., 2006; М. Ю. Мухин. Эволюция системы управления советской оборонной промышленностью в 1921–1941 годах и смена приоритетов «оборонки» // Отечественная история. М., 2000. № 3.

<sup>45</sup> Первый путь был быстрее по времени реализации, но дороже по затратам (А. М. Маркевич. Нужды обороны и планирование военной промышленности в СССР в конце 1920-х — 1930-е гг. // Экономическая история. Ежегодник 2007 / Отв. ред. Л. И. Бородин, Ю. А. Петров. М., 2008. С. 443). Понятно, что в условиях СССР того времени крайний дефицит капитала делал невозможным первый путь и, таким образом, просто обрекал экономическую политику на милитаризацию.

<sup>46</sup> А. К. Соколов. «Военизация» первой пятилетки (советская военная промышленность в 1927–1932 гг.). С. 396, 398, 414.

кульминации во время завоевания Маньчжурии в сентябре»<sup>47</sup>. К этому надо добавить, что вовсе не только простое политическое решение о признании угрозы с Востока чрезвычайной стало главной причиной этого «поворота», но и сама возможность такого «поворота» после свершившейся принудительной коллективизации сельского хозяйства стала не теорией, а практикой «первоначального накопления» в пользу индустриализации.

Главным содержанием экономической подготовки СССР к войне стало строительство эшелонированной стратегической глубины военно-промышленного и ресурсного потенциала, подчинённой идее «второго промышленного центра» страны на Урале и в Сибири, то есть повторной индустриализации и расширения ресурсно-промышленного потенциала Урала и создания такового потенциала в Западной Сибири и на севере Туркестана. Этот план экономической подготовки был невозможен без массового принудительного труда. В середине 1930-х гг. стал фактом «перегрев» милитаризованной экономики. Растущая сила военных во главе с «экстремистом»<sup>48</sup> Тухачевским и их самодостаточность с претензией быть «военным мозгом» не только армии, но и всего государства вместе с его экономикой, «развитие военного аппарата и мобилизационных приготовлений привело к необъявленному вползанию СССР в 1935–1936 годы в предмобилизационный период», которое ставило перед прямой необходимостью ближайшей войны, к которой СССР был не готов. В 1937–1938 — перед лицом кланов, традиционно «балансирующий» над их взаимоуничтожительной враждебностью и сам всегда пользовавшийся их ресурсами взаимного уничтожения Сталин обратился к альтернативному государственному ресурсу, который тогда был вряд ли еще сопоставим с другими как самостоятельный *инструмент*, — НКВД, главным оружием которого стал массовый террор, а главной новацией с точки зрения ведомственной ответственности — общегосударственные, макроэкономические, «военно-стратегические» масштабы принудительного труда, за который теперь НКВД стал главным ответственным в стране. Советское государство, построенное на идеологии и экономике при-

<sup>47</sup> Р. В. Дэвис. Архивы и экономика сталинизма // Экономическая история: Ежегодник. 2007 / Отв. ред. Л. И. Бородин, Ю. А. Петров. М., 2008. С. 327.

<sup>48</sup> Олег Кен. Сталин как стратег. Между двумя войнами // Русский журнал / 2004. Войны XX века. М., 2004.

нудительного труда, наконец, назначило в лице НКВД его монопольного представителя собственника-государства, владельца, распорядителя и фактически монопольного хозяина.

Эрнст Нольте в своих штудиях о нацизме в его эпохе<sup>49</sup> обнаружил — вслед за Уинстоном Черчиллем, после победы над Гитлером заявившим, что «фашизм был тенью или уродливым детищем коммунизма», — якобы вторичный, реактивный характер фашизма как ответа на вызовы эпохи (особенно — большевизм) и в этом смысле «вернул» явление породившему его времени (а не только породившей его немецкой истории и культуре, как предпочитали говорить современные ему критики нацизма). Надо **вернуть и сталинизм породившему его месту и времени**. Но исследовать его генезис не для «реабилитирующего» или ревизионистского объяснения-оправдания, как этого сделал Э. Нольте для нацизма, а в доктринальных, идейных, исторических пределах, в правилах эпохи, которым следовал сталинизм, то есть **поместить сталинизм в исторический ландшафт, в ту историю, которая равно вырастила ка-**

<sup>49</sup> Э. Нольте. Фашизм в его эпохе [1963]. Новосибирск, 2001; Э. Нольте. Европейская гражданская война (1917–1945). Национал-социализм и большевизм [1997]. М., 2003. Ещё Второй, программный конгресс Коммунистического интернационала в 1920 году объявил, что «Гражданская война во всём мире поставлена в порядок дня. Знаменем её является Советская власть» (Коммунистический интернационал в документах. Решения, тезисы и воззвания конгрессов Коминтерна и Пленумов ИККИ. С. 152). Но есть серьёзные основания полагать, что концепцию «европейской гражданской войны» Э. Нольте всё-таки мог прямо или косвенно воспринять не из деклараций Коминтерна, а из публицистической деятельности в Германии русского философа И. А. Ильина (1883–1954), адресованной немецкой аудитории и германским властям. В 1926 он выступил с немецким докладом «Возникновение большевизма», в котором сделал вывод, что «большевизм может процветать только в стабилизировавшейся гражданской войне» (И. А. Ильин. Собрание сочинений: Мир перед пропастью. Часть III. Аналитические записки и публицистика (1928–1941) / Сост. Ю. Т. Лисица. М., 2001. С. 504); в написанной по заказу МВД и МИД Германии записке «Директивы Коминтерна по большевизации Германии» (1933) особое внимание уделил «всемирной гражданской войне» (Там же. С. 261); в тексте для русской печати, написанном по заказу гитлеровских властей, «Надежды и опасения Коминтерна» (1934): «первое опасение Коминтерна, — что германский фашизм будет иметь творческий успех; вот первая надежда его, — что этому удастся помешать и своевременно потопить национал-социализм в крови гражданской войны и советской революции, а может быть, и в общеевропейской военной катастрофе» (Там же. С. 245).

**питализм и социализм, нацизм и сталинизм**<sup>50</sup>. Классический философский манифест о «диалектике Просвещения», написанный по итогам Второй мировой войны и Холокоста, можно счесть крайней формой самокритики Запада, но никто на деле не подверг сомнению весьма близкую фактическую применимость этого философского описания к собственной, внутренней социальной истории индустриальной Европы XVIII–XIX и первой половины XX века, литературным портретом которой давно признаны кричащие социальные образы Чарльза Диккенса. Всё более несомненным остаётся формально философский диагноз:

«На протяжении всего либералистского периода Просвещение постоянно симпатизировало социальному насилию... При посредстве тотального, объемлющего все без исключения отношения и побуждения общества, люди опять превращаются... во всего лишь видовые существа, друг другу тождественные благодаря изолированию в принудительно управляемой коллективности... Бессилие трудящихся является не уловкой власть имущих, а логическим следствием индустриального общества... Мышление

<sup>50</sup> Первые частные шаги к этому: *M. Hawking*s. *Social Darwinism in European and American Thought, 1860–1945*. Cambridge, 1997; *Z. Sternbell*. *La droite révolutionnaire, 1885–1914: Les origines françaises du fascisme*. Paris, 2000. Яркая попытка «вернуть в контекст», *не покидая контекст Э. Нольте*, видна в известном историческом труде более известной своей политической публицистикой Апфельбаум: «ГУЛАГ рос и развивался в определённое время и в определённом месте, параллельно происходили другие события, и он принадлежит, по меньшей мере, к трём разным контекстам. Строго говоря, ГУЛАГ, во-первых, принадлежит к истории Советского Союза; во-вторых, к международной и российской истории тюрем и ссылки; в-третьих, к истории особого интеллектуального климата в континентальной Европе в середине XX века, породившего также и нацистские лагеря в Германии» (*Энн Этлбаум*. ГУЛАГ. Паутина Большого террора [2003]. М., 2006. С. 23 (оригинальное название: *GULAG. A History*). Надо действительно очень потрудиться, чтобы специально для ГУЛАГа изобрести отдельные контексты «середины XX века» (то есть без предпосылок) и «истории тюрем» (то есть без всей истории наказаний и принудительного труда): только так можно отделить ГУЛАГ от индустриализма и колониализма, — чтобы не тревожить их актуальное прошлое. Апфельбаум смело отказывается даже от доктринальных и интеллектуальных истоков и даже находит предпосылки советского коммунизма в той гражданской войне, где он воевал с самого начала и победил: «Нацизм и советский коммунизм родились из варварского опыта Первой мировой войны и российской гражданской войны» (С. 29). Наверное, эти уловки помогают не тревожить свежие могилы довоенного варварства.

становится органом, возвращаясь вспять, в природу. Но для властвующих люди становятся материалом, как для общества — природа в целом»<sup>51</sup>.

Только в этом контексте мы сможем оценить подлинные зло и ужас эпохи и то, в какой степени сталинизм на деле преумножил эти зло и ужас: исследовательски вернуть сталинизм в ландшафт его времени, Просвещения и Модерна, **в котором он был учеником**, — вернуть в европейский и русский XIX век, не только в Первую мировую войну — но в социал-милитаристский консенсус Запада. На самом деле, не так важно, насколько этот социал-милитаристский консенсус отражал подлинные потребности человечества, важно то, насколько всепроникающим было убеждение властвующих в том, что без такой мобилизационной готовности к новым войнам — человечество не будет защищено, а конкретные государства исчезнут, лишённые безопасности. Преобладающим дефицитом в интернациональной историографии сталинизма до сих пор остаётся дефицит исследования актуального и общего исторического контекста сталинизма, исторического опыта создателей сталинского режима и — как это ни странно при гигантской литературе о *национальных корнях большевизма* — исследования подлинной интеллектуальной традиции (а не лубочных сказок о ней), в лоне которой вызревали государственные задачи сталинизма.

Историческое сознание всегда переживает новые события «впервые», описывая и интерпретируя их, вырабатывая «ответы на исторические вызовы» на языке прецедентов, совершенно не предполагая того будущего горизонта, с высоты (широты) которого прошлое будут судить будущие поколения. Поэтому русском историческом сознании начала XX века навсегда будут доминировать образцы Великой французской революции 1789 года и Парижская коммуна 1871 года — и, разумеется, будут полностью отсутствовать Париж и Прага 1968-го. В высшей степени реальными и незабываемыми будут Великая война 1914–1918 гг. и Брест-Литовск 1918 года, и абсолютно непредсказуемым — Берлин 1945-го. В этом практическом и символическом ландшафте для советских властей в 1920–1930-е гг. абсолютно преобладал

<sup>51</sup> Макс Хоркхаймер, Теодор В. Адорно. Дialeктика Просвещения. Философские фрагменты [1947] / Пер. с немецкого М. Кузнецова. М., 1997. С. 26–27, 54, 111.

опыт чрезвычайного выживания режима и лишь затем — опыт коммунистического эксперимента.

Но в лично пережитом большевиками в СССР историческом опыте существовал и более широкий контекст, и более глубокая историческая диахрония.

Сталин, насыщая свою риторику историческими экскурсами, приучил историков с особым вниманием относиться к персональным историческим аналогиям, к упоминаниям Петра Великого и Ивана Грозного, к которым прибегал Сталин для своей легитимации<sup>52</sup>. Похоже, историки сталинизма до сих пор не с достаточным вниманием отнеслись к историческому смыслу, например, известного признания Сталина в его обращении 2 сентября 1945 года к советскому народу в связи с победой СССР и его союзников по антигитлеровской коалиции в войне против Японии. Описывая источники и угрозы Второй мировой войны, германскую угрозу на Западе, Сталин указал на многолетнюю японскую угрозу с Востока. Здесь Сталин прибегнул не к партийным, идеологическим, а ко вполне рафинированным этатистским и историческим категориям:

«У нас есть ещё свой особый счёт к Японии. Свою агрессию против нашей страны Япония начала ещё в 1904 году во время русско-японской войны. Как известно, в феврале 1904 года, когда переговоры между Японией и Россией ещё продолжались, Япония, воспользовавшись слабостью царского правительства, неожиданно и вероломно, без объявления войны, — напала на нашу страну и атаковала русскую эскадру в районе Порт-Артура... Как известно, в войне с Японией Россия потерпела тогда поражение. Япония же воспользовалась поражением царской России для того, чтобы отхватить от России южный Сахалин, утвердиться на Курильских островах и, таким образом, закрыть на замок для нашей страны на Востоке все выходы в океан — следовательно, также все выходы к портам советской Камчатки и советской Чукотки. Было ясно, что Япония ставит себе задачу отторгнуть от России весь её Дальний Восток... Поражение русских войск в 1904 году в период русско-японской войны оставило в сознании народа тяжёлые воспоминания. Оно легло на нашу

<sup>52</sup> См., например: *И. В. Сталин. Историческая идеология в СССР в 1920–1950-е годы: Переписка с историками, статьи и заметки по истории, стенограммы выступлений: Сборник документов и материалов*. СПб., 2006.

страну чёрным пятном. Наш народ верил и ждал, что наступит день, когда Япония будет разбита и пятно будет ликвидировано. Сорок лет ждали мы, люди старого поколения, этого дня. И вот, этот день наступил... Это означает, что южный Сахалин и Курильские острова отойдут к Советскому Союзу и отныне они будут служить не средством отрыва Советского Союза от океана и базой японского нападения на наш Дальний Восток, а средством прямой связи Советского Союза с океаном и базой обороны нашей страны от японской агрессии. Наш советский народ не жалел сил и труда во имя победы. Мы пережили тяжёлые годы. Но теперь каждый из нас может сказать: мы победили. Отныне мы можем считать нашу Отчизну избавленной от угрозы немецкого нашествия на западе и японского нашествия на востоке»<sup>53</sup>.

<sup>53</sup> Можно связать идейный генезис этого выступления Сталина с работой Молотова и одного из центральных сталинских внешнеполитических экспертов. Глава НКВД СССР В. М. Молотов заявил послу Японии в октябре 1940: «Портсмутский договор оставил в нашем народе такой же нехороший след, как и Версальский договор...» (А. А. Кошкин. Японский фронт маршала Сталина. Факты. Документы. М., 2004. С. 84) и в ноябре 1940 развил свою мысль: «Если Япония думает оставить без изменений на веки вечные Портсмутский договор, на который в Советском Союзе смотрят так же, как в Западной Европе смотрят на Версальский договор, то это является грубой ошибкой. Япония нарушила этот договор. Кроме того, поскольку этот договор был заключен после поражения России, он должен подлежать исправлению» (Анатолий Кошкин. Россия и Япония: узлы противоречий. М., 2010. С. 215). Позже А. А. Трояновский войны писал о переговорах С. Ю. Витте в Портсмуте в 1905 году: «При всех условиях ясно, что при некоторой твёрдости со стороны Витте и царского правительства Россия не потеряла бы южной части Сахалина... Царское правительство должно было скрыть тот факт, что оно пошло на невыгодные условия мира для того, чтобы раздавить революцию... Для нас Портсмутский договор интересен потому, что в 1925 г. в договоре о восстановлении дипломатических отношений между Советским Союзом и Японией мы признали условия Портсмутского договора, сделав оговорку, что не несём за него никакой политической ответственности» (А. А. Трояновский. Предисловие // Кикудзиро Исии. Дипломатические комментарии / Пер. под ред. А. А. Трояновского. [М.] 1942. С. XIX. А. А. Трояновский — член заграничной редакции журнала «Просвещение». С 1914 меньшевик-оборонец. С 1924 председатель правления Госторга РСФСР и член коллегии Наркомвнешторга. С 1927 полпред СССР в Японии, с 1933 — в США. С 1939 — в СССР). См. также «свидетельство» официального биографа Сталина о его эволюции от «пораженца» к «оборонцу»: Ем. Ярославский. Русско-японская война и отношение к ней большевиков. М., 1939 (и об особом месте этой книги в исторической пропаганде: Б. Б. Кафенгауз. Военно-историческая литература в СССР за 25 лет // Двадцать пять лет исторической науки в СССР / Под ред. В. П. Волгина, Е. В. Тарле и А. М. Панкратовой. М.; Л., 1942. С. 113).

Из этих признаний следует не только выстраивать лежащие на поверхности концепции «национал-большевистской» или «великодержавно-патриотической», «традиционно-имперской» эволюции сталинского режима: в возрождении русской истории в советском учебном курсе наук, восстановлении в СССР Патриаршества, традиционной военной формы и званий в РККА и т.п. Надо увидеть и признание единой истории народа и государства, для которой не было разрыва 1917 года.

Из признаний Сталина о Японии следует и ещё более важный вывод: не только о том, что Сталин считал себя и свой СССР государственными наследниками не только Ленина, но и Петра Великого<sup>54</sup> и его России, но и о том, что сталинский СССР неизбежно наследовал исторические, географически определённые угрозы, перед лицом которых выросла Историческая Россия<sup>55</sup>. С этими угрозами столкнулась бы любая суверенная континентальная государственность на территории России.

В 1920-х гг., вскоре после неудачи «мировой коммунистической революции» на территории бывших Германской и Австро-Венгерской империй и неудачи союзничества коммунистической Советской России с националистической Турцией на обломках Османской империи, «Европа» отделилась от России сетью авторитарно-националистических лимитрофов. Их внешнеполитическая идеология была представлена новоизобретёнными («Великая Финляндия», «Великая Румыния») или ещё более масштабными, чем прежде («Междуморье» Польши) имперско-колониальными (за счёт Исторической России) проектами. Поэтому интернациональный проект советского коммунизма вставал лицом к лицу перед новыми национально-империалистическими вызовами на Западе и перед оставленными ему в наследство Российской

<sup>54</sup> Впрочем, для догматического сознания большевиков противоречия между Лениным и Петром Великим не было уже хотя бы потому, что ещё 5 мая 1918 года В. И. Ленин в статье «О “левом” ребячестве и о мелкобуржуазности», призывая учиться государственному капитализму у немцев, завещал большевикам «всеми силами перенимать его, не жалеть диктаторских приёмов для того, чтобы ускорить это перенимание ещё больше, чем Пётр ускорял перенимание западничества варварской Русью, не останавливаясь перед варварскими средствами борьбы против варварства».

<sup>55</sup> См. также: *Е. Ю. Сергеев*. Военно-политическая элита Российской империи о «внешней угрозе с Запада» накануне первой мировой войны // Новая и новейшая история. М., 2000. № 5.

империей проблемами Зауралья, Туркестана, Сибири и Дальнего Востока. Традиция русской оппозиционной мысли предпочитала описывать их в категориях «царской каторги», «тюрьмы народов», тщетной колонизации, ложных и вредных царских торгово-империалистических амбиций, ведущих к будущему столкновению с Японией и стоявшей за ней Британской империей. Традиция же русской государственной мысли, менее популярная, вела многодесятилетние исследования русского Зауралья как ресурсно неисчерпаемой и, в отличие от Аляски, гораздо более досягаемой внутренней «Русской Америки», лоббировали и реализовывали её экономическое освоение, чтобы... укрепить Россию в её будущем столкновении с Японией и стоявшей за ней Британской империей. Поэтому любой государственно ответственный проект Востока России автоматически прибегал не к антисамодержавному пустословию и социальной критике, а к уже сложившемуся консенсусу относительно освоения и защиты своего Востока, в котором защита от угроз с Востока адекватно понималась как защита будущего ресурсного сердца всей России. Вспоминая, как «сорок лет ждали мы, люди старого поколения», восстановления безопасности России на Дальнем Востоке, Сталин вновь и вновь актуализировал план, систему и структуру **интеллектуального консенсуса в русской государственной мысли**. Россия, несмотря на традиционные волны внутренней колонизации с Запада на Восток, Север и Юг, сменяющиеся сопоставимым оттоком населения с окраин к центру, исторически сталкивается со значительным внешним миграционным давлением, но более всего — с прямыми внешними военными угрозами её безопасности на Западе, на Юге (на Кавказе и в Азии) и на Дальнем Востоке. Они и диктуют её государству приоритеты географического развития, независимо от формул условного спора «западников» и «славянофилов» о враждебности или образцовости Запада для развития России. После успешной для России Кавказской войны стал возможен нефтяной Баку, после завоевания Туркестана стал возможен «второй индустриальный центр» в Западной Сибири. До того времени все претензии такого рода не шли дальше повторного освоения Урала.

С лёгкой руки В. О. Ключевского, афористически отметившего центральную роль колонизации в деле территориального расширения государственности России, доныне — и уже недобросовестно — роль колонизации России перетолковывается как философия принуди-

тельных миграций и экстенсивного хозяйствования, власти временщиков, кочевников и палачей, вплоть до царской каторги и сталинских ГУЛАГа и ссылки<sup>56</sup>. И в этом случае следует признать, что (равно научный и демагогический) пафос русской колонизации окажется весьма значительно преувеличенным, если поместить его в контекст современной Исторической России и СССР европейской и американской колонизации и миграции. В отличие от многомиллионной в России, *многодесятимиллионная* на Западе колонизация при близком рассмотрении оказывается не только гораздо более значимой для развития Запада, чем таковая для России, но и имманентно содержащей в себе правила массового принудительного или менее свободного труда как чужого, неполноправного, почти рабского. В западном контексте миграции и колонизации внутренний русский колонизационный поток оказывается не столь велик (с 1861 по 1917 гг. в Сибирь из западной, центральной части России переселились всего 5 300 000 тыс. чело-

<sup>56</sup> Об истории, логике, приоритетах колонизационной и миграционной политики в России и СССР, её региональном измерении см. исследования: *И. Л. Ямзин, В. П. Воцинин*. Учение о колонизации и переселениях. М.; Л., 1926; *Н. Осинский (В. В. Оболенский)*. Международные и межконтинентальные миграции в довоенной России и СССР. М., 1928; *Л. Л. Рыбаковский*. Народонаселение Дальнего Востока за 100 лет. М., 1969; *Е. Н. Чернолуцкая*. Принудительные миграции на советском Дальнем Востоке в сталинский период // Вестник ДВО РАН. Владивосток, 1995. № 6; Спецпереселенцы в Западной Сибири. 1939–1945. Новосибирск, 1996; *И. Е. Зеленин*. Первая советская программа массового освоения целинных земель (конец 20-х — 30-е годы) // Отечественная история. М., 1996. № 2; *Г. А. Ткачева*. Демографическая ситуация на Дальнем Востоке России в 20–30-е годы XX века. Владивосток, 2000; *С. А. Красильников*. Государственная политика в сфере плановых и принудительных переселений в Сибирь (вторая половина 1920-х — 1930-е годы) // Проблемы истории, русской книжности, культуры и общественного сознания. Новосибирск, 2000; *С. А. Красильников*. Крестьянская ссылка в Западной Сибири в планах и практике сталинского режима 1930-х гг. // Урал и Сибирь в сталинской политике. Сб. / Отв. ред. С. Папков, К. Тэраяма. Новосибирск, 2002; *Сергей Красильников*. Серп и молот: Крестьянская ссылка в Западной Сибири в 1930-е годы. М., 2003; *О. А. Васильченко*. Государственная политика перемещения населения на Дальний Восток (1860–1917 гг.) // Вопросы истории. М., 2003. № 10; Восточный вектор переселенческой политики в СССР. Конец 1920-х — конец 1930-х гг. Сб. документов / Отв. ред. С. А. Красильников. Новосибирск, 2007; *И. И. Воронов*. А. В. Кривошеин и колонизация Сибири // Новый исторический вестник / Гл. ред. С. В. Карпенко. М., 2007. № 1 (15); *Н. И. Никитин*. Русская колонизация с древнейших времён до начала XX века (исторический обзор). М., 2010; *М. Меерович, Е. Коньшева, Д. Хмельницкий*. Кладбище соцгородов: градостроительная политика в СССР 1928–1932 гг. М., 2011.

век), а западная колонизация характеризуется не только совершенно иным, гигантским масштабом, но и непременным социальным расизмом и «вторым изданием рабства» — прежде, чем в сталинском СССР началась коллективизация как «второе издание крепостного права». Западные исследователи, авторы сводного труда, свидетельствуют:

«Самой притягательной страной для европейской миграции была Франция... Объясняется это тем, что “во Франции вплоть до начала XX в. не было сколько-нибудь серьёзного оттока сельского населения, который и обеспечивал такие страны, как Англия и Германия, рабочей силой. Таким образом, французский капитализм, нуждавшийся в рабочем классе, в силу нежелания крестьян оставлять свои фермы, вынужден был импортировать рабочие руки из-за границы”. Иностранцы составляли основной костяк рабочих, занятых в угледобывающей и сталелитейной промышленности, но их можно было встретить и в сельском хозяйстве, сфере услуг и на транспорте. (...) Огромные массы мигрантов со всех стран устремлялись за океан в период, начавшийся после наполеоновских войн и закончившийся Первой мировой войной. Оценки масштабов миграции колеблются в интервале от 50 млн человек в период между 1850 и 1914 гг. до 46 млн в период между 1850 по 1915 гг.: 44 млн из Европы и 2 млн из Азии... Приток европейских мигрантов в США до 1880 г. составил 11–12 млн, тогда как с 1880 по 1915 гг. он достиг численности в 32 млн человек. (...) наконец в 20-х гг. XX в. Верховный Суд США постановил исключить китайских, японских и индийских мигрантов из числа натурализовавшихся и лишить их американского гражданства. После Первой мировой войны... США стали всё более жёстко ограничивать въезд в страну европейских мигрантов, одновременно с этим привлекая нелегальных рабочих-мексиканцев и широкие массы чернокожих и белых малоимущих сельскохозяйственных рабочих с юга для обеспечения потребностей развивающейся промышленности на севере и западе страны»<sup>57</sup>.

Исследователи более узкой и предметной тематики подтверждают: в течение XIX века и до 1914 года из Европы в Америку (в абсолютном большинстве — в США) эмигрировало около 50 млн человек — сначала

<sup>57</sup> Дэвид Хелд, Дэвид Гольдблатт, Энтони Макгрю, Джонатан Перратон. Глобальные трансформации: Политика, экономика и культура [1999] / Пер. В. В. Сапова и др. М., 2004. С. 349, 345–346.

из Северной и Западной Европы, а затем — из Германии, Италии, Австро-Венгрии и России, в том числе только из Венгрии — 2 млн. Основной массовой миграцией стало аграрное перенаселение в условиях индустриализации. Из некоторых стран выехало до 12% населения, в том числе ещё более значительные доли ряда этносов (венгров, словаков, русин, немцев, др.). При этом миграция из зарубежной Европы была актом бегства не только от социальной нужды, но и от этнического неополноправия, была актом нелояльности к государству:

«На территории Венгрии сложилось несколько регионов, которые стали основными поставщиками рабочей силы за океан. Самый крупный, охваченный массовой эмиграцией регион располагался на севере и северо-востоке Венгерского королевства... (ныне — Словакия. — *М. К.*). Проживающие на этой территории словаки составили первые группы трудовых мигрантов, затем процесс распространился на венгров и русинов. В начале XX века на долю выходцев из этих областей приходилось около 30% всех мигрантов. Собственно, массовый исход населения в Америку начался именно в северо-восточных районах страны, которые вместе с соседней Галицией составили наиболее крупный эмиграционный “очаг” на территории Австро-Венгрии... С началом массовой эмиграции в этих расположенных вдали от промышленных центров, в экономическом отношении менее развитых районах страны с преобладанием невенгерского населения пришли в запустение целые сёла... Среди причин, вызвавших эмиграцию части молодёжи, было стремление избежать службы в [австро-венгерской] армии. В отдельных местах до 60% лиц призывного возраста, не прошедших военную службу, уезжали в Америку. () Трансатлантическая миграция достигла своего пика в предшествующее Первой мировой войне десятилетие. В 1903–1913 гг. из Европы за океан в общей сложности перекочевало 10 млн человек, две трети которых были выходцами из Центральной и Восточной Европы... В 1912 г. правительство [Австро-Венгрии] наложило запрет на эмиграцию военнообязанных мужчин, прекратив одновременно выдачу паспортов военным. С началом Первой мировой войны прекратилась и трансатлантическая миграция населения... После того, как Соединённые Штаты в 1917 г. вступили в войну на стороне Антанты, по отношению к выходцам из Венгрии [и в целом Германии и Австро-Венгрии] там стали проявлять недоверие, подозревали в неблагонадёжности. С другой стороны, венгерское правительство объявило всех

своих граждан, занятых на предприятиях военно-промышленного комплекса США, преступниками, действующими против военных интересов Венгрии, что, в свою очередь, грозило длительным тюремным заключением (до 20 лет), а при отягчающих обстоятельствах и смертной казнью. Война практически закрыла для большинства эмигрантов возможность возвращения на родину, включая даже тех, кто не трудился на военных заводах, что также требовалось доказать»<sup>58</sup>.

Преемственное обеспечение внешней безопасности вместе с созданием экономической неуязвимости объективно оставалось в ряду стратегических интересов России и СССР в XX веке, хотя, например, критическая зависимость России и особенно её военно-промышленного комплекса от Германии, похоже, не была в достаточной степени очевидна вплоть до 1914 года<sup>59</sup>. Учитывая, что наибольший потенциал угроз безопасности России традиционно находился на Западе и Юго-Западе, непосредственно граничащих с центрами исторического политического и нового (с XIX века) промышленного развития России, логично было представление о Западе как естественном фронте будущей войны, в отношении к которому и старопромышленный Центр, и новопромышленные Донецкий бассейн и Баку находились под непосредственной угрозой, а старопромышленный Урал, и новопромышленное Поволжье — в тылу, который — в случае военных неудач — становился «центром», а в ходе развития наступательных вооружений противника — фронтом второго эшелона. И. В. Сталин писал В. М. Молотову 12 июля 1925:

«Хозорганы в СССР наметили уже программу строительства новых заводов. Боюсь, что начнут строить в приграничных районах без учёта ряда неблагоприятных в этом отношении факторов, и потом, если прозеваем момент, невозможно будет исправить допущенные ошибки. Хотят, например, строить новые фабрики в Питере, в Ростове, что нецелесообраз-

<sup>58</sup> Б. Й. Жилицки, Ч. Б. Жилицки. Венгерские эмиграционные волны и эмигранты (середина XIX — конец 50-х годов XX века). М., 2012. С. 5–6, 75, 82–85, 75–76.

<sup>59</sup> «Для нас выяснилось многое во время войны и прежде всего стало ясно всем то, что раньше было ясно немногим, — наша экономическая зависимость от Германии» (В. И. Вернадский. Война и прогресс науки [1915] // В. И. Вернадский. Публицистические статьи / Отв. ред. В. П. Волков. М., 1995. С. 205).

но. Я думаю, что при выработке строительной программы следовало бы учесть, кроме принципа приближения заводов к сырью и топливу, ещё два соображения: смычку с деревней [интеграцию лёгкой и машиностроительной промышленности и сельскохозяйственного производства] и географически-стратегическое положение районов новых заводов. Наш основной тыл — Урал, Поволжье, Чернозёмный юг (Тамбов, Воронеж, Курск, Орёл и т.д.). Именно эти районы (если не считать Урал) страдают отсутствием промышленности. Между тем именно эти районы представляют наиболее удобный тыл для нас в случае военных осложнений. Поэтому именно в этих районах надо развивать промышленное строительство. Питер в этом отношении абсолютно неудобен. Будет, конечно, давление с мест, но его надо преодолеть. Этот вопрос до того важен для нас, что следовало бы поставить его на Пленум ЦК, если бы это понадобилось для преодоления давления с мест. Хорошо бы узнать на этот счёт мнение се­мёрки».

И вновь Молотову 22 сентября 1930:

«Плохо обстоит дело с Уралом. Миллионы руды лежат у рудников, а вывезти её не на чем. Нет рельс для подведения подъездных и внутризаводских веток, — в этом вся беда. Почему нельзя было бы приостановить на год новое железнодорожное строительство где-либо на Украине или в другом месте и, освободив рельсы вёрст на 200–300, отдать их немедленно Уралу?»<sup>60</sup>

<sup>60</sup> И. Сталин. Сочинения. Т. 17 / Сост. А. Е. Кирюнин, Р. И. Косолапов, С. Ю. Рыченков. Тверь, 2004. С. 194–195, 367. Из этих межклановых (отчасти в форме территориальных) противоречий стратегического планирования западный исследователь, во всех иных случаях абсолютизируя деспотическую волю Сталина, делает ошибочный вывод о том, что в практической реализации территориальных приоритетов экономического развития в СССР якобы протекала борьба не между союзным центром и региональными группами влияния, а между квазифедеративными субъектами формирования общей союзной политики, целиком относящейся к компетенции Политбюро: «За распределение инвестиций шла яростная борьба. Урал, Сибирь и республики Закавказья хотели быть центрами тяжёлой промышленности, тогда как Россия и Украина стремились отстоять свое первенство» (*Пол Грегори. Политическая экономия сталинизма* [2004]. М., 2006. С. 106). Эта крайне некорректная формула, изобретённая в духе современной националистической историографии бывших советских республик, игнорирует тот простой факт, что региональные кланы в СССР боролись, условно говоря, не за обладание собственным стратегическим потенциалом или ядерным оружием,

Весь цивилизационный Центр России от Белого моря до Кавказа и Каспия — неизменно оставался географически уязвимым, а борьба России за Прибалтику, Польшу, Украину и Кавказ — географическим условием исторической безопасности её исторического Центра. Первым после Гражданской войны и интервенции актом осознанной в СССР угрозы с Запада (усложнённая одновременным конфликтом на Востоке) стала известная официально-пропагандистская **«военная тревога»** (военная истерия, ожидание ближайшей войны) в СССР 1927 года (терминологически копирующая европейские «военные тревоги» 1875 и 1887 гг.). Тогда на конфликт СССР и его Коммунистического Интернационала с Великобританией наложились неудачи поддерживаемого СССР «Красного Китая», а также призывы русской белой, антикоммунистической эмиграции к новой иностранной интервенции против СССР, что считается в историографии непосредственным политическим импульсом к началу ускоренной индустриализации и коллективизации, то есть к скорейшей военно-экономической мобилизации тыла. Дискуссия идёт лишь о степени оправданности этой «военной тревоги» и управляемости этой истерии, её инструментализации Сталиным для борьбы с его конкурентами в руководстве СССР<sup>61</sup>. В научной литературе звучат суждения о том, что в тех конкретных условиях никто из европейских участников потенциального антикоммунистического блока не был готов

---

а за долю в централизованных союзных ресурсах, отпускаемых на общесоюзные проекты внутри республик.

<sup>61</sup> В апреле 1927 года расправа главы китайской национальной партии Гоминьдан Чан-Кайши над своими коммунистическими союзниками в Китае привела к утрате Коминтерном возможности прямого влияния на события в Китае и краху идеи «единого фронта» Коминтерна с национально-освободительными движениями. Это стало актом нового поражения плана «мировой революции», который проповедовали отстранённые от высшей власти в СССР Г. Е. Зиновьев, Л. Б. Каменев и Л. Д. Троцкий, и окончательным внешнеполитическим аргументом в пользу «построения социализма в одной стране». 27 мая 1927 Англия разорвала дипломатические отношения с СССР. 1 июня 1927 ЦК ВКП(б) выступил с обращением «Ко всем организациям ВКП(б). Ко всем рабочим и крестьянам» о необходимости готовиться к империалистической агрессии. 7 июня 1927 года в Варшаве был убит полпред (посол) СССР в Польше П. Л. Войков. В конце 1927 года «военная тревога» привела к сокращению вдвое поставок зерна крестьянством («зерновой кризис»).

к новой войне — особенно против СССР<sup>62</sup>, что, однако, не отменяет исторической реальности внешнеполитических страхов СССР<sup>63</sup>. И не отменяет главное: крайне невыгодного для СССР баланса военных сил на западной границе. Соотношение сил Красной Армии и армий *только* лимитрофов, по советским расчётам 1927 года, было пессимистичным для СССР (выделено мной):

<sup>62</sup> В общей для межвоенной Европы практике подготовки к тотальной войне, однако, военная промышленность, коммуникации, мобилизационные резервы и армия не создавались после «непосредственной угрозы». Но современные критики Сталина и СССР оспаривают реальность неспровоцированной военной угрозы СССР со стороны западных держав, доказывают её преувеличенность в конце 1920-х, которая использовалась СССР для той же самой подготовки к тотальной войне (Л. Н. Нежинский. В интересах народа или вопреки им? Советская международная политика в 1917–1933 годах. М., 2004. С. 243–276, 260–266). См. также указание на то, что враждебность, например, Англии в 1927 году носила исключительно реактивный характер в ответ на действия СССР в самой Англии и Китае: В. А. Шишкин. Становление внешней политики послереволюционной России (1917–1930 годы) и капиталистический мир: от революционного «западничества» к «национал-большевизму». СПб., 2002. С. 268–280.

<sup>63</sup> См.: Л. Н. Нежинский. Была ли военная угроза СССР в конце 20-х — начале 30-х годов? // История СССР. 1990. №6; Л. Н. Николаев. Угроза войны против СССР (конец 20-х — начало 30-х годов): Реальность или миф? // Советская внешняя политика, 1917–1945. М., 1992; Н. С. Симонов. «Крепить оборону Страны Советов»: («Военная тревога» 1927 года и её последствия) // Отечественная история. М., 1996. №3. Комментируя «массовую военную истерию, убеждение, что война начнётся не позднее весны в крайнем случае, осени 1927 г.», другой исследователь резюмирует: «Доказательства того, что западные страны в то время не планировали военную агрессию против Советского Союза, не опровергают мнение, что правящие круги СССР действительно восприняли ситуацию 1927 г. как возможное преддверие войны и начали перестройку всей жизни страны, создавая мобилизационную модель экономики» (М. М. Кудюкина. Красная Армия и «военные тревоги» второй половины 1920-х годов // Россия и мир глазами друг друга: из истории взаимовосприятия. Вып. 4. М., 2007. С. 162, 153). Специалисты подчёркивают рискованность социальной «истерии», если бы она была на деле организована властью: в массе населения СССР в 1920-е гг. «почти никто не сомневался в поражении Советской России» в случае войны (А. В. Голубев. «Если мир обрушится на нашу Республику...»: Советское общество и внешняя угроза в 1920–1930-е гг. М., 2008. С. 115; А. В. Голубев. «Союзников у нас не было...»: ожидания войны в советском обществе 1930-х годов // Малые города в отечественной истории XIII–XX вв. М., 2012; А. В. Баранов. «Военная тревога» 1927 г. как фактор политических настроений в нэповском обществе (по материалам Юга России) // Россия и мир глазами друг друга: из истории взаимовосприятия. Вып. 4. М., 2007. С. 189; А. Посадский. От Царицына до Сызрани. Очерки Гражданской войны на Волге. М., 2010. С. 397; В. В. Кондрашин. Голод 1932–1933 годов: Трагедия российской деревни. М., 2008. С. 359). См. также: Светлана Ушакова. Идеолого-пропагандистские кампании в практике функционирования сталинского режима: новые подходы и источники. М., 2013. С. 35–49.

«В случае всеобщей мобилизации ближайшие соседи СССР на западной границе (Польша, Румыния, Финляндия, Литва, Латвия и Эстония) могли выставить **113 стрелковых дивизий и 77 кавалерийских полков общей численностью более 2,5 млн человек**. Вероятные противники СССР располагали **5746 полевыми орудиями, 1157 боевыми самолётами и 483 танками**. Штабом РККА принималось во внимание, что это — вооружённые силы **первого эшелона**, за которыми, рано или поздно, встанут вооружённые силы Франции и Великобритании. Кроме того, на Дальнем Востоке со стороны Японии и Маньчжурии против СССР могло быть выставлено 64 пехотные дивизии и 16 конных бригад. На Среднем Востоке со стороны Турции, Персии и Афганистана против СССР могли выступить 52 пехотные дивизии и 8 конных бригад. Армия СССР мирного времени состояла из 70 стрелковых дивизий, 22 скрытых кадровых дивизий и 7 территориальных стрелковых резервных полков общей численностью 610 000 человек. В случае всеобщей мобилизации Красная Армия могла развернуть **92 стрелковые дивизии и 74 кавалерийских полка общей численностью 1,2 млн человек**. Красная Армия располагала **5640 полевыми орудиями, 698 боевыми самолётами, 60 танками**, 99 бронев автомобилями и 42 бронепоездами»<sup>64</sup>.

Не следует забывать и о том, что тогдашний главный непосредственный военный противник СССР, Польша, летом 1926 года пережила государственный переворот, в результате которого к личной власти пришёл военный победитель Советской России 1920 года Юзеф Пилсудский. Под впечатлением переворота высшее лицо политической полиции и экономического планирования, глава ОГПУ при СНК СССР и председатель ВСНХ СССР Ф. Э. Дзержинский писал в качестве предсмертного завещания своим ведомственным наследникам: «Наша внешняя политика требует быстро поставить на ноги военную пром<ышленность>»<sup>65</sup>. В этой формуле — ядро проблемы военно-экономической мобилизации: **в 1926 году у армии СССР фактически не существовало индустриальной основы, то есть**

<sup>64</sup> Н. С. Симонов. Военно-промышленный комплекс СССР в 1920–1950-е годы: темпы экономического роста, структура, организация производства и управление. М., 1996. С. 64.

<sup>65</sup> Ф. Дзержинский. Письмо руководителям ОГПУ и ВСНХ о преобразованиях в военной промышленности 6 июля 1926 г. // Ф. Э. Дзержинский — председатель ВЧК-ОГПУ. 1917–1926 / Сост. А. А. Плеханов, А. М. Плеханов. М., 2007. С. 661.

**того, что на практике создаёт её способность вести тотальную войну, будущую уничтожительную войну военно-ресурсных потенциалов.** Но архивные данные о деятельности высших органов власти СССР и результатах анализа ими положения дел в военной сфере свидетельствуют: после демобилизации Красной Армии после Гражданской войны к 1924 году — также «фактически войска утратили боеспособность»<sup>66</sup>. «Военная тревога» 1927 года, в частности, дополнительно обнажила для руководства СССР слабость Красной Армии и открыла политический путь радикальной модернизации армии — форсированному техническому перевооружению в опоре на собственные ресурсы и использование производств «двойного назначения»<sup>67</sup>. Как бы ни эксплуатировало большевистское руководство начавшуюся «военную тревогу», надо признать, что глубокий военный анализ оно предприняло сразу же после китайского кризиса, а в кризис отношений с Великобританией вошло уже в полном понимании своей фактической незащитности перед фронтом великих держав. Только теперь, наконец, когда сложилось общее мнение о неудовлетворительном состоянии РККА перед лицом военной угрозы, была осознана теоретическая задача мобилизации, но лишь как реакция на угрозу войны: «Признать, что основным фактором подготовки страны к обороне является готовность всего народного хозяйства, в особенности промышленности и транспорта, быстро приспособиться к нуждам и условиям войны. (...) “народное хозяйство в целом совершенно не приспособлено к работе в условиях войны”»<sup>68</sup>. Но и два года спустя состояние военного строительства и политическая военно-промышленная мобилизация оставались плохими: «Подготовка всей промышленности, в том числе военной, к выполнению требований вооружённого фронта идёт совершенно неудовлетворительно»<sup>69</sup>. Похоже, неспособность

<sup>66</sup> [С. Кудряшов.] Предисловие редактора // Красная Армия в 1920-е годы / Шеф-редактор Сергей Кудряшов. М., 2007 (Вестник Архива Президента Российской Федерации). С. 6.

<sup>67</sup> С. Минаков. Военная элита 20-х — 30-х годов XX века. 2 изд. М., 2006. С. 485 (особенно: С. 345–371 — глава «“Военная тревога” 1926–1927 гг. и советская военная элита»).

<sup>68</sup> Постановление Политбюро ЦК ВКП(б) по докладу тов. Ворошилова [5 мая 1927] // Красная Армия в 1920-е годы. С. 166, 168, 247.

<sup>69</sup> Постановление Политбюро ЦК ВКП(б) о состоянии обороны СССР [15 июля 1929] // Красная Армия в 1920-е годы. С. 236.

к мобилизации демонстрировало, прежде всего, высшее политическое руководство. Биограф Бухарина, например, свидетельствует, что «до 1927 г. краткосрочные планы военной подготовки не занимали большого места в экономической философии Бухарина. Несмотря на все свои высказывания об “эпохе войн и революций”, он предусматривал продолжительную “передышку”. Теперь же он и его союзники формулировали экономические рекомендации с учётом возможности войны»<sup>70</sup>. При этом все советские военные того времени, «и особенно М. Н. Тухачевский, выступали за усиление контроля военных специалистов над экономическим планированием и работой промышленности». Но, видимо, практическая, административная, политическая межклановая слабость государственного аппарата 1927–1937 гг. привела к тому, что — как резюмирует исследователь — **«перспективного плана ускорения обороноспособности страны... просто не существовало»!!!**<sup>71</sup>

Хотя в простом ожидании новой войны руководство и население СССР были совершенно едины с властями и обществами межвоенной Европы. Важнее любых поздних оценок для тогдашнего поколения был личный исторический опыт и мощная интеллектуальная традиция его истолкования, **международный консенсус: война у дверей — и это будет ещё более страшная война, чем пережитая только что**, в 1914–1918 гг. Западный историк советского ВПК приходит к выводу, что 1927 год стал рубежом военно-промышленной мобилизации, которая в СССР пошла по современным западным образцам<sup>72</sup>. Но и западного, и собственного марксистского идейного капитала для мобилизации большевикам явно не хватало. В обращении, к примеру, Петра Великого в сентябре 1928 года Сталин прямо акцентировал внимание на его индустриализации как факторе государственного и военного строительства, не отказав себе и в возможности указать на чрезвычайный характер усилий царя, который «лихорадочно строил заводы и фабрики для

<sup>70</sup> С. Коэн. Бухарин: Политическая биография, 1888–1938 / Пер. Е. Четвергова, Ю. Четвергова, В. Козловского. М., 1988. С. 324.

<sup>71</sup> А. М. Маркевич. Нужды обороны и планирование военной промышленности в СССР в конце 1920-х — 1930-е гг. // Экономическая история. Ежегодник 2007. Экономическая история: Ежегодник. 2006 / Отв. ред. Л. И. Бородкин, Ю. А. Петров. М., 2008. С. 442, 453.

<sup>72</sup> Леннарт Самуэльсон. Красный колосс. Становление военно-промышленного комплекса СССР. 1921–1941 / Пер. Ирины Давидян. М., 2001. С. 29.

снабжения армии и усиления обороны страны»<sup>73</sup>. Для большевистского политического класса Советской России, и, очевидно, особенно Сталина, десятилетия помнившего «чёрное пятно» поражения в русско-японской войне 1904–1905 гг., «военная тревога» развивалась в логике глобальных событий, предшествовавших той войне и её революционным последствиям в России. Но и в конце 1920-х не было внятного понимания, как именно подготовить СССР к мировой войне.

Ещё до русско-японской войны, под впечатлением от англо-бурской войны 1899–1902 гг. как уничтожительной колониальной войны против европейского по происхождению народа в целом<sup>74</sup>, в России

<sup>73</sup> *И. В. Сталин*. Сочинения. Т. 11. М., 1952. С. 248.

<sup>74</sup> О значении англо-бурской войны для русского сознания см., например, в дневнике А. В. Тырковой, которая даже громкое, возмущившее общество событие — репрессивную отдачу протестующих студентов на военную службу солдатами в январе 1901 года — сравнила с вестью о репрессиях англичан против буров в Южной Африке: «Даже не верилось. Точно известие из Трансвааля, жуткое и неправдоподобное» (Наследие А. В. Тырковой: Дневники. Письма / Сост. Н. И. Каницева. М., 2012. С. 54). Ср.: Литературный сборник, изданный студентами Санкт-Петербургского университета в пользу раненых буров / Под ред. проф. И. Н. Жданова. СПб., 1900. Ещё до конца той войны будущий известный исследователь империализма и милитаризма, социал-демократ М. Павлович (М. Л. Вельтман) дебютировал особым очерком превращения войны в фактически тотальную (*М. П. Павлович*. Что доказала англо-бурская война? (Регулярная армия и милиция в современной обстановке). Одесса, 1901). Тогда же эта война получила значимый для русских революционеров отклик Карла Каутского в статье «Война в Южной Африке» (1902), где она стала примером империалистического искушения для английского пролетариата (*Карл Каутский*. Очередные проблемы международного социализма. Сб. ст. СПб., 1906). Известно участие в англо-бурской войне в качестве добровольца русского либерального деятеля и предпринимателя, вождя февральского переворота 1917 года А. И. Гучкова (1862–1936). Менее известно, но ещё более красноречиво для настоящей книги добровольческое участие в этой войне на стороне буров автора сталинского Генерального плана реконструкции города Москвы 1935 года В. Н. Семёнова (1874–1960). В русской массовой культуре бурская Республика Трансвааль прославилась в народной песне на стихи Г. Галиной (1899) «Бур и его сыновья», где звучали строки: «Да, час настал, тяжелый час / Для родины моей... / Молитесь, женщины, за нас, / За наших сыновей!.. / Трансвааль, Трансвааль, страна моя». В народной песне на мотив «Среди долины ровныя» главная фраза превратилась в «Трансвааль, Трансвааль, страна моя, / Горишь ты вся в огне!». В советской литературе о большой популярности этой песни свидетельствовали Паустовский, Шкловский, Исаковский, Маяковский, Фадеев, Кассиль, Слонимский, др. (См. об этом: *Аполлон Давидсон*. Эта старая старая песня // *Азия и Африка сегодня*. М., 1990. № 10). Её следы видны в знаменитом стихотворении Михаила Светлова «Гренада, Гренада, Гренада моя...» (1926). Даже в детской литературе — в созданном К. И. Чуковским стихотвор-

сформулировали прямую связь между империализмом как новым состоянием мирового капитализма и англо-бурской войной<sup>75</sup> как колониальной войной *между* «цивилизованными» народами<sup>76</sup>, новой войной за колониальное подчинение формально «равных» народов. Советский военный автор отмечал позже, что Трансвааль и Оранжевая республика «постоянных войск не имели... Всё войско было ополченским. По закону 1889 г. все лица от 16 до 60 лет в случае войны объявлялись военнообязанными» и что Ленин в январе 1905 в статье «Падение Порт-Артура», то есть после осмысления бурского опыта, заявил: «войны ведутся теперь народами»<sup>77</sup>. Эта война разрушала пре-

---

ном переложении из британской литературы «Доктор Айболит» (1929) звучит присутствие бурской темы, а именно — река Лимпопо, разграничивавшая бурские государства Трансвааль и Оранжевую республику. В стихотворении М. Исаковского (1948) традиции солидарности с национально-освободительной борьбой народов против колониализма были прямо соединены с Великой Отечественной войной, что стало пропагандистски актуальным после Фултонской речи участника англо-бурской войны на стороне Британской империи (где он, кстати, встречался с В. Н. Семёновым) Уинстона Черчилля (1946), инициировавшей «холодную войну» Запада против СССР и оживившей борьбу СССР за антиимпериалистическую деколонизацию. См. также: Т. Н. Давыдова. Англо-бурская война 1899–1902 гг. в отечественной историографии // Исторический ежегодник. 2005. Омск, 2006; Л. А. Петухов. Между варварством и цивилизацией: англо-бурская война на страницах российского внешнеполитического официоза // Российская история. М., 2007. № 1; И. С. Рыбачёнок. «Новое время» об англо-бурской войне 1899–1902 годов: вербальное и визуальное // Новая и новейшая история. М., 2016. № 2; Англо-бурская война 1899–1902 годов глазами российских подданных. В 13 т. / Сост. Г. В. Шубин, Н. Г. Воропаева, Р. Р. Вяткина, В. Ю. Христинин. М., 2012.

<sup>75</sup> Эту связь фиксировал и историк старшего поколения В. И. Герье (1837–1919) в главном органе русского либерализма — газете «Русские Ведомости» — в статьях 1900 года «Почему следует желать успеха бурам» и «Британский империализм» (Д. А. Цыганков. В. И. Герье и Московский Университет его эпохи (вторая половина XIX — начало XX в.) М., 2008. С. 242).

<sup>76</sup> Для самой Британии в контексте её «социальной педагогики» это вовсе не было новацией. Исследователь указывает на прецедентное не только в британском контексте действие британских властей: высылка 150 000 осуждённых из Англии в Австралию в XIX веке (*David L. Hoffmann. Cultivating the Masses: Modern State Practices and Soviet Socialism, 1914–1939.* N. Y., 2011. P. 244). Прецедентом можно считать и ссылку десятков тысяч французских каторжников этого же времени и тысяч революционеров после поражения Парижской коммуны в 1871 году на океанскую Новую Каледонию.

<sup>77</sup> А. А. Строков. История военного искусства: капиталистическое общество периода империализма (до конца Первой мировой войны 1914–1918 гг.). М., 1967. С. 12, 29.

зумпцию «цивилизованности» европейского прогресса в отношении тех «белых» народов, кто посмеет сопротивляться его империализму. Русский военный теоретик, ставший советским, А. А. Свечин (1878–1938) видел в опыте этой войны прецедент того, что потом было взято военной мыслью за образец «войны на измор», открывая причину исторической убедительности этого прецедента: «только под угрозой полного вымирания нации вожди буров пошли на подписание мирного договора»<sup>78</sup>.

Известный консервативный публицист, востоковед, конфиденд императора Николая II, единомышленник С. Ю. Витте, глава Русско-Китайского банка и российской Маньчжурской железной дороги, издатель «Санкт-Петербургских ведомостей» Э. Э. Ухтомский (1861–1921), под впечатлением от антияпонской колониальной интервенции Германии и Франции в Китай в 1895–1898 гг. и затем «временного и случайного» участия в ней России, настойчиво призывал дистанцироваться от истребительной колониальной практики названных держав и Англии, и, утверждая традиционное, якобы неконфликтное соседство России с Китаем, предрекал:

«Запад может ожидать от современной Азии многих политических осложнений. Мы стоим там, вне всякого сомнения — накануне великих катастроф... Кровавый пожар, подготавливаемый Европой на Дальнем Востоке, страшным заревом займётся над бесконечным побережьем»<sup>79</sup>.

Война в Южной Африке и одновременный ей антироссийский англо-японский союз выявили для всего мира и красноречивый перелом в стратегии «образцового» и самого передового в мире британского капитализма, **ставшего признанным образцом автопортретного**

<sup>78</sup> Александр Свечин. Эволюция военного искусства [1937]. М., 2002. С. 687–688.

<sup>79</sup> Э. Э. Ухтомский. К событиям в Китае: Об отношении Запада и России к Востоку [1900]. М., 2012. С. V, 71, 77, 14, 79–81. См. также его труд «Перед грозным будущим: К русско-японскому столкновению» (1904). См. также специальное исследование китайского автора: *Сунь Чжинцзин*. Китайская политика России в русской публицистике конца XIX — начала XX века: «жёлтая опасность» и «особая миссия» России на Востоке. М., 2008. А также: Дэвид Схиммельпенник ван дер Ойе. Навстречу Восходящему солнцу: Как имперское мифотворчество привело Россию к войне с Японией [2001] / Пер. Н. Мишаковой. М., 2009.

**империализма**<sup>80</sup>. Исторические предпосылки такого капитализма в области ярко описанного Марксом «первоначального капиталистического накопления», «манчестерской» экономической свободы и монополистической «свободной торговли» в мире, политические следствия этого в виде либерализма и парламентаризма, социалистической борьбы рабочего класса — находились в центре внимания всего человечества. Новая колониальная, империалистическая война современной Англии не против «диких племён», а против вполне цивилизованных и самоуправляемых белых буров обнажила её особый, уже не прикрываемый риторикой, цинизм. А (оставшийся тайным до 1905 года) англо-японский союз 1902 года прямо регулировал взаимные колониальные «специальные интересы» в Китае и Корее, отсекая от их согласования колониальные интересы России, Франции и Германии, демонстрируя столь же циничное согласие лидера Запада с недавно ещё закрытым и неприемлемым для Запада агрессивным Востоком, в исторической европейской риторике традиционно враждебным свободе. Одновременно померкла и потускнела «образцовость» британского либерализма, когда в ходе конкуренции Англии с другими великими державами стали ясны вся колониальная картина её экономического роста и вся условность её «свободы торговли», вся слабость её риторики перед лицом утраты британской монополии в области внешней торговли. Историк экономики подводит итог новейшему знанию о том, что внутренняя пружина британского экономического роста, скрытая от современников, весьма далека от риторической «свободы торговли» и дополнительно была явлена в демографической логике огромной Британской империи:

«увеличение объёмов производства в английской экономике в первую очередь обеспечивалось ростом населения, а не приращением эффективности», «промышленная революция кажется нам внезапным рывком потому, что ускорение роста производительности английской экономики совпало с неожиданным взрывообразным ростом населения Англии в 1750–1870 годах, никак с этим ускорением не связанным. Взлёт Великобритании к вершинам мирового господства в большей степени был обеспечен неустанным трудом британских рабочих в постелях, а не на фа-

<sup>80</sup> См.: Дж. Гобсон. Империализм (1902).

бриках. Население Англии возросло с 6 млн человек в 1740-е годы — что было не выше средневекового максимума 1300-х годов — до 20 млн в 1860-е годы<sup>81</sup>, увеличившись более чем втрое. В других странах Европы рост населения был намного более скромным. Например, население Франции за это же время выросло с 21 миллиона всего лишь до 37 млн человек<sup>82</sup>.

А современный экономист-институционалист подводит такой итог исторически порождённой британским образцом XIX века дискуссии о прямой связи демократических процедур и институтов с экономическим ростом, связи «свободы торговли» и либерализма: «У нас нет ни хорошей теории, которая устанавливала бы связи между политическими институтами и ростом, ни надёжных эмпирических доказательств существования таких связей»<sup>83</sup>. Классик современной либеральной теории Мансур Олсон (1932–1998) свидетельствует, что уже к концу 1930-х все экономисты были согласны с тем, что в деле обеспечения *экономического роста и борьбы за эффективность* «система *laissez faire* не в состоянии эффективно справляться с побочными эффектами и общественными благами... Считалось, что эти блага в общем случае не будут производиться в достаточном количестве, кроме как с помощью принудительных налоговых платежей или какого-либо другого механизма принуждения»<sup>84</sup>.

Вождь немецкой социал-демократии и марксизма начала XX века Карл Каутский писал в связи с новым лицом британского империализма в Южной Африке и интеллектуальными новациями либерализма так:

«империализм... наряду с социализмом, вырос на развалинах манчестерства и борется в настоящее время с социализмом за господство над умами английского пролетариата. В то время, как Англия теряла своё промышленное превосходство, она и со всемирного рынка всё более и более

<sup>81</sup> 29 млн — в 1861-м, 41 млн — в 1900-м году.

<sup>82</sup> Грегори Кларк. Прощай, нищета! Краткая экономическая история мира [2007] / Пер. Н. Эдельмана. М., 2012. С. 343, 340.

<sup>83</sup> Элханан Хелпман. Загадка экономического роста [2004] / Пер. А. Калинина. М., 2012. С. 212.

<sup>84</sup> Мансур Олсон. Власть и процветание: Перерастая коммунистические и капиталистические диктатуры [1998] / Пер. с англ. Б. Пинскера. М., 2012. С. 77.

вытеснялась при помощи покровительственных пошлин и колониальной политики своих конкурентов. Система свободной торговли (не только беспошлинного ввоза товаров, но даже и манчестерства, принципа *laissez faire*) сделалась несостоятельной. С пролетарской точки зрения, это крушение означало переход к социализму...»<sup>85</sup>

Эта переходная природа империализма была очевидна не только с узко пролетарской, но и с широкой социалистической и либеральной (становящейся преобладающе социал-либеральной) точек зрения. В эмиграции, чьи впечатления о рубеже XIX и XX веков ещё не полностью были стёрты катастрофами, русский либерал, юрист-международник С. А. Корф напоминал, что поглощение США в 1890-е гг. остатков Испанской колониальной империи на Кубе и Филиппинах стало началом империализма как нового фактора современности: «чрезвычайно большой важности следствие испанской войны 1898 г. — зарождение американского империализма и вхождение Штатов впервые в круг мировой политики, от коей они прежде старательно отстранялись и ограждались»<sup>86</sup>. Империализм как новое издание колониализма теперь диктовал новые репрессивные перспективы великих держав в их мировой конкуренции. В отличие от прежней страшной, истребительной судьбы Ирландии первой половины XIX века под британским владычеством, жестокость которой ещё можно было риторически отнести к уже преодолеваемому наследию прошлого, нынешняя, начала XX века, актуальная судьба побеждённых англичанами буров в колониальной войне 1899–1902 гг., британская практика выжженной земли и концентрационных лагерей для бурских военнопленных и гражданских лиц, женщин и детей, не могла не примеряться в России к судьбе самой России в её противоборстве со старыми капиталистическими державами. Более того: известен и факт прямого экспорта британской практики концлагерей на территорию России — англо-французские интервенты в 1918 г. создали на острове Мудьюг концлагерь для политических заключённых (представителей большевистских властей),

<sup>85</sup> *Карл Каутский*. Война в Южной Африке [1902] // Карл Каутский. Очередные проблемы международного социализма. Сб. ст. СПб., 1906. С. 307.

<sup>86</sup> *С. А. Корф*. Федерализм и централизация в современной Америке // Современные Записки: Репринтное издание / Под ред. М. Н. Виролайнен, С. В. Куликова. СПб., 2010 (№1 Париж, 1920). С. 217.

в 1919 г. они передали его Временному правительству Северной области, через тюрьмы и лагеря которого с августа 1918 по февраль 1920 гг. прошли более 50 000 человек<sup>87</sup>.

Трудно сказать, насколько точно это было известно в России русским революционерам, но неутешительная, колониальная социально-экономическая перспектива России в «международном разделении труда» никогда не опровергалась отцами политического коммунизма. Карл Маркс так писал о таком «международном разделении труда» русскому П. В. Анненкову ещё 28 декабря 1846 г.:

*«Свобода и рабство образуют антагонизм. Мне нет нужды говорить ни о хороших, ни о дурных сторонах свободы. Что касается рабства, нечего говорить о его дурных сторонах. Единственно, что надо объяснить, — это хорошую сторону рабства. Речь идёт не о косвенном рабстве, не о рабстве пролетария. Речь идёт о прямом рабстве, о рабстве чернокожих в Суринаме, в Бразилии, в южных областях Северной Америки. Прямое рабство является такой же основой нашей современной промышленности, как машины, кредит и т.д. Без рабства нет хлопка, без хлопка нет современной промышленности. Рабство придало ценность колониям, колонии создали мировую торговлю, а мировая торговля — необходимое условие крупной машинной промышленности. До установления торговли неграми колонии давали Старому свету очень мало продуктов и не изменяли сколько-нибудь заметно лицо мира. Таким образом, рабство — это экономическая категория огромного значения. Без рабства Северная Америка самая прогрессивная страна — превратилась бы в страну патриархальную. Сотрите только Северную Америку с карты мира, и вы получите анархию, полный упадок торговли и современной цивилизации. Но уничтожение рабства означало бы, что Америка стирается с карты мира»<sup>88</sup>.*

Альтернативой «стиранию с карты» для промышленных держав была крайняя эксплуатация окраин промышленного мира, для которых современные технологии становились, прежде всего, технологи-

<sup>87</sup> А. Л. Кубасов. Концентрационные лагеря на Севере России во время Гражданской войны // Новый исторический вестник / Гл. ред. С. В. Карпенко. М., 2009. № 2 (20). С. 58–59.

<sup>88</sup> Переписка К. Маркса и Ф. Энгельса с русскими политическими деятелями / Под общ. ред. П. Н. Поспелова. М., 1951. С. 16–17.

ями войны и массовых убийств. Ярчайшим примером такого милитаристского геноцида стала Парагвайская война поддержанных Англией Бразилии, Аргентины и Уругвая против Парагвая (1864–1870), тогда же описанной аргентинским политиком и мыслителем Хуаном Баутиста Альберди (1810–1884): «В результате этой войны Парагвай оказался полностью разгромленным, от его прежней территории остались буквально клочки. От парагвайского населения, насчитывавшего в начале войны около 1 337 тысяч человек, после заключения мира осталось всего 220 тысяч человек, из них мужчин — около 29 тысяч. Война велась с беспрецедентной жестокостью. В плен не сдавались, но и пленных не брали»<sup>89</sup>. Примечательно, что Х. Б. Альберди в своём трактате сосредоточился не только на «политической экономии войны», но и, может быть, впервые — на войне информационной и психологической: «Кроме того, существует полицейская война, война шпионажа и доносов, война интриг и тайной инквизиции, подпольного и негласного преследования, где используется многочисленная армия замаскированных солдат обоего пола, любого положения и любой национальности, которая причиняет больше ущерба противной воюющей стране, чем пушечная картечь, и которая стоит больше денег, чем вся армия страны... Кроме того, ведётся война по деморализации, разъединению, расчленению, разложению общества противной воюющей страны, что обрекает на загнивание остающиеся в живых поколения...»<sup>90</sup>.

Такой ландшафт исторически *вторичной, подчинённой, зависимой, извне эксплуатируемой, угрожаемой* судьбы России ради прогресса в «мире Британии», мире промышленности и колониализма, как минимум, исподволь осознавался русскими. Это осознание хорошо видно в логике морального отвержения ими аналогии между Россией и британским владычеством в Индии — и в поиске желательной аналогии с Америкой (США). Отцы коммунизма в целом поддерживали обсуждение этих аналогий, даже отвергая их прямолинейность<sup>91</sup>.

<sup>89</sup> С. А. Гонионский. Предисловие // Х. Б. Альберди. Преступление войны [1870] / Под ред. С. А. Гонионского. М., 1960. С. 6–7.

<sup>90</sup> Х. Б. Альберди. Преступление войны. С. 96, 103–104.

<sup>91</sup> См. о Британской Индии (особенно голоде там): К. Маркс. Письмо к Н. Ф. Даниельсону от 19 февраля 1881; Ф. Энгельс. Письмо к Н. Ф. Даниельсону от 18 июня 1892; см. об Америке (особенно протекционизме): К. Маркс. Письмо к Н. Ф. Даниельсону от 10 апреля 1879; Ф. Энгельс. Письмо к Н. Ф. Даниельсону от 29–

А старое русское народничество публично примеряло к себе даже отрицательные образцы передовой Англии<sup>92</sup>, но именно для того, чтобы оставаться вместе с ней в едином, общем потоке прогресса, а не на его периферии. При этом общественно-экономическая реальность Америки и Германии, которая многогранно проявлялась в тени риторических формул о прогрессивной «свободе торговли» Британии, не сводилась к простой конкуренции политических образцов, а на деле была яркой картиной подлинного индустриализма с его жёстким социальным контролем и промышленным рабством, где бы этот индустриализм ни развивался: в Америке, Германии или Британии.

Именно на плечах этого *тотального индустриализма* вырастала перспектива *активного государства*, которое уже претендовало на целостную *биополитику*, отказываясь от узкой роли прежнего государства, которое лишь расчищало для капитализма *социальную пустыню*, готовя ему пролетариат, обрекая на физическую смерть всё для него лишнее (в первоначальном накоплении и колониях). Позднейший историк так описывал германский взгляд на XIX век: «Наиболее важным немецким новшеством было введение хорошо продуманного, сознательного управления процессом индустриализации. Это управление осуществлялось по трём различным направлениям, которые можно обозначить следующим образом: 1) техническое; 2) финансовое; 3) воспитание нового человека. 1. В сфере техники немцы ввели изобретательство в организационные рамки, сделав его структурированным, предсказуемым, повседневным (...) Несколько немецких корпораций институировали технические изобретения путём установления надёжной связи между академической наукой и обычным фабричным производством. Вознаграждением стало мировое лидерство немецкой химической и электротехнической промышленности. 2. В финансовой области немецкое правительство установило

---

31 октября 1891 (Переписка К. Маркса и Ф. Энгельса с русскими политическими деятелями. С. 112, 104, 146).

<sup>92</sup> Самый яркий пример этого — знаменитая книга В. В. Берви-Флеровского «Положение рабочего класса в России» (1869), по общему замыслу своему ставшая откликом на «Положение рабочего класса в Англии» (1845) Энгельса. Единство этого замысла хорошо почувствовал и Маркс после того, как (тоже понимая аллюзии) её подарил ему один из самых первых русских экономистов-марксистов Н. Ф. Даниельсон (Николай -он): Переписка К. Маркса и Ф. Энгельса с русскими политическими деятелями. С. 70 (30 сентября 1869).

зону продуманного управления, ограничения и контроля над рынком, который, как считалось, направлялся решениями британских промышленников»<sup>93</sup>. Русский социал-демократ живо вспоминал, как быстро сошла риторическая пелена с обликов образцовых западных культур, как только началась мировая война 1914 года:

«Как только раздались первые выстрелы на бельгийской и русской границах, так сейчас же все воюющие государства во главе с Англией — этой колыбелью демократизма — отменили и приостановили целый ряд правовых гарантий. Была стеснена свобода передвижений, введена цензура, запрещена свобода слова, печати, союзов, удесятерились преследования против представителей интернационального социализма. С дальнейшим ходом войны повсюду были отменены многие законы, ограждавшие (хотя и недостаточно) интересы рабочего класса, происходила быстрая и повсеместная милитаризация труда, а теперь мы видим повсеместное его закрепощение государству. Страны, никогда не знавшие постоянной воинской повинности, в течение нескольких месяцев проводили полную реорганизацию своих армий. Если отмена и приостановление этих правовых гарантий в начале войны проводилась случайно, то теперь в этом сказывается строгая и неуклонная система»<sup>94</sup>.

В этом превращении (если оно на самом деле было неожиданным превращением) хороша видна железная система индустриализма, которой не требуется усилий для превращения своего имперского пафоса в милитаризм. Исследователь европейской (в том числе русской) дискуссии о растущей военной угрозе, пожирающей ресурсы цивилизации, и сопутствующей ей дискуссии о «жёлтой угрозе» для всей европейской цивилизации, исходящей от Китая и Японии, верно отмечает, что в осмыслении опыта и угроз войны особая роль принадлежала известному марксисту-востоковеду, члену коллегии сталинского наркомата РСФСР по делам национальностей М. Павловичу (М. Л. Вельтману, 1871–1927), который начал свой творческий путь с детального анализа общественного смысла военных итогов колониальной англо-бурской войны, проповедуя, как и все социалисты, всеобщее ми-

<sup>93</sup> Уильям Мак-Нил. Восхождение Запада. История человеческого сообщества. С. 947–948.

<sup>94</sup> А. Ломов. От парламента к диктатуре // Спартак. № 3. 25 июня 1917. М., 1917. С. 7.

лиционное вооружение народа, противостоящего профессиональной армии (колонизаторов)<sup>95</sup>. Англо-бурская война, прославившая в своём времени образцы концлагерей, партизанской войны «вооружённого народа» и «войны на уничтожение» и вообще современной войны<sup>96</sup>, однако, исторически следовала после кубинской и тихоокеанских войн Соединённых Штатов. Русский военный разведчик на англо-бурской и русско-японской войне отмечал принципиальное значение американских усилий по формированию новой ситуации на Дальнем Востоке: «С помощью всё время поддерживавшихся ими кубинских и филиппинских революционеров американцы овладевают Кубой, Гуамом и Филиппинами и, таким образом, в несколько скачков оказываются в самом центре великой восточной арены»<sup>97</sup>. О прецедентном характере их методов войны современные исследователи обычаев войны и биополитики<sup>98</sup> говорят не часто.

Хотя они вряд ли были случайными в контексте современной северо-американской истории, в которой во время войны Севера и Юга в 1864 году южанами был создан знаменитый лагерь для военнопленных северян, где из числа пленных в 45 000–52 000 человек умерло 13 000. А общее число пленных этой гражданской войны достигло вполне индустриальных масштабов: на Севере 216 000 южан (умерло 26 000), на Юге — 194 000 северян (умерло 30 000). Такое число во-

<sup>95</sup> Г. Обатнин. Три эпизода из предыстории холодной войны // Европа в России: Сб. ст. / Под ред. П. Пессонена, Г. Обатнина и Т. Хутунена. М., 2010. С. 238–274, особенно 255–256.

<sup>96</sup> Британский стратег впоследствии писал об этом: «Взгляды главного командования армии [Великобритании] на масштабы войны, стратегию и тактику в то время в значительной степени основывались на опыте Англо-бурской войны» (Э. Дж. Кингстон-Макклори. Руководство войной. Анализ роли политического руководства и высшего военного командования [1955]. С. 300).

<sup>97</sup> А. Е. Вандам. Наше положение [1912] // А. Е. Вандам (Едрихин). Наше положение / [Сост. В. В. Рыбин]. СПб., 2009. С. 67.

<sup>98</sup> Сводную формулу *биополитики*, как её исследовательски широко применил к истории Запада Мишель Фуко и развили более всего левые мыслители, применил к своей науке и историк искусства, говоря о «биополитике как о зоне, в которой сегодня манифестируются политическая воля и способность технологии изменять формы живых существ» (Борис Гройс. Искусство в эпоху биополитики [2002] // Борис Гройс. Политика поэтики. М., 2012. С. 130–131). Очерк истории естественно-научного применения понятия см.: А. В. Олескин. Биополитика. Политический потенциал современной биологии: философские, политологические и практические аспекты. 2 изд., доп. М., 2007. С. 34 и далее.

еннопленных внутри в итоге единой страны нельзя не признать лабораторией массового содержания и использования массового принуждения, дополнительного к рабству и расовой сегрегации в САСШ<sup>99</sup>. Исторически одновременной лабораторией массового военного террора в отношении местного населения внутри страны можно счесть Польское восстание 1863 г.<sup>100</sup>, пользовавшееся широкой поддержкой западных великих держав и либерально-социалистического общественного мнения Европы. Тем временем на Филиппинах подавление сопротивления местного населения Соединёнными Штатами в 1898–1901 гг. выглядело так: американский генерал Д. Смит «применял те самые методы “концентрации” (насильственное переселение жителей в прибрежные пункты), которые в своё время практиковались испанцами на Кубе и являлись в 1897–1898 гг.<sup>101</sup> объектом столь резкой

<sup>99</sup> См. также: On the Road to the Total War: the American Civil War and the German Wars of Unification, 1861–1871 / Ed. Stig Förster and Jörg Nagler. N. Y., 1997; Carroll Pete Kakel. The American West and the Nazi East: A Comparative and Interpretive Perspective. L., 2013.

<sup>100</sup> См. об этом специально: *диакон Гордей Щеглов. Жертвы польского восстания 1863–1864 годов* // Русский Сборник: Исследования по истории России. Т. XV: Польское восстание 1863 года. М., 2013.

<sup>101</sup> Преобладающая историографическая традиция возводит прецедент и историю понятия «концентрационных лагерей» к карательной практике испанцев на Кубе в 1896 году (анекдотические изыски о том, что их и само их имя придумали большевики в 1918 году или даже Сталин позже, можно игнорировать). При подавлении восстания на Кубе в 1895–1896 гг. против испанской колониальной администрации испанцы уничтожили до трети населения Кубы (В. О. Печатнов, А. С. Манькин. История внешней политики США. М., 2012. С. 91–95). Жертвами испанских концлагерей на Кубе этого времени стали 100 000 человек, жертвами британских концлагерей для буров стали 30 000 из 110 000 в них заключённых (П. Холквист. Россия в эпоху насилия, 1905–1921 гг. [2003] // Опыт мировых войн в истории России. Сб. ст. / Редколл.: И. В. Нарский, др. Челябинск, 2007. С. 467). Но Дж. Агамбен убедительно возводит историю внесудебного и «профилактического» интернирования к прусскому закону о «защитном заключении» (Schutzhaft) 1851 года (и его предшественнику 1850 г.), распространённому почти на всю Германию в 1870 г. и массово применявшемуся во время Первой мировой войны (Джорджо Агамбен. Что такое лагерь? [1994] // Джорджо Агамбен. Средства без цели. Заметки о политике / Пер. Э. Саттарова. М., 2015. С. 43–45). Г. Милорадович убедительно возводит историю «концентрационных лагерей» к практике колониальных резерваций: Горан Милорадович. Карантин идей: Лагерь для изоляции «подозрительных лиц» в Королевстве сербов, хорватов и словенцев в 1919–1922 гг. [2004] / Пер. М., 2010. С. 46–49. Тем не менее новейший исследователь гитлеровских концлагерей, зная об их колониальных и военных исторических прецедентах и,

критики в американском Конгрессе. Их отмена была одним из центральных требований к испанскому правительству со стороны США перед началом испано-американской войны... Смит не только по примеру испанцев предписал обитателям внутренних районов острова (Самар. — М. К.) переселиться в прибрежные барио, — он предавал казни всех, кто не выполнял его распоряжения». Один из представителей гражданской администрации США на Филиппинах сообщил, что методом действий войск США было «полное сжигание поселений, чтобы опустошить районы и чтобы инсургенты не могли их занять». «Мы сожгли все их дома; я не знаю, сколько мужчин, женщин и детей убили ребята из Тенесси. Они не брали пленных», — рассказывал американец. По итогам американо-филиппинской войны «на одного пленного приходилось пять убитых»<sup>102</sup>. Русский либеральный предприниматель вспоминал через десятилетие после англо-бурской войны в едином контексте:

«Война обнаруживает стремление сделать более жестокой, так как прежде для полной победы было достаточно сломить одну лишь армию, а теперь нужно ослабить и самый народ. Вспомним поведение англичан во время Бурской войны, когда они занимались систематическим измором жён и детей неприятеля в концентрационных лагерях; жестокость американцев на Филиппинах, где генерал Смит отдал приказ об избииении на острове Самар всех туземцев старше десятилетнего возраста; утопление русскими в Амуре близ Благовещенска нескольких тысяч китайцев, в числе коих были старики, женщины и дети!!»<sup>103</sup>

Ещё в 1916 году видный русский марксист А. А. Богданов внятно прогнозировал мировой и всеобщий масштаб новой войны, которая последует после ещё идущей: «Какие задачи ставила война перед во-

---

как минимум, «сотнях тысяч» жертв в них, прямо отвергает их преемственность с ними, идеологически утверждая их наибольшую близость со сталинскими лагерями: *Николаус Вахсман*. История нацистских концлагерей [2015] / Пер. А. А. Уткина. М., 2017. С. 11–12.

<sup>102</sup> А. А. Губер. Филиппинская республика 1898 г. и американский империализм. М., 1948. С. 403, 406–407.

<sup>103</sup> [В. П. Рябушинский]. Миросозерцание народа и дух армии // Великая Россия. Сборник статей по военным и общественным вопросам. Кн. I / Ред.-изд. В. П. Рябушинский. [М., 1911]. С. 17.

влечёнными в неё коллективами? Задачи организации и дезорганизации в их неразрывной связи... В каком масштабе ставила их война? В масштабе универсальном...»<sup>104</sup>. В развитие опыта войны, М. Павлович уже в советское время писал:

«Военная индустрия сделалась фактором огромной важности во внутренней и внешней жизни государств. Милитаризм... превратился в самоцель... Первым естественным результатом мировой войны будет такое усиление милитаризма и империализма, какого не знали даже предшествующие десятилетия... Следовательно, не разоружение военное, а ещё более бешеная горячка вооружений, не отказ от военных кредитов у себя дома, а усиленная милитаризация бюджета, не содействие торжеству пафистских идей в других государствах, а, наоборот, небывало интенсивная погоня за внешними рынками для сбыта отечественных пушек, пулемётов и т. д., вытекающее отсюда стремление всех первоклассных и передовых в промышленном отношении государств к перевооружению с ног до головы даже таких стран, с которыми, может быть, завтра придётся вести войну, — таковы намечающиеся тенденции ближайшего последствия страшного катаклизма, покрывшего всю Европу горами трупов и развалин... Ныне во всём мире, в экономической конъюнктуре и международном положении великих империалистических держав действуют факторы, рождающие войну, факторы более могущественные, чем те, которые вызвали страшную бойню 1914–1918 гг. Ныне для мировой войны больше причин, чем было накануне 1914 года». Причины: нарушения экономического, политического и военного равновесия в Европе: экономическая борьба между государствами, балканизация Европы, обострение национального движения, «необычайный рост милитаризма и маринизма».

Автор особенно подчёркивал объективный характер внешних угроз, исходящих от великих держав непосредственно и косвенно, через содействие лимитрофов: «В результате мировой войны ни одна великая держава не считает себя “насыщенной”. Империалистическое государство всегда находится в стадии расширения. От этого расширения своей территории не желают отказаться ни Япония, которая

<sup>104</sup> Цит. по: В. В. Балановский. Александр Богданов: от критики науки к практике жизни // Соловьёвские исследования. Вып. 3 (35). Иваново, 2012. С. 173.

выдвигала доктрину неуклонного расширения, ни С. Штаты, ни Англия, ни тем более Франция, ни Польша, ни Италия, ни Юго-Славия, ни Греция, ни даже Румыния. Угрозы для СССР от великих держав, Англии и Франции, через действия Польши, Румынии, Латвии, Финляндии, в Средней Азии и Персии... Кроме С. Штатов, нет другой страны, за исключением Советской России, которая обладала бы такими безграничными естественными богатствами. Россия — единственная страна на европейском континенте, имеющая в своём распоряжении все основные элементы производства, без которых ни одна страна не в состоянии собственными силами обеспечить своё существование. Мы имеем хлеб, мы имеем уголь, имеем железо, имеем хлопок и вдобавок богаты нефтью, многочисленные источники которой у нас ещё не затронуты...»<sup>105</sup>.

<sup>105</sup> М. П. Павлович. Мировая война 1914–1918 гг. и грядущие войны [1917–1918, 1923]. Изд. 2-е. М., 2012. С. 12, 121–122, 245, 251, 279, 337. О предметном опыте мобилизации производства, экономики за рубежом, в первую очередь — в передовых индустриальных странах, о масштабных и принципиальных задачах такового в СССР вообще много писалось и переводилось в СССР в межвоенные годы, что становилось доминирующим фоном общеполитической и общенациональной идеологической подготовки к будущей тотальной войне. См.: С. Н. Прокопович. Война и народное хозяйство. М., 1918; Б. Серфини. Размышления о военном искусстве. Л., 1924; А. Дике. Война и народное хозяйство по опыту Германии в первую мировую войну. М., 1926; П. Каратыгин. Общие основы мобилизации промышленности. М., 1926; Н. А. Данилов. Экономика и подготовка к войне. М.; Л., 1926; Е. Святловский. Экономика войны. М., 1926; А. Вольпе. Современная война и роль экономической подготовки. М., 1926; С. Вишнев. Мобилизация промышленности в Северно-Американских Соединённых Штатах. М., 1927; Будущая война. М., 1928; П. Шаров. Влияние экономики на исход мировой войны 1914–1918. М.; Л., 1928; Я. М. Букштан. Военно-хозяйственная политика: Формы и органы регулирования народного хозяйства за время Мировой войны 1914–1918. М.; Л., 1929; Б. М. Фельдман. К характеристике новых тенденций в военном деле. М., 1931; Р. Маретта. Какой будет завтрашняя война? М., 1934; А. К. Пигу. Политическая экономия войны. Л., 1934; А. Гастев. Мобилизация производства на военные и предвоенные годы. М., 1937; Г. С. Иссерсон. Новые формы борьбы. М., 1940. См. также об этом: П. А. Белов. Вопросы экономики в современной войне. М., 1951. Из новейших российских исследований см.: А. А. Ялбулганов. «Готовность к войне стоит... дорого» // Военно-исторический журнал. М., 1999. № 5; «Тотальная война будущего не должна застать Германию врасплох...» / Публ. И. Н. Шерстнева // Военно-исторический журнал. М., 2001. № 6; М. М. Минц. Представления военно-политического руководства СССР о будущей войне с Германией.... // Вопросы истории. М., 2007. № 7; А. В. Голубев. «Россия может полагаться лишь на саму себя»: представления о будущей войне в советском обществе 1930-х гг. // Отечественная история. М., 2008. № 5; Юрген

Генерал-полковник, первый генерал-квартирмейстер Германской империи, «главнокомандующий Востоком» — Восточным фронтом и восточной политикой Германской империи во время Первой мировой войны Эрих Людендорф (1865–1937) подводил немедленные итоги Первой мировой войне в категориях, которые любым внешним наблюдателем должны были быть восприняты как прямое руководство к действию: «В этой войне уже нельзя было отличить, где начиналась мощь армии и флота и где кончалась мощь народа. И вооружённые силы и народ составляли единое целое. Мир увидел войну народов в буквальном смысле этого слова. (...) Война возлагала на нас обязанность собрать и использовать все силы до последнего человека. Будут ли они брошены в сражения или пойдут на работы в тылу, понадобятся ли они для военной промышленности или для какой-нибудь другой работы в запасных частях или в государстве — это являлось безразличным»<sup>106</sup>. Вовсе не случайно, что финальный военный труд Э. Людендорфа «Тотальная война» (1935) о всеобщих правилах новой войны по времени совпал с интенсивным публицистическим рождением терминов *тоталитарность* и *тоталитаризм*, которые употреблявшие их критики коммунизма и нацизма стыдливо отграничивали от практики «демократий» и, главное, **тотальности западного колониально-милитаристского индустриализма и империализма**<sup>107</sup>.

Э. Людендорфу по-своему вторил его противник в войне — другой внимательный практик высшего политического уровня:

---

*Брауэр и Хуберт ван Туйль.* Замки, битвы и бомбы. Как экономика объясняет военную историю [2008] / Пер. М. Рудакова. М., 2016.

<sup>106</sup> Э. Людендорф. Мои воспоминания о войне 1914–1918 гг. [1919] / Пер. под ред. А. Свечина. Т. 1. М., 1923. С. 7, 262. Тем не менее, в отличие от вынесенной из опыта Первой мировой устаревшей доктрины тотальной войны как «войны на истощение» у противников Гитлера, — в начале Второй мировой тотальная война Гитлером понималась как, прежде всего, «молниеносная» война «на сокращение» (Начальный период войны. (По опыту первых кампаний и операций Второй мировой войны) / Под общ. ред. С. П. Иванова. М., 1974. С. 50–51, 54).

<sup>107</sup> Здесь понятие «тотальной войны» и «тоталитаризма» теряет научно, а не риторически, определённые границы. Например, уже Гражданскую войну в России иной раз называют «тотальной». Она затронула буквально все слои населения, привела к тотальной милитаризации экономики и всех сторон общественной жизни» (Ю. А. Поляков. Историческая наука: люди и проблемы. Кн. 3. М., 2009. С. 44).

«очень многое изменилось: вместо того, чтобы обрекать на голод отдельные укрепленные города, подвергшиеся осаде, теперь целые нации методически подвергались или их старались подвергнуть осаде и голоду. Всё население страны в том или ином количестве принимало участие в войне; все одинаково являлись объектом нападения. По воздуху открылись новые пути, по которым люди несли смерть и ужас далеко за линию фронта, в тыл, среди женщин, детей, стариков и больных, среди всех тех, кто раньше остался бы нетронутым. Великолепная организация железнодорожного, морского, моторного транспорта позволяла использование десятков миллионов людей на войне. Врачебное дело и санитария, достигшие изумительного совершенства, позволяли вылечивать раненых и отправлять их вновь на бойню. Ничего не было упущено из того, что могло бы способствовать страшному процессу опустошения!.. Установлено, что отныне всё население страны будет принимать участие в войне, и в свою очередь всё население будет служить мишенью для нападения со стороны неприятеля. Установлено, что нациям, считающим, что их жизнь поставлена на карту, не может быть поставлено никаких ограничений в использовании всех возможных средств для того, чтобы обеспечить свое спасение. Вероятно, даже более того — достоверно, что среди средств, какие будут в следующей войне в распоряжении воюющих, будут факторы и процессы неограниченного уничтожения, причем — раз они будут приведены в действие — ничто не сможет их остановить»<sup>108</sup>.

Ещё один стратег и практик высшего уровня, генерал, главнокомандующий польской армией В. Сикорский (1881–1943, премьер-министр Польши в 1921–1923, глава правительства Польши в изгнании в 1939–1943) не оставлял никаких вариантов в своём главном труде, подготовленном по итогам обучения в Высшей военной школе во Франции (после 1928):

«Будущая война будет всеобщей... Будущая война наций, в особенности в Европе, быстро превратится в новый, ещё более грозный, чем 20 лет тому назад, всемирный катаклизм. (...) Война 1914–1918 гг. ... приняла характер всеобщей, интегральной и длительной войны. Были вовлечены в игру все источники человеческих и материальных средств государства...

<sup>108</sup> У. Черчилль. Мировой кризис: 1918–1925. М., 2010. С. 311–312.

В результате опыта мировой войны современная система обороны государства принимает в расчёт все без исключения факторы силы. (...) Вполне логично, что страны с высоко развитой промышленностью придадут главное значение **материальной войне** (в польском оригинале: wojna materialowa. — М. К.) (...) Будущая война — будь она продолжительной или нет, всеобщей или местной — безусловно потребует интегральной мобилизации государства»<sup>109</sup>.

Идеологическая и практическая подготовка Польши — как ближайшего и серьёзного противника СССР<sup>110</sup> — к будущей войне заслуживает особого внимания для выяснения стратегических ориентиров самого СССР. Авторитетный историк отмечает реальную и весомую военно-политическую роль Польши как «санитарного кордона» между СССР и Германией, даже в контексте надежд на революцию в Германии: «анализ документов командования Красной армии позволяет утверждать, что каких-либо широкомасштабных военных приготовлений для поддержки революции в Германии в 1923 г., упоминания о которых характерны для историографии, в Советском Союзе не проводилось. Это было связано как с реальным состоянием советских вооружённых сил, так и с отсутствием сухопутной советско-германской границы». По его данным, 1923 г. при отсутствии вообще единого мнения в рядах Красной Армии о необходимости вмешательства в ожидаемую революцию в Германии, территориально отрезанной от СССР Польшей, «более или менее единым мнением было, что если Польша нападёт на Германию, то надо бить Польшу» (то есть стратегические угрозы весили больше политических революционных интересов, для которых военное поражение Германии толковалось как предреволюционная ситуация<sup>111</sup>.

<sup>109</sup> Ген. [Владислав] Сикорский. Будущая война [1934] / Пер. Я. А. Кротовской с предисл. М. Бобровского. М., 1936. С. 46–47, 74, 115–116 (оригинальное название: Przyszła wojna — jej możliwości i charakter oraz związane z nimi zagadnienia obrony kraju).

<sup>110</sup> Об этом, в частности: М. И. Мельтюхов. Положение на границах с Польшей и Румынией и планы Красной Армии (1921–1922 гг.) // Российская история. М., 2005. № 1.

<sup>111</sup> М. И. Мельтюхов. Красная Армия и несостоявшаяся революция в Германии (1923 г.). М., 2013. С. 152, 168.

Польская исследовательница свидетельствует, что именно в 1926 году (то есть в момент вооружённого государственного переворота и прихода Ю. Пилсудского к высшей власти в Польше в мае 1926 и военного переворота в Литве, приведшего к власти А. Сметону в декабре 1926) в этой стране началась активная политическая и общественная дискуссия о весьма популярной там теории «нации под ружьём»<sup>112</sup>, то есть полную подготовку к войне всей нации, всеобщей милитаризации населения. Она опиралась на опыт Первой мировой войны — как «войны на уничтожение» (польск.: wojna materialowa), утверждение единства военного, промышленного и общественного потенциала и определении военных угроз Польше со стороны тех стран, с кем она имела территориальные и политические конфликты: Германия, СССР, Литва. Польский военный теоретик Адам Коц уже в 1921 году выразил мнение большинства: «резервом войны стало всё общество целиком... Момент мобилизации должен сразу поставить в распоряжение государства всю нацию...». Ещё весной 1921 III Отдел Штаба Министерства обороны Польши подготовил план физической и идеологической подготовки всего населения к обороне страны, который включал в себя массовые военизированные организации женщин и специализированную военную подготовку молодёжи, использовал (если не предвосхищал) опыт военной и территориально-милиционной подготовки населения в СССР, Чехословакии, Румынии, Финляндии, Италии, Франции, Германии. «Будущая война будет неизбежно тотальной», писал польский военный теоретик Стефан Моссор. Историк Альфонс Водзиньски в книге «Нация под ружьём и воспитание» (*Naród pod bronią a wychowanie*, 1937) предупреждал: «В будущей войне мы увидим мобилизованными силы всей нации... война не отделяет ни воюющих от гражданского населения, ни мира от войны»<sup>113</sup>.

Британский стратег-исследователь совершенно точно определял прямую связь между тотальной войной новейшего времени и порож-

<sup>112</sup> Aneta Ignatowicz. Przygotowane obronne społeczeństwa w Polsce (1921–1939). Warszawa, 2010. S.41, 14. О теории см. специально: J. Kęsik. Naród pod bronią. Społeczeństwo polskie w programie polskiej polityki wojskowej 1918–1939. Wrocław, 1998.

<sup>113</sup> Aneta Ignatowicz. Przygotowane obronne społeczeństwa w Polsce. S. 16–18, 22–24, 28.

даемым ею стандартом ничем не ограниченного насилия по отношению к вражеским человеческим ресурсам в целом:

«Роль большой, или высшей, стратегии заключается в том, чтобы координировать и направлять все ресурсы страны или группы стран на достижение политической цели войны — цели, которая определяется большой, или государственной, политикой. Большая стратегия должна выявить и от мобилизовать экономические и людские ресурсы страны или группы стран, чтобы обеспечить действия вооружённых сил... Военная мощь является не только одним из средств большой стратегии, которая в целях ослабления воли противника к сопротивлению должна принимать во внимание и использовать всю силу и мощь финансового, дипломатического, коммерческого и не последнего по важности идеологического давления. (...) Изречение Клаузевица, что “введение... в философию войны принципа ограничения и умеренности представляет полнейший абсурд”...», привело к тому, что война стала «актом насилия, доведённого до крайней степени. Это заявление послужило основой для нелепейшей современной тотальной войны... Всеобщее признание теории неограниченной войны причинило большой вред цивилизации. Учение Клаузевица... оказало значительное влияние на причины и характер Первой мировой войны. Будет вполне логично сказать, что оно же привело и ко Второй мировой войне»<sup>114</sup>.

Советские военные историки с началом Второй мировой войны точно так же резюмировали выводы предвоенной военной мысли о сути военно-промышленной мобилизации царской России в той войне: «Отсталая и слабая российская промышленность не могла справиться с теми новыми ответственными задачами, которые поставила перед ней мировая империалистическая война... Россия была не в состоянии мобилизовать свою промышленность так быстро и в таких масштабах, как это сделали другие государства, имеющие мощную индустрию... Мировая война стёрла грань между “фронтом” и “тылом” в прежнем понимании этих слов... Развитие авиации уже в период мировой войны сделало уязвимыми жизненные центры страны, расположенные в глубоком тылу... Перенесение войны в глубь страны

<sup>114</sup> *Бэзил Лидделл Гарт. Стратегия не прямых действий [1941] / Пер. Б. Червякова, И. Козлова, С. Любимова. М.; Владимир, 2012. С. 455, 484–485.*

авиацией в сочетании с мобилизацией всех людских и материальных ресурсов на нужды фронта сделали явно устарелым прежнее понятие о «тыле» как о спокойном месте, надёжно ограждённом линией фронта от ударов врага»<sup>115</sup>.

Опираясь на исторический контекст и прецеденты и резко подстегнувшая сталинские индустриализацию и коллективизацию, «военная тревога» 1927 года и во внешнеполитическом контексте, и в интеллектуальной традиции очевидным образом связывалась с её предшественницей начала XX века и дублировала её «театр» в лице действующих лиц: Англии, Китая, Японии, антиколониальной борьбы. Маньчжурский инцидент 1931 года, с которого начался захват Маньчжурии Японией, в непосредственной близости от границ СССР, современный японский автор считает поворотным событием: по его мнению, именно этот инцидент «является начальным пунктом развития советской мобилизационной политики со стратегической точки зрения, имея в виду два фронта — на Западе [Германия и Польша] и Востоке [Япония]»<sup>116</sup>. Но здесь он полностью следует исторической концепции сталинского «Краткого курса истории ВКП(б)», в котором изложена эта схема, до сих пор, по сути, так и не преодоленная ни западной, ни отечественной историографией: в декабре 1925 года XIV съезд ВКП(б) берёт курс на индустриализацию («Индустриализация страны обеспечивала хозяйственную самостоятельность страны, укрепляя её обороноспособность...»); 1926 год — индустриализация осознана как задача создания тяжёлой промышленности, в том числе оборонной, средства для финансирования индустриализации «внутри страны» найдены в лице государственных инвестиций за счет централизованных доходов государства и труда крестьянства; поэтому XV съезд ВКП(б) в декабре 1927 берёт курс на ускоренную коллективизацию, пятилетний план на 1928–1933 гг. ставит задачу создания «второй угольной базы Советского Союза — Кузбасс». В конце 1931 года происходит оккупация Маньчжурии Японией, а в 1933-м — приход к власти в Германии Гитлера, что создаёт два центра будущей Второй

<sup>115</sup> Е. Болтин и Ю. Вебер. Очерки мировой войны 1914–1918 гг. М., 1940. С. 57, 144.

<sup>116</sup> Тэраяма Киосукэ. Советская мобилизационная политика на Дальнем Востоке в начале 1930-х гг. // Урал и Сибирь в сталинской политике. Сб. / Отв. ред. С. Папков, К. Тэраяма. Новосибирск, 2002. С. 122.

мировой войны<sup>117</sup>. Представляется, что и осознание русской мыслью Сибири как стратегического тыла для обоих главных театров военных действий — на Западе и на Востоке — стало результатом не самых остро актуальных внешнеполитических событий, а результатом исторической колонизации, предшествовавшей русско-японской войне 1904–1905 гг. Историк обращает внимание, что официальное выделение Дальнего Востока из Сибири стало фактом в конце XIX века<sup>118</sup>. И вскоре этот факт общественного понимания стал фактом фронта.

Но и это, тем не менее, были только лишь те причины, что можно отнести к непосредственному историческому и политическому опыту поколения, генезису его исторического сознания независимо от его доктринальных предпочтений. Более глубокие предпосылки и более широкая историческая реальность сталинизма видятся в комбинации факторов, существовавших независимо от личного опыта поколения и отдельных доктрин, практическую применимость и нелживость которых ещё требовалось доказать. Они целиком располагались не в личной судьбе, а в **континууме** технико-экономической реальности, **социальном** опыте совокупности преемственных и противоборствующих поколений, **консенсусе** государственной мысли. Среди этих факторов представляются важнейшими следующие события на Западе и в России XVIII–XX вв:

- (1) капиталистическая индустриализация, опыт милитаризации как социально-экономической мобилизации общества;
- (2) военно-экономический опыт Первой мировой войны, тотальной «войны на уничтожение»;
- (3) индустриальная «политика населения» (биополитика);
- (4) традиционная для русской государственной мысли задача углубления стратегической безопасности России — создания «второго индустриального центра» в Сибири;
- (5) мировая практика соединения репрессий и мобилизации принудительного труда.

<sup>117</sup> История Всесоюзной коммунистической партии (большевиков): Краткий курс / Под ред. Комиссии ВКП (б). Одобрен ЦК ВКП (б). 1938 год. М., 1950. С. 264, 267–269, 274, 284.

<sup>118</sup> Н. И. Никитин. Русская колонизация с древнейших времён до начала XX века (исторический обзор). М., 2010. С. 142.

(1) Капиталистическая **индустриализация** Запада и России XVIII–XIX и начала XX вв. нашла своё выражение в **милитаризации** общества (всеобщая воинская повинность), коммуникаций (железные дороги и флот) и экономики (тяжёлая промышленность), мобилизации национальных и мировых (колониальных) рынков, природных ресурсов и труда, попытках тотального контроля, планирования и концентрации труда, социальной революции «первоначального накопления капитала», активной социальной политики государства. Несмотря на то, что царской России (в силу отсталости) удалось избежать присущего Западу милитаризма<sup>119</sup>, тотальность индустриализации также угрожала ей тотализацией общественных отношений, в которых огромное крестьянское большинство, разоряясь, становится огромным пролетарским большинством. И глубокий социальный переворот, равный полноценной социальной революции, катастрофически отягощённый двумя мировыми войнами, происходит в стране на протяжении жизни буквально 2–3 поколений — в 1880–1940-е годы. Глубоко продуманное и детально исследованное во всеоружии современных гуманитарных методов понимание общей истории Европы даёт в распоряжение исследователей сталинизма современная наука о европейском контексте русской революции и коммунизма. Говоря об очевидных корнях революции в мировой войне, исследователь полагает:

«Россию не следует рассматривать в отрыве от остальной Европы. Наоборот, в связи с тем, что динамичная связь между общенациональной мобилизацией и тотальной войной считается “транснациональным или наднациональным явлением”... гражданскую войну в России можно рассматривать только как самый законченный образец наиболее протяжённой “европейской гражданской войны”, охватывающий и Великую войну, и значительное время после неё». Тем не менее — «мы упускаем из вида то, что «социальная организация насилия, сделавшая тотальную войну возможной, начала формироваться уже с конца девятнадцатого века». В частности, начало государственным методам тотальной войны и массового уничтожения людей положил колониализм... можно показать,

---

<sup>119</sup> Кристоф Гумб. Армия и общество: новые подходы к старой проблематике // Русский Сборник: Исследования по истории России. Т. XI. М., 2012. С. 184.

что «на самом деле не столько война или “милитаризация” организует общество, сколько само общество организует себя через войну и во имя войны... милитаризация порождается самим гражданским обществом, а не навязывается ему извне». Хотя государственное управление ресурсами (материальными, равно как и людскими) — один из ключевых компонентов тотальной войны, не менее важным фактором является и самомобилизация гражданского общества на достижение конечных целей тотальной войны... Действительно, тотальная война была тесно связана с усовершенствованием политики управления массами, что признавали и сами современники... девятнадцатый век отмечен неуклонным ростом сознательного интереса к «населению» как объекту государственной политики, выражением которого стала концепция «политики населения» (от немецкого *Bevölkerungspolitik*). Термин «политика населения» был впервые предложен камералистами, которые рассматривали население в качестве одного из видов экономических ресурсов. Однако в течение XIX века, с возникновением понятия «социальное» как сферы государственного вмешательства, «политика населения» стала иметь более широкое толкование...», само её становление было тесно связано с военной статистикой, изучавшей мобилизационные возможности населения. В России «до Первой мировой войны технология массового воздействия на население применялась в основном в районах колонизации и в приграничье (у черты оседлости)... отличительной чертой тотальной войны является не столько наличие принуждения как такового, сколько его размах и интенсивность — размах и интенсивность такой степени, которой невозможно достичь единственно за счёт усилий государства. Эта вселенская катастрофа характерна не только тем, что в её период многие люди пострадали от насилия, но и тем, что многие весьма охотно это насилие применяли — зачастую под влиянием каких-то более высоких идей. Именно эта самомобилизация общества на тотальную войну беспрецедентно расширила организационные возможности государства и способствовала революционной трансформации общества»<sup>120</sup>.

Процитированный выше и исторически «утопленный» в европейском контексте концепт интернациональной межклассовой

<sup>120</sup> П. Холквист. Российская катастрофа (1914–1921) в европейском контексте: тотальная мобилизация и «политика населения» // Россия и Первая мировая война / Отв. ред. Н. Н. Смирнов. СПб., 1999.

гражданской войны воспроизводится из сочинения Эрнста Нольте «Европейская гражданская война 1917–1945. Национал-социализм и большевизм» (1987)<sup>121</sup>. Оно изображает нацизм в качестве ответа на большевизм, исторически — как государственная практика — родившийся лишь в 1917–1918 гг., и потому, хотя бы ради культурной добросовестности, его следует действительно вернуть в общеевропейский контекст и общеевропейскую перспективу и в его немецком марксистском образце<sup>122</sup>, и в опыте Первой мировой войны. Схема Э. Нольте, в самой немецкой историографии подвергнутая жёсткой критике<sup>123</sup> и на самом деле родственная пропагандистским западным

<sup>121</sup> Эрнст Нольте. Европейская гражданская война (1917–1945). Национал-социализм и большевизм / Пер. под ред. С. Земляного. М., 2003.

<sup>122</sup> Апологет Ленина, похоже, именно специально для Нольте говорил, что Ленин был «изобретателем» того, что лежало в азбуке марксизма: «Ленин впервые выдвинул лозунг... который гласил: превратить войну империалистическую в войну гражданскую» (А. Деборин. Ленин как мыслитель. М., 1924. С. 74). См. также: «Грядущая революция будет в меньшей степени походить на внезапное возмущение против властей и в большей степени на продолжительную гражданскую войну, — если бы с этим последним не соединялось представление о настоящих войнах и побоищах» (К. Каутский. Социальная революция [1902]. М., 2012. С. 53). А также: «Весь стиль современных правительств... резко обострился, он весь проникнут атмосферой и “гипотезой” гражданской войны, войны против рабочего класса. Связь между военными силами, “гражданской” полицией и легальными (или полуполевыми) “общественными” контрреволюционными организациями установлена прочно, и границы между ними и методами их стёрты» (П. Лапинский. Кризис капитализма и социал-фашизм (Очерки о «третьем периоде»). М.; Л., 1930. С. 232. П. Л. Лапинский (1879–1937) — польский социалист-интернационалист, заведующий отделом политической информации полномочного представительства СССР в Германии). Царский полковник, одно время — главнокомандующий Вооружёнными силами РСФСР, советский военный теоретик И. И. Вацетис (1873–1938) предрекал в 1923 году: «Будущая война будет носить характер как бы классовой мировой войны, вызванной состязанием на чисто экономической почве. Следовательно, в своих достижениях будущая война будет представляема массами, как борьба за реальные классовые интересы. (...) Отсюда логически необходимо допустить, что как по своей жестокости, так и по колоссальности жертв будущая мировая война в весьма значительной степени превзойдёт только что закончившуюся великую мировую войну, а равно и нашу гражданскую, то есть она будет вестись на истребление тех или иных классовых элементов целых государств, ставя конечными результатами осуществление задач, очень близких к гражданской войне, то есть автоматически будут стремиться к однотипности общества» (И. Вацетис. О военной доктрине будущего. М., 1923. С. 51).

<sup>123</sup> Особенно положение Эрнста Нольте о том, что «марксизм так же, как и национал-социализм, берёт своё начало в утопиях уничтожения XIX в.,

«открытиям» того, что этнические чистки, концлагеря и принудительный труд придумали якобы только большевики и Сталин. А начинать следовало, если на то возникла партийная воля, с инспираций «Манифеста коммунистической партии» и «Гражданской войны во Франции» Маркса («Коммуна... будучи правительством рабочих, являлась интернациональной в полном смысле этого слова... Коммуна присоединила к Франции рабочих всего мира»). Но они, наверное, остались не известны Э. Нольте, не то бы он возвёл гитлеризм прямо к Карлу Марксу. Но в это неведение трудно поверить. Известный русский экономист, принципиальный и последовательный противник советского коммунизма А. Д. Билимович (1876–1963) писал в конце жизни в эмиграции, прозрачно обнаруживая антирусский ангажемент меньшевиков «Социалистического Вестника» на службе «холодной войны» Запада *против СССР как России*<sup>124</sup>, осознанно возводящих генетику и преемственность «Третьего Интернационала» к мифологии «Третье-

---

что к тому же имелась причинная взаимосвязь («причинный некус» в его определении) между ГУЛАГом и Аушвицем» (*Д. Байрау*. Страх и любопытство: Советский Союз в исторических исследованиях ФРГ в годы холодной войны (1950–1980) // Исторические записки. Вып. 14 (132) / Отв. ред. Е. И. Пивовар. М., 2012. С. 330). Итоги спора о национал-социализме как акте европейской гражданской войны в Германии были неутешительны: «Эрнст Нольте спровоцировал его своим развитием в книге “Европейская гражданская война” тезисом о том, что массовым убийствам национал-социалистами евреев предшествовали в каузальном смысле “явившиеся истоком” насильственные преступления большевиков... Сведением истории Мировой войны и революции к единственному мотиву — рождению насилия из большевистского образа мысли — автор проявил себя как недостойный доверия. Его книга была быстро забыта, но одновременно во многом она повинна в том, что термина “европейская гражданская война”, здесь подвергнутого небрежному сокращению и идеологически окрашенного, впоследствии избегали» (*Николаус Катцер*. Мировая война и гражданская война. Европейская перспектива // Россияне и немцы в эпоху катастроф: Память о войне и преодоление прошлого. Материалы конференции российских и немецких историков, Волгоград, 7–10 сентября 2010 г. / Сост. Й. Хелльбек. А. Ватлин, Л. П. Шмидт. М., 2012. С. 40).

<sup>124</sup> О роли меньшевиков в антисоветской пропаганде США после Второй мировой войны, включая формирование ЦРУ, я специально пишу в очерке о «русских корнях западной доктрины тоталитаризма», подготавливаемом к печати. См. один из недавно опубликованных архивных материалов по этой теме: Новая эмиграция, разведка США и «Социалистический Вестник»: письмо Р. А. Абрамовича (1955) / Публикация В. В. Янцена // Русский Сборник: Исследования по истории России. Т. XVI. М., 2014.

го Рима», чтобы искусственно отделить порождение русского коммунизма от его западных вдохновителей и западного контекста:

«Совершенно ошибочно возводить корни советского империализма и коммунистической агрессии к идее “третьего Рима” Московской Руси, как это делают Б. И. Николаевский, П. А. Берлин и Е. Юрьевский-Валентинов. Интересно, что марксисты видят корни коммунистического империализма и агрессии не в Коммунистическом Манифесте Маркса и Энгельса, к которому эти корни действительно восходят, а в невинном наставлении монаха XVI в., с которым они не имеют ничего общего»<sup>125</sup>.

Именно о всемирной (а не только европейской) гражданской войне писал Энгельс уже с высоты опыта всей своей жизни, провидчески рисуя будущую войну в категориях даже не Первой, а едва ли не Второй мировой войны, в которых всеобщее вооружение народа воюющими государствами имеет своим следствием глобальный коммунистический переворот:

«...для Пруссии — Германии невозможна уже теперь никакая иная война, кроме всемирной войны. И это была бы всемирная война невиданного раньше размера, невиданной силы. От восьми до десяти миллионов солдат будут душить друг друга и объедать при этом всю Европу до такой степени дочиства, как никогда ещё не объедали тучи саранчи. Опустошение, причиненное Тридцатилетней войной, — сжатое на протяжении трех-четырёх лет и распространённое на весь континент, голод, эпидемии, всеобщее одичание как войск, так и народных масс, вызванное острой нуждой, безнадёжная путаница нашего искусственного механизма в торговле, промышленности и кредите; всё это кончается всеобщим банкротством; крах старых государств и их рутинной государственной мудрости, — крах такой, что короны дюжинами валяются по мостовым и не находится никого, чтобы поднимать эти короны; абсолютная невозможность предусмотреть, как это всё кончится и кто выйдет победителем из борьбы; только один результат абсолютно несомненен: всеобщее истощение и создание условий для окончательной победы рабочего класса»<sup>126</sup>.

<sup>125</sup> А. Д. Билимович. Экономический строй освобождённой России [1960] // А. Д. Билимович. Труды / Сост. Э. Б. Корицкий, А. Л. Дмитриев. СПб., 2007. С. 470 (прим. 22).

<sup>126</sup> Ф. Энгельс. Введение к брошюре Боркхейма «На память ура-патриотам 1806–1807 годов» [1887] // К. Маркс, Ф. Энгельс. Сочинения. Т. 17. М., 1960. С. 361.

Неотъемлемой частью западного индустриального опыта и была собственно марксистская доктрина милитаризации труда, системы принудительного труда, подчинённой политическим и классовым целям, — в интересах ли целостного народного хозяйства, правящих классов или гражданской войны за освобождение пролетариата. Именно об этом писали молодые Маркс и Энгельс уже в первых подходах к коммунистической операционализации всеобщей мобилизации, порождённой Великой Французской революцией: «Всеобщее вооружение народа. В будущем армии должны быть одновременно и рабочими армиями, чтобы войско не только потребляло, как это было прежде, но и производило бы больше, чем составляют расходы на его содержание»<sup>127</sup>. Широкое распространение получили данные современной событиям социальной науки с описаниями принудительного труда на Западе: в исправительных колониях для нищих и бродяг в Бельгии и Голландии, рабочих домах, тюрьмах, земледельческих рабочих колониях исправительного типа в Англии и на континенте. Предвосхищая домыслы о том, что якобы именно индоктринированная марксизмом советская пенитенциарная практика изобрела заключение как «метод перевоспитания», историк ясно показывал, что именно британская практика социального призрения претендовала на то, что учреждения принудительного труда «представляют собою попытку создания здоровой нравственной и экономической опоры для исправления опустившихся людей»<sup>128</sup>.

Говоря о полицейских теориях передовых европейских стран, принятых в России начиная с Екатерины Великой, и опираясь в исследовании ландшафта этих теорий на труды Мишеля Фуко (1926–1984)<sup>129</sup>, исследователь политической социологии заключает, что ещё

<sup>127</sup> К. Маркс, Ф. Энгельс. Требования коммунистической партии в Германии [1848] // К. Маркс, Ф. Энгельс. Сочинения. Т. 5. М., 1956. С. 1.

<sup>128</sup> Дж. Гобсон. Проблемы безработицы [1896]. М., 2011. С. 118–120, 130. Личное воспоминание: в своём семинаре на историческом факультете МГУ медиевист С. Д. Червонов ещё в середине 1980-х прямо сравнивал британские работные дома, упоминаемые в «Капитале» Маркса, и ГУЛАГ. См. современный ресурс, специально посвящённый теме: [Peter Higginbotham] The Workhouse: The story of an institution: [www.workhouses.org.uk](http://www.workhouses.org.uk).

<sup>129</sup> Не будучи изобретателем самого термина, М. Фуко наполнил его богатым эвристическим содержанием. Фуко впервые выдвинул парные понятия био-

в индустриализирующейся Западной Европе, сначала идейно, а затем и на практике с конца XVII — XVIII века «первой заботой полиции становится количество людей, населяющих страну, обеспечение их первейших жизненных потребностей, здоровье (не в смысле борьбы с эпидемиями, а в смысле, как бы мы сейчас сказали, санитарно-гигиенических мер) и, наконец, обращение произведённых человеком благ... Что мы не сможем обойти, говоря об этом старом понимании полиции? Взаимосвязь узко понятого благополучия с широко понимаемой безопасностью, а также высшее попечение о нравственном здоровье — с принципами экономического процветания. Но было и ещё нечто важное. Гедонистический полицеизм был сводом практических дисциплин, предназначенных для прямого использования в политическом и хозяйственном управлении. (...) Полицейское государство как идея организации деятельности людей ради общего блага находится в сложной связи с прошлым и будущим. Так или иначе она сопрягается с заботой о физическом и нравственном здоровье, с противодействием разного рода порче и со своеобразным преломлением старого принципа справедливого и правильного порядка, при котором всё находится на своем месте. Но не только это. Полицейская идея изначально связана с широко понимаемой безопасностью, то есть именно с тем, чем и занимается полиция в последующие века. Но безопасности не может быть, когда дела экономические приводят к социальным размежеваниям и напряжениям. Социальное государство оказывает

---

власти / биополитики в 1976 году, чтобы «отразить «великое преобразование исторического в биологическое... при толковании социальной войны». Задача защиты общества, таким образом, присоединяется к традиции войны, ибо осмысливается в конце XIX в. как «внутренняя война» против опасностей, порождаемых самим общественным телом»: биополитика поэтому приоритетно основывается на принципах «общественной безопасности»: здесь безопасность понимается исключительно как внутренняя безопасность, полицейская безопасность от преступности, защита свобод, — т. е. все те факторы, которые начисто игнорирует либеральная «австрийская школа», подвергающая критике экономические функции государства. По мнению Фуко, «не нужно пытаться подогнать этот новый тип власти к традиционным категориям политического мышления или атаковать его с помощью аналитической решётки «фашизма» или «тоталитаризма»...» (*М. Сенельяр*. Контекст курса // Мишель Фуко. Безопасность, территория, население. Курс лекций, прочитанных в Коллеж де Франс в 1977–1978 учебном году. СПб., 2011. С. 483, 493). См.: *М. Фуко*. Рождение биополитики. Курс лекций 1978–1979 учебного года, прочитанных в Коллеж де Франс. СПб., 2010.

ся государством полицейского вмешательства в хозяйственные дела, да и не только в хозяйственные. В этом государстве появляется идея поставить природу на службу человеку, иначе говоря, не столько открывать и изобретать новое, сколько находить новые и новые способы извлечения богатства из существующего для наилучшего распределения благ. И, конечно, всё это сопровождается коррупцией, авантюрами — и, возможно, отнюдь не случайно развитием той самой полиции, которая постепенно, с годами, становится основным, а потом и единственным воплощением идеи полицейского государства»<sup>130</sup>.

**(2) Военно-экономический опыт Первой мировой войны (1914–1918)** стал опытом не только тотальной (интегральной) войны, вызревающей из военно-политической традиции Клаузевица, не только подтверждением марксистского убеждения и прогноза, например Энгельса и Каутского о том, что «войны нельзя вести без напряжения всех сил народа»<sup>131</sup>, — но и в большем масштабе реализованной во время войны нацистской Германии против СССР «войны на уничтожение»<sup>132</sup>, революционного технического перевооружения армий, практики

<sup>130</sup> Александр Филиппов. Полицейское государство и всеобщее благо. К истории одной идеологии // Отечественные записки. М., 2012. № 2 (47): [www.strana-oz.ru/2012/2/policeyskoe-gosudarstvo-i-vseobshchee-bлаго](http://www.strana-oz.ru/2012/2/policeyskoe-gosudarstvo-i-vseobshchee-bлаго).

<sup>131</sup> К. Каутский. Социальная революция [1902]. М., 2012. С. 56.

<sup>132</sup> О практике этой «войны на уничтожение» во Второй мировой войне см.: В. Ветте. Война на уничтожение: Вермахт и Холокост // Новая и новейшая история. М., 1999. № 3; Истребительная война на Востоке: Преступления вермахта в СССР, 1941–1945: Доклады. М., 2005; П. Полян. Сталин и жертвы национал-социалистической войны на уничтожение // Сталин и немцы: Новые исследования / Под ред. Ю. Царуски. М., 2009; Нацистская война на уничтожение на северо-западе СССР: региональный аспект. Материалы международной научной конференции (Псков, 10–11 декабря 2009 года) / Под ред. А. Р. Дюкова, О. Е. Орленко. М., 2010; С. В. Втулкин. Дж. П. Мигарджи. Война на уничтожение: боевые действия и геноцид на Восточном фронте, 1941 // Начало Великой Отечественной войны: современная историография. Сб. обзоров и рефератов / Отв. ред. М. М. Минц. М., 2011 (G. P. Megargee. War of Annihilation: Combat and the Genocide on the Eastern Front, 1941. Lanham (Maryland), 2006); М. М. Минц; Х. Хартман. Вермахт в войне на Востоке: фронт и тыл, 1941–1942 гг. // Там же (С. Hartmann. Wehrmacht im Ostkrieg: Front und militärisches Hinterland, 1941/42. München, 2009); П. Полян. Военно-полевой Холокост: советские военнопленные-евреи как первые жертвы геноцида // Л. Котляр. Воспоминания еврейско-красноармейца. М., 2011.

«выжженной земли»<sup>133</sup>, ликвидации различия фронта и тыла в войне и тотальной социально-экономической мобилизации, предопределил подготовку будущей мировой войны как ничем не ограниченного взаимного уничтожения и борьбы всех без исключения наличных возможностей государств. Западный исследователь отмечает, что достигшая беспрецедентных пределов в ходе Первой мировой войны милитаризация экономики и общества привела не только к милитаризаций труда в оборонных отраслях промышленности, но и шире — к осознанию значения фактора труда в промышленной части подготовки и ведения войны в целом<sup>134</sup>.

В сфере труда в годы войны проявился острый дефицит рабочей силы в промышленности, немедленно вызвавший к жизни практику прикрепления рабочих к военным предприятиям, трудовой повинности: «труд все более принимал принудительный характер». В России появилось «полупринудительное» привлечение беженцев из фронтовых губерний во внутренние губернии (всего беженцев в 1915 — 2,6 млн, в 1916 — 3,3 млн) к труду. Если в 1915 — военнопленных среди вспомогательных рабочих у мартеновских печей на Урале было 3–4%, 1916 — военнопленных на вспомогательных и основных рабо-

<sup>133</sup> Эта практика получила и яркое изображение в известной коммунистической утопии французских революционных синдикалистов, описавших, помимо переворота, и революционную оборонительную войну с помощью самых передовых научных изобретений, которые на деле позволяли учинить непригодный для человеческого пребывания ландшафт на пути наступающей иностранной контрреволюции: «Форты, которые прежде охраняли границу, молчали, — большая часть их была разрушена самими революционерами! Наоборот, движение вперёд было затруднено, благодаря различным препятствиям. Нельзя было и думать о том, чтобы использовать железнодорожные пути; помимо того, что мосты были перерезаны, туннели загромождены, использована была каждая неровность земли, яма или насыпь, — чтобы сделать движение по ним ещё более невозможным. Дороги пострадали не меньше: местами — произведённые взрывы образовали на них ямы или загромодили их обломками скал или горами вырванных деревьев. Воды не было. Колодцы и ключи были заражены; ручьи и реки несли воды, загрязнённые химическими веществами, вонючими и вредными. Всё население ушло, — увёдя с собой скот и уничтожив запасы продуктов и урожая, которые оно не могло унести с собой. Это было хуже, чем пустыня! Вражеские войска встречали перед собой только следы разрушения и опустошения. Они не могли продвигаться в глубь страны...» (*Эмиль Пато, Эмиль Пуже. Как мы совершим революцию [1909] / Пер. Л. В. Гогелия [1921]. М., 2011. С. 208*).

<sup>134</sup> *Уильям Мак-Нил. В погоне за мощью. Технология, вооружённая сила и общество в XI–XX веках. М., 2008. С. 368.*

тах там же стало 48–50%. Резко выросло число иностранных рабочих по вольному найму (персы, китайцы, корейцы), расширилась доля женского и детского труда, практика переселения к промышленным зонам<sup>135</sup>. При этом современники и исследователи солидарно отмечают, что военные власти России, которым вроде естественно было бы исповедовать милитаризм, именно к промышленной и общеэкономической мобилизации страны в интересах войны оказались не готовы<sup>136</sup> и в этом смысле были не более чем учениками своих милитаризованных европейских врагов и союзников. Только **индустриальные и социальные инструменты капитализма по социализации экономики и населения** большевизм превращал в философию революции, стремясь утопию Просвещения надстроить утопией Коммунизма.

Главный советский философ-марксист, рецензируя О. Шпенглера, замечал о легендарном германском милитаризме и государственном социализме: «Прусский капитализм давно уже принял социалистические формы в смысле своеобразного государственного порядка и государственного управления хозяйством. (...) Социализация вовсе не означает обобществления или огосударствления собственности путём отчуждения её. Социализация — вопрос не номинального владения, а чисто *техническая проблема управления*»<sup>137</sup>.

Интересный заочный спор произошёл между авторитетным социалистом и пропагандистом кооперативного движения, с одной стороны, и большевиком, с другой, когда уже в конце Первой мировой войны они начали подводить ей предварительные итоги. Социалист В. Ф. Томианц охлаждал восторг русских коммунистов от практики военного регулирования в Германии: «Нет никакого повода выдавать все эти

<sup>135</sup> И. Маевский. Экономика русской промышленности в условиях Первой мировой войны. М., 1957. С. 318–319, 321–324. См. также: О. М. Морозова. Эвакуационная политика России в 1915–1916 годах // Новая и новейшая история. М., 2014. № 4. О тотализации промышленного труда: Н. Алексеева. Неженская работа: Первая мировая война открыла дамам «доступ» к железной дороге // Гудок (Москва). 8 июня 2009.

<sup>136</sup> А. А. Маниковский. Боевое снабжение русской армии в мировую войну [1930]. М., 1937. С. 161–162; Э. Дж. Хейвуд. «Самый катастрофический вопрос»: железнодорожное строительство и военная стратегия в позднеимперской России // Русский Сборник. Том VI. М., 2008. С. 112–113, 141.

<sup>137</sup> А. М. Деборин. Гибель Европы или торжество империализма [1922] // А. М. Деборин. Философия и марксизм. М., 2012. С. 41, 43.

приёмы за новые приобретения, которые должны служить образцами хозяйственного уклада в будущем. Эти приёмы, если и отличаются от способов, применяемых при снабжении населения осаждённых крепостей, то только по объёму; поэтому такого рода «социализм» правильнее было бы назвать осадным коммунизмом, чем социализмом войны»<sup>138</sup>. Но бывший большевик А. А. Богданов, беря на вооружение именно немецкую терминологию военного регулирования, «военный коммунизм» как практику государственного капитализма военного времени, настаивал на превращении именно **практики германского милитаризма** (*и, в частности, «государственной трудовой повинности»*) **в коммунизм**: «Государственный капитализм есть система приспособлений новейшего капитализма к двум специальным условиям эпохи: военно-потребительному коммунизму и процессу разрушения производительных сил... колоссально развившийся [германский. — М. К.] военный коммунизм... есть всё же коммунизм»<sup>139</sup>.

(3) Индустриализация сталинского СССР была продолжением капиталистической индустриализации и вариантом того, что в западной историографии именуется «мобилизацией труда периода экстенсивной индустриализации»<sup>140</sup>. Прямо связанная с индустриализацией европейская практика **«политики населения» (био-политики)** XVIII–XX вв. непосредственно предшествовала всей совокупности трудовых повинностей<sup>141</sup> в Советской России, «второму

<sup>138</sup> В. Ф. Тотомианц. Европа после войны в экономическом и социальном отношениях. 3 изд., испр. и доп. М., 1918. С. 32.

<sup>139</sup> А. А. Богданов. Вопросы социализма [1917] // А. А. Богданов. Новый мир. Вопросы социализма. М., 2010. С. 119–125, 128.

<sup>140</sup> M. Van der Linden. Forced Labour and Non-Capitalist Industrialization: The Case of Stalinism // Free and Unfree Labour: The Debate Continues / Ed. T. Brass, M. Van der Linden. Bern, 1997.

<sup>141</sup> О практике трудовых повинностей, предшествовавшей сталинским индустриализации и коллективизации, см.: Декреты Советской власти. Т. I–XVIII. М., 1957–2009 (издание продолжается); Протоколы Президиума Высшего Совета Народного Хозяйства. 1920 год / Отв. сост. Е. В. Хандурина. М., 2000; Д. А. Аманжолова. «Совещание признало полезным». Из журнала заседания междуправительственного совещания об организации призыва иностранцев на тыловые работы. 1916 г. // Исторический архив. М., 2004. № 3; С. А. Литина. Принудительные работы крестьянства Вятской губернии в годы Первой мировой войны // Вестник Челябинского государственного университета. Челябинск, 2011. № 22 (237). История. Вып. 46; Р. А. Ромашов. Генезис тюремной индустрии в контек-

изданию крепостного права» в коллективизации, военизированному режиму промышленного труда периода Второй мировой войны, системе ГУЛАГ и ГУПВИ НКВД / МВД СССР. Эта европейская практика была грубо и демонстративно реализована в принудительных «обменах населения» в ходе Балканских войн 1912–1923 гг. и по Лозаннскому мирному договору Англии, Франции и др. (1923: 1 500 000 греков и 500 000 турок и мусульман) в отношении Греции и Турции<sup>142</sup>, других

сте исторических циклов российского государства // Структура тюремной индустрии / Под общ. ред. Е. Н. Тонкова. СПб., 2012; А. А. Ильяхов. Политика Советской власти в сфере труда (1917–1922 гг.). Смоленск, 1998; Л. В. Борисова. Трудовые отношения в Советской России (1918–1924 гг.). М., 2006; В. В. Цысь. Трудовые армии: от трудовых частей к государственному рабочим артелям // Отечественная история. М., 2007. № 5; В. В. Цысь. Трудовые армии периода Гражданской войны // Военно-исторический журнал. М., 2007. № 7; Р. А. Хазиев. Централизованное управление экономикой на Урале в 1917–1921 годах: Хаос, контроль и стихия рынка. М., 2007; С. И. Сивцева. Спецпоселенцы в Якутии в 1930–1950-х гг. // Российская история. М., 2007. № 6; Е. М. Буряк. Всеобщая трудовая повинность на Урале в первые годы советской власти // Вестник Челябинского государственного университета: История. Вып. 27 (№ 34 (135)). Челябинск, 2008; Е. В. Воейков. Красная армия в борьбе с топливным кризисом в Среднем Поволжье. 1919–1921 гг. // Военно-исторический журнал. М., 2008. № 6; Е. В. Воейков. Топливная трудовая повинность в Среднем Поволжье в 1918–1921 гг. // Вопросы истории. М., 2009. № 1; Е. В. Воейков. Красная армия на трудовом фронте. 1920–1921 гг. // Военно-исторический журнал. М., 2010. № 1; Е. В. Воейков. Трудовая повинность на лесозаготовках в годы индустриализации в СССР // Вопросы истории. М., 2014. № 3; А. А. Славко. Трудовые дома для несовершеннолетних правонарушителей в России 1924–1933 годов // Вестник Челябинского государственного университета. Челябинск, 2009. № 16 (154). История. Вып. 32; С. С. Букин, Р. Е. Романов. Рабочая молодёжь предприятий оборонного комплекса Сибири (1941–1945). Новосибирск, 2012.

<sup>142</sup> Для понимания интеллектуальной атмосферы на Западе вокруг этих этнических чисток, важно учесть оценку, данную им британским историком-современником в его главном труде: «*Великая идея*» современных греков... Год за годом, век за веком, вплоть до настоящего времени вынашивается эфемерная мечта. И так продолжается почти полтысячи лет (1453–1923). Константинопольские греки и во время османского правления продолжали надеяться, что какое-то чудо, возможно вмешательство Бога, возродит вновь Восточную Римскую империю. (...) Несмотря на череду разочарований, «великая идея» не покидала народ на протяжении всей его истории. Уничтожение греческой диаспоры, насчитывавшей около 1 280 000 человек Анатолии и Восточной Фракии, казалось бы, должно было рассеять иллюзию. Однако этого не произошло, что говорит о силе призрака, действовавшего на греческие умы» (А. Дж. Тойнби. Постигание истории [1934–1961]. Сборник / Пер. Е. Д. Жаркова. М., 1996. С. 404–405).

актах «социальной инженерии»<sup>143</sup>, официально взятых на вооружение в новых национальных государствах на развалинах Германской, Австро-Венгерской, Российской и Османской империй, принципиально признанных победителями в Первой мировой войне в качестве образца для государственного строительства в Европе и Азии независимо от реальной независимости новых государств, реализована в межэтнических и межграничных конфликтах, социальных и этнических депортациях<sup>144</sup>, в признании главным аргументом для территориального устройства данных этнографии, но для того, чтобы административно и насильственно изменить эти данные в свою пользу в прину-

<sup>143</sup> Внесудебное интернирование до 120 000 японцев и граждан США японского происхождения в США и 22 000 в Канаде в 1941–1942 гг. и др. См. также: *Кирилл Шевченко*. Русины и Чехословакия: 1919–1939. К истории этнической инженерии. М., 2006.

<sup>144</sup> Первыми этническими чистками в Советской России были акты воинствующего интернационализма. См. о них на территории нынешней Чечни приказ члена РВС Кавказского фронта по Кавказской трудовой армии С. Орджоникидзе от 23 октября 1920: «станцию Калиновскую сжечь... станции Ермоловская, Закан-Юрт (Романовская), Самашкинская и Михайловская отдать беднейшему безземельному населению и, в первую очередь, всегда бывшим преданными соввласти нагорным чеченцам, для чего: всё мужское население вышеназванных станиц от 18 до 50 лет погрузить в эшелоны и под конвоем отправить на Север для тяжёлых принудительных работ; стариков, женщин и детей выселить из станиц» (А. А. *Иголкин*. Национальные отношения в районах нефтедобычи в 1920-е годы // НЭП: экономические, политические и социокультурные аспекты / Отв. ред. А. С. Сенявский. М., 2006. С. 503). См. также: Н. Ф. *Бугай*. Л. Берия — И. Сталину: «Согласно Вашему указанию...» М., 1995; А. А. *Герман*, А. Н. *Курочкин*. Немцы СССР в «трудовой армии» (1941–1945). М., 1998; Депортация народов Крыма: документы, факты, комментарии / Сост. Н. Ф. Бугай. М., 2002; *Иван Джуха*. Греческая операция: История репрессий против греков в СССР. СПб., 2006; Сталинские депортации: 1928–1953 / Составители Н. Л. Поболь, П. М. Полян. М., 2005; Г. *Гончаров*. «Мобилизовать в рабочие колонны на всё время войны...» // Советская социальная политика: сцены и действующие лица, 1940–1985 / Под ред. Е. Р. Ярской-Смирновой, П. В. Романова. М., 2008; Б. У. *Серазетдинов*, А. С. *Иванов*. Спецпереселенцы-калмыки Омской и Тюменской областей в годы Великой Отечественной войны (1944–1945): особенности использования принудительного труда в рыбной промышленности // Вестник Челябинского государственного университета: История. Вып. 38 (№ 41 (179)). Челябинск, 2009; «Условия незавидные, а работа очень тяжёлая»: Трудовая армия на строительстве нефтеперерабатывающего завода в Гурьеве. 1943–1945 гг. / Публ. Ж. У. Кыдыралиной // Исторический архив. М., 2010. № 4; В. В. *Сафрова*. Принудительные миграции населения СССР в Западную Сибирь в период Второй мировой войны. Новосибирск, 2012; А. Ю. *Охотников*. Немцы Северной Кулунды: стратегии и результаты социокультурной адаптации (1910–1960-е годы). Новосибирск, 2012.

дительных миграциях, принудительной ассимиляции, этнических чистках<sup>145</sup>, а также других формах масштабного насилия в отношении групп населения.

<sup>145</sup> О едином историческом контексте этнических чисток периода Первой мировой войны и после неё, геноцида армян в Османской империи и «обмена населением» (до 2 млн человек) между Грецией и Турцией по Лозаннскому договору, сталинских этнических чисток и изгнания немцев из Польши и Чехословакии, преемственности Холокоста в отношении геноцида армян: Norman M. Naimark. *Flammender Hass: Ethnische Säuberungen im 20. Jahrhundert* [Fires Of Hatred: Ethnic Cleansing In 20th Century Europe. Harvard, 2001]. Bonn, 2009. См. также о геноцидальных акциях в Австро-Венгрии и Польше против русинов: *Василий Ваврик*. Терезин и Талергоф. Львов, 1928 (переизд.: М., 2001), *К. В. Шевченко*. Как у русинов-лемков ампутировали родину: Операция «Висла» (1947) // Русский Сборник: Исследования по истории России. Том VIII. М., 2010. Немецкий исследователь свидетельствует: «Нацистская политика насилия с её идеологией расизма, её стремлением к экспансии и в особенности войной на уничтожение на Востоке эхом отозвалась в самой Германии в конце войны и после безоговорочной капитуляции в мае 1945 г... На конференции трёх держав в Потсдаме было принято решение о высылке немецкого населения как из восточных провинций Германии, так и из Чехословакии и Венгрии. Образцом огромного переселения людей служило для западных держав предусмотренное договором в Лозанне (24 июля 1923 г.) принудительное «перемещение населения...» (*Уте Шмидт*. Людские и территориальные потери, бегство и изгнание — последствия Второй мировой войны для немецкого народа // *Послевоенная история Германии: российско-немецкий опыт и перспективы* / Под ред. Б. Бонвеча и А. Ю. Ватлина. М., 2007. С. 35, 37). Исследователь антисербской, антиеврейской и антицыганской депортационной политики пронацистского Независимого государства Хорватия (1941–1945) подчёркивает, что нацистские власти Хорватии опирались на идею моноэтничности и удачный пример её реализации находили в соглашении 1922–1923 гг. об обмене греческим и турецким населением между Турцией и Грецией, а «нацисты... рассматривали (это) как возможность расширить свой опыт для применения подобной практики в остальных европейских странах» (*Alexander Korb*. *Construction nationale et Shoah. Les déportations dans l'État indépendant de Croatie (1941–1945)* // *Qu'est-ce qu'un déporté? Histoire et memoires des deportations de la Seconde Guerre mondiale* / Sous la directions de Tal Bruttmann, Luarent Joly et Annette Wiewiorka. Paris, 2009. P. 204). Представитель современной украинской историографии, утверждающий легитимность сталинских границ Украины и инструментальность обеспечивавших их этнических чисток, пишет: «Переселения, а точнее депортации населения были обычной практикой той исторической эпохи. Перемещались по разным причинам (но практически всегда против собственной воли) в 1938–1945 гг. многомиллионные массы венгерского, румынского, немецкого, польского населения» (*В. Макаrchук*. Государственно-территориальный статус западно-украинских земель в период Второй мировой войны: историко-правовое исследование. М., 2010. С. 40–41). См. кстати: Не надо строить иллюзий, будто бы ОУН-УПА

**Проводимое либерализмом превращение регулярного государства Запада в чрезвычайное** в течение XIX–XX вв. —

такой диагноз равно разделяют последователи консервативного мыслителя К. Шмитта и исследователя биополитики М. Фуко. Вслед за Карлом Шмиттом они исследуют роль *чрезвычайного положения* при переходе от современности к постсовременности: «Функция чрезвычайного положения здесь очень важна. Чтобы контролировать подобную исключительно неустойчивую ситуацию, необходимо предоставить вмешивающейся инстанции власти: во-первых, возможность определять — всякий раз исключительным (чрезвычайным) образом — необходимость вмешательства; и, во-вторых, возможность приводить в движение силы и инструменты, применяемые различным способом ко множеству разнообразных кризисных ситуаций. Таким образом, здесь, ради чрезвычайного характера вмешательства, рождается форма права, в действительности являющаяся *правом полиции*. Формирование нового права вписыва-

---

не стремилась к этнической гомогенизации территории Украины: интервью [с украинским историком А. Портновым] // REGNUM. 20 декабря 2010: [www.regnum.ru/news/polit/1358316.html](http://www.regnum.ru/news/polit/1358316.html): «не надо строить иллюзий, будто бы лидеры украинского националистического подполья не стремились к этнической гомогенизации территорий, которые, по их мнению, должны были войти в состав будущего украинского государства. Анализируя межвоенную европейскую политику, они полагали, что аргументом при определении принадлежности определённой территории тому или иному государству является национальный состав её населения... события на Волыни, на Балканах, послевоенное выселение миллионов немцев из Польши или Чехословакии — всё это было в духе времени». А также см. интервью сына лидера ОУН-УПА: Юрий Шухевич: «Интересы ОУН в войне Германии против СССР называются Восточная Украина» (<http://ostkraft.ru/ru/documents/1716>). Не говоря об огромной литературе о судьбе советских военнопленных в Польше в 1919–1921 гг., см. о практике интернирования и депортаций на территории Польши и вокруг неё: *Andrzej Bogusławski. W znak pogoni. Internowanie Polaków na Litwie wrzesień 1939 — lipiec 1940. Toruń, 2004*; *Г. Бёдекер. Горе побеждённым! Беженцы III Рейха. 1944–1945. М., 2006*; *С. А. Лукашанец. Палітыка польскай дзяржавы ў адносінах да нямецкага насельніцтва ў перыяд інтэграцыі заходніх земляў (1945–1950)* // Российские и славянские исследования. Вып. 4. Минск, 2009: [www.rsijournal.net](http://www.rsijournal.net). Советский японист даже делает острое, но вряд ли обоснованное сближение интернирования японцев в США и этнических депортаций в СССР: *В. Овчинников. Скелет в шкафу: Идею «этнического ГУЛАГа» Сталину подсказал Рузвельт* // Российская газета. 23 декабря 2008. У Сталина и до войны было достаточно опыта этнических чисток в его собственной практике и в практике всех окружающих СССР государств, чтобы дожидаться американского образца.

ется в использование превентивных мер, репрессивных действий и силы убеждения, направленных на восстановление социального равновесия»<sup>146</sup>. И здесь же углубляются в тесно связанную с полицейским государством проблему «биополитического производства», «биовласти в обществе контроля»:

«Работы Мишеля Фуко... позволяют нам увидеть историческую, эпохальную смену общественных форм: переход от *дисциплинарного общества* к *обществу контроля*. Дисциплинарное общество — это общество, в котором социальное управление осуществляется посредством разветвлённой сети *диспозитивов* или аппаратов, производящих и регулирующих обычаи, привычки и производственные практики<sup>147</sup>. Функционирование такого общества и обеспечение подчинения его правилам и механизмам включения и/или исключения достигается при помощи дисциплинарных институтов (тюрем, фабрик, психиатрических лечебниц, больниц, университетов, школ и т.д.), которые структурируют социальную территорию и задают логику, адекватную “смыслу” дисциплины... мы должны понять общество контроля как общество, которое формируется на заре современности и развивается, двигаясь к периоду постсовременности, общество, где механизмы принуждения становятся ещё более “демократическими”, ещё более имманентными социальному полю, распространяясь на умы и тела граждан. Таким образом, практики соци-

<sup>146</sup> Майкл Хардт, Антонио Негри. Империя [2000] / Пер. под ред. Г. В. Каменской. М., 2004. С. 30.

<sup>147</sup> «Диспозитив» Мишеля Фуко по итогам толкования Дж. Агамбена можно суммировать как «располагаемое», инструмент которого — «вскрытие реальности как способ управления», т. е. институты и коммуникации в качестве инструментария создают «располагаемое» как «располагающее», диспозитив — предмет, механизм и целеполагание социальной и биологической тотальности общества (Джорджо Агамбен. Что современно? / Под ред. Августина Соколовски. Киев, 2012. С. 14–15, 19–20, 24, 26). В этом толковании «диспозитив» Фуко близок к содержанию «символического капитала» Пьера Бурдьё — как «абсолютно гетерогенный комплекс, объединяющий дискурсы, учреждения, архитектурные построения, регламентирующие постановления, законы, административные меры, научные достижения, философские, нравственные и благотворительные рассуждения, в общем сказанное, так и не сказанное — таковы элементы диспозитива... диспозитив всегда обладает конкретной стратегической функцией и всегда вписывается во властные отношения. Как таковой, он произведён пересечением отношением власти и отношений знания». Диспозитив — «то, в чём и посредством чего реализуется чистая активность, управление без какого бы то ни было основания в бытии» (С. 23–24).

альной интеграции и исключения, свойственные системе управления, всё более и более становятся внутренней сущностью самих субъектов. Теперь власть осуществляется посредством машин, которые напрямую целенаправленно воздействуют на умы (посредством коммуникационных систем, информационных сетей и так далее) и тела (через системы соцобеспечения, мониторинг деятельности и тому подобное) ... Таким образом, общество контроля характеризуется интенсификацией и генерализацией аппаратов дисциплинарной нормализации, которые служат внутренней движущей силой наших повседневных практик, но, в отличие от дисциплины, этот контроль распространяется далеко за пределы структурного пространства социальных институтов. (...) работы Фуко позволяют нам распознать *биополитическую* природу новой парадигмы власти... Наивысшая функция этой власти — охватить все сферы жизни, а её важнейшая задача — управление жизнью. Таким образом, биовласть обращается к ситуации, в которой ставка делается непосредственно на производство и воспроизводство самой жизни. (...) когда власть становится полностью биополитической, социальное тело целиком поглощается машиной власти и развивается в её виртуальности... Общество, поглощённое властью, добравшейся до центров социальной структуры и процессов её развития, реагирует как единое тело. Таким образом, власть выражает себя как контроль, полностью охватывающий тела и сознание людей и одновременно распространяющийся на всю совокупность социальных отношений»<sup>148</sup>.

Здесь не случайно подчёркивается роль **либерального, про-светительского, современного управления обществом как ландшафта для выстраивания чрезвычайной биополитики**. Можно даже сказать, что те исследователи сталинизма, что имеют представление о реальной истории Запада и информированы о новых её исследованиях, сознательно или подсознательно избегают помещения сталинизма в этот западный контекст, чтобы он не выглядел несомненно родным и генетически предшествующим сталинизму. Фуко пишет о безграничности, универсальности, полноте притязаний современной власти, которые в первой половине XX века уверенно называли бы **тотальными**, а в середине XX века уже называли бы **тота-**

<sup>148</sup> Майкл Хардт, Антонио Негри. Империя. С. 35–37.

**литарными:** «Сказать, что в XIX веке власть овладела жизнью, или сказать, что в XIX веке власть взяла на себя ответственность за жизнь, значит именно сказать, что власть начала охватывать всё пространство, которое тянется от органического к биологическому, от тела к населению, с помощью двойной технологии, с одной стороны, дисциплины, с другой — регулирования. (...) После анатомо-политики человеческого тела, утвердившейся в ходе XVIII века<sup>149</sup>, в конце этого же века можно отметить нечто другое, что уже не является анатомо-политикой человеческого тела и что я бы назвал “биополитикой” человеческого рода», предметом которой являются «общие процессы жизни, каковы рождение, смерть, воспроизводство, болезнь и т.д.»<sup>150</sup>. Публикаторы лекций М. Фуко и авторы примечаний к их тексту приводят такую сжатую формулу исторического генезиса биополитики, данную Фуко: «С появлением политической экономии, с введением ограничительного принципа в самую правительственную практику происходит важная перемена... субъекты права, на которых распространяется политическая власть, выступают как *население*, которым должно руководить правительство. Здесь отправная точка организационной линии “биополитики”. Но разве не ясно, что это лишь часть чего-то более обширного — новых правительственных интересов? **Либерализм нужно рассматривать как общие рамки биополитики**»<sup>151</sup>.

Европейский и российский опыт Нового времени в этих сферах до и независимо от коммунизма был реализован, в частности, в массовом бегстве времени Первой мировой войны<sup>152</sup>, централизованном

<sup>149</sup> Этому посвящена, как известно книга М. Фуко «Надзирать и наказывать» (1975).

<sup>150</sup> Мишель Фуко. «Нужно защищать общество». Курс лекций, прочитанных в Коллеж де Франс в 1975–1976 учебном году / Пер. Е. А. Самарской. СПб., 2005. С. 267, 256.

<sup>151</sup> Франсуа Эвальд, Алессандро Фонтана. Примечания // Мишель Фуко. Рождение биополитики. Курс лекций, прочитанных в Коллеж де Франс в 1978–1979 учебном году / Пер. А. В. Дьякова. СПб., 2010. С. 397–398 (указание на авторство примечаний — С. 10).

<sup>152</sup> См., например, новые исследования этого: М. С. Кищенко. Европейские диаспоры на территории Ярославской губернии в конце XIX — начале XX века. Ярославль, 2011; Ирина Белова. Вынужденные мигранты: беженцы и военнопленные Первой мировой войны в России. 1914–1925 гг. М., 2014.

перемещении населения<sup>153</sup>, интернировании<sup>154</sup>, этнических чистках<sup>155</sup> и даже геноциде против потенциальных «пятых колонн»<sup>156</sup> на театрах военных действий, демографической и «этнокультурной инженерии» (нацеленной на создание либо уничтожение потенциальных «пятых колонн»<sup>157</sup>), массового принудительного труда заключённых и вообще дисциплинарного труда населения институций сферы общественного призрения, включая больницы<sup>158</sup> и ссыльных<sup>159</sup>, принудительного тру-

<sup>153</sup> Впервые об этом в русской исследовательской литературе было написано ещё в ходе Первой мировой войны: В. Ф. Тотомианц. Европа после войны в экономическом и социальном отношениях. 3-е испр. и доп. изд. М., 1918. С. 7–8.

<sup>154</sup> С. Г. Нелипович. Репрессии против подданных «центральных держав» // Военно-исторический журнал. М., 1996. № 6; С. Г. Нелипович. Население оккупированных территорий рассматривалось как резерв противника // Военно-исторический журнал. М., 2000. № 2; Г. З. Иоффе. Выселение евреев из прифронтовой полосы в 1915 году // Вопросы истории. М., 2001. № 9; О. Р. Айрапетов. Немецкий погром в Москве в июне 1915 г. в контексте боев на внешнем и внутреннем фронте // Русский Сборник. Том VIII. М., 2010; Юрий Бахурин. Принудительные миграции еврейского населения России в годы Первой мировой войны (1914–1917 гг.): причины и последствия // Журнал российских и восточноевропейских исторических исследований. М., 2011. № 1 (3).

<sup>155</sup> Свод сведений об этом: Н. Ф. Бугай. Л. Берия — И. Сталину: «После Ваших указаний проведено следующее...». М., 2011; Н. Ф. Бугай. Проблемы репрессий и реабилитации граждан: история и историография (XX–XXI в). М., 2012.

<sup>156</sup> Энциклопедия изгнаний. Депортация, принудительное выселение и этническая чистка в Европе в XX веке / Редколл.: Д. Брандес, Х. Зундхаузен, Ш. Трёбст. М., 2013. Сводный публицистический очерк событий в Европе (без колониальной практики европейских метрополий) в общем контексте военного и гражданского насилия, лагерных систем, принудительных перемещений, принудительного труда, этнических чисток: Кит Лоу. Жестокий континент. Европа после Второй мировой войны [Savage Continent, 2012]. М., 2013. См. также краткий очерк: Павел Полян. Причерноморье как амфитеатр геноцида и депортаций // Неприкосновенный запас. № 1 (081). М., 2012. Вероятно, первая изданная в СССР книга (Военным издательством Наркомата обороны) о необходимости ликвидации этнической «пятой колонны» (на примере немцев) была переводом с английского: Курт Рисс. Тотальный шпионаж [1941] / Пер. Г. Владимирского. Предисл. Д. Заславского. М., 1945. С. 3, 6, 10, 15, 223 (подписано к печати 1 марта 1945).

<sup>157</sup> Александр Статиев. Мотивации и цели советских депортаций в западных приграничных районах [СССР] // Журнал российских и восточноевропейских исторических исследований. № 1 (5). М., 2014.

<sup>158</sup> Об этом, например, см. известные труды: Дж. Митфорд. Тюремный бизнес [1975]. М., 1978; Мишель Фуко. Надзирать и наказывать. Рождение тюрьмы [1975]. М., 2015.

<sup>159</sup> О системе принудительного труда в СССР помимо специальных проблем ГУЛАГа см. из новой литературы: О. Хлевнюк. Принудительный труд в экономике

да военнопленных во всей новой истории, предельной эксплуатации населения колоний. Тотализация войны и прямо зависящая от фундаментальных политических установок индустриальная биополитика прямо повлияли на судьбу военнопленных: ориентированная на геноцид в отношении «расово неполноценного» врага, гитлеровская Германия не сразу приняла решение о массовом использовании принудительного труда военнопленных<sup>160</sup>, ориентированный на эксплу-

СССР. 1929–1941 // Свободная мысль. М., 1992. № 13; П. Н. Кнышевский. Государственный комитет обороны: методы мобилизации трудовых ресурсов // Вопросы истории. М., 1994. № 2; Л. П. Рассказов. Карательные органы в процессе формирования и функционирования административно-командной системы в Советском государстве. Уфа, 1994; А. С. Смыкалин. Колонии и тюрьмы в Советской России. Екатеринбург, 1997; Steven Rosefielde. Systemzerüttung und Stalinismus: Die ökonomischen Grundlagen und Funktionen vom Terror: GULag, Zwangsarbeit, Massenvernichtung und Militarismus in postkommunistischer Perspektive // Dittmar Dahlmann, Gerhard Hirshfeld (Hrsg.). Lager, Zwangsarbeit, Vertreibung und Deportation: Dimensionen der Massenverbrechen in der Sowjetunion und in Deutschland 1933 bis 1945. Essen, 1999; Л. Самуэльсон. Красный колосс. Становление военно-промышленного комплекса СССР. 1921–1941 [2000]. М., 2001; Сергей Красильников. Серп и Молох. Крестьянская ссылка в Западной Сибири в 1930-е годы. М., 2003; Marta Craveri. Forced Labour in the Soviet Union between 1939 and 1956 // Reflections on the GULAG / Ed. by E. Dundovich, F. Gori, E. Gueretti. Milano, 2003; А. Б. Суслов. Системный элемент советского общества конца 20-х — начала 50-х годов: спецконтингент // Вопросы истории. М., 2004. № 3; А. Ю. Ватлин. Террор районного масштаба: «Массовые операции» НКВД в Кунцевском районе Московской области, 1937–1938 гг. М., 2004; Н. А. Иваницкий. Судьба раскулаченных в СССР. М., 2004; В. Н. Земсков. Спецпоселенцы СССР, 1930–1960. М., 2005; Е. В. Хохлов. Военная экономика СССР накануне и в годы Второй мировой войны. СПб., 2005; П. Грегори. Политическая экономия сталинизма [2004]. М., 2006; Р. Дэвис. Советская экономика и начало «Большого террора» // Экономическая история: Ежегодник. 2006 / Отв. ред. Л. И. Бородин, Ю. А. Петров. М., 2006; Р. С. Бикметов. Спецконтингент в экономике Кузбасса (1930–1940-е гг.): состояние источниковой базы // Отечественные архивы. М., 2008. № 6; Р. В. Дэвис. Архивы и экономика сталинизма // Экономическая история: Ежегодник. 2007. М., 2008; В. А. Колесов, П. М. Полян. Ограничение территориальной мобильности и конструирование пространства от сталинской эпохи до наших дней // Режимные люди в СССР / Отв. ред. Т. С. Кондратьева, А. К. Соколов. М., 2009; Никола Верт. Террор и беспорядок. Сталинизм как система. М., 2010.

<sup>160</sup> О положении и принудительном труде советских военнопленных и граждан в нацистской Германии союзных её странах см. современные исследования: U. Herbert. Fremdarbeiter. Politik und Praxis des “Ausländer-einsatzes” in der Kriegswirtschaft des Dritten Reiches. Bonn, 1985; В. Г. Коваленко. Новейшая финляндская историография о советских военнопленных в Финляндии // Отечественная история. М., 1994. № 3; К. Штрайт. Советские военнопленные — массовые депортации — принудительные рабочие // Вторая мировая война: Дискуссии. Ос-

атацию труда, СССР с самого начала был ориентирован на использование их труда. В противоположность пропагандистским формулам «тоталитаризма», историческое сравнение характеристик гитлеризма и сталинизма даёт достаточно оснований для принципиальных различий<sup>161</sup>.

С 1944 года — времени нового восстановления и нового планирования стратегической безопасности СССР — новым инструмен-

новые тенденции. Результаты исследований / Под ред. Вольфганга Михалки [München, 1989]. М., 1997; *Ch. Streit*. Keine Kameraden. Die Wehrmacht und die sowjetischen Kriegsgefangenen. 1941–1945. Bonn, 1997 (русский перевод: *К. Штрайт*. «Они нам не товарищи...»: Вермахт и советские военнопленные в 1941–1945 гг. М., 2009); *Ch. Streit*. Die sowjetischen Kriegsgefangenen in der deutschen Lagern // Dittmar Dahlmann; Gerhard Hirschfeld (Hrsg.) Lager, Zwangsarbeit, Vertreibung Und Deportation: Dimensionen Der Massenverbrechen in Der Sowjetunion Und in Deutschland 1933 Bis 1945. Essen, 1999; *П. Полян*. Жертвы двух диктатур: Жизнь, труд, унижения и смерть советских военнопленных и оstarбайтеров на чужбине и на родине. 2 изд., перераб. и доп. М., 2002; *И. А. Дугас, Ф. Я. Черон*. Советские военнопленные в немецких концлагерях (1941–1945). М., 2003; *М. Е. Ерин*. Историография ФРГ о советских военнопленных в фашистской Германии // Вопросы истории. М., 2004. № 7; *А. Шнеер*. Плен: советские военнопленные в Германии, 1941–1945. М.; Иерусалим, 2005; *М. Е. Ерин*. Советские военнопленные в нацистской Германии 1941–1945 гг. Проблемы исследования. Ярославль, 2005; *В. Андриянов*. Архипелаг OST: Судьба рабов «Третьего рейха» в их свидетельствах, письмах и документах. М., 2005; *А. С. Кан*. [Рец. на:] М. Н. Сульхейм. Рабы с востока. Советские военнопленные в Норвегии 1941–1945 гг. // Вопросы истории. М., 2006. № 6; *Й. Биннер*. Разработка истории угнанных на принудительный труд в Германию // Изучение диктатур: Опыт России и Германии / Отв. ред. М. Б. Корчагина. М., 2007; *М. Е. Ерин*. Отечественная историография о советских военнопленных в нацистской Германии в 1941–1945 // Россия и Германия. Вып. 4 / Отв. ред. Б. М. Туполев. М., 2007; *К. Тенфельде*. Изучение принудительного труда в годы Второй мировой войны: новые акценты // Послевоенная Германия: российско-немецкий опыт и перспективы / Под ред. Б. Бонвеча и А. Ю. Ватлина. М., 2007; *В. С. Христофоров*. Документы российских архивов о советских военнопленных в лагерях на территории Финляндии и Норвегии. 1941–1944 гг. // Отечественные архивы. М., 2008. № 3; *А. Шнеер*. Советские военнопленные в плену союзников нацистской Германии // Материалы международной научной конференции «Интерпретации различных аспектов второй мировой и Великой Отечественной войны в современной восточно-европейской историографии». Кишинёв, 21–22 мая 2010. Кишинёв, 2010; *М. М. Паникар*. Советские военнопленные в Норвегии в годы Второй мировой войны. Архангельск, 2010.

<sup>161</sup> *Х.-Х. Нольте, П. Полян*. Гитлер и Сталин: с кем же жить лучше, с кем веселее? // Неприкосновенный запас. № 2 (28). 2003; *Д. Паль*. Массовые преступления национал-социализма и сталинизма: размышления по поводу научного сопоставления // Сталин и немцы: Новые исследования / Под ред. Ю. Царуски. М., 2009.

том мобилизации принудительного труда стал труд военнопленных и интернированных (системы ГУПВИ), функционирование которого создало поле для новой, уже сугубо внутримобилизационной рационализации труда, когда сам принудительный труд окончательно стал специфическим товаром, а его распределение, перераспределение, эффективность использования — предметом борьбы субъектов административного рынка<sup>162</sup>. Географическое же распределение принудительного труда в интересах стратегической глубины стало инерционным, уже не соответствующим географии внешних угроз. Здесь лагерная биополитика ступила на много раз отмеченный историками ГУЛАГа путь саморазрушения ещё до того, как ГУЛАГ решил упразднить его маршал — Л. П. Берия (1899–1953).

**(4)** Традиционные внешние угрозы и континентальный характер Исторической России, освоение Сибири и Дальнего Востока<sup>163</sup>, про-

<sup>162</sup> Образец анализа советской политики и экономики с точки зрения административного рынка (торга вокруг) ресурсов см.: С. Кордонский. Рынки власти: Административные рынки СССР и России. М., 2000; С. Кордонский. Ресурсное государство. М., 2007.

<sup>163</sup> О традиции и итогах рациональной интеграции Сибири и Дальнего Востока в имперское пространство см.: А. И. Юхт. Государственная деятельность В. Н. Татищева в 20-х — начале 30-х XVIII в. М., 1985. С. 149–153; David Wolf. To the Harbin station. The liberal alternative in Russian Manchuria, 1898–1914. Stanford (Calif.), 1999; Л. А. Молчанов. «Целью института является...»: Документы об организации и деятельности Института исследования Сибири. 1919–1920 гг. // Исторический архив. М., 2000. № 6; А. В. Ремнев. Россия Дальнего Востока: имперская география власти XIX — начала XX в. Омск, 2004; Н. Н. Родигина. Образ Сибири как интеллектуальный конструкт и феномен общественного мнения России второй половины XIX в. // История и культура Сибири в исследовательском и образовательном пространстве. Новосибирск, 2004; М. М. Савченко. «Держаю выставлять на Ваше усмотрение плоды моих занятий». Письма Д. И. Менделеева Николаю II. 1897–1901 гг. // Исторический архив. М., 2004. №№ 2, 4; Т. В. Андреева. «Сибирь должна возродиться, должна воспрянуть снова». Письма М. М. Сперанского. 1819–1821 гг.) // Исторический архив. М., 2006. № 5; Сибирь в составе Российской Империи / Сост. Л. М. Дамешек, А. В. Ремнев. М., 2007; Е. А. Чач. «Имперское востоковедение» в России рубежа XIX–XX вв.: государственные и общественные инициативы // II Омские исторические чтения: Сборник воспоминаний и статей. Омск, 2009; А. В. Хобта. Строительство Транссиба: очерки истории (конец XIX — начало XX в.). Иркутск, 2009; Н. И. Никитин. Присоединение Сибири // Российская империя: от истоков до начала XIX века. Очерки социально-политической и экономической истории / Редколл. А. И. Аксенов, Я. Е. Водарский, Н. И. Никитин, Н. М. Рогожин. М., 2011.

диктовали русской и затем советской государственной мысли (особенно в трудах энциклопедиста Д. И. Менделеева (1834–1907), в проекционистской и железнодорожной геополитике его правящего покровителя, министра финансов России в 1892–1903 гг. С. Ю. Витте<sup>164</sup>, геолого-инфраструктурных исследованиях В. И. Вернадского (1863–1945)<sup>165</sup> и занятиях созданной им во время Первой мировой

<sup>164</sup> См. произнесённые С. Ю. Витте стратегические проблемы и задачи России: вызовы милитаризма, пространственная уязвимость, потребность в угольной базе для промышленности Урала, колонизация Сибири, имплементация наследия Ф. Листа в области защиты внутреннего рынка и развития национальных железных дорог: С. Ю. *Vitte*. Конспект лекций о народном и государственном хозяйстве [1902, 1911]. М., 2011. С. 102, 108–111, 127, 238. Ср. совершенно «виттеское» заявление И. В. Сталина 17 января 1941 на заседании Политбюро о железных дорогах: «Наше государство с экономической, хозяйственной стороны не представляет единого целого, и состоит из отдельных кусков. Чтобы соединить эти куски в единое целое, нужны железные дороги... Нам надо ещё лет 10 усиленно строить железные дороги. Надо не жалеть для этого сил и средств. Надо помнить, что история промышленности показывает, что основным стимулом для развития чёрной металлургии был всегда железнодорожный транспорт» («Пройдёт десяток лет, и эти встречи не восстановишь уже в памяти»: Дневник В. А. Малышева (1937–1951) // Старая площадь. Вестник Архива Президента РФ. М., 1997. № 5. С. 114).

<sup>165</sup> Исходя из опыта Первой мировой войны, В. И. Вернадский прямо ссылаясь на давнюю идею Д. И. Менделеева о переносе ресурсного (и политического) центра России в Сибирь (Омск) и заключал, что после потери в Первой мировой войне территории Галиции, Польши и части Прибалтики «русское общество... увидело неизбежную необходимость спешного исследования... за это время в России открыты новые неожиданные отложения каменного угля в Предкавказье и Западной Сибири, на Урале найдены большие скопления никелевых руд, в Забайкалье впервые открыты руды висмута в количестве, позволяющем его добычу, найдены россыпи монацита, первые находжения селена, боксита, серьёзные руды цинка, руды ванадия» (В. И. *Вернадский*. Публицистические статьи / Отв. ред. В. П. Волков. М., 1995. С. 245, 205, 244, 247 «Задачи науки в связи с государственной политикой в России», 1917; «Война и прогресс науки», 1915 — впервые: Чего ждёт Россия от войны. Сб. ст. Пг., 1915). См. также: В. И. *Вернадский*. Дневники (1917–1921): Октябрь 1917 — январь 1920 / Сост. М. Ю. Сорокина, С. Н. Киржачев, А. В. Мемелов, В. С. Неаполитанская. Киев, 1994. С. 43 (запись от 14 ноября 1917). В 1933 году П. Н. Савицкий писал: «За редким исключением, русские люди конца XIX — начала XX в. забывали о зауральских пространствах (один из тех, кто помнил о них, был гениальный русский химик Д. И. Менделеев). Ныне наступили иные времена. Весь “Уральско-Кузнецкий комбинат” с его домнами, угольными шахтами, новыми городами на сотню–другую тысяч населения каждый — строится за Уралом. Там же воздвигают “Турксиб”...» (П. Н. *Савицкий*. Географические и геополитические основы евразийства // Пётр Савицкий. Континент Евразия / Сост. А. Г. Дугин. М., 1997. С. 295). Сын В. И. Вернадского, в 1920-е гг. — евразиец, историк Г. В. Вернадский писал в эмиграции

войны для укрепления ресурсной базы государственной мощи России — Комиссии по изучению естественных производительных сил России (КЕПС, 1915–1930, затем — Совет (СОПС))<sup>166</sup> необходимость инфраструктурного и ресурсного обеспечения Востока России<sup>167</sup>,

---

в 1934 году, наблюдая за СССР: «В то время как до 1917 года русская промышленность сосредоточена была преимущественно на территории доуральской России, а промышленность Урала была развита гораздо менее интенсивно, не говоря уже о промышленности Сибири, к окончанию первой пятилетки (1933 г.) наряду с прежней донецко-южнорусской угольно-металлургической базой построена вторая — урало-алтайский комбинат. Новые мощные заводы выросли как в восточной части доуральской России — в Поволжье, так и на Урале и за Уралом» (*Г. В. Вернадский. Опыт истории Евразии. Звенья русской культуры*. М., 2005. С. 104). Важно также, что в 1911–1913 гг. В. М. Молотов учился в Санкт-Петербургском Политехническом институте, где слушал лекции и сдавал экзамены его преподавателям П. Б. Струве, Н. И. Каресву, М. И. Туган-Барановскому (*Вячеслав Никонов. Молотов: Наше дело правое*. В 2-х кн. Кн. 1. М., 2016. С. 26). Из этого же учебного заведения вышел вождем евразийства П. Н. Савицкий.

<sup>166</sup> В 1930 году КЕПС была реорганизована в СОПС со главе с И. М. Губкиным (СОПС просуществовал до 1960). И. М. Губкин (1871–1939) — автор идеи «Второго Баку»: Волго-Уральской нефтегазоносной области. Библиография опубликованных работ Комиссии по изучению производительных сил в России и Совет по изучению производительных сил СССР АН СССР (1915–1967). М., 1969; *А. В. Кольцов. Создание и деятельность Комиссии по изучению естественных производительных сил России, 1915–1930 гг.* СПб., 1999; См. также: *М. К. Козыбаев. Из истории организации деятельности Комиссии АН СССР по мобилизации ресурсов Урала, Западной Сибири и Казахстана на нужды обороны // Известия АН СССР: Казахская ССР. Серия истории, археологии и этнографии. Вып. 1. Алма-Ата, 1962; В. И. Вернадский и проблемы организационно-экономических исследований*. М., 1989; *Фронт и тыл: Геологи Академии наук СССР в годы Великой Отечественной войны*. М., 1990; *Э. И. Гракина. Учёные России в годы Великой Отечественной войны, 1941–1945*. М., 2000.

<sup>167</sup> После поражения России в русско-японской войне 1904–1905 гг. в Сибири и на Дальнем Востоке «главным инструментом [власти] становятся русская крестьянская колонизация, железные дороги, таможенный протекционизм и опора на национальный капитал... На место охранительных и военно-мобилизационных задач в дальневосточной политике вышли колонизационные задачи». И если Витте был лоббистом более всего развития железнодорожной инфраструктуры на Восток и колонизации, то Менделеев ставил задачи освоения природных ресурсов (*А. В. Ремнев. Россия Дальнего Востока: имперская география власти XIX — начала XX в.* Омск, 2004. С. 524, 324–327, 453), то есть гораздо более масштабного государственного проектирования, включающего отобилизованные трудовые ресурсы, строительство инфраструктуры и обеспечение внутренних инвестиций, а годы Первой мировой войны заставили круг Вернадского увидеть военно-стратегический смысл освоения ресурсов Востока России.

отвечающего интересам стратегической безопасности<sup>168</sup> нового районирования территории России как континента<sup>169</sup> и создания — в дополнение к промышленному центру в Европейской России и развитию старого промышленного Урала — **«второго индустриального центра»** на Севере и в Сибири, приближённого к новым источникам природных ресурсов (Печорский бассейн, Урало-Кузбасс)<sup>170</sup>, про-

<sup>168</sup> Терминология главы военного ведомства СССР К. Е. Ворошилова при обсуждении пятилетнего плана на XV съезде партии 13 декабря 1927: «районирование промышленности должно соответствовать требованиям стратегической безопасности» (Пятнадцатый съезд ВКП (б). Декабрь 1927 года. Стенографический отчёт. Т. 2. М., 1962. С. 993). О заблаговременном переносе промышленных предприятий из «угрожаемых зон» на Урал и Юг: *Г. Шигалин*. Подготовка промышленности к войне. Л., 1928. С. 128.

<sup>169</sup> Ещё до евразийцев и одновременно с известными работами раннего П. Н. Савицкого в 1915–1916 гг. в журнале его учителя П. Б. Струве понятие «континент» в применении к России использовал В. И. Вернадский, «континент» употреблял и русский военный разведчик и стратег А. Е. Вандам (*А. Е. Вандам*. Величайшее из искусств. Образ современного положения в свете высшей стратегии [1913] // А. Е. Вандам (Едрихин). Наше положение. СПб., 2009. С. 168). Очевидно, что и очерченный круг, и евразийское продолжение не исчерпывают всех геоэкономических и геополитических интуиций русской мысли, из которой и составил естественный консенсус, продиктовавший логику советского (в первую очередь — сталинского) рационального пространственного развития. В дополнение см.: *А. И. Воейков*. Будет ли Тихий океан главным торговым путём земного шара? [1904] СПб., 1911; *М. Х. Хлыновский*. Будущее Дальнего Востока. СПб., 1910; *М. Х. Хлыновский*. Угроза Сибирскому Востоку. СПб., 1910; *Э. Беренс*. Центр и государственные границы России в XX столетии [1911] / Публ. К. Бурмистрова // Исследования по истории русской мысли [7]. Ежегодник 2004/2005 / Под ред. Н. С. Плотникова и М. А. Колерова. М., 2007. Об этом см.: *С. Г. Банных*. Географический детерминизм от Льва Мечникова до Льва Гумилёва: Исторические очерки. Екатеринбург, 1997; *И. Л. Беленький*. Роль географического фактора в отечественном историческом процессе. Аналитический обзор. М., 2000; *В. И. Якутин, Е. И. Зеленов, И. В. Зеленева*. Российская школа геополитики. СПб., 2008; *Г. Д. Гловели*. Геополитическая экономия в России: от дискуссий о самобытности к глобальной модели (XIX в. — первая треть XX в.). СПб., 2009; *В. Л. Глазьев*. Город без границ. М., 2011; *В. Цымбурский*. Конъюнктуры Земли и Времени. Геополитические и хронополитические интеллектуальные расследования. М., 2011.

<sup>170</sup> О военно-стратегическом значении «второго промышленного центра» в сталинской науке, пропаганде и практике см.: *А. Е. Ферсман*. Урал — сокровищница Советского Союза. М., 1942; *Ю. Л. Дьяков*. Северная угольно-металлургическая база СССР: возникновение и развитие. М., 1973; *Б. В. Левшин*. Работа комиссии по мобилизации ресурсов Урала, Западной Сибири и Казахстана на нужды обороны страны (1941–1945 гг.) // Академия Наук и Сибирь. 1917–1957 гг. Новосибирск, 1977; *В. А. Антупьев*. Уральская промышленность накануне и в годы Великой Отечественной войны. Екатеринбург, 1992; *П. Ф. Ломако*. Цветная

екту нефтяного «**второго Баку**» в Поволжско-Уральском регионе<sup>171</sup>. Несмотря на высший уровень признания и мемориализации Вернадского в СССР и современной России, думаю, что значение его государственно-стратегической мысли, особенно в плане преемственности старой России и СССР, ныне затмевается его третьестепенной политической деятельностью в Государственном совете Российской империи, кадетской партии и Временном правительстве. Тем не менее эта мысль сама по себе обеспечивает ему одно из центральных мест в интеллектуальном пантеоне тех, кто формировал интеллектуальный и исторический ландшафт СССР и современной России. Вернадский писал, например, в 1915 году: «в ближайшие после войны годы... новая война встретится с такими орудиями и способами разрушения, которые оставят далеко за собой бедствия военной жизни 1914–1915 годов»<sup>172</sup>. А в июне 1917 года детализировал следующие из этого прогноза необходимые государственные решения:

---

металлургия в годы Великой Отечественной войны. М., 1995; В. П. Могутнов. Война. Урал. Резерв: 1941–1945. Курган, 1999; Е. Л. Храмова. Тыл России в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. Библиографический указатель литературы. Самара, 2000; Н. Д. Яковлев: «Урал, Сибирь, Средняя Азия стали сердцем советской индустрии...» / Публ. В. Г. Оппокова // Военно-исторический журнал. М., 2003. № 2; И. М. Савицкий. Важнейший арсенал Сибири: Развитие оборонной промышленности Новосибирской области в годы Великой Отечественной войны. Новосибирск, 2005; Мобилизационная роль советского государства в хозяйственном освоении Сибири (1920–1980-е гг.). Сб. научных трудов / Отв. ред. А. И. Тимошенко. Новосибирск, 2012.

<sup>171</sup> Об этом, прежде всего, см.: А. Е. Пробст. Основные проблемы географического размещения топливного хозяйства СССР. М.; Л., 1939; Е. Грановский. Сырьё и топливо в Отечественной войне. М., 2003; А. А. Иголкин. Нефтяная политика СССР в 1928–1940-м годах. М., 2005; А. К. Соколов. Советское нефтяное хозяйство накануне войны // Экономическая история: Ежегодник. 2008 / Отв. ред. Л. И. Бородин, Ю. А. Петров, С. А. Саломатина. М., 2009; А. А. Иголкин. Советская нефтяная политика в 1940-м — 1950-м годах. М., 2009; А. А. Иголкин. Нефтяная политика России в XX — начале XXI века // XX век в российской истории: проблемы, поиски, решения / Отв. ред. А. С. Сенявский. М., 2010.

<sup>172</sup> В. И. Вернадский. Война и прогресс науки [1915] // В. И. Вернадский. Начало и вечность жизни / Сост. М. С. Багракова, И. И. Мочалов, В. С. Неаполитанская. М., 1989. С. 278. В октябре 1915 В. И. Вернадский возглавил Комиссию РАН по изучению производительных сил России (КЕПС), целью которой было достижение сырьевой независимости и мобилизация ресурсов для обороны. В РАН в 1917 году была также создана «Комиссия по исследованию племенного состава населения России» (КИПС) во главе с неперменным секретарём РАН С. Ф. Ольденбургом. Об этом кратко: Э. И. Колчинский. Академия наук и Первая мировая война // Наука, техника и общество России и Германии во время Первой мировой войны /

«Сейчас могут и должны быть выдвинуты три различные области научной работы, связанные с особенностями текущего момента и основными задачами государственного строительства России. Эти три области определяются: 1) необходимостью срочного, глубокого и полного изучения естественных производительных сил нашей страны и прилегающих к ней стран, 2) особенностями мирового положения России, в частности, её положения в Азии, и 3) чрезвычайным разнообразием как естественно-исторического, так и этнического состава русского государства. (...)

[в годы войны 1915–1917] в России открыты новые неожиданные отложения каменного угля в Предкавказье и Западной Сибири, на Урале найдены большие скопления никелевых руд, в Забайкалье впервые открыты руды висмута, в количестве, позволяющем его добычу, найдены россыпи монацита, первые находения селена, боксита, серьёзные руды цинка, руды ванадия. (...)

Естественные производительные силы Азии в едва ли сравнимой степени превышают производительные силы Европы, в частности, в нашей стране азиатская Россия не только по величине превышает Россию европейскую. Она превышает её и по потенциальной энергии. По мере того как начнётся правильное использование наших естественных производительных сил, центр жизни нашей страны будет всё более и более передвигаться, как уже давно правильно отметил Д. И. Менделеев, на восток, — должно быть, в южную часть Западной Сибири... Это должна всегда помнить здравая государственная политика, которая должна смотреть всегда вперёд, в будущее»<sup>173</sup>.

Во второй половине XIX века, когда ближайшие угрозы с запада формально были отодвинуты, даже видя умиротворённую Польшу и мирную Финляндию в составе Российской империи, Д. И. Менделеев

---

Под ред. Э. И. Колчинского, Д. Байрау, Ю. А. Лайкус. СПб., 2007. С. 196–197. Советская пропаганда высоко оценивала замысел КЕПС: «Комитет по изучению естественных производительных сил — КЕПС — был создан академией наук ещё в 1915 году по предложению академиков А. П. Карпинского, В. И. Вернадского, Б. Б. Голицына, Н. И. Андрусова и Н. С. Курнакова с целью “развития производительных сил России, освобождения её от экономической зависимости от Германии, способствования росту промышленности, земледелия, торговли” (В. Обручев. СОПС // Наша Страна. № 2. Май. М., 1937. С. 48).

<sup>173</sup> В. И. Вернадский. Задачи науки в связи с государственной политикой в России [1917] // В. И. Вернадский. Начало и вечность жизни. С. 315, 317, 323. См. также о системе КЕПС и КИПС: Alexander Vucinich. Empire of Knowledge: The Academy of Sciences of the USSR (1917–1970). Berkeley and Los Angeles, 1984.

исследовал ресурсный потенциал нового имперского пространства с точки зрения его стратегической глубины и сформулировал приоритеты использования природных ресурсов Малороссии и Донецкого бассейна<sup>174</sup>, Баку, Урала, севера Туркестана, Западной Сибири, Дальнего Востока<sup>175</sup>, и с самого начала — не просто в качестве ресурсных территорий, но и в качестве потенциальных промышленных и коммуникационных центров. Речь шла о стратегии, результатом которой должен был стать новый индустриальный центр России с собственной ресурсной, транспортной и промышленной базой, а столица России — посреди этого нового центра — в Омске (интересно, что сразу после Гражданской войны и непосредственно перед форсированной индустриализацией СССР естественное, не мобилизационное развитие восточной части страны выразилось в том, что крупнейшим городом Сибири стал Омск)<sup>176</sup>.

В итоговом труде «К познанию России» (1906), находя перспективный государственный центр России в Западной Сибири, Менделеев обращает внимание на «огромные рудные запасы России около Качканара, Магнитной горы, Урала, р. Синар [река Синара современной Челябинской области], Кривого Рога», а также на то, что «такие богатейшие каменноугольные копи, как Экибастузские (в Киргизской степи, со всеми условиями подвоза на Урал), у нас почти бездействуют, хотя могут принести Южному Уралу и Степному краю, к нему прилежащему, условия большого промышленного развития»<sup>177</sup>. Таким образом, новый промышленный центр России должен был быть

<sup>174</sup> Об оценке потенциала Донецкого бассейна и Урала ещё по указанию Николая I см.: Пол Дьюкс. Родерик Мерчисон на Урале // Русский Сборник: Исследования по истории России. Том VIII. М., 2010.

<sup>175</sup> «Часть наших исторических задач, без сомнения, лежит в развитии нашего Дальнего Востока, прилежащего к Великому океану» (Д. И. Менделеев. Познание России. Заветные мысли. М., 2008. С. 301. «Заветные мысли» (1904)). См. об этом: Н. П. Никитин. Экономико-географические работы Д. И. Менделеева // Отечественные экономико-географы XVIII–XX вв. / Под ред. Н. Н. Баранского, Н. П. Никитина, Ю. Г. Саушкина. М., 1957.

<sup>176</sup> Г. М. Ланто. География городов с основами градостроительства. М., 1969. С. 45. Соответственно реалиям первой четверти XIX века П. И. Пестель в своём проекте определял столицей и центром России Нижний Новгород: П. И. Пестель. «Русская правда» // Конституционные проекты в России XVIII–XIX в. / Сост. А. Н. Медушевский. М., 2010. С. 345.

<sup>177</sup> Д. И. Менделеев. Познание России. Заветные мысли. С. 114, 81.

привязан к новым источникам энергии и сырья, в то время как старый промышленный центр был привязан к угрожаям ресурсам Донбасса и Баку. Соответственно основным районам потребления нефти в России, главные коммуникации из Баку в Центр и Поволжье пролегли по Каспию и Волге<sup>178</sup>, в непосредственной близости от потенциального театра военных действий. Традиционная вертикальная связь потребителей и производителей ресурсов на внутрироссийском рынке тесно привязывала к Центру и нефтяной Баку, и угольный Донбасс, не оставляя пространства для выстраивания альтернативных коммуникаций. Старый ресурсно-промышленный центр на Урале оставался замкнут на себе — и равно далёк как от Донбасса и Баку, так и от Западной Сибири. Немного особняком здесь стояли возможности коммуникации Урала и Европейского Севера России, но уральская промышленность также нуждалась в расширении ресурсной базы, а потенциальная разработка месторождений Ухты и Печоры были сориентированы на промышленность Санкт-Петербурга, то есть того же старого (и угрожаемого) промышленного центра. Всё это создавало, как минимум, логистическую потребность в создании индустриального потребителя ресурсов Западной Сибири — в самой Западной Сибири.

Интересные связи обнаруживал специалист по пространственному развитию России В. Л. Глазычев (1940–2012): по его оценке, Менделеев первым подчинил экономическое районирование страны единой программе развития европейской и азиатской её частей и уровню / задачам её индустриализации. «К работе [Менделеева] “Уральская железная промышленность в 1899 г.” была приложена карта Урала с обозначением заводов, рудников и путей сообщений. По комплексности подхода труд Менделеева был исключительным явлением. Намечая цельную систему действий, Менделеев рассматривал горное дело, металлургию, машиностроение, лесное хозяйство и транспорт как единую проблему. Он особенно подчёркивает значение железных дорог для Урала как внутри его, так и для выхода в другие районы. Ставится, пусть в иных обозначениях, задача формирования единого Урало-Кузнецкого металлургического комплекса на привозном кок-

<sup>178</sup> В. Сеидов. Архивы Бакинских нефтяных фирм (XIX — начало XX века): Историческое исследование. М., 2009. С. 258.

сующемся угле... Мы останавливаемся на работах Менделеева по той причине, что именно эти идеи, пусть в несколько вульгаризированной форме, легли в основу идеологии КЕПС (Комиссии по изучению естественных производительных сил), созданной во время Первой мировой войны по руководством В. И. Вернадского, затем в основу Плана ГОЭЛРО и, наконец, программы большевистских пятилеток. Современники Менделеева — и промышленники, и учёные-экономисты — считали естественным для России повторять путь от развития лёгкой промышленности, не требующей больших капиталовложений и обеспечивающей быструю окупаемость вложенных средств. Лишь накопив солидный капитал, благодаря развитию лёгкой промышленности, можно строить тяжёлую индустрию. По мнению Менделеева, такая логика обрекала Россию на положение сырьевого придатка Запада. По его суждению, России необходимо было начать с создания тяжёлой индустрии на основе самой передовой технологии... Менделеев... настаивал на необходимости удвоения инвестиций в развитие промышленности, непременно осуществив радикальное смещение вектора индустриализации в Сибирь и к берегам Тихого океана. Наконец, одной из ключевых задач России он считал освоение Северного морского пути»<sup>179</sup>.

Прямая и тесная идейная связь геоэкономической русской мысли о «России-континенте» с задачей обретения её стратегической глубины во «втором индустриальном центре» в Сибири сегодня исследована всего лишь одним русским автором, но очень хорошо. Согласно очерку, преемственный и консенсуальный характер этой связи был явлен, кроме трудов Витте, Вернадского, В. П. Семёнова-Тян-Шанского (1870–1942) и П. Н. Савицкого (1895–1968), и в серии работ упомянутого марксиста М. Павловича (М. Л. Вельтмана), при большевиках — крупного деятеля НКВД и восточной политики СССР, инициатора создания и главы Главного комитета государственных сооружений и общественных работ РСФСР, уже в 1918 году ставшего прообразом высшей централизации строительства и принудительного труда, в исследовании марксиста А. А. Богданова (1873–1928) «Общественно-научное значение новейших тенденций естествоз-

<sup>179</sup> В. Л. Глазычев. Город без границ. М., 2011. С. 169–171.

нения» (1923) о соединении и централизации рациональной интенсификации естественных и научных сил в исследовании и учёте минеральных и энергетических ресурсов, использовании труда, в которых чётко осознавался антагонизм технической рациональности и экономической рентабельности<sup>180</sup>. В этот идейный контекст исследователь заслуженно встроил и известную книгу ректора МВТУ, инженера-теплотехника В. И. Гриневецкого (1871–1919) «Послевоенные перспективы русской промышленности» (Харьков, 1919, переизд.: М., 1922), прославленную мемуаристом за то, что её главная идея о «перемещении центра тяжести российской индустрии на восток ближе к источникам сырья» вдохновила В. И. Ленина на план ГОЭЛРО<sup>181</sup> — план скромного энергетического развития России,

<sup>180</sup> Г. Д. Гловели. Геополитическая экономия в России: от дискуссий о самобытности к глобальной модели (XIX в. — первая треть XX в.). С. 82, 94–95, 146–147, 166, 170, 174. О новом распределении производительных сил см. также: А. Аникст. Организация распределения рабочей силы. М., 1920; И. Г. Александров. Основа хозяйственного районирования СССР. М., 1925; Д. Н. Замятин. Научные школы и исследовательские программы в области экономического районирования России и СССР // Известия Русского географического общества. СПб., 1997. Т. 129. Вып. 3.

<sup>181</sup> «Книга Гриневецкого... сделалась настольной в наркоматах, главках и в центрах... Она попала в руки Ленина в 1919 г. Красин первый обратил на неё его внимание... Книга, несомненно, произвела на В. И. Ленина огромное впечатление... Под влиянием этой книги Ленин стал настаивать на быстрейшем составлении государственных планов развития народного хозяйства, в основу которых должна быть положена электрификация страны». Мемуарист перечисляет задачи, поставленные Гриневецким: «1. Главной проблемой ближайшего будущего станет сбережение топлива... 2. “Урал должен встретить опасного соперника в Кузнецком районе, где... соберутся все данные для развития крупной металлургической промышленности современного типа”... 3. “Интересы промышленности... ставят на ближайшую очередь прямую железнодорожную связь Сибири и Туркестана”. 4. “Создание новых водных магистралей потребует многолетних работ и колоссальных затрат. Сюда можно отнести соединение Волги с Доном, регулирование порогов Днестра, соединение Черного и Балтийского морей, Волжского бассейна с Белым морем и Ледовитым океаном” (Н. Валентинов (Вольский)). Новая экономическая политика и кризис партии после смерти Ленина: Годы работы в ВСНХ во время НЭП. Воспоминания [1956] / Сост. С. С. Волк. М., 1991). Фундаментальный очерк о Гриневецком (без упоминания Валентинова, но с указанием на частичный интеллектуальный приоритет М. Павловича в определении крупных государственных проектов: Р. 108), основанный на глубоком исследовании контекста, см.: Leon Smolinski. Grinevetskii and Soviet Industrialisation // Survey (London). No. 67. April 1968. Р. 100–115 (благодарю Пола Чейсти за предоставленную копию этого редкого текста). См. также уже хрестоматизированные упоминания

прецедентно для политики большевиков и Сталина привязанного к пространственному развитию страны и эксплуатации её ресурсов. В. И. Вернадский вспоминал в письме к сыну Г. В. Вернадскому (1887–1973) в 1936 году: «Страна, в целом, несомненно, растёт, работает и учится. Я уверен, что, если не будет войны — огромное будущее, а если начнётся война — неизвестно, кто победит. Разница с 1914 годом — колоссальная. В связи со всем переживаемым я вспомнил как раз человека, которому принадлежит большая идейная заслуга — государственного плана и широких государственных мероприятий для выхода из бедствий войны. Знаешь работу В. И. Гриневецкого?.. Государственный план — а электричество<sup>182</sup> и т.п. это его проект... Я с ним столкнулся ближе в 1905 г. и позже... П. И. Новгородцев был с ним близок. Очень было важно найти и его книжку... Я читал в то время. Фактически он инициатор идейный, повлиявший несомненно и сейчас уже забытый. Но исторически факт влияния его идеи существовал»<sup>183</sup>. Уже в начале Великой Отечественной войны Вернадский мемуарно и свидетельски записывал в дневнике наблюдения над тем, как расширение ресурсно-промышленной базы на восток предсказуемо послужило во время войны делу стратегической устойчивости государства. Он писал 30 июля 1941: «Создание сознательное могущественной военной силы, независимой от извне в своём вооружении, примат в данном моменте этого создания в гос. жизни — правильная линия, взятая Сталиным... Страна при миллионах рабов (лагеря и высылки НКВД) выдержит эту язву [«полицию»], так как моральное окружение противника ещё хуже...»; 22 марта 1942: «В брошюре Ферсмана<sup>184</sup> о стратегическом сырье — вспоминались им уже в истор. аспекте 1915–1916 годы... общение с инженерами было в 1915 году в связи с КЕПСом... Гриневецкий — выдвинул плановую работу... о постройке металлургического завода американского

---

в современной литературе о Гриневецком: *С. В. Цакунов*. В лабиринте доктрины. Из опыта разработки экономического курса страны в 1920-е годы. М., 1994. Глава 7; *Б. С. Пушкарёв*. Две России XX века. Обзор истории 1917–1993. М., 2008. С. 186.

<sup>182</sup> Таково прочтение публикатора. Вероятней всего — «электрификация». — *М. К.*

<sup>183</sup> Week-end в Болшево, или ещё раз «вольные» письма академика В. И. Вернадского / Публ. М. Ю. Сорокиной // Минувшее: Исторический альманах. 23. СПб., 1998. С. 336.

<sup>184</sup> *А. Е. Ферсман*. Война и стратегическое сырьё. Красноуфимск, 1941.

типа в Сибири разговоры начались ещё в 1916 году... В 1925 г. в стране возобновились технические искания, вновь ожила [геологическая] разведка, заговорили о заводе, возникли проблемы Урало-Кузнецкого завода... Первую кузнечную домну задули 1 апр. 1932 года. С этого дня Сибирь стала родиной металла... Это шаг, которого не делала и не знала ни одна промышленность мира»<sup>185</sup>.

Одновременно развивавшаяся в целом независимо от и против большевизма идеократически-этатистская традиция в русской мысли (П. Б. Струве (1870–1944), С. А. Котляревский (1873–1939), П. И. Новгородцев (1866–1924), И. А. Ильин (1883–1954), В. Н. Муравьев (1885–1932), А. Ф. Лосев (1893–1988), отчасти П. А. Флоренский (1882–1937), сборники «Великая Россия», журналы «Русская Мысль» и «Проблемы Великой России», веховство, национал-большевизм, сменовеховство, евразийство), прямо утверждала защиту национальных интересов России на путях общенациональной мобилизации, единство внешней политики независимо от политики внутренней<sup>186</sup>. Примечательно, что именно круг политизированных промышленников В. П. и П. П. Рябушинских в 1909–1912 гг. выступил спонсором идейно-политического творчества Струве и С. Н. Булгакова (1871–1944)<sup>187</sup>, «веховского» круга, формулировавшего в сборниках «Великая Россия» программу либерального империализма<sup>188</sup>. Созданный в ходе войны в 1915 году при Московском биржевом комитете — Московский Военно-промышлен-

<sup>185</sup> В. И. Вернадский. Дневники. Июль 1941 — август 1943 / Сост. В. П. Волков. М., 2010. С. 27, 225, 316–317.

<sup>186</sup> С. А. Котляревский. Правовое государство и внешняя политика. М., 1993 (современный сборник); С. А. Котляревский. Развитие международных отношений в новейшее время. М., 1922.

<sup>187</sup> Ю. Петров. Династия Рябушинских. М., 1997. С. 83. Подробно об этом: J. L. West. Philosophical idealism and utopian capitalism: the Vekhi authors and the Riabushinski circle // Сборник «Вехи» в контексте русской культуры / Отв. ред. А. А. Тахо-Годи, Е. А. Тахо-Годи. М., 2007.

<sup>188</sup> Великая Россия. Сб. ст. по военным и общественным вопросам / Редактор-издатель В. П. Рябушинский. Книга первая. М., [1910]: [Л. М.] Болховитинов. Россия на Дальнем Востоке; Г. Трубецкой. Россия, как великая держава; др.; Великая Россия. Книга вторая. М., [1911]: [Л. М.] Болховитинов. Колонизаторы Дальнего Востока; Бобров. Восстановление силы; С. Котляревский. Русская внешняя политика и национальные задачи; Г. Трубецкой. Некоторые итоги русской внешней политики; П. А. Т. Железнодорожный вопрос в Персии и Великий Индийский путь; Пётр Струве. Экономическая проблема «Великой России». Заметки экономиста о войне и народном хозяйстве; др.

ный комитет во главе с П. П. Рябушинским действовал по программе, «отражавшей радикальный подход к проблеме мобилизации промышленности»: имея задачей «учреждение чего-то вроде Министерства вооружений с самыми широкими полномочиями», которое, кроме промышленности, должно было «определять и удовлетворять потребности в сырье, топливе, средствах перевозки и необходимой рабочей силе». Эта программа в мае 1917 приобрела всероссийский характер, и по плану новые органы государственного капитализма уже после войны должны были «1. отвечать за создание плана мобилизации промышленности. 2. заниматься учётом производительных сил страны, учётом рабочего персонала, наблюдением за оборудованием заводов,... участвовать в выработке плана снабжения армии на военный период». В 1918–1919 гг. эти Военно-промышленные комитеты стали кадровой основой советской системы центральных и местных органов экономического управления ВСНХ<sup>189</sup> подобно тому, как кадры Генерального штаба — органов военного управления РККА. В целом налицо был консенсус в русской науке и мысли в отношении экстенсивного развития производительных сил России за счёт Сибири и Туркестана.

В 1919 году, в подполье, интеллектуальный центр широкой антибольшевистской военно-политической коалиции — Всероссийский национальный центр создал авторский коллектив под руководством С. А. Котляревского, при участии Л. Б. Кафенгауза (1885–1940), Я. М. Букшпана (1887–1939) (ставших затем ответственными советскими экспертами)<sup>190</sup> и др., для составления проекта послебольшевистского государственного строительства России от имени будущего но-

<sup>189</sup> П. А. Кюнз. Бизнес в условиях мобилизационной экономики. 1914–1915 гг. // Экономическая история: Ежегодник. 2010 / Отв. ред. Л. И. Бородин, Ю. А. Петров. М., 2010. С 175, 177–178, 184, 190.

<sup>190</sup> Я. М. Букшпан — экономист, преподаватель СПб. Политехнического института из круга П. Б. Струве, издатель сборника «Освальд Шпенглер и Закат Европы» (1922) (Исследования по истории русской мысли. [5] Ежегодник за 2001–2002 годы / Под. ред. М. Колерова. М., 2002. С. 719–720), в 1921–1928 глава бюро мирового хозяйства ВСНХ (см.: Я. М. Букшпан. Военно-хозяйственная политика: Формы и органы регулирования народного хозяйства за время Мировой войны 1914–1918. М.; Л., 1929); Л. Б. Кафенгауз — экономист, преподаватель Московского коммерческого института из круга П. И. Новгородцева и С. Н. Булгакова, в 1917 товарищ министра торговли и промышленности Временного правительства, с 1918 — глава Центрального отдела статистики ВСНХ, ответственный сотрудник Главного экономического управления ВСНХ.

вого правительства. Красноречиво, что экономическая его программа несомненно была созвучна и западной практике, и советской политике (и, как видим по датировке, формулировалась независимо от идей Гриневецкого, но в их общей логике). В антибольшевистской программе звучало: «Как ни временны в исторической перспективе связанные с войной мероприятия правительства в виде организации торговли, мобилизации промышленности для целей обороны, регламентации цен, монополии отдельных отраслей хозяйства, принудительных синдикатов и т. п. — все эти проявления “этатизма”, наблюдаемые во всех странах, не могут пройти бесследно для будущего. Так как организация народного хозяйства оказалась важнейшим условием необходимой боевой готовности каждой из воюющих сторон, то и хозяйственная демобилизация, подобно военному разоружению, естественно должна ставиться в зависимость от государственно-политических соображений и расчётов... снабжение сырьём, топливом и воссоздание военной промышленности — вот три главные области, где необходимо вмешательство государства в промышленную жизнь». В развитии путей сообщения приоритетным было расширение железнодорожной сети в направлении стратегического освоения Востока, учитывая, что эти железные дороги «сами по себе на первое время не могут быть доходными предприятиями», то есть требуют политических инвестиций государства: «важно и необходимо проведение линий пионерных, которые дадут доступ [к] неисчислимым богатствам на Севере России, в Сибири, на Кавказе, в Туркестане, Закавказье и на Дальне-Восточной окраине»<sup>191</sup>. Известный русский критик большевизма и Сталина, высланный из Советской России в 1922 году и в эмиграции сотрудничавший, ради борьбы с большевизмом, даже с германскими специальными службами, Иван Ильин писал в дни войны, анализируя во-

<sup>191</sup> [Записка об экономическом развитии России, 1919] // Всероссийский национальный центр / Сост. Н. И. Канищева. М., 2001. С. 390, 400, 427–428. Ср.: «Из многочисленных месторождений России должно быть обращено особое внимание на энергичное восстановление Донецкого бассейна, антрацитовые залежи которого поистине огромны, и в особенности на Алтайский бассейн» ([Я. М. Букитан, Л. Б. Кафенгауз. Программа экономического возрождения страны, составленная «Национальным центром» в 1919 году]. Россия после большевистского эксперимента: Программа экономического возрождения страны, составленная «Национальным центром» в 1919 году / Публ. А. С. Веллидова // Неизвестная Россия. XX век. [Вып. I] / Гл. ред. В. А. Козлов. М., 1992. С. 151–153, 163).

енно-стратегический потенциал и «второй индустриальный центр» СССР: «Уже сто лет, как в национально-политической литературе России отмечается порою совершенно открытый тезис европейцев: у русских варваров слишком большая территория, которая не используется. Поэтому не надо было иметь большого ума, чтобы после Первой мировой войны начать в России грандиозную индустриализацию... В ходе Первой мировой войны процесс индустриализации достиг огромных успехов и в военно-технической области. Любое русское правительство после Первой мировой войны, несомненно, энергично содействовало бы этому»<sup>192</sup>.

Примечательно, что даже «революционный» план ГОЭЛРО (1920) провёл новое экономическое районирование России по тем узлам, что нащупывались ещё при императоре Николае I: советский проект видел экономические районы (Северный, Центрально-промышленный, Южный, Приволжский, Уральский, Западно-Сибирский, Кавказский и Туркестанский) там, где они были спроектированы ещё при Николае I (металлургия — Урал, Северо-Запад, Центр, уголь — Донбасс, Центр, промышленность — Центр, Северо-Запад). Энергетический акцент, который, кроме Центра и Ленинграда, Ленин в ГОЭЛРО делал на Урале<sup>193</sup>, уже не был прогрессивным и стратегически перспективным — ни с точки зрения итогов русской государственной мысли, ни с точки зрения итогов Первой мировой войны. Промышленно-энергетический акцент на Западной Сибири<sup>194</sup>, в соответствии с прописями рубежа XIX–XX веков, предстояло сделать Сталину.

<sup>192</sup> И. А. Ильин. Собрание сочинений: Гитлер и Сталин. Публицистика 1939–1945 годов / Сост. Ю. Т. Лисицы. М., 2004. С. 162 (8 февраля 1943).

<sup>193</sup> В. И. Ленин говорил в беседе с корреспондентом американской газеты *The World* в феврале 1920 года: «Мы намерены электрифицировать *всю нашу промышленную систему* (курсив мой. — М. К.) путем создания электростанций на Урале и в других местах». Современные историки ГОЭЛРО признают: «Ленин... ограничивал задачу электрификации Сибири лишь постольку, поскольку это необходимо для Урала, т.е. для снабжения уральской металлургии кузнецким углем» (История электрификации // 85 лет плана ГОЭЛРО (2005): [www.85goelro.rao-ees.ru](http://www.85goelro.rao-ees.ru)).

<sup>194</sup> География строительства первых АЭС в СССР в 1950-е гг. окончательно продемонстрировала сложившееся двоецентрие её энергетически-промышленной инфраструктуры (место, решение о начале / начало строительства): Обнинская (Калужская область, 1950), Белоярская (Свердловская область, 1954), Сибирская (Томская область, 1957), Нововоронежская (Воронежская область, 1958) АЭС.

(5) Взяв за основу и развивая параллельно мировые империалистические и колониалистические образцы<sup>195</sup>, а затем и российские прецеденты военного времени<sup>196</sup> в **соединении репрессий и мобилизации принудительного труда** (концентрационных лагерей), Советская власть предопределила этим создание в ведомстве внутренних дел ГПУ-НКВД-МВД системы сталинского ГУЛАГа (для советских граждан — заключённых, ссыльных и спецпереселенцев), которая в годы Второй мировой войны и послевоенного периода была дополнена ГУПВИ (для иностранных граждан — военнопленных и интернированных). Главными миссиями этой системы были: традиционная для всех периодов русской истории колонизация труднодоступных или почти недоступных отдалённых регионов СССР, лишённых минимальной социально-экономической инфраструктуры, — и поэтому создание таковой инфраструктуры в интересах эксплуатации природных ресурсов и внешней безопасности, обеспечение высокой мобильности рабочей силы и её неограниченной (ограниченной только экономическими соображениями сохранения работоспособности рабочей силы) эксплуатации, которые получили своё наивысшее выражение в практике ГУЛАГа (впрочем, опыт ГУЛАГа показал, что воз-

<sup>195</sup> Образцовый очерк типологической истории концлагерей, начиная с 1803 года, см.: *G. Miloradović. Logori za izolaciju — nastanak, razvoj, tipologija, stereotipi // Vojnoistorijski Glasnik. 1–3. Beograd, 1999* (русский перевод см. в соответствующем разделе книги: *Г. Милорадович. Карантин идей: Лагеря для изоляции «подозрительных лиц» в Королевстве сербов, хорватов и словенцев в 1919–1922 гг. М., 2010. С. 37–68*). См., например, о принудительном труде заключённых во франкистских концлагерях и рабочих батальонах для противников режима и военнопленных республиканцев в Испании в 1936–1945 гг. (общим числом до 500 000 человек, 50 000 из которых погибли) см.: *Las cifras hablan de crueldad // El Pais (Madrid). 14 marzo 2010. О крупнейшем в Испании концлагере Miranda de Ebro (1937–1947), где содержались также интернированные: Barracones para nazis y judíos // Ibidem. Общий очерк системы концлагерей в Испании см.: D. R. Teijeiro. Configuración y evolución del sistema penitenciario franquista (1936–1945) // HISPANIA NOVA. Revista de Historia Contemporánea. No.7. 2007: <http://hispanianova.rediris.es/7/dossier/07d019.pdf> (благодарю Елену Висенс за найденные материалы).*

<sup>196</sup> О начальной российской практике концлагерей см., в частности: *А. Л. Кубасов. Концентрационные лагеря на Севере России во время Гражданской войны // Новый исторический вестник / Гл. ред. С. В. Карпенко. М., 2009. № 2 (20); Г. М. Иванова. Советские концентрационные лагеря в годы Гражданской войны // XX век в российской истории: проблемы, поиски, решения / Отв. ред. А. С. Сенинский. М., 2010.*

можность неограниченной эксплуатации оказалась мифом). Историк уточняет, что именно осознание необходимого масштаба трудовых ресурсов для освоения природных ресурсов Сибири стало центральным в изменении общественного отношения к Сибири — уже не в фокусе постепенно колонизируемой каторжниками и переселенцами дальней окраины, а в фокусе условий и целей производительного труда. Интересно, что заслуга этого последнего превращения принадлежит именно А. П. Чехову, проводшему во время поездки на Сахалин в 1890-м году полноценное социолого-гигиеническое исследование и познакомившего с его контекстом страну<sup>197</sup>.

Известный русский исследователь социализма и критик большевизма, историк права П. И. Новгородцев приводил слова русского либерального правоведа Ф. Ф. Кокошкина (1871–1918), опубликованные ещё в 1912 году: «Если продумать идеал социализма во всех его практических последствиях, то надо прийти к заключению, что “вовсе не свободное анархическое общество, а союз... обладающий всеми существенными признаками государства и, в частности, принудительной властью... нельзя представить себе это государство без всеобщей обязательной повинности труда... Государство возьмёт в свои руки производство и распределение продуктов”...»<sup>198</sup>.

Итак, стратегические цели и географические приоритеты мобилизации экономических и природных ресурсов для создания государственной устойчивости России перед лицом внешних угроз были определены ещё в дореволюционной и антикоммунистической русской государственной мысли.

\* \* \*

Таковы основные узлы исторического контекста, которые, несмотря на необозримое обилие частных исследований, принуждён тести-

<sup>197</sup> В. В. Трепавлов. Урал и Сибирь: образы и стереотипы // Образы регионов в общественном сознании и культуре России (XVII–XIX вв.) / Отв. ред. В. В. Трепавлов. М., 2011. С. 46, 49. См.: А. П. Чехов. Остров Сахалин [1895] // А. П. Чехов. Полное собрание сочинений и писем в 30 томах. Сочинения. Т. 14–15. М., 1987. После Чехова Сахалин и его каторгу в 1897 г. посетил и описал в своей литературной манере гуру русского фельетона В. М. Дорошевич, придав теме широкую читательскую известность.

<sup>198</sup> П. И. Новгородцев. Об общественном идеале [1910–1921]. М., 1991. С. 307.

ровать каждый историк экономики сталинизма, независимо от его политической и моральной позиции в отношении к всепроникающей реальности несвободы, насилия и рабства, характеризовавшие сталинизм и его время. Представляется, что приближение к общему ответу о степени предопределённости сталинизма его эпохой, описанной в этих тематических блоках, лежит в способности найти и верифицировать интегральный, целостный образ сталинизма. Но этот образ должен быть произнесён, исходя не из априорных схем, а как результат исследования. К счастью, «архивная революция» в России 1990-х гг. породила воистину целую отрасль исторической науки, по объёму рассекреченных современных массовых архивных источников не имеющую себе равных: историю СССР сталинского периода. К сожалению, из множества частных и ряда принципиальных открытий в области социальной, политической и экономической повседневности сталинизма, множества заново описанных событий и процессов — пока так и не родилось интегрального описания сталинизма и его места в современной истории. Начиная и резюмируя свои труды, историки чаще всего ограничиваются мало что значащими отсылками на общие формулы «историографической лояльности» о «тоталитаризме», никак не связанными с текстом и его открытиями, — примерно так, как во времена СССР подцензурные советские историки (или их редакторы) вписывали в любой гуманитарный текст «методологическую» ссылку на Маркса, Ленина, Брежнева или Горбачёва. Это оставляет русскую «архивную революцию» о сталинизме без адекватного и заслуженного числа собственных концептуальных приобретений, обрекая её либо на повторение штампов о «тоталитаризме», либо на писательские апологии сталинских вождей СССР как «гениев менеджмента».

Что же представляет из себя ныне историографический консенсус в вопросе о предпосылках сталинизма? Корифей доархивной советологии Роберт Такер (1918–2010), будучи западным дипломатом, жил в сталинской Москве и знал сталинские реалии. Это, по-видимому, иной раз диктовало ему сфокусированность на собственно советских событиях, вне их контекста. Р. Такер был крайне критичен к Сталину: настолько, что, например, считал известную «военную тревогу» 1927 года актом постоянного недобросовестного нагнетания истерии со стороны Сталина, не имевшей фактических причин. Сам генезис

ключевых характеристик сталинизма — в противоречии изложенным фактам по истории Запада и России — видится ему явлением вне времени и контекста.

Ещё один видный западный историк, соавтор известного французского антикоммунистического манифеста «Чёрная книга коммунизма» Николя Верт, смело берясь за контекст и предысторию сталинизма, не видит их далее традиций русского государственного варварства и шире традиций прискорбного варварства Первой мировой войны (по-видимому, исключительно германского, что полезно для дальнейших сближений в рамках «тоталитаризма»). Он пишет: «Анализ большевистской практики восстановления государства требует учитывать два аспекта: с одной стороны, европейский контекст, контекст Первой мировой войны, фундаментального события, которое повсюду сопровождалось усилением роли государства в регулировании экономики, ростом контроля над гражданами, мобилизацией ресурсов...; с другой стороны, контекст бывшей Российской империи. Специфика большевистской практики тем более очевидна, если сравнить её с практикой их политических оппонентов. Новой была не столько практика реквизиций, применявшаяся всеми сторонами конфликта, новацией стала “классовая природа” реквизиций, проводимых большевиками...»<sup>199</sup> Вопрос о реквизициях и антирыночной политике «рыночных государств» в Первую мировую войну ещё потребует специального рассмотрения, тем более что в «большой» западной общественной и экономической науке, действующей вне «резерваций» советологии и русистики, эта проблема исследована детально и нелицеприятно. Здесь, однако, следует обратить внимание, что именно не на классовый, а на институциональный, управленческий характер большевистской экономической политики обращает предметное внимание Н. Верт, когда речь заходит не о риторике, а о практике. Независимо от доктринальных установок большевиков и даже в прямом противоречии известным соображениям Р. Гильфердинга и В. И. Ленина о том, что предельная монополизация капитализма эпохи империализма и единый финансовый контроль равно над промышленностью и капиталом делает технически облегчённым перехват власти «пролетариатом», Н. Верт фиксирует не азбучную доктринальную, а хорошо известную в России приклад-

---

<sup>199</sup> Н. Верт. Террор и беспорядок. Сталинизм как система. М., 2010. С. 48.

ную сторону военной мобилизации<sup>200</sup>, подчёркивая, что доставшиеся (и просуществовавшие до лета 1918 года) большевикам от военно-экономического мобилизационного (принципиально родственного британскому, германскому и северо-американскому)<sup>201</sup> управления в Российской империи «бывшие военно-промышленные комитеты были поглощены новым Высшим советом народного хозяйства, структурой... практически с той же организацией и персоналом»<sup>202</sup>. Здесь важно особенно подчеркнуть, что именно Госплан и более всего ВСНХ РСФСР / СССР и был вплоть до начала 1930-х годов главным инструментом экономической централизации, практического планирования, системного управления восстановлением и новой мобилизацией, а затем и проектированием сталинской индустриализации, возвращённой от «мировой революции» к реальности народнохозяйственной политики силами марксистов-меньшевиков<sup>203</sup>, впоследствии

<sup>200</sup> В исследовательской литературе проблема целостной военно-экономической мобилизации России периода Первой мировой войны была поставлена сразу же после этой войны: *Н. Н. Головин*. Военные усилия России в мировой войне [1931–1939]. Жуковский; М., 2001. С. 234–237.

<sup>201</sup> Это касалось не только времени Первой мировой войны. Современный российский военный эксперт либерального толка подчёркивает: «Тех, кого коробит стигма сталинизма, лежащая на 30-х гг., спешу заверить, что ничего специфически сталинского в подходе к мобилизационной подготовке экономики СССР тех лет не было, ибо этот подход опирался на опыт мобподготовки и взгляды на её характер в других странах, прежде всего США» (*В. Шлыков*. Что погубило Советский Союз? Генштаб и экономика // Военный вестник Межрегионального Фонда информационных технологий. № 9, сентябрь 2002: [http://mfit.ru/defense/vestnik/vestnik9\\_11.html](http://mfit.ru/defense/vestnik/vestnik9_11.html))

<sup>202</sup> *Н. Верт*. Террор и беспорядок. Сталинизм как система. С. 49. О ВПК см.: *С. Л. Сергеева*. Военно-промышленные комитеты в годы Первой мировой войны. М., 1996; *П. А. Кюнг*. Бизнес в условиях мобилизационной экономики. 1914–1915 гг. См. также современному событиям очерк управленческого опыта ВПК, написанный главным бухгалтером Московского ВПК: *И. А. Горбачев*. Хозяйство и финансы военно-промышленных комитетов. М., 1919.

<sup>203</sup> См. об этом фундаментальные для истории вопроса мемуары участника событий и исследования западных экономистов русского происхождения: *Н. Валентинов (Вольский)*. Новая экономическая политика и кризис партии после смерти Ленина; *А. Эрлих*. Дискуссии об индустриализации в СССР. 1924–1928 [1960]. М., 2010; *Н. Ясный*. Советские экономисты 1920-х годов. Долг памяти [1967]. М., 2012. Западные (эмигрантские) историографические наблюдения над присутствием некоммунистических специалистов в ключевых советских экономических ведомствах в 1920-е гг.: НК финансов, НК труда, НК торговли, Госбанке, а также преобладанием бывших эсеров в НК земледелия, бывших меньшевиков в ВСНХ, Госплане суммированы были позже: *Стивен Козн*. Бу-

основавших западную советологию, — там, где она была не агитацией, а наукой. То есть там, где практическое исследование не ограничивается рамками заданных схем, оно обнаруживает действительно важные обстоятельства, а в данном случае — прямую институциональную и экспертную, а не только чрезвычайную «военно-коммунистическую», связь советского управления экономикой с общепринятыми институтами мобилизационной экономики Запада.

Новая западная концептуальная историография индустриальной биополитики и социально-экономической мобилизации обществ Европы и США XIX–XX вв., даже в условиях «архивной революции» в России, в непосредственных штудиях о предпосылках сталинизма — абсурдно изгоняемая «в дверь», прорывается в историографию сталинизма в многочисленные «окна» смежных предметов: социальной истории России, социальной истории Запада, военной истории, истории идей, истории коммуникаций. Проделанный немецким историком критический анализ, например, современной западной историографии военно-гражданских отношений в Российской империи убеждает, что в предпосылках сталинизма следует искать интенсивные следы, так сказать, «интоксикации» государственных традиций России и СССР военными методами биополитики, в практике учёта всеобщей военной повинности и военно-полицейского завоевания и освоения национальных окраин империи, включая практику локальных этнических чисток. То, что такая «интоксикация» — факт, сомнений нет, но есть сомнения, что исследован сам механизм передачи и воспроизводства этого опыта в государственных институтах, идейном фундаменте, бюрократическом целеполагании властей СССР. Историк похода констатирует (и это выглядит подлинным историографическим открытием), что как бы весомо ни оценивали историки присутствие милитаристских традиций царской России в генезисе советского коммунизма и сталинизма, сколь бы тщетно ни выискивали они в царской России правящий национализм, самой общей основой для размышлений о природе царистско-сталинского транзита является его «международный контекст, определяемый как **pan-european**

---

харин: Политическая биография, 1888–1938. М., 1988. С. 275. Об этом: М. Г. Николоаев. Разгром «вольных стрелков»: дело о «меньшевистской вредительской организации в Госбанке СССР» (1930–1931 гг.) // Российская история. М., 2014. № 2.

**modernity**»<sup>204</sup>. Историк заметил, что (несмотря на все будущие рекорды сталинизма) царская Россия в этом контексте, в силу отсталости, отнюдь не находилась в рядах лидеров по условной шкале военно-общественной мобилизации, которую демонстрировал индустриальный Запад: «Царская империя не обладала в целом ни институциональной инфраструктурой, ни общей базой для сотрудничества военных, государства и интеллигенции, чтобы стало возможным нечто вроде использования общества в военно-политических целях»<sup>205</sup>. Похоже, что эта определённая привязка сталинизма к широкой и длительной *paneuropean modernity* остаётся неведомой многим историкам России.

**Сталинизм в его эпохе** был, как минимум, одним из выработанных в Европе примеров восстания тотального индустриализма против отсталости, а **сталинизм в России**, как минимум, — кровавым спасением России и её народов от полного уничтожения во Второй мировой войне. Признание или непризнание этих формул требует внятной концептуальной аргументации, не сводимой к политическому нарративу.

Отечественный историк, сделавший множество источниковедческих, дескриптивных и позитивистских открытий, по праву называемый в числе главных сегодня русских историков сталинизма, О. В. Хлевнюк, тем не менее не может увидеть предмет в том горизонте, в котором он действительно существовал. Вот его выводы о сталинизме, без контекста истории Европы и с минимальной генетической глубиной, зато с максимальной субъективной зависимостью от воли вождя: «Первостепенное значение имела особая приверженность Сталина репрессивным методам решения любых проблем. Эта тенденция не выглядит чем-то исключительным, если учесть политические традиции большевизма и то, что новое государство было порождением революции и Гражданской войны»<sup>206</sup>. А объективный исторический мотив принудительного труда — О. В. Хлевнюк также видит на пространстве не шире СССР и во временном отрезке не более 10–15 лет: ускорение индустриализации, освоение труднодоступных районов, мобильная рабочая сила, неограниченная эксплуатация, особая роль

<sup>204</sup> Кристоф Гумб. Армия и общество: новые подходы к старой проблематике // Русский Сборник: Исследования по истории России. Том IX. М., 2010. С. 180.

<sup>205</sup> Там же. С. 184.

<sup>206</sup> О. Хлевнюк. Хозяин. Сталин и утверждение сталинской диктатуры. М., 2010. С. 461.

в крупных строительных проектах<sup>207</sup>. То есть поставленные ЦК РКП / ВКП(б) и описанные в сталинском «Кратком курсе истории ВКП(б)» политические задачи современный историк — к триумфу сталинистов и верных ленинцев — приравнивает к объективным и историческим (то есть даже лишённым того исторического, но вполне субъективного, обстоятельства, как корпоративная заинтересованность сталинцев в сохранении и укреплении власти) и соглашается с многократно высмеянной претензией марксистов и коммунистов на познание ими «объективных законов истории». Но почему весь горизонт объективной истории сталинизма ограничивается для О. В. Хлевнюка автаркическими рамками СССР в духе северокорейской доктрины «чучхе»? Почему в объективной этой истории нет даже внешних врагов, их опыта, их угроз и precedентов?

Многолетняя исследовательница сталинского ГУЛАГа как системы (но лишь в узком её смысле, без учёта труда несовершеннолетних, военнопленных, интернированных, содержащихся в ПФЛ, спецпоселенцев, заключённых тюрем, др.) Г. М. Иванова, как только требуется найти историческое, институциональное и функциональное место ГУЛАГа, не находит ничего лучше и концептуальней, как определить, что ГУЛАГ — репрессивная система, превратившаяся в политически и экономически значимый «лагерно-промышленный комплекс», чья главная роль — не в производстве и реализации стратегических решений, а в том, что он — «был “главным хранителем”<sup>208</sup> “рабочего фонда”...» и «принципом организации пространства заключения» со своими нормами и моралью. Чувствуя, видимо, крайнюю интеллектуальную бедность такого рода обобщения, Г. М. Иванова неожиданно прибегает к интеллектуальной помощи... современного исследователя психоаналитической антропологии и феноменологии В. А. Подороги, вынося

<sup>207</sup> Oleg Khlevnyuk. The Economy of the OGPU, NKVD, and MVD of the USSR, 1930–1953: The Scale, Structure, and Trends of Development // The Economics of Forced Labor: The Soviet Gulag / Edited by Paul R. Gregory and Valery Lazarev. Stanford, 2003. P. 58–60.

<sup>208</sup> Впрочем, может быть, этот *образ-вместо-определения* просто был позаимствован из иного, мобилизационного, контекста, у коллеги: ГУЛАГ — «особый социум и государственный институт, выполнявший в сталинской системе функцию специфического депозитария нерешённых и (или) неразрешимых социальных, экономических, политических, культурных и национальных проблем» (В. А. Козлов. Неизвестный СССР. Противостояние народа и власти 1953–1985 гг. М., 2006. С. 30–31).

в идейный зачин своего труда рискованно художественную мысль философа о том, что «ГУЛАГ — это громадная страна, что невидимо существовала во времени и пространстве сталинского режима»...<sup>209</sup> Невидимо? Отдельно в пространстве? То есть вне режима? Надо признаться, что такую итоговую «систематизацию» многолетнего труда историка трудно назвать рациональной.

Рафинированный автор исследований о русских военнопленных в Германии Первой мировой войны, ради следования колониальной моде насильно втискивающий лапидарный вопрос о политической судьбе военнопленных в рамку «европейской гражданской войны» (глава 1.4; хорошо ещё, что не в вечный бой добра и зла), О. С. Нагорная суммирует свои исследования «радикальных новшеств» этой войны в деле военного плена, превращающих её в тотальную: «взаимные репрессии, принудительный труд, национальная и политическая агитация, вербовка в вооружённые формирования» военнопленных<sup>210</sup>. Одновременно констатирует «преобладание в Германии

<sup>209</sup> Г. М. Иванова. История ГУЛАГа, 1918–1958: социально-экономический и политико-правовой аспекты. М., 2006. С. 9–12. При этом сам В. А. Подорога даёт в своём труде вполне внятную и работающую формулу ГУЛАГа в контексте биополитики: «ГУЛАГ — в целом лагерь трудовой, в отличие от нацистских лагерей смерти, которые были экспериментальными, лабораторией невиданного евгенического эксперимента. Освенцим — фабрика технологий смерти (точнее — умерщвления) и, конечно, не имеет ничего общего ни с обычными лагерями для перемещённых или подозрительных лиц, содержащихся в заключении на время военных действий. Освенцим — биологический образец уничтожения населения» (В. А. Подорога. Апология политического. М., 2010. С. 40, прим. 19).

<sup>210</sup> В России из пленных австро-венгерской армии для участия в войне на стороне России формировались этнические части из чехов и словаков, сербов и хорватов. Противники России традиционно делали подобную ставку на украинцев и поляков. См. пример современного украинского исследования того, как украинских солдат Российской империи в германском плену небезуспешно старались превращать в солдат украинской независимости, действующей под германским протекторатом (См.: И. И. Саввич. Военнопленные украинцы в лагерях Австро-Венгрии и Германии в период Первой мировой войны: выучка и организация быта. Дисс. к.и.н. Львов, 2007). Командующий финскими частями вспоминал, что в начале 1918 при разоружении русских гарнизонов в Финляндии «украинцы и поляки освобождались немедленно» (Карл Густав Маннергейм. Мемуары. М., 2011. С. 99). Точно так же украинцы и «прибалты» освобождались из гитлеровского плена в 1941 году. Ясно, что и польские, литовские, латвийские и эстонские кадры независимых Польши, Литвы, Латвии и Эстонии 1918 года, провозглашённых под гарантии германских оккупационных войск, также были отчасти продуктом подобной этнической инженерии.

колониальных стереотипов по отношению к восточным соседям. Данные коды определяли условия содержания российских военнопленных, дисциплинарные практики, судебные приговоры, место в системе принудительного труда... Пренебрежение к восточноевропейцам становится более явным на фоне более уважительного обращения немецкой стороны с пленными англичанами, французами и бельгийцами»<sup>211</sup>. Ужесточение следствий, вытекающих из многовековых цивилизаторских стереотипов в отношении России, наличие неких кодов, приобретающих особую силу в условиях тотализации войны, в принципе, могут отчасти быть отнесены к генезису нацистских лагерей, когда О. С. Нагорная затрагивает тему сталинизма, включаясь в обсуждение дискуссионного «тезиса о прототипе». Но оказывается, она не шутя ограничивает исторические контекст и глубину предпосылок, полагая возможным серьёзно анализировать «утверждение о решающей роли лагерей Первой мировой войны как предшественников ГУЛАГа и нацистских лагерей»<sup>212</sup>. Как же мыслимо говорить на методологически модном языке военно-общественной «тотализации», если на деле всерьёз допускать, что «решающую

<sup>211</sup> В исследовании Бельгии О. С. Нагорной можно порекомендовать ознакомиться с авторитетным трудом о том, как именно пример оккупированной немцами Бельгии в Первую мировую войну — в противовес прекраснотушью русской исследовательницы — приобрёл особый политический и правовой вес: «Оккупация Бельгии [Германией в 1914 году] продлилась намного дольше, чем ожидалось [в соответствии с планами «скоротечной войны»]. Поскольку раздел гаагских правил (1907) о «военной власти на территории неприятельского государства» рассматривает главным образом такие старомодные вопросы, как собственность, налогообложение и репарации, Германии пришлось изобрести политику оккупации, которая со временем стала включать и насильственную депортацию рабочей силы в Германию, и эксплуатацию скудных ресурсов Бельгии в таком масштабе, что только благодаря реализации нейтральными государствами плана помощи голодающим был предотвращён массовый голод в стране. Вопрос о том, насколько ли Германия отступила в своих оккупационных методах от неопределённого, но безусловно признанного обычного юридического обязательства обходиться с гражданским населением занятых территорий настолько гуманно, насколько позволяют обстоятельства, стал предметом яростных споров и до сих пор является в какой-то степени открытым. Ответ Германии на этот упрёк, как и на многие другие, касающиеся её методов ведения войны, заключался в том, что другие страны, окажись они на её месте, были бы вынуждены во многом вести себя так же» (*Джеффри Бест*. Война и право после 1945 г. [1994]. М., 2010. С. 85).

<sup>212</sup> О. С. Нагорная. Военный плен Великой войны на Восточном фронте: опыт, память, исследовательские перспективы. С. 125–126, 130, 132.

роль» в создании в СССР системы принудительного труда сыграла не констелляция исторических фактов и процессов, а изолированный пример одной, даже стремящейся к тотальности войны, словно тотальность эта стала возможной и была изобретена лишь на войне, а не благодаря растущей тотальности индустриальной биополитики, колониализма и серии войн? Плодовитый историк украинского воинствующего национализма и националистического подполья периода Второй мировой войны А. Гогун выступил с неожиданным неуместно морализирующим «открытием» из сферы тотальной войны: оказывается, «войну на уничтожение» придумал и инициировал Сталин, обращаясь в 1941 году с призывом чинить оккупантам все мыслимые препятствия<sup>213</sup> (далее следует ожидать давно известного из нацистской пропаганды хода мысли о том, что евреи, комиссары и НКВД специально вызвали с помощью партизанского сопротивления оккупантам массовый антипартизанский террор и геноцид, чтобы осложнить положение гитлеровцев и испортить им репутацию). О доктринальных и «цивилизационных» причинах гитлеровской «войны на уничтожение» на Востоке изрядно сказано и западными вообще, и немецкими в частности<sup>214</sup>, и отечественными историками, игнорировать их труды — профессиональное повреждение. Но ещё большим повреждением (особенно для исследователя партизанской войны ОУН-УПА) представляется презумпция того, что в эпоху тотальной войны некий вождь в 1941 году может одним риторическим усилием породить теорию и практику «войны на уничтожение».

Этот случай заставляет сделать новый экскурс в историю и контекст идеи тотальной войны, чтобы ещё раз обнаружить её неразрывную связь с «войной на уничтожение». В связи с этим стоит обратить внимание на предвоенный и военный опыт начала XX века, особенно — опыт его морального и политического переживания в прессе и обществе в целом. Например, в своей книге-утопии французские ре-

<sup>213</sup> О речи Сталина от 3 июля 1941 (с призывом к «взрыву мостов, дорог, порчи телеграфной и телефонной связи, поджогу лесов, складов и обозов... хлеб и горючее, которое не может быть вывезено, должно быть уничтожено»): А. Гогун. «Создавать невыносимые условия для врага и всех его пособников...» // Новый Часовой. СПб., 2010. № 19–20.

<sup>214</sup> *Franz Guntber*. Die Vernichtungsschlacht in kriegsgeschichtlichen Beispielen. Berlin, 1928; *J. L. Wallach*. Das Dogma der Vernichtungsschlacht. Die Lehren von Clausewitz und Schlieffen und ihre Wirkung in zwei Weltkriegen. Frankfurt a. M., 1967.

волюционные синдикалисты, хорошо известной в русском переводе с предисловием П. А. Кропоткина (1842–1921), дали такое описание будущей революционной войны с внешним врагом — как войны тотальной: при отступлении революционной армии «продвижение [противника] вперёд было затруднено, благодаря различным препятствиям. Нельзя было и думать о том, чтобы использовать железнодорожные пути; помимо того, что мосты были перерезаны, туннели загромождены... дороги пострадали не меньше... Воды не было. Колодцы и ключи были заражены; ручьи и реки несли воды, загрязнённые химическими веществами, вонючими и вредными. Всё население ушло, — уведя с собой скот и уничтожив запасы продуктов и урожая, которые оно не смогло унести с собой. Это было хуже, чем пустыня! Вражеские войска встречали перед собой только следы разрушения и опустошения»<sup>215</sup>. Известный русский писатель-гуманист так описывал в своей корреспонденции из Франции отклик обществ стран Антанты на немецкие авиабомбардировки французских городов и английского побережья в июне 1915 года: в качестве ответа известный французский публицист Г. Эрве предложил применение «удушающих газов», а русский политик М. В. Родзянко (1859–1924) подчеркнул: «Я считаю необходимым отвечать немцам той же мерой. Если они пользуются ядовитыми газами, мы должны придумать ещё более разрушительное средство. Когда человека хватают за горло, не время думать о нравственности способов обороны. Все средства хороши, если ведёт к цели», а другой русский политик Н. И. Гучков (1860–1935) сформулировал: «Чтобы не дать себя уничтожить, мы не только можем, но и должны начать применять самые ужасные способы борьбы»<sup>216</sup>. Историк свидетельствует о проводившемся на другом европейском фронте — Австро-Венгрии против Италии тотальном изъятии продовольствия и одежды у оккупированного населения, грабительском самоснабжении оккупантов, во время которого «целые воинские подразделения зачастую сбивались в банды, терроризируя сельское население и вступая в вооружённые стычки с патрулями жандармерии»<sup>217</sup>. Итальянский генерал, теоретик

<sup>215</sup> Э. Пато, Э. Пуже. Как мы совершим революцию [1909]. М., 2011. С. 208.

<sup>216</sup> Неизданный В. Г. Короленко. Публицистика. 1914–1916 / Сост. Т. М. Макагоновой, И. Т. Пяттоевой. М., 2011. С. 119–121 («Опять возмездие», 1915).

<sup>217</sup> В. В. Миронов. Военнослужащие австро-венгерской армии и гражданское население оккупированных провинций Италии (1917–1918 гг.) // Австро-Венгрия:

воздушной войны Джулио Дуэ (1869–1930), сенсационно объяснивший обществам будущих войн их даже техническую обречённость стать мишенями тотальной войны, в первую очередь с воздуха<sup>218</sup>, писал: «Мировая война использовала все ресурсы втянутых в борьбу народов... Будущая война вновь вовлечёт целые страны со всеми их ресурсами, не исключая ни одного... “Не верьте, — сказал Фоккер, знаменитый авиационный конструктор, отлично знакомый с мышлением своих клиентов, говорящих на любом языке, — не верьте тому, что завтрашний неприятель, к какой бы стране он ни принадлежал, будет соблюдать различие между вооружёнными силами и гражданским населением своего противника”. Фоккер прав... Различие между сражающимися и не сражающимися в настоящее время неприемлемо ни юридически, ни фактически. Оно невозможно юридически — поскольку в странах, участвующих в войне, все работают на войну: солдат, держащий ружьё; рабочий, снаряжающий патроны; крестьянин, сеющий зерно; учёный, исследующий химический состав. Невозможно фактически — поскольку удары могут настичь всех граждан, а наиболее безопасным местом укрытия окажется окоп»<sup>219</sup>. Это неизбежно делало «войну на уничтожение» орудием и нападения, и обороны.

Даже в среде большевистских вождей Сталин 1941 года был отнюдь не первым и не оригинальным. Известно совместное обращение председателя ВЦИК РСФСР Я. М. Свердлова и председателя СНК РСФСР В. И. Ленина от 2 июня 1918 года ко всем губернским и уездным советам, в котором была дана детальная программа тотальной войны

---

Центральная Европа и Балканы (XI–XX вв.). Памяти В. И. Фрейдзона / Отв. ред. С. А. Романенко, И. В. Крючков, А. С. Стыкалин. СПб., 2011. С. 450–455.

<sup>218</sup> Памятуя долгую идейную историю «второго индустриального центра» России / СССР, можно отметить, что — с некоторым преувеличением, но — принципиально совершенно точно исследователи подчёркивают доминирующее значение для этого проекта фактора территориальной (то есть авиационной) неуязвимости: «Программа индустриализации, по замыслу руководства страной, воплощала задачу массированного «восточного дрейфа» тяжёлой индустрии и энергетики на Урал, в Сибирь и на Дальний Восток. Именно сюда в тот период не могли долететь самолёты ни одного из вероятных противников» (М. Меерович, Е. Коньшева, Д. Хмельницкий. Кладбище соцгородов: градостроительная политика в СССР 1928–1932 гг. С. 90).

<sup>219</sup> Джулио Дуэ. Вероятные формы будущей войны [1928] // Джулио Дуэ. Господство в воздухе. Вероятные формы будущей войны; А. М. П. Вотьё. Военная доктрина генерала Дуэ. СПб., 2003. С. 234, 265, 284–285, 295.

для отступающей перед немецкими оккупантами советской власти: «В первую голову вывозить боевые запасы. Все, что не будет вывезено, должно быть подожжено и взорвано. Зерно и муку увозить или зарывать в землю. Чего нельзя зарывать — уничтожать. Скот угонять. Машины вывозить целиком или по частям. Если нельзя увезти — разрушать. Невывезенные металлы — закапывать в землю. Паровозы и вагоны угонять вперед. Рельсы разбирать. Мосты минировать и взрывать. Леса и посевы за спиной неприятеля сжигать»<sup>220</sup>.

Современный историк права так описывает общие итоги Первой мировой войны в отношении гражданского населения:

«Практически весь корпус права, который до 1914 г. как будто регулировал отношения воюющих сторон друг с другом и с нейтральными государствами во время войны, практически полностью оказался выброшенным за борт, как и должно было произойти, учитывая лежавшие в его основе посылки об ограниченной войне и неизбежную его неспособность предусмотреть изобретение радикально новых видов вооружения, на применении которых обязательно будут настаивать государства, оказавшиеся в состоянии тотальной войны... В условия распространения новых вооружений, обладавших мощной убойной и разрушительной силой, но лишённых отработанной целкости и точности поражения, «вопросы избирательности и соразмерности приобрели беспрецедентно важное значение, но самым злободневным стал вопрос намерения: какие именно составляющие экономики противника и группы населения подверглись атаке? Ни в одной области ведения боевых действий центральный юридический принцип неприкосновенности гражданских лиц не был окутан столь опасным туманом... Вопросы приобретают другое звучание, когда гражданское население принадлежит к нации, которая переходит в состояние “единого военного лагеря”, мобилизуя (как это часто делалось в прошлом) всё взрослое трудоспособное население и подростков на работу в военной экономике и ставя под ружьё всех мужчин в возрасте от 16 до 60 лет. Где бы это ни происходило (впервые в истории Нового времени это впечатляющим образом было осуществлено в революционной Франции), вероятное участие гражданского населения в экономике,

<sup>220</sup> В. И. Ленин, И. В. Сталин. О защите социалистического отечества. М., 1945. С. 41.

едва ли не полностью мобилизованной для нужд национальной обороны, сильно затрудняет отнесение его к некомбатантам с той чёткостью и определённой, как того требует принцип неприкосновенности некомбатантов... Возникновение массовой политики породило неудобные вопросы по поводу того, отделено ли в реальности гражданское население от военных действий... Почему "гражданское население" экономически развитого региона государства-нации, участвующего в тотальной войне, не должно нести свою долю опасностей и страданий, на которые оно обрекает своих солдат (вопрос, на который даже такой совестливый и гуманный человек, как Авраам Линкольн, не нашёл утешительного ответа)?... Первая мировая война очень сильно изменила весь контекст, в рамках которого оперировало право войны и в котором оно только и могло быть правильно понято... Все потенциальные воюющие стороны, по мере того как перспектива грядущей войны становилась всё более очевидной, готовились к худшему: переносить то, что представлялось неизбежным и, если хватит силы проявить инициативу, причинить как можно больше вреда противнику»<sup>221</sup>.

Существенно и то, что дальнейшее развитие права не только не избавило граждан от угрозы тотального насилия, но и прямо его легитимировало: «Суждения, содержащиеся в приговорах Международного военного трибунала и других судебных приговоров в Нюрнберге, не запрещали полностью и однозначно применение коллективных наказаний на оккупированных территориях; не запрещали они взятие и даже *in extremis* пропорциональную казнь заложников оккупационными армиями; не исключали возможности, что коллективное наказание, взятие заложников и прочие жестокости по отношению к населению оккупированной территории могут на самом деле быть оправданными в качестве репрессалий. Но, с негодованием отвергая ту лёгкость, с которой границы юридически допустимого растягивались, чтобы включить в них действия чисто террористические и/или направленные на поголовное истребление, и получали обоснование в чересчур вольном толковании военной необходимости, суды настаивали, что такие меры могут применяться только тогда, когда они адекватны, избирательны, пропорциональны и в любом случае явля-

---

<sup>221</sup> Джеффри Бест. Война и право после 1945 г. С. 86–88, 90, 93, 101–102.

ются последним средством». В числе мер, которые были признаны необходимым прежде расстрела заложников: «задержание подозрительных лиц», «эвакуация населения из беспокойных районов», «принудительные работы по ликвидации ущерба от диверсий»<sup>222</sup>.

Наконец, в ходе гражданской войны между поддержанной СССР и Китаем Северной Кореей и Южной Кореей, поддержанной «войсками ООН» во главе с США (1950–1953), как свидетельствует историк, «в наибольшей были опустошены северные районы Кореи — не только материальные разрушения были катастрофическими, но эти районы ещё и обезлюдели в результате смертей — вполне достоверные оценки количества погибших колеблются в диапазоне между 12 и 15% — и оставления места жительства; причиной массового бегства людей на юг был просто-напросто голод, а не какие-либо политические предпочтения. Военные действия велись настолько жестоко и несдержанно, насколько это вообще возможно. Пропорциональность и избирательность не принимались во внимание; если имелась возможность причинить разрушения, то она, как правило, максимально использовалась, особенно американскими ВВС...»<sup>223</sup> Стоит ли в таких исторических условиях морализировать о риторике «войны на уничтожение», зная о доминирующей практике, в которой существует эта риторика?

Ещё задолго до Первой мировой войны знаменитый британский социал-либеральный экономист Джон Гобсон (1858–1940) дал афористическое именование тому процессу, что протекал на его глазах в передовых европейских странах, понимая, что речь о процессе, прямые и косвенные последствия которого затрагивают всё общество, новую суть событий в капиталистическом развитии он назвал так: «Замещение военного дела индустриализмом»<sup>224</sup>. Давно исследована и концептуализирована тесная связь индустриализации с разрушением феодальных корпоративно-сословных систем, становлением «гражданских наций», демократизацией военных повинностей. Всё это вместе взятое породило развитые и разветвлённые в производных сферы социального знания, в Германии, например, обеспечившие доминирование в деле социально-экономического управления катедер-

---

<sup>222</sup> Там же. С. 307–308.

<sup>223</sup> Джеффри Бест. Война и право после 1945 г. С. 547.

<sup>224</sup> Дж. Гобсон. Эволюция современного капитализма [1894]. М., 2010. С. 403.

марксистов, кабинетных социалистов, корпоративных апологетов государственного контроля, сторонников монархически покровительствуемой социальной политики, всепроникающую интеллектуальную моду на политический социал-реформизм. Но прав исследователь русских военно-общественных отношений в эпоху индустриальной мобилизации: следуя своим немецким учителям, русские марксисты и большевики проявили гораздо более вкуса к социальным наукам, чем их создатели в Англии или Америке<sup>225</sup> (для которых в целом, по-видимому, уже не стояла задача социальной мобилизации, ибо самой системой передового капитализма она была решена). Мобилизуя общество, русская власть оказалась перед задачей заменить уходящую через сито всеобщей воинской повинности систему патриархальных отношений, архаичной солидарности — новым единством. Но проиграла тому, что в войну обнажилось в основе новой солидарности — тотальности насилия и этническому национализму<sup>226</sup>.

Демократические и общегражданские корни тотальной милитаризации, насилия и труда, были доктринально осмыслены марксистами ещё в начале строительства единой Германии, вступившей на путь доминирования в Европе в единстве военного, индустриального, социального строительства. Это было хорошо известно и тем в России, кто следил за историей Интернационала (Международного товарищества рабочих, 1864–1876) Карла Маркса, который ещё на первом своём конгрессе в Женеве в ноябре 1864 года принципиально обсудил перечень именно этих вопросов как самых актуальных: кооперации, женского и детского труда, профсоюзы, налоги, кредит, вооружение народа вместо постоянного войска и даже «вопрос о сущности религиозной идеи»<sup>227</sup>.

Первичную, генетическую связь Просвещения и рационализма с массовым насилием давно уже сформулировал Фридрих Энгельс (1820–1895): «Мы видели (...) каким образом подготовлявшие революцию французские философы XVIII века апеллировали к разуму как к единственному судье над всем существующим. Они требовали установления разумного государства, разумного общества, требовали без-

<sup>225</sup> *Josua A. Sanborn. Drafting the Russian Nation: Military Conscription, Total War and Mass Politics, 1905–1925. DeKalb (Illinois), 2003. P. 95.*

<sup>226</sup> *Ibidem. Chapter 5: Violence and the Nation.*

<sup>227</sup> *А. Брам [Н. В. Крыленко]. В поисках «ортодоксии». СПб., 1909. С. 48.*

жалостного устранения всего того, что противоречит вечному разуму. (...) Государство разума потерпело полное крушение. Общественный договор Руссо нашёл своё осуществление во время террора, от которого изверившаяся в своей политической способности буржуазия искала спасения сперва в подкупности Директории, а в конце концов под крылом наполеоновского деспотизма. Обещанный вечный мир превратился в бесконечную вереницу завоевательных войн»<sup>228</sup>.

Энгельс, формулируя теорию насилия нового времени, приходил к положениям, а его правящие наследники-коммунисты включали их в свою именно военную хрестоматию, о том, что в определённую историческую эпоху «производство развилось настолько, что человеческая рабочая сила могла произвести теперь больше, чем требовалось для простого поддержания её; средства для содержания большого количества рабочих сил имелись налицо, имелись также средства для применения этих сил; рабочая сила приобрела стоимость... военнопленные приобрели известную стоимость; их начали поэтому оставлять в живых и стали пользоваться их трудом. Таким образом, насилие, вместо того чтобы господствовать над хозяйственным положением, было вынуждено, наоборот, служить ему. Рабство было открыто». Теперь «милитаризм господствует над Европой и пожирает её. Но этот милитаризм таит в себе зародыш собственной гибели... Что оказалось “первичным” в самом насилии? Экономическая мощь, обладание мощными средствами современной промышленности. Политическая сила... опосредствована экономической силой, высоким развитием металлургии, возможностью распоряжаться искусными техниками и богатыми угольными копями... Победа насилия основывается на производстве оружия, а производство оружия, в свою очередь, основывается на производстве вообще, следовательно — на “экономической мощи”, на “хозяйственном положении”, на материальных средствах, находящихся в распоряжении насилия»<sup>229</sup>.

Ученик Энгельса Карл Каутский (1854–1938) детализировал прогнозируемое им *самоотрицание милитаризма в общественной*

<sup>228</sup> Ф. Энгельс. Анти-Дюринг. Переворот в науке, произведённый господином Евгением Дюрингом [1877–1878] // К. Маркс, Ф. Энгельс. Сочинения. Т. 20. М., 1961. С. 267.

<sup>229</sup> Ф. Энгельс. Избранные военные произведения. М., 1957. С. 11, 15, 18, 24–25 («Анти-Дюринг», 1878).

*и государственной всеобщности, полном равенстве как тотальности* — в утверждении всеобщего вооружения большинства, ведущего свою классовую борьбу с оружием в руках, в «вооружении народа», расширяя до почти всеобщности контекст революционной мобилизации, конфликта и социальной революции: «грядущая революция будет в меньшей степени походить на внезапное возмущение против властей и в большей степени на продолжительную гражданскую войну, — если бы с этим последним не соединялось представление о настоящих войнах и побоищах... Войны нельзя вести без напряжения всех сил народа». В таких условиях «организационной» эрозии подвергается и понимание борьбы социалистов за государственную власть, где первоначальные задачи достижения справедливости или классового социализма отходят на второй план перед общими, внеклассовыми, социально нейтральными задачами управления и мобилизации ресурсов: «Дело в том, что война является самым нерациональным средством... Она приносит с собою такие страшные опустошения, предъявляет такие огромные требования к государству, что вытекающая из войны революция сильнейшим образом обременяется такими задачами, которые ей несвойственны и которые поглощают на время все её средства и силы»<sup>230</sup>. Впоследствии критикуя большевиков за практику их революционной власти, Каутский показал, что вполне адекватно оценил перемены, произошедшие с государством на Западе: «Современное государство — строго централизованная организация, располагающая громадной силой внутри современного общества; вторгающаяся в частную жизнь каждого, что всего ярче обнаруживается во время войны. В такой момент каждый чувствует, как его существование определяется политикой государственной власти»<sup>231</sup>. Всё это, начиная с социалистической проповеди всеобщего вооружения народа как единственного способа «дисциплинирования масс»<sup>232</sup>, «прошивало» нарастающие исторические события во всё бо-

<sup>230</sup> К. Каутский. Социальная революция [1902]. М., 2012. С. 53, 56, 59.

<sup>231</sup> К. Каутский. Диктатура пролетариата [1919] // К. Каутский. Диктатура пролетариата. От демократии к государственному рабству. Большевизм в тупике. [Сб.]. М., 2002. С. 47.

<sup>232</sup> См. также очерк «Милиция и постоянные войска» марксистского классика, идеологического вождя германской социал-демократии: Ф. Меринг. Очерки по истории войны и военного искусства [1908]. М., 2011. С. 300.

лее широком и хронологически длительном контексте, когда о подготовке к тотальной войне путём всё более тотальной мобилизации уже многие годы «говорил весь мир» и которую «делал весь мир».

В этом контексте особый избирательный смысл приобретает «руководящая» для СССР (несмотря на своё скорое политическое в нём поражение) идеологическая интерпретация военных обзоров Энгельса о франко-прусской войне 1870–1871 гг. высшим военным руководителем Советской власти Львом Троцким (1879–1940). Троцкий здесь вновь утверждает вторичный и прикладной смысл революционного «патриотизма» по сравнению с мировыми классовыми интересами пролетариата, но центр современного военного опыта полагает в том, что классическая социал-демократия привыкла решительно осуждать, хоть в большинстве своём и поддержала свои национальные правительства в Первой мировой войне, — в апологии **милитаризма как едва ли не нейтрального инструмента** мировой политики: доверенный социал-демократический

«оппортунизм выразился именно в поверхностно-пренебрежительном отношении к милитаризму, не заслуживающему просвещённого социал-демократического внимания. Империалистическая война 1914–1918 гг. снова напомнила — и с какою ужасающе беспощадностью! — что милитаризм не есть лишь объект для трафаретной агитации и парламентских выступлений. Застигнув врасплох социалистические партии, война превратила формально-оппозиционное отношение к милитаризму в коленопреклонённое. Лишь октябрьской революции дано было не только принципиально восстановить активно-революционное отношение к военным вопросам, но и практически повернуть острие милитаризма против господствующих классов. Мировая революция доведёт эту работу до конца»<sup>233</sup>.

Приобретённая Троцким в ходе Гражданской войны в России вера в милитаризм (как минимум, для революционной войны в интересах мировой революции) — в соединении с модерной, просвещенческой, марксистской общегражданской, общенациональной, народнохозяй-

<sup>233</sup> Л. Троцкий. Предисловие к русскому изданию // Фридрих Энгельс. Статьи о войне. 1870–1871. М., 1924. С. XIX (19 марта 1924).

ственной тотальностью — на практике находила своё логичное выражение во всеобщей мобилизации общества и экономики военного времени и в её продолжении в мобилизации межвоенного периода, консенсус которого состоял в подготовке к новой мировой войне. Немецкий мыслитель и участник обеих мировых войн, Эрнст Юнгер (1895–1998) писал в Германии, в самом эпицентре межвоенной мобилизации:

«В войне... решающую роль должно было играть то отношение, в каком отдельные её участники находились к прогрессу. И в самом деле, в этом следует искать собственный моральный стимул этого времени, тонкое, неуловимое воздействие которого превосходило мощь даже наиболее сильных армий, оснащённых новейшими средствами уничтожения эпохи машин, и который, кроме того, мог набирать себе войска даже в военных лагерях противника. Чтобы представить этот процесс наглядно, введём понятие **тотальной мобилизации**... Защищать свою страну с оружием в руках... становится задачей каждого, кто вообще способен носить оружие... Наряду с армиями, бьющимися на полях сражений, возникают новые армии в сфере транспорта, продовольственного снабжения, индустрии вооружений — в сфере работы как таковой. На последней, к концу этой войны уже наметившейся стадии этого процесса нет уже ни одного движения, — будь то движение домработницы за швейной машиной, — которое, по крайней мере, косвенно не имело бы отношения к военным действиям... Для развёртывания энергий такого масштаба уже недостаточно вооружиться одним лишь мечом, — вооружение должно проникнуть до мозга костей, до тончайших жизненных нервов. Эту задачу принимает на себя тотальная мобилизация, акт, посредством которого широко разветвлённая и сплетённая из многочисленных артерий сеть современной жизни одним движением рубильника подключается к обильному потоку воинственной энергии... К началу войны человеческий рассудок ещё вовсе не предвидел возможности столь масштабной мобилизации. И тем не менее она сказывалась в некоторых мероприятиях уже в самые первые дни войны — например, в повсеместном призыве добровольцев и резервистов, в запретах на экспорт, в цензурных предписаниях, в изменениях золотого содержания валют. В ходе войны этот процесс усилился. В качестве примеров можно назвать плановое распределение сырьевых запасов и продовольствия, переход от рабочего режима к военному, обязательная

гражданская повинность, оснащение оружием торговых судов, небывалое расширение полномочий генеральных штабов... совмещение военного и политического руководства... Предел возможностей всё же ещё не был достигнут. Достичь его — даже если ограничиться рассмотрением чисто технической стороны этого процесса — можно лишь в том случае, если образ войны уже вписан в порядок мирного времени. Так, мы видим, что во многих послевоенных государствах новые методы вооружения приспособлены уже к тотальной мобилизации. Здесь можно упомянуть о таком явлении, как возрастающее урезание индивидуальной свободы, то есть тех притязаний, которые, на самом деле, уже издавна вызывали сомнение. Это вмешательство, смысл которого состоит в уничтожении всего, что не может быть понято как функция государства, мы встречаем сначала в России и в Италии, а затем и у нас дома, и можно предвидеть, что все страны, в которых живы ещё притязания мирового масштаба, должны предпринять его, с тем чтобы соответствовать новым, вырвавшимся на свободу силам... Поучительно видеть, как захлебывается здесь экономическое мышление. «Плановая экономика» как один из последних результатов демократии перерастает самое себя, сменяясь развёртыванием власти как таковой... Уже в этой войне было не важно, в какой степени государство являлось милитаристским или в какой оно таковым не являлось. Было важно, в какой степени оно было способно к тотальной мобилизации»<sup>234</sup>.

Примечательно, что польско-британский исследователь идеократии и принудительного труда в сталинском СССР, урождённый русский подданный, Станислав Свяневич (1899–1997) начал в 1920-е гг. свои научные труды именно с выяснения иррациональных основ экономики в трактовке Жоржа Сореля (1847–1922)<sup>235</sup>, вождя французского анархизма, имевшего перед своими глазами полную гамму европей-

<sup>234</sup> Э. Юнгер. Тотальная мобилизация [1930] // Э. Юнгер. Рабочий. Господство и гештальт. Тотальная мобилизация. О боли / Пер. А. В. Михайловского. СПб., 2002. С. 446–447, 449–452, 457.

<sup>235</sup> М. Корнат. Свяневич, Ленин и тоталитаризм, или О пользе истории идей в поисках понимания России // Nowa Europa Wschodnia / Новая Восточная Европа. Специальный выпуск 2011/2012. [Wrocław, 2011]. S. 142, 147. Труды Свяневича: The Impact of Ideology on Soviet Economic Policy (1969), Coercion and Economic Growth: In The Light of Soviet Experience (1960), Forced Labour and Economic Development. An Enquiry into The Experience of Soviet Industrialization (1965, 1985).

ских событий XIX века, но отнюдь не русскую крестьянскую общину, якобы перерастающую в антизападный сталинизм.

Другой, кроме Э. Юнгера, столп немецкой мысли XX века и глубокий свидетель исторических перемен, Освальд Шпенглер (1880–1936) в те же годы метко обнаруживал, что именно британский либерализм и социальная политика меркантилировали массовый труд («в Англии манчестерское учение о свободной торговле применялось профсоюзами к торговле таким товаром как рабочая сила») и убедительно анализировал итоги капиталистических индустриализации, милитаризации и колониализма, фундаментально изменяющих, если угодно прибегать к таким формулировкам, сам «цивилизационный код» либерального Запада: «Над всеми городами Европы и Америки раздавались триумфальные возгласы о “прогессе человечества”, который ежедневно подтверждался постоянно растущей длиной железнодорожных линий и редакционных статей, высотой фабричных труб и успехов радикалов на выборах, толщиной брони и пакетов акций в сейфах. Эти триумфальные возгласы заглушили канонаду американских орудий по испанским кораблям в Маниле и Гаване и даже канонаду новых японских орудий навесного огня, с помощью которых избалованные и превозносимые глупой Европой маленькие жёлтые люди доказали, на сколь слабые основания опиралось её техническое превосходство, а России, прикованной взглядом к своей западной границе, весьма чувствительно напомнили о существовании Азии...». К 1914 году в Европе «место непосредственной войны заняла опосредованная война в виде постоянного повышения боеготовности, темпов вооружений и технических открытий — война, в которой также были победы, поражения и недолговечные мирные договоры. Но этот способ скрытой войны предполагает национальное богатство, которого смогли достичь страны с крупной промышленностью. В значительной части оно состояло из самой этой промышленности в той мере, в которой та представляла капитал, предпосылкой же промышленности было наличие угля, на месторождениях которого она основывалась,... сильная экономика стала решающей предпосылкой для ведения войны; за это она требует первостепенного внимания, и теперь во всё возрастающей мере пушки начинают служить углю... Колониальная и заокеанская политика превращается в борьбу за рынки сбыта и источники сырья для промышленности, в том числе во всё возрастающей мере

за месторождения нефти. Ибо нефть начинает подавлять и вытеснять уголь». «Большевизм, — отмечает О. Шпенглер, — недостаточно осознаёт своё западноевропейское, рационалистическое и городское происхождение... Чтобы сделать бессмысленными любые попытки завоеваний, большевики переместили центр тяжести своей системы дальше на восток. Все стратегически важные промышленные районы были созданы восточнее Москвы, большей частью восточнее Урала — вплоть до самого Алтая, а на юге — до Кавказа. Всё пространство западнее Москвы, а также Белоруссия, Украина, некогда самый жизненно важный район царской империи от Риги до Одессы, образуют сегодня фантастический гласис против “Европы” и может быть легко принесён в жертву, не приводя к крушению всей системы»<sup>236</sup>.

<sup>236</sup> О. Шпенглер. Годы решений [1933]. М., 2006. С. 40, 50, 54–55, 63, 64. Остаётся только удивляться, почему Гитлер, начиная войну против СССР, так и не принял во внимание предупреждений Шпенглера, как многих других, об этом сталинском гласисе (в фортификации: пологом откосе перед наружным рвом крепости) на пути нацистской агрессии. Об этой гибельной для Гитлера недооценке СССР см.: D. Kahn. Hitler's Spies. German Military Intelligence in World War II. L., 1978 (Ch. 24: The Greatest Mistake). См. также директиву главы МИД Германии И. Риббентропа немецкому посланнику в Ирландии по вопросу сепаратного мира Германии с Великобританией и США от 16 февраля 1945: «новым и самым важным фактором, вскрытым нынешней войной, является военная мощь Советского Союза. (...) военная промышленность [СССР], созданная в рамках всего нескольких лет, разбросана по всей стране и практически не подвержена опасности атак» (Мировое равновесие и «вакуум силы»: Прогноз министра иностранных дел Германии о судьбах послевоенного мира с приложением документов по истории сепаратных переговоров Германии и союзников / Публ. В. Ерошина и В. Ямпольского // Неизвестная Россия. XX век / Гл. ред. В. А. Козлов. Кн. II. М., 1992. С. 303, 309). Немецкий историк подчёркивает, помимо прочего, пространственную ошибку Гитлера, устремившегося за Lebensraum в СССР: «Наиболее роковые последствия имела принципиально ошибочная оценка советских вооружённых сил. В огромной степени недоучитывались способность к сопротивлению и готовность к борьбе красноармейцев, особенно на просторах их страны» (Г.-А. Якобсен. О соотношении целей и средств у Клаузевица и во Второй мировой войне: взгляд из Германии // Германия и Россия в судьбе историка: Сборник статей, посвящённый 90-летию Я. С. Драбкина. М., 2008. С. 339). Интересное свидетельство приводит российский историк: маршрут «туристической» поездки военного атташе Германии в Москве по СССР в мае–июне 1937 отвечал цели исследования военно-стратегического потенциала СССР и пролегал: Черноземье, Украина, Крым, Донбасс, Кубань, Кавказ, Горький (Нижний Новгород), Куйбышев (Самара), Сталинград. За Урал его не пустили, в итоге он признал невозможность полного исследования (Ю. Кантор. Заключая дружба. Секретное сотрудничество СССР и Германии в 1920–1930-е гг. СПб., 2009. С. 282–284, 286). Впрочем, для понимания мас-

Касаясь принудительного труда в плане военной мобилизации, американский военный теоретик Клаус Кнорр (1911–1990) уже после Второй мировой войны сухо резюмировал общецивилизационный опыт: помимо экономических методов — мобильность рабочей силы во время войны обеспечивается также и «эффективным принуждением»: «Во время войны... цели, которыми обычно определяются экономические интересы в капиталистическом обществе, отходят на второй план... война больших масштабов ведёт к сужению личной свободы... Во всех странах, за исключением тоталитарных, исполнительная власть должна выполнять задачи, значительно ограничивающие свободу»<sup>237</sup>. Другой стратег из США детализирует эту мысль: «Одной из наиболее характерных черт современной войны, несомненно, является создаваемый ею огромный спрос на гражданскую рабочую силу... Повсюду начинаются лихорадочные поиски дополнительных рабочих рук. На работу привлекают калек и инвалидов. Старых рабочих отзывают из «отставки». На работах, на которые раньше допускались только мужчины, используется много женщин» — и в условиях США того времени: неполноправные негры и мексиканцы<sup>238</sup>. Их немецкий современник подтверждает: во время войны, «как только достигается сравнительно полная занятость, возможности дальнейшего расширения производства резко ограничиваются. Фактически дополнительное увеличение производства может быть достигнуто в этом случае лишь путем удлинения рабочего дня или путем роста производительности труда. Во время войны самым простым мероприятием, конечно, является удлинение рабочей недели. А при тотальной военной экономике, когда возникает необходимость в массовом военном производстве, рано или поздно продолжительность рабочей недели доводится

---

штабов «второго центра» достаточно было читать советские газеты. И всё же даже у союзного СССР британского вождя отмобилизованный потенциал СССР вызывал некоторое удивление, но отнюдь не в конце войны: «Весь мир изумлён тем, какую гигантскую силу России удалось сосредоточить и применить» (*Уинстон Черчилль*. Мускулы мира [Избранные речи, 1938–1946] / Сост. Л. Яковлева. М., 2011. С. 364, 367 (29 ноября 1942)). См. также: *М. И. Альтерман*. Историки ФРГ об оценке военно-политическим руководством гитлеровской Германии обороноспособности СССР накануне Великой Отечественной войны. Дисс. к.и.н. СПб., 2007.

<sup>237</sup> К. Кнорр. Военный потенциал государств [1956]. М., 1960. С. 101, 102, 352.

<sup>238</sup> Х. Люмер. Военная экономика и кризис [1954]. М., 1955. С. 65.

до предела выносливости рабочих и даже превышает эти пределы». Например, в Германии — «к 1939 г. во многих отраслях военной промышленности стал правилом 11-, 12- и 14-часовой рабочий день при семидневной рабочей неделе» — даже на юридически частных предприятиях, в отношении граждански полноценных работников. «Наряду с этим на немецких предприятиях была введена... потогонная система. Неизбежным результатом этого явились полное физическое и умственное истощение рабочих и сокращение их выработки»<sup>239</sup>.

Сталинский ли все они описывали «тоталитаризм»? Только ли сталинский? И если да, то что нового он привнёс в человеческую практику, чтобы заслужить себе, кроме национально-исторического, это особенное имя, что изобрёл он такого, что не изобрела бы европейская современность (*modernity*) Нового времени? Итак, сталинский СССР был наивысшей точкой мобилизационного развития СССР<sup>240</sup>. Наиболее характерные социальные явления сталинизма — тотальный **социальный контроль**, массовые **репрессии** и массовый **принудительный труд**, подчинённые государственной политике коллективизации сельского хозяйства и индустриализации, отвечали не только марксистским догмам о концентрации производства как прямом пути к построению коммунизма и задачам подготовки СССР к тотальной войне, но и мировому опыту капитализма и колониализма. В близости тотальной войны, требующей тотальной мобилизации общества и государства, в Европе и мире никто в 1920–1930-е годы не сомневался.

Идеологический шок большевиков от неудачи «мировой революции» в 1918 (Германия) — 1919 (Венгрия) — 1920 (Польша) — 1923 (Турция и Германия) годах дополнился острым сознанием смертель-

<sup>239</sup> Ю. Кучинский. История условий труда в Германии. М., 1949. С. 78–79.

<sup>240</sup> Несмотря на то, что формального военно-стратегического паритета с США — своим главным противником во второй половине XX века — СССР достиг лишь в начале 1960-х гг. Все дальнейшие усилия по развитию советского коммунизма были исчерпаны практически одновременно со смертью последних сталинских назначенцев: «Умерли сталинские зубры М. А. Суслов (1982), Л. И. Брежнев (1982), А. Н. Косыгин (1980), Д. Ф. Устинов (1984), А. А. Громыко (1989) и представитель младшей сталинской номенклатуры Ю. В. Андропов (1984) — и умер СССР» (*М. К. [Рец. на:] И. В. Быстрова. Советский военно-промышленный комплекс: проблемы становления и развития (1930–1980-е годы). М., 2006 // Русский Сборник: исследования по истории России. М., 2010. С. 403–404).*

ной угрозы самому существованию той исторической государственности, в границах которой стабилизировался СССР и на владение ресурсами и уязвимостями которой он был обречён. Мировой опыт тотальной войны — каким он представлялся непосредственно после Первой мировой войны — делал уже недостаточными доктринально мотивированные попытки марксистских «всеобщего учёта и планомерности» (в троцкистском образе Госплана) ради технологического прогресса и уравнительной социальной справедливости. Он требовал от коммунистического руководства способности и одновременно подпитывал распространяющиеся как вирус претензии даже политически несамостоятельного военного руководства СССР «маневрировать всеми ресурсами страны». Несмотря на то, что в момент известного межведомственного спора о военном плане в марте 1930-го между М. Н. Тухачевским (1893–1937) и К. Е. Ворошиловым (1881–1969) Сталин принял сторону последнего, обвинив Тухачевского, можно сказать, в неадекватных масштабу экономики СССР военно-мобилизационных претензиях<sup>241</sup> (год спустя Сталин извинился перед Тухачевским, признав его принципиальную правоту), и то, что обвинять Тухачевского в крайнем мобилизационном милитаризме стало признаком хорошего исследовательского тона, реальность, по-видимому, состоит всё же в том, что в радикальном своём милитаризме Тухачевский лишь отражал межвоенный консенсус, сложившийся на Западе и в СССР. Известный участник англо-бурской войны, член британского правительства во время Первой мировой войны, не упускавший случая сослаться на этот свой руководящий опыт, идя к власти и стоя во главе Великобритании в годы Второй мировой войны, У. Черчилль неизменно рассматривал тотальную мобилизацию всех наличных и особенно трудовых ресурсов в качестве важнейшего элемента в системе подготовки к войне. В 1938 году, по итогам Мюнхенского соглашения Англии, Франции и Германии о разделе Чехословакии, предсказывая новую войну, Черчилль приветствовал «мобилизацию промышленности» и говорил: «Отныне надо приложить для перевооружения такие усилия, подобных которым ещё не было; этой цели

<sup>241</sup> Сталин о плане Тухачевского: план «нарушает в корне всякую мыслимую и допустимую пропорцию между армией, как частью страны, и страной, как целым, с её лимитами хозяйственного и культурного порядка» (Советское руководство. Переписка. 1928–1941. М., 1999. С. 113).

должны быть подчинены все ресурсы нашей страны и вся её сплочённая мощь»<sup>242</sup>. 27 апреля 1939 года в Великобритании была введена всеобщая воинская повинность. 27 января 1940 года Черчилль призвал: «Нужно в огромной мере увеличить количество нашей рабочей силы, в особенности квалифицированных и полуквалифицированных рабочих... Понадобятся миллионы рабочих; более миллиона женщин должны смело прийти на работу в нашу промышленность — на заводы боеприпасов, вооружения и самолётов»<sup>243</sup>. И уже через четыре дня министр труда и национальной трудовой повинности Великобритании объявил программу принудительного набора в промышленность мужчин и женщин. После двух мировых войн даже американскому стратегу было неприлично отрицать принудительный характер тотальной мобилизации в сфере труда, «эффективное принуждение» как фактор мобильности рабочей силы во время войны: «война больших масштабов ведёт к сужению личной свободы... Во всех странах, за исключением тоталитарных, исполнительная власть должна выполнять задачи, значительно ограничивающие свободу»<sup>244</sup>. Похоже, именно это повальное советское и иностранное увлечение тотальной подготовкой к войне всего действующего и живого критиковал старый русский военный специалист на советской службе генерал А. А. Свечин, когда писал, критикуя европейский (в первую очередь, французский) опыт подготовки к будущей войне, — «многие армии готовятся к войне так, как будто будущая война начинается с конца — мобилизованной в тылу промышленностью»<sup>245</sup>. Это значило, что идея такой предварительной, опережающей мобилизации доминировала в умах.

Современная наука, кроме раскрытия внутренних механизмов тотальных претензий индустриального милитаризма (войны и подготовки к войне), неслучайно вводит и более операциональное, нежели просто «принудительный труд», понимание **«биополитики»** или «политики населения» (подготовки и мобилизации живой силы

<sup>242</sup> У. Черчилль. Мускулы мира. [Избранные речи, 1938–1946] / Сост. Л. Яковлева. М., 2011. С. 68 (5 октября 1938).

<sup>243</sup> Там же. С.158 (27 января 1940).

<sup>244</sup> К. Кнорр. Военный потенциал государств. М., 1960. С. 352, 101, 102.

<sup>245</sup> Постигание военного искусства. Идейное наследие А. Свечина. М., 1999. С. 246 («Интегральное понимание военного искусства», июль 1926).

и массового труда). Анализ «политики населения» диктатур XX века естественным образом и неизбежно обращает исследование к их историческим предпосылкам в XIX веке, включающим в себя, в первую очередь, создание самих технологических возможностей и задач для «биополитики». Отдавая себе отчёт в том, что XIX век с его пафосом естественных наук, социал-дарвинизма<sup>246</sup> и позитивизма давно известен культурному сознанию как время претензий на общественную вивисекцию, символически дезавуированных в образе тургеневского Базарова, не стоит и забывать, что приоритетным применением социал-дарвинизма было не базаровское представление об общественной роли государства как селекционера, а доньше живое в сфере экономической теории представление о высшей справедливости самопроизвольной и самозаконной природной (рыночной) борьбы и естественного отбора, которое прямо эксплуатировал самый радикальный, фритредерский и манчестерский экономический либерализм, не стесняясь сопровождать социальные ужасы раннего капитализма экспериментаторской и расистской проповедью биологического лидерства<sup>247</sup>. Старый историк так описывал практику британского капитализма, которую сегодня можно назвать корпоративной биополитикой, которая расцвела исторически очень задолго до государственной биополитики и которая почти ничем не отличалась от рабства: в ней «работодатель, односторонне определяющий условия рабочего договора, получает неограниченную власть над физическим, духовным и моральным бытием рабочего, над его социальной и политической жизнью»<sup>248</sup>.

<sup>246</sup> О социал-расистских и социал-селекционистских выводах из наук XIX века о природе, обществе и человеке, в том числе учений Дарвина и Маркса, во Франции см: *Пьер-Андре Тагиефф*. Цвет и кровь: Французские теории расизма [1998]. М., 2009.

<sup>247</sup> Пример этого см. в творчестве известного британского экономического либерала: *У. Бейджот*. Естествознание и политика: Мысли о применении начал естественного отбора и наследственности к политическому обществу [1872]. М., 2012. С этой либерально-дарвинистской проповедью полезно сравнить и социалистический (анархический) дарвинизм: *П. А. Кропоткин*. Взаимопомощь как фактор эволюции (1902).

<sup>248</sup> *Луио Брентано*. История развития народного хозяйства Англии. Т. 3: Эпоха освобождения и новая организация хозяйственной жизни. Полутом 1: Подъём буржуазии и рабочего класса [1928] / Пер. с нем. С. Вольского под ред. В. А. Базарова. М.; Л., 1930. С. 203–216.

В сравнении с этим государственная биополитика, претендующая на роль «садовника» в социальной селекции, вполне выглядела гораздо менее людоедски.

Мишель Фуко, подробно исследовал механизмы социального контроля, функционирования экономической мысли и государственной экономической политики в Европе Нового времени, в преддверии и во время капиталистической индустриализации, в ходе фундаментальной институционализации **современности**. По определению Фуко, биовласть — «совокупность механизмов, посредством которых то, что определяет основные биологические признаки человеческого вида, может проникать внутрь политики, внутри политической стратегии, внутрь генеральной стратегии власти», «разновидность власти, имеющей в качестве главной цели население», её «познавательное обеспечение — политическая экономия», её «ключевой инструмент — устройство безопасности» в её полицейском, дисциплинарном смысле.

Уже «для меркантилистов XVII столетия население — это не просто образование, способное символизировать величие суверена, но составляющая, более того, базовая составляющая системы обеспечения могущества государства и верховного правителя. Население — именно основной элемент данной системы, элемент, определяющий все остальные. Почему? Прежде всего, потому, что оно является поставщиком рабочих рук для сельского хозяйства... выступает поставщиком рабочих рук и для мануфактур... представляет собой основной элемент обеспечения государственной мощи постольку, поскольку его увеличение ведёт к росту конкуренции на рынке рабочей силы, вследствие чего у предпринимателей, разумеется, появляется шанс нанимать рабочих за сравнительно низкую заработную плату. Но относительно низкая заработная плата оборачивается относительно низкой ценой производимых товаров и высокой доходностью их экспорта, что не может не служить ещё одним фактором, гарантирующим величие государства... Ещё больше о том, что проблема населения действительно была ключевой для политико-экономической мысли вплоть до XIX столетия, свидетельствует знаменитое противостояние Мальтуса и Маркса... Мальтус сконцентрировался на населении и вследствие этого придал своей мысли биоэкономическую направленность, в то время как у Маркса место населения заняли

классы, и он поэтому оперирует уже не биоэкономическим понятием населения, а историко-политическими понятиями класса, конфронтации классов и классовой борьбы. Да, переориентация с населения на классы оказалась переломным пунктом развития политико-экономической мысли, однако сама эта политико-экономическая мысль стала возможной только благодаря появлению феномена населения». В контексте биополитики и осознанных в начале XIX века задач международного внешнеполитического равновесия, ставших одним из итогов наполеоновских войн, касаясь известной мысли Клаузевица о том, что «война является продолжением политики», Фуко формулирует: «Война — это уже не обратная сторона деятельности людей... перед нами военно-политический комплекс, абсолютно необходимый для образования европейского равновесия в качестве механизма безопасности... война будет лишь одной из его функций. Понятно, что соотношение того, что представляют собой мир и война, соотношение гражданского и военного вновь вокруг всего этого переустраивается». Переустройство этого соотношения, известного военной науке как преобразование профессиональной воинской повинности во всеобщую, солдат в граждан-солдат, подразумевает биовласть как тотальность управления, включая появившиеся в индустриальной Европе такие сферы изучения и политики, как общественную гигиену и демографию: «Население как собрание подданных сменяется населением как совокупностью естественных феноменов»<sup>249</sup>. Современные марксисты и коммунисты (по их собственной идентификации) пишут по этому поводу: «Определять войну через биовласть и безопасность — значит принципиально трансформировать её правовые рамки... Прежние правовые рамки объявления и ведения войны более не действуют»<sup>250</sup>.

М. Хардт и А. Негри параллельно индустриализации войны обнаруживают механизмы тоталитаризации общества в качестве имманентно присущих индустриальной биополитике. Цитируя формулу Джона Дьюи (1859–1952) «при сложившихся обстоятельствах война вынуж-

<sup>249</sup> М. Фуко. Безопасность, территория, население. Курс лекций, прочитанных в Коллеж де Франс в 1977–1978 учебном году. СПб., 2011. С. 13, 104–105, 116, 162, 398, 454.

<sup>250</sup> М. Хардт, А. Негри. Множество: война и демократия в эпоху империи [2004] / Пер. с англ. под ред. В. Л. Иноземцева. М., 2006. С. 37.

дает все страны, даже кажущиеся наиболее демократическими, становиться авторитарными и тоталитарными»<sup>251</sup>, авторы развивают её следующим образом: не «при сложившихся обстоятельствах», а «нынешнее глобальное состояние войны».

Исследователи традиционно толкуют формулу К. фон Клаузевица (1780–1831) о войне и политике в том смысле, что «война — это инструмент в арсенале государства, используемый в сфере международной политики. Иначе говоря, она есть нечто вполне внешнее относительно политических битв и конфликтов, возникающих внутри общества», но неожиданно уделяют особое внимание её ленинскому толкованию:

«Заявление, будто политика есть продолжение войны, отличается от прежних рассуждений тем, что относится к власти в условиях её нормального функционирования, всегда и повсеместно, вовне и внутри каждого общества... Другими словами, война становится общей матрицей для всех властных отношений и методов господства независимо от того, сопряжены ли они с пролитием крови. Война обернулась режимом биополитики,

<sup>251</sup> «При сложившихся обстоятельствах» даже такой радикальный идеологический критик сталинизма, советский историк, ставший эмигрантом, Михаил Геллер в итоге вынужден был заявить почти в категориях биополитики: «В условиях экстенсивного развития, в чрезвычайных условиях военного наступления на общество (! — не государство или, на худой конец, страну или народ? — М. К.), в ходе создания советской системы сталинская техника власти, основанная на контроле человеческого фактора, продемонстрировала свою эффективность» (М. Геллер. Техника власти [1986] // Сталинский диптих / Сост. Л. Геллер. М., 2011. С. 45). Ему вторил другой противник коммунизма, выросший из высших научных кадров ядерного проекта, руководимого Л. П. Берия, — А. Д. Сахаров, согласно которому труд заключенных ГУЛАГа, несмотря на то, что он был «частью экстенсивной расточительной экономики», «играл существенную экономическую роль, в особенности в освоении плохо обжитых районов Востока и Севера» (цит. по: Н. А. Иванецкий. Судьба раскулаченных в СССР. М., 2004. С. 290–291). Холодный рационализм в отношении сталинского опыта СССР вообще был нередок для тех, кто выступал острым критиком сталинизма: за пределами критики они легко принимали язык «политики населения» — так, как это делал, например, классик западной советологии: «Массовые аресты, действительно, остаются в основном явлением политическим... Но когда масса людей уже была под арестом, их возможная эксплуатация представлялась экономически целесообразной. Не упуская из виду некую иррациональность сталинского террора, надо признать, что в решении влить труд заключенных в хозяйство страны нет ничего, противоречащего здравому смыслу» (Роберт Конквест. Большой террор. Firenze, 1974. С. 660).

то есть такой формой правления, которая нацелена как на обеспечение контроля над населением, так и на производство и воспроизводство всех сторон общественной жизни... Сегодня войне присуща тенденция к ещё большему распространению, к превращению в устойчивую форму общественных отношений. Некоторые нынешние авторы стараются выразить такое новшество, вывернув наизнанку формулу Клаузевица...: возможно, что война есть продолжение политики другими средствами, но и сама война всё больше становится основным принципом организации общественной жизни, а политика — лишь одним из её инструментов или воплощений»<sup>252</sup>.

Штиг Фёрстер недавно поделился с русской аудиторией основным содержанием своего исследования практики «тотальной войны»:

«С конца XVIII в. войны в возрастающей степени становились общенациональным делом. На военном и политическом уровне это способствовало возникновению идеи о мобилизации всех без исключения граждан на обширную войну. Для воплощения подобного рода идей на практике требовались достижения индустриализации, разворачивавшейся с середины XIX в. Однако даже в этом случае обширная мобилизация не стояла на повестке дня до тех пор, пока речь шла только о достижении ограниченных целей войны. Наблюдаемая тотализация целей войны стала результатом изменения образа врага в сознании граждан и их правительств. Исходящая от врага угроза стала представляться обществом и государством как основополагающая экзистенциальная опасность. Поэтому враг должен был быть навсегда уничтожен. В ходе последовавших затем многолетних ожесточённых войн, основанных на массовой мобилизации, люди привыкали к массовым убийствам. Благодаря этому опыту снизился порог скрупулёзного отбора всех средств, используемых для достижения победы... Понятие «тотальная война», возникшее из опыта Первой мировой войны, в 20 и 30-е гг. XX в., стало лозунгом и играло важную роль в многочисленных размышлениях по вопросу будущей войны... исходными пунктами тотальной войны Нового времени были Американская и Французская революции. Чтобы превзойти постоянные армии «старого порядка», революционеры изобрели «народную войну» и тем самым по-

---

<sup>252</sup> Там же. С. 13, 18, 24, 25, 32, 59.

родили процесс, который имел чрезвычайные последствия. С появлением солдат-граждан у гражданского общества появился прямой интерес к войне. Народная война была возможна только при широкой поддержке общественности. Отсюда проистекала тенденция в определённый момент приобщать к военным действиям всё общество и всю нацию... Средства ведения тотальной войны появились только благодаря индустриализации: тогда появилась возможность формировать огромные добровольческие и сформированные на основе воинской повинности армии, перевозить их на фронт, обеспечивать оружием, обмундированием и продовольствием. К тому же, разумеется, это требовало значительных административных усилий. Тыл превратился в опору действующей армии... заманчиво было бы исследовать связь между тотальной войной и геноцидом (армян в Османской империи) или между тотальной войной и революцией (в России), поэтому спектр тем должен был быть ограничен. Исходя из этого,... переломный момент наступил в 1916 г. После того как в ужасных битвах этого года командующие не смогли переломить патовую ситуацию, стали обдумываться новые возможности ведения военных действий. Результатом стала не только неограниченная подводная война и широкое использование новых видов оружия, но и серьёзная попытка полностью мобилизовать экономику и общество. Так называемая Программа Гинденбурга, мобилизационная политика Ллойд Джорджа и введение всеобщей воинской повинности в Великобритании придали войне новый оборот. Кроме того, в эти месяцы стало понятно, что все участвующие в конфликте государства были готовы бороться до самого конца... Нужно всегда иметь в виду, что само представление о “тотальной войне” стало развиваться только в 20–30-е гг. XX в.»<sup>253</sup>

Исследователь вычленил ряд характеристик тотальной войны<sup>254</sup>: тотальные цели войны, тотальные методы войны, тотальная мобилизация, тотальный контроль. Он пишет:

<sup>253</sup> Ш. Фёрстер. Тотальная война. Концептуальные размышления к историческому анализу структур эпохи 1861–1945 гг. // Россия и война в XX столетии. Взгляд из удаляющейся перспективы / Сост. Ю. Хмелевская. М., 2005. С. 13–14, 16, 18.

<sup>254</sup> «По поводу понятия “тотальная война”: выражение впервые появилось во французской прессе в 1916 г. Тогда, несомненно, это было пропагандистским лозунгом, служащим полной мобилизации на войну всех французских ресурсов. Термин быстро сделал карьеру. Прежде всего, в 20-е гг. он играл большую роль в международных дебатах о прошедшей войне и о войне

«В течение столетий межгосударственные войны велись главным образом во имя ограниченных целей... В период Гражданской войны в США развитие событий приняло другое направление. Представители конфедерации боролись за ограниченные цели, т.к. они хотели достичь независимости. "Всё, о чём мы просим, чтобы нас оставили в покое" — провозгласил от их имени президент Джефферсон Дэвис. Но другая сторона в лице Авраама Линкольна ввиду возрастающей длительности войны формулировала цели Союза более радикально: "...характер войны изменится... Это будет покорение... Югу суждено быть разрушенным и замененным новыми суждениями и идеями"...

Тотальная мобилизация во время войны не является чем-то новым в истории человечества. Это практиковалось, кажется, уже в каменном веке и в эпоху переселения народов — по крайней мере, при вторжении германских племен на римскую территорию. Всё же, чем сложнее и диверсифицированное становилось базирующееся на разделении труда общество, тем сложнее становилось в случае войны мобилизовать значительный процент населения.... Однако в период революционных войн во Франции ситуация изменилась. Внезапно война, как заметил Карл Клаузевиц, снова стала делом народа, одного народа в 30 млн человек, которые стали определяться как граждане государства. Правда, воодушевления масс было явно не достаточно: уже в июле 1793 г. якобинцы ввели воинскую повинность для мужчин от 18 до 25 лет. Все остальные граждане и граждане со своей стороны были призваны содействовать военным усилиям... Таким образом, родилась идея тотальной мобилизации государства и общества на военные цели... В относительно высокоразвитых обществах наряду с политикой тотальной мобилизации одной из главных целей становилось достижение тотального контроля. Необходимо было не только преодолеть возможное сопротивление мобилизации, но и до-

---

будущего. Эти дебаты продолжились в 30-е гг. Во время Второй мировой войны понятие использовалось и как инструмент пропаганды, и как средство осмысления событий, произошедших между 1939 и 1945 гг. При этом понятие никогда точно не определялось и оставалось удивительно неясным. Чаще всего под ним подразумевалась прежде всего тотальная мобилизация (Людендорф, Геббельс, Черчилль). Впрочем, во время Второй мировой войны играло роль также представление о допустимости неограниченного применения любых средств... Тотальная война современности как раз означает полный государственный контроль над экономикой и обществом во имя ведения войны» (Там же. С. 42–43).

биться её эффективной организации. Кроме того, нельзя было просто полагаться на воодушевление граждан, нужно было подкреплять его с помощью пропаганды»<sup>255</sup>.

Начало Первой мировой войны, отмеченное во всех её странах-участницах взрывом патриотической пропаганды и появлением многочисленных историософских конструкций об особом цивилизационном признании каждой из воюющих стран, поставило в центр общественных дискуссий проблему военной консолидации обществ и, вероятно, впервые в новой европейской истории — подчинения интеллектуальной повестки дня задачам внешней безопасности государства и, главное, военной миссии государства. В войну русское общество вошло в консенсусе разнообразно толкуемой и потому всепроникающей **мобилизации**<sup>256</sup>. Из этого консенсуса не было идейно-политического выхода, который посмел бы отрицать опыт мобилизации и связанных с ней общественно-экономических институтов. Даже поражение и развал государства, прямое введение массовых либеральных, демократических, социалистических прав и свобод, — не уничтожали острого понимания того, что нет государственных институтов, способных гарантировать эти права и свободы, что речь отныне идёт о чрезвычайных мерах к национальному выживанию.

Поэтому когда русский философ, либерально-консервативный политик и активный противник большевизма Е. Н. Трубецкой в 1919 году признавался, что «из милитаризма рождается большевизм», — он вряд ли фокусировал своё трагическое внимание только лишь на России. Несомненно, в поле его зрения находился весь её исторический

---

<sup>255</sup> Там же. С. 19–23, 25.

<sup>256</sup> См. например, как в русской политической литературе термин, описывающий частную концентрацию чего-либо (А. Вольский. Мобилизация революции и мобилизация реакции // Текущий момент. Сб. М., 1906; В. В. Святловский. Мобилизация земельной собственности в России (1861–1908 гг.). СПб., 1911), в русской правoliberalной среде превращается в синоним «единения»: Д. И. Шаховской. Мобилизация хозяйства: О создании всенародной организации помощи и мобилизации мирной промышленности // Речь. 1914. № 32 (июль) (об этом также: И. Кузьмина, А. Лубков. Князь Шаховской: путь русского либерала. М., 2008. С. 361; А. Финн-Енотаевский. Финансовая мобилизация // Современный мир. 1914. № 9. С. Франк. Мобилизация мысли в Германии // Русская Мысль. 1916. Кн. 9. 3 отд. С. 21; Н. Бердяев. Мобилизация интересов // Русская Свобода. № 12–13 [июль 1917].

контекст. Поэтому и ярчайшие деятели русской либеральной антибольшевистской эмиграции буквально на ещё остывающем пепелище страны обменивались вполне рациональными предсказаниями: В. А. Маклаков писал Б. А. Бахметеву в августе 1921 года: «Производство и использование всех богатств, как природных, так и культурных, использование их в высшей мере — вот задача, которая поставлена мировыми событиями, войной, большевизмом, и которая связана с нашим прошлым. Не воля царя или правящего меньшинства толкнёт Россию туда или сюда, а стоящая перед ней задача в масштабе мирового соперничества. Либо сама Россия... эту задачу разрешит, и тогда тот, кто её разрешит, и будет хозяином России, или сама Россия её не разрешит, и тогда... Россия не выдержит мирового соперничества и будет захвачена... перестанет быть самостоятельной единицей, ибо в мировом соперничестве она, хотя и на время, погибнет»<sup>257</sup>. Таково было общее убеждение о специфике исторического времени и его инструментарии.

Какими бы футурологическими эмоциями ни сопровождалась апокалиптические прогнозы в России и рядом с Россией, рациональным «моментом сборки» для всех выше перечисленных факторов — на практике служил личный и общественный опыт ленинско-сталинского поколения руководителей и теоретиков большевизма в Российской империи, Советской России и СССР, явленный им в непосредственном переживании исторических традиций, событий, прогнозов, языке их описания и некотором минимуме их интерпретаций. В нём сходились интеллектуально-идеологически близкие большевикам регистраторы событий в средствах массовой информации, прикладной политической и специальной теоретической литературе, — огромном массиве социалистической мысли XIX — начала XX в. и ещё большем массиве новостей, концентрировавшихся вокруг исторической повестки дня. Ввиду этих событий мысль искала и находила всепобеждающий, инерционный, целостный смысл связывающей их ло-

<sup>257</sup> «Совершенно лично и доверительно!» Б. А. Бахметев — В. А. Маклаков: Переписка 1919–1951. В 3-х т. Т. 1 / Публ. О. В. Будницкого. М., 2001. Ср.: «История старой России состояла в том, что её непрерывно били за отсталость... Били польско-литовские паны. Били англо-французские капиталисты. Били японские бароны. Били все — за отсталость... Мы отстали от передовых стран на 50–100 лет. Мы должны пробежать это расстояние в десять лет. Либо мы сделаем это, либо нас сомнут...» (И. В. Сталин, февраль 1930).

гической закономерности. Для рубежа веков особенно точным следует признать современное им принципиальное наблюдение равно авторитетного для буржуа и для революционеров экономиста-социолога Джона Гобсона: «Наука становится всё более и более исторической в следующем смысле: она всё более стремится показать, что законы и принципы, устанавливаемые ею, не только вытекают из наблюдения явлений, но и объясняют всю совокупность явлений, входящих в данную научную область. Точно так же и история становится всё более научной: события передаются в таком порядке, чтобы ясно выступали наружу законы и идеи, руководящие этими событиями, составляющими одно только внешнее проявление этих законов»<sup>258</sup>.

Русский военный историк и практикующий военный эксперт 1920–1930-х А. А. Керсновский (1907–1944) в своей «Философии войны» точно выявил эволюцию классической немецкой военной мысли об «интегральной войне» в утверждение войны «тотальной». В современном понимании военного потенциала стран он акцентировал внимание на том, что это «не показатель суммы всех боевых средств и возможностей государства..., а показатель “интенсивности” этих средств — точнее, показатель полезного напряжения сил данной страны», произведение суммы «абсолютных возможностей» страны (масса населения, сырьё, география) на сумму «относительных возможностей» («утилизация абсолютных возможностей»): системы комплектования вооружённых сил, степени развития обрабатывающей промышленности, сети путей сообщения. Например, именно в силу этой логики в Первую мировую войну, «уступая России количеством населения в 4 и 3 раза, Франция и Германия оказались в военном отношении во много раз более сильными, нежели Россия, имевшая огромные “абсолютные” и ничтожные “относительные” возможности». Керсновский заметно раньше антисталинских критиков определил СССР в ряду «варварских “тоталитарных государств”...», но военные корни тоталитарности законно нашёл, вслед за современной ему немецкой мыслью<sup>259</sup>, в общей для современности теории «интегральной войны» Клаузевица, которая в современных ус-

<sup>258</sup> Дж. Гобсон. Эволюция современного капитализма [1894]. М., 2010. С. 1.

<sup>259</sup> См.: Gunther Franz (Hrsg.). Die Vernichtungsschlacht in kriegsgeschichtlichen Beispielen. Berlin, 1928; J. L. Wallach. Das Dogma der Vernichtungsschlacht. Die Lehren von Clausewitz und Schlieffen und ihre Wirkung in zwei Weltkriegen. Frankfurt a.M., 1967.

ловиях стала «стратегией на уничтожение», «битвой на уничтожение» (Vernichtungsschlacht). Именно «интегральная война» позволяла конкурировать в описанной логике с превосходящим противником и его «стратегией на уничтожение», компенсируя естественную слабость национальной обороны: «Военизация страны есть приспособление её к нуждам войны — переключение всей её жизни на военное положение... Военный потенциал есть производная степень военизации страны». В специальной главе «Философии войны» «Фронт и тыл» Керсновский определил и главное содержание современной военной и государственной тотальности, служащее главным объектом и мобилизации, и уничтожения: «основной задачей промышленной мобилизации — помимо переключения тяжёлой промышленности на нужды фронта — должен быть учёт и подготовка кадров и рабочих рук...»<sup>260</sup>. Видимо, только идейные соображения помешали ему прямо назвать обращение своих граждан в массовое военное рабство и массовое физическое и экономическое уничтожение граждан противника — центральным ресурсом «интегральной войны». И если, по завету Клаузевица, «целью войны всегда должно было быть сокрушение противника», то это сокрушение (и защита от него) должны быть столь же тотальными, сколь тотальной должна быть война: «Война является лишь частью политических отношений, а отнюдь не чем-то самостоятельным... война есть не что иное, как продолжение политических отношений при вмешательстве иных средств. Мы говорим: при вмешательстве иных средств, чтобы вместе с тем подчеркнуть, что эти политические отношения самой войной не прекращаются, не преобразуются в нечто совершенно другое, но по существу продолжают, какую бы форму ни принимали средства, которыми они пользуются, и что главные линии, по которым развиваются и связываются военные события, начертаны политикой, влияющей на войну вплоть до мира... Когда политика становится более грандиозной и мощной, то таковой же становится и война; и этот рост может дойти до такой высоты, что война приобретёт свой абсолютный облик... Мы исходим из того, что политика объединяет в себе и согла-

<sup>260</sup> А. А. Керсновский. *Философия войны* [1932]. М., 2010. С. 121–123, 132, 126. Ср.: А. Свечин. *Интегральное понимание военного искусства* [1926] // *Постижение военного искусства. Идейное наследие А. Свечина*. М., 1999.

совывает все интересы как внутреннего управления, так и гуманности и всего остального»<sup>261</sup>.

Вдохновляясь высокой оценкой Лениным наследия Клаузевица, официальная советская военная мысль, не колеблясь, включала это наследие в фундамент интеллектуальной подготовки к новой войне. Говоря о войне как о «продолжении политики другими средствами», Ленин использовал формулу Клаузевица о том, что «война есть не что иное, как продолжение политических отношений при вмешательстве иных средств», и несомненно был вполне готов воспринимать все иные, кроме военных, средства государственной политики, саму полноту национальных ресурсов — как инструменты войны<sup>262</sup>. Именно об этом говорил Клаузевиц, широко пропагандируемый в советской военной среде: «Россия своей кампанией 1812 г. засвидетельствовала во-первых, что государство с большой территорией не может быть завоёвано (что, впрочем, можно было бы знать и заранее), и во-вторых, что вероятность конечного успеха не во всех случаях уменьшается в соответствии с числом проигранных сражений и потерянных столиц и провинций»<sup>263</sup>. В теории Клаузевица для советских стратегов содержалось и без того уже воспринятое ими указание в области геостратегического планирования: для сокрушения врага (каковым для германской и западной мысли традиционно выступала Россия) рекомендовалось: «Первое: сводить всю тяжесть неприятельского могущества к возможно меньшему числу центров тяжести... Словом, первый принцип — в возможной степени сосредоточивать действие»<sup>264</sup>. Соответствующим этому и должно было быть противоядие — умножение физических центров тяжести государственного могущества. Клаузевиц указывал, что «обезоружить государство» значит «лишить его возможности оказывать сопротивление», то есть в равной степени нейтрализовать как факторы вооружённые силы (уничтожить), территорию (оккупировать), волю к сопротивлению (подавить), — и од-

<sup>261</sup> К. фон Клаузевиц. О войне. М., 1934. С. 536, 548–551.

<sup>262</sup> «Серьёзно относиться к обороне страны, это значит основательно готовиться и строго учитывать соотношение сил. Если сил заведомо мало, то важнейшим средством обороны является отступление в глубь страны» (В. И. Ленин. О «левом» ребячестве и мелкобуржуазности).

<sup>263</sup> К. фон Клаузевиц. О войне. С. 150.

<sup>264</sup> Там же. С. 562.

новременно не заплатить слишком высокую цену за такую победу. В применении к современной «войне ресурсов» это означало — ради рекомендуемого Клаузевицем причинения максимального ущерба врагу<sup>265</sup> — именно «войну против ресурсов», тыла, экономики, инфраструктуры и населения вражеской страны.

**Тотализация войны**, уравнивание фронта и тыла, и даже её превращение в «войну на уничтожение», то есть приоритетное уничтожение тыла как основы военно-стратегического потенциала, стали долгосрочным следствием тотализации «индустриальной современности», на пути к «глобальности» технологически и колониально подчинившей себе весь мир, следствием тотальных претензий индустриализма. Несмотря на риторические и реликтовые апелляции к материальной и политической свободе, частной собственности и правам человека, **тотальность современности**, индустриальной культуры и экономики, технологически всё более способной подчинить себе все сферы деятельности человека, а человеческие массы — масштабной **биополитике**, непосредственно превращалась в **тотальный милитаризм**, в войне 1914 года дебютировавший уже как военно-экономическое и информационно-политическое единство, а это единство уже служило естественной основой для **мобилизационного и идеократического тоталитаризма**. Как верно отметил современник-исследователь Карл Поланьи (1886–1964), именно «однотипность основных институциональных структур обусловила тот замечательный факт, что масштабные процессы, охватившие за полвека (1879–1929) громадные пространства земного шара, характеризовались, если брать их общую схему, по-

<sup>265</sup> «Имеются ещё 3 своеобразных пути, непосредственно ведущих к увеличению затраты сил противника. Первый — это занятие неприятельской территории, но не для удержания её за собой, а с целью собрать с неё контрибуцию или даже опустошить её. Непосредственной целью в данном случае будет не завоевание страны, не сокрушение вооружённых сил противника, а нанесение ему как врагу вообще убытков. Второй путь будет заключаться в том, чтобы дать нашим операциям целеустановку преимущественно на увеличение убытков неприятеля. ...Третий путь — изнурения врага — по количеству обнимаемых им случаев наиболее важный. Мы выбрали это выражение не только для того, чтобы одним словом определить предмет, но и потому, что оно вполне выражает соответствующее понятие; это не только риторический оборот речи, как может показаться на первый взгляд. Под изнурением мы понимаем постепенно наступающее, благодаря продолжительности действия, истощение физических сил и воли противника».

разительным внутренним сходством. Все западные страны, независимо от национального характера, шли по одному пути... Мировая торговля означала теперь, что организацию жизни на нашей планете всецело определяет механизм саморегулирующегося рынка, охватывающего труд, землю и деньги... Державы, оказавшиеся всё более зависимыми от всё более шаткой системы мировой системы мировой экономики, тяготели к империализму и полусознательно готовились к автаркии... Протекционизм способствовал превращению конкурентных рынков в рынки монопольные. Всё в меньшей степени рынки представляли собой автономные и автоматические механизмы, состоящие из конкурирующих атомов, всё в большей степени на смену индивидам приходили ассоциации — люди и капиталы, объединённые в неконкурирующие группы... О каком бы рынке ни шла речь — о рынке земли, труда и денег, — напряжение выходило за пределы экономической сферы, и равновесие нужно было восстанавливать политическими средствами... Основным толчком к трансформации послужил крах рыночной утопии»<sup>266</sup>. Этот крах нашёл своё институциональное выражение в установлении политического единства рынков труда и капитала, подчинённого задачам экспансии безопасности и непосредственной подготовке к «индустриальной войне». Среди главных черт европейского опыта государственного строительства, прошедшего в условиях перманентной подготовки к войне, отмечает Чарльз Тилли, был непрерывный поиск баланса между эффективностью и центрами концентрации «принуждения» и «капитала». В этом опыте именно институциональное совпадение «центра принуждения» и «центра капитала», то есть сращивание военно-политической монополии с монополией финансово-экономической, «облегчало создание массовых вооружённых сил»<sup>267</sup>.

В этой общей для либерализма и социализма, капитализма и коммунизма ойкумене индустриализма и состоит главный смысл единства их инструментальных характеристик, впервые целостно описанный в известном труде Б. П. Вышеславцева (1877–1954) «Кризис

<sup>266</sup> К. Полань. Великая трансформация: политические и экономические истоки нашего времени [1944]. СПб., 2002. С. 228, 238, 239.

<sup>267</sup> Ч. Тилли. Принуждение, капитал и европейские государства. 990–1992 [1992]. М., 2009. С. 282, 318, 233. Об исследовании Ч. Тилли связи мобилизации и революции, государственной мобилизации на фоне экономической и общей социальной мобилизации см.: О. В. Епархина. Социальная революция в фокусе исторической социологии. Ярославль, 2011.

индустриальной культуры» (1953)<sup>268</sup>. Французский либеральный мыслитель и практик Раймон Арон (1905–1983), тем не менее, похоже, именно себя считал первооткрывателем этого единства, говоря, что обнаружение связи капитализма и социалистического общества — вплоть до гитлеровской Германии и сталинского СССР — в обществе индустриальном составило успех его «Восемнадцать лекций об индустриальном обществе» (1963)<sup>269</sup>.

В целом говоря, именно **индустриальная современность** XIX–XX веков, воспитавшая и консолидировавшая идеологии национализма, протекционизма, милитаризма, этатизма и одновременно социальной инженерии дарвинизма и позитивизма, создала основу и предопределила политический, принудительный по отношению к обществу и экономике, пафос тотальной мобилизации, крайними (и только лишь крайними перед лицом этого исторического консенсуса) проявлениями которой стала практика тоталитарных диктатур XX века. Современный социолог Энтони Гидденс верно обнаруживает и неосознанность этого консенсуса и одновременно его историческую предопределённость: «Произвол в использовании политической власти представлялся основателям социологии [в XIX веке] прежде всего атрибутом прошлого. “Деспотизм”, казалось, был характерен лишь для государств, предшествовавших эпохе современности. Рассматривая результаты распространения фашизма, Холокоста, сталинизма и других эпизодов истории XX века, мы видим, что *возможности для тоталитарного варианта развития событий предполагаются институциональными параметрами современности, а не исключаются ими* (здесь в обоих случаях курсив мой. — М. К.) ...Тоталитарное правление объединяет политическую, военную и идеологическую власть в более концентрированной форме, чем это было возможно до появления современных национальных государств»<sup>270</sup>.

<sup>268</sup> Ещё, как минимум, в 1927 году Вышеславцев ввёл получивший кружковое признание термин «Капитало-Коммунизм»: Н. К. Гаврюшин. «Логика сердца» и безумие индустриализма: философские взгляды Б. П. Вышеславцева // Борис Петрович Вышеславцев / Под ред. А. И. Алёшина. М., 2013. С. 28.

<sup>269</sup> Раймон Арон [Книга интервью Ж. Л. Миссика, Д. Вольтона]. Пристрастный зритель [1981]. М., 2008. С. 283, 227.

<sup>270</sup> Э. Гидденс. Последствия современности. М., 2011. С. 119–120.

Ведь как раз опыт англо-бурской войны 1899–1902 гг., частный опыт «цивилизованного» насилия, открывший для интернационального исторического опыта такие методы военно-государственного «умиротворения», как концентрационные лагеря и тактику «выжженной земли», всё то, что упомянутый только что Э. Гидденс называет «индустриализацией войны», вдохновил классика экономической социологии, равно «великого» и для «буржуазной науки», и для марксизма и большевизма первой половины XX века, Джона Гобсона на создание перевернувшего социально-историческое знание труда «Империализм» (1902), в котором детальней и профессиональней, глубже и точнее исследовал то, что так ещё архаично, риторично нащупывал Э. Э. Ухтомский, описывая, в первую очередь, британский опыт тотально-истребительного колониализма и империализма. Дж. Гобсон подробно исследовал системы и практики принудительного труда, организованного в колониях в интересах метрополий в XIX — начале XX в. и резюмировал предпосылки капиталистической мобилизации труда как неотъемлемой части капиталистической индустриализации и колониального освоения природных ресурсов. Очевидно, что выбор обезземеленного крестьянства в качестве главного поставщика кадров принудительного труда уже был сделан, в соответствии, кстати, и марксистской догме о механизме первоначального накопления: «Земля — это наиболее важный момент для уяснения сущности “принудительного труда”». В известном смысле всякая работа “принудительна” или “несвободна” там, где “пролетариату” не предоставлена возможность получать средства существования от обработки земли. Это нормальное состояние огромного большинства людей, живущих в Великобритании и во многих других странах, населённых белыми. Для рассматриваемого нами “принудительного труда” характерно не это, а установление белой правящей расой легальных мер, специально направленных к тому, чтобы заставить отдельных туземцев покинуть ту землю, на которой они живут и которая даёт им средства к существованию, к тому, чтобы принудить их работать у белых и исключительно в интересах белых. Когда конфискуются земли, первоначально занятые туземцами, или когда они другим путём переходят в руки белых собственников, создание трудового фонда из обездоленных туземцев обыкновенно является вторичной целью этих мер. Но “принуждение” становится уже целой системой, когда правительство

принимает насильственные меры с целью “побуждения” к труду»<sup>271</sup>. Лишённый земли в метрополии, труд здесь путём уже рыночного принуждения мобилизовывался для интенсивной индустриализации и войны, а в колониях, оторванный от традиционного образа жизни и хозяйствования, труд путём прямого принуждения мобилизовывался для экстенсивной эксплуатации природных ресурсов. Но в любом случае — даже рыночный способ мобилизации труда не исключал использования самых грубых, традиционных форм принуждения, самой массовой из которых становилось военно-политическое принуждение к обязательному труду в период новых, «индустриальных» войн.

Индустриальный и монополистический капитализм к началу XX века снял все препятствия к мобилизации рабочей силы, капитала и экономических ресурсов в интересах централизованного государства, независимо от формы правления и идеологических санкций. Вернее — любая преобладающая идеологическая санкция в применении к государственному управлению питалась пафосом мобилизации, будь либеральный колониализм, индустриальный национализм, национальное возрождение, милитаризм или социалистическая борьба пролетариата. Как отмечает современный мыслитель, прославившийся способностью к описанию наиболее общих и масштабных закономерностей цивилизационного развития, «право законодательно устанавливать способы контроля над рабочей силой ни при каких обстоятельствах не было просто теоретическим. Государства регулярно использовали это право, часто радикально меняя существующие формы. При историческом капитализме государства законодательно способствовали товаризации рабочей силы путём отмены различных связанных с обычаем ограничений перемещения рабочих из одной сферы занятости в другую... Государства контролировали производственные отношения. Сначала они легализовывали, а позднее запрещали отдельные формы принудительного труда (рабство, принудительные общественные работы, контракт и т. д.)... Они законодательно определяли рамки географической мобильности рабочей силы... все эти государственные решения принимались с учётом непосредственных экономических последствий для накопления капитала... Это означало, что государство важно как контролёр определённых ресурсов,

---

<sup>271</sup> Дж. Гобсон. Империализм [1902]. М., 2010. С. 197–221.

поскольку ресурсы не только позволяли государству содействовать накоплению капитала, но и распределялись им и таким образом прямо или косвенно включались в дальнейшее накопление капитала... существует много способов, с помощью которых государство функционирует в качестве механизма максимального накопления капитала... Вторжение накопителей капитала, а следовательно, и государственных машин в повседневную жизнь трудящихся было гораздо более интенсивным, чем в предыдущих исторических системах. Бесконечное накопление капитала постоянно требовало реструктуризации организации (и местонахождения) рабочей силы, увеличения объёма абсолютной рабочей силы и осуществления психосоциальной перестройки рабочей силы»<sup>272</sup>.

Другой, кроме Дж. Гобсона, великий экономист, равно признававшийся авторитетным и буржуа, и марксистами, свой очевидный вклад в марксистскую теорию капитала, предвосхитивший анализы спекулятивно-инвестиционной экономики, сделал именно в описании новых, тотализирующих тенденций в развитии капитализма, воспринятых из его уст В. И. Лениным, в качестве одного из признаков «высшей стадии капитализма». Речь идёт о «Финансовом капитале» Р. Гильфердинга (1871–1941). Это провидческое исследование также проливает особый свет на механизмы мировой капиталистической мобилизации, в условиях которых пришлось расти и самоопределяться мобилизации сталинской. Целый Отдел второй своей книги — «Мобилизация капитала. Фиктивный капитал» (т.е. спекулятивный капитал, финансовые рынки и портфельные инвестиции) — Гильфердинг посвятил тотальному характеру рынка капитализации, инвестиционного капитала, мобилизации и отчуждению акционерной собственности как условию инвестиций и биржевых спекуляций, производимая которыми оценка собственности на деле свободна от отражения её реальной, а не спекулятивной стоимости, — и становится либо инструментом развития, привлечения дополнительного, не всегда обеспеченного реальными активами капитала, либо инструментом злоупотребления и частных манипуляций, либо инструментом манипуляций масштабных, общенациональных. Инструментальным центром, механизм такой тотальной

<sup>272</sup> И. Валлерстайн. Исторический капитализм. Капиталистическая цивилизация. М., 2008. С. 101, 102, 104, 112.

манипуляции становится банковская система, где «функция банка — осуществление мобилизации капитала — возникает из того, что в его распоряжении — все деньги общества»<sup>273</sup>. Здесь термин «мобилизация» предметно возвращается к своему семантическому истоку, к смыслу придания подвижности, оперативному переносу чего-либо. Для модельной управленческой практики того времени, для исторического опыта это означает создание практически неограниченных в рамках рынка (национального или международного, — зависит от исторических условий) возможностей для аккумуляирования и почти произвольного увеличения финансовых средств, находящихся в распоряжении центра принятий решений, будь то олигархия, капиталистическое государство — или социалистическая диктатура, использующая рыночные финансовые инструменты. «Внутренняя закономерность капитализма, его потребность все стоимости, имеющиеся в обществе, отдать в качестве капитала на службу класса капиталистов и доставить каждой части капитала равный доход, приводит к мобилизации капитала, а вместе с тем к оценке его просто как капитала, приносящего проценты; в то же время, с другой стороны, биржа исполняет такую функцию, что она делает возможным эту мобилизацию, так как создаёт место для перенесения капитала и механизм этого перенесения. Мобилизация капитала в возрастающей мере превращает капиталистическую собственность в свидетельство на доход и таким образом делает капиталистический процесс производства всё более независимым от движения производства, не оказывая на него никакого влияния. Движение собственности приобретает теперь самостоятельный характер и уже не определяется производственными процессами... мобилизование является одновременно и расширением сферы того капитала, который может быть ассоциирован...»<sup>274</sup>

<sup>273</sup> Р. Гильфердинг. Финансовый капитал. Новейшая фаза в развитии капитализма [1910]. М., 2011. С. 138. В описанных условиях «отдельное лицо имеет право только на выручку: собственность, которая некогда знаменовала фактическое, неограниченное распоряжение средствами производства, а следовательно, и такое же руководство производством, теперь превратилось в простой титул дохода: у отдельного лица отнято право располагать производством. С экономической же точки зрения мобилизация сводится к тому, что капиталист получает возможность во всякое время извлечь свой вложенный капитал в денежной форме и перенести его в другие сферы» (С. 153).

<sup>274</sup> Там же. С. 155, 211.

Так, не только по мнению Гильфердинга или Ленина, но и по мнению большинства правивших представителей их поколения, становился возможным одномоментный переход к финансовой диктатуре, идейную окраску или степень тотальных претензий которой вольны были определять те, кто решал задачи предвоенной мобилизации — будь то британская демократия или большевики.

Именно сложившаяся в XIX веке многоуровневая индустриальная «мобилизация» (как ускорение концентрации) коммуникационно-экономической и финансовой инфраструктуры, населения как живой силы армии и трудовых ресурсов промышленности и сделала возможной тотальную (общества в целом) мобилизацию периода Первой мировой войны, к началу 1920-х гг. увенчалась мобилизацией и производства, и распределения. Мобилизационное единство производства и распределения (в соединении с прогрессирующим демографическим опустошением европейского сельского хозяйства) и стало фактическим фундаментом не только государственного капитализма в Европе, социализованного «нового курса» президента Рузвельта в США 1930-х годов, но и разных форм европейских диктатур и социализма в СССР. Ещё один авторитетный и для «буржуазной» науки, и для социалистов, и для большевиков немецкий экономист и социолог Вернер Зомбарт (1863–1941) писал в это время: «То, что мы наблюдаем, представляет собой процесс преобразования в нормативно-регулируемую хозяйственную жизнь, которая до сих пор складывалась преимущественно натуралистично — по основным положениям либерализма: этот процесс уже совершается в течение нескольких поколений и в последнее время был лишь несколько ускорен. Это внедрение, как можно тоже выразиться, системы хозяйственного управления в систему свободных хозяйственных отношений называют в новейшее время социализацией. Но взгляд на события в европейской экономической политике последнего поколения учит, что выражение это — ново, но явление — старо. Понятие “социализация” имеет следующее содержание: в общем, это слово... означает движение в направлении к народному хозяйству, которое планомерно ведётся и контролируется в интересах всего народа. Социализация может иметь следующие степени: 1) Полная социализация, т. е. нормализация, рационализация всей хозяйственной жизни данного народа; полное как интенсивное, так и экстенсивное плановое устройство хозяйства. 2) Социализация

целиком, т. е. полная социализация одной хозяйственной отрасли (хозяйственной области), интенсивная по частям полная социализация.

3) Частичная социализация, т. е. как интенсивная, так и экстенсивная неполная социализация хозяйственной жизни... Нам следует искать явлений социализации не только в области производства, как это обычно делают, но также в области потребления и распределения. Соответственно этому мы различаем: 1) Социализацию потребления, т. е. всякий общественный надзор над продающимся товаром... 2) Социализацию распределения, т. е. распоряжение уже созданными благами по "плану": распределение жилищ, рационализация получения товаров, таксы на цены, налоги с социалистическими целями; огосударствление горного дела, принудительное государственное страхование и т. п. 3) Социализацию производства, которая несёт двоякий смысл: речь идёт или только о регулировании или воздействии на оставшиеся в основе предпринимательскими частные хозяйства... Или же вопрос касается исключения предпринимательского хозяйства, следовательно, замена или восполнение частнохозяйственной организации другим каким-либо общественно-окрашенным порядком»<sup>275</sup>.

Русский историк и социальный мыслитель Г. П. Федотов в эмиграции писал: «Марксизм в России развил особый пафос техники, свойственный крупнокапиталистическому миру... Чуткость большевиков (впрочем, связанная с их доктриной) сказалась в обострённом внимании к проблемам техники и индустрии. Разрушители русской промышленности, они мечтают продолжать дело Витте, окарикурировав его до сталинской пятилетки... Россия может и должна перерабатывать своё сырьё. Россия может добиться экономической независимости от Запада. По природе, по географическому размаху России, она призвана стать независимым хозяйственным миром. Экономическая автаркия, которая

---

<sup>275</sup> В. Зомбарт. *Строй хозяйственной жизни* [1925] // Вернер Зомбарт. Избранные работы. М., 2005. С. 134–135. Современный либеральный теоретик уже уверенно присваивает надзорную функцию («взаимный надзор», «повсеместный контроль», «взаимозависимость») либеральной картине мира, по умолчанию экспроприируя её у социализма, но окрашивая её тотальным социал-дарвинистским пафосом *войны всех против всех*: «Надзор и наблюдение друг за другом неотделимы от рыночного общества», «источник морали в надзоре друг за другом», «человек — это всего лишь полезная для другого человека вещь» (*Кристиан Лаваль*. Человек экономический. Эссе о происхождении неолиберализма [2007] / Пер. С. Рындина. М., 2010. С. 255, 261, 266, 269, 272, 376).

является вредной утопией для мелких государств, для России вполне достижима. Америка — хозяйственный организм, наиболее близкий России, несмотря на полярную разницу хозяйственной психологии». И далее: «Начало рационализации, т.е. расчётливого, планового построения хозяйства, свойственно капитализму с его зарождения. Зомбарт усматривал в рационализме саму душу этой экономической системы... На рынках, как национальных, так и международных, господствовала стихия конкуренции. Однако вот уже несколько десятилетий, как принцип *laissez faire* сделался экономически невозможным, и капитализм стал на путь организации. Мощное движение трестирования и картелирования, охватившее ведущие страны (Америку и Германию), указывает на новые экономические тенденции. В настоящее время наивным анахронизмом было бы отождествление капитализма с режимом личного хозяйства, построенного на свободе. Личное начало торжествует ещё в немногих организаторах, «королях» или «капитанах» индустрии: для большинства предпринимателей свобода хозяйствования в значительной мере уже утрачена. Всё растущая зависимость индустрии от финансового капитала (банков) превращает её уже окончательно в безличный объект действия посторонних и равнодушных к её целям денежных — зачастую тоже безличных — сил. Но это спонтанное движение к самоорганизации капитализма, не завершённое, лишь обостряет экономические конфликты — уже не между отдельными предпринимателями, а между могущественными корпорациями. Быстрое сужение и исчезновение некапиталистических рынков (колоний) делает борьбу гигантов ожесточённой — и безнадёжной. Капитализм стоит перед задачей — не доктринёрски, а жизненно поставленной в его собственных недрах — задачей завершения организационного процесса»<sup>276</sup>.

При такой одновременной социализации и тотализации стало возможным и превращение государства в главного оператора экономической и социальной жизни, чья главная функция — перераспределение ресурсов в масштабах всего общества — ничем принципиально не отличалась от диктаторской. Марксово техническое понимание «перераспределения прибавочной стоимости» в процессе производства

<sup>276</sup> Г. П. Федотов. Проблемы будущей России [1931] // Г. П. Федотов. Собрание сочинений в 12 т.: Т. 5. И есть и будет. М., 2011. С. 141–142; Г. П. Федотов. Что такое социализм? [1932] // Там же. С. 227.

уступило место «перераспределению» (редистрибуция) в масштабах государства в том смысле, что придал ему Карл Поланьи<sup>277</sup>.

Автор одной из чёрно-белых схем о доминирующем этатистски-репрессивном развитии России<sup>278</sup> в рамках «московско-православно-советской цивилизации», противостоящей западнически-либеральной «персоналистско-рыночно-киевской» альтернативе, даже предельно схематизируя (и почему-то отказываясь от термина «перераспределение»), корректно заключает, что «редистрибуция не только предполагает, но требует репрессии по самой природе редистрибутивных отношений», и не может не видеть широкого (западного) исторического контекста для генезиса сталинизма: «Классические капиталистические общества первого эшелона модернизации (т.е. в Западной Европе. — М. К.) или диктатуры развития, возникающие в XX веке, в разной стилистике решали одни и те же задачи — разрушения традиционной культуры, перехода общества от экстенсивной к интенсивной стратегии исторического бытия... В этом отношении коллективизация, раскулачивание, Голодомор, «Указ о колосках», уголовное наказание за опоздание на работу стоят в одном ряду с практикой огораживания, законами против бродяжничества, смертной казнью за проникновение в цех с целью сломать станок или виселицей за карманную кражу на сумму свыше 5 шиллингов. (...) Традиционное общество достаточно репрессивно на протяжении всей своей истории. Но закат традиционного мира сопровождается резким, часто чудовищным ростом уровня насилия». Вместе с тем даже с точки зрения этого противника «московско-православно-советской цивилизации» — «репрессивная культура / локальная цивилизация возникает в рамках процессов

<sup>277</sup> К. Поланьи. Экономика как институционально оформленный процесс [1957] // Карл Поланьи. Избранные работы. М., 2010. С. 56, 63 («Перераспределение (redistribution) представляет акты стягивания товаров центром с их последующим перемещением из центра. Под обменом (exchange) подразумеваются встречные перемещения из рук в руки в условиях рыночной системы... Перераспределение — основной принцип отношений в родовой общине и древнем обществе, по сравнению с которым обмен играет лишь второстепенную роль, — приобрело огромное влияние в поздней Римской империи и постепенно набирает силу сегодня в некоторых индустриальных государствах (крайний случай — Советский Союз)»).

<sup>278</sup> И в этом, видимо, — равно последователь позднесоветского марксиста Е. Н. Старикова (Е. Н. Стариков. Общество-казарма от фараонов до наших дней [1990]. Новосибирск, 1996) и антисоветского русского националиста.

самоорганизации и утверждается, в частности, потому, что является эффективной»<sup>279</sup>.

Итак, биополитика и тотальная мобилизация капиталистической индустриализации, войны, революции и Гражданской войны в России и Германии (или даже «европейской гражданской войны» в её узком понимании — до середины 1920-х гг.<sup>280</sup>) — в России превратились в военный коммунизм Ленина и массовую трудовую повинность. Тотальная мобилизация как акт подготовки ко Второй мировой войне — стала гипериндустриализацией Сталина, для чего коммунистической власти в СССР и понадобилось «первоначальное накопление» за счёт крестьянства, ограниченное рамками национальной экономики («социалистическое»). Сталинское «социалистическое народное хозяйство», институционально следующее образцам реальной экономики Германии, Франции, Англии, США, выступало однако не в качестве былого внешнеполитического конкурента для мировых держав, как Российская империя, а в качестве того — подобного Африке и Востоку — потенциально колониального рынка сбыта, труда и ресурсов, за обладание которым между мировыми державами шла борьба. При этом совершенно очевидно, что в исторической философии великих держав Запада в отношении к колониальному и потенциально колониальному Востоку доминировал своеобразный «цивилизационный расизм», на практике превращавшийся в расизм обыкновенный, эксплуататорский, апартеидный и геноцидальный. Современный американский историк об этой философии пишет прямо: на рубеже XIX и XX вв. «сфера истории была уже, чем теперь» — «не было ничего, что могло бы рассматриваться как история любых не-западных народов: те истории не-западных регионов, которые всё же имелись, фактически были историями европейских завоеваний, оккупации и управления»<sup>281</sup>.

<sup>279</sup> И. Г. Яковенко. Россия и репрессия: репрессивная компонента отечественной культуры. М., 2011. С. 28–31, 61.

<sup>280</sup> См., например, об этом: П. Холжвист. Российская катастрофа (1914–1921) в европейском контексте: тотальная мобилизация и «политика населения».

<sup>281</sup> Аллан Мегилл. Историческая эпистемология [2007] / Пер. под ред. Л. П. Репина. М., 2007. С. 317. Современные западные исследователи интеллектуальных итогов XIX века признаются: «Несмотря на фундаментальные различия,... в позитивизме, исторической школе и марксизме... [в одном] были согласны представители всех трёх направлений: история — это единый процесс, достигающий

Важно иметь в виду, что само понятие Востока (в перспективе — Красного, Революционного, Национально-освободительно-го), введённого в большевистский политический лексикон ранее всего, видимо, Сталиным как наркомом по делам национальностей («С Востока свет», декабрь 1918), М. П. Павловичем, Г. И. Сафаровым и Л. Д. Троцким, в практике ранней Советской власти не только повторило традиционный для начала XX века западный географический интеллектуальный ландшафт, в котором Востоком назывались Япония, Китай, Индия<sup>282</sup>, Персия и Туркестан, а также Османская империя. Восток для советских коммунистов, во-первых, уверенно

---

своей цели на современном Западе. (...) По Болю, Дройзену и Марксу, история, в смысле мировой истории, ограничивалась Западом... И все три направления оправдывали экспансию Запада в не западный мир и его эксплуатацию. (...) Значительная часть общественного мнения шла ещё дальше по пути признания верховенства Запада и откровенного расизма» (*Г. Иггерс, Э. Ван. Глобальная история современной историографии* [2008]. М., 2012. С. 150, 197): «Либерально-демократическая Европа конца XIX столетия — либерально-демократическая для себя самой, но не для Африки и не для Азии» (*Раймон Арон* [Книга интервью Ж. Л. Миссика, Д. Вольтона]. Пристрастный зритель [1981]. М., 2008. С. 70). Об этом же применительно к марксизму прямо говорил представитель среднего поколения большевистских интеллектуалов и затем — советский чиновник высшего ранга Н. В. Крыленко (1885–1938): «марксизм представляет собой только попытку объяснения исторической жизни в пределах нашего европейского культурного кольца. Разгадав процесс коллективного приспособления, как он совершался в Европе за несколько последних столетий, и дав формулу того последнего приспособления, ареной которого является сейчас Европа, марксизм ограничивается только ею и дальше не идёт» (*А. Брам [Н. В. Крыленко]. В поисках «ортодоксии»*. СПб., 1909. С. 16). С другой стороны, марксизм прежде всего отражал консенсус западного представления о Западе. Теоретик-критик тоталитаризма, а в иной своей ипостаси — идейный адвокат британского империализма и колониализма и империализма США Ханна Арендт, совершенно биополитически и селекционерски фиксировала, что в Британской империи было проведено «абсолютное принципиальное различие между колониальной политикой, с одной стороны, и обычной внешней и внутренней политикой, с другой»: именно это, по её утверждению, позволило Британии, «единственной империалистической системе», избежать «эффекта бумеранга на политическую структуру нации при строительстве империи, сохраняя тем самым ядро народа здоровым, а основы национального государства относительно здоровыми» (*Ханна Арендт. Об империализме* [1951] // Ханна Арендт. Скрытая традиция. Эссе / Пер. Т. Набатниковой. М., 2008. С. 19).

<sup>282</sup> Этот западный взгляд был воспринят и в пространстве нового национализма британских колониальных народов. См. об этом, например: *Стивен Дж. Маркс. «Браво, храбрый тигр Востока!»: Русско-японская война и подъём национализма в британском Египте и Индии* // *Русский Сборник: Исследования по истории России*. Том IV. М., 2007.

включал в себя ядро распавшейся Османской империи — Турцию, а во-вторых — Закавказье (примечательно, что в 1922–1991 гг. в Тифлисе /Тбилиси выходил в свет центральный орган Закавказского крайкома РКП (б) и его наследников — газета «Заря Востока»). Однако важнее всего, что для ранней Советской власти в понятие «Восток» автоматически включалось также всё территориальное наследие Османской империи почти по границам её максимального территориального расширения в XIX веке. С одной стороны, руководящий большевистский историк и идеолог, член советской делегации на переговорах по заключению Брест-Литовского мира М. Н. Покровский прямо резюмировал цели Российской империи в войне против Османской империи в рамках войны, начавшейся в 1914 году, как «войну за Царьград, войну за “турецкое наследство”»<sup>283</sup>, с другой стороны — политическая практика НКВД РСФСР в его ранние годы рассматривала государства — осколки этого «наследства» как часть Востока, в остальном преобладающе представленного колониями, протекторатами и союзниками Британской империи. В текущем мониторинге НКВД в «Восток» — в дополнение к Японии, Китаю, Индии, Афганистану, Персии, Египту<sup>284</sup> — включались: Румыния<sup>285</sup>, Болгария, Сирия, Палестина<sup>286</sup>, Югославия, Курдистан, Ирак<sup>287</sup>. Сама Советская Россия волей-неволей обречена была обнаруживать себя среди этого Большого исторического и колониального Востока, несмотря на присвоенное себе лидерство в мировой революции и т. п. Даже столь ярко выраженный носитель германских стандартов в управленческой культуре в большевистском правительстве, как нарком внешней торговли и, несмотря на политически рискованное лоббирование

<sup>283</sup> М. Покровский. Три совещания // Вестник Народного комиссариата иностранных дел. № 1. 20 июня 1919. М., 1919. С. 12.

<sup>284</sup> Бюллетень Народного комиссариата иностранных дел. № 101. 14 ноября 1921. М., 1921.

<sup>285</sup> Бюллетень Народного комиссариата иностранных дел. № 102. 21 ноября 1921. М., 1921.

<sup>286</sup> Бюллетень Народного комиссариата иностранных дел. № 103. 28 ноября 1921. М., 1921; Бюллетень Народного комиссариата иностранных дел. № 104. 5 декабря 1921. М., 1921.

<sup>287</sup> Бюллетень Народного комиссариата иностранных дел. № 105. 12 декабря 1921. М., 1921; Бюллетень Народного комиссариата иностранных дел. № 106. 19 декабря 1921. М., 1921.

концессий и западных кредитов, создатель советской монополии внешней торговли Л. Б. Красин (1870–1926) не мог не признать, что без экстраординарных индустриальных усилий просто в силу экономических обстоятельств Советской России грозит «превращение в колонию» для поставки сырья на Запад<sup>288</sup>.

В этом контексте произнесённое Лениным в одном из его смертных «политических завещаний» 1923 года («Лучше меньше, да лучше») признание Советской России частью революционирующегося Востока — было признанием себя, в первую очередь, обороняющимся объектом этой мировой колониальной конкуренции. Для гипериндустриализации и нужен был Сталину массовый принудительный труд колхозного, то есть вновь закрепощённого, крестьянства, который только так и аккумулировал (исторически чрезвычайно быстро мобилизовывал) внутренний капитал и трудовые ресурсы. А необходимость в стратегически неуязвимой для внешних угроз индустриализации потребовала, как это уже однозначно выяснила ещё имперская государственно-экономическая мысль России, повторного освоения природных ресурсов Европейского Севера, Урала и освоения ресурсов Сибири и Дальнего Востока, создания «второго индустриального центра» — перед лицом традиционно уязвимого с Запада исторического ресурсно-индустриального центра в Ленинграде, Москве, на Украине. Это вновь поставило вопрос о её колонизации, но на этот раз уже не сельскохозяйственной, как в XIX — начале XX в., а индустриальной. Именно необходимость индустриальной колонизации Севера, Сибири и Дальнего Востока и поставила задачу мобилизации принудительного труда (ГУЛАГа, массовой ссылки), без которой тотальная мобилизация становилась нерациональной, ибо не решала вопроса о стратегической глубине тыла и его экономической устойчивости. Рыночных, рентабельных способов с нуля обеспечить постоянными трудовыми ресурсами «второй индустриальный центр», до 90% территории которого приходится на районы, по природным условиям приравненные к районам Крайнего Севера, не было, нет и до сих пор быть не может<sup>289</sup>.

<sup>288</sup> С. С. Хромов. Леонид Красин. Неизвестные страницы биографии. 1920–1926 гг. М., 2001. С. 8.

<sup>289</sup> Либеральный современный правительственный деятель России Кирилл Андросов вполне лояльно свидетельствует принципиальную нерыночность де-

Тотальная мобилизация позволила СССР победить в тотальной войне, сохранить государственность, спасти народы СССР от биологически необратимого геноцида, приобрести вокруг своих границ зону влияния и безопасности, которая однако, за исключением репараций (в том числе репараций трудом), фактически не дала никакой прибыли советской «метрополии». Здесь труд военнопленных и ряд технологических, производственных и ресурсных продуктов, особенно для советского атомного проекта, пожалуй, стали единственным «колониальным товаром» СССР. Очень быстро оказалось, что этот «товарный труд» не имеет особенного преимущества. Как только послевоенное восстановление народного хозяйства пошло к концу, тотальная мобилизация изменила свои правила (правила индустриального XIX века), в которых накопление ресурсов уже в принципе могло обойтись без массового принудительного труда, а его мобилизация носила избыточный характер. Пройдя нулевой цикл освоения природных ресурсов востока СССР, государство получило иные, полурыночные механизмы мобилизации труда и уже в 1950-е годы успешно продемонстрировало это на «подъёме целины» в Казахстане — в создании ещё одного центра аграрного производства в непосредственной близости от уже действующего «второго индустриального центра» на юге Западной Сибири и на севере Казахской ССР, а в 1960–1970-е — в создании нового нефтегазового центра страны в Западной Сибири, который кормит Россию до сих пор.

**Экономическая, политическая и общественная мобилизация как общеевропейская современность** — индустриальная и милитаристская эпоха конца XIX — первой половины XX в. — **в лице сталинизма имеет своё наивысшее утверждение**, но и в нём же — в том, что обнаруживается при анализе сталинизма как административного рынка ресурсов, — во внутреннем механизме функционирования этой тотальной мобилизации, не в её международном (цивилизационном), а в национальном (народно-хозяйственном) осуществлении, — имеет своё самопреодоление, демонстрируя

---

тельности в этих природных условиях: в отличие от современных рыночных частно-государственных инвестиционных инфраструктурных проектов в Сибири, — сталинские проекты здесь имели «кардинальное отличие... у них была другая логика: прежде всего обеспечение индустриальной базы и обороноспособности страны» (А. Ивантер. Открытая панель // Эксперт. 2007. № 21. С. 62).

внутри диктатуры пример острой межведомственной, межклановой и межличностной политической борьбы, в её сталинском итоге, 5 марта 1953 года, закончившейся смертью самого Сталина.

\* \* \*

Итак, сталинизм — частный случай истории европейского Модерна на его периферии, индустриализма, мировой конкуренции колониальных империй и великих держав на территории бывшей Российской империи, в результате которой четыре империи (Германская, Австро-Венгерская, Османская и Российская) в 1917–1918 гг. погибли, а две из них сумели восстановиться на короткое время (Германия Третьего Рейха и СССР). России / СССР здесь угрожало превращение в часть колониального мира и «расходного материала» для «мировой коммунистической революции», концептуально сформулированной в Англии и Германии на опыте германских земель и Британской империи. Следование в русле «мировой революции» в качестве его политического или экономического субъекта неизбежно делало Россию / СССР объектом международной конкуренции в преддверии Второй мировой войны. Фактический отказ СССР от проекта «мировой революции», её инструментализация в интересах международного обеспечения строительства СССР в качестве великой державы стало фактором превращения авантюристической партийной революционно-утопической коммунистической диктатуры в общенациональную диктатуру во всеоружии европейского индустриализма, полицейского государства и биополитики. Именно эта страна победила в 1945 году в тотальной войне — и называла её так, не дожидаясь историографический разъяснений: «Тотальная война, навязанная... германским разбойничьим империализмом, привела к тотальному крушению кровавого агрессора»<sup>290</sup>.

<sup>290</sup> [Ред.] Великая победа // Война и рабочий класс. № 10. 15 мая 1945. М., 1945. С. 1. Журнал «Война и рабочий класс» — «фактическим его редактором был нарком иностранных дел В. М. Молотов» под личным контролем Сталина (А. В. Голубев. «Если мир обрушится на нашу Республику...» Советское общество и внешняя угроза в 1920–1930-е гг. М., 2008. С. 190).

# **ИСТОРИЧЕСКАЯ СЕМАНТИКА «ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ»: МЕЖДУ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНЫМ И ЭТНИЧЕСКИМ / ПАРТИЙНЫМ (1812–1914–1918–1941)**

Не ѿмамы бо здѣ пребывающаго града, но грядущаго  
взыскуемъ

*Евр. 13, 14*

Апостолы и вообще первые христиане посредством  
своей веры в небесное царство уже при жизни совер-  
шенно поднялись над землёй и настолько отказались  
от её дел, государства, земного Отечества и нации, что  
больше даже и не обращали внимания на них. (...) На-  
род и Отечество как носитель и залог земной вечности  
и как то самое, что здесь может быть вечным, находятся  
намного выше государства...

*И. Г. Фихте. Речи к немецкой нации (1808)<sup>1</sup>*

---

<sup>1</sup> Перевод с немецкого А. А. Иваненко.

Коммунистов упрекают, будто они хотят отменить отечество, национальность. Рабочие не имеют отечества. У них нельзя отнять то, чего у них нет.

*Карл Маркс, Фридрих Энгельс.*

*Манифест коммунистической партии (1848)*

## ИСТОРИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА ПРЕЖДЕ ИСТОРИИ

Какой смысл для России открывало в последние 200 лет понятие «Отечественной войны» и к какому смыслу апеллировала центральная власть, не всегда успешно предлагая обществу дать имя «Отечественной войны», от каких привходящих исторических обстоятельств зависело сохранение этого имени в государственной пропаганде и национальной памяти? Теперь многие из этих вопросов отходят на второй план. А в центре общественного внимания — исторический ревизионизм в интересах этнократии и национализма, противоестественно связанных с риторическим космополитизмом.

Национализация (этнизация) истории в новых независимых государствах на территории бывшего СССР выразилась и в том, что национализации подверглась не только советская история, но и история Российской империи, в которую входили территории названных государств. В применении к Отечественной войне 1812 года, которую вела Российская империя, это означает, что от такой *отечественности* её отказались официоз, историография и школа Украины<sup>2</sup>, Латвии<sup>3</sup>

<sup>2</sup> В официальной идеологии (школьной программе и картографии) современной Украины Отечественная война 1812 именуется «Российско-французской войной 1812–1814 гг.», в школьном атласе по истории — «Поход Наполеона в Россию» (Всесвітня історія. Новий час (кінець XVIII–XIX ст.). Атлас. Київ, 2010 [2000–2010]. С. 2), в «Атласе истории Украины», подготовленном в Институте истории Украины Национальной академии наук Украины, — «Российско-французская» и одновременно «Война Российской и Французской империй» 1812 года (Атлас історії України / Упор. Д. В. Исаев. Київ, 2012. С. 80). О современной украинской историографии проблемы: *И. А. Шейн*. Война 1812 года в отечественной историографии. М., 2013. С. 361–363; *С. В. Потрашков*. Отечественная война 1812 г. и историческая память украинцев и современная украинская историография // 1812. «Освобождение России от нашествия неприятельского»: уроки истории и вызовы современности. Сб. докладов / Под ред. М. Б. Смолина. М., 2013.

<sup>3</sup> В историческом атласе, изданном в современной Латвии, вместо Отечественной войны 1812 года речь уже идёт о «Войне Наполеона 1812 года» (Latvijas

и Литвы — по образцу западной историографии<sup>4</sup>, ибо собственной, альтернативной национальной (националистической<sup>5</sup>) историографии проблемы в этих странах просто не было и быть не могло. С точки зрения имплицитной риторики — отказ от *отечественности* есть отказ от мифа Отечества, тесно связанного с образом «Родины-матери»<sup>6</sup>,

---

vēstures atlants / Red. Jānis Turlajs. Rīga, 2005. 26 l.). При этом известно, что нашествие Наполеона и общее ему сопротивление затронуло Лифляндскую губернию наравне с другими западными губерниями, вызвало участие латышей в партизанском движении против наполеоновских войск (Х. П. Стродс. Положение в Курляндии (Латвии) в период Отечественной войны 1812 // К 175-летию Отечественной войны 1812 г. и Освободительной войны 1813 г. в Германии. М., 1988), оставило заметный патриотический след в народной памяти губернии (Е. Л. Назарова. Чтение для латышей о войне 1812 года. XIX — начало XX века) // Россия и Балтия. Вып. 7. Памятные даты и историческая память / Ред.-сост. Е. Л. Назарова. М., 2015). См. также: С. Н. Сивицкий. Отечественная война в Прибалтийском крае 1812–1912 г. С историческим очерком Прибалтийского края в XVIII столетии. Рига, 1912.

<sup>4</sup> «Зарубежные историки военные события 1812 года традиционно называют Русским походом Наполеона или кампанией 1812 года в России, а отнюдь не Отечественной войной 1812 года» (В. М. Безотосный. Россия и Европа в эпоху 1812 года. Стратегия или геополитика. М., 2012. С. 11). При этом в широко распространённом «Атласе всемирной истории» американского издательского дома Reader's Digest, в издании на русском языке, ответственность за терминологию и названия, в котором официально разделил специальный редактор оригинального текста, военные действия русских войск против Наполеона, локализованные на территории Российской империи в 1812 году, прямо обозначаются на самой карте — на территории России — как «Отечественная война» (Атлас всемирной истории Ридерз дайджест [2001]. М., 2003. С. 205. Редакционная информация: С. 4).

<sup>5</sup> *Маргарита Фабрикант*. Неудобное событие? 200-летний юбилей войны 1812 года и национальный исторический нарратив (случай Беларуси) // Два века памяти России о 200-летию Отечественной войны 1812 года / Отв. ред. В. В. Лапин. СПб., 2015. С. 197–198; *Владимир Маслак, Виктор Саранча*. Юбилей 1812 года и Украина: между Отечественной и франко-русской войной // Там же. С. 237.

<sup>6</sup> «Умирай за Дом Богородицы, за Матушку, за Пресветлейший дом». В авторской версии: «Умирай за дом Божий, за дом Пресвятыя Богородицы, за дом всепресветлейший царский, за веру, за отечество» (А. В. Суворов. Наука побеждать. Разговор с солдатами их языком [1795, 1798] // А. В. Суворов. Наука побеждать: Мысли, афоризмы, анекдоты. М.; СПб., 1999. С. 168, 192 (примечание С. В. Лопатина)). В комментарии 1809 года издатель текста М. И. Антоновский указал, что под Матушкой следует понимать солдатское именование России. «Благодаря пропаганде Первой мировой войны «Россия-Матушка» ещё более увеличила свой символический капитал, что обеспечило и обострение борьбы за него», в годы Гражданской войны белые в своей пропаганде обратили эту формулу против красных, изображая их в качестве инонациональной силы, противо-

то есть от сложности и полноты горизонта реальной истории в пользу партийно-политической, этнической частичности, простоты исторического конструктивизма, официальной азбуки «исторической политики» новых государств, защищаемой всей силой власти, включая уголовное преследование за отрицание официального мифа. Отказ бывших имперских территорий от общеимперской *отечественности* — это отказ от целого периода своей истории в пользу своей заведомой вторичности — в новой, альтернативной коалиции. Националистическое исключение себя из имперской истории — отказ от непрерывной исторической субъектности, имитация жертвы либо марионеточного «бастиона цивилизации».

Для Литвы этот отказ от прежнего имени войны, несмотря на известные польско-литовские противоречия, предопределяется тем, что Литва была частью разделённой при участии России Польши и местом «воссоздания» части польской государственности Наполеоном в 1812 году<sup>7</sup>. Вторгшись в Российскую империю, 19 июня 1812 Наполеон создал — наряду с Княжеством Курляндии и Семигалии (на территории русской Курляндской губернии) — в качестве оккупационного протектората Великое княжество Литовское (на территории русских Виленской и Гродненской губерний, Белостокского округа и северной половины Минской губернии) во главе с *польским* Временным советом, просуществовавшее до конца сентября 1812. Этому взгляду и подчиняется литовский исторический официоз.

Есть в польском аспекте этой войны, которая в России естественно выступает оборонительной и *отечественной*, ясный выбор, который её имя ставит перед национальным историческим сознанием этнического большинства населения Литвы, Белоруссии и Украины: если оно до сих пор мыслит себя населением Восточных кресов Речи Посполитой, ставших в XVIII веке интегральной частью территории Польши,

---

стоящей Родине-матери: «Лишь в середине 1930-х происходит возрождение «России-Матушки» в облике Советской России...» (Олег Рябов. «Россия-матушка» и/или «царь-батюшка»: революция в гендерном дискурсе Серебряного века // Конструкты национальной идентичности в русской культуре: вторая половина XIX столетия — Серебряный век. Материалы конференции. Июнь 2009 г., Тюмень / Тобольск / Под ред. Р. Нохейль, Ф. Карл, Э. Шоре. М., 2011. С. 422, 426, 429).

<sup>7</sup> В польском «Большом историческом атласе» русская Отечественная война 1812 г. логично является анонимной частью наполеоновских войн (Wielki Atlas historyczny / Demart SA. Warszawa, 2011. S. 63).

то их отказ от *отечественности* логичен, ибо поляки были важной частью Великой армии Наполеона. Если же оно мыслит себя наследником Великого княжества Литовского и Русского, альтернативного Московской Руси, то ему необходимо особое имя для этой войны. Но его нет. Признание себя бывшей частью Российской империи заставляет признать для себя *отечественность* её войны с Наполеоном и сохранить традиционное имя. Но и здесь нет согласия. Потому *польский выбор* диктует формально нейтральное, а на деле — *французское* имя войны. Такой выбор подтверждают факты реальной истории наполеоновского «Великого княжества Литовского», существовавшего в тени французской оккупации: во-первых, несомненно, что созданное Бонапартом его правительство было по своему составу полностью польским и имело перед собой чисто военные задачи обеспечения тыла армии, во-вторых, не пользовалось достаточной поддержкой местного населения, и, главное, уже через две недели после своего создания подписали в Вильне акт присоединения Литвы к Герцогству Варшавскому (в виде «Варшавской конфедерации») как акт восстановления польской Речи Посполитой<sup>8</sup>, никакого отношения к собственно литовской государственности не имеющий. Исследователь французской политики и пропаганды специально проанализировал замысел и реализацию этого наполеоновского протектората, главной задачей которого была поставлена мобилизация живой силы в армию Бонапарта. Её пропагандисты писали тогда: «Столица Русской Польши в нашей власти, а 6 миллионов поляков-литовцев<sup>9</sup> объединились в конфедерацию с 5 миллионами поляков герцогства Варшавского и собирают армию, чтобы отстоять свои права» (представитель польского сейма насчитывал ещё больше — всего «16 миллионов»: известно, что полвека спустя Маркс и Энгельс требовали для независимой Польши 20 миллионов). Но фактически, резюмирует историк, «создание единого государства шло очень медленно, так как Наполеон в надежде на скорое начало мирных переговоров с Александром I уклонялся от принятия решения по возрождению Речи Посполитой в границах 1772 года», и в итоге уже

<sup>8</sup> В. Пугачаускас. Литва в войне 1812 года // Россия и Балтия. С. 54, 56, 61–62.

<sup>9</sup> При этом «литовцы прохладно отнеслись к попыткам французов создать новую администрацию и идее объединения с Великим герцогством Варшавским» (Н. В. Проmysлов. Французское общественное мнение о России накануне и во время войны 1812 года. М., 2016. С. 195).

с середины сентября 1812 года тема Польши и литовского протектората исчезла из наполеоновского официоза<sup>10</sup>.

Эта инструментализация *польского вопроса* — не только историческая реконструкция. Она была прямо заявлена самим агрессором. 12 (24) июня 1812 года Наполеон Бонапарт обратился к своей армии с приказом о наступлении в пределы Российской империи: «Вторая Польская война началась. Первая кончилась под Фридландом и Тильзитом... Вторая Польская война, подобно первой». Он, разумеется, имел в виду проигранную Россией русско-французскую войну 1805–1807 гг., но для русского исторического сознания Польская война, начинающаяся с нашествия исторического врага непосредственно в центр страны, имела другие аналоги — с польским нашествием и взятием Москвы в 1612 году. Даже критически настроенный к русским власти и командованию, великий русский художник, автор классической живописной серии о событиях 1812 года В. В. Верещагин (1842–1904) писал как о несомненном для русских: «Наполеон шёл в Россию с намерением восстановить Польшу»<sup>11</sup>. Известно, что и польский национальный гений Адам Мицкевич мечтал о «войне народов» (то есть великих держав против России) как о спасительнице Польши. Историк литературы свидетельствует: именно разделы Польши XVIII в. (то есть её историческое поражение — после её исторической победы над Россией и прежнего триумфа над Москвой в XVII в.) сделали Смуту одной из центральных тем русского культурно-исторического сознания конца XVIII — начала XIX в.<sup>12</sup>

<sup>10</sup> Н. В. Промыслов. Французское общественное мнение о России накануне и во время войны 1812 года. С. 51–52, 67–68.

<sup>11</sup> Василий Верещагин. 1812. Наполеон в России. М., 2012. С. 5.

<sup>12</sup> «Второй и третий разделы Польши [1793, 1795] привлекли внимание русской публики к сюжетам, связанным с окончанием Смутного времени: ополчению Минина и Пожарского, освобождению Москвы и избранию на царство Михаила Фёдоровича Романова. Через десять с небольшим лет, в краткий период, отделяющий Аустерлицкий разгром от Тильзитского мира, эти фигуры и эти события заняли доминирующее положение в национальном историческом пантеоне. В 1806 г. было написано напечатанное двумя годами позднее «историческое представление» Г. Державина «Пожарский», в 1807-м одна за другой появляются поэмы С. Н. Глинки «Пожарский и Минин» и С. А. Ширинского-Шихматова «Пожарский, Минин, Гермоген, или Спасённая Россия», трагедия М. В. Крюковского «Пожарский»... В 1807 г. был объявлен конкурс на памятник Минину и Пожарскому, итогом которого стал знаменитый монумент Мартоса [1818 года]. (...) Конечно, эти героические страницы русской истории привлекали писателей и рань-

Прошедшее в современной Белоруссии<sup>13</sup> бюрократическое переименование Отечественной войны 1812 года во «французско-русскую войну 1812 года»<sup>14</sup> и дискуссия вокруг него поставили перед русским историческим сознанием в России и Белоруссии ряд принципиальных вопросов о пределах не только «национализации» общего исторического прошлого. Но и о пределах его «стерилизации» от имперского наследия, которая в данном случае — в противоположность стремле-

ше — достаточно вспомнить трагедию М. М. Хераскова, написанную в 1798 г, или замысел поэмы Державина «Пожарский», относящийся, по мнению Я. К. Грота, к 1780-м гг. Да и в послетильзитские годы С. Н. Глинка опубликовал «отечественную драму» «Минин» (1809), а П. Ю. Львов — исторические повествования «Пожарский и Минин» (1810) и «Избрание на царство Михаила Фёдоровича Романова» (1812). В 1811 г. была с большим успехом исполнена оратория композитора С. А. Дехтерева «Минин и Пожарский [или Освобождение Москвы]... Освобождение России от поляков и воцарение династии Романовым начинают восприниматься как ключевое событие народной истории. На протяжении всего XVIII столетия подобная роль неизменно отводилась петровскому царствованию» (*Андрей Зорин*. Кормя двуглавого орла... Литература и идеология в России в последней трети XVIII — первой трети XIX века. М., 2004. С. 159, 161). О художественных «компенсациях» неудачного для России Тильзитского мира 1807 года, который из части земель Пруссии воссоздал Польшу в виде Герцогства Варшавского, в виде прославления бывших побед над поляками см. также: М. Д. Далбилов. Поляк в имперском политическом лексиконе // «Понятия о России»: К исторической семантике имперского периода / Ред. А. Миллер, Д. Сдвижков, И. Ширле. Т. II. М., 2012. С. 295). См. также: А. В. Святославский. История России в зеркале памяти. Механизмы формирования исторических образов. М., 2013. С. 189.

<sup>13</sup> О современной белорусской историографии проблемы: И. А. Шеин. Война 1812 года в отечественной историографии. М., 2013. С. 356–361. О политической ангажированности и дефиците собственно научных аргументов белорусских критиков «отечественности» войны 1812 года на белорусских землях: Н. Е. Аблова. Отечественная война 1812 г. в современной белорусской историографии и учебной литературе 1812. «Освобождение России от нашествия неприятельского»: уроки истории и вызовы современности. Сб. докладов / Под ред. М. Б. Смолина. М., 2013. С. 96.

<sup>14</sup> См. конкурирующие названия войны — «Отечественная» (1941) и очищенное от «Отечественной» (1812): Вялікая Айчынная вайна. Баявыя дзеянні на тэрыторыі Беларусі, 22 чэрвеня — жнівень 1941 г. // Гісторыя Беларусі. 1917–1945 гг. Атлас. 10 клас. Мінск, 2009. С. 14–15; Беларусь у час вайны 1812 г. // Гісторыя Беларусі (XIX ст. — 1917 г.) Атлас. 8 клас. Мінск, 2007. С. 14–15. «Понятие Отечественной войны 1812 г. полностью выведено из учебников. Сейчас эта война представляется как борьба этнических великороссов с наполеоновским нашествием. Странно описывается русская армия. Собственно русские оцениваются отрицательно» (А. Д. Гронский. Белорусский школьный учебник о российском периоде белорусской истории // Аспект. № 1. Белград; Минск, 2017. С. 75: [aspects.su/attachments/Aspect\\_2017\\_1\\_1.pdf](https://aspects.su/attachments/Aspect_2017_1_1.pdf)).

нию националистической белорусской элиты к строительству суверенного исторического мифа — одновременно лишает Белоруссию (белорусские земли) исторической субъектности в рамках имперской государственности и превращает её в транзитную межгосударственную и колониальную территорию. Попытки главного официального издания Белоруссии представить войну 1812 года на белорусских землях как войну *гражданскую* — между якобы белорусами на стороне Наполеона и белорусами в рядах Русской армии<sup>15</sup> — не только противоречит элементарным фактам о том, что поддержка агрессора носила сословно-этнический характер (его поддержала лишь польская шляхта, а сопротивление агрессору и поддержку Русской армии оказали местные крестьяне<sup>16</sup> и евреи<sup>17</sup>), но и о говорит о политически ангажированной

<sup>15</sup> Гражданская война белорусов. В 1812-м наши предки сражались друг против друга // Советская Белоруссия / Беларусь сегодня. 12 июля 2012: sb.by/articles/grazhdanskaya-voyna-belorusov.html (первая публикация: kp.by). Следующая языку науки аргументация белорусских противников *отечественности* войны в целом оперирует априорными, не верифицируемыми схемами, за которыми нет достаточного фактического материала: что тогда белорусов-католиков недобросовестно записывали в поляки (наверное, сами поляки), а 80% белорусов были униаты, поэтому отечеством для них служила не Россия, а бывшая Речь Посполитая (*И. А. Шейн*. Война 1812 года в отечественной историографии. С. 356–361). Такая схема на деле начисто исключает возможность объявленного гражданского раскола на белорусских землях, ибо просто обязывает всё население Белоруссии в едином порыве выйти навстречу Бонапарту и поголовно вступить в его армию для взятия «схизматической» Москвы. Но поскольку этого не случилось, это лишь доказывает фальшь усилий изобразить гражданский раскол белорусов вокруг нашествия Бонапарта и его польских соратников.

<sup>16</sup> См. важное свидетельство: *В. А. Лобанов*. Война 1812 г. в фольклорной памяти белорусов Витебщины // Живая старина. М., 2012. № 3.

<sup>17</sup> «Как свидетельствуют все исторические данные, евреи не только Литвы и Украины, но и русской Польши были на стороне России и оказывали часто всевозможные довольно важные услуги русской армии, за что нередко платились жизнью» (*Семен Ан-ский*. Отечественная война и евреи [1912] // 1812 год — Россия и евреи / Ред.-сост. В. Лукин, И. Лурье, М. Гринберг. М.; Иерусалим, 2012. С. 194–195); современный исследователь отмечает единодушие традиционной и современной историографии в признании деятельной солидарности русских евреев с имперской администрацией и Русской армией в противодействии нашествию Наполеона (*Вениамин Лукин*. Война 1812 года в коллективной памяти русского еврейства // Там же. С. 55–58); список жертвованных евреев на нужды обороны, официально объявленных в «Санкт-Петербургских ведомостях», в том числе по губерниям Минской, Витебской, Могилёвской, см.: *Саул Гинзбург*. Отечественная война 1812 года и русские евреи [1912]. М., 2012. С. 195–197; см. также: *Ф. З. Фельдман*. Российские евреи в эпоху наполеоновских войн. М., 2013. С. 123–285 (Гл. 3. Евреи в Отечественной войне 1812 года). В 1812 г. на стороне реванша

попытке официоза в Минске изобразить французское нашествие как «западную альтернативу» — «восточной деспотии» Москвы<sup>18</sup>. Заместитель министра образования Белоруссии В. А. Будкевич выступил с официальным документом от 9 августа 2012 № 04-03-1496-С-101-0 об отказе от употребления термина «Отечественная война 1812 г.» в официальной образовательной политике страны в пользу «Войны 1812», открыто демонстрируя не «гражданский», а *феодальный* подход к идентичности:

поляков и поэтому на стороне французов были только евреи из этнографической Польши — Малой Польши и Мазовии, Герцогства Варшавского, но более всего — из Варшавы. Они вместе с поляками участвовали в восстании Т. Костюшко 1794 г., и в обеспечении похода Наполеона на Россию, и в восстании 1830 г. (*Д. Фельдман, Д. Петерс*. Об участии евреев в подавлении польского восстания 1830–1831 гг. и их награждении за заслуги // Параллели: русско-еврейский историко-литературный и библиографический альманах. № 6–7. М., 2005. С. 11–12).

<sup>18</sup> Этот ангажемент хорошо считывается во Франции и вызывает ответный историко-культурно-политический расизм: посол Франции в Белоруссии Мишель Ренери 2 ноября 2012 на церемонии перезахоронения останков солдат армии Наполеона, вторгшихся в Российскую империю в 1812 году и погибших на её территории в районе реки Березина: «Эти люди, эти идеи — идея новой Европы, в которой сегодня мы живём. Сегодня мы живём в Европе в мире — и это тоже долг этих солдат, которые находятся здесь. Это не вопрос споров или дебатов» (Посол Франции: Солдаты Наполеона погибли в России за мир и новую Европу // REGNUM. 3 ноября 2012: regnum.ru/news/1589448.html). О сути «идеи новой Европы» хорошо свидетельствуют следующие факты. Под наполеоновской оккупацией Москвы остались 12 000–15 000 москвичей, после ухода французов в городе было всего 3 000 жителей. К началу оккупации Москвы Наполеоном более 700 раненых русских воинов оставались в госпитале во Вдовьем доме на Кудринской площади. Они были заживо сожжены французскими военными. Существуют свидетельства, что горели они молча. Всего в Москве оставались от 2 000 до 10 000 раненых воинов, выжили из них всего 300 человек (*А. В. Белов*. В преддверии «Большого пожара»: население Москвы накануне 2 сентября 1812 года: численность, состав, условия, мотивация, судьба // История Московского края. Проблемы, исследования, новые материалы. Вып. 4 / Отв. ред. Д. Д. Богоявленский, В. Н. Захаров. М., 2013. С. 48; по другим данным, до 15 000–22 000, кроме освобождённых в Москве русскими войсками, из числа убитых там русских пленных надо исключить тех, кого французы увели с собой: *Н. В. Промыслов*. Французское общественное мнение о России накануне и во время войны 1812 года. М., 2016. С. 85). На Западе логика соединения космополитических и националистических приоритетов понятна: «Нет ничего удивительного в том, что властные режимы и националистические мифотворцы обращались именно к эпохе Наполеоновских войн. Иногда говорят, что современная испанская нация возникла из мифологии о восстании против наполеоновского правления. Прусская школа немецкой националистической историографии почерпнула большую часть своей привлекательности из своей интерпретации войны Шестой коалиции 1813 года... В данном контексте вовсе не удивительно, что западная историография во многом рассматривает кампанию 1812 года глазами Франции или же минимизирует роль России в 1813–1814 годах» (*Доминик Ливен*. Право одержать победу: Россия против Наполеона // Родина. М., 2012. № 6. С. 32).

«Употребление термина “Война 1812 года” появилось в историографии постсоветских государств (Литва, Латвия, Беларусь, Украина) и Польши, которые ранее входили в состав Российской империи, в 90-х годах XX века. Тогда оформились два подхода к трактовке Отечественной войны 1812 года: принятый в российской и советской науке подход к событиям 1812 года как “Отечественная война 1812 года” и рассмотрение указанных выше событий как “Война 1812 года”. Историки отмечают, что *шляхетское сословие* стремилось преимущественно к восстановлению *собственной государственности* в виде Великого княжества Литовского или объединённого Польского Королевства и ориентировалось на Наполеона. Часть аристократов и крупных землевладельцев связывала свои надежды на возрождение “литовской” государственности в союзе с Россией и во главе с Александром I. Таким образом, жители белорусских, литовских и западных украинских губерний оказались в армиях двух противоборствующих сторон (курсив мой. — М. К.), что придало этой войне противоречивый характер. В настоящее время термин “Война 1812 года” является наиболее устоявшимся в научных кругах Беларуси».

Исторически ясно, что «чужая война» 1812 года на территории будущей Белоруссии, изобретение в лице польского повстанца 1863 года К. Калиновского «белорусского» героя освободительного движения<sup>19</sup> — прямое продолжение советской пропаганды и плод сталинской «коренизации» Советской Белоруссии и её сталинского же территориального расширения в течение 1920-х гг. и 1939 г.<sup>20</sup>, которые, собственно, и предопределяют теперь — в пределах какой именно территории сейчас политическое руководство независимой Белоруссии «определяет» историческую реальность 1812 года — была ли та война «Отечественной» для белорусских Полоцка, Витебска, Могилёва, Гомеля, пе-

<sup>19</sup> А. Д. Гронский. Конструирование образа белорусского национального героя из участника польского восстания 1863–1864 гг. Викентия Константина Калиновского // Русский Сборник: Исследования по истории России. Том XV: Польское восстание 1863 года. М., 2013; Ю. А. Борисёнок. Переулок Калиновского, или Станция Полоцк вместо Полоцкого университета // Там же. 20 января 2017 глава МИД Белоруссии В. В. Макей официально объявил вождя польского восстания 1794 г. Т. Костюшко — белорусом.

<sup>20</sup> Подробно об этом: Ю. А. Борисёнок. На крутых поворотах белорусской истории: Общество и государство между Польшей и Россией в первой половине XIX века. М., 2013. Глава 3.

реданных республике в 1924–1926 гг. из РСФСР, и белорусских Бреста, Барановичей, Пинска, Вилейки, присоединённых в 1939-м, а теперь перестала быть «Отечественной» именно потому, что они были присоединены? Можно быть совершенно уверенным: если бы названные территории остались бы в составе РСФСР (или были включены непосредственно в РСФСР в 1939-м), *отечественность* войны 1812 года для них сейчас никем в Минске не подвергалась бы сомнению — просто по бюрократическому принципу.

На деле такой производимый в Минске идеологический конструкт, несмотря на проблески белорусского национализма (выступающего против *отечественности* не из-за якобы отсутствия факта общенародности, а из-за её «имперского» характера), означает лишь убеждение в том, что «главный» класс-этнос на белорусских землях — «национализируемая» польская шляхта (которая действительно раскололась на сторонников Наполеона и верных воинов Русской армии), а крестьянское население, позже самоопределившееся как белорусы (свидетельств о расколе которого нет), и евреи — внимания не заслуживают. Современные белорусские строители мифа этнической государственности, следующие в русле польского и литовского национальных мифов, всё чаще противопоставляют его «исторически враждебной» России. Профессиональный историк, первый ректор Белорусского государственного университета (1921–1929), исследователь этногенеза белорусов В. И. Пичета (1878–1947) в приуроченном к присоединению Западной Украины и Западной Белоруссии к СССР труде уделил специальное внимание той исторической реальности белорусских земель в 1812 году, которую ныне в Минске стремятся изобразить как «гражданскую войну» между сторонниками Парижа и Москвы:

«В связи с походом Наполеона в Россию польские магнаты Литвы и Западной Белоруссии провозгласили независимость великого княжества Литовского под его протекторатом. Временное правительство, созданное приказом Наполеона 6 июля 1812 г., обратилось с воззванием к крестьянскому населению, которое при вступлении “великой армии” в пределы Западной Белоруссии и Литвы убежало в леса с семьями и домашним скарбом: ...“все крестьяне, жители местечек и деревень, оставившие при проходе войск свои дома, обязаны вернуться в оные и приступить к исполнению своих земледельческих работ и повинностей”... Все увещава-

ния временного правительства Литвы вернуться домой к своим занятиям и повинностям не дали желательных результатов. Вопреки призывам временного правительства крестьяне сорвали рекрутский набор в Белоруссии. Крестьянская масса не ограничивалась только одним пассивным сопротивлением... Наиболее значительным было крестьянское движение в Минском департаменте, в Витебской и Могилёвской губерниях. Грабежи, убийства экономов и арендаторов, поджоги усадеб были обычной формой протеста... Военное командование в конце августа использовало военные отряды для подавления крестьянских выступлений...»<sup>21</sup>

Современный русский историк даёт фактическую справку:

«Для белорусских земель, вошедших в состав Российской империи, характерной была социальная структура общества, при которой каждое сословие было, по сути, замкнуто в пределах одной конфессии. Особенно чётко эта закономерность читалась в западно-белорусских землях — т.е. в значительной части Виленской и Гродненской губерниях, а также Белостокской области. Дворянство здесь было преимущественно католическим, т.е. польским, мещанство — иудейским, т.е. еврейским, а крестьянство — православным, т.е. русским (так, во всяком случае, оно называло себя и так его называли иноверные соседи) или униатским, национальная самоидентификация которого была размыта, что приводило к популярному самоназванию “тутейший”. (...) Наполеон издал приказ о формировании 5 пехотных и 4 конных литовских полков по образцу польских войск. В основном в эти части шли поляки — Виленская и Минская губернии дали по 3 000 чел., Гродненская — 2 500, Белостокская область — 1 500 чел. В восточной части Белоруссии, где польское население было немногочисленным, с большим трудом было собрано около 400 добровольцев-поляков. Эта “народная гвардия” при отступлении европейских орд разбежалась, не сделав ни одного выстрела по русской армии. (...) Именно в белорусских губерниях наметилось разделение симпатий местного населения. Польское, т.е. католическое по преимуществу, дворянство симпатизировало французам. Оно даже было готово терпеть мародеров... Православное крестьянство не желало терпеть грабежей во имя восста-

<sup>21</sup> В. Пичета. Основные моменты исторического развития Западной Украины и Западной Белоруссии. М., 1940. С. 108, 110, 111.

новления отечества поляков и расправлялось со своими помещиками, а также, в случае возможности, и с приходившими им на помощь отрядами французской армии. Еврейское население городов и местечек также оставалось полностью лояльным России»<sup>22</sup>.

Справедливости ради надо сказать и о том, что научная критика *отечественности* («народности») войны 1812 года звучит и в современной России, но фактически тонет в том «неожиданном» обнаружении, что она не вполне «народная», что в России была ещё власть и армия, что русские партизаны были военными<sup>23</sup>, а русские крестьяне без перспективы военной поддержки не рисковали бы поднимать свою «дубину народной войны»<sup>24</sup>. Эта научная критика напрасно игнорирует азбучные сведения историографии партизанского движения о том, что *партизанская война* есть предмет серьёзной организационной работы, но принципиально возможна только там и тогда, когда пользуется массовой поддержкой местного населения, которое и без армии способно на партизанские действия, что остаётся центральным в оценке событий 1812 года. Точно так же актом крайнего первобытного анархизма является допущение того, что образ защищаемого Оте-

<sup>22</sup> М. Шевченко. Факты, которых не «замечают» в Институте истории НАН Беларуси: [zaradrus.su/2012-04-11-14-59-43/2012-04-11-15-07-21/2012-06-14-19-33-08/729--lr-.html](http://zaradrus.su/2012-04-11-14-59-43/2012-04-11-15-07-21/2012-06-14-19-33-08/729--lr-.html)

<sup>23</sup> О роли военных в крестьянских отрядах, равно как о самостоятельных партизанах из крестьян первыми рассказали ещё сами русские военные пропагандисты в ходе войны 1812 года: Листовки Отечественной войны 1812 года. Сб. документов / Сост. Р. Е. Альтшуллер, А. Г. Тартаковский. М., 1962. С. 52, 53, 55, 114 (см. также воззвание о солидарности с испанскими и португальскими партизанами: С. 38).

<sup>24</sup> В. С. Парсамов. К генезису политического дискурса декабристов. Идеологема «народная война» // Декабристы. Актуальные проблемы и новые подходы. М., 2008; В. С. Парсамов. Конструирование идеи народной войны в 1812 году // Новое литературное обозрение. М., 2012. № 118 (6); А. И. Попов. О характере войны 1812 года // Эпоха 1812 года. Исследования. Источники. Историография: Сб. М., 2002. Несмотря на факты социальных протестов, не менее авторитетный исследователь подтверждает, что «на всём протяжении XIX столетия трудно найти другой такой пример национального единения, как 1812 год» (В. Я. Гросул. Общественное мнение в России XIX века. М., 2013. С. 80). Впрочем, другой авторитетный исследователь Отечественной войны 1812 г., из формулы единства «веры, царя и отечества» признаёт значение лишь одной её части: «Единение сословий могло состояться, что и произошло, только вокруг символа и главы государства — российского императора. И ничего другого быть не могло» (В. М. Безототный. Россия в наполеоновских войнах 1805–1815 гг. М., 2014. С. 574).

чества в массовом сознании хоть как-то возможен без составляющих его образов государства, власти, военной силы. Утешительно хотя бы то, что такой скепсис в России не сопровождается националистическим «строительством нации» из воображаемого, как в иных странах.

Всё более сближающийся политический (официоза) и узко этнический (националистической оппозиции) пафос в Белоруссии ставит историческую политику перед неразрешимым противоречием: если Отечественная война 1812 года для белорусских земель не была общей войной для большинства жителей, то это значит, что и Россия, в составе которой по итогам разделов Польши в 1772, 1793 и 1795 гг. соединились белорусские земли, не была в 1812 году их Отечеством. И это с неизбежной логикой будет означать, что новое воссоединение белорусских земель в СССР в 1939 году не создавало для них единого Отечества. И в 1941 году для них не было общей Великой Отечественной войны. И значит — современная Беларусь сейчас не является исторически единым Отечеством. Учитывая значительное число поляков в армии Наполеона, вторгшейся летом 1812 года в пределы России, особый наполеоновский польский проект в Вильне и неизменный для них образ независимой Польши по границам 1772 года<sup>25</sup>, — белорусские земли в лишённой *отечественности* войне 1812 года низводятся до уровня транзитного театра военных действий. Их историческая

<sup>25</sup> После поражения России под Аустерлицем, в 1805–1806 гг., произошёл всплеск патриотических настроений: «В сознании русского общества между Польшей и Францией существовала метонимическая связь... Франция наиболее активно противодействовала русской политике в Польше, а варшавские возмущения 1791 и 1794 гг. воспринимались в России как распространители революционного духа. В идеологическом обосновании кампании 1806–1807 гг. огромную роль сыграла православная церковь. В объявлении Синода от 30 ноября 1806 г., читавшемся во всех церквях, Наполеон обвинялся в отпадении от христианства, идолопоклонстве, стремлении к “ниспровержению Церкви Христовой”, а начавшаяся кампания приобретала характер религиозной войны “против сего врага Церкви и Отечества”. (...) В обществе циркулировали предсказания грядущего восстановления Польши. Страхи эти подпитывались ликованием, с которым был встречен Наполеон в Варшаве, пронаполеоновскими прокламациями польских патриотов и, главное, ропотом в западных губерниях, лишь недавно отошедших к России после разделов Польши... Антипольские настроения, нараставшие в российском обществе со времён разделов и польских восстаний 1790-х гг., оформляются в эти годы в комплекс ясных идеологических представлений, которые... чётко сформулировал П. Ю. Львов, написав о “древней завистнице Российского царства, всегдашней ненавистнице Москвы, властолюбивой Польше, всегда искавшей нам бед”» (*Андрей Зорин. Кормя двуглавого орла... С. 163, 165*).

субъектность в такой перспективе неизбежно перетекает в Варшаву. Заместитель директора Института истории Национальной Академии наук Белоруссии по научной работе М. Г. Жилинский в своём ответе от 18 июля 2012 года на обращение участников научной конференции «Отечественные войны Святой Руси» вполне прозрачно стремился доказать, что в 1812 году «отечественной» (демонстрирующей массовое сопротивление оккупантам) война стала лишь со вступлением войск Наполеона на территорию Смоленской губернии (то есть по границам Польши 1772 года, включающим белорусские земли в её состав!) и в собственно внутрirosсийских пределах, не затрагивая новые губернии Северо-Запада России<sup>26</sup>.

Этот «аргумент Смоленска», несмотря на всю свою укоренённость в картине мира «дораздельной Польши», научно ничтожен. Доминик Ливен в своём фундаментальном труде о 1812 годе однозначно сообщает: хотя оборона Смоленска, пределов «старой России», «центральных районов Великороссии» и образ Смоленской Божьей Матери для русских *войск* стали «главным напоминанием о том, что это была “отечественная” война»<sup>27</sup>, это само по себе не придаёт этой войне *отечественности*. Ведь и **«партизанские вылазки начались ещё до того, как Наполеон миновал Смоленск...»**<sup>28</sup>. Историческая символика Смоленска и ныне ставит выбор перед идеологами в Белоруссии: видеть себя наследником Руси или исторической частью Польши. Когда в 1667 году первородный русский Смоленск вновь и окончательно вошёл в состав объединённой Руси, он уже стоял в центре непрерывной 250-летней войны между Москвой / Россией и Литвой / Польшей, и после этого Польша отнюдь не оставила своих притязаний. Смоленск — не только историческая граница, но и символ борьбы против угрозы с Запада, а именно — из Польши, доведшей свои устойчивые политические, правовые и конфессиональные границы до самого Смоленска, поглотив его. Ничтожны и шансы изобразить не только гражданский раскол, но даже сколько-нибудь видимый отклик народного большинства белорусских земель на якобы «освободительные» надежды, якобы внушаемые Наполеоном:

<sup>26</sup> См.: [zapadrus.su/2012-04-11-14-59-43/2012-04-11-15-07-21/2012-06-14-19-33-08/726--l-r.html](http://zapadrus.su/2012-04-11-14-59-43/2012-04-11-15-07-21/2012-06-14-19-33-08/726--l-r.html)

<sup>27</sup> Доминик Ливен. Россия против Наполеона: Борьба за Европу, 1807–1814 [2009] / Пер. А. Ю. Петрова. М., 2012. С. 226–227, 234, 272.

<sup>28</sup> Доминик Ливен. Россия против Наполеона. С. 297–298.

«за [первые] два месяца войны произошло не только значительное сокращение численности французской армии, также заметно ослабили её дисциплина и моральный дух, имея у себя десятки тысяч больных, дезертиров и мародёров, разбросанных по территории Литвы и Белоруссии, не было разумнее укрепить основы собственной армии и водворить в ней порядок?... Если бы удалось удовлетворить притязания местной [польской] аристократии и установить там эффективное управление, Литва и Белоруссия могли бы стать ключевыми союзниками в борьбе против России. Одно из соображений, из которого исходил Наполеон, планируя своё вторжение, заключалось в том, что правящие круги России никогда не будут сражаться до последнего, чтобы удержать польские провинции империи... Будучи втянут в народную войну в Испании, он меньше всего хотел разжечь ещё одну в России. С самого начала имелись признаки того, что Александр I и его генералы пытались спровоцировать народную войну против Наполеона. По мере приближения к Смоленску эти признаки становились всё более угрожающими. Чем дальше продвигалась французская армия в глубь Великороссии, тем более народной становилась война... Едва ли русские крестьяне прислушались бы к обещаниям французов после того, как те осквернили их храмы, изнасиловали их женщин и уничтожили их хозяйства. (...) Наполеон не пытался развязать крестьянскую войну против крепостничества. Пока французы не дошли до Смоленска, это было бы невымыслимо по той причине, что в Литве и большей части Белоруссии помещики были поляками, а значит, потенциальными союзниками Наполеона»<sup>29</sup>.

Насколько на самом деле может служить ставка Бонапарта на польскую шляхту и сознательный, исторически и конфессионально ясный польский национал-мессианизм в его борьбе против России — современному белорусскому государственному национализму, постоянно вменяющему свою якобы скрытую под псевдонимами и зависимую «белорусскость» то русской, то польской, то литовской, то даже советской истории? Готов ли белорусский бюрократический национализм, толкующий участие части польской шляхты белорусских земель в нашествии Наполеона как акт белорусской идентичности, признать свою национальную историческую ответственность за многовековую тяжбу польского и русского империализмов? Очевидно одно — такая «белорусизация» польской истории возможна

<sup>29</sup> Доминик Ливен. Россия против Наполеона. С. 239–240, 298–299, см. также 294–295.

лишь на пути польской исторической ассимиляции. Об этом ясно свидетельствует откровенный анализ собственных (отноюдь не белорусских) амбиций Герцогства Варшавского (1807–1815) как протектората Наполеона, предпринятый польским исследователем:

«Война с Россией дала полякам самую впечатляющую за весь XIX в. возможность восстановить своё государство... война с Россией воспринималась и истолковывалась многими как борьба с азиатским варварством... Общественное мнение [поляков] с энтузиазмом встречало новости о... вступлении польской кавалерии в Вильну и Москву. Самым знаменитым эпизодом этой войны, без сомнения, был штурм Смоленска, который, естественно, напомнил полякам о взятии этой крепости польскими войсками в 1611 г.»<sup>30</sup>

Следует ли современные усилия белорусских властей и националистической оппозиции в области исторической политики оценивать как их общее желание поучаствовать в новом походе против «азиатского варварства» на Москву? По-видимому — да.

## КОННОТАЦИИ 1812 ГОДА

Подобно тому, как нашествие многонациональной армии Наполеона на Россию в 1812 году<sup>31</sup> вновь — после разделов Польши — актуализировало в русском историческом сознании образ Смуты начала XVII века с нашествием сил Речи Посполитой, занятием интервентами Москвы и освобождением Москвы земским ополчением Минина и Пожарского в 1612 году, нашествие именно Наполеона, императора, но наследника упразддившей сословия Великой Французской рево-

<sup>30</sup> Ярослав Чубатый. Весна надежды и зима поражения. 1812 год в коллективной памяти поляков в XIX–XX веках // Два века памяти России о 200-летию Отечественной войны 1812 года / Отв. ред. В. В. Лапин. СПб., 2015. С. 93–94, 96, 98.

<sup>31</sup> См. обширный очерк ключевых тем историографии вопроса: Константин Жучков. Русско-французское противостояние в конце 1812 — начале 1813 гг.: проблемно-историографический очерк. М., 2013. См. также об обратной стороне прусско-русской антинаполеоновской солидарности: К. Б. Жучков. «Возможность избавиться от французского гнета ещё не повод попасть под русское ярмо»: конфликт с восточно-прусским правительством в начале 1813 гг. // Русский Сборник: Исследования по истории России. Том XIII. М., 2012.

люции, ставило перед сословной Российской Империей прямой вызов внесословной, общенациональной мобилизации.

Русская монархия в XVIII веке уже прошла свой путь осознания того, что историко-политическое и народное тело государства и Отечества не сводятся к судьбе династии и существуют как зависимые, но самостоятельные явления<sup>32</sup>. Даже те, кто оспаривает это мнение, вынуждены фиксировать, что Пётр Великий первым ввёл концепцию безличного государства и верности ему подданных одновременно с верностью государю — в «Полтавской речи» к солдатам накануне битвы<sup>33</sup>. Наследники Петра в XVIII в. время от времени частично вводили практику присяги на верность не только монарху, но и «Российскому государству» или империи. Особенно содержательным выглядит текст присяги императрицы Анны Иоанновны в 1730 году, предложенной ей Верховным тайным советом, в которой «слова *отечество* и *государство* появляются неоднократно»<sup>34</sup>. И если внесословный, гражданский смысл общенациональной мобилизации революционной и наполеоновской Франции и её сателлитов был давно уже задан революционной диктатурой не только с точки зрения права (и это было адекватно отмечено в высшем обществе Российской империи<sup>35</sup>), но и с точки зрения тотальной демографической мобилизации<sup>36</sup>, то Россия 1806–1812 гг. в принципе

<sup>32</sup> См. подробно об истории понятия в этом веке России: *Ingrid Schierle*. „Otečstvo“ — Der russische Vaterlandsbegriff im 18. Jahrhundert // Bianka Pietrow-Ennker (Hrsg.), *Kultur in der Geschichte Russlands. Räume, Medien, Identitäten, Lebenswelten*. Göttingen, 2007.

<sup>33</sup> Приказ Петра Великого перед Полтавской битвой от 27 июня 1709: «Воины! Вот пришел час, который решит судьбу отечества. И так не должны вы помышлять, что сражаетесь за Петра, но за государство, Петру врученное, за род свой, за отечество, за православную нашу веру и церковь.... А о Петре ведайте, что ему жизнь его не дорога, только бы жила Россия в блаженстве и славе, для благосостояния вашего». Идеологической риторике Петра Великого следовали девизы наград, учреждённых Екатериной Первой: ордена св. Александра Невского («За труды и Отечество»), св. великомученицы Екатерины («За любовь и Отечество»).

<sup>34</sup> *Клаудио Серхио Нун Ингерфлом*. Историографический миф о верности «государству» при Петре Великом. Опыт применения Begriffsgeschichte к русской истории // Эволюция понятий в свете истории русской культуры / Отв. ред. В. М. Живов, Ю. В. Кагарлицкий. М., 2012. С. 253–257, 258 прим., 259 прим., 262–264, 266, 272.

<sup>35</sup> *А. И. Миллер*. История понятия *нация* в России // «Понятия о России»: К исторической семантике имперского периода. Т. II. М., 2012. С. 11–17.

<sup>36</sup> См. широко известный в России очерк такой всеобщей демографической мобилизации в революционной Франции, написанный французским социалистом:

могла на это ответить только не затрагивающим сословный строй «земским ополчением» — и, главное, утверждением своего образа нации — Отечества. Это и было дано в высшей государственной символической форме — в учреждении Александром Первым 5 февраля 1813 года все-сословной медали для награждения всех участников боевых действий «В память Отечественной войны 1812 года»<sup>37</sup>. На ополченском кресте, введённом в 1812 году, был размещён девиз «За Веру, Царя и Отечество», для участников крестьянского партизанского движения в 1812 году учреждена наградная медаль «За любовь к отечеству» (1813).

Важно, что к 1812 году пафос национально-патриотического освобождения стал интернациональным и идеологически был наиболее разработан в немецких землях, оккупированных Наполеоном, и в немецкой эмиграции, в том числе России, а практически был реализован — в восстании и партизанской войне в Испании 1808–1814 гг.<sup>38</sup> против наполеоновской оккупации. Авторитетный русский либерально-консервативный правовед и публицист, сын участника Отечественной войны 1812 года А. Д. Градовский (1841–1889) так оценил пример Испании и *суверенный характер общенародной отечественности*: «Борьба, начатая Александром I в 1812 г., была истинной войной за независимость отечества... Ещё раньше Испания подала пример мужественного сопротивления иноземному насилию»<sup>39</sup>. Тем не менее собственный русский опыт Смуты начала XVII века как опыт всесословного ополчения<sup>40</sup> был актуализирован ещё до поражения Пруссии

---

А. Матфез. Как побеждала Великая французская революция [1928]. М., 2011. Глава X — «Всеобщая мобилизация и реквизиция».

<sup>37</sup> О статуте и практике награждения: А. М. Бирюков. Награды Отечественной войны 1812 года и Заграничного похода Русской армии в 1813–1814 гг. М., 2012. С. 4–5.

<sup>38</sup> См.: В. А. Бессонов. Партизанская, народная или «малая» война в 1812 г.: представления современников и оценки историков // Российская история. М., 2012. № 6. См. также: Денис Давыдов. Опыт теории партизанского действия. М., 1821.

<sup>39</sup> А. Д. Градовский. Национальный вопрос [1876] // Трудные годы (1876–1880). Очерки и опыты А. Д. Градовского. М., 2007. С. 96.

<sup>40</sup> Первые специальные толкования такого рода в ряду исторических аналогий: Всеобщее ополчение России за веру, царя и отечество, или Русские ратники во времена императора Александра I и ныне царствующего императора Александра II. М., 1855; В. Я. Фукс. Три ополчения Земли Русской (1612, 1812 и 1855 гг.). СПб., 1856. См. также об этом: Н. Н. Смолин. Дружины Государственного Подвижного ополчения 1855–1856 гг. // Русский Сборник: Исследования по истории России. Т. VII: Военная политика императора Николая I. М., 2009.

и восстания в Испании: Александр Первый 30 ноября 1806 созвал ополчение беспрецедентной численностью в 612 тысяч человек<sup>41</sup>. Созыв ополчения вполне успешно прошёл и в русской Прибалтике, Эстляндии и Лифляндии, где встретил внятную поддержку немецкого остзейского дворянства, латышских и эстонских сельских и городских жителей<sup>42</sup>. Мощная историческая аналогия между войной 1812 г. и победой над Смутой в 1612 г., когда самодеятельное земское ополчение освободило Москву от иноземных и инославных оккупантов (в том числе поляков) и в итоге дало начало новой царской династии, публично, церковно и граждански «учредило» её, — дополнительно демонстрировало не только гражданскую легитимность монархии, но и её общенациональные корни<sup>43</sup>.

<sup>41</sup> Манифест от 30 ноября 1806 предусматривал сценарий 1812 года: «Если, от чего Боже сохрани, ворвется неприятель где-либо в пределы Империи, принуждают нас прибегнуть к сильнейшим способам для отвращения оной, составив повсеместные ополчения или милицию». Ополченцы («земское войско»), принявшие участие в боях, получили медаль «За веру и отечество. Земскому войску» (1807).

<sup>42</sup> Т. Таниберг. Остзейский вопрос во внутренней политике России в 1806–1807 гг. // Россия и Балтия: Остзейские губернии и Северо-Западный край в политике реформ Российской империи. 2-я половина XVIII в. — XX в. / Ред.-сост. Е. Л. Назарова. М., 2004. С. 37, 38, 40. Т.-А. Таниберг. Ополчение 1906–1807 годов в Прибалтийских губерниях // Россия и Балтия. Вып. 7. Памятные даты и историческая память / Ред.-сост. Е. Л. Назарова. М., 2015. Существенен и вполне практический аспект успеха ополчения, которому агрессор не мог противопоставить ничего практического: участие в ополчении было привлекательно для низших и отставных чиновников и военных, ибо давало им жалование обер-офицеров, путь к возвращению на государственную службу, к реабилитации за прежние проступки (Ю. Д. Жмодиков. «За отечество» или... (о мотивах поступления в ополчение в 1812 году) // Эпоха наполеоновских войн: люди, события, идеи. Материалы VII Всероссийской научной конференции. Москва, 23–24 апреля 2004 года. М., 2004. С. 34–35).

<sup>43</sup> Либеральная традиция нового времени склонна видеть «подлинную» основу гражданского патриотизма в массовой частной собственности, оставляя без ответа вопрос о природе массового патриотизма в феодальном обществе. Однако в России либеральная доктрина за редкими исключениями (Б. Н. Чичерин, П. Б. Струве, др.) равнодушна к проблеме массовой собственности, и главный вклад в её обоснование в 1900-е гг. — в согласии с немецким марксистским ревизионизмом — внесла социалистическая, неонародническая мысль в теории «трудовой крестьянской собственности». Опираясь на своё понимание эффективного частного крестьянского хозяйства и, главное, принимая итоги «чёрного передела» 1918 года, патриотическую роль массовой земельной крестьянской собственности после Гражданской войны специально формулировал Струве в юбилейной речи 4 марта (19 февраля) 1923: П. Струве. Отечество

Немецкий опыт внутреннего сопротивления победившему агрессору неизбежно сосредоточивался в философии национального возрождения, лидерство в которой принадлежало И. Г. Фихте. Перед лицом идейно-политически капитулировавшего перед Бонапартом другого немецкого гения, Г. В. Гегеля, выступление Фихте в русской традиции становилось образцом *отечественности*, неотделимой от верности народному большинству<sup>44</sup>. В начале октября 1812, в ходе войны против Наполеона, уже занявшего Москву, в Санкт-Петербурге начинает выходить в свет журнал Н. И. Греча «Сын Отечества», с первого же номера уделивший особое внимание немецкой антинаполеоновской публицистике и описанию борьбы испанцев против французских войск<sup>45</sup>. Как резюмирует исследователь, «именно журнал “Сын Отечества” в 1812–1814 гг. формулировал на основе единства русско-немецких интересов патриотическую стратегию, постепенно перерастающую в православно-консервативный национализм. (...) Метафорика освободительной борьбы и идеологические схемы, уже выработанные немецким национализмом, прекрасно вписались в патриотический дискурс, который сформировался в России в 1812 году»<sup>46</sup>. Одной из первых русских листовок войны уже в июне 1812 года стало «Воззвание» командующего русской 1-й Западной армией М. Б. Барклая де Толли к немцам с призывом к восстанию против Наполеона — «дабы собрались под знамена отечества и чести»<sup>47</sup>, а первый номер «Сына Отечества» открылся на первой же странице переводом статьи находившегося на русской службе прусского политического эмигран-

---

и Собственность // Русская Мысль. Прага, 1923. Кн. III–V; то же: Вестник Русского Национального Комитета. Париж. 25 мая 1923. № 3.

<sup>44</sup> Напротив, Гегеля «испортило, до измены отечественным интересам, обыкновение рассматривать воображаемое наравне с действительным... принося в жертву обманчивому образу наполеоновского величия... веру в народ» (П. И. Новгородцев. Кант и Гегель в их учениях о праве и государстве [1902]. СПб., 2000. С. 74–75).

<sup>45</sup> Об идейном содержании этого понятия, демонстративно взятого в качестве названия для периодического издания: Ingrid Schierle. „Syn otecestva“. „Der wahre Patriot“ // Peter Thiergen (Hrsg.), Russische Begriffsgeschichte der Neuzeit. Köln / Weimar / Wien 2006.

<sup>46</sup> И. Н. Лагутина. Отечественная война 1812 года в творчестве поэта Э. М. Арндта: немецкий национализм и русский патриотизм // 1812 год и мировая литература / Отв. ред. В. И. Щербаков. М., 2013. С. 458, 453–454.

<sup>47</sup> Листовки Отечественной войны 1812 года. Сб. документов / Сост. Р. Е. Альтшуллер, А. Г. Тартаковский. М., 1962. С. 23.

та Э. М. Арндта (1769–1860). Она предсказывала близкое падение Наполеона. Тот же Арндт написал, а русские власти в октябре 1812 года издали специальный агитационный «Катехизис для немецких солдат», призываемых на службу оккупационной администрации Наполеона, в котором явно ретранслировал риторические ходы и аргументы «Речей к немецкой нации» И. Г. Фихте (1808) и косвенно дал русскому обществу их настолько стройный образец, что более чем 100 лет спустя царский генерал, поступивший на советскую службу, А. А. Свечин (1878–1938) в своём очерке военной мысли не мог не напомнить об этом сочинении Арндта и сделал выводы:

«монархическая идея подчиняется идее национальной, отечественной (...) Солдат должен помнить, что родина, отечество бессмертны и вечны, а монархи и всякое начальство уйдёт в прошлое со своим мелким честолюбием. (...) Французская революция выдвинула господство интересов целого, общего, коллектива над интересами частными, индивидуальными, и явилась основанием для необычайного развития мощи государства» на основе всеобщей воинской повинности и всеобщей трудовой повинности для военных нужд<sup>48</sup>.

После изгнания Бонапарта из России призывы Фихте и Арндта были услышаны и в Пруссии. 17 марта 1813 прусский король Фридрих Вильгельм III выступил с воззванием «К моему народу», в котором объявил войну Франции, и одновременно учредил всеобщую воинскую повинность и ополчение в помощь армии (ландвер и ландштурм)<sup>49</sup>.

1812 год мобилизовал ключевые понятия общественно-государственного языка России XVIII–XIX вв.: «любовь к Отечеству», «защитник Отечества», «сын Отечества» (и противостоящие им «враги Отечества»).

<sup>48</sup> Александр Свечин. Эволюция военного искусства [1937]. М., 2002. С. 331, 771. А также: Глава 12 в целом. Азбучная и присущая общегражданской *отечественности* войн Нового времени *тотальность*, восходящая к практике всеобщей мобилизации, введённой Великой Французской революцией 1789 года и уничтожившей разделение между армией и народом. Помощник госсекретаря США в 1941–1944, министр ВВС в 1950–1953 гг., Т. К. Финлеттер в экскурсе в генезис тотальных войн выстраивает прямую историческую связь между войнами Наполеона, Первой мировой и Второй мировой войнами (Т. К. Финлеттер. Сила и политика. Внешняя политика и военная мощь Соединённых Штатов в век водородного оружия [1954] / Пер. под ред. А. А. Яманова. М., 1956. С. 273, 271).

<sup>49</sup> Отто Дани. Нации и национализм в Германии. 1770–1990 [1996] / Пер. И. П. Стребловой. СПб., 2003.

Их понятийным ядром следует признать Высочайшие документы: приказ войскам от 13 июня 1812 года, где прямо указано на общенациональный<sup>50</sup>, а не династический, смысл войны: «Воины! вы защищаете веру, Отечество, свободу»; манифест от 6 июля 1812 года, в котором, фиксировались не столько сословия, сколько социальные роли: «Неприятель вступил в пределы Наши (...) Да встретит он в каждом дворянине Пожарского, в каждом духовном Палицына, в каждом гражданине Минина»; манифесте от 3 ноября 1812: «Знаменитое Дворянство не пощадило ничего к умножению государственных сил. Почетное купечество озаменовало себя всякого рода пожертвованиями. Верный народ — мещанство и крестьяне показали такие опыты верности и любви к Отечеству, какие одному только Русскому народу свойственны»; манифесте от 25 декабря 1812: «Войско, Вельможи, Дворянство, Духовенство, купечество, народ, словом, все Государственные чины и состояния, не щадя ни имуществ своих, ни жизни, составили единую душу, душу вместе мужественную и благочестивую, толико же пылающую любовью к Отечеству, колико любовью к Богу...». Очевидно, что понятия *Отечества* и *ополчения* не были изобретениями конкретных манифестов. Печатные отклики на манифесты<sup>51</sup> внятно акцентировали внимание на всеобщей отечественной («соотечественной»<sup>52</sup>) солидарности<sup>53</sup>.

<sup>50</sup> *Нацию* как *весь народ*, позаимствовав из наполеоновской риторики, поддержанной Шиллером и Гёте, в России понимали в течение всего XIX века. Примеры этого см. в популярном в конце XIX века словаре: «*Нация* — народ в обширном смысле слова (все сословия). *Национальное* — к (известной) нации (народу) относящееся» и далее (М. И. Михельсон. Русская мысль и речь. Свое и чужое. Опыт русской фразеологии. Сборник образных слов и иносказаний [1892–1893, 1902]. М., 1994. С. 626). Такой смысл поддерживался и лексиконом влиятельного в России польского языка, где *naród* означает «нация», *narodowy* — «национальный» (причём «(простой) народ» — *lud*). В контексте польского термина для «национальности» (*narodowość*) возможно и толкование известной *народности* С. С. Уварова, при переводе с французского оригинала понимаемой не как «простонародность», а как соответствие «национальному духу». См. также: «Отечественная война, во спасение отчизны; у нас война 12-го года» (В. И. Даль).

<sup>51</sup> Отечественная война 1812 года и эпоха наполеоновских войн в русской книге первой четверти XIX века: каталог / Сост. И. Ю. Фоменко. М., 1812. Далее: Каталог...

<sup>52</sup> См. лексику агитационной литературы, в которой появляются «соотечественники»: Листовки Отечественной войны 1812 года. Сб. документов / Сост. Р. Е. Альгшуллер, А. Г. Тартаковский. М., 1962. С. 36, 39, 116.

<sup>53</sup> «Воззвание к соотчичам, найденное у подножия памятника князя италийского графа Суворова-Рымникского» (СПб., 1812); арх. Епифаний (Канивецкий) «Речь по прочтении Высочайшего манифеста о воззвании всех сословий к единодуш-

Имея в виду хорошо известную роль церковных проповедей в деле мобилизации русского общества в 1812 году, следует обратить внимание на фундаментальную для проповедей и государственной идеологии этого времени интеграцию защиты престола, защиты православной веры от Антихриста (Бонапарта) и его аналогов, защиты Отечества от многоплеменного («вавилонского», «двенадцати языков», в том числе поляков) нашествия, иначе говоря — защиты божественного добра от антихристианского зла. Обращаясь к Ветхому Завету, православная церковь нашла яркий язык описания *общенародного* бедствия и чудесного спасения *народа в целом*.

«И ожесточил Господь сердце фараона, царя Египетского, и он погнался за сынами Израилевыми; сыны же Израилевы шли под рукою высокою. (...) И сказал Господь Моисею: прости руку твою на море, и да обратятся воды на Египтян, на колесницы их и на всадников их. И простер Моисей руку свою на море, и к утру вода возвратилась в свое место; а Египтяне бежали навстречу [воде]. Так потопил Господь Египтян среди моря. (...) И избавил Господь в день тот Израильян из рук Египтян...» (Исход. Глава 14.8–30).

В этом образном ряду Бонапарт выступал Фараоном (или Вавилонским царём, Париж — Вавилоном), а Россия — Израилем<sup>54</sup>. Великий историк русского религиозного сознания оценил это в предельных категориях: «Отечественная война многими была пережита и осмыслена именно как Апокалиптическая борьба, — «суд Божий на ледяных полях»...»<sup>55</sup>. Библейская традиция позволяла мобилизовать исторические

---

ному восстанию противу врага Отечества пред молебствием о победе оногo» (Казань, 1812); еп. Евгений (Болховитинов) «Слово на день торжественного воспоминания о Господу Богу благодарения о поражении врагов Отечества нашего, и о прогнании их из пределов Калужския губернии» (М., 1813) (Каталог. С. 42, 71, 70). Примечательно, что уже 4 ноября 1812 получила цензурное разрешение книга: *И. С. Захаров*. Песня ратников всеобщего ополчения. СПб., 1812 (С. 87).

<sup>54</sup> *Вадим Парсамов*. Библейский нарратив войны 1812–1814 годов // История и повествование: Сб. ст. / Под ред. Г. В. Обатнина и П. Песонена. М., 2006. Дополнением к агитационным проповедям стала массовая печатная пропаганда: «русская политическая графика (лубок) по количественному объёму превосходила европейскую и оказала заметное влияние на антинаполеоновскую пропаганду в странах, вошедших в коалицию в 1812–1814 г.» (*В. М. Безотосный*. Россия и Европа в эпоху 1812 года. Стратегия или геополитика. М., 2012. С. 235).

<sup>55</sup> *Прот. Георгий Флоровский*. Пути русского богословия [1937]. Paris, 1988. С. 129–130.

паттерны, не раз использованные в России в похожих ситуациях внешней угрозы, в которых династические приоритеты отходили на второй план и главным становилось внесословное, протонациональное самосознание. Яркий пример — изображение в шведской литературе начала XVIII века Северной войны Швеции с Россией как священной войны «Северного /Шведского Израиля» и подобная библейская аналогия в России против Швеции. Налицо взаимное уподобление своих побед победам израильтян над войсками египетского фараона: шведами — после Нарвы, русскими — после Полтавы<sup>56</sup>. Известно, что и польское нашествие периода Смуты звучало как ветхозаветная трагедия: «Особым вниманием к религиозному аспекту событий отличается “Временник” дьяка Ивана Тимофеева ... Выступление Сигизмунда III против России он уподобляет выступлению фараона против “возлюбленного” Израиля»<sup>57</sup>.

Упомянутые выше толкования А. Д. Градовским «независимого отечества» 1812 года, учитывая компетентную погружённость Градовского в право и практику Франции, Германии и России, открывают в примере русского 1812 года новые смыслы. Так, говоря о рождении французской *нации как национального единства* во время Французской революции, Градовский тесно связывает *нацию* с «идеей французского отечества» и «народностью» (то есть национальным уровнем единства, стоящего выше *племени*): «Между всеми этими принципами первое место занимает начало верховенства и независимости государственной власти каждой страны»<sup>58</sup>, то есть её суверенитет, что означает *суверенитет нации*. Эту гражданскую нацию во Франции создали революция и революционные войны, а в России начала создавать возглавленная монархией общенародная борьба против агрессии Наполеона. В русской литературе уже в 1814 и 1816 гг. было выработано имя «Отечественной войны»<sup>59</sup>, а через тридцать лет после войны в русской книжной и журнальной практике — при всём её переводном

<sup>56</sup> М. Ю. Лустров. Война и культура: Русско-шведские литературные параллели эпохи Северной войны. М., 2012. С. 35–36, 131, 134–135.

<sup>57</sup> Б. Н. Флоря. Польско-литовская интервенция в России и русское общество. М., 2005. С. 399.

<sup>58</sup> А. Д. Градовский. Национальный вопрос. С. 90, 94, 103.

<sup>59</sup> Виктор Безотосный. А была ли война Отечественной? // Родина. М., 2012. № 6. С. 6. См. также творчество Ф. Н. Глинки (1786–1880) и книгоиздание, начиная с лета 1814 года, непосредственно и вскоре после взятия союзниками наполеоновского Парижа (Каталог. С. 55–56, 78, 65–66, 51).

разнообразии — имя «Отечественной войны 1812 года» стало предметом нарастающего консенсуса<sup>60</sup>. Одновременно с этим консенсусом подтверждалась широкая семантика *отечественности*: монархист и бывший революционер Л. А. Тихомиров (1852–1923) вводил в исторический ряд *отечественного*, «жертвы в пользу Отечества» — и Смуту XVII века, и пример Петра Великого, и пример Французской революции: «Величайший из царей наших под ядрами и пулями Полтавы оставил потомству свою исповедь: “А о Петре ведайте, что не дорога ему жизнь; жила бы Россия в чести и славе”. С скромный крестьянин Сусанин, только случайно ставший известным истории, отдаёт также без колебания жизнь за Родину. Величайший революционер Дантон не хочет спасти жизнь бегством из Отечества, восклицая: “Разве я унесу Отечество с собой на подошвах?” ...»<sup>61</sup>. Один из главных «импортёров» германского идейного и политического опыта в Россию, сам — равный идейный участник немецкой социалистической сцены, бывший лидер русского марксизма 1890-х и ныне социал-либерал П. Б. Струве (1870–1944), суммируя политические достижения революции 1905 года, пытался нащупать аналогию между национально-освободительной Смутой и антисамодержавным пафосом освободительного движения 1900-х, которое в трудах круга Струве имело своим заданием формирование русской политической нации, объединённой строительством нового, конкурентного государства. Струве писал: «как Смута была первым рождением нации, так революция XX века была её вторым рождением»<sup>62</sup>.

<sup>60</sup> Первые же сводные труды в русской историографии об Отечественной войне 1812 года закрепили за ней это имя: А. И. Михайловский-Данилевский. Описание Отечественной войны в 1812 году. СПб., 1839. 4 т. (начиная со второго издания 1840 г.: «Описание Отечественной войны 1812 года»); М. И. Богданович. История Отечественной войны 1812 года, по достоверным источникам. Т. I–III. СПб., 1859–1860; Е. Желябужский. Отечественная война 1812 г. и Кутузов. М., 1873; И. П. Липранди. Материалы для Отечественной войны 1812. СПб., 1868 (сборник публикаций из периодики). Имя постоянно присутствовало в исторических журналах: «Древняя и новая Россия» (1879), «Русская Старина» (1877, 1886, 1887, 1900, 1901), «Исторический вестник» (1883, 1903) (К. Военский. Отечественная война в русской журналистике: библиографический сборник статей, относящихся к 1812 году [1906]. М., 2007. С. 36, 45, 50, 59, 71, 80, 89, 104, 107).

<sup>61</sup> Л. А. Тихомиров. Что такое отечество? [1907] // Л. А. Тихомиров. Христианское государство и внешняя политика / Сост. М. Б. Смолин. М., 2012. С. 655.

<sup>62</sup> Пётр Струве. Patriotica. Политика, культура, религия, социализм. Сборник статей за пять лет (1905–1910 гг.). СПб., 1911. С. 206 («Мнимая пропасть», 1908).

Но преддверие войны 1914 года в России, однако, было отмечено последней попыткой монархии встать выше национального мифа Отечества и вернуть свой династический интерес в центр давно переросшей его *отечественности*.

## УСИЛИЯ 1914 ГОДА И ГЕРМАНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНСЕНСУС

В начале XX века усилия правящей в России династии по достижению национального единства в условиях фактической гибели сословного строя были дважды демонстративно связаны с историческими образами внесословной мобилизации, освобождения от иноземной власти и «переучреждения» государства в 1612–1613 гг.: вслед за столетним юбилеем Отечественной войны 1812 года<sup>63</sup> как общенациональной<sup>64</sup> — династия громко отметила своё 300-летие, стремясь вновь продемонстрировать символическую связь между нацией и монархией<sup>65</sup>. Общегосударственный символ Отечества и общенародной войны в его защиту почти сразу после этих юбилеев стал актуальным летом 1914 года, с началом мировой войны с Германией и её сателлитами.

<sup>63</sup> Т. А. Магсумов. Празднование столетнего юбилея Отечественной войны 1812 г. // Вопросы истории. М., 2012. № 9. С. 137. См. также: Дональд Райт. Русская армия и столетний юбилей войны 1812 года // Русский Сборник: Исследования по истории России. Т. IV. М., 2007; Наталья Потапова. Дидактика конфликта: Война 1812 года в школьных учебниках истории // Новое литературное обозрение. М., 2012. № 118 (6) (здесь только о российских и советских учебниках начиная с середины XIX века). О мемориальной литературе к этому юбилею см.: И. А. Шеин. Война 1812 года в отечественной историографии. С. 140–168.

<sup>64</sup> Массовое вручение медали «В память 100-летия Отечественной войны 1812 года» проводилось уже по принципам семейности и преемственности (А. М. Бирюков. Награды Отечественной войны 1812 года и Заграничного похода Русской армии в 1813–1814 гг. С. 9). «То, что произошло на отечественном книжном рынке в 1912 г., не имело precedентов. Общий список юбилейных публикаций — более 700 публикаций, а их совокупный тираж превысил 5 миллионов экземпляров. Некоторые “книги для народа” распространялись по всей стране — от Прибалтики до Туркестана» (Владимир Латин. Трёхсотлетие Дома Романовых и военные юбилеи начала XX века // 400-летие Дома Романовых: политика памяти и монархическая идея, 1613–2013: сб. ст. СПб., 2016. С. 175).

<sup>65</sup> Юбилей Отечественной войны 1812 года стал «своеобразной репетицией» мероприятий празднования 300-летия Дома Романовых в 1913 году (Владимир Латин. Трёхсотлетие Дома Романовых и военные юбилеи начала XX века. С. 175).

В манифесте об объявлении и целях войны император Николай II прямо следовал в фарватере только что отмеченного столетия Отечественной войны 1812 года, апеллируя к только что широко вновь прославленному в юбилейных мероприятиях манифесту Александра I о целях войны против агрессии Наполеона Бонапарта — в словах о том, что война не будет окончена, пока останется хоть один неприятельский солдат на русской земле<sup>66</sup>. Александр I провозгласил 13 июня 1812: «Я не положу оружие, доколе ни единого неприятеля не останется в царстве моем».

Мотивы Николая II и монархии в целом, тесно связанной с военным делом, были очевидны: «Русская армия после поражения в войне с Японией нуждалась в “исторической амнистии”, острая критика вооружённых сил очень часто являлась опосредованной критикой самодержавия. В значительной степени поэтому военные юбилеи начала XX в. так активно использовались в качестве “исторического оправдания”». Тем более что на 1904–1905 гг. планировалось масштабное празднование полувекового юбилея Севастопольской обороны, но именно русско-японская война 1904–1905 гг. сделала его невозможным. Поэтому главными масштабными событиями стали 200-летие Полтавской битвы в 1909-м и 100-летие Отечественной войны 1812-го. Ясно, что центральными персонажами этих празднований стали гигантские исторические фигуры Петра Великого и Александра I, на фоне которых Николай II не имел никаких шансов военно-исто-

<sup>66</sup> О. Р. Айрапетов. Участие Российской империи в Первой мировой войне (1914–1917): 1914. Начало. М., 2014. С. 101. Император Германии Вильгельм II в обращении к рейхстагу 4 августа 1914 заявил: «Мы вынули меч с чистой совестью и чистыми руками». Интересно, что с публичным обещанием не складывать оружия («клятва меча»), пока не будет реализован план Великой Финляндии на востоке, в 1918 году выступал Маннергейм. 23 февраля 1918 г. он заявил: «Клянусь от имени той финской крестьянской армии, чьим главнокомандующим я имею честь быть, что не вложу свой меч в ножны, прежде чем законный порядок воцарится в стране, прежде чем все укрепления не окажутся в наших руках, прежде чем последний вояка и хулиган Ленина не будет изгнан как из Финляндии, так и из Восточной Карелии. Веря в правоту нашего благородного дела, полагаясь на храбрость наших людей и самопожертвование наших женщин, мы создадим сильную, великую Финляндию». В 1920-м выступил Коминтерн со словами о том, что «международный пролетариат не вложит меча в ножны до тех пор, пока Советская Россия не включится звеном в федерацию Советских республик всего мира» (Коммунистический Интернационал в документах. Решения, тезисы и воззвания конгрессов Коминтерна и пленумов ИККИ. 1919–1932 / Под ред. Бела Куна. М., 1933. С. 152).

рического прославления, и, похоже, в целом военные юбилеи именно потому не получили ни единого руководства, ни плана подведения их логики к 300-летию династии Романовых<sup>67</sup>.

Манифест Николая II 1914 года и особенно предшествовавший ему юбилей войны 1812 года предопределили то, что в плакатах, в терминологии периодической печати, то есть в системе наиболее массовых на то время коммуникаций, символика войны сразу обратилась к аналогиям и дала войне название-реплику: «Вторая Отечественная война», «Отечественная война 1914 г.»<sup>68</sup>, изредка — «Великая Отечественная война»<sup>69</sup>. Алексей Толстой (1882–1945) в своём романе «Хождение по мукам» привёл своего рода фотографический

<sup>67</sup> Владимир Лапин. Трёхсотлетие Дома Романовых и военные юбилеи начала XX века. С. 164–165, 171, 179–180.

<sup>68</sup> В журнале «Огонёк» печатались персональные списки в рубрике «Герои и жертвы Отечественной войны 1914–1915 гг.». Изданы книги: Список убитых и раненых героев 2-ой Отечественной войны 1914 года за июль, август, сентябрь. М., 1914; Н. К. Пац-Памарницкая. Герои. Убитые и раненые офицерские чины Второй Отечественной войны. Пг., 1914; Л. Л. Печорин-Цандер. Море крови. (Вторая отечественная война). Драматическая пьеса на современные события: 1914 год. Пг., 1914; За Веру, Царя и Родину. 2-ая Отечественная война 1914 год. Киев, 1916; С. Г. Рункевич. Великая отечественная война и церковная жизнь. СПб., 1916. Об основании в Смоленске Музея второй отечественной войны см.: А. Р-остиславо>в. Искусство и война. Выставки и художественные дела // Аполлон. СПб., 1915. № 8–9. Октябрь–ноябрь. Известен также современный событиям монетовидный жетон «Отечественная война 1914 г.» (вариант: «Вторая Отечественная война 1914 г.»). Руководство Наркомпроса РСФСР ещё 20 января 1918 года обсуждало на заседании Малой государственной комиссии по просвещению вопрос «Об открытии стипендии “памяти славных героев 2 (sic) отечественной войны”...» в народных училищах Забайкалья (Архив новейшей истории России. Серия «Публикации». Т. XII: Культура, наука и образование. Октябрь 1917–1920 гг. Протоколы и постановления Наркомпроса РСФСР: В 3-х кн. Кн. 1: Октябрь 1917–1918 г. / Отв. ред. Л. А. Роговая. М., 2012. С. 150). См. также: О. В. Петровская. Предисловие. Первая Мировая или Вторая Отечественная? // Первая мировая война: историографические мифы историческая память. В 3-х кн. / Под ред. О. В. Петровской. Кн. 1. М., 2014.

<sup>69</sup> Это имя также переносилось с нечастого варианта словоупотребления в отношении войны 1812 г.: П. М. Андрианов. 1812 год. Великая отечественная (sic! со строчной буквы. — М. К.) война (По поводу 100-летнего юбилея). СПб., 1912; П. М. Андрианов. Великая отечественная (sic! — М. К.) война. Борьба России с Наполеоном в 1812 году. Одесса, 1912; П. А. Ниве. Великая Отечественная война. 1812 год. М., 1916. тическом документе в 1915 году писало Главное управление по делам печати при МВД (Орест Цехновицер. Литература и мировая война 1914–1918. М., 1938. С. 377).

эпизод, где редактор либеральной газеты признаётся: «Не забывайте, что война чрезвычайно популярна в обществе. В Москве её объявили второй Отечественной»<sup>70</sup>. Исследователь обращает внимание, что «в либеральных кругах война сразу была названа “Второй отечественной”...»<sup>71</sup> и показывает, что либеральная *отечественность* стала частью осознанной линии либеральной оппозиции на использование ситуативной слабости власти, искавшей диалога с общественностью и буржуазией и выстраивавшей за счёт государственных субсидий тыловую инфраструктуру политического либерализма, который, эксплуатируя военную тревогу, публично поставил себе задачи «усовершенствования внутреннего государственного порядка».

Яркий мыслитель, правый либерал, член Государственного совета Е. Н. Трубецкой предупреждал, что сама претензия на *отечественность* отражает не только риторическую громкость пропаганды, но и осознанную обществом опасность национальной катастрофы. Он писал:

«Нынешняя война есть **война отечественная**...: для маленьких, а может быть, и для некоторых больших народов дело идёт о самом их политическом существовании и по меньшей мере — о политической независимости. Для России этой войной решается вопрос об её целостности и об её великодержавном положении. Для народов, как и для отдельных лиц, участвующих в войне, ребром ставится вопрос “быть или не быть?”...»<sup>72</sup>

В 1914 году обнаружили и исторические ограничения на эксплуатацию образа «Отечественной войны» в новых условиях: со-

<sup>70</sup> Цит. по первой публикации: *Гр. Алексей Толстой. Хождение по мукам. Роман. XIV // Современные Записки. II. Париж, 1920. С. 3* (Современные Записки. Общественно-политический и литературный журнал. Репринтное комментированное издание / Науч. ред. М. Н. Виролайнен, С. В. Куликов. СПб., 2010. С. 9).

<sup>71</sup> *Ф. А. Гайда. Власть и общественность в России: диалог о пути политического развития (1910–1917). М., 2016. С. 374.*

<sup>72</sup> *Е. Н. Трубецкой. Отечественная война и её духовный смысл. Публичная лекция [1915] // Е. Н. Трубецкой. Два зверя. Статьи 1906–1919 гг. / Сост. А. П. Полякова, П. П. Апрышко. М., 1994. С. 389.* См. также статью известного деятеля духовного просвещения и историка, уроженца Белоруссии: *В. З. Завитневич. Идеология Отечественной войны // Военно-исторический вестник. Киев, 1912. № 4.*

юзнические отношения с Францией и стремление к поддержанию лояльности польского населения воюющей империи делали невозможными более интенсивные апелляции к опыту Смуты XVII века и Отечественной войны 1812 года. Показательно, что периодические издания, подчинённые цели укрепления союзничества, принуждены были использовать особую, интернациональную идеологию «спасения цивилизации от германских варваров»<sup>73</sup> — и в этом смысле затuşёвывать естественную патриотическую цель защиты Отечества. Но «вторая отечественная» война вышла из активного словоупотребления уже к концу 1915 года, а присутствие этого определения в публичном пространстве стало редким. Немецкий историк справедливо пишет о дополнительных причинах этого: «Там, где речь шла о защите “Отечества” и “Родины”, культура воспоминаний требует общественного консенсуса... Вероятно, именно поэтому в России затих призыв подняться под знаменем монархии на новую “Отечественную войну”, вспоминая о 1812 году»<sup>74</sup>.

Здесь русский миф Отечества впервые настигла общеевропейская классовая доктрина социалистов, на словах и на экспорт отвергающая приоритет общенациональных интересов. Для русских марксистов догмой и убеждением был известный, эксплуатирующий библейский<sup>75</sup>, лозунг «Коммунистического манифеста» Маркса и Энгельса, который его интернационализм и космополитизм упаковал в форму принципиального антипатриотизма, или, вернее, вне-патриотизма:

<sup>73</sup> См. например книжно-альбомную серию 1914–1917 гг.: «Европа и война: Россия и её союзники на защите цивилизации». В таком контексте, конечно же, не было места Отечественной войне. И, видимо, такой коалиционный контекст и был первым, кто начал генерировать имя «мировой войны»: Вопросы мировой войны / Сб. ст. под ред. М. И. Туган-Барановского. Пг., 1915; Идейные горизонты мировой войны / [Сост.] П. Кудряшов. [Хрестоматия. М., 1915].

<sup>74</sup> *Николаус Катцер*. Мировая война и гражданская война. Европейская перспектива // Россияне и немцы в эпоху катастроф: Память о войне и преодоление прошлого. Материалы конференции российских и немецких историков, Волгоград, 7–10 сентября 2010 г. / Сост. Й. Хельбек. А. Ватлин, Л. П. Шмидт. М., 2012. С. 42–43.

<sup>75</sup> «Не імамы бо здѣ пребывающаго града, но грядущаго взыскуемъ» (*Евр.* 13, 14). Ср. обращение к этому положению, явно простимулированное «Коммунистическим манифестом», в энциклике папы Римского: «Господь создал нас не для тленного и преходящего, но для небесного и вечного; Он дал нам этот мир, как место изгнания, а не как истинное наше отечество» (*Rerum Novarum*. Окружное послание Льва XIII. О положении трудящихся [1891] // 100 лет социального учения. М., 1991. С. 11–12).

«Коммунистов упрекают, будто они хотят отменить отечество, национальность. Рабочие не имеют отечества. У них нельзя отнять то, чего у них нет»<sup>76</sup>. Конечно, догматически можно было бы в собственных писаниях авторов манифеста найти оговорки об общесторической глобальности этого вне-патриотизма<sup>77</sup>. Важно также, что в тех конкретных исторических условиях немецкие коммунисты и не стремились быть врагами именно *своего государства*, как минимум, в его борьбе против (царской) России, а интернационализм авторов манифеста более всего распространялся на страны Западной Европы и США, а в отношении, например, Мексики и Восточной Европы, Балкан, славянства и России исповедовал некий «цивилизационный расизм». Но авторы манифеста не стали его перетолковывать, согласившись с тем, что антипатриотизм этот имеет явное второе дно и фактически не распространяется на страны передового капитализма и цивилизаторскую миссию Германии. Со своей стороны такой важный оппонент Маркса в международном социалистическом движении, как М. А. Ба-

<sup>76</sup> Ср.: «Интернациональный лагерь рабочих — вот наше единственное отечество; интернациональный мир эксплуататоров — вот чуждая и враждебная нам страна» (М. А. Бакунин. Государственность и анархия [1873] // М. А. Бакунин. Избранные сочинения. Т. 1. М., 2013. С. 74 (репринт с изд. 1919); «С мечтою о дальней прекрасной отчизне, / Где братство и разум царят» (А. Богданов. Марсианин, заброшенный на землю. Поэма [1920] // А. Богданов. Праздник бессмертия: Избранные произведения. СПб., 2014. С. 347). Следует учесть и то обстоятельство, что в 1848 году, когда Маркс и Энгельс писали свой «Манифест коммунистической партии», единой Германии просто не существовало. Тогдашнюю отвлечённость (или нормативность и проективность, если вспомнить проповедь Фихте) понятия «отечества» для Германии обнажил ещё Г. Э. Лессинг (1729–1781), что точно отметил близкий к марксистам русский автор: «Видя междоусобную вражду и напрасное пролитие немецкой крови, Лессинг, по-видимому, разочаровался во всём. К этой эпохе его жизни относится знаменитое изречение, с которым носились его враги, упрекая его в космополитизме. “О любви к отечеству, — сказал Лессинг, — к стыду моему, я должен в этом сознаться, я не имею никакого понятия, и эта любовь кажется мне, в крайнем случае, героической слабостью, без которой я охотно могу обойтись”. Враги Лессинга забывают, что настоящим отечеством его могла быть только Германия, в то время существовавшая лишь как отвлечённое понятие» (М. М. Филитов. Готхольд Эфраим Лессинг. Его жизнь и литературная деятельность. СПб., 1891. С. 12).

<sup>77</sup> См., например, аналогию к пролетарскому вне-патриотизму как новой, высокой стадии просвещения в словах Энгельса о XVIII веке и роли в нём «своего рода «не имеющего отечества» дворянско-буржуазного интернационала просвещения» (Ф. Энгельс. Внешняя политика русского царизма [1890] // К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения. Т. 22. М., 1962. С. 21).

кунин (1814–1876), в полемике против великого итальянского борца за национальное освобождение и объединение Италии Дж. Мадзини, назвал клеветой приписываемое ему, Бакунину, отвержение «Бога, Отечества, личной собственности» — и, таким образом, соединил революционный идеал с Отечеством — как средоточием общего блага<sup>78</sup>, как он на деле и был соединён в национальных революциях 1848 года и борьбе за революционное освобождение и объединение Италии.

Война 1914 года расколола русскую социал-демократию: теперь уже не только на большевиков во главе с В. И. Лениным и меньшевиков во главе с Г. В. Плехановым, но и на «пораженцев» и «оборонцев».

Ещё в 1905 году, на фоне неудачной русско-японской войны, расколовшей страну на большинство, переживавшее патриотический кризис поражения, и либерально-социалистическое меньшинство, скандально радовавшееся поражению России (как якобы только поражению самодержавия), — лидер будущих «оборонцев» Плеханов в специальной статье для французской социалистической печати (и апеллируя к авторитету Ж. Жореса) пытался осознать и объяснить это несовпадение. Уже в этих объяснениях была видна эрозия догмы и попытки перетолковать её, чтобы спасти хотя бы её дух. Плеханов писал, ведя к возможности временного обретения *социалистического* отечества:

«Мне кажется, что “теза” Маркса и Энгельса нуждается не в *оправдании*, а только в *правильном истолковании*. Слова “рабочие не имеют отечества” написаны были в ответ идеологам буржуазии, обвинявшим коммунистов в том, что те хотят “уничтожить отечество” (...) т.е. в том смысле, который придавали этому понятию буржуазные идеологи. Манифест объявил, что “*такого* отечества рабочие не имеют”. (...) в царстве *капитализма* “отечество служит... выражением национальной исключительности, взаимного недоверия между народами и угнетения одного народа другим” (...) отечество есть категория историческая, т.е. преходящая по своему существу. Как идея *племени* сменилась идеей *отечества*, сначала ограниченного пределами *городской общины*, а потом расширившегося до нынешних *национальных* пределов, так идея отечества должна отступить перед несравненно более

<sup>78</sup> М. А. Бакунин. Послание моим итальянским друзьям, по поводу рабочего съезда, созванного в Риме на 1 ноября 1871 г. Мадзинистской партией // М. А. Бакунин. Избранные сочинения. Т. 5. «Альянс» и Интернационал. Интернационал и Мадзини. М., 2013 (репринт с изд. 1921). С. 160.

широкой идеей *человечества*. (...) Идея отечества связывает людей одной страны теснейшими узами солидарности во всём, что касается интересов этой страны в их противоположности с интересами других стран»<sup>79</sup>.

В 1914-м Плеханов уже был против поражения своего — даже капиталистического — отечества, а естественным выражением догматических вне-патриотизма и интернационализации стало поначалу маргинальное, но затем, в конце войны, значительное движение «пораженчества» в России в среде марксистов<sup>80</sup>. Полемизируя с «пораженцами» во главе с В. И. Лениным, настаивавшими, что и во время новой, истребительной, мобилизующей все силы обществ войны «у пролетариата нет отечества», русские марксисты издали специальный, ставший весьма популярным сборник «Самозащита»<sup>81</sup>, где легенда русского марксизма В. И. Засулич утверждала: «великая война грозит у нас не [полицейскому. — М. К.] участку, а отечеству, и в том будущем, которое приготовила бы отечеству победа Германии, всего больше пострадал бы именно рабочий класс»<sup>82</sup>. А её коллега логично говорил об общенациональных задачах, сопровождающих общенациональную оборону России от агрессора<sup>83</sup>. В том же сборнике ещё один

<sup>79</sup> Г. В. Плеханов. Патриотизм и социализм [1905] // Г. В. Плеханов. Избранные философские произведения. Т. III. М., 1957. С. 90–91, 93.

<sup>80</sup> Подробно о давней и идейно глубоко эшелонированной традиции использования русских радикалов в военных интересах воюющей против России Германии см., в частности: *Герд Кёnnen*. Между страхом и восхищением: «Российский комплекс» в сознании немцев, 1900–1945 [2005]. М., 2010.

<sup>81</sup> Самозащита. Марксистский сборник. Пг., 1916. Первое издание книги вышло в свет в январе 1916 большим для такого рода издания тиражом в 3 500 экземпляров, вскоре потребовалось второе: оно вышло в апреле 1916 дополнительным тиражом 1 500 экземпляров. Бывший марксист Н. А. Бердяев чутко описал сенсационный для общеполитического сознания в России смысл этого сборника, отталкиваясь от догмы: «Недавно вышедший марксистский сборник «Самозащита» симптоматичен и характерен для эволюции русской интеллигентской мысли. В нём объединились русские марксисты, которые хотят защищать отечество. В марксистской доктрине, которую всё ещё исповедуют авторы сборника, не предусмотрено место для отечества, нет признания ценности национальности. (...) Нужно приветствовать желание марксистов защищать отечество» (*Н. А. Бердяев*. Об оправданиях любви к отечеству [1916] // Н. А. Бердяев. Грех войны. Сб. ст. / Сост. Г. И. Ефимов. М., 1993. С. 87, 89).

<sup>82</sup> В. Засулич. О войне // Самозащита. Марксистский сборник. С. 3.

<sup>83</sup> В. Львов-Рогачевский. Организация общественных сил и защита страны // Самозащита. С. 111–120.

старый лидер марксизма и социал-демократии, А. Н. Потресов констатировал: победила «идея отечества» —

«Интернационализм в развалинах. Сейчас воюют не только правительства, сейчас — не за страх, а за совесть — воюют и народы, и трудящийся народ, в том числе, и даже в первую голову (...) мобилизовался патриотизм, и притом всенародный патриотизм такой интенсивности и такого охвата, какого — я не знаю — ведала ли много история»<sup>84</sup>.

Другой автор сборника вполне квалифицированно вписывал отвергавшийся Марксом социал-патриотизм<sup>85</sup> в исторический контекст: «Слова “рабочие не имеют отечества” были написаны великим основоположником научного социализма, когда казалось, что старый мир близок к разрушению (...) История судила иначе. (...) “Нельзя у рабочих отнять того, чего у них нет”, — писал Маркс по поводу отечества. Но... Маркс говорил вслед за этим: “Пролетариат, который должен сперва за-

<sup>84</sup> А. Н. Потресов. О патриотизме и международной // Самозащита. С. 5–6.

<sup>85</sup> В. И. Ленин, полемизируя против этого социал-патриотизма, называл его «социал-шовинизмом». Эта бранная квалификация вошла в официальную советскую партийную и историческую литературу, приобретая всё более бранный вес по мере того, как в советское время понятие «шовинизма» заняло своё место рядом с «этническим национализмом» как его более агрессивная разновидность, близкая к расизму. При этом важно учесть, что в 1914–1917 гг. «шовинизм» мыслился как негативный, но более нейтральный синоним патриотического, национально-отдельного, изолированного существования. Изданный И. Д. Сытиным массовый, социалистический по духу, словарь разъяснял: «Шовинист — имеющий преувеличенное мнение о силах и значении своего отечества, ставящий при этом себя выше других народностей и обнаруживающий по отношению к этим последним воинственный задор и нетерпимость». В этом контексте «патриотизм» толковался лапидарно как «любовь к отечеству», «нация» — «совокупность людей одной народности, связанных сознанием своего единства...», «национальность» — «народность», «национальный» — «народный», «Национализм — стремление оградить свою народность от какого бы то ни было влияния извне (...) является вполне законным и понятным явлением у народностей угнетённых...», но, как общее явление, он должен быть признан вредным для общечеловеческого развития и всеобщего мира» (Словарь иностранных слов, вошедших в употребление в русском языке. М., 1911. С. 438, 291, 262, 261). В 1920 г. Второй конгресс Коммунистического интернационала в своём программном манифесте заявил: «социалистическая Россия показала, что рабочее государство способно безболезненно сочетать национальные потребности с хозяйственными, очищая первые от шовинизма...» (Коммунистический Интернационал в документах. Решения, тезисы и воззвания конгрессов Коминтерна и пленумов ИККИ. 1919–1932 / Под ред. Бела Куна. М., 1933. С. 151).

воевать политическое господство, подняться на высоту национально-го класса, конституировать как нацию себя самого, пока ещё национален, хотя отнюдь не в буржуазном смысле". Значит Маркс понимал, что само политическое господство рабочего класса предполагает известную высоту своего пролетарского национального самосознания»<sup>86</sup>.

После февральской революции 1917 года «оборонцы» получили солидную историческую основу для проповеди классового мира и политического согласия для дела обороны страны»<sup>87</sup>. Пожалуй, публицистически наиболее активно выступал за это А. Н. Потресов. Он писал 11 июля 1917 года: **«Отечество в опасности!** Когда же отечество в опасности, не постыдно заключить мир с представительством буржуазии. Революционная демократия готова принести, со своей стороны, все жертвы на алтарь общенародного дела»<sup>88</sup>. В этом призыве Потресова отзывалась, прочитывалась глубинная традиция русского освободительного движения, изначально связанная с немецкой интуицией национально-го освобождения и объединения. Речь шла о, несомненно, памятном для поколения революционной интеллигенции наследии А. И. Герцена, который, видимо, первым из русских революционеров прибегнул к этому *ultima ratio*, вспоминая о том, как незадолго до 1812 года в расчленённой и оккупированной Германии прозвучал призыв к борьбе:

«Сколько профессоров в Германии спокойно читали свой схоластический бред во время наполеоновской драмы (...) Один Фихте, вдохновенный и глубокий, громко сказал, что отечество в опасности...»<sup>89</sup>

В 1914–1918 гг. за оборону Отечества последовательно выступал и такой авторитет дореволюционной оппозиционной интеллигенции, убеждённый социалист, писатель В. Г. Короленко (1853–1921). Он,

<sup>86</sup> Иван Кубиков. Рабочий класс и национальное чувство // Самозащита. С. 22, 24.

<sup>87</sup> В 1917 году настроения в пользу немедленного заключения мира стали более массовыми и даже получили дополнительную поддержку в общелиберальном популярном издании: М. А. Колеров. Неизвестная статья Н. В. Устрялова: П. Сурмин. В чём борьба за цивилизацию? (Империализм и демократия) [1917] // Русский Сборник: Исследования по истории России. XVI. М., 2014.

<sup>88</sup> А. Н. Потресов. Рубикон. 1917–1918. Публицистика / Ред.-сост. Р. М. Гайнуллина, А. П. Ненароков, И. С. Розенталь. М., 2016. С. 98.

<sup>89</sup> А. И. Герцен. Дилетантизм в науке [1843] // А. И. Герцен. Собрание сочинений в 30-ти т. Т. 3. С. 52–53 (Статья третья. Дилетанты и цех учёных).

в частности, писал в июле 1917 года, видимо, выражая распространённые настроения: «Армия присягала царю, но она присягала и Отечеству. Царь не захотел объединиться с Отечеством для защиты. Пришлось выбирать: Царь или Отечество? (...) Отечество шире всех форм государства. Оно шире монархии и шире республики. Оно ставит требования всем формам власти...»<sup>90</sup>. Таким образом, *отечественность* в оборонном сознании настолько отделилась от монархии, что уже могла стать (и была) основой для предъявления династии риторических обвинений в государственной измене и «немецком заговоре».

В 1914–1916 годах большевики, формально боровшиеся за классовое понимание Первой мировой войны как империалистической и выступавшие за «поражение собственного правительства» и за превращение этой внешней войны — во внутреннюю, гражданскую, казалось, полностью соответствовали решениям Базельского конгресса Интернационала (ноябрь 1912 года), заседавшего в начале имевших оттенок *колониальных* Балканских войн 1912–1913 гг.<sup>91</sup> Но большевики оказались в изоляции не только в России, где сложился общенациональный оборонительный консенсус, но и в изоляции перед лицом «образцовой» немецкой социал-демократии, которая в 1914 году почти единодушно поддержала своё правительство в борьбе против России. И это понятно: памятуя опыт англо-бурской войны 1899–1902 гг., социалисты концентрировали свой пацифизм более всего

<sup>90</sup> В. Г. Короленко. Война, Отечество и человечество (письма о вопросах нашего времени) [1917] // Неизданный В. Г. Короленко. Публицистика 1917–1918 / Сост. Т. М. Макагоновой, И. Т. Пяттосовой. М., 2012. С. 236, 239. См. также: Неизданный В. Г. Короленко. Дневники и записные книжки. 1914–1918 / Сост. Т. М. Макагоновой, И. Т. Пяттосовой. М., 2012. С. 183–184, 283 (24 марта 1917, 24 марта 1918). В. Г. Короленко не знает текста присяги, в котором упоминания об Отечестве нет, но явно имеет в виду двухсотлетнюю к тому времени риторическую традицию военных манифестов и девизов государственных наград, в которых устойчиво присутствует формула «за веру, царя и Отечество».

<sup>91</sup> Политические противники этих Балканских войн, разрушавших территориальное присутствие Османской империи на Балканах, хорошо понимали, что сохранение этого присутствия гарантировало территориальную и союзническую связь Германии, Австро-Венгрии и Турции, выводящую растущие империалистические претензии Германии непосредственно близко к британским интересам в Персии и Индии. Соответственно, прямым интересом Британской империи было начало этих разрушительных для Турции Балканских войн, чтобы они помешали территориальной экспансии Германии на Ближний и Средний Восток.

против колониальных войн, оставляя вне должного рассмотрения возможный конфликт между самими великими и колониальными державами. Марксист и социал-демократ поколения Ленина Ф. И. Дан (1871–1947) описывал итоги Базельского конгресса в контексте первой Балканской войны совершенно в духе политической русофобии Маркса и Энгельса и подчёркивал: «Преступным безумием была бы война между *тремя великими передовыми культурными народами* из-за сербско-австрийского спора. (...) Преодоление соперничества между Германией с одной стороны, Францией и Англией, с другой, устранило бы величайшую опасность для мира, ослабило бы русскую реакцию, эксплуатирующую это соперничество в своих интересах, сделало бы невозможным нападение Австро-Венгрии на Сербию и обеспечило бы мир»<sup>92</sup>. Другой марксист этого поколения М. Павлович (М. Л. Вельтман, 1871–1927) формулировал колониальный смысл Базельского конгресса ещё предметней: он явно исходил из того, что будущая война «в старой культурной Европе,... в отличие от войн на Балканах и в Маньчжурии, принесёт не сотни тысяч, а миллионы жертв»<sup>93</sup>. Позже, когда нападение всё же состоялось, автор сборника русских марксистов-«оборонцев» правильно понял это самоограничение социалистов только как запрет на войну в «культурной Европе» и констатировал: «Признание ценности отечества и установление права и обязанности защищать его от нападений извне являются аксиомами для социалистов Европы»<sup>94</sup>.

Здесь приходилось признать, что, несмотря на все буквы социал-демократической догмы о классовом характере войн, история Социал-демократической партии Германии (СДПГ) была издавна, начиная с политической риторики Карла Маркса и прямой политической позиции Фридриха Энгельса и кончая неоднократно заявленной позицией партийных вождей, полна примеров несомненно патриотического единства, постоянно подтверждаемого на случай войны Германии

<sup>92</sup> Ф. Дан. Базельский Конгресс Интернационала // Наша Заря. № 11–12. СПб., 1912. С. 108. По личному составу своих делегатов Конгресс и представлял, собственно говоря, «культурную Европу»: от Франции, Германии, Австро-Венгрии и Швейцарии вместе — было 68,2%, то есть две трети участников. От России — только 36 человек, 6,5%.

<sup>93</sup> М. Панин. Спор об империализме в германской социал-демократии // Наша Заря. № 11–12. СПб., 1912. С. 67.

<sup>94</sup> Владимир Вольский. Заметки по поводу войны // Самозащита. С. 81.

против России. Главным обоснованием этого, антидоктринального и антидогматического отвержения классового подхода было всеобщее убеждение немецких социал-демократов в том, что царская Россия являет собой пример агрессивной реакционной деспотии, которая служит главным препятствием Европы на пути к политическому прогрессу.

Историки германской социал-демократии справедливо описывают национальный и патриотический характер СДПГ так, как будто бы для этой партии в конце XIX — начале XX века «Коммунистического манифеста» с его «пролетариями, не имеющими отечества», уже просто не существовало:

«Эрфуртская программа не была пацифистской, а требовала “воспитания в духе всеобщей обороноспособности” и замены “постоянного войска народным ополчением”... На своём конгрессе в Базеле в 1912 г. ведущие социалисты Европы... клеймили войну как бич человечества. Их предостережение в адрес правительств о том, что в случае войны винтовки могут быть повернуты на 180 градусов, показало в августе 1914 г., чем оно было на самом деле: угрожающим жестом для запугивания поджигателей войны... Пока речь шла об обычных кризисах где-нибудь в Марокко или на Балканах, батальоны рабочих масс единодушно выступали, как в июле 1914 г., против войны. Но в тот момент, когда региональный конфликт 31 июля явно перешёл в большую войну, II Интернационал рухнул»: кроме России и Сербии, «во всех других участвовавших в войне странах, в которых рабочее движение располагало широкой, хорошо организованной массовой базой и шло за ориентирующейся на парламентаризм партий демократических и социальных реформ, социалисты в своём большинстве солидаризировались со своей нацией и поддержали правительство. Именно перелом в настроениях рабочих масс в момент начала войны показывает, насколько сильно рабочие в этих странах ощущали себя частью своей нации и выросли в существующее государство». Это опиралось на устойчивую и преобладающую традицию в германской социал-демократии: «Пожалуй, яснее всего изложил эту позицию [председатель СДПГ] Август Бебель на партийном съезде 1907 г.: “Если нам когда-нибудь действительно придётся защищать отечество, то мы будем защищать его потому, что это наше отечество, как землю, на которой мы живём, языком которой мы говорим, обычаи которой являются нашими обычаями, пото-

му что мы хотим превратить наше отечество в такую страну, совершеннее и краше которой нет на свете»<sup>95</sup>.

Формально отвечая СДПГ, поддержавшей своё правительство в войне, и требуя, по слову Ленина, **«превращения войны народов в гражданскую войну»**<sup>96</sup> (то есть признавая, что война началась именно как война народов, общенациональная, а не классовая или империалистическая), а на самом деле — косвенно вступая в полемику со всей патриотической традицией СДПГ во главе с Ф. Энгельсом, ЦК РСДРП — с большим опозданием, отражавшим идеологический паралич партии, только через три месяца после объявления Германией войны России, 1 ноября 1914 выпустил написанный В. И. Лениным манифест «Война и российская социал-демократия». Манифест пытался риторически усовестить СДПГ известным положением «Манифеста коммунистической партии» и решениями Базельского конгресса и ясно брал курс на военные катастрофы воюющих государств, которые должны привести к катастрофе капитализма и к революции, но не обещал ничего конкретного:

«Чем больше будет жертв войны, тем яснее будет для рабочих масс измена рабочему делу со стороны оппортунистов и необходимость обратить оружие против правительств и буржуазии каждой страны. (...) Оппортунисты давно готовили этот крах, отрицая социалистическую революцию и подменяя её буржуазным реформизмом; — отрицая классовую борьбу, с её необходимым превращением в известные моменты в гражданскую войну, и проповедуя сотрудничество классов; — проповедуя буржуазный шовинизм под названием патриотизма и защиты отечества и игнорируя или отрицая основную истину социализма, изложенную ещё в «Коммунистическом Манифесте», что рабочие не имеют отечества (...) Но для нас, русских с.-д., не может подлежать сомнению, что с точки зрения рабочего класса и трудящихся масс всех народов России наименьшим злом было бы поражение царской монархии, самого реакционного и варварского пра-

<sup>95</sup> Сюзанна Миллер, Хайнрих Поттхофф. Краткая история СДПГ. 1848–1990. М., 1999. С. 74–76.

<sup>96</sup> В. И. Ленин. Полное собрание сочинений. Т. 26. М., 1969. С. 40 («Положение и задачи социалистического интернационала», 1914).

вительства, угнетающего наибольшее количество наций и наибольшую массу населения Европы и Азии»<sup>97</sup>.

Итак, в оценке монархии в России как самой опасной и реакционной<sup>98</sup>, в забвении угнетения Британией населённой азиатской Индии Ленин следовал традиции Маркса и Энгельса, созданной ими в их полемике против России от имени общеевропейского прогресса. На что же и кому именно отвечал Ленин по существу? С какой традицией СДПГ (и среди русских социал-демократов-оборонцев во главе с другими основателями «Искры» Плехановым, Засулич и Потресовым) он спорил, в высшей степени опасаясь назвать имена её авторов? Вот Ленин пишет:

«Во главе одной группы воюющих наций стоит немецкая буржуазия. Она одурачивает рабочий класс и трудящиеся массы, уверяя, что ведёт войну ради защиты родины, свободы и культуры, ради освобождения угнетённых царизмом народов, ради разрушения реакционного царизма. А на деле именно эта буржуазия, лакействуя перед прусскими юнкерами с Вильгельмом II во главе их, всегда была вернейшим союзником царизма и врагом революционного движения рабочих и крестьян в России. (...) Германские и австрийские с.-д. пытаются оправдать свою поддержку войны тем, что этим самым они будто бы борются против русского ца-

<sup>97</sup> В. И. Ленин. Полное собрание сочинений. Т. 26. С. 20–22. Попытки сформулировать конкретный выход из войны не были удачными: война-де может быть окончена *только* посредством перехода всей государственной власти, по крайней мере, нескольких воюющих стран в руки класса пролетариев и полупролетариев» (VII конференция РСДРП, апрель 1917: ВКП(б) в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК (1898–1932). Часть I: 1898–1924. Изд. 4-е, испр. и доп. М., 1933. С. 268), «мир может быть достигнут только в результате мирового движения и борьбы пролетариата» (Конференция фронтовых и тыловых военных организаций РСДРП, июнь 1917: Там же. С. 276), лишь «мировая пролетарская революция сможет привести к демократическому миру» (VI съезд РСДРП (б), июль–август 1917: Там же. С. 290).

<sup>98</sup> Поддержав антивоенный курс Ленина, социал-демократка, делегатка Базельского конгресса А. М. Коллонтай (1872–1952), однако, подвергла критике консолидирующую Германию формулу о том, что та воюет, чтобы свергнуть реакционный режим в России: но борьбу за отечество она считала возможной только после того, как рабочий класс завоюет себе своё отечество, а тут и следовал очень практический рецепт: «чтобы прекратить войны — надо переделать устройство общества» (А. М. Коллонтай. Избранные статьи и речи. М., 1972. С. 145–148, 151 (Отечество в опасности! 1915)).

ризма. Мы, русские с.-д., заявляем, что такое оправдание считаем простым софизмом»<sup>99</sup>.

Но ведь именно этот «софизм», весь строй этих идей и был создан и развит Энгельсом и А. Бебелем (1840–1913) ещё в течение 25–30 лет перед войной. И сам же Ленин в цитируемом манифесте оперировал не только «трудящимися массами», но прежде всего «нациями» («захват земель и покорение чужих наций, разорение конкурирующей нации, грабёж её богатств»<sup>100</sup>). А чуть позже, выступая от имени «великорусских социал-демократов... представителей великодержавной нации», опять игнорировал классовый подход. И делал это потому, что акцентировал внимание *не на классовой стороне войны, а на её национальном характере, признавая национальную солидарность важнее классовой* там, где речь шла об интересах «новых», «больших и малых наций», угнетённых русской монархией и пробуждённых капитализмом. В ряду этих надклассовых «наций» Лениным были названы «Польша» (разделённая тогда между Германией, Австро-Венгрией и Россией и служащая театром военных действий между ними) и «Украина» (не определённая территориально никак). По Ленину получалось, что эти Польша и Украина *уже* были политической реальностью и объектом войны. Именно так: русские «помещики, споспешествуемые капиталистами, ведут нас на войну, чтобы душить Польшу и Украину», — и называют «удушение Польши, Украины и т.д. “защитой отечества” великороссов»<sup>101</sup>. Из этого следовало с бесспорной очевидностью, что *Первая мировая война Германии и Австро-Венгрии против России велась за освобождение от русского гнёта Польши и Украины, а война России против Германии и Австро-Венгрии — за удушение тех Польши и Украины, что и так были в составе России*. И в этом понимании войны Германии против России с идеей отделения от России Польши и Украины не было ничего нового по сравнению с проповедью Маркса

<sup>99</sup> В. И. Ленин. Полное собрание сочинений. Т. 26. С. 15–16, 18.

<sup>100</sup> В. И. Ленин. Полное собрание сочинений. Т. 26. С. 15. См. развитие этого взгляда: «Война есть испытание всех экономических и организационных сил каждой нации» (Т. 39. М., 1970. С. 321: «Доклад на II Всероссийском съезде коммунистических организаций народов Востока 22 ноября 1919 года»).

<sup>101</sup> В. И. Ленин. Полное собрание сочинений. Т. 26. С. 106–108 («О национальной гордости великороссов», 12 декабря 1914).

и Энгельса в течение 1850–1890-х гг., в том числе — о Польше и Украине как единых *национальных* проектах *против России*.

Анализ военных прогнозов Энгельса, в 1880–1890-е гг. сменивших военную публицистику самого Энгельса и Маркса 1850–1870-х гг., даёт основания увидеть в них не только живой германский патриотизм, одобренный немецким национализмом и даже культурным расизмом (что, полагая, и было основой известного прохладного отношения к нему Сталина) в отношении России как оплота реакции — и подавляющий их же собственную риторику о том, что «у пролетария нет отечества»<sup>102</sup>. Социал-демократическая формула патриотизма в его устах звучала гораздо богаче и содержала в себе непосредственную связь с приходом социал-демократии к власти в Германии и, следовательно, с принятием ею на себя полноты национальной ответственности, которая имела своим безусловным приоритетом независимое «*национальное существование*» и оставляла в стороне перспективу мировой революции и мирового коммунизма. Социалист Жорж Сорель (1847–1922), фокусируя свою критику на «официальных социалистах», очень точно раскрыл суть практических последствий, так сказать, *футур-этатизма* тех партий, что поступательно боролись за реальную власть, а не только за всемирный коммунистический переворот. Он писал исторически одновременно с признаниями Энгельса и СДПГ: они «рассчитывают когда-нибудь захватить государственную власть в свои руки и понимают, что тогда им понадобится армия, а ещё они будут вести внешнюю политику, и поэтому им придётся восхвалять патриотизм»<sup>103</sup>. Но патриотами они стали ещё до завоевания власти. Перед лицом франко-русского союза, в 1891 году Энгельс писал:

«Война, в ходе которой русские и французы вторглись бы в Германию, была бы для неё борьбой не на жизнь, а на смерть, борьбой, в которой она, чтобы обеспечить своё национальное существование, должна была применить самые революционные средства. (...) Мир обеспечит победу Социал-демократической партии Германии приблизительно лет через десять. Война же принесёт ей либо победу через два–три года, либо полный раз-

<sup>102</sup> Об этом германским социал-демократам остроумно (но на деле несправедливо) напомнил германский император Вильгельм II, в одной из своих речей назвав их «людьми без отечества»: *vaterlandslose*.

<sup>103</sup> Жорж Сорель. Размышления о насилии [1906]. М., 2013. С. 119.

гром, от которого она не оправится по крайней мере лет пятнадцать–двадцать»<sup>104</sup>.

И вновь в 1891 году:

«В случае нападения на Германию с востока и запада любое средство обороны будет оправдано. Речь будет идти о национальном существовании, а для нас также о сохранении тех позиций и тех шансов на будущее, которые мы себе завоевали. Чем революционнее будет вестись война, тем больше она будет вестись в нашем духе... может, разумеется, случиться и так, что нам придётся взять власть в свои руки и разыграть 1793 год, чтобы выбросить русских и их союзников»<sup>105</sup>.

И вновь:

«мы, немецкие социалисты, которые при условии сохранения мира через десять лет придём к власти, мы обязаны отстаивать эту завоёванную нами позицию авангарда рабочего движения не только против внутреннего, но и против внешнего врага. В случае победы России мы будем раздавлены. А потому, если Россия начнёт войну, — вперёд, на русских и их союзников, *кто бы они ни были*»<sup>106</sup>.

И в следующем году, уточняя перспективу прихода СДПГ к власти (парламентским путём — через достижение большинства в рейхстаге) в Германской империи и отливая в бронзу приоритет «*национального существования*», вдохновляемого революционными войнами Франции:

«Я надеюсь, что лет через десять социалистическая партия Германии придёт к власти. (...) война между Германией и Францией была бы единственным средством помешать социалистам прийти к власти. А если бы Франция в союзе с Россией напали на Германию, то последняя боролась бы не на жизнь,

<sup>104</sup> Ф. Энгельс. Социализм в Германии [1891] // К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения. Т. 22. М., 1962. С. 259.

<sup>105</sup> Ф. Энгельс. Письмо Августу Бебелю, 13 октября 1891 // К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения. Т. 38. М., 1965. С. 150–151.

<sup>106</sup> Ф. Энгельс. Письмо Августу Бебелю, 24–28 октября 1891 // К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения. Т. 38. С. 162.

а на смерть, защищая свое национальное существование, в котором германские социалисты заинтересованы гораздо больше, чем буржуа. Социалисты сражались бы поэтому до последнего человека и, не колеблясь, прибегли бы к революционным средствам, применённым Францией в 1793 году»<sup>107</sup>.

В 1891 же году известный деятель СДПГ, баварский депутат, этатист, пропагандист изоляционизма Г. фон Фольмар (1850–1922), ссылаясь на А. Бебеля и В. Либкнехта, публично заявил и его речь разнеслась в агитационной литературе:

«Надежда на то, что в случае нападения на Германию нападающая сторона может рассчитывать на германскую демократию, глубоко ошибочна. Как только наша страна подвергнется нападению извне, все её партии сольются в одну, и мы, социалисты, не будем последними в исполнении своего долга, если мы будем иметь дело с врагом цивилизации, с русским варварством»<sup>108</sup>.

Но оборонительный пафос уступал в мысли Энгельса идее *революционной войны как экспорта революции*. Он писал русской революционерке тогда:

«если революция вспыхнет сперва во Франции, скажем, в 1894 г., то Германия немедленно последует за ней... Тогда начнётся революционная война против России, — если даже не последует революционный отклик оттуда, — была, не была!»<sup>109</sup>

На программном Эрфуртском съезде СДПГ (1891) основатель партии В. Либкнехт (1826–1900) сказал, что считает «саму собой разуме-

<sup>107</sup> Интервью Ф. Энгельса корреспонденту французской газеты «L'Eclair» 1 апреля 1892 года // К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения. Т. 22. М., 1962. С. 558.

<sup>108</sup> Э. Мильо. Германская социал-демократия / Пер. Ю. Лакнер. М., 1906. С. 300–304. Впрочем, вожди партии и сам Энгельс осудили Фольмара за эту речь, но Энгельс более всего осуждал её за то, что она возлагает на СДПГ ответственность за защиту Эльзас-Лотарингии, аннексированной Германией у Франции (Ф. Энгельс. Письмо Карлу Каутскому, 29 июня 1891 // К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения. Т. 38. С. 106–107, 515). В остальном по сути их позиции не отличались. И уже через полтора года Фольмар и В. Либкнехт вместе вносили на съезде СДПГ внутривластную резолюцию.

<sup>109</sup> Ф. Энгельс. Письмо Ф. М. Кравчинской, 6 декабря 1892 // К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения. Т. 38. С. 465.

ющей» защиту отечества: «Это сделает каждый из нас... И не требует ли наш собственный интерес, чтобы мы выбросили из нашей страны того разбойника, который ворвался в наш дом». Выступая как один из старейших депутатов рейхстага, представитель его крупнейшей фракции СДПГ и крупнейшей по численности партии, пользующейся доверием трети избирателей, в рейхстаге в 1904 году Бебель подчёркивал: «Если война будет угрожать существованию Германии, то клянусь вам, — мы все, до последнего человека, даже старики, возьмём на плечо ружьё и будем охранять родную землю... Мы живём и боремся на этой земле, так как она — наше отечество, наша Родина». И в 1907 году на Эссенском съезде Бебель неизменно подтверждал от имени партии её верность принципу «оборонительной войны» и «защиты отечества» от, прежде всего, России и «русского варварства». Во время Базельского конгресса идейный вождь СДПГ и главный идеологический наследник и популяризатор Маркса и Энгельса Карл Каутский (1854–1938) писал в партийном органе «Die Neue Zeit»: «Я указывал двенадцать лет назад на то, что при защите собственной страны от вторжения внешнего врага, ввиду общей нужды, классовые противоречия отступают на задний план, как это в действительности было самоотверженно и решительно сделано пролетариатом с одобрения Интернационала в 1870–71 гг. во Франции»<sup>110</sup>. Ни в 1900-м, ни в 1912-м гг. Ленин не подверг критике такую позицию Каутского. С большим историческим опозданием фиксируя все эти несомненные обстоятельства, которые неизменно и лицемерно «не замечала» русская социал-демократия, сталинский партийный историк совершенно справедливо отмечал, что во всём этом СДПГ ссылалась и опиралась на «ошибочные высказывания» Энгельса<sup>111</sup>.

4 марта 1915 года конференция заграничных секций РСДРП в статусе общепартийной конференции, ссылаясь на опыт Парижской Коммуны и решение Базельского конгресса, приняла резолюцию «О лозунге “защиты отечества”», в которой заявила:

«Действительная сущность современной войны заключается в борьбе между Англией, Францией и Германией за раздел колоний и за ограбление кон-

<sup>110</sup> К. Каутский. Война и Интернационал [1912] // Наша Заря. № 11–12. СПб., 1912. С. 21.

<sup>111</sup> В. Козюченко. Германский социал-шовинизм и центризм в годы Первой мировой войны (август 1914 г. — июль 1917 г.). М., 1948. С. 9, 24–25.

курирующих стран и в стремлении царизма и правящих классов к захвату Персии, Монголии, Азиатской Турции, Константинополя, Галиции т.д. (...) Фразы о защите отечества, об отпоре вражескому нашествию, об оборонительной войне и т.п. с обеих сторон являются обманом народа».

В той же резолюции далее была заявлена и другая сторона, значительно уравнивавшая риторический *классовый* интернационализм указанием на важную связь прогресса с *внеклассовым* национализмом и строительством национальной государственности, центральная роль в которых была отдана Великой Французской революции и наполеоновским войнам:

«В основе действительно национальных войн, какие имели место особенно в эпоху 1789–1871 гг., лежал длительный процесс массовых национальных движений, борьбы с абсолютизмом и феодализмом, свержения национального гнёта и создания государств на национальной основе, как предпосылки капиталистического строя»<sup>112</sup>.

Из этого следовало, что национализм, направленный на разрушение многонациональной России, и его, антиимперского национализма, «защита отечества», напротив, легитимны в глазах большевиков, отвергающих *отечественность* в защиту единой России<sup>113</sup>. В знаме-

<sup>112</sup> ВКП(б) в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК (1898–1932). Часть I: 1898–1924. Изд. 4-е, испр. и доп. М., 1933. С. 250.

<sup>113</sup> Именно за такую капитуляцию пролетарского революционера Ленина перед общенациональным движением, а на деле, при слабости политического развития наций, перед буржуазным национализмом новых независимых государств на развалинах России, и критиковала его Роза Люксембург (1871–1919): ««Большевики несут часть вины за то, что военное поражение России превратилось в крушение и распад страны. Они сами же в большой степени обострили объективные трудности положения своим лозунгом, который поставили во главу угла своей политики, так называемым правом наций на самоопределение или тем, что в действительности скрывалось за этой фразой, — государственным развалом России. (...) В то время как Ленин и его товарищи, очевидно, ожидали, что они как защитники национальной свободы “вплоть до государственного отделения” сделают Финляндию, Украину, Польшу, Литву, Балтийские страны, кавказцев и т.д. верными союзниками русской революции, мы наблюдали обратную картину: одна за другой эти “нации” использовали только что дарованную им свободу для того, чтобы в качестве смертельного врага русской революции вступить в союз с германским империализмом и под его защитой понести знамя контрреволюции в саму Россию. Образцовый пример — интер-

нитом отклике на выступление Розы Люксембург (Юниуса) Ленин писал, на деле отказываясь от классового марксизма: «Национальные войны против империалистских держав не только возможны и вероятны, они неизбежны и прогрессивны, революционны»<sup>114</sup>. И такой национализм априори освобождался от обвинений в национальном гнёте. С таким капиталом вошли Ленин и большевики в 1917 год.

### ОТЕЧЕСТВО БРЕСТ-ЛИТОВСКОГО МИРА (1918)

Важный для предреволюционной эпохи пример англо-бурской войны (1899–1902) как первой колониальной империалистической войны европейцев против европейцев — был с энтузиазмом воспринят политическим классом России. Он послужил ей образцом самоорганизованного народного сопротивления (буров) британскому империализму, новым примером *вооружённого народа*, являл факты массового добровольчества, масштабной партизанской войны буров против англичан. В русской политической культуре воюющая бурская Республика Трансвааль дала имя популярнейшей песне-гимну романтического антиимпериализма, известного как «Трансвааль, Трансвааль, страна моя...» на стихи Галины Галиной<sup>115</sup>.

Опыт партизанской войны и антипартизанской «политики опустошения», которая проводилась англичанами против буров и включала в себя широкое применение концентрационных лагерей для гражданского населения<sup>116</sup>, в предвоенный период продолжал оставаться в цен-

---

медия с Украиной в Бресте, обусловившая решающий поворот в этих переговорах и во всем внутреннем и внешнеполитическом положении большевиков» (Р. Люксембург. Рукопись о русской революции [1918] // Р. Люксембург. О социализме и русской революции. Избранные статьи, речи, письма. М., 1989).

<sup>114</sup> В. И. Ленин. О брошюре Юниуса [1916] // В. И. Ленин. Полное собрание сочинений. Т. 30. М., 1973. С. 9.

<sup>115</sup> Эта песня в период участия СССР в Гражданской войне в Испании в 1936–1939 гг. на стороне государства, подвергшегося империалистической интервенции и восстановившего культ романтического добровольчества, получила своё «второе издание» в известном стихотворении (1926 года) Михаила Светлова «Гренада, Гренада, Гренада моя...».

<sup>116</sup> В них были заключены до 150 000 буров и 100 000 африканцев. Этим лагерям была присуща очень высокая смертность (в среднем от 10% до 17%, среди детей до 8 лет — до 68% (И. А. Никитина. Захват бурских республик Англией (1899–1902 гг.). М., 1970. С. 69–72).

тре внимания науки и пропаганды в СССР<sup>117</sup>, готовившему страну к общенародному противостоянию британскому и иному империализму.

Но прежде этого антиимпериалистический пафос вооружённого народа и его партизанской войны опирался на более успешный образец, каковым накануне 1917 года целое столетие оставался пример Отечественной войны 1812 года, и само определение «партизанской войны» звучало как «оборонительная народная война»<sup>118</sup>.

Приход большевиков к власти в России изменил многое в самих большевиках. Постоянно и сознательно ориентируясь на прецедент Парижской Коммуны в Париже в 1871 году<sup>119</sup>, возникшей на политических развалинах Франции, терпящей поражение от Пруссии во франко-прусской войне 1870–1871, Ленин потому и стремился заключить Брестский мир с Германией, чтобы избежать повторения коллизии 1871 года. Французский образец (в котором русские видели и общий сценарий 1917 года) показывал, что военное поражение привело к низложению императора Наполеона III и созданию Правительства национальной обороны, которое 26 февраля 1871 г. подписало предварительный мирный договор, а 10 мая — окончательный мир. Тем временем, в дни переговорного процесса, в Париже 18 марта 1871 г. пришла к власти революционная коалиция Парижской коммуны, которая, однако, пала жертвой мирного договора антиреволюционного правительства с немцами и была по-

<sup>117</sup> См.: В. Воронов. Англо-бурская война (1899–1902 гг.). Краткий военно-политический очерк. М., 1933; М. Цетлин. Война буров за независимость (1899–1902). М., 1940; В. Кульбакин. Англо-бурская война (1899–1902 гг.) // Военно-исторический журнал. М., 1941. № 1.

<sup>118</sup> Словарь иностранных слов, вошедших в употребление в русском языке. М., 1911. С. 288.

<sup>119</sup> Об этом же *изолированном* опыте специально писал Л. Д. Троцкий в одной из своих первых (и получивших признание) работ. Категорически оговаривая, что «без прямой государственной поддержки европейского пролетариата рабочий класс России не сможет удержаться у власти и превратить своё временное господство в длительную социалистическую диктатуру», Троцкий, тем не менее, задолго до 1917 года описывал его сценарий: «В стране более отсталой пролетариат может оказаться у власти раньше, чем в стране капиталистически передовой. В <18>71 г. он сознательно взял в свои руки управление общественными делами в мелкобуржуазном Париже — правда, только на два месяца, — но ни на один час он не брал власти в крупно-капиталистических центрах Англии или Соединённых Штатов. (...) Русская революция создаёт, на наш взгляд, такие же условия...» (Л. Д. Троцкий. Итоги и перспективы. Движущие силы революции [1906, переизд. 1919] // Л. Д. Троцкий. Из истории русской революции / Сост. Н. А. Васецкий. М., 1990. С. 94–95, 108).

следовательно уничтожена им уже к 28 мая. Ясно, что в условиях России 1917–1918 гг. существовала теоретическая возможность такого же сценария, когда власть авторов Октябрьского переворота точно так же не распространялась на всю страну, которая продолжала оставаться в состоянии войны с Германией. Вероятно, именно эту возможность риторически имел в виду и косвенно упоминал Сталин в своём тосте «за великий русский народ» 24 мая 1945, в котором, согласно стенограмме, сказал: «Какой-нибудь другой народ [в 1941 г. — М. К.] мог сказать: вы не оправдали наших надежд, мы поставим другое правительство, которое заключит мир с Германией и обеспечит нам покой. Это могло случиться, имейте в виду. Но русский народ на это не пошёл, русский народ не пошёл на компромисс, он оказал безграничное доверие нашему правительству».

В такой ситуации первоначальный расчёт большевиков на мировую революцию, то есть революцию прежде всего в Германии, явно конфликтовал с «парижским сценарием»: Германия была вольна не только расчленять Россию, ставя под свой контроль Прибалтику, Украину, Закавказье, но и *выбирать себе того, кто согласится представлять центральную власть на сепаратных переговорах с Берлином*. Ленин писал в начале января 1918 года, уже отходя от первых деклараций о революционной войне: «если бы германская революция вспыхнула и победила в ближайшие три–четыре месяца, тогда, может быть, тактика немедленной революционной войны не погубила бы нашей социалистической революции. Если же германская революция в ближайшие месяцы не наступит, то ход событий, при продолжении войны, будет неизбежно такой, что сильнейшие поражения заставят Россию заключить ещё более невыгодный сепаратный мир, причём мир этот будет заключен не социалистическим правительством, а каким-либо другим»<sup>120</sup>.

Есть своя скрытая, но фундаментальная логика в том, что большевики — поголовно сторонники именно мировой коммунистической революции без национальных границ и экономик (народных хозяйств), суверенных государств и отдельных государств вообще — на пути к власти сделали одним из своих главных лозунгов (в целом глубоко чуждым солдатам, рабочим и крестьянам) требование «мира без аннексий и контрибуций». И главное противоречие не в том, что

<sup>120</sup> В. И. Ленин. Полное собрание сочинений. Т. 35. М., 1962. С. 248 («К истории вопроса о несчастном мире». 7–8 (20–21) января 1918).

в результате Брест-Литовского мира они согласились на аннексии и контрибуции за счёт России, а в том, что этот лозунг исходил из неприкосновенности именно национальных границ и хозяйств. И Парижская Коммуна учила управлению именно национальным государством и внешней политикой. И оставалось лишь создать из остатков России национальное государство. За утверждением «мира без аннексий» в послевоенном урегулировании для Ленина скрывался отнюдь не отказ от территориальных приращений по итогам войны, как это могло показаться тому, кто следует за обычным значением слова. За ним стояло ещё довоенное, исторически давнее и вполне принципиальное разрушение территориальной целостности России, главным этнополитическим содержанием которой Ленин, как известно, считал этнографическую территорию одних лишь великороссов. В программе для Брестских переговоров Ленин писал:

«Понятие аннексии: (...) аннексией объявляется всякая территория, население которой в течение последних десятилетий (со второй половины XIX века) выражало недовольство присоединением её территории к другому государству, или её положением в государстве, — все равно, выражалось ли это недовольство в литературе, в решениях сеймов..., вызванных национальным движением этих территорий»<sup>121</sup>.

И это значит, что все территориальные уступки большевиков Германии были не уступками, а исполнением программных требований о расчленении России в интересах сколь бы умозрительно не обнаруженных националистических сил и их территориальных предположений.

Непрерывно маневрируя в идейном русле и меняя лозунги, в записях 21–24 декабря 1917 г. Ленин отметил, детализируя контекст и главный замысел шедших тогда в Бресте мирных переговоров с Германией, показывая резкую смену приоритетов и прямую связь *социализма в России* как начала её *революционной войны на Западе*:

«Переход революционных интернационалистов к “оборончеству”... Революционная фраза и революционный долг в вопросе о революционной

<sup>121</sup> В. И. Ленин. Полное собрание сочинений. Т. 35. М., 1962. С. 121 (Конспект программы переговоров о мире. 27 ноября 1917).

войне... Как надо “подготовить” революционную войну?.. Революционная война держащего власть пролетариата может быть лишь война за упрочившийся социализм... Сначала победить буржуазию в России, потом воевать с буржуазией внешней, заграничной, чужестранной... «Выигрыш времени» = сепаратный мир (до общеевропейской революции)»<sup>122</sup>.

Позже, агитируя свою партию за подписание Брестского мира, Ленин не раз говорил ей о том, что боеспособной армии в их распоряжении нет и потому сопротивляться Германии нечем. Ему никто не напоминал, как ещё недавно, в конце декабря 1917 года, большевиками во главе с Лениным громогласно создавалась «социалистическая армия» и как она уже отправлялась на фронт, напутствуемая Лениным на гораздо более масштабные дела —

«бороться за торжество русской революции, за торжество великих её лозунгов не только в нашей земле, но и среди народов всего мира... мы — сила, способная победить все преграды на пути мировой революции... мы скоро не будем одиноки, в нашу армию вольются пролетарские силы других стран»<sup>123</sup>.

Более того: Ленин сам точно помнил даже дату своего «обещания» от октября 1915: «подготовить и повести революционную войну (...) поднимать на восстание все ныне угнетённые великороссами народы, все колонии и зависимые страны Азии (Индию, Китай, Персию и пр.), а также — и в первую голову — (...) социалистический пролетариат Европы против его правительств» — «долг наш был готовить к революционной войне»<sup>124</sup>. Именно здесь, аргументируя необходимость сепаратного (от союзных России Франции и Англии, по плану становящейся объектом революционной войны<sup>125</sup> в Индии и Персии) мира

<sup>122</sup> В. И. Ленин. Из дневника публициста [1918] // Ленинский сборник. XI / Под ред. Н. И. Бухарина, В. М. Молотова, М. А. Савельева. М.; Л., 1929. С. 10. В. И. Ленин. Полное собрание сочинений. Т. 35. М., 1962. С. 189–190 («Из дневника публициста (темы для разработки)», 21–24 декабря 1917 (6–9 января 1918)).

<sup>123</sup> В. И. Ленин. Полное собрание сочинений. Т. 35. М., 1962. С. 216 (Речь на проводах первых эшелонов социалистической армии. 1 (14) января 1918).

<sup>124</sup> Ленинский сборник. XI. С. 37, 39.

<sup>125</sup> Впрочем, уже итоги 1918 года ясно показали, что настоящих ресурсов для масштабной революционной войны у большевиков нет, и потому показательным,

с Германией, 8–11 января (старого стиля) 1918 г. Ленин отмечает: «мы, большевики, все стали теперь оборонцами»<sup>126</sup>. Этот момент примерки к революционной России роли (дополнительного для возможной революционной Германии) источника сил для революционной войны по образцу революционных войн Франции конца XVIII века был короток, но пришёлся точно на момент политического создания Красной Армии, идеологической санкцией которой было «всенародное вооружение», чтобы «послужить поддержкой для грядущей социалистической революции в Европе» (Декрет СНК РСФСР от 15 января 1918 г.).

В начале января 1918 года в сознании Ленина начался процесс превращения лозунга **революционной войны** в лозунг **защиты отечества**, равно исторически связанных с наполеоновскими войнами (выделено мной):

«необходимость, для успеха социализма в России, известного промежутка времени, **не менее нескольких месяцев**, в течение которого социалистическое правительство должно иметь вполне **развязанные руки для победы над буржуазией сначала в своей собственной стране** и для налажения широкой и глубокой массовой организационной работы. (...) Нет сомнения, что социалистическая революция в Европе должна наступить и наступит. Все наши надежды на окончательную победу социализма основаны на этой уверенности и на этом научном предвидении... Но было бы ошибкой построить тактику социалистического правительства России на попытках определить, наступит ли европейская и особенно германская социалистическая революция в **ближайшие полгода** (или подобный краткий срок) или не наступит. (...) Перед социалистическим правительством России встает требующий неотложного решения вопрос, принять ли сейчас этот аннексионистский мир или вести тотчас **революционную войну**. (...) Кто, ничего не скрывая от народа,... соглашается подписать невыгодные для слабой **нации**, выгодные для империалистов одной группы, условия мира, если в данный момент нет сил для продолжения войны, тот ни малейшей измены социализму не совершает. (...) революционная война в данный момент сделала бы нас, объективно,

---

что в мае 1919 Ленин и Сталин выступили с проектом директивы ЦК РКП о военном единстве советских республик, где центральным понятием было «социалистическая оборонительная война» (*В. И. Ленин, И. В. Сталин. О защите социалистического отечества*. М., 1945 (первое изд.: М., 1943). С. 98).

<sup>126</sup> Ленинский сборник. XI. С. 46, 47.

агентами англо-французского империализма, давая ему подсобные его целям силы. (...) со времени победы социалистического правительства **в одной из стран**, надо решать вопросы не с точки зрения предпочтительности того или другого империализма... не тот принцип должен теперь лежать в основе нашей тактики, которому из двух империализмов выгоднее помочь теперь, а тот принцип, как вернее и надежнее можно обеспечить социалистической революции возможность укрепиться или **хотя бы продержаться в одной стране до тех пор, пока присоединятся другие страны**. (...) Мы говорили о необходимости «подготавливать и вести» революционную войну для социалистического правительства в эпоху империализма; **мы говорили это, чтобы бороться с абстрактным пацифизмом, с теорией полного отрицания «защиты отечества» в эпоху империализма**... но мы не брали на себя обязательства начинать революционной войны без учёта того, насколько возможно вести её в тот или иной момент. Мы и сейчас безусловно должны готовить революционную войну. (...) Нет сомнения, что наша армия в данный момент и в ближайшие недели (а вероятно, и в ближайшие месяцы) абсолютно не в состоянии успешно отразить немецкое наступление... вследствие полной невозможности защитить побережье от Риги до Ревеля, дающей неприятелю вернейший шанс на завоевание остальной части Лифляндии, затем Эстляндии и на обход большей части наших войск с тыла, наконец на взятие Петрограда»<sup>127</sup>.

Уже в начале февраля большевикам стало ясно, что революции в Германии нет. Политически возвращая в число инструментов военного строительства и управления столь осуждаемые ими летом 1917 года расстрелы, советское правительство — ещё до подписания его представителями Брестского мира и быстрого продвижения германских войск в глубь России — признавало: «германский рабочий класс оказался в этот грозный час ещё недостаточно решительным и сильным, чтобы удержать преступную руку собственного милитаризма» (см. обращения СНК РСФСР «Социалистическое отечество в опасности!» (написанное Л. Д. Троцким<sup>128</sup>) и «К трудящемуся населению всей России!» от 21 февра-

<sup>127</sup> В. И. Ленин. Полное собрание сочинений. Т. 35. М., 1962. С. 244–247 («К истории вопроса о несчастном мире». 7–8 (20–21) января 1918).

<sup>128</sup> Опубликовано в «Известиях ВЦИК» 22 (9) февраля 1918. В авторитетной хронике Троцкий указан автором манифеста, а Ленин — его «редактором» (Петербургский комитет РКП (б) в 1918 году. Протоколы и материалы заседаний /

ля 1918 г. по новому стилю). Это осознание придало «социалистическому оборончеству» перспективу длительного изолированного существования в ожидании революции, изменило историческую самоидентификацию революционной России, предписав ей место среди проигравших, а не победителей. Место среди проигравших наполнило новым смыслом лозунг «революционной обороны». И даже добавило к изолированному в России социализму ленинскую санкцию на прежде отвергавшийся торг о союзе с противостоящими Германии империалистическими державами. Здесь начинается длительный роман Ленина с историей Наполеона Бонапарта, Пруссии и национального освобождения и, следовательно, укрепления *идеи отечества*. Он пишет (выделено мной):

«Наполеон I раздавил и унизил Пруссию неизмеримо сильнее, чем Вильгельм давит и унижает теперь Россию... его победа над Пруссией была много решительнее, чем победа Вильгельма над Россией. А через немного лет Пруссия оправилась и в освободительной войне, **не без помощи разбойничьих государств**, ведших с Наполеоном отнюдь не освободительную, а империалистскую войну, свергла иго Наполеона. Империалистские войны Наполеона продолжались много лет, захватили целую эпоху, показали необыкновенно **сложную сеть сплетающихся империалистских отношений с национально-освободительными движениями**»<sup>129</sup>.

Наводя в феврале 1918 исторические справки о войнах Наполеона в «Истории Западной Европы» Н. И. Кареева, Ленин обнаруживает, что «революционные войны» Франции ограничиваются в историографии 1799 годом, а далее следуют уже «наполеоновские», в том числе та, что закончилась Тильзитским миром 1807 года, в прецеденте которого Ленин прочитывает и *выписывает* возможную судьбу России после за-

---

Сост. Т. А. Абросимова, В. Ю. Черняев, А. Рабинович. СПб., 2013. С. 435. Об этом см. также: Джон Кип, Алтер Литвин. Эпоха Иосифа Сталина. Современная историография [2005]. М., 2009. С. 211, прим. 1). Однако после изгнания Троцкого партийная пропаганда уверенно приписывала его авторство Ленину и тем легитимировала текст для СССР. За подписью Ленина в сб.: В. И. Ленин. Из эпохи гражданской войны. М., 1934. Затем — в сб.: В. И. Ленин, И. В. Сталин. О защите социалистического отечества. М., 1943 (2-е изд.: М., 1945). Двумя авторами воззвания были прямо названы Ленин и Сталин: И. Минц. Красная Армия в борьбе с германскими захватчиками с 1918 году. М., 1941. С. 8–9.

<sup>129</sup> В. И. Ленин. Полное собрание сочинений. Т. 35. М., 1962. С. 382–383 («Несчастный мир», 11 (24) февраля 1918).

ключения Брестского мира с Германией и её сателлитами: «Пруссия теряет  $\frac{1}{2}$  своих владений... Пруссия платит громадную контрибуцию»<sup>130</sup>.

Эти аналогии поставили точку во внутримарксистском споре *патриотов* (меньшевиков-«оборонцев») с *интернационалистами* (большевиками-«пораженцами») об Отечестве. Обращение «Социалистическое отечество в опасности!» ставило военные задачи создания «выжженной земли» на пути германских войск (и оживляло в исторической памяти образ партизанской борьбы<sup>131</sup>) и гласило:

«Германские генералы хотят установить свой “порядок” в Петрограде и в Киеве. Социалистическая Республика Советов находится в величайшей опасности. До того момента, как поднимется и победит пролетариат Германии, священным долгом рабочих и крестьян России является беззаветная защита Республики Советов против полчищ буржуазно-империалистской Германии. (...) Социалистическое отечество в опасности! Да здравствует социалистическое отечество! Да здравствует международная социалистическая революция!»

Для творчества самого Троцкого такое превращение лозунга «защиты отечества» не было новым или случайным. Ещё в ходе мировой войны он писал:

«Наше отрицание “защиты отечества”, как пережившей себя политической программы пролетариата... получает все своё революционное содержание лишь в том случае, если консервативной защите устаревшего национального отечества мы противопоставляем прогрессивную задачу создания нового, более высокого “отечества” революции — республиканской Европы, исходя из которой пролетариат только и сможет революционизировать и организовать весь мир».

И здесь Троцкий, строго следуя марксистской догме о неравномерности капиталистического развития и локальных центрах мировой

<sup>130</sup> Ленинский сборник. XI. С. 49–50.

<sup>131</sup> Уже 23–26 февраля 1918 в Петрограде были созданы «партизанские отряды» — в Запасном огнехимическом батальоне и в Союзе моряков торгового флота (Крах германской оккупации на Псковщине. Сб. документов / Сост. А. Л. Фрайман. Л., 1939. С. 74, 79).

революции, сам задавал себе вопрос о неравномерности и сам отвечал на него утвердительно:

«В этом, между прочим, ответ тем, которые догматически спрашивают: “почему объединение Европы, а не всего мира?”. Европа не только географический термин, а и некоторая экономическая и культурно-историческая общность. Европейской революции не приходится дожидаться революции в Азии и Африке, ни даже в Австралии и Америке. А, между тем, победоносная революция в России или Англии немыслима без революции в Германии, — и наоборот. Настоящую войну называют мировой, но воюет-то, даже и после вмешательства Соединённых Штатов, всё-таки Европа...»<sup>132</sup>.

По решению Исполкома Петроградского Совета 23 февраля 1918 был объявлен «Днём защиты социалистического отечества», и в его часть в городе были созваны митинги<sup>133</sup>. Умный и чуткий наблюдатель скептически описал тогда превращение большевиков-пораженцев в новых патриотов. 23 февраля 1918 года, в ходе переговоров о Брестском мире, он писал, сохраняя сквозную библейско-коммунистическую аллюзию: «Социалистическое отечество — не от мира сего, и потому какое дело социалисту из такого отечества — сколько империалисты отрежут из этого отечества». Но уже 4 августа 1918, когда Брестская кабала России ещё сохранялась (и даже по тайному дополнительному соглашению с Германией от 27 августа 1918 радикально утяжелялась) нащупывал точку психологического соединения социалистического патриотизма с интернационализмом: «Русский социализм характерен отказом от личного... Это общее дело: интернационал — общее дело, отечество — общее дело»<sup>134</sup>. Наверное, тогда это усилие делали многое.

<sup>132</sup> Л. Д. Троцкий. Программа мира [1915–1916] // Л. Д. Троцкий. Из истории русской революции. С. 141.

<sup>133</sup> Петербургский комитет РКП (б) в 1918 году. С. 426.

<sup>134</sup> М. М. Пришвин. Дневники. 1918–1919 / Подг. текста Л. А. Рязановой, Я. З. Гришиной. СПб., 2008. С. 44–45, 174. На новации лозунга «социалистического отечества» уже летом 1918 года откликнулись авторы антиреволюционного сборника русских либералов «Из глубины». Их отклики демонстрируют понимание одновременно и общенациональной претензии этого лозунга, и его вынужденного, прикладного характера. С. Н. Булгаков даёт голоса противникам большевиков разного толка: «Генерал... Для нас святая Русь, народ православный, а для них социалистическое отечество, социалистическая лжетеократия (...) *Дипломат*. ... теперь физического истребления опасаться можно не от немцев, а от сограждан социалистического

25 февраля 1918 в газете «Правда» Ленин решил окончательно отвести на второй план лозунги мировой революции, постфактум, на четыре месяца назад, к инициативному *началу переговоров* большевиков с германским империализмом об условиях выхода России из войны, *отнеся «патриотический» поворот большевиков* к моменту **захвата ими власти** в столице. Так Ленин *постфактум* изобразил мгновенное превращение мировых революционеров в *отечественных* оборонцев, а их партийную власть в стране приравнял к появлению и существованию отечества:

«Мы — оборонцы теперь, с 7 ноября (25 октября) 1917 г., *мы* — за защиту отечества с этого дня. Ибо мы доказали *на деле* наш разрыв с империализмом. (...) Но именно потому, что — за защиту отечества, мы требуем серьёзного отношения к обороноспособности и боевой подготовке страны. Мы объявляем беспощадную войну революционной фразе о революционной войне<sup>135</sup>. (...) Готовьтесь серьёзно, напряжённо,

---

отечества». А. С. Изгоев обнажает внутреннюю пружину перемен: «С точки зрения социалистического корана с его заповедью: “рабочие не имеют отечества”, большевики, пока не поскользнулись на своей “защите социалистического отечества”, были единственно правоверными последователями социалистического учения... Они заговорили о защите “социалистического отечества”, когда от самого отечества остались только клочки... Без идеи национального надклассового отечества настоящей армии создать нельзя». И. А. Покровский, словно слыша брестские речи Ленина, установил государственный смысл *отечественности*: «...часть самой социалистической интеллигенции пришла в смущение и стала звать назад — к идее отечества, к поддержанию порядка, к дисциплине в труде». П. Б. Струве нашёл древнейшее упоминание «отечества» в памятниках Смуты: ««Того всего взыщет Бог на вас, что вы своим развратом с нами не в соединении, да и окрестный все Государства назовут вас предатели своей вере и отечеству»... Из грамоты ярославцев вологжанам (1612 г.). Ср. отказ эмигрантского критика большевизма принять в целом *неклассовую* формулу «социалистического отечества» и желание сузить её до классовой «*пролетарской родины*» (Ф. А. Степун. Чаемая Россия [1936] // Ф. А. Степун. Сочинения / Сост. В. К. Кантор. М., 2000. С. 532).

<sup>135</sup> Речь идёт о «фразе» левых коммунистов во главе с Н. И. Бухариным, призывавших к революционной войне против Германии и потому выступавших против Брестского мира, а лозунг делегации большевиков на переговорах в Бресте «ни мира, ни войны», лозунг Троцкого, согласованный с Лениным, имел своей целью «проверить, способен ли ещё Гогенцоллерн вести войну против революции» (Л. Д. Троцкий. О подделке истории Октябрьского переворота, истории революции и истории партии [1927] // Л. Троцкий. Сталинская школа фальсификаций. Поправки и дополнения к литературе эпигонов. М., 1990. С. 38–39). Известно, что названный провокационный лозунг привёл к масштабнейшим территориальным потерям Советской России.

неуклонно к защите отечества, к защите Социалистической советской республики!»<sup>136</sup>

О какой «революционной фразе о революционной войне», сам так много уделивший внимания «революционной войне», вдруг заговорил Ленин? Видимо, о той достигающей большинства массовой реакции большевистских организаций в самых пролетарских районах, которые выступили в те дни против Брестского мира<sup>137</sup> — за революционную войну, то есть фактически — оборону Отечества. Примечательно, что одна из этих организаций, Воронежская, призвала, «в случае необходимости, вести партизанскую войну»<sup>138</sup>. Ясно, что иной партизан-

<sup>136</sup> В. И. Ленин, И. В. Сталин. О защите социалистического отечества. С. 23–24 («Тяжёлый, но необходимый урок»). См. выступление Ленина на VII съезде РСДРП 7 марта: «мы, ставшие все с октября 17-го года оборонцами, признающими защиту отечества» (Протоколы съездов и конференций ВКП (б): Седьмой съезд, март 1918 года / Под ред. Д. Кина и В. Сорина М.; Л., 1928. С. 17). В тот же день там же Н. И. Бухарин откровенно детализировал: «Когда мы были в оппозиции, когда Керенский всячески взывал о защите отечества, мы всячески разлагали волю к защите этого отечества, и мы были правы. Теперь у нас колоссальный принципиальный сдвиг. Совершенно правильно говорил тов. Ленин: “Мы стали оборонцами, но оборонцами социалистического отечества”. (...) Когда у нас было “капиталистическое” отечество, мы разлагали волю к войне; став оборонцами, мы должны массы поднять до себя, а не спускаться до последнего мешочника». (Там же. С. 39–40). Ср. опубликованное сначала в газете «Известия ВЦИК» 12 марта 1918 настойчивое утверждение аналогии с немецким национальным подъёмом, то есть вычленение национального формата русской революции, и цепкое формулирование иерархии революции, то есть подчинение её мировой: «Мы подписали “Тильзитский” мир. (...) Тильзитский мир был величайшим унижением Германии, и в то же время поворотом к величайшему национальному подъёму. (...) если Россия идёт теперь — а она бесспорно идёт — от “Тильзитского” мира к национальному подъёму, к **великой отечественной войне** (подчёркнуто мной. — М. К.), то выходом для этого подъёма является не выход к буржуазному государству, а выход к международной социалистической революции. Мы оборонцы с 7 ноября (25 октября) 1917 г. Мы за “защиту отечества”, но та отечественная война, к которой мы идём, является войной за социалистическое отечество, за социализм, как отечество, за Советскую республику, как *отряд* всемирной армии социализма» (В. И. Ленин, И. В. Сталин. О защите социалистического отечества. С. 29–30 («Главная задача наших дней»)).

<sup>137</sup> Подробно и содержательно о балансировании Ленина и Троцкого против партийного большинства в деле признания Брестского мира см.: Ю. Г. Фельштинский. Крушение мировой революции. Брестский мир: октябрь 1917 — ноябрь 1918. М., 2014. С. 180–254. Особенно: Глава 6 — «Проблема революционной войны».

<sup>138</sup> Петербургский комитет РКП (б) в 1918 году. С. 454–455.

ской войны в исторической памяти 1918 года, кроме русской 1812 года и, может быть, бурской 1900–1902 гг., просто не было.

Вскоре в своей знаменитой статье «Странное и чудовищное» (28 февраля 1918), посвящённой необходимости подписания любой ценой Брестского мира с Германией и её союзниками ради сохранения Советской власти в России Ленин прямо апеллировал к опыту Пруссии 1807–1808 гг., оккупированной Наполеоном, и Тильзитского мира России с наполеоновской Францией, актуализируя патриотические мотивы немецкого национального и государственного возрождения (в центре которого замалчивалась, но несомненно угадывалась фигура И. Г. Фихте<sup>139</sup>). Эта статья с самого начала систематической партийно-пропагандистской работы входила в обязательный состав большевистской литературы. Большевистским кадрам предписывалось знать, что в феврале 1918 г. Ленин писал, вводя в партийную риторику формулу **отечественной войны**, тесно связывая её с опытом наполеоновских (революционных) войн и, несомненно, автоматически актуализируя контекст немецкого *национального* освобождения и русской *Отечественной* войны 1812 года:

«Пруссия и ряд других стран в начале XIX века, во время наполеоновских войн, доходили до несравненно, неизмеримо больших тяжестей и тягот поражения, завоевания, унижения, угнетения завоевателем, чем Россия 1918 года. И, однако, лучшие люди Пруссии, когда Наполеон давил их пятой военного сапога во сто раз сильнее, чем смогли теперь задавить нас, не отчаивались, не говорили о “чисто формальном” значении их национальных политических учреждений. Они не махали рукой, не поддавались чувству: “все равно погибать”. Они подписывали неизмеримо более тяжкие, зверские, позорные, угнетательские мирные договоры, чем Брестский, умели выжидать потом, стойко сносили иго завоевателя, опять воевали, опять падали под гнётом завоевателя, опять подписывали похабные

<sup>139</sup> Во время Первой мировой войны в русской литературе проповедь Фихте прямо связывалась с *отечественностью*: Б. В. Яковенко. Жизнь И. Г. Фихте [1916] // Б. В. Яковенко. Жизнь и философия Иогана Готлиба Фихте. Сб. / Сост. А. А. Ермичев. СПб., 2004. Глава «Отечественная война». См. также о Фихте: Н. А. Бердяев. Война и возрождение [1914] // Н. А. Бердяев. Грех войны. Сб. ст. / Сост. Г. И. Ефимов. М., 1993. С. 30. Бердяев же детализирует содержание лозунга «Всё для войны, всё для победы» (Н. А. Бердяев. Современная война и нация [1914] // Там же. С. 64).

и похабнейшие мирные договоры<sup>140</sup>, опять поднимались и освободились в конце концов... Почему бы не могла подобная вещь повториться в нашей истории? (...) Россия идёт к новой и настоящей отечественной войне, к войне за сохранение и упрочение Советской власти. Возможно, что иная эпоха — как была эпоха наполеоновских войн — будет эпохой освободительных войн (именно войн, а не одной войны), навязываемых завоевателями Советской России. Это возможно»<sup>141</sup>.

7 марта 1918 года на VII съезде РСДРП (б), обсуждавшем Брестский мир, Ленин уже ответственно и политически развивал — а большевистская система партийного просвещения вносила это в обязательную хрестоматию — тему Тильзитского мира, по которому Россия отступила перед завоеваниями Наполеона и признала расчленение Пруссии (цитирую по упоминаемому изданию):

«История скажет, кто прав. На неё я ссылался не раз, такова история освобождения немцев от Наполеона. Я нарочно назвал мир Тильзитским<sup>142</sup>, хотя мы не подписали того, что было там, когда немцам пришлось давать свои войска на помощь завоевателю для подчинения других народов. До этого история однажды уже доходила и дойдет вновь, если мы будем надеяться только на международную революцию. Смотрите, чтобы история не довела вас и до такой формы военного рабства. А пока социалистическая революция не победила во всех странах, Советская Республика может впасть в рабство. Наполеон в Тильзите принудил немцев к неслыханно позорным

<sup>140</sup> Пользуясь случаем, предположу, что клеймо «похабного» мира воспроизведено Лениным именно из публицистики «оборонца» А. Н. Потресова, который в ноябре 1917 — феврале 1918 настойчиво использовал такое определение в отношении планов большевиков о заключении мира с Германией: А. Н. Потресов. Рубикон. 1917–1918. С. 269–270, 294, 297, 300, 304, 354, др.

<sup>141</sup> Н. Ленин (В. И. Ульянов). Речи и статьи. Пособие для школ политграмоты и совпартшкол. М., 1924. С. 194, 196.

<sup>142</sup> Ср. запись этого выступления Ленина: «Когда нам говорят о ратификации этого Тильзитского мира, неслыханного мира, более унижительного, грабительского, чем Брестский, я отвечаю: безусловно, — да. Мы должны это сделать, ибо мы смотрим с точки зрения масс. Попытка перенесения тактики октября–ноября внутри одной страны, этого триумфального периода революции, перенесения с помощью нашей фантазии на ход событий мировой революции — эта попытка обречена на неудачу» (Протоколы съездов и конференций ВКП (б): Седьмой съезд, март 1918 года. С. 21).

условиям мира. (...) мы скажем: “Пусть русский народ найдёт, что он должен дисциплинироваться, организоваться, тогда он сумеет вынести все Тильзитские миры”. История освободительных войн показывает нам, что если эти войны захватывали широкие массы, — освобождение наступало быстро. (...) Перед нами вырисовывается эпоха тягчайших поражений. Она уже налицо. С ней надо уметь считаться для упорной работы в условиях нелегальных, в условиях заведомого рабства у немцев, — этого нечего приукрашивать, ибо это действительно Тильзитский мир»<sup>143</sup>.

8 марта 1918 VII съезд РСДРП (б) принял резолюцию «О войне и мире», в которой, наконец, поставил задачу «исторического приближения России к освободительной, отечественной социалистической войне»<sup>144</sup>. Агитируя своих однопартийцев в пользу заключения Брестского мира в марте 1918 г., Ленин ставит вопрос перед делегатами съезда РСДРП (б): «мир или война». Но при изучении Тильзитского мира Ленин убеждает себя в условном характере этого выбора: «bis Tilsit. Мир и война, их связь». В этой же тактической логике Ленин реабилитирует для себя и «отечество»<sup>145</sup>, беря в скептические, позже снятые, кавычки саму формулу сохранения сил революционной России для будущих революционных войн в интересах мировой революции —

<sup>143</sup> Н. Ленин (В. И. Ульянов). Речи и статьи. Пособие для школ политграмоты и совпартшкол. С. 211–212, 214.

<sup>144</sup> ВКП (б) в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК (1898–1932). С. 321.

<sup>145</sup> Специалист компетентно заметил, что Ленин «никогда не называл войну 1812 года Отечественной войной» (И. А. Шейн. Война 1812 года в отечественной историографии. С. 178) — и это значит, что до начала 1918 года мимо Ленина полностью прошла тема Отечества, включённая и в школьную историю Отечественной войны 1812 года, и в столетие этой войны, и в попытки под свежим впечатлением от столетия придать это имя войне 1914 года, и даже главный пафос марксистского сборника «Самозащита» (1916). А главной формулой об Отечестве была для него известная фраза из «Манифеста коммунистической партии». Тем сложнее Ленину было осознать ценность суверенного социалистического отечества, опираясь на немецкое измерение Тильзитского мира (1807). В свою очередь, И. В. Сталин, начавший специализироваться на национальном вопросе в России, не подвергал сомнению наличие некой реальности общенародных «отечеств» в России: «Стеснённая со всех сторон буржуазия подчинённой нации естественно приходит в движение. Она апеллирует к “родным низам” и начинает кричать об “отечестве”, выдавая своё собственное дело за дело общенародное» (К. Сталин. Национальный вопрос и социал-демократия // Просвещение. № 3. Март. СПб., 1913. С. 59).

формально патриотический призыв: «Подготовка сил. За “защиту отечества”. Дисциплина и дисциплина (вплоть до драконовских мер)»<sup>146</sup>. Этот набросок плана речи на фракции большевиков IV Чрезвычайного Всероссийского съезда советов (12–13 марта 1918) Ленин развил уже на следующий день, «разжевав» аналогию уже без кавычек: «*Оборона отечества*. (...) Тильзитский мир и слабый немецкий народ (только слабый и отсталый). Мир и война в их связи. Выжидаем, отступая, *инко-го* союзника: международный социалистический пролетариат»<sup>147</sup>.

Советская Россия, ведя переговоры и заключив Брест-Литовский мир с Германией и её союзниками, не смогла помешать им подготовить и заключить такой же с отделившейся Украиной<sup>148</sup>. Вспоминая об усилиях большевиков противопоставить это Украине — Советскую Украину, 14 марта 1918 года нарком по делам национальностей РСФСР И. В. Сталин предрекал, то есть анонсировал, новые, на этот раз военные усилия большевиков на Украине, свободно и без социалистических оговорок, а вполне в национально-освободительном духе, обращаясь к лозунгу *отечественной войны* как части антикапиталистической революции:

«Против иноземного ига, идущего с Запада, Советская Украина подымает освободительную **отечественную** войну, — таков смысл событий, разыгрывающихся на Украине. (...) Нужно ли ещё доказывать, что **отечественная** война, начатая на Украине, имеет все шансы рассчитывать на всемерную поддержку со стороны всей Советской России? (...) А что, если немецкие рабочие и солдаты в ходе такой войны поймут, наконец, что заправилами

<sup>146</sup> Ленинский сборник. XI. 67–68. Доктрина революционных войн в мировом масштабе также была дана Фихте и хорошо известна в русском переводе: «Ни одно свободное государство не может терпеть рядом с собой государств, главам которых выгодно поработать соседние государства и которые поэтому беспрестанно угрожают спокойствию уже одним своим существованием; забота о собственной безопасности побуждает все свободные государства всё вокруг себя обращать также в свободные государства и таким образом ради собственного блага распространять царство культуры на дикарей, а царство свободы на рабские народы. (...) раз уже возникло несколько действительно свободных государств, царство культуры и свободы постепенно и неизбежно охватит весь земной шар» (*И. Г. Фихте*. Назначение человека. Кн. 3: Вера / Перевод В. М. Брандиса и Т. В. Поссе [1905] (*Die Bestimmung des Menschen*, 1800): Разн. изд.).

<sup>147</sup> Ленинский сборник. XI. С. 71. Ср. План доклада о внешней политике на объединённом заседании ВЦИК и Московского совета 14 мая 1918: «Мы *оборонцы*. За защиту отечества» (С. 93).

<sup>148</sup> Об этом специально: *Ирина Михутина*. Украинский Брестский мир. М., 2006.

Германии руководят не цели “обороны немецкого отечества”, а простая ненасытность обожравшегося империалистического зверя, и, поняв это, сделают соответствующие практические выводы? Не ясно ли из этого, что там, на Украине, завязывается теперь основной узел всей международной современности — узел рабочей революции, начатой в России, и империалистической контрреволюции, идущей с Запада?»<sup>149</sup>

Национальный оттенок мысли и лексики Сталина не был случайным и тайным, хотя, возможно, был проигнорирован его коллегами по ЦК РСДРП и СНК РСФСР как несущественный. Ещё 23 февраля 1918 на заседании ЦК, обсуждавшем Брестский мир, произошёл краткий, но показательный обмен репликами, сухо зафиксированный в протоколе:

«*Бухарин.* (...) Если мы будем продолжать организацию Красной армии, то окажется, что мы подпишем только бумажку. Гражданская война вовсе не должна быть только в одной стране...

*Сталин* возражает против утверждения, что с Германией идёт не национальная, а гражданская война. Неверно, что договор отрицает право русского населения на восстание»<sup>150</sup>.

Вскоре тогда же Сталин развивал эту мысль, что даёт нам ясно понять неслучайность его формулировок и неслучайность, в том числе, сталинской политики «коренизации» Советской Украины и Советской Белоруссии в 1920-е годы — как проектов соединения национального самоопределения с задачами мирового социалистического переворота, где главным врагом выступали капиталистический империализм и колониализм. И главным ресурсом такой *мировой революции без Германии* было национально-освободительное движение на Востоке. **Эта изначальная «национализация» сталинского коммунизма была реальней и существенней вменения ему наследия русского национализма**, произвольно понимаемого в широких преде-

<sup>149</sup> *И. В. Сталин.* Украинский узел [1918] // *И. В. Сталин.* Сочинения. Т. 4. М., 1947. С. 47–48. Впервые переиздано в специальном тематическом сборнике: *И. В. Сталин.* Статьи и речи об Украине / Подг. к печати Н. Н. Попов. [Киев,] 1936. С. 39–41. То же: *В. И. Ленин, И. В. Сталин.* О защите социалистического отечества. С. 30–32.

<sup>150</sup> Протоколы съездов и конференций ВКП (б): Седьмой съезд, март 1918 года / Под ред. Д. Кина и В. Сорина М.; Л., 1928. С. 206.

лах от шовинизма до патриотизма и протекционизма<sup>151</sup>. И здесь он идейно не очень оглядывался на позицию Ленина, несмотря на то, что с самого начала стремился публично никогда и ни в чём не идти против Ленина даже в мелочах. Сталин писал 19 ноября 1918:

«Говорят, что принципы самоопределения и “защиты отечества” отменены самим ходом событий в обстановке поднимающейся социалистической революции. На самом деле отменены не самоопределение и “защита отечества”, а буржуазное их толкование. Достаточно взглянуть на оккупированные области, изнывающие под гнётом империализма и рвущиеся к освобождению; достаточно взглянуть на Россию, ведущую революционную войну для защиты социалистического отечества от хищников империализма; достаточно вдуматься в разыгрывающиеся теперь события в Австро-Венгрии; достаточно взглянуть на порабощённые колонии и полуколонии, уже организовавшие у себя Советы (Индия, Персия, Китай), —

<sup>151</sup> Историография этого вопроса огромна, хотя идейно она не может открыть более и ранее того, что было уже открыто в русской публицистике предшественников и круга сборника «Смена Вех» (1921) (впервые систематически описано в: М. Азурский. Идеология национал-большевизма. Paris, 1980) и евразийцев. Для целей настоящего очерка достаточно указать на то, кто и что считается хронологически первым в исследовании не интуиций «национального» (суверенного) большевизма или его риторической тактики времени советско-польской войны 1920 года, а практической политики и идеологии большевиков. Первым исследователем и хронографом реального процесса стал правовед Н. С. Тимашев (1886–1970), который в эмиграции, на страницах парижской газеты «Возрождение» начиная с 1928 — первым обратил внимание на возврат к традиционным нормам и ценностям в сталинской России, интерпретированный им как «Великий откат» или «Великое отступление» (А. Н. Дмитриев. Расходящиеся параллели: немецкий контекст отечественной гуманитарной науки и русская эмиграция 1920–1930-х гг. // Нестор. № 4 (2000. № 4) / Ред. А. Р. Марков. СПб., 2004. С. 260). Позже он формулировал, сдвигая хронологический рубеж: сначала «Россия стала Красным Раем, прообразом грядущего Вселенского Коммунистического общества», но начиная с 1934 года — «коммунистическим постулатом, полностью отброшенным в ходе Великого Отступления, был так называемый интернационализм. “Россия в первую очередь” — теперь это актуальный принцип российской политики... Главной моделью в ходе Великого Отступления стала смесь элементов исторической и национальной культуры России с элементами, принадлежащими коммунистическому кругу идей и поведенческих стереотипов» (N. Timashev. The Great Retreat: The Growth and Decline of Communism in Russia. New York, 1946; Николай Тимашев. Великое Отступление: Расцвет и упадок коммунистической идеологии в России. Глава XII. Обзор и значение Великого Отступления / Пер. В. Бронштейна // Новый Журнал. Нью-Йорк, 2007. № 248: [magazines.russ.ru/nj/2007/248/ti21.html](http://magazines.russ.ru/nj/2007/248/ti21.html)).

достаточно взглянуть на всё это, чтобы понять всё революционное значение принципа самоопределения в его социалистическом толковании»<sup>152</sup>.

Позже и большевистский правящий идеолог Н. И. Бухарин, когда уже стало фактом «строительство социализма в одной стране», вспоминал о предпосылках такового (вменял таковые предпосылки) в наследии Ленина в категориях не «революционной», а именно *национальной войны* против империализма, тесно сплетая семантику *отечественного* и *общенационального*. Он говорил: «Ленин ещё в начале империалистической войны считал возможной такую перспективу, когда в случае победы какой-нибудь из коалиций в Европе, станет возможной национальная война против победоносной империалистской коалиции»<sup>153</sup>.

Много лет спустя, сводя политические счёты со Сталиным, Троцкий решил доказать два взаимно противоречивых тезиса о том, что, во-первых, Сталин придумал «социализм в одной стране» лишь в борьбе с самим Троцким в конце 1924 года, «заведомо ложно истолковав цитаты из Ленина» и порвав с Марксом и Лениным, и что, во-вторых, был «оборонцем» ещё в марте 1917 года<sup>154</sup>. И, конечно, сам Троцкий недобросовестно делал вид, что в марксизме якобы нет целой многодесятилетней традиции изучения неравномерности капиталистического развития стран мира и того, что мировая революция не начинается во всём мире одновременно, а начинают её страны-лидеры. Скрывал Троцкий и тот простой, доподлинно известный ему факт, что лозунг «защиты социалистического отечества», порождённый Троцким и Лениным, был прямо продиктован тем, что с приходом к власти коалиции большевиков и левых эсеров такое «отечество» становится фактом и появляется предмет для защиты. В марте 1917, как известно, Сталин

<sup>152</sup> И. В. Сталин. Октябрьский переворот и национальный вопрос // И. В. Сталин. Сочинения. Т. 4. М., 1947. С. 166.

<sup>153</sup> XV конференция ВКП (б). 26 октября — 3 ноября 1926 г. Стенографический отчет. М.; Л., 1927. С. 29–30 (Доклад Н. И. Бухарина «О международном положении»).

<sup>154</sup> Л. Д. Троцкий. К политической биографии Сталина [1930] // Л. Троцкий. Сталинская школа фальсификаций. С. 186, 190, 198. Здесь Троцкий скрывает, что именно он был инициатором разоблачения сталинского «революционного оборончества», когда, не назвав Сталина по имени, ясно указал на источник его выступлений в «Правде», ещё в сентябре 1924 года: Л. Д. Троцкий. Уроки Октября [1924] // Л. Д. Троцкий. Из истории русской революции / Сост. Н. А. Васецкий. М., 1990. С. 255.

тоже исходил из представления о коалиции. Но дело не в догматических спорах, а в том, что Троцкий, ведя борьбу, верно заметил в Сталине то, что назвал «революционным демократизмом» (в противовес «пролетарскому»): вслед за известной публицистикой А. Н. Потресова, который «революционной демократией / демократией» называл широкую коалицию социалистов и буржуазии во главе воюющей России. Такой разоблачённый «социал-патриотизм» Сталина, несомненно, являлся бы идейным преступлением в глазах Ленина<sup>155</sup>, будь он разоблачён Троцким как *принцип национальной государственности* при его жизни, и, главное, многое объясняет в тесной связи «защиты отечества» и «социализма в одной стране» Сталина.

Обращаясь к идеологии *отечественной войны* в условиях «социалистического отечества», Ленин, конечно, действовал в семантическом ландшафте Отечественной войны 1812 года, но не только с точки зрения «защиты Отечества», но и в контексте «революционных войн» наполеоновской Франции. Именно для обоснования использования ресурсов России в мировой революции в качестве инструмента «революционной войны» — Ленин использовал столь восхитившее его наследие немца на русской службе и участника Бородинского сражения 1812 года Карла фон Клаузевица<sup>156</sup>, уделившего особое внимание *общенародности войны и партизанскому движению*. Тем более что сам Ленин ещё в эпоху революции 1905 года, оценивая её как общенациональный переворот, уже выступал с рекомендациями о той партизанской тактике, что сегодня называется тактикой «городских партизан»<sup>157</sup>. Известнейший британский военный теоретик, один

<sup>155</sup> Справедливости ради надо отметить, что Троцкий в 1916 году разоблачал «революционный демократизм» у Ленина именно за его приверженность принципу «национального самоопределения» (Н. А. Васецкий. Примечания // Л. Д. Троцкий. Из истории русской революции. С. 419–420).

<sup>156</sup> Краткий очерк по общим источникам см.: Н. В. Солнцев. Карл Клаузевиц и Отечественная война 1812 г. // Вопросы истории. М., 2013. № 1. Выписки и маргиналии Ленина о Клаузевице периода Первой мировой войны были впервые опубликованы в 1930 году. Ближайшее к 1941 году их переиздание было сдано в производство 28 сентября 1938, а сдано в печать с большой задержкой 13 мая 1939, наверняка вызванной «мюнхенским сговором» 30 сентября 1938: В. И. Ленин. Замечания на сочинения Клаузевица «О войне» [1914–1917]. М., 1939.

<sup>157</sup> Видимо, опираясь на образ французских городских революций 1830, 1848 и 1871 гг., резолюция IV съезда РСДРП (апрель 1906) «Вооружённое восстание» заявляла, что «баррикадная тактика» доказывает «возможность открытой во-

из классиков британской военной мысли Б. Лиддел Гарт (1895–1970) точно выразил главную военно-политическую суть партизанской войны, перспективы которой, даже оставаясь делом специальных профессиональных операций и планирования, целиком зависят от её соответствия общенациональной оборонительной мобилизации: «Партизанская война ведется немногими, но зависит от поддержки многих. Хотя сама по себе она является наиболее индивидуальной формой действия, она может эффективно оперировать и достигать своего конца только тогда, когда она имеет коллективную поддержку симпатий масс»<sup>158</sup>. На этом интеллектуальном фоне анекдотичны усилия тех националистических пропагандистов, кто пытается дезавуировать партизанскую войну указаниями на её приоритетную организацию профессиональными военными, словно она в принципе могла бы состояться без массовой поддержки народа и его оборонительного пафоса.

Крупнейший немецкий консервативный мыслитель современности Карл Шмитт (1888–1985) предпринял специальное исследование партизанской доктрины и практики, концентрируясь на опыте сопротивления Испании агрессии Наполеона в 1807–1813 гг. и обнажая заложенные в европейской культуре требования о *тотальном сопротивлении народа агрессору*. Его заключения проливают дополнительный свет на проблему *отечественности* и партизанства вокруг русского 1812 года, помещая её в европейский контекст, но признавая, что «русская история знает автохтонную партизанскую борьбу с наполеоновской армией». Он писал, что в Испании «добуржуазный, доиндустриальный, не усвоивший условностей народ — впервые столкнулся с современной, возникшей благодаря опыту Французской революции, хорошо организованной, регулярной армией. Из-за этого открылись новые пространства

---

оружённой борьбы народа против даже против современного войска» (ВКП (б) в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК (1898–1932). Часть I: 1898–1924. Изд. 4-е, испр. и доп. М., 1933. С. 71). Предложенная большевиками на этом же объединительном съезде специальная резолюция «Партизанские боевые выступления» гласила: «признать партизанские боевые выступления... допустимыми и целесообразными» (Там же. С. 72.), но была принята в другой редакции без этого одобрения (Там же. С. 87). V съезд в мае 1907 года принял резолюцию «О партизанских выступлениях», в которой признал их нежелательными потому, что боевые дружины (действующие непосредственно на местах) отрываются от партии (её политических центров).

<sup>158</sup> B. H. Liddel Hart. Strategy. N. Y., 1967. P. 367.

войны и появилось новое учение о войне и политике», а опыт Испании был учтён в Австрии и Пруссии. «В мире идей этих прусских офицеров генерального штаба 1808–1813 гг. заключены также зародыши книги “О войне”, благодаря которой имя Клаузевиц получило почти мифическое звучание. Его формула о *войне как продолжении политики* содер­жит уже в сжатом виде теорию партизана, логика которой доведена до конца Лениным и Мао Цзедунем», — пишет Карл Шмитт<sup>159</sup>.

Наконец, явным образцом того, как в ходе гражданской войны в не произнесённом прямо виде образ *отечественной войны* был использован большевиками, стала советско-польская война 1920 года. Захват Киева польскими войсками, преследовавшими цель восстановления границ Польши 1772 года, вызвал массовый отклик небольше­вистских патриотических кругов в России и эмиграции и послужил их частичному примирению с большевиками ради защиты общена­циональных, отечественных интересов.

## КОНСЕНСУС 1941 ГОДА

Итак, ранний советский лексикон — более всего устами Ленина — отражал особые усилия освоить риторику *отечественной войны* вне официальной памяти о войне 1812 года, которая накануне 1914 года стала в центре государственной и монархической пропаганды, и вне памяти о войне 1914 года, которую пытались назвать «отечественной» и которую

<sup>159</sup> Кроме книги Клаузевица, «есть другой манифест вражды к Наполеону, восходящий непосредственно к весне 1813 г.: он принадлежит к самым поразительным документам всей истории партизанства: прусский эдикт о ландштурме от 21 апреля 1813 г. ...Несомненно то, что образцом для этого эдикта послужили [декреты испанской Junta Suprema] испанский Reglamento de Partidas y Cuadrillas от 28 декабря 1808 г. и известный под названием Corso Terrestre декрет от 17 апреля 1809 г... Каждый гражданин государства, как значится в прусском королевском эдикте от апреля 1813 г., обязан сопротивляться вторгшемуся врагу всеми видами оружия... Каждый пруссак обязан не повиноваться *никакому* распоряжению врага, но вредить ему всеми доступными средствами... В трёх местах — во введении и в § 8 и 5 — встречается недвусмысленная ссылка на Испанию и герилью как на “образец и пример”. Борьба оправдывается как борьба в пределах необходимой обороны, которая “освящает все средства” (§ 7), в том числе и высвобождение тотального беспорядка» (Карл Шмитт. Теория партизана. Промежуточное замечание к понятию политического [1963] / Сост. и общ. ред. Т. А. Дмитриева. М., 2007. С. 11, 16, 18, 22–24, 68–69).

большевики подвергали классовой и интернационалистской критике, отвергая её Отечество и патриотизм. В 1918 году Ленин, находясь у власти, «признал» социалистические отечество и патриотизм, оправдав в этом контексте употребление формулы *отечественной войны*. Для правящих коммунистов именно такая *отечественная война* стала главной и более не требовала дополнительных идеологических обоснований.

Этот идейный капитал поддерживал эволюцию от узко классовой к общенациональной исторической идеологии в 1932–1934 гг., и к 1941 году она подошла во всеоружии патриотических аргументов. Хотя *Отечественная война* как высшая санкция тотальной мобилизации народа и государства вплоть до 1941 года — ввиду отсутствия оборонительной войны — не стояла в центре государственной пропаганды СССР. Детально анализируя советскую библиографию по теме, исследователь приходит к выводу: «После революции вплоть до конца 1930-х гг. тема 1812 г. почти не привлекала внимания советских историков. В 1936–1937 гг. в связи с “реабилитацией” Отечественной войны начал возрождаться интерес к ней»: из около 800 специальных исследований и публикаций за 1918–1991 гг. — вышло в свет за 1918–1939 — всего 7 штук, а лишь за 1940–1949 — около 100<sup>160</sup>.

Начиная с 1927 года «военная тревога» в СССР, вызванная конфликтом с Англией, начало аграрного кризиса в стране и мобилизационной индустриализации, финальное изгнание Троцкого из власти, неудачное вмешательство СССР в гражданскую войну в Китае — всё вместе это заставило власти СССР задуматься об оборонной риторике. 8-й пленум Исполнительного комитета Коммунистического Интернационала (ИККИ) в мае 1927 обсуждал тезисы «Задачи Коминтерна в борьбе против войны и военной опасности». Видя перспективу вооружённой интервенции против СССР и его протекте в Китае, ИККИ по умолчанию вновь признал эффективным лозунг «защиты отечества» и теперь *подчинил* мировое коммунистическое движение суверенным/национальным *интересам СССР* и потому ставил задачу членам Коминтерна не вообще бороться против войны, а бороться именно в защиту СССР и Китая, превращая

<sup>160</sup> За послеюбилейные (после 150-летия войны) 1962–1991 гг. — около 650: Л. И. Агронов. Тема Отечественной войны 1812 г. в мировой историографии (библиографический обзор) // 1812 год. Люди и события великой эпохи. Материалы международной конференции. Москва 21–22 апреля 2011 года / Отв. ред. С. В. Львов. М., 2011. С. 9–11.

Коминтерн из орудия мировой революции в один из инструментов внешней политики СССР: «в сугубо-империалистической войне против Китая или СССР (в перспективе) рабочие капиталистических стран, ведущие эту войну, должны быть, как во всякой империалистской войне, пораженцами в отношении своих капиталистических правительств»<sup>161</sup>. В статье по внутрипартийному вопросу Сталин выразился ещё резче: «Русская революция не есть частное дело русских... она, наоборот, является делом рабочего класса всего мира, делом мировой пролетарской революции»<sup>162</sup>. При этом он раскрыл внутреннюю логику *отечественности* как частного случая национально-освободительной борьбы отсталых стран: «В период перед войной в партиях II Интернационала выступил на сцену, как один из актуальнейших вопросов, вопрос национально-колониальный, вопрос об угнетённых нациях и колониях, вопрос об освобождении угнетённых наций и колоний, вопрос о путях борьбы с империализмом, вопрос о путях свержения империализма. В интересах развёртывания пролетарской революции и окружения империализма большевики предложили политику поддержки освободительного движения угнетённых наций и колоний на базе самоопределения наций и развили схему единого фронта между пролетарской революцией передовых стран и революционно-освободительным движением народов колоний и угнетённых стран»<sup>163</sup>. Тогда же Сталин оправдывал *отечество* ещё вполне в логике «Коммунистического манифеста» — как всемирной классовой родины пролетариата, но определённо локализует его в приоритетных пределах СССР:

«В прошлом у нас не было и не могло быть отечества. Но теперь, когда мы свергли капитализм, а власть у нас, у народа, — у нас есть отечество и мы будем отстаивать его независимость. Хотите ли, чтобы наше социалисти-

<sup>161</sup> Коммунистический Интернационал в документах. Решения, тезисы и воззвания конгрессов Коминтерна и пленумов ИККИ. 1919–1932 / Под ред. Бела Куна. М., 1933. С. 699–706.

<sup>162</sup> И. В. Сталин. О некоторых вопросах истории большевизма: Письмо в редакцию журнала «Пролетарская Революция» [1931] // «Краткий курс истории ВКП (б)». Текст и его история. В 2-х частях. Часть 1. История текста «Краткого курса истории ВКП (б)». 1931–1956 / Сост. М. В. Зеленов, Д. Бранденбергер. М., 2014. С. 69.

<sup>163</sup> И. В. Сталин. О некоторых вопросах истории большевизма: Письмо в редакцию журнала «Пролетарская Революция» [1931]. С. 68.

ческое отечество было побито и чтобы оно утеряло свою независимость? Но если этого не хотите, вы должны в кратчайший срок ликвидировать его отсталость и развить настоящие большевистские темпы в деле строительства его социалистического хозяйства. Других путей нет. Вот почему Ленин говорил накануне Октября: “Либо смерть, либо догнать и перегнать передовые капиталистические страны”. Мы отстали от передовых стран на 50–100 лет. Мы должны пробежать это расстояние в десять лет. Либо мы сделаем это, либо нас сомнут... Мы должны двигаться вперед так, чтобы рабочий класс всего мира, глядя на нас, мог сказать: вот он, мой передовой отряд, вот она, моя ударная бригада, вот она, моя рабочая власть, вот оно, мое отечество, — они делают свое дело, наше дело хорошо, — поддержим их против капиталистов и раздуем дело мировой революции»<sup>164</sup>.

Шестой конгресс Коминтерна в августе 1928 в тезисах «Меры борьбы с опасностью империалистских войн» окончательно оформил практическое различие «отечества» в зависимости от того — принадлежит ли коммунистам *национальная* государственная власть и ведёт ли конкретное политическое движение *национально-освободительную войну против империализма*:

«От принципиальной позиции пролетариата по отношению к определённой войне зависит также его позиция в вопросе “защите отечества”. Пролетариат не имеет отечества, пока он не завоевал политической власти и не вырвал средств производства из рук эксплуататоров. Выражение “защита отечества” — это наиболее общеупотребительное, иногда просто обывательское выражение, означающее оправдание войны. В войнах, которые ведёт против империализма сам пролетариат или пролетарское государство, пролетариат должен защищать своё социалистическое отечество. В национально-революционных войнах пролетариат выступает в защиту страны от империализма. Но в империалистических войнах он должен энергичнейшим образом клеймить “защиту отечества”, как защиту эксплуатации и измену социализму»<sup>165</sup>.

<sup>164</sup> И. В. Сталин. О задачах хозяйственников. Речь на Первой Всесоюзной конференции работников социалистической промышленности 4 февраля 1931 г. // И. Сталин. Сочинения. Т. 13. М., 1951. С. 38, 40.

<sup>165</sup> Коммунистический Интернационал в документах. С. 798–799.

Тот же Шестой конгресс Коминтерна в резолюции «Положение в СССР и ВКП (б)» окончательно затвердил в коммунистической риторике абсолютный статус СССР как «единственного отечества пролетариата, руководимого коммунистической партией», «единственного отечества рабочих»<sup>166</sup>.

Но в 1934 году ответственный сталинский интеллектуал Е. С. Варга продолжал отрицать перспективы «отечественной войны» ровно в тех же словах, в каких они отрицались ещё до «социалистического отечества», исходя, видимо, из того, что такое отечество в мире у пролетариата одно и представлено оно в СССР: «Надо полагать, что во многих странах борьба за власть будет происходить во время ближайшей империалистической войны (*то есть между империалистическими державами и без участия СССР*. — М. К.) — в теснейшем переплетении с войной — в форме превращения империалистической войны в войну гражданскую»<sup>167</sup>.

Однако наблюдателей, независимых от партийной риторики и дисциплины, стремление сбалансировать «национализацию» большевистского режима уже не обманывало. Имея в виду сталинскую доктрину «социализма в одной стране», Н. А. Бердяев в 1938 году весьма проникательно соединил её с открытием большевиками для себя важности и проблемы суверенитета и всего, что его защищает и консолидирует, хорошо понял подчинение Коминтерна «социалистическому отечеству» СССР: «Национализация русского коммунизма, о которой все свидетельствуют, имеет своим источником тот факт, что коммунизм осуществляется лишь в одной стране, в России, и коммунистическое царство окружено буржуазными, капиталистическими государствами. Коммунистическая революция в одной стране неизбежно ведёт к национализму и националистической международной политике. (...) В советской России сейчас говорят о социалистическом отечестве и его хотят защищать, во имя его готовы жертвовать жизнью. Но социалисти-

<sup>166</sup> Там же. С. 870, 872.

<sup>167</sup> Е. С. Варга. Между VI и VII конгрессами Коминтерна. Экономика и политика 1928–1934 гг. [1934]. М., 2014. С. 184. В своде тезисов советской пропаганды за рубежом, подготовленном для МВД и МИД Германии в 1933 году, значилось: «Советское государство (...) единственное отечество мирового пролетариата» (И. А. Ильин. Директивы Коминтерна по большевизации Германии [1933] // И. А. Ильин. Собрание сочинений: Мир перед пропастью. Ч. III / Сост. Ю. Т. Лисица. М., 2001. С. 261).

ческое отечество есть всё та же Россия и в России, может быть впервые, возникает народный патриотизм...»<sup>168</sup>. А ранее Г. П. Федотов, явно отталкиваясь от упомянутого решения Коминтерна о подчинении его интернационализма интересам СССР, заключал и вменял: «Что же станет с отечеством? с великодержавными стремлениями наций? Эти стремления давно уже не останавливаются в границах — столь трудно определимых национального государства. Каждое государство-нация мечтает о гегемонии в более или менее широком круге наций — в конечном счёте, о мировой гегемонии. С другой стороны, государство уже перестало быть самодовлеющим — “автаркийным” организмом»<sup>169</sup>.

Ставшая фактом, «национализация» советской исторической политики и пропаганды в 1930-е гг. создала условия для возвращения образов Смуты 1612 и войны 1812 года как примеров общенационального сопротивления смертельному врагу, угрожающему уже не классовым интересам, а самим основам национального существования России как Отечества<sup>170</sup>. Однако современный исследователь О. В. Будницкий утверждает, что «ещё за 4 года до начала Великой Отечественной войны определение “отечественная”... к войне 1812 года в советской литерату-

<sup>168</sup> Николай Бердяев. Истоки и смысл русского коммунизма [1938]. М., 2012. С. 87.

<sup>169</sup> Г. П. Федотов. Сумерки отечества [1931] // Г. П. Федотов. Судьба и грехи России. Избранные статьи по философии русской истории культуры. Т. 1 / Сост. Б. Ф. Бойков. СПб., 1991. С. 325.

<sup>170</sup> Исследователь верно напоминает тот факт, что в 1936 году Сталин лично поддержал и политически защитил труд Е. В. Тарле «Нашествие Наполеона на Россию», подготовленный к 125-летию Отечественной войны 1812 года (А. П. Шевырёв. Бородино в исторической памяти России // История Московского края. Проблемы, исследования, новые материалы. Вып. 4 / Отв. ред. Д. Д. Богоявленский, В. Н. Захаров. М., 2013. С. 217). Высшим был идейно-политический контроль и над темой Смуты 1612 года с её актуальными аналогиями: 5 декабря 1938 г. В. И. Пудовкин, режиссёр фильма «Минин и Пожарский», назвал свою статью о том, как «7 ноября 1612 года Московский Кремль, а затем и вся Русь были очищены от польских интервентов и немецких наёмников», — «Крепить защиту Отечества» (Всевалод Пудовкин. Собрание сочинений. Т. 2. М., 1975. С. 72, 73). Об этом же фильме известна резолюция Сталина: «Т. Молотов! Следовало бы обязательно просмотреть. Вышло не плохо. И Ст.» (М. В. Зеленов. Резолюция И. В. Сталина на письме С. С. Дукельского о сценарии В. Б. Шкловского фильма «Минин и Пожарский», 4 декабря 1938 // [opentextnn.ru/history/historiografy/?id=2830](http://opentextnn.ru/history/historiografy/?id=2830)). Начатые в феврале 1939 съёмки фильма «Минин и Пожарский» явно отражали убеждение руководства СССР в том, что Польша готова выступить союзником гитлеровской Германии в войне против СССР (и Польша давала к этому новые основания визитом главы МИД Ю. Бека в Германию в январе 1939).

ре не применялось... в статьях и книгах, появившихся в связи со 125-летним юбилеем войны 1812 года, она отечественной не называлась»<sup>171</sup>.

На деле же, опровергая решительное утверждение О. В. Будницкого, одно из высших должностных лиц советской пропаганды уверенно (и вряд ли от избытка исследовательского опыта в области исторических наук, а скорее — просто из самых общих образовательных курсов) ещё до 22 июня 1941 г. употребляло имя «Отечественной». В январе 1941 года начальник Главного управления политической пропаганды РККА А. И. Запорожец в письме к члену Политбюро ЦК ВКП(б) приветствовал присуждение Сталинской премии пьесе (В. А. Соловьёва) «Фельдмаршал Кутузов» (в постановке 1940 г.): «У нас мало таких постановок... На экранах ещё не показана Отечественная война 1812 г.»<sup>172</sup> Ещё более существенным опровержением мысли о том, что советская *отечественность* войны 1812 года была чуть ли не политическим изобретением<sup>173</sup> ради применения этой *отечественности* к войне 1941 года, служит обращение к практике наиболее массового продукта исторической политики власти — школьным учебникам истории. Например, к рассказу о 1812 годе в самом предвоенном по времени его подготовки учебнике, где классовый подход был дополнен патриотическим:

«Сильнейшим ударом по наполеоновской империи явилось сопротивление французским войскам со стороны народов, которые Наполеон хотел подчинить иноземному игу. Для наполеоновской империи оказалось гибельным сопротивление, которое оказали ей испанцы и русские. (...) Патриотический порыв русского народа был повсеместным. **Война 1812 года против иноземного нашествия вошла в историю как отечественная война.** Однако следует различать стремление народа к освобождению родины от иноземного завоевания от тех задач, которые ставили себе царь и помещики...»<sup>174</sup>

<sup>171</sup> О. В. Будницкий. Изобретая Отечество: история войны с Наполеоном в советской пропаганде 1941–1945 годов // Российская история. М., 2012. № 6. С. 158.

<sup>172</sup> М. В. Юдин. Образ фельдмаршала М. И. Кутузова в советской пропаганде времён Великой Отечественной войны // История Московского края. С. 226–227.

<sup>173</sup> См. об этом также прим. 170.

<sup>174</sup> А. В. Ефимов. Новая история. 1789–1870. Учебник для 8 класса средней школы / Утверждён Наркомпросом РСФСР. М., 1941. С. 76, 78, 80. Этот учебник был написан в печать 30 августа 1940 года.

Логично поэтому заключить, что образ Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. в кратко очерченной семантической перспективе соединяет в себе живую традицию описания Смуты XVII века, Отечественной войны 1812 года, нереализованный потенциал символики «отечественного» противостояния Германии во время Первой мировой войны 1914–1920 гг. и ленинское «социалистическое отечество» 1918 года. Превращение Октябрьского переворота 1917 года (как эпизода мировой революции) в после-Брестскую *отечественную* государственность 1918 года и открывает суть риторической эволюции от революционного (и антинационального в отношении России) интернационализма большевиков — к общенациональной государственности России / СССР (как союза национальных революций). Это превращение — главное содержание эволюции исторической политики большевиков от 1917 до 1941 г.<sup>175</sup>

Практика придания масштабным войнам 1612, 1812, 1914 гг. характера «всеобщей мобилизации» («земского ополчения») и имени «Отечественной войны» как войны, в которой решается судьба Отечества, — к 22 июня 1941 года была выработана настолько безальтернативно, что уже в тот день в своей речи второе лицо в СССР В. М. Молотов заявил:

«В своё время на поход Наполеона в Россию наш народ ответил отечественной войной<sup>176</sup> и Наполеон потерпел поражение, пришёл к своему

<sup>175</sup> Один из финальных аккордов сталинской исторической политики, оформление Московского метрополитена даёт зримое выражение этого символического ряда (образам Великой Отечественной войны посвящены станции: Завод имени Сталина (1943, ныне Автозаводская), Новокузнецкая (1943), Павелецкая радиальная (1943), Павелецкая кольцевая (1950), Таганская кольцевая (1950), Комсомольская кольцевая (1952), Смоленская (5 апреля 1953); А. Н. Зиновьев. Сталинское метро. Исторический путеводитель. М., 2011. С. 110, 118, 123, 162, 168, 178, 213–214. Фасад наземного вестибюля станции метро «Смоленская» украшен четырьмя медальонами с барельефами, посвящёнными историческим датам: 1612 — освобождение Земским ополчением Москвы от поляков, 1812 — победа над Наполеоном, 1917 — Октябрьская революция, 1945 — победа над гитлеровской Германией.

<sup>176</sup> Имена «Отечественная война», «святая отечественная война» и (вслед за речью И. В. Сталина 3 июля 1941) «отечественная освободительная война» были растиражированы в передовицах главной политической газеты СССР — газеты ЦК ВКП (б) «Правда» от 24 июня, 28 июня, 6 июля 1941, а 25 июня была названа историческая национально-государственная преемственность: «в отечественных войнах за независимость своей страны создавались боевые традиции русского народа» (О. В. Кириченко. Священный образ Родины-матери в Великой

краху. То же будет и с зазнавшимся Гитлером, объявившим новый поход против нашей страны. Красная Армия и весь наш народ вновь поведут победоносную отечественную войну за родину, за честь, за свободу»<sup>177</sup>.

Позже Молотов вспоминал в частной беседе о предвоенной ситуации, в которой прямо актуализировался исторический опыт 1612 и 1812 годов: «Мы знали, что война не за горами, что мы слабей Германии, что нам придётся отступать. Весь вопрос был в том, куда нам придётся отступать — до Смоленска или до Москвы, это перед войной мы обсуждали. Мы знали, что придётся отступать, и нам нужно иметь как можно больше территории»<sup>178</sup>. Советский наблюдатель с огромным, ещё дореволюционным, политическим и идейным опытом, великий учёный В. И. Вернадский (1863–1945) записал в дневнике под впечатлением от этой речи, критично, но адекватно считывая аналогию: «Речь Молотова была не очень удачной. Он объявил, что это вторая отечественная война и Гитлера постигнет судьба Наполеона»<sup>179</sup>. Находившийся во внутренней национально-церковной оппозиции коммунизму, но имевший прямой выход к высшей власти, старый русский писатель М. М. Пришвин записал в дневнике 22 и 25 июня 1941 года: «Пришло ясное сознание войны как суда народа: дано было почти четверть века готовиться к войне, и вот сейчас окажется, как мы готовились... Сейчас коммунизм до очевидности сидит целиком на отечестве»<sup>180</sup>. Образ *Отечественной войны как войны за нацио-*

---

Отечественной войне 1941–1945 гг. // Героическое и повседневное в массовом сознании русских XIX–XXI вв. / Отв. ред. А. В. Буганов. М., 2013. С. 77, 79–81).

<sup>177</sup> Исследователь сообщает, что употребление Молотовым определения «отечественная» стало результатом дополнительного решения: «В первоначальном рукописном варианте речи Молотова аналогии с 1812 годом не было вовсе. Она родилась лишь в последний момент...» (Сергей Секиринский. Две войны — две победы // Родина. М., 2012. № 6. С. 134). Конечно, этот «последний момент» не может быть свидетельством о том, что аналогия с *Отечественной войной* родилась в момент подготовки текста: как было показано выше, уже в 1918 году большевики во главе с Лениным в полной мере освоили риторику *отечественной* войны. И Молотов, как опытный коммунистический руководитель, член партийного руководства с 1917 года и соредактор «Ленинских сборников», не мог этого не знать.

<sup>178</sup> Ф. Чуев. Сто сорок бесед с Молотовым. М., 1991. С. 31.

<sup>179</sup> В. И. Вернадский. Начало и вечность жизни / Сост. М. С. Бахраковой, И. И. Мочалова, В. С. Неаполитанской. М., 1989. С. 599 (Дневник, 22 июня 1941).

<sup>180</sup> М. М. Пришвин. Дневники. 1940–1941. М., 2012. С. 491, 495.

нальное выживание и потому требующей народного ополчения уверенно использовал и И. В. Сталин. В своём первом же военном выступлении по радио 3 июля 1941 года он заявил:

«Враг жесток и неумолим... Он ставит своей целью... разрушение национальной культуры и национальной государственности русских, украинцев, белоруссов (...) и других свободных народов Советского Союза. (...) Необходимо, чтобы наши люди не знали страха в борьбе и самоотверженно шли на нашу отечественную освободительную войну против фашистских поработителей. (...) Целью этой всенародной отечественной войны против фашистских угнетателей является не только ликвидация опасности, нависшей над нашей страной, но и помощь всем народам Европы, стонущим под игом германского фашизма. В этой освободительной войне мы не будем одиноки».

Исторический экскурс Сталина в этой речи был полнее экскурса Молотова и дополнял апелляцию к опыту 1812 года<sup>181</sup> напоминанием о войне 1914 года (что потенциально содержало в себе обращение к новациям Ленина 1918 г.)<sup>182</sup> и о союзниках России:

<sup>181</sup> Историческая глубина апелляции к 1812 году прямо отсылала к году 1612-му: иллюстрирующий слова речи Сталина от 3 июля 1941 о народном ополчении плакат В. Б. Корецкого «Наши силы неисчислимы» (1941) с фигурой ополченца актуализирует изображённый позади ополченца — памятник Минину и Пожарскому (1818) в Москве.

<sup>182</sup> Пропагандистская советская продукция старых русских писателей в эти годы демонстрировала, что риторика *отечественности* 1918 года оставалась всё-таки делом партийного, а не общенационального убеждения. Например: «В истории... мы найдём лишь самое небольшое число войн, которые имели бы право на почётное название: *Отечественная война*. В русской истории можно указать ещё только на одну войну, которая, подобно войне 1941–1942 года, носит название Отечественной. Это война России с Наполеоном в 1812 году... Как Наполеону в 1812 году, так и Гитлеру в 1941–1942 годах пришлось узнать, чем отличается Отечественная война от обыкновенной войны, каких так много в истории... [Гитлер] вызвал в 1941 году то, что вызвал на свою гибель Наполеон в 1812 году: Отечественную войну, в которой не только армия обороняющаяся противостоит армии вторгнувшейся, а в которой народ, весь народ в целом, обороняет свою жизнь, честь и свободу от вторгнувшейся армии насильника... первые шаги завоевателя на русской земле подняли в ней бурю партизанского движения... Отечественная война наших дней неизбежно возобновляет в нашей памяти Отечественную войну 1812 года, окончившуюся победой русского народа» (С. Н. Дурылин. Русские писатели в Отечественной войне 1812 года. М., 1943. С. 3–4, 6).

«Армию Наполеона считали непобедимой, но она была разбита попеременно русскими, английскими, немецкими войсками. Немецкую армию Вильгельма в период первой империалистической войны тоже считали непобедимой армией, но она несколько раз терпела поражения от русских и англо-французских войск и, наконец, была разбита англо-французскими войсками».

Именно к этому внутреннему присутствию «социалистического отечества» 1918 года (в ряду 1612–1812–1918) отсылала агитационно-историческая литература. Ссылаясь на принципы партизанской войны, изложенные героем 1812 года Д. В. Давыдовым, она гласила: «Партизанская война, как форма освободительной войны, давно вошла в арсенал форм борьбы ленинско-сталинской стратегии и тактики. Ленин и Сталин учат, что партизанская война против захватчиков, интервентов всегда вызывалась могучим протестом действий врага. Русский меч не раз насмерть разил орды немецких рыцарей, князей и баронов. Действенность партизанской войны уже проверена на опыте истории нашей родины и истории других стран. Русский народ, а с ним украинский, белорусский и другие народы нашей родины вели партизанскую войну против интервентов в 1612 году, против полчищ Наполеона во время Отечественной войны 1812 года. Пламя партизанской борьбы полыхало против немецких оккупантов в 1918 году на Украине и в Белоруссии, оно также горело и на Дальнем Востоке и в Сибири. Партизанская война занимала подсобное, но видное место в героической борьбе народа за свою государственность, независимость, за свою честь и свободу»<sup>183</sup>.

После начала войны сталинский академик Е. В. Тарле оперативно подготовил к печати брошюру по материалам своего труда «Наше-

<sup>183</sup> И. Гохберг и Ю. Аксенов. Советские партизаны Великой Отечественной войны. М., 1941. С. 3, 7. Ср.: «По призыву великого вождя Сталина, грозно поднимается в тылу сборных полчищ Гитлера великое партизанское движение (...) В этом движении советский народ имеет уже огромный и недавний опыт. Вспомним, как в 1918 году в результате освободительной народной войны украинского народа, народов Белоруссии, Кавказа и Крыма, руководимых большевистской партией, 300-тысячная оккупационная армия австро-германских грабителей с позором и в беспорядке покидала территорию нашей страны» (Н. Пиксанов. Русская художественная литература о всенародной борьбе с Наполеоном. М.; Л. 1941, С. 30–31. Подписано к печати 18 июля 1941).

ствии Наполеона на Россию» — она была сдана в печать уже 4 июля 1941 года! — в заключении к которой цитировал речь Сталина 3 июля и предвосхищал известный победный тост Сталина «за великий русский народ» 24 мая 1945 года:

«В наши дни великому русскому народу снова суждено освободить Европу и освободить её от несравненно худшего, гнуснейшего и постыднейшего ярма кровавого фашизма. (...) Свойственное русскому народу спокойное самоотвержение и презрение к опасности остались и теперь такими же, какими они были в те времена, когда Наполеон заявил, что русские солдаты по своей храбрости превосходят воинов всех наций, с которыми ему приходилось сражаться».

Помимо демонстративной «национализации» Отечественной войны, Е. В. Тарле в первых строках своей брошюры вводил и мощный исторический контекст старого польско-русского противоборства, углубляющего традицию до 1612 года:

«Для России борьба против нападения Наполеона была единственным средством сохранить свою экономическую и политическую самостоятельность, спастись не только от разорения, но и от будущего расчленения: в Варшаве поляки надеялись при помощи французского императора не только получить Литву и Белоруссию, но добраться и до Чёрного моря. Для России при этих условиях война 1812 года явилась в полном смысле слова борьбой за существование...»<sup>184</sup>.

Официальный партийный историк выступил с историко-агитационной брошюрой, подписанной в печать 23 июля 1941: в ней он в спе-

---

<sup>184</sup> Е. В. Тарле. Две Отечественные войны. М.; Л., 1941. С. 79–80, 4. Ср. ещё более радикального «национализатора», но после сталинской речи 1945 года: Н. Ф. Гарнич. 1812 год. М., 1952. Здесь говорится, что война 1812 года «с самого начала приобрела характер национально-освободительного движения, возглавляемого великим русским народом», остро критикуется «неправильная оценка роли М. И. Кутузова» (в работах Е. В. Тарле, М. В. Нечкиной, С. Б. Окуня, др.), акцентируется «патриотизм великого русского народа» и утверждается лидерство Кутузова как «национального русского военного гения»: «Великий русский народ отстоял свою национальную независимость и уничтожил захватчиков» (С. 5–13, 208).

циальной главе «Отечественная война против германских оккупантов» широкими плакатными мазками связал три эпохи — 1812, 1918 и 1941 гг. Сначала он догматически апеллировал к известной фразе Сталина, написанной в марте 1918 года, специально подчёркивая: «Против иноземного ига, идущего с Запада, Советская Украина подымает освободительную *отечественную* войну...» Потом указывал на историческую память народов России / СССР: «Народы восставали против германского нашествия [в 1918 году], как встарь, в освободительную отечественную войну 1812 года, они восставали против Наполеона». Наконец, подводил такие итоги 1918 года, заставляя видеть в них образец для года 1941-го: «восставший народ под руководством партии Ленина–Сталина поднял отечественную войну против оккупантов и вымел их вон»<sup>185</sup>.

Когда судьба Москвы была далеко ещё не определена, в своём докладе на торжественном заседании Московского Совета 6 ноября 1941 года в честь годовщины Октябрьской революции Сталин ввёл в обоснование высших целей мобилизации для справедливой войны<sup>186</sup> именно национальный (не этнический, а общенациональный, культурно-государственный) фактор, с чего и началась, собственно, история общерусской «Отечественной войны». Сталин говорил о нацистах: «И эти люди, лишённые совести и чести, люди с моралью животных, имеют наглость призывать к уничтожению великой русской нации...». В те дни вновь в советском политическом сознании появился унаследованный равно от контекста 1812 года и от контекста формул Ленина о «защите отечества» образ Пруссии. Но на этот раз — образ Пруссии, осуществившей национальное возрождение и национальное объединение, которое в итоге поставило перед собой задачи, альтернативные национальным задачам Исторической России. Военный ритор писал тогда о военных целях Пруссии как лидера пангерманизма

<sup>185</sup> И. Минц. Красная Армия в борьбе с германскими захватчиками с 1918 году. М., 1941. С. 21, 22, 24.

<sup>186</sup> В приказе Сталина как народного комиссара обороны от 23 февраля 1942 года подводился риторический итог: «Сила Красной Армии состоит, прежде всего в том, что она ведёт не захватническую, не империалистическую войну, а войну отечественную, освободительную, справедливую» (все эти и другие выступления объединены в тематическом сборнике: И. В. Сталин. О Великой Отечественной войне Советского Союза. М., 1946 (первое издание)).

и милитаризма: «Каждый из нас понимает, что дело идёт о самом существовании России и русской культуры»<sup>187</sup>.

Так имя Великой Отечественной войны в отечественной истории окончательно сложилось как синоним войны общенациональной<sup>188</sup> и справедливой. Хочет ли кто теперь отказаться от этого имени, чтобы подвергнуть сомнению этот смысл и попытаться доказать, что такие войны России были узкопартийными и несправедливыми, — это уже дело личного выбора. В свою очередь, оценка такого выбора — историческая, моральная и политическая — должна и будет произнесена.

---

<sup>187</sup> Н. Коробков. Введение // Разгром русскими войсками Пруссии, 1756–1762 гг. Документы. М., 1943. С. 3. Подписано в печать 21 июня 1943.

<sup>188</sup> Хотя часто эта *отечественность* понималась в категориях масштаба войны и всеобщей мобилизации, которые сами по себе делали войну «народной» и поэтому «отечественной». В советском школьном просвещении по теме 1812 года делался особый акцент на словах о ней Льва Толстого: «дубина народной войны» («Война и мир», 1869). В этом хорошо виден след присущего русской оппозиционной мысли и советским коммунистам приоритета «вооружения народа» над профессиональной армией. Об этой связи, видимо, под впечатлением от военных новаций Великой Французской революции писал А. Н. Радищев в своём «Путешествии из Петербурга в Москву» (1789): в главе «Спасская полесь» излагается сон о государе, где истина говорит ему о «верных подданных» и основе «гражданского покоя»: «которые вдали от тебя не тебя любят, но любят отечество», а армия названа «всеополчение». П. И. Пестель в своём проекте переустройства России определял её столицей и центром Нижний Новгород, в том числе потому, что «все воспоминания о древности Нижегородской дышут свободой и прямою Любовью к Отечеству, а не к тиранам Его» (П. И. Пестель. «Русская правда» // Конституционные проекты в России XVIII–XIX в. / Сост. А. Н. Медушевский. М., 2010. С. 345). В историографии эта «народность» нашла своё выражение в указании не только на партизанское движение и ополчение, но и на личный состав войск 1812 года: «Непрерывные войны, которые вела Россия накануне Отечественной войны 1812 г., поглотили значительную часть обученного состава, и армия состояла на 60% из молодых солдат» (Л. Г. Бескровный. Отечественная война 1812 г. и контрнаступление Кутузова. М., 1951. С. 10).

# **ЭТНИЧНОСТЬ КАК ИНСТРУМЕНТ:**

**ЛИТВА В ФОКУСЕ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ БОРЬБЫ XIX—XX ВВ.**

В. М. Кабузан. Формирование многонационального населения Прибалтики (Эстонии, Латвии, Литвы, Калининградской области России) в XIX—XX вв. (1795–2000 гг.). М., 2009

Северо-Западный край (литовско-белорусские), Привислянский край (польские) и Прибалтийский край (остзейские губернии) Российской империи теперь представляются исторически связанными не только рамками империи. Но, пожалуй, главным фактором их внутреннего исторического единства стали: сначала параллельная экспансия на Восток региональных империй XVII века, Швеции и Речи Посполитой, далеко и надолго отодвинувшая Московскую Русь от западных пределов исторической Руси и лишившая её исторических новгородских земель на побережье Балтийского моря, а затем — мучительная борьба Российской империи XVIII века за установление своей власти в этих пределах и разрушение конкурирующих империй.

Но в тени польского, шведского и этнокультурного немецкого (в Прибалтике) господства, в тени имперского строительства России все эти годы оставалась мало видимая этническая история местных народов, чаще служивших безгласно страдающим хором на сцене со-

бытий<sup>1</sup>. XIX век стал веком национализма и творения национальных мифов и для этих народов. Но единая литературная языковая норма ещё не обнимала собой всю территорию подчиняемых ею диалектов и говоров и потому не служила надёжным лингвистическим критерием этноса. Но преобладающе крестьянская социальность этих народов, часто лишённая полноты даже феодальной и тем более буржуазной иерархии, той среды, где рождались нации и государственности Нового времени, нередко оставляла в наборе их приоритетных исторических инструментов лишь массовый социальный протест и войну, а не этническое самоопределение. При слабости языковой унификации, это самоопределение социального большинства во многом оставалось (помимо конфессионального) ещё более географическим, нежели этническим<sup>2</sup>.

Так социально-политическая революция «красных латышей» в 1905–1918 гг. и государственное, от имени национальной крестьянской диктатуры, изгнание немцев из Латвии в конце 1930-х в исторической перспективе были долгим взрывом национального протеста против немецкого господства. В этой перспективе находится и — противоположный логике прежних протестов — массовый коллаборационизм с гитлеровскими оккупантами в 1941–1945 гг., давший доступ к «господской» войне против советского (русского) социального равенства. Чтобы не жить вместе с русской общиной, многочисленность которой была создана рижской промышленностью ещё со времён императорской России, после 1991 года независимая Латвия

<sup>1</sup> О месте Прибалтики в Российской империи, о ситуации внутри Прибалтийского края как этнографической территории латышского и эстонского большинства и немецкой элиты см. дореволюционный очерк: *Владимир Троцкий*. Письма о национальностях и областях. Прибалтийская окраина // *Русская Мысль*. М., 1911. Кн. VIII.

<sup>2</sup> Архаичность массового сознания крестьянского большинства позволяет исследователям проследить его переходные формы от средневековья даже в Западной Европе ещё в XVI и XVII вв. (*М. А. Юсим*. Медиевистика и национальный вопрос (о неопределённости определений) // *Этносы и «нации» в Западной Европе в Средние века и раннее Новое время* / Под ред. Н. А. Хачатурян. СПб., 2015. С. 41; *Н. А. Хачатурян*. Проблема этносов и протоэтносов в контексте социально-экономической и политической эволюции средневекового общества в Западной Европе // Там же. С. 26). Гипотеза о живых следах такой архаики в XIX веке в Восточной Европе не кажется чрезмерно смелой — и эта архаика в целом противоречит состоявшейся этничности, несмотря на формальные её описания, ибо её реальность явно отставала от реальности современных институтов административного учёта / формирования этничности.

уничтожила свою крупную промышленность как наследие советской индустриализации. При этом важно, что в перспективе 150 лет, пока шла имперская индустриализация, Курляндская губерния, ставшая главным донором латышского населения для немецко-русской Риги и Лифляндской губернии, не дала массовой эмиграции за границу или в глубь империи практически ничего. Только Первая мировая, Гражданская и Вторая мировая войны впервые двинули сотни тысяч людей в Латвию и из неё. Однако наибольшие механические демографические потери Латвия понесла в 1990–2000-е годы, когда её эмигрантам открылась трудodefицитная промышленность Запада. Так латышей начал преследовать сначала этносоциальный конфликт, а затем массовая миграция.

Литву преследовало и преследует иное. В XIX — первой трети XX века, в конце XX и начале XXI вв. её социальная история неизменно была и остаётся историей массовой эмиграции. Однако, в отличие от Латвии, этнодемографическая сложность Литвы — результат не конфликта с историческим наследием (в данном случае — наследием Великого княжества Литовского (ВКЛ) в составе Речи Посполитой), а долгой, упорной борьбы за его монопольное присвоение и ассимиляцию. Это связано с мощной традицией собственной государственности, с XVI века попавшей в нарастающую зависимость от польского доминирования. Этот «тихий» конфликт развивался в центре региона, на стыке описанной имперской географии Северо-Западного, Привислянского и Прибалтийского края, — прежде всего, в Виленском крае (Виленской губернии), который с 1919 по 1939 гг. был аннексирован у Литвы Польшей и неизменно оспаривался Литвой в качестве *исторической* (не *этнографической*) литовской земли.

Сегодня в исторической полемике литовских политиков и публицистов с польскими политиками и публицистами вокруг языковых, экономических и гуманитарных прав польского населения Виленского края (Вильнюсского уезда) вопрос об этнодемографической истории поляков этого края является центральным. На фоне присущего всякому национализму и распространённого в польской и литовской исторической публицистике убеждения в неизменном первородстве, *примордиальности* польского и литовского этносов, история поляков Виленщины для обеих сторон, напротив, служит живым примером историчности, рукотворности, *конструктивизма* их идентичности.

Сегодня, препятствуя полякам Литвы писать свои имена и фамилии в соответствии с правилами польского языка, как это принято в абсолютном большинстве стран, пользующихся латиницей, и реализовывать свои (стандартные для Европейского Союза) языковые права в месте своего компактного проживания, представители властей Литвы и их апологеты привычно указывают на то, что в лице поляков Литвы в большинстве случаев выступают не поляки, а криптолитовцы, в 1920–1930-е гг. и ранее подвергшимися принудительной полонизации. И, таким образом, власти Литвы чуть ли не «помогают» им «вспомнить» о своей *литовскости*.

Во весь рост в этом историческом споре встаёт — исторически и хронологически по-прежнему острая, актуальная взаимная ассимиляция. Ей сопутствует — живое в памяти ещё живущего старшего поколения — завершение процесса этнической самоидентификации народов региона, включая Прибалтику, который в годы вокруг польского восстания 1863 года находился ещё в стадии первого принципиального перелома, а завершился лишь после обретения независимости Польшей и странами Прибалтики в 1918–1919 гг., а окончательно — после войны 1939–1945 гг. и даже распада СССР в Прибалтике в 1990–1991 гг. Именно это в итоге окончательно установило «титულную» этническую принадлежность государств и их обществ, этнокультурное лицо большинства в которых было продиктовано политической волей власти. В этом смысле Польское восстание 1863 года, начавшееся под тройным гербом Речи Посполитой как единства Польши, Литвы и Руси (Царства (Королевства) Польского и ВКЛ), вызвало к жизни борьбу за окончательное, уже этнографическое отделение Литвы и Руси (Северо-Западного края) от Польши (Привислянского края), последней связью между которыми оставался Виленский край, вся история которого вплоть до 1939–1944 гг. стала историей полонизации — чисто этнической «Реконкисты».

Примером максимального воздержания сторон от полемики, вернее, образцом консенсуального для политической Литвы отказа от рассмотрения «польского вопроса» по существу может послужить очерк современных литовских исследовательниц М. Рамонене и К. Гебен<sup>3</sup>, которые, касаясь специального вопроса о литовских поляках,

<sup>3</sup> Мейлуте Рамонене, Кинга Гебен. Особенности языкового поведения литовских поляков // Диаспоры. М., 2011. № 1. С. 89–91.

дают почти очищенный от взаимных исторических споров (но нашпигованный модернизированными в литовской версии топонимами) очерк польской Литвы начиная с того времени, как через 400 лет после унии Польши и ВКЛ произошла полонизация её элиты и государственных институтов:

«со второй половины XVII века польский... становится официальным<sup>4</sup>... В шляхетской среде формируется новое национальное самосознание: *Gente Litanus — Nazione Polonus*... Распространение польского языка среди низших социальных слоёв сельского населения ВКЛ начинается во второй половине XIX в. Большинство историков и лингвистов разделяет мнение... о стихийной полонизации литовско- и белорускоязычных крестьян, проживавших в каунасском, вильнюсском и зарасайском ареалах... Создание в 1918 г. независимых Литовской и Польской Республик повлекло за собой рождение национально-социальных структур. Часть исторических литовских территорий (в том числе и столица Вильнюс) некоторое время входила в состав Польской Республики. На этой территории польский язык играл роль государственного, а жители этих территорий получили польское гражданство, что способствовало становлению у них польского самосознания... Иная ситуация сложилась после 1918 г. на территории Литовской Республики, где имела место быстрая релитуанизация части населения, ранее говорившего на польском языке. После Второй мировой войны... договор Польши и СССР предполагал возможность репатриации лиц польской национальности из СССР в Польшу. Во время массовой «репатриации»<sup>5</sup> поляков в 1945–1948 гг. из Восточной

<sup>4</sup> Примечательна замена литовскими авторами официального (до конца XVII в.) старославянского языка ВКЛ конструктом «старобелорусского» (с. 89). Как эти авторы представляют себе действие не подлинного «русского / русского» языка, а вымышленного «старобелорусского» в качестве официального на всей территории ВКЛ, то есть и на Малой Руси, в Молдавии, Валахии, а также в Галиции, не говоря уже о входивших ранее в ВКЛ русских Верховских княжествах (в верховьях р. Оки), не поддаётся никакому объяснению.

<sup>5</sup> Авторы с особой стыдливостью называют аннексию Польшей территории Виленского края в 1919–1939 гг. («некоторое время входила»), зато послевоенную советскую репатриацию *половины* наличных поляков из Литвы в рамках многочисленных для послевоенной Восточной Европы взаимных межграницных этнических переселений, проведённую советскими властями в интересах литовского большинства в Литовской ССР, исследовательницы настойчиво маркируют политически мотивированными кавычками в слове «репатриация», словно речь шла об этнической *чистке* всего польского населения Литвы.

Литвы выехало 197 тыс. человек (в том числе из Вильнюса — 107,6 тыс. человек), в 1956–1959 гг. — 46,6 тыс. человек»<sup>6</sup>.

Далее исследовательницы рядом, в соседних предложениях, делают два взаимоисключающих заявления: с одной стороны, — «послевоенное время стало для литовских поляков периодом интенсивной русификации»<sup>7</sup>. Польский язык сохранился на территории Литвы только в форме говора», а с другой — «в Литве [Литовской ССР. — М. К.] благодаря культурной автономии сохранились польский язык и национальное самосознание». Из этого текста хорошо видно, что основная историческая борьба и этнодемографическая сложность Литвы настолько выхолащены до предела, что должно создаться впечатление, что процессы ассимиляции произошли едва ли не автоматически, сами по себе. Создаётся впечатление, что в лучшем случае проблемы взаимной ассимиляции нет, а торжеству соседних бесконфликтных нацистроительств мешает лишь советская русификация.

---

То есть речь шла о целевом заселении Вильнюса литовцами преимущественно из сельской местности — надо полагать, вслед за литовскими исследовательницами, что это делалось именно для его «русификации».

<sup>6</sup> Относительно же фактов и точных чисел репатрированных известны и другие данные: 22 сентября 1944 правительства Литовской ССР и Польши договорились об эвакуации (добровольной репатриации) бывших граждан Польши (ими до 1939 г. автоматически становились все жители Виленского края) — поляков и евреев — из Литовской ССР в Польшу и литовцев из Польши в Литву. Репатриация была завершена лишь 1 ноября 1946 (для депортации такой длительный срок был бы просто невозможен). Всего из Литвы в Польшу переехало, по польским данным, свыше 197 000 (по литовским данным — 171 000) человек — из них 90,2% поляки, 8,6% евреи, в том числе из Вильнюса 89,6 тыс. чел. (80% всех жителей) (Как Вильнюс стал литовским // Литовский курьер. Вильнюс, 18 июля 2008: [www.inosmi.ru/world/20080718/242\\_680.html](http://www.inosmi.ru/world/20080718/242_680.html)). По архивным данным РГАСПИ, на 20 декабря 1944 в Вильнюсе проживало 104 300 человек, из коих поляков было 84 000, а литовцев — 7 900, через полгода; 31 июля 1945 налицо были результаты этнической динамики: из 106 697 — поляков 67 974, литовцев — 19 291 (Г. В. Кретинин. Формирование территории и населения современной Литвы // Вопросы истории. М., 2011. № 10. С. 130).

<sup>7</sup> Постановлением СНК Литовской ССР и ЦК КП(б) Литвы от 23 февраля 1945 «О заселении г. Вильнюса в связи с репатриацией поляков...» был утверждён план покрытия потребности в трудовых кадрах в Вильнюсе в количестве 29 650 чел. и план мобилизации в Вильнюс из городов и уездов Литвы 20 000 чел. (Как Вильнюс стал литовским...). То есть, если следовать логике литовских исследовательниц, советские власти Литвы переселяли сельское литовское население в Вильнюс, чтобы подвергнуть его «русификации».

Впрочем, даже из этого текста литовских исследовательниц следуют два предметных вывода:

(1) именно новые, **независимые государственности Литвы и Польши** в межвоенный период стали главным силовым полем и **инструментом для ассимиляции меньшинств в интересах титульного большинства**;

(2) *польская* идентичность польского населения Виленского края и *литовская* идентичность польского населения в самой Литве окончательно победили лишь в 1920–1930-е гг. под властью Польши и Литвы соответственно.

На систему литовской аргументации в Польше, в свою очередь, публицистически неизменно отвечают, что действительная колонизация литовцев Виленского края в довоенный период была актом «возвращения» им некогда отнятой у них при содействии властей Российской империи литуанизированной (в современном *литовском русском языке* это называется также «олитовленной») идентичности.

В Польше считается, что эта *польскость* была опасной в глазах русской администрации. Ведь по итогам разделов Речи Посполитой между Россией, Пруссией и Австрией 1772, 1793 и 1795 гг. к России отошли Восточные Кресы — то есть территории Литвы и Руси, позднейших Лифляндской, Ковенской, Виленской, Гродненской, Минской, Витебской, Волынской, Киевской, Подольской губерний, на востоке проходя в непосредственной близости от Смоленска и Киева (не включая ни Галиции, ни Малой Польши, ни Мазовии, доставшихся Австрии и Пруссии). Дворянство этих земель было и оставалось польским, католическим и полоноязычным. Пользуясь всеми сословными, конфессиональными и языковыми привилегиями, это дворянство не оставило надежд на восстановление независимости своей утраченной страны. Но, борясь за независимость, оно требовало восстановления границ своей империи по состоянию на 1772 год, то есть возвращения Польше Малой Руси, Белой Руси, Литвы и Лифляндии (Инфлянтов). Ради этого польская государственность (Герцогство Варшавское (1807–1813/1815) и новое Великое княжество Литовское (1812)) стала протекторатом Бонапарта в его нашествии на Россию в 1812 году, в результате поражения которого к России отошли и земли собственно Царства Польского. Автономное Царство Польское в составе Российской империи — в новой борьбе за независимость вновь требовало

возвращения себе Литвы и Руси по границам 1772 года, — и в 1830, и в 1863 гг. — дважды поднимало восстания против империи. При этом вплоть до 1863 года оно было лишь ядром и частью той польской «внутренней империи» в составе России, где на землях бывших польских Литвы и Руси польская экстерриториальная монополия фактически доминировала в церковной (католической и униатской, до 1839) и образовательной политике, сфере феодальной собственности и сословного лидерства шляхты. А центральная власть Российской империи смирялась с ней так же, как смирялась до времени с автономией Финляндии и монополией шведской элиты в ней, смирялась с культурным, сословным и экономическим диктатом остзейского немецкого дворянства в российском Прибалтийском крае. Во всех трёх случаях — на бывших землях Речи Посполитой вне Царства Польского, в Финляндии и Прибалтике — господство местных правящих классов из числа поляков, шведов и немцев — никогда не подкреплялось их этнодемографически ничтожной долей в населении, но основывалось на сословной и имперской легитимности. Поэтому борющаяся за границы 1772 года<sup>8</sup> *польскость* трижды (1812, 1830, 1863) была обречена на встречу с непольским большинством своих бывших подданных и нынешних крепостных. Польская культурная монополия в этом обширном регионе оставалась основой дальнейшей, уже этнической полонизации, особенно как условия социальной мобильности. На Правобережной Украине,

«вопреки распространённому среди лингвистов мнению, влияние польского языка после 1795 г. не снижается, определяя характер публичной коммуникации вплоть до восстания 1830–1831 гг. [в Царстве Польском]. Своеобразная административно-культурная автономия западных губерний в царствование Павла I, затем Александра I, выражавшаяся, в частности, в сохранении за выходцами из местной шляхты ключевых позиций в органах самоуправления, судопроизводства и т. д., создавала возможно-

<sup>8</sup> Восстановление границ 1772 года было польским требованием не только в 1812, 1830, 1863 гг., но и в 1919–1920, 1943 гг., в практике «Прометеизма» 1920–1930-х, было паттерном для концепции Е. Гедройца и Ю. Мерошевского «УЛБ» (признания формальной независимости Украины, Литвы и Белоруссии, 1974) и осталось им для польского покровительства «оранжевой революции» на Украине (2004) и для инициированной Польшей программы Европейского Союза «Восточное партнёрство» (2008).

сти для использования польского языка для обслуживания целого ряда функций “высокого” ареала коммуникации. В судопроизводстве польский и русский языки используются параллельно, а делопроизводство западных губерний остаётся по преимуществу польскоязычным». Сфера образования «остаётся по преимуществу польской и польскоязычной... Языком преподавания в школах всех уровней, начиная с приходских и заканчивая гимназиями и Виленским университетом, остаётся польский, обучение ведётся по польским программам времён Эдукационной комиссии [Речи Посполитой 1773–1794 гг.] с использованием преимущественно учебной литературы на польском языке... реально на Правобережье русский язык становится языком преподавания в учебных заведениях всех уровней только после подавления восстания 1830–1831 гг. (...) именно школа являлась основным средством языковой полонизации, — знание языка приобреталось преимущественно через польские проповеди в униатском храме, контакты с представителями высших и средних социальных слоёв, а в ряде регионов также с польскоязычным населением соседних деревень. (...) По свидетельству современников и наблюдениям историков, языком преимущественного ежедневного общения для представителей польской и полонизированной шляхты Правобережья в первой трети XIX в. являлся польский, причём даже в тех семьях, для которых мы можем предполагать наличие украинского языка как родного. (...) В то же время языковая полонизация крестьянства на Правобережье не стала массовым явлением и не приводила к смене языка, как это было, например, на бело-руско-литовских землях»<sup>9</sup>.

Американский историк Тимоти Снайдер, близко к сердцу принявший русофобскую польскую историческую философию в варианте ассимиляторского — при польском культурно-языковом и политическом доминировании — «федерализма» Ю. Пилсудского, детально описывает этническую историю Виленского края и Литвы в целом в XIX–XX вв., демонстрируя, собственно, её вторичность на фоне общей шляхетско-городской польской идентичности, возвышающейся над изолированными инициативами литовской интеллигенции

<sup>9</sup> О. А. Остапчук. Язык и этничность в ситуации полилингвизма: Правобережная Украина в первой трети XIX в. // Белоруссия и Украина: история и культура: ежегодник / Гл. ред. Б. Н. Флоря. М., 2005. С. 229–230, 232, 236–237.

и крестьянским белорусско-литовским континуумом, не выработавшим ни определённой идентичности, ни нормативного языка:

«...безграмотная [Российская] империя включила в свой состав большое количество образованных людей. В начале XIX в. политика России скорее была направлена на сохранение польских достижений в образовании, нежели на русификацию потенциально полезных подданных. (...) Даже тогда, когда новое поколение современных литовских деятелей 80-х и 90-х гг. XIX в. очерчивало границы отдельной литовской истории и отдельной нации, понимаемой в фольклорно-народническом смысле, жившие в Литве поляки и белорусы определяли “Литву” в географических и политических терминах... Многие вообще не считали национальный вопрос актуальным. “Tutejszość” (“тутейшность”, “здешность” или, более точно, хотя и не буквально, “осознание себя местными”) значительная часть дворянства часто была сознательным отторжением идеологий, которые казались плохо подходящими к местной реальности и традиции. “Тутейшность” крестьян в окрестностях Вильны была практическим и практичным ответом на слишком сложные варианты языковой ассимиляции... В конце XIX–XX вв. превосходство польского языка как средства общения признавалось в этих землях столь же широко, как и во времена, когда Мицкевич был студентом [в Вильне 1815–1819 гг.] (...) литовский национализм основан на особом видении Речи Посполитой как вредном для литовской культуры явлении, тогда как украинские националисты идеализировали восстания против Речи Посполитой. Поляки сами имели обыкновение рассматривать Речь Посполитую раннего Нового времени в современных националистических терминах и, следовательно, видели в её восточных территориях часть своей собственной истории. Все эти интерпретации настолько фальшивы, что никакие горы академических исследований не смогут их примирить. (...) люди, стремившиеся возродить Великое княжество Литовское под новым именем “Беларусь”, были ограничены своей собственной идентификацией с полонизмом раннего Нового времени. В течение трёх столетий польский язык был языком местной культуры, он был сохранён римско-католическими семьями элиты и самой Римско-Католической Церковью, а также поддерживался миллионами говорящих на нём на западе от Литвы. (...) Белорусский язык находился в наиболее сложном положении: грамматически несистематизированный славянский диалект с низким социальным статусом морфологически находился

между польским и русским языками; а его носители в социальном плане находились между польской культурой и русской властью. Белорусские крестьяне считали польский (как позднее и русский) языком образованности, а то, что мы называем белорусским, — речью простого народа. Подняться из крестьянства в “общество” означало заговорить по-польски или по-русски и стать поляком или русским. (...) В 1944–1946 гг. советская политика переселения, реализованная литовскими коммунистами, разрушила многовековой опыт польской культуры в Вильно. Выбор в пользу выселения поляков из Вильнюса при сохранении их в сельской местности был сделан людьми, которые понимали историю национальности. В результате поляки стали в Литве тем, чем не были никогда, — крестьянским народом (это научное открытие высшего уровня! — М. К.). Они не только уменьшились в числе, но и понизились в статусе»<sup>10</sup>.

Именно культурная, демографическая, а затем и политическая **борьба поляков и литовцев за национализацию Виленского края** более всего похоронила исторический миф о непреходящем единстве Польши и Литвы, Rzeczypospolitej obojga narodów (двух наций) — Польского королевства (Короны) и ВКЛ, сделало проект восстановления Речи Посполитой монополю польским, мононациональным. Поэтому меня более всего интересует зона совместного проживания поляков, литовцев и белорусов в части пределов Царства Польского / Привислянского края (Сувальская губерния) и северной части прежних Восточных Кресов Речи Посполитой (Виленская и Витебская губернии), ставшая одной из тех территорий польских восстаний 1830 и 1863 года. На них на *многонациональном* ландшафте и проверялась практикой способность этих восстаний обеспечить

<sup>10</sup> Тимоти Снайдер. Реконструкция наций [2003]. М., 2013. С. 19, 37, 38–39, 101 (Оригинал: The Reconstruction of Nations: Poland, Ukraine, Lithuania, Belarus, 1569–1999). Перевод этой книги на русский язык был осуществлён и издан в Москве при финансовой поддержке МИД Польши в рамках программы «Распространение знаний о Польше». При этом пафосе обличения «крестьянизации» поляков сам же Т. Снайдер сообщает, что ещё в 1959 году поляки составляли 20% населения Вильнюса (С. 98). См. также признание Т. Снайдера о «федерализме» Пилсудского и Гедройца-Мерошевского: «Федеративная идея всегда подразумевала ассимиляционную мощь элитной польской культуры с центром в Вильно» (С. 94).

лояльность политэтничного населения прежних Восточных Кресов к лозунгам польского *мононационального* возрождения в границах 1772 года.

От этнодемографической перспективы и этнодемографического контекста этих социальных и исторических встреч-конфликтов в ходе военных кампаний и восстаний и зависел, в конечном счёте, успех или неуспех возрождения польской Речи Посполитой как региональной империи. Её русское (белорусское и малороссийское, в первую очередь) население, вплоть до большевистской национально-республиканской «коренизации» СССР 1920-х — начала 1930-х гг., существовало как терминологически не определённый, но преобладающе целостный этноконфессиональный и культурно-языковой организм, отдельный от Польши. На практике внятность его идентичности, определение жёстких границ идентичности этого населения на советской территории в 1920-е гг. ещё не были созревшими, а выявлялись по принуждению, под давлением, перед необходимостью выбора там, где никто не спешил делать определённый выбор, то есть — были результатом идеологических, политических и административных манипуляций, включая те, чтобы были упакованы в научные теории или правила проведения переписи. Несмотря на убеждение исследователя, такая зыбкость, сложность идентичности, в общем, вполне нормальна для переходных и контактных зон, для, так сказать, *поливалентной* социальной реальности и не была «курьёзом», а формальное, принудительное *определение идентичности*, конечно, точно так же не было её «переменной», как нельзя считать «переменной» или даже выбором искусственное сужение радуги до одного из составляющих её красного, синего, жёлтого или зелёного цвета. Это будет, как минимум, формальностью или даже фальсификацией. Тем не менее исследователь приводит разрушительные по результатам, сложнее по природе свидетельства того, что ещё в 1920-е гг., как представляется, *реальная национальная идентичность в регионе была лишь комплексом возможных определений, над которым вращалась административная воля, а не идентичностью*. Он пишет, называя свои сведения «курьёзами», а описываемый процесс «переменной»:

«в начале 1921 г. Польбюро при ЦК КП(б) Белоруссии прислало своему руководству в Москве следующее сообщение: “Поляков мало очень, а като-

ликов большинство, даже больше, чем русских, но они себя не признают поляками, а только католиками, и просят, чтобы были собрания и газеты на польском языке” (...) на Всебелорусском съезде польских крестьян... в конце февраля — начале марта 1926 г. ...обыденным явлением были такие реплики: “Белорусский язык мы лучше понимаем, нежели польский, только меньшинство съезда хорошо говорит по-польски”. (...) В резолюции Всесоюзного совещания работников польсекций ВКП (б), состоявшегося в мае 1928 г., особо подчёркивалось: “Имеются ещё в БССР и УССР группы католического населения, которые в домашнем быту употребляют исключительно украинский язык, но не определили своей национальности, смешивая вероисповедание с национальностью”. (...) Как правило, [советские] белорусские власти в ходе осуществления политики “коренизации” причисляли всех католиков-поляков, не владевших в достаточной степени польским языком, к белорусам. В противном случае отнесение таких католиков к полякам, по их мнению, привело бы к искусственной «полонизации» белорусского населения. Таких белорусов-католиков насчитывалось в БССР в середине 1920-х гг. около 200 тысяч человек. Секретарь ЦК КП (б) Б А. И. Криницкий... 4 ноября 1925 г. заметил по этому поводу: “Чаще всего белорусы-католики считают себя сами и считаются поляками, но говорят по-белорусски”... в то время как пленум ЦК КП (б) Белоруссии в январе 1926 г. принял специальное постановление о белорусах-католиках, запрещавшее их произвольное причисление к полякам, руководство Польбюро при ЦК КП (б) Белоруссии... почти всех католиков (около 400 тысяч человек) требовало отнести к полякам, полагая, что иная национальная принадлежность католика должна определяться только по его личному заявлению. (...) Комиссия по делам нацменьшинств Подольского губисполкома в апреле 1925 г. в одном из своих отчётов сообщала: “...большим и острым вопросом является вопрос о так называемых украинцах-католиках. В этом вопросе на местах царит ещё до сих пор полнейшая неразбериха...”<sup>11</sup>.

Тем временем литовцы начали строить свой национальный проект, который независимым от России сделала только Первая мировая

<sup>11</sup> В. Деннингхаус. Феномен перемены национальной идентичности в преддверии Большого террора // История сталинизма: жизнь в терроре. Социальные аспекты репрессий. Материалы международной научной конференции. Санкт-Петербург, 18–20 октября 2012 г. / Сост. А. Сорокин, А. Кобак, О. Кувалдина. М., 2013. С. 297–300.

война. А еврейское население до и после отмены «черты оседлости» в большинстве своём сделало выбор в пользу Российской империи и СССР и их возможностей — и лишь во вторую очередь в пользу эмиграции в США, и в третью очередь — в пользу сионистской колонизации Палестины.

**Помещение этнодемографической истории Польши и Литвы в контекст Прибалтики** в её современном понимании, то есть там, где начиная с XVII века экспансия Польши на Восток столкнулась с экспансией Швеции, Пруссии и немецким правящим классом, а поляки сами стали объектом немецкой ассимиляции, где в 1920–1930-е гг. Польша стала в регионе крупнейшим конкурентом СССР, проливает особый свет на инструментарий и материал этнокультурной конкуренции.

С фактографической точки зрения это *помещение в контекст* сделал известный и исследовательски чрезвычайно активный, недавно умерший историк-демограф **Владимир Максимович Кабузан (1932–2008)**, который и после своей смерти дарит новые труды русской науке. Его названная книга — лишь одна из его посмертных публикаций<sup>12</sup>.

В. М. Кабузан так определяет географию предмета: «В состав Прибалтийского региона мы относим населённые преимущественно литовцами, латышами и эстонцами Эстляндскую, Лифляндскую, Курляндскую и Ковенскую губернии, а также Кёнигсбергский и Гумбиненский округа Восточной Пруссии. Кроме того, здесь анализируются также Виленская, Витебская и Сувалкская губернии, а также Алленштейнский округ Восточной Пруссии. Они лишь частично могут рассматриваться в составе региона... В целом по ходу работы иногда приходится также сохранять и традиционное деление на Прибалтику в узком, принятом в XIX — начале XX в., смысле слова (то есть Лифляндскую, Эстляндскую, Курляндскую губернии), Белорусско-Литовский регион (Виленскую, Ковенскую, Витебскую губернии), Сувалкскую гу-

<sup>12</sup> Среди них и такая, открывающая в авторе острое чувство современности: В. М. Кабузан. Динамика этнического состава населения Абхазии и Косово в XIX–XX вв. // Труды Института российской истории. Вып. 10. М. 2012. См. также: В. М. Кабузан. Население Российской Империи в XVIII — начале XX века: численность, состав, размещение // Историческая география России, IX — начало XX века: территория, население, экономика. Очерки / Отв. ред. К. А. Аверьянов. М., 2013.

бернию Царства Польского и Восточную Пруссию (Кёнигсбергский, Гумбиненский и Алленштейнский округа)» (с. 20).

Политико-географический состав Прибалтики в русской традиции претерпел следующие перемены. До 1917 года это был Прибалтийский (Остзейский) край Российской империи (состоявший из Курляндской, Лифляндской и Эстляндской губерний, то есть нынешних Латвии и Эстонии). В 1920-е — историко-географическое содержание Прибалтики в советском языке расширилось до Литвы, Латвии и Эстонии, иногда также Финляндии. Например, в 1933, 1934 и 1935 гг. официальные представители СССР, включая главу НКВД М. М. Литвинова, говоря о задачах региональной безопасности, а в 1939-м — новый глава НКВД СССР В. М. Молотов, говоря о прямой угрозе войны, неизменно включали Финляндию в число стран Прибалтики, наряду с Эстонией и Латвией<sup>13</sup>.

В 1920–1930-е гг., по мере внешнеполитического сближения Польши с Финляндией, Эстонией и Латвией, Литва, так и не согласившаяся с оккупацией Польшей Виленского края, естественным образом выпала из коалиционного формата Прибалтики, но это не мешало некоторым авторам объединять все эти пять стран в целостный регион «окраинных» государств<sup>14</sup>, что, впрочем, не смогло конкурировать с более общим понятием «лимитрофов», то есть государств, образовавшихся или расширившихся после распада Российской, Австро-Венгерской и Германской империй на их некогда «пограничном» стыке (Румыния, Венгрия, Чехословакия, Польша, Литва, Латвия, Эстония, Финляндия). Присоединение в 1940 году Литвы, Латвии и Эстонии к СССР окончательно закрепило за ними в русском языке имя Прибалтики, а итоги советско-финской войны 1939–1940 гг. вывели из состава региона Финляндию<sup>15</sup>.

<sup>13</sup> Синикка Вуни. Красная угроза: образ СССР в финской прессе. 1939–1940. М., 2011. С. 191–193, прим. 73, 195–196.

<sup>14</sup> С. Гессен. Окраинные государства. Польша, Финляндия, Эстония, Латвия и Литва. Л., 1925.

<sup>15</sup> Невольно наследующая попытке заменить «Прибалтику» понятием «Восточная Прибалтика» (В. Т. Паушто. Александр Невский и борьба русского народа за независимость в XIII веке. М., 1951. С. 29, 31, 35, 38, 43, 44, 47, 55), попытка современного экономиста Л. М. Григорьева ввести для расширенного региона стран традиционной Прибалтики и Калининградской области России понятие «Восточной Балтики» (Леонид Григорьев. Экономические перспективы Восточ-

В. М. Кабузан профессионально, подробно и неоднократно останавливается на проблеме источниковой базы исследования, основой которого послужили материалы V–X ревизий (1795–1858), данные административно-полицейских исчислений (1795–1858), данные церковного учёта, переписи населения 1881–1917 и до 1920-х гг. и до 1989 (с. 3). Его главное сожаление состоит в том, что привлечение следующего по детальности уровня данных — по населённым пунктам — осталось ему явно не под силу: «Несмотря на исключительно богатые источники и наличие целого ряда солидных исследований, этнодемографическая ситуация в Прибалтике не исследована должным образом в динамике и за большие отрезки времени. В настоящем исследовании мы поставили своей задачей рассмотреть эту проблему по уездам и губерниям (в границах конца XIX в.), а также в рубежах современных прибалтийских республик<sup>16</sup> с конца XVIII в. до наших дней» (с. 19).

Таким образом, исходя из источников, автор даёт средний региональный и субрегиональный показатель этнической динамики без её диахронической и территориальной (по населённым пунктам) полноты. Восстановление этой полноты В. М. Кабузан прямо завещал «историкам демократических, свободных республик Прибалтики» (с. 21); он даёт им и методическую подсказку: «Распространение при изучении списков населённых мест данных об этническом составе населения более позднего времени на более ранний период является, по нашему мнению, весьма плодотворным делом. Конечно, при учёте

---

ной Балтики: конкуренция и сотрудничество. М., 2005) не удалась, а одновременное (2005) предложение автора этих строк ввести для Калининградской области России имя «Русской Прибалтики» в актуальном политическом узусе осталось невостребованным. Отражением нового, расширенного понимания Прибалтики стали географические рамки книги В. М. Кабузана.

<sup>16</sup> Это, кстати, соответствует практике современной прибалтийской официальной историографии: см., например, государственные школьные атласы по истории Латвии, в которых линия границ современной Латвии неукоснительно налагается на каждый исторический период, начиная с древности. Неизбежное и понятное модернизаторское усилие В. М. Кабузана ограничить географию предмета ойкуменами титульных этносов современных стран Прибалтики часто некорректно превращается у него в модернизацию исторических топонимов и этнонимов, конструирование этничности до того, как она стала фактом даже для её носителей: см., например, в книге постоянную подмену исторических имён современными именами: Ревель — Таллин, Мемель — Клайпеда, литвины / русины — белорусы, др.

показателей миграции, естественного прироста и т.д. Наши попытки заинтересовать исследователей Литвы, Латвии и Эстонии изучением этих списков путём сплошного анализа за большой отрезок времени (100 и более лет), к сожалению, не дали никаких результатов. А ведь это единственный надёжный путь для анализа изменений в этническом и ином составе населения за большие отрезки времени» (с. 24, прим. 34). Впрочем, учитывая официальную националистическую идеологию правящих в Литве, Латвии и Эстонии этнократий, прямо диктующих науке и, силой уголовных санкций, всему обществу «правильные» исторические концепции и терминологию, предпочитающих утверждать тотальную «пришлость» иноязычного населения и, например в Латвии, отвергающих этничность коренных для страны латгалцев, рассчитывать на то, что это завещание учёного о необходимости детализации исторической картины **принципиальной полиэтничности Прибалтики** будет исполнено именно силами этнократических историографий, не приходится.

Историк вновь и вновь указывает на эвристический смысл новых источников: «Особую ценность представляют списки населённых мест западных губерний России, собранные П. И. Кеппенем в 1827 г. Они свидетельствуют о весьма распространённом здесь двуязычии (язык прихожан «польско-русский», «русско-польский» и т.д.). Такие списки имеются по Ковенской, Виленской и Витебской губерниям (литовцы здесь отделены от литвинов-белорусов, но поляков далеко не всегда можно отделить от белорусов-русских)» (с. 22, прим. 5). В. М. Кабузан цитирует переписные этноязыковые формулировки из материалов X ревизии 1857–1858 гг.: «жители славяно-литовцы. К их славяно-литовскому наречию очень мало принимается языка литовского», а в Виленском уезде *в десятках тысяч* для каждого варианта — «преимущественно поляки» или «преимущественно литовцы» (с. 7–8). Авторитетный исследователь широкого круга вопросов истории, языка, этнографии и политики славян и Восточной Европы в целом А. Л. Погодин (1872–1947) писал о контексте и диахронии межкультурных и межэтнических отношений в Литве, что в начале XIX века после присоединения Литвы к Российской империи — «в русской части Литвы польское влияние было безраздельно», хотя — пренебрежения к литовцам не было, и «помещики, говорившие дома по-польски, чувствующие себя во всех отношениях поляками, вовсе не избегали

говорить с крестьянами по-литовски. Но так уж как-то сложилось: польский язык был господским языком, литовский — холопским». Во время польского восстания 1863 года литовская «народная масса осталась здесь в большинстве случаев индифферентной». А в 1860–1880-е годы даже наиболее массовая часть литовской интеллигенции — духовенство — в Литве становилась польской: «что же касается духовенства, то громадное большинство его, примкнув к *господской* польской культуре, спешило засвидетельствовать свои польские чувства. Ведь... ксендз-поляк вращался в шляхетском доме и даже занимал здесь довольно почётное положение, [а] ксендз-литовец (*kunigas*) был осуждён на знакомство с немногими интеллигентами, а вообще только с крестьянами»<sup>17</sup>.

Проблему определения этничности в демографии XIX века внятно описала современная исследовательница, помещая российскую науку об этом в контекст европейской того времени. В то время, пишет она, при проведении переписей этнографы-конструктивисты и «статистики пережили разочарование, осознав, что народ плохо знает свою национальную принадлежность. Подобное неведение свидетельствовало о слабой “ментальной” интеграции “масс” в национальное сообщество. В этих условиях перепись и регистрация в административных документах национальности со слов самого индивида (“самосознание”) представляли в роли операции, способной помочь людям осознать свою национальную сущность»<sup>18</sup>. Такого рода «помощь», могу сказать, ничем не отличалась от процесса **создания этничности**.

Известный систематик конструктивистского понимания и генезиса этничности Бенедикт Андерсон (1936–2015) среди институтов власти, применявших имперскими метрополиями в отношении своих колоний в XIX веке для этнической систематизации и этнического управления, наряду с музеями и картами, назвал переписи<sup>19</sup>. При этом надо адекватно понимать, что переписи — инструмент пря-

<sup>17</sup> А. Погодин. Литовское национальное возрождение в конце XIX века // Русская Мысль. М., 1909. Кн. I. С. 128–129, 131, 135–136.

<sup>18</sup> Жюльет Кадио. Лаборатория империи: Россия / СССР, 1860–1940 [2007]. М., 2010. С. 155–156.

<sup>19</sup> Бенедикт Андерсон. Воображаемые сообщества. Размышления об истоках и распространении национализма [1983, 1991] / Пер. В. Г. Николаева под ред. С. П. Баньковской. М., 2016. С. 268 и далее.

мого административного воздействия, в отличие от двух других, научно-исторических, чьё воздействие было косвенным, требующим перевода на язык административных действий. Следует также иметь в виду, что инструмент *переписи* — не только из колониальной практики, но и из практики строительства национальных сообществ и государств тех же XIX, XX и XXI веков. Не только способ создания колониального ландшафта, но и, как мы видим из истории, например, польско-литовской борьбы, — инструмент (один из инструментов) создания монолитных этнических территорий. В этом случае творящая административная воля сначала изобретает псевдообъективный перечень этнических объектов, затем административно диктует желательный результат (динамику результатов) их переписи, затем принудительно ассимилирует меньшинства или социальные низы, затем становится волей, субъектом доминирующего или правящего этноса, затем — притворно следуя уже ассимилированному «большинству» — наращивает его официальное доминирование, наконец — преподносит этот рукотворный результат как этнографическую реальность, требуя её административного, политического и территориального признания и отражения. Так этнические переписи берут на вооружение этнографические плебисциты, где также доминируют «право сильного» или административная воля.

Этот механизм этнографического произвола окончательно взяла на вооружение и фактически объявленная в конце Первой мировой войны, 8 января 1918 года, президентом США Вудро Вильсоном эпоха национальных государств для Европы и Азии, где пришли к гибели четыре империи (Германская, Австро-Венгерская, Российская и Османская), и, следовательно, эпоха обслуживающих эти государства национальных размежеваний. На деле это было эпохой финальной инструментализации переписей и плебисцитов, когда этнографический принцип был признан руководящей основой для образования государств. А происхождение таких этнографических данных было оставлено без критического анализа, то есть на усмотрение «права сильного». Вполне очевидной представляется и связь между проведённой при методическом содействии Германии переписью 1914 года и геноцидом армян 1915 года в Османской империи.

Итак, переписи — самый мощный ненасильственный инструмент этнической инженерии и административного изменения официаль-

ных соотношений этносов на территории. Это актуально и для современной практики, например, России, где иногда сугубо методическая борьба за исключение из списка или включение в список этносов (за признание в качестве отдельных этносов) становится политической: в Татарии (Татарстане) это касалось таких тюркских этнорелигиозных сообществ, как кряшены и нагайбаки, которых — в зависимости от этнополитических задач (самоопределения или консолидации этноса) — предписывалось считать либо отдельными этносами, либо субэтносами татар.

И всё же наиболее ярким выражением самосознания следует признать не самоназвание (тем более — выбор самоназвания из закрытого перечня самоназваний), а родной язык. Если этническая перепись не преследовала, кроме научных, политических целей. Поэтому, — возвращаясь к труду Жюльет Кадио, — представляется красноречивым и важным отмеченная исследовательницей разница в национальных подходах: немцы Пруссии и русские выступали за языковой принцип определения национальности, австрийцы, венгры, французы — против, выдвигая во главу угла автономное географическое определение национальности против этнического (языкового) как империалистического. И всё же большинством голосов в 1872 году Международный статистический конгресс в Санкт-Петербурге решил принять за основу определения этничности языковой принцип<sup>20</sup>. Именно поэтому всероссийская перепись 1897 года, следовавшая языковому принципу, стала итогом сорокалетних дискуссий статистиков, демографов, этнографов о принципах описания национальностей. «Статистики сходились во мнении, что попытки задать прямо вопрос о национальной принадлежности опрашиваемых были обречены на провал из-за того, что те не всегда “знали” свою национальность». В России 1897 года «отказ от прямого вопроса о национальности свидетельствовал, с одной стороны, о слабом распространении этого понятия среди населения, а с другой — о нежелании властей превратить перепись в фактор политической мобилизации, которая грозила бы принять форму общенационального плебисцита. Нельзя было допустить, чтобы регистрация национальностей превратилась бы в пространство антиправительственных выступлений и место формирования аль-

<sup>20</sup> Жюльет Кадио. Лаборатория империи. С. 41–42, 37–38.

тернативной идеологии, построенной на требовании политического суверенитета», — заключает специалист<sup>21</sup>. И всё же научная победа *языкового* принципа как фундаментального для оценки этничности в это время в весьма значительной степени означала не только конструктивистский исследовательский произвол, но и прямо связанный с ним, основанный на нём националистический и революционный политический произвол в деле *этностроительства*. Внимательный исследователь так суммирует главные итоги развития лингвистики в Российской империи и СССР в 1880–1930-е годы, которые логично описывают её политический инструментарий: дополняя и уравнивая фундаментальные принципы развития языка данными этнографии, истории, археологии, культуры, религии, «реконструируя» (вернее — заново конструируя) язык по данным диалектов и литературной архаики, уравнивая в правах рукотворные и генетические факторы, произвольно комбинируя доминирующие структуры, акцентируя внимание на неперменном политическом выражении бытия языковых меньшинств,<sup>22</sup> — такие лингвисты-практики на деле ставили себя лично и свою партию на место языкового, исторического и политического творца этноса. Это следует признать далеко не последним признаком изначальной готовности тогдаших политической и интеллектуальной властей к более или менее жёсткому *созданию этносов* не только путём административных мер, но и изнутри самого принципа определения этничности — через *создание языка*.

Показательно, что современная наука об актуальных этносах вновь и вновь, уже на актуальном историческом материале, продолжает выяснять природу неустойчивой, неокончательной, не ставшей стабильным фактом этничности, приходя к выводу, что ряд исторических ситуаций неизбежно порождает массовые факты *транснационализма*, переходной, зыбкой этничности, не сводимые к процессам ассимиляции. Например, исследования опыта современной межгосударственной эмиграции русских, русских немцев, русских евреев в Германию показывают, что здесь «этничность вообще потеряла роль маркера для обозначения культурных практик групп». В этом контексте един-

<sup>21</sup> Жюльет Кадио. Лаборатория империи. С. 45–46.

<sup>22</sup> Alexander Dmitriev. Philologist-Autonomist and Autonomy from Philology in Late Imperial Russia: Nikolay Marr, Jan Baudouin de Courtenay and Ahatanhel Krymskii // Ab Imperio. [Казань], 2016. № 1. P. 162–163.

ственным доминирующим фактором для (не окончательного) определения этничности выступает уже даже не язык, не политическая лояльность, а личная повседневная самоидентификация как части общества, отличного от окружающего большинства, — как стратегия не только приспособления (что решается либо ассимиляцией, либо мимикрией), но и группового преемственного выживания в качестве нового «большого народа» мигрантов внутри новой государственной интеграции, для которого главными факторами самоопределения становится позитивное и негативное влияние государственной политики стран исхода и поселения. В отличие от традиционных изолированных «контейнерных сообществ», в условиях массовых миграций и соответствующих им «транснациональных пространств» — «этничность потеряла жёсткую связку с культурными практиками и лишилась прежнего смысла»<sup>23</sup>. Можно добавить, что к новым социально-культурным условиям, равно по силе воздействия на традиционные общества, можно отнести и широкую индустриализацию, и растущий национализм, и процесс создания новых государств, в целом — этатизм, столь характерные не только для конца XX и начала XXI вв., но и для рубежа XIX и XX вв.

Несмотря на уверенность В. М. Кабузана, что «показатель родного языка в сочетании с данными о вероисповедании, и в ряде случаев сословной принадлежности, позволяет в большинстве случаев определить этнический состав населения с необходимой степенью достоверности» (с. 13), она не помогает ему там, где определённая узкая этничность ещё просто не родилась. По свидетельству историка, этому не помогает даже самая зрелая перепись Российской империи — 1897 года. Там первенствовал языковой принцип и «отсутствовал главный этнический определитель — национальный. Но он не использовался тогда ни в одном из государств Европы... Это сказалось на точности учёта литовцев Виленской губернии, **значительная часть которых признала своим родным языком польский, но не утратила своего самосознания**. Но возможностей их учесть не существует» (с. 12–13)<sup>24</sup>. В эту тему, прямо скажем, **незавершён-**

<sup>23</sup> В. Д. Попков. Покидая пределы этничности: постсоветская эмиграция в Германии. Франкфурт-на-Майне, 2016. С. 145, 395–396, 428, 429.

<sup>24</sup> Известна двойная и даже тройная этничность выходцев из Литвы на примере главы советского НКВД в 1930-е гг. Н. И. Ежова (1895 года рождения): его отец

**ности этногенеза** значительной части крестьянской массы, вероятно представляющей собою два разделённых лишь конфессионально-многоязычного континуума — католический польско-литовский и православный польско-белорусский / литовско-белорусский — часто с особым рвением устремляются «национализаторы», «конструкторы нации» *a posteriori*, маркируя континуум тем или иным этнонимом, в зависимости от политической задачи. Но беда их в том, что они не могут смириться с тем, что зрелый этнос невозможен без внутриэтнической иерархии, что «национально сознательному» крестьянству нужны собственные национальные дворянство, буржуазия и интеллигенция<sup>25</sup>. Что разделение вместе проживающих поляков и белорусов было разделением сложившейся (в первом случае) и ещё зыбкой (во втором) идентичности. Что фактом были непреодолимая социализация этноса, этнизация социального низа, социальный и эт-

---

был русский, мать — литовка, дед — поляк, а сам он свободно говорил на литовском и польском языках (М. А. Колеров. [Рец.:] Н. Петров, М. Янсен. «Сталинский питомец» — Николай Ежов. М., 2008 // Русский Сборник: Исследования по истории России. IX. М., 2010. С. 384).

- <sup>25</sup> Современный белорусский историк литературы первой половины XIX века внимательно исследовал пример польскоязычного классика белорусской литературы В. И. Дунина-Марцинкевича. Он приводит его признание: «Писал же я это произведение на мужичьем языке для того, чтобы временами, прочитанное им (мужикам-белорусам. — А. Ф.) праздничным днем, могло оно привлечь их сердца к господам и ради общей пользы тесней их сплотить; также чтобы уничтожить то почти врождённое нежелание, с которым наш мужик идёт служить стране» — т. е. целевой аудиторией были именно белорусскоязычные не читатели даже — потенциальные слушатели поэмы. Ещё более развернуто аргументирует писатель обращение к «мужицкому наречию» в письме к польскому литератору Яну Карловичу от 15 сентября 1868 г.: «Прежде всего, хочу раскрыть Вам цель, ради которой я горячо занялся обработыванием народной нивы. Видел я, к сожалению, как младшие братья (белорусы. — М. К.) одной и той же матери, частично, может, и справедливо, но не по общей вине, в последнее время сильнее начали высказывать к старшей братии своей (полякам. — М. К.) издавна уже закоренелую в их сердцах ненависть, которую люди злой воли, пользуясь их темнотой, лживым напештыванием старались ещё больше раздуть. Единственное средство сближения меж собой этих двух противоборствующих стихий видится мне в образовании первых; благодаря ему наш слепой крестьянин станет зрячим, узнает, что часто бывший господин его, сегодня придавленный со всех сторон различными материальными тяготами, желая от них освободиться, временами невольно злоупотреблял над ним своей властью» (А. И. Федута. Читатель в сознании автор-билингва (на материале восточнославянских литератур второй трети XIX века) // Славяноведение. М., 2014. № 5. С. 62).

нический апартеид вплоть до Второй мировой войны. И поэтому они раз за разом ангажируют в ряды своего «воображаемого сообщества» то К. В. Калиновского<sup>26</sup>, то ещё какого-нибудь шляхтича, вменяя ему культурно и, главное, социально чуждую языковую / конфессиональную среду в качестве *этнической* самоидентификации.

Современный польский исследователь подводит свой историографический итог: «Двойная польско-литвинская идентичность в XIX — начале XX в. (вплоть до Первой мировой войны) была естественной для большинства шляхты, происходившей из Великого княжества Литовского. Она фиксировалась традиционной формулой “Gente Lithuani (Rutheni), natione Poloni” (литвины (русины) польской нации)»<sup>27</sup>. К этому он присовокупляет и суждение творящей свою национальную историю белорусской исследовательницы С. Куль-Сельвестровой, предоставляя ей продемонстрировать, что её (довольно зыбкие) доказательства «белорусско-литвинской» идентичности этой шляхты опираются на, прежде всего, *ситуативные* характеристики, которые просто меркнут перед многогранностью и глубиной шляхетской *польскости*. Она пишет, пытаясь вычленить белорусское содержание польско-литовской шляхты (акценты мои. — М. К.):

«К моменту восстания 1794 г. в Польше существовало ясное представление о литовской шляхте как о родственной, но не идентичной с поляками. *Литвинских и польских нобилей объединяла общая историческая традиция (!), социальное положение (!), польский язык (!)* (белорусский (?)) к тому времени для литвинской шляхты был языком домашнего общения (?) и коммуникации с крестьянами (?)), *в значительной степени религия (!), общность государственной принадлежности (!)*»<sup>28</sup>.

Но как доказать хотя бы то, что именно «белорусский для литвинской шляхты был языком домашнего общения»? Например, такой де-

<sup>26</sup> См. об этом подробно: А. Д. Гронский. Конструирование образа белорусского национального героя из участника польского восстания 1863–1864 гг. Викентия Константина Калиновского // Русский Сборник: Исследования по истории России. Том XV: Польское восстание 1863 года. М., 2013.

<sup>27</sup> Пётр Глушковский. Ф. В. Булгарин в русско-польских отношениях первой половины XIX века: эволюция идентичности и политических воззрений. СПб., 2013. С. 35.

<sup>28</sup> Там же.

тально представленный личными свидетельствами его самоидентификации деятель, как Ф. В. Булгарин, ярко продемонстрировал, что дополнительная к его польской и имперской идентичности региональная «белорусско-литвинская» (у белорусских авторов она превращается в первую, а у польских примордиалистов сопровождается домыслами о болгарской и албанской генетике) не достигает качественного уровня *польскости*, обрекая белорусских «конструкторов» тщетно противопоставлять фундаментальным факторам польской идентичности (миссия, статус, язык, религия) — разного рода территориализмы. Но и здесь конструируемая этничность бессильна преодолеть сословно-социальные границы. Урождённый как польский шляхтич в поместье возле Минска, Ф. В. Булгарин ясно показал, что для представителей его сословия не было никакого выбора между его польским существом и «литвинским» географическим и социальным локусом. Он, крайний польский патриот и поклонник Т. Костюшко, писал о себе, что территориально «принадлежит к одной из древнейших боярских фамилий Малой России, или тогдашней Руси Белой...». А его биограф-современник, фокусируясь на *бедности* семьи, отмечал: «были Булгарины богатые и очень бедные. Фаддей Булгарин принадлежал к последней категории и был белорус»<sup>29</sup>.

Так только вне культурных и сословных пределов шляхты и *польскости*, если угодно, и можно было найти русско-белорусскую (крестьянскую) бедность и литовско-белорусское (сельское) «литвинство». Достаточно ли было быть бедным и православным сельским жителем польской Литвы, чтобы выстроить свою, отличную от русской, литовской и польской, — белорусскую идентичность без национальной школы, без национальной литературы, без национальной элиты? Ясно, что нет.

Закончив с экскурсом в двойную идентичность польской шляхты Литвы, продолжим извлечение из труда В. М. Кабузана положений, проливающих свет на заявленные проблемы. Фундаментальный этнодемографический контекст Прибалтики, описанный автором книги, таков:

<sup>29</sup> Там же. С. 5, 19, 31, 32. Убедительные аргументы в пользу польскости Ф. Булгарина, опирающиеся на его личный выбор тем творчества, языка, конфессии, см. в рецензии на эту книгу: Людмила Лаптева. Новый взгляд на Фаддея Булгарина // Родина. М., 2013. № 8. С. 70.

- (1) низкий по сравнению со средним в Российской империи естественный прирост «коренных» в понимании В. М. Кабузана этносов (т.е. литовцев, латышей, эстонцев)<sup>30</sup>;
- (2) с конца 1860-х гг. — высокая эмиграция за рубеж евреев и литовцев преимущественно из Ковенской и Сувалкской губерний;
- (3) вплоть до 1914 г. — низкий механический (миграционный) прирост населения, низкий механический отток (миграция) в другие регионы империи.

Помещение этнодемографической сложности населения региона в больше глубокий диахронический контекст прямо отсылает к тому времени, когда экспансия польско-литовской Речи Посполитой на Западную Русь и далее, мобилизуя в ряды своей шляхты и военных сил её население наряду с населением Малой Руси, в итоге достигло сердцевины Московской Руси. Здесь оно наткнулось на внутрирусские этнографические территории старой Владимиро-Суздальской Руси (ранее расширение ВКЛ касалось только Смоленска, Тулы и Верховских княжеств, в верховьях Оки западнее и южнее Москвы). В годы Смуты начала XVII века эта активная польская военная, административная и династическая экспансия заставила русских дать себе отчёт о двойственности понятий «поляков» и «литвы» как имени приходящего из Речи Посполитой племени. Современный авторитетный историк русской Смуты начала XVII века Б. Н. Флоря предпринял специальное исследование «Образ поляка в древнерусских памятниках о Смутном времени», проанализировав современным событиям базовый образ того, что в дальнейшем будет наследоваться, тиражироваться и уточ-

<sup>30</sup> Лишь в одном месте В. М. Кабузан оговаривается, имея в виду литовцев, латышей и эстонцев: «основные народы Прибалтики (кроме поляков и шведов)» (с. 12). Всюду по тексту и в таблицах под названием «численность и удельный вес коренного населения» следуют в динамике за 1795–1989 гг. лишь данные о литовцах, латышах и эстонцах (с. 27, 64, *passim*). Что же получается: даже если абстрагироваться от зафиксированной самим автором двойной, переходной и не сложившейся ещё идентичности, — поляки, евреи, русские/белорусы и немцы, прожившие на территории Прибалтики по несколько сотен лет — не коренные? Излишне говорить, что именно это различие в практике правящих ныне в Латвии и Эстонии этнократий явилось теоретическим фундаментом для построения режима политического апартеида в виде массового безгражданства по этноязыковому признаку и ксенофобии, преимущественно выраженной в русофобии, а также для государственного прославления гитлеровских коллаборационистов из числа литовцев, латышей и эстонцев, в 1941–1945 гг. принявших участие в геноциде евреев, русских, белорусов, украинцев и поляков.

няться. Его выводы заставляют нас, во-первых, с ещё большим основанием отместить нынешние «нациетворческие» вымыслы о белорусских «литвинах» — и, главное, вновь оценить историческую глубину этнически-территориальной двойственности/тройственности идентичности населения в исследуемом регионе. Б. Н. Флоря резюмирует:

«В нашем распоряжении вовсе нет свидетельств, которые позволили бы говорить о каких-то отличиях “поляка” в сознании русского общества от других обитателей Речи Посполитой. Правда, в большинстве источников для обозначения жителей этого государства употребляется два разных термина: “поляки” и “литва” (или “польские и литовские люди”), однако в научной литературе уже отмечено, что авторы времени Смуты не видели между этими терминами никакой разницы, они выступали одними и теми же эпитетами и, скорее всего, воспринимались как синонимы. Кроме “поляков” и “литовцев” в границах Речи Посполитой проживали в немалом количестве предки современных украинцев и белорусов — “русский народ”, по терминологии того времени, которые говорили на языке, сходном с языком жителей России, и исповедовали ту же веру. Среди жителей речи Посполитой, появившихся на русской территории в годы Смуты, таких людей было немало. Один из польско-литовских гетманов тех лет, Ян Петр Сапега, писал в начале 1611 г.: “У нас в рыцарстве **большая** половина русских людей”. Но об участии в событиях Смуты “русских людей” из Речи Посполитой в дошедших до нас памятниках не говорится ничего. С редкой последовательностью пришедшие из Речи Посполитой войска именуются как “польские” или “литовские” люди, с которыми... у жителей России нет и не может быть ничего общего. Буквально несколько единичных упоминаний нарушают эту общую картину, показывая, что в России знали о том, что в Речи Посполитой живут не только “поляки” и “литовцы”, но “русские люди”, но о какой-либо их роли в событиях Смуты никак и нигде не говорится. Единственная группа населения Речи Посполитой, которая подчас фигурирует в памятниках как участник событий Смуты в одном ряду с “поляками” и “литовцами”, — это запорожские “черкасы”; но в этом ряду они никак не выделяются, а подчас и сами запорожцы в русских текстах этого времени определяются как “литва”...»<sup>31</sup>

<sup>31</sup> Б. Н. Флоря. Польско-литовская интервенция в России и русское общество. М., 2005. С. 381–383.

Впрочем, демографически выраженное в классификации по языку признание факта неопределённости, неокончателности, «поливалентности» этнических характеристик местного населения — не только традиционно для науки, но и было присуще ей и тогда, когда она была в наибольшей степени встроена в простые политические схемы (в СССР) и когда процесс принудительного «упрощения» этничности, подчинения её политической титульности, то есть ассимиляции (в Польше и Литве), был ещё в самом разгаре.

Широко известно, что основатели коммунизма, чьим именем было принято освящать все принципиальные решения коммунистической власти в СССР, традиционно выступали сторонниками независимости Польши в первую очередь от Российской империи. Они исходили из того, что независимая Польша станет серьёзным препятствием на пути влияния России на европейские дела, в которых, по их мнению, она выступала главным политическим и военным оплотом реакции, естественным союзником германского милитаризма, главным врагом европейского и мирового прогресса. Поэтому польскому «народу-революционеру» Маркс и Энгельс отводили особую роль именно как целому, не считаясь с его классовой структурой. Но по ряду причин, в исследование которых здесь нет места погружаться, к началу 1890-х гг. Энгельс не только испытал разочарование в подлинной революционности польского движения за независимость как такового, но и подвинулся в сторону признания мотивов участия России в разделах Польши в конце XVIII века, в ходе которых к России отошли те земли, что позже описывались в этнографических категориях как Литва, западная Белоруссия и западная Украина, и констатировал вероятность двойственной идентичности населения этих земель по аналогии с Эльзасом. Он писал известной русской марксистке В. И. Засулич 3 апреля 1890 года:

«Я признаю, что, например, раздел Польши освещается совершенно иначе с русской точки зрения, чем с польской, сделавшейся точкой зрения Запада. Но, в конце концов, я должен в равной мере считаться и с поляками. Если поляки претендуют на территории, которые русские вообще считают приобретёнными навсегда, русскими по своему национальному составу, то не мне решать этот вопрос. Я могу только сказать, что, по-моему, заинтересованное население должно само определить свою судьбу — со-

вершенно так же, как эльзасцы сами должны будут выбирать между Германией и Францией»<sup>32</sup>.

Русский и советский историк, первый ректор Белорусского государственного университета в Минске (1921–1929) В. И. Пичета (1878–1947) после присоединения Западной Белоруссии и Западной Украины к СССР выступил с очерком, в котором нарисовал «картину вековой эксплуатации народов этих стран (! — М. К.) под двойным гнётом (классовым и национальным) и борьбы против польских панов вплоть до окончательного освобождения братской Красной Армией от всякого гнёта». Здесь он затронул и проблему этничности местного населения: «При всех недостатках переписи 1897 г., она всё же дала относительно верную картину этнографического состава Западной Белоруссии, хотя часть населения, называвшая себя поляками, состояла в сущности из белорусов-католиков». В отличие от имперской переписи (по языку), её национальный расширенный аналог (по языку и по конфессиональной принадлежности) вызвал критику историка, сразу определившего его ассимиляторский смысл. При этом белорусский советский историк фокусируется на ассимиляции белорусов, игнорируя литовское население в составе католиков Виленщины, оставляя в стороне польско-литовское противоборство и претензии Литвы на Виленский край, который он включает в состав Западной Белоруссии:

«В 1919–1921 гг. польское правительство произвело перепись населения в Западной Белоруссии — в воеводствах Виленском, Белостокском, Новогрудском и Полесском, т. е. в значительной части быв. Виленской, Гродненской и Минской губерний. По данным переписи, в четырёх воеводствах католики составляли 43,2% всего населения, православных было 43,5%, старообрядцев — 12%, прочих вероисповеданий — 1,3%. Произведя перепись, польские статистики при её обработке применили метод, который никогда не применялся в статистике: они положили в основу определения национальности вероисповедальную принадлежность. Поэтому все католики были причислены к полякам, а православные — к белорусам. Благодаря такому приёму, например, приеманское население Западной Белоруссии оказалось, по польской статистике, исключительно польским...».

<sup>32</sup> Переписка К. Маркса и Ф. Энгельса с русскими политическими деятелями / Под общ. ред. П. Н. Поспелова. М., 1951. С. 314–315.

При этом историк сообщал, что «в Западной Белоруссии поляков насчитывается только от 2,5 до 5%»<sup>33</sup>. Что же касается отдельно православного литовско-белорусского населения Виленского края в годы его принадлежности межвоенной Польше, то современный русский исследователь сообщает, что «приходы, находящиеся в оккупированном Польшей так называемом “Виленском крае”, были в большой степени насильно присоединены к Польской Православной Церкви». Здесь «процесс насильственной колонизации и “пацификации” продолжался вплоть до поражения Польши во Второй Мировой войне в 1939 г. Данный процесс выливался не только в ограничении миссионерской, благотворительной, образовательной и иной деятельности Православной Церкви, но и в передаче множества церковных зданий католикам и униатам, а также в прямых репрессиях против тех представителей православного духовенства, которые резко критиковали действия польских светских и церковных властей и сохраняли каноническую принадлежность Русской Православной Церкви»<sup>34</sup>.

Необходимо также отметить принципиальное единство выше изложенной позиции советской, сталинской «исторической политики», которая — вслед за двадцатилетней борьбой СССР против традиционного регионального империализма Польши в 1920–1930-х гг. (в том числе — с помощью национального советского строительства) — аргументировала отчленение от Польши её иноплеменных окраин, с государственно-имперской частью русской политической эмиграции, которая в ней доминировала и выступала в целом единым фронтом в защиту территориальной целостности Исторической России — равно с большевиками или без большевиков<sup>35</sup>. Нелишне добавить, что

<sup>33</sup> В. Пичета. Основные моменты исторического развития Западной Украины и Западной Белоруссии. М., 1940. С. 121–122.

<sup>34</sup> И. В. Петров. Православная Балтия 1939–1953 гг.: период войн, репрессий и межнациональных противоречий. СПб., 2016. С. 304. После того как Виленский край был силами СССР присоединён к Литве и как закончилась антигитлеровская война на территории Литовской ССР, после 1945 года «существенных национальных противоречий внутри православных приходов в Литве замечено не было» (С. 316).

<sup>35</sup> Ярче всего эта позиция эмиграции проявилась во время Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. против Гитлера, когда русские коллаборационисты Гитлера в его борьбе против СССР/России в итоге остались в эмиграции в меньшинстве, и после войны — когда США приложили особые усилия к консолидации русской политической эмиграции на платформе национального

выше указанный этнографический принцип формирования территорий новых государств в Европе, программно выдвинутый президентом США Вудро Вильсоном, был принят для Польши и союзниками США по Первой мировой войне. В конце 1919 года, исторически посреди войн Польши за присоединение к себе украинских, белорусских и литовских бывших окраин (кресов) Речи Посполитой, Верховный совет Антанты установил, а глава МИД Великобритании Дж. Керзон объявил официальной нотой линию восточных границ Польши таким образом, что не только этнографические украинские и белорусские территории оставались вне этих границ, но и населённые польским большинством города Вильно и Львов (но окружённые уже более сложным сельским населением) также отделялись от Польши. Бывший председатель Временного правительства России А. Ф. Керенский так отреагировал на сведения о Рижском мирном договоре, подписанном 18 марта 1921 года советской Москвой и её сателлитами после неудачной для неё советско-польской войны 1920 года, — в словах Керенского и ныне легко узнаваема единая логика советской критики польского националистического империализма:

«Польша уже давно, упорно и настойчиво ведёт в Европе кампанию против “линии Керзона”, устанавливающей справедливую по отношению к России границу Польши на востоке. (...) По Рижскому договору Польша дополнительно, за “линией Керзона”, включает в свои пределы 15 уездов — Волынской, Гродненской, Виленской и Минской губерний — *целиком* и отдельные *части 11 уездов* губерний — Волынской, Минской, Виленской и Витебской (...) На этих землях живёт 6 миллионов 700–750 тысяч жителей. Кто они? (...) на 7 миллионов жителей приходится *лишь около 300–400 тысяч поляков!* Да, да, это так! Правда, пользуясь всеми изощрениями всяческих статистических исчислений и прибегая к самым

---

расчленения СССР/России, но не встретили достаточной поддержки. Об этом последнем периоде подробно на примере личной политической судьбы А. В. Тырковой-Вильямс и Ф. А. Степуна в недавних исследованиях: *Ф. А. Гайда, М. А. Колеров. [Рец.]: Русский либерал на встрече с историей: Наследие Ариадны Владимировны Тырковой: Дневники. Письма / Сост. Н. И. Канищева. М., 2012 // Русский Сборник: Исследования по истории России. XIX. М., 2016; Кристиан Хуфен. Мюнхенская свобода: эксперт по России Фёдор Степун в период холодной войны // Исследования по истории русской мысли. 13. Ежегодник за 2016 год. М., 2017.*

остроумным историко-этнографическим соображениям, польская делегация в Риге доводит количество проживающих в данных областях поляков до миллиона. Допустим на минуту, что эта цифра точна. Что из этого следует? (...) несомненно, что на землях, отторгаемых от Российского государства, живёт население *не польской национальности*. А какой же? Князь Сапега [глава МИД Польши] отвечает на это весьма определённо, но чрезвычайно своеобразно. “На отходящих от России к Польше землях, — говорит он, — живут *поляки, сознающие себя поляками*”, и прочее население, “*не обладающее никаким национальным чувством*”. Попросту — “быдло”?! Сырой материал, чернозём, на котором “поляки сознающие себя поляками”, будут безвозбранно насаждать и выращивать свою польскую культуру! Не так ли?! А если вспомнить что эти 4% “сознающих себя поляками” являются по преимуществу местными помещиками, а прочее без роду, без племени человеческое стадо состоит, почти поголовно, из “мужичья”, то можно себе легко представить картину будущих отношений между победителями и побеждёнными. И здесь начнётся, как в восточной Галиции, *насильственная полонизация* путём так называемой “колонизации”, т.е. путём систематической экспроприации земли из рук местного населения для передачи её полякам, выходцам из коренной Польши. Не хотят ли в Варшаве стать достойными учениками своих прусских учителей-поработителей? (...) кто же эти крестьяне, сидящие на русских землях и “не обладающие национальным чувством”? Загадки тут в действительности-то никакой и нет. Эти крестьяне — белорусы и украинцы. (...) Никогда Рижский договор не станет гарантией длительного мира! Никогда он не “послужит основой доброго соглашения с Россией”! Рижский мир — не мир “компромисса”, как утверждают официальные представители Польши, а *мир насилия и национального угнетения*. Он не только является источником великих испытаний для России. Он не только может вызвать новые величайшие бедствия для Польши. В нём таится весьма *серьёзная угроза спокойствию и миру всей Европы...*<sup>36</sup>.

Возвращаясь к методам этнического конструктивизма, которые применяла польская этнократия на окраинах Польши, следует отдельно отметить, что, «этнографический материал» для польской этнической

<sup>36</sup> А. Ф. Керенский. О Рижском мире // А. Ф. Керенский. Дневник политика / Сост. Т. Ф. Прокопова. М., 2007. С. 219, 221–223 (27 февраля 1921).

инженерии действительно часто оставался поливалентным, как минимум — двойственным, что открывало для любой власти возможности для двух главных сценариев этнографического управления: демократического и справедливого достраивания преимущественно сельской культуры меньшинств до её городских, индустриальных, современных национальных высот — или принудительное подавление культурного развития меньшинств, локализация его в пределах социального «низа», обусловливание его социальной мобильности непременной ассимиляцией. Поэтому важнейшим, но недостаточно акцентированным самим В. М. Кабузаном выводом из его исследования мне представляется зафиксированная им **двойственность массового (крестьянского) этнокультурного самосознания**, явленная в двойных самоназваниях и двуязычии. В современной научной литературе есть и адекватно более решительная формулировка, описывающая реальность местного населения Западного края Российской империи: «для большей части XIX века консолидированных национальных идентичностей у крестьянских в основном масс этого населения не было»<sup>37</sup>. В этом пространстве ещё не сложившейся идентичности, на мой взгляд, и лежит главная основа, предпосылка конкурентной борьбы между поляками и литовцами за распространение своей идентичности на подвластное население, и в этом — корень прежде упомянутых споров о первородстве. Несмотря на вменения, в исторической, а не книжной, реальности перед шляхтой так и не возникло реального выбора: быть ли ей польской или нет, а все редкие акты воображения себя «белорусом» (хоть польским идеологическим «сарматом»!) не вышли за пределы индивидуального театра (вновь вспомним К. В. Калиновского и его «белорусскую» агитацию) и остались маргинальными. А вот значительная часть огромного крестьянского большинства оставалась объектом для шляхетского воздействия, но в годы кризисов и кровопролития, ценой жизни и сопротивления подтверждало свою *непольскую* веру и общерусскую идентичность. А затем, с годами, по мере развития церковно-приходского и земского просвещения, получив свою низовую сельскую интеллигенцию, всё более открывалась *нешляхетской, то есть не польской*, этнической пропаганде, этническому выбору или даже этническим репрессиям и манипуляциям.

<sup>37</sup> Алексей Миллер. Империя Романовых и национализм. Эссе по методологии исторического исследования. М., 2008. С. 31, прим. 35.

Российский историк А. С. Кибинь, в прямое опровержение белорусским «конструкторам» и модернизационному пафосу В. М. Кабузана (который обнаруживает, несмотря на собственные же данные об отсутствии «белорусов» как самоидентификации, этот этнос на протяжении всего XIX века), так формулирует итог современной польско-белорусской историографии вопроса: до середины XIX века «мы не найдём упоминаний о белорусском народе в массовых документах — по-прежнему все православные жители ВКЛ и Короны считали себя одним русским народом», даже термин середины XVII в. «белорусцы»<sup>38</sup> был понятием московского делопроизводства, а не самоназванием для жителей востока ВКЛ — Белой Руси. «Причиной, по которой в новое время не возникло белорусской нации, была не слабость национального самосознания населения Белоруссии, а наоборот — его сильная русская или литовская идентичность», в итоге — в конце XIX века **«белорусами стали не столько те, кто видел себя таковыми, а те, кого видели белорусами, и в первую очередь этнографы, историки и власти Российской империи»**, — заключает историк<sup>39</sup>.

Труд В. М. Кабузана позволяет проследить в динамике, как вокруг дат двух польских восстаний и по их дальним итогам, с середины XIX по начало XX века, в сравнении с более стабильной долей латышей и эстонцев на их этнографических территориях (особенно эстонцев в первоначально немецком Ревеле: см. Таблицу 1)<sup>40</sup>, доля литовцев рос-

<sup>38</sup> См. об этом также: Б. Н. Флоря. Польско-литовская интервенция в России и русское общество. М., 2005. С. 409.

<sup>39</sup> А. С. Кибинь. Нация и её имя (Łatyszzonek O. Od Rusinów Białych do Białorusinów. U źródeł białoruskiej idei narodowej. Białystok, 2006) // Белорусский сборник. Статьи и материалы по истории и культуре Белоруссии. Вып. 4 / Отв. ред. Н. В. Николаев. СПб., 2008. С. 206–208.

<sup>40</sup> Составлено по данным В. М. Кабузана: С. 59–60. Примечательный факт из истории переписи 1897 года: «городская дума Ревеля, делами в которой заправляла “немецкая партия”, постаралась установить полный контроль над проведением переписи. Со страниц местных газет она обратилась к жителям с призывом выразить в переписи своё “патриотическое чувство”. Этот эпизод следует рассматривать в контексте идущего пересмотра привилегий прибалтийских немцев, чья гегемония была поколеблена в результате проведения в 1877 году реформы городского управления, которая обеспечила эстонцам, русским и латышам более широкое представительство в муниципальных органах. Городская дума желала закрепить “немецкий” характер города и восстановить прежние привилегии немцев. Благодаря статистике “немецкость” была теперь не только социальной или институциональной, но и демографической доми-

Таблица 1. Эстонцы и другие в Ревеле (%)

	1820	1834	1871	1887	1897	1913	1917
Эстонцы		42,4	51,8	57,4	68,7	71,6	57,6
Немцы	42,9	36,8					
Русские	17,8				10,2		25,6

Таблица 2. Литовцы, латыши и эстонцы по губерниям (1795–1917, %)

	Ревизия 1795	Ревизия 1834	Ревизия 185 <sup>43</sup>	Перепись 1897	Исчисления 1914–1917
<b>Виленская</b>					
Литовцы	Всего	17,8	19,2	17,6	12,3
<b>Ковенская</b>	62,6				
Литовцы		79,8	76,9	66,0	63,3
<b>Сувалкская</b>					
Литовцы	54,5	41,5	41,8	52,3	53,5
<b>Курляндская</b>					
Латыши	82,6	80,9	78,9	75,1	75,1
Литовцы	2,2	1,5	1,4	2,4	2,4
<b>Витебская</b>					
Латыши (Латгалыцы) <sup>44</sup>	16,2	19,0	17,7	17,7	18,6
<b>Лифляндская</b>					
Латыши	44,8	41,8	42,2	43,4	40,1
Эстонцы	47,5	46,6	46,1	39,9	36,8
Эстляндская					
Эстонцы	92,5	92,3	92,3	88,7	88,7

ла в Сувальской губернии Царства Польского (на 29%)<sup>41</sup> и резко падала в Виленской (более чем на 30%) и Ковенской (более чем на 20%) губерниях Литвы (см. Таблицу 2)<sup>42</sup>.

Главную роль в изменении *удельного веса* народов при росте их абсолютной численности в регионе играли, согласно выводам В. М. Кабузана, три фактора:

(1) очевидно, вызванная социальным гнѐтом эмиграция литовцев и евреев за рубеж;

(2) полонизация литовского и белорусского<sup>45</sup> населения в Виленской и Сувальской губерниях и (3) германизация литовского и польского в Восточной Пруссии (с. 31–32, 37, 47, 55).

---

нантой. «Немецкая партия» постаралась превратить перепись в своего рода референдум и вернуть Ревелю его национальную идентичность, на этот раз с помощью нового инструмента политической репрезентации — подсчёта немецкого населения города» (*Жюльет Кадио*. Лаборатория империи: Россия / СССР, 1860–1940 [2007]. М., 2010. С. 68).

<sup>41</sup> При этом в целом в Царстве Польском в начале XIX века доля литовцев была почти 7%, а в конце XIX века (в Привислянском крае) — чуть более 3% (с. 39). По данным переписи 1897 года, в населении Сувальской губернии литовцы составляли 52,3%, поляки — 23,0%, евреи — 10,1%, русские — 9,1%.

<sup>42</sup> Составлено по данным В. М. Кабузана: С. 112–113.

<sup>43</sup> У В. М. Кабузана описка: «Перепись: X (1897 г.)» (С. 112). Надо читать: «Ревизия: X (1858 г.)».

<sup>44</sup> Выделяя для этой губернии латгальцев (официально признававшихся этносом даже в Латвийской ССР вплоть до 1959 года), В. М. Кабузан всё же включает их в число латышей. С. 40.

<sup>45</sup> Об инерции и последствиях этого: «Белорусское этническое меньшинство в межвоенной Польше нередко отождествлялось с крестьянством, что в значительной степени соответствовало действительному положению вещей. Городское население Западной Белоруссии состояло преимущественно из евреев, поляков и русских, причѐм к последним относилось немало полонизированных и русифицированных белорусов.... Многочисленные попытки белорусских деятелей различной политической ориентации оживить национальное движение в деревне не имели сколько-нибудь заметного успеха». Более того: принудительная ассимиляция, похоже, убивала сначала саму волю к этничности, воспитывая в белорусах некую аэтничность: противопоставление местных далѐкому центру было обычным лозунгом белорусских политиков в Польше на парламентских выборах 1922 года, который они адресовали своим избирателям: «Хочешь, чтобы вся тутѣйшая земля досталась тутѣйшему трудовому крестьянству?... Хочешь автономии для нашего края со своим парламентом в Вильне?» (С. М. *Токть*. Динамика этнического самосознания крестьянского населения Западной Белоруссии в 1920–1930-х годах // Белоруссия и Украина: история и культура: ежегодник / Гл. ред. Б. Н. Флоря. М., 2005. С. 285, 296, 292).

Таблица 3. Основные этнические группы Виленского уезда (%)

	1858	1916	1919
Литовцы	27,0	15,9	7,5
Белорусы	30,0	2,5	Н. д.
Поляки	24,0	74,9	87,2

Эмиграция отчасти, несомненно, объясняет резкое падение доли литовцев в Ковенской и Виленской губерниях, но прямо и категорически противоречит данным о резком росте их доли в Сувалкской губернии. И поэтому мне представляется, что главным, наряду с важными другими, фактором роста /падения доли литовцев является перемена ими идентичности, вернее, отказа от двойственного самоопределения в пользу однозначного. Что было фактором такого выбора — принудительная или добровольная ассимиляция, то есть в данном случае полонизация? Это необходимо рассмотреть на уже указанном примере Виленской губернии, ставшей центром польской-литовской этнодемографической борьбы. В. М. Кабузан даёт важный материал для этого анализа (см. Таблицу 3)<sup>46</sup>, из которого, прежде всего, следует тот принципиальный факт, что полонизация **не была направлена специально против литовцев**, а затрагивала также и ещё более радикально и русских носителей белорусского языка, определяемых автором книги как белорусов.

В. М. Кабузан, комментируя эти данные, сообщает, что современные событиям исследования зафиксировали, что «на большей части Виленской губернии в начале XX в. **не отмечалось подъёма национального самосознания** литовцев и полонизация<sup>47</sup> шла полным ходом. Добавим, что по немецкой переписи 1916 г. в г. Вильнюсе поляки достигали уже 50,5% всего населения, а литовцы — 2,6%, а в Виленском уезде соответственно 71,9% и 15,4%» (с. 23, прим. 12). Важно, что куль-

<sup>46</sup> Составлено по данным В. М. Кабузана: С. 39, 56, 8. Ср. другие данные на 1916 год: по неназванным немецким источникам, в Вильне тогда в общем населении были — 50% поляки, 2,6% — литовцы, в Виленской губернии — поляки 90%, литовцы — 4,3% (А. Ю. Плотников. Прибалтийский рубеж: К десятилетию заключения российско-литовского договора о границе. М., 2009. С. 29).

<sup>47</sup> Слово исправлено: у автора здесь, вероятней всего, описка: «колонизация».

Таблица 4. Евреи, белорусы и русские в населении Вильно (%)

	2 пол. XIX	1897	1909	1916	1931
Белорусы		35,4	37,9		26,4
Русские		20,1	20,8		20,2
Евреи	44,8			43,5	

турное отступление литовцев перед конкурентным натиском поляков (вплоть до перемены этничности) ещё более заметно на примере населения города Вильно, где иные этносы — пока была жива Российская империя — смогли сохранить свою идентичность рядом с поляками (см. Таблицу 4)<sup>48</sup>. «Быстрая ассимиляция поляками коренного литовского населения на территории Виленской области (уезды Виленский, Троковский, Свенцянский) и бывшей Сувалской губернии (Сейненский) привело к тому, что уже в начале XX в. литовское (по языку) население составляло здесь не более четверти всех жителей и преобладали поляки и белорусы», — пишет В. М. Кабузан (с. 18). А имея в виду дальнейшее присоединение Виленского края к Польше, резюмирует: «в <19>30-е годы почти всё население здесь уже говорило преимущественно по-польски... именно в начале XX в. территория Виленского и Троковского уездов из литовской превращается в польскую<sup>49</sup> и остаётся таковой до депортации<sup>50</sup> отсюда поляков в 1946 г.» (с. 18, 39), но считает необходимым, не растолковывая смысла «исконности», добавить: «И в то же время это была исконно литовская земля» (с. 18).

Здесь следует сделать экскурс в область политических решений, которые принимали создатели независимой Литвы и конструкторы

<sup>48</sup> По данным В. М. Кабузана: С. 57; 83, прим. 30. По другим данным, население Вильно в 1926 году распределялось так: 56% — поляки, 36% — евреи, 4% — русские, около 2% — литовцы (А. Ю. Плотников. Прибалтийский рубеж. С. 51).

<sup>49</sup> На 27 мая 1942 среди жителей Вильнюса поляки составляли 71,9%, литовцы — 20,5%, русские — 4,2%. На 1 августа 1945: поляки — 82,7%, русские — 7,4%, литовцы — 6,9% (Как Вильнюс стал литовским...).

<sup>50</sup> Как видим, В. М. Кабузан тоже иной раз использует агитационно-политическую терминологию, говоря о послевоенной «депортации» (С. 13, 39, 68, 130) поляков из Литвы (или Виленского края) в 1940–1950-е гг.

её национальной территории: надо сразу сказать, что эта территория рисовалась ими таким образом, что чаемая Литва изначально обрекалась либо на федерализацию, либо на иную политическую форму многонациональности, либо на принудительную ассимиляцию национальных меньшинств. Лишне говорить, что на практике все новые национальные независимые государства 1920–1930-х гг. в итоге строили этнократии и делали ставку на принудительную ассимиляцию меньшинств. Дело в том, что в ряду тех бывших российских имперских регионов, на которые претендовала литовская Литва, были названы заведомо инонациональные или многонациональные территории (и таблицы в этом тексте это ярко иллюстрируют). В ноябре 1917 года в Воронеже Национальный совет литовцев России решил претендовать, кроме базовых литовских земель, также на Вильнюсскую, Сувальскую, часть Гродненской губернии. Впрочем, положение преимущественно *сельской нации* определяло низкую долю литовцев и в Ковно (Каунасе) — в конце XIX века там жило всего в общей численности населения города — 6,6% литовцев при 35,2% — евреев, 22,7% — поляков, 25,8% — русских и белорусов. В 1920 году на переговорах с Советской Россией делегация Литвы потребовала признания прав Литвы на всю Гродненскую губернию и часть Минской<sup>51</sup>.

В. М. Кабузан подробно описывает типичную этническую судьбу Виленского края в составе Польши в контексте Прибалтики 1920–1930-х гг., где процветала принудительная административная ассимиляция в интересах титульных наций:

«В 20–30-е годы XX в. отмечается весьма значительное изменение в этническом составе жителей региона. Увеличивается удельный вес коренных народов во всех республиках. В Литве удельный вес литовцев с 1914 по 1939 г. повысился с 53,5% до 72,3%, в Латвии латышей — с 64,8% до 74,9%, в Эстонии эстонцев — с 89,8% до 91,8%. Одновременно в регионе понижается доля большинства других народов... Очень сомнительно, чтобы за столь короткое время удельный вес и даже абсолютная численность ряда народов так сильно понизилась. Особенно это касается белорусов, которых

<sup>51</sup> Г. В. Кретинин. Формирование территории и населения современной Литвы // Вопросы истории. М., 2011. № 10. С. 122, 124, 129.

к концу <19>30-х годов **вообще почти не осталось**. Вряд ли так сильно могла упасть и доля евреев. Бесспорно, в Литве и в Виленской области, тогда принадлежавшей Польше, протекали интенсивные этнические процессы (ассимиляция литовцами и поляками представителей других этносов). Однако проводимые тогда там переписи явно “ускоряли” ход естественного процесса, включая всех “пограничных” людей в состав литовцев, а в Виленской области — поляков. Это было тем более возможно, так как в регионе тогда существовало значительное двуязычное и даже трёхязычное население. Как особая форма протеста против такого откровенного ускорения естественных этнических процессов в Клайпедской области появляются так называемые “жители Мемеля” (Memelländer), а во многих воеводствах Польши — “тутейшие”, “жители Карпат” (Karpatenländer) и т.д. В Латвии в 1914–1939 гг. резко снижается доля белорусов, литовцев, евреев, эстонцев, немцев, поляков. Удельный же вес русских в эти годы не претерпел изменений (было 9,6%). В Латвии в 1920–1930-е годы отмечается процесс быстрой русификации белорусов (особенно в Латгалии). Именно благодаря этому в республике не изменилась доля русских. И одновременно полным ходом идёт ассимиляция латышами евреев, поляков и литовцев» (с. 64–65).

Аналогична и хорошо описанная ассимиляционная политика властей межвоенной Польши в отношении своих других национальных меньшинств — русинов, украинцев и белорусов, которая носила ярко выраженный принудительный, прямо противостоящий естественным демографическим процессам характер.

В середине 1935 года политический департамент МВД Польши свидетельствовал, что, несмотря даже на административно управляемые и прямо сфальсифицированные переписи, официальные их данные показывали, что в Виленском и Новогрудском воеводствах с 1921 по 1931 год большинство перешло к белорусам. Для борьбы против этой демографической динамики МВД предлагало переселить на Восточные Кресы 100 000 польских колонистов и 200 000 пенсионеров. Особое внимание требовалось уделить укреплению идентичности местных поляков и новой ассимиляции тех, кто всё ещё демонстрировал избыточную этничность: «тутейших», католиков, признававших себя поляками, но дома разговаривавших на украинском и белорусском, то есть подчинившихся прошедшей ассимиляции лишь внешне. В 1937-м МВД Польши подготовило план доведения польского населения Восточных

кресов до «стабильного преимущества» в 56,2% путём не только колонизации (увеличения числа «осадников» — они, как известно, после Советизации Западной Украины и Западной Белоруссии стали для советской власти объектами приоритетного выселения с этих территорий), но и прямо выселения оттуда непольского населения либо «обмена» его на поляков. Вообще принудительная административная ассимиляция (полонизация) носила ярко выраженный социальный, экономический, иерархический, конфессиональный характер: ставилась задача полностью удалить из педагогических кадров белорусов, украинцев, русских, поляков, запретить продажу земли православным, исключить приверженность крестьян-католиков белорусскому языку и культуре, была на практике обеспечена абсолютная этническая монополия поляков в местной администрации и интеллигенции, среди владельцев хозяйств свыше 50 га и получателей земли по итогам parcelляции и т.п.<sup>52</sup>

Административный конструктивизм, вынуждавший население с неопределённой, или двойной, или социальной, или конфессиональной идентичностью делать (или признавать сделанный за него) выбор в сторону единственной идентичности, совершенно очевидно преследовал задачу территориального расширения этнического ядра страны (национального государства). Так было и в случае Польши, и в случае Литвы. Исследователь указывает, что именно языковой вопрос был центральным в этнографическом базисе государственного строительства. Произнесённые в ходе послевоенного устройства перед великими державами аргументы Польши в 1919 году и далее о принадлежности Виленского края Польше касались именно языкового вопроса как основы для административных решений: говорилось о том, что ещё в 1697 г. польский язык стал государственным для Литвы, а по конституции Речи Посполитой 1791 года Вильно перешел в прямое подчинение Варшаве. Наконец, после двадцатилетнего сопротивления, 19 марта 1938, Литва приняла ультиматум Польши и юридически «на вечные времена» отказалась от Вильно и Виленского края. И лишь государственная гибель Польши в сентябре 1939 года предопределила то, что 10 октября 1939 — по советско-литовскому договору Виленский край

<sup>52</sup> А. И. Вабищевич. Западноукраинские и западнобелорусские земли накануне Второй мировой войны // *Западная Белоруссия и Западная Украина в 1939–1941 гг.: люди, события, документы* / Отв. ред. О. В. Петровская, Е. Ю. Борисёнок. СПб., 2016. С. 10–18.

и Вильно переданы Литве: с населением 457,5 тыс. человек, в том числе были оперативно «обнаружены» около 100 тыс. литовцев<sup>53</sup>.

Современный литовский историк так резюмирует оперативную политическую реакцию властей Литвы на присоединение Виленского края, отражающую отнюдь не экспромт, а загодя продуманную и консенсуальную *историческую стратегию противоборства*:

«После инициированной Советским Союзом передачи Вильнюса Литве в октябре 1939 г. правительство Литвы начало его политическую, экономическую и культурную интеграцию. Эту интеграцию сопровождала системная кампания *литуанизации*, которую поддерживала большая часть общества Литвы. Её претворение в жизнь стимулировали как межвоенная вражда между Польшей и Литвой, так и местный этнический конфликт между литовцами и поляками. (...) В марте 1940 г. Литовское правительство лишило гражданства примерно 83 000 поляков, которые прибыли в Вильнюс в 1920–1939 гг. (в период пребывания Виленского края в составе Польши. — *М. К.*), в то же время подтверждая его всем остальным жителям страны... практический каждый четвёртый житель Вильнюса стал иностранцем»<sup>54</sup>.

Когда в 1944–1945 советские и польские социалистические власти начали обмен населением, в частности, между Польшей и Литовской ССР в интересах взаимной этнической консолидации и гомогенизации пограничных территорий, это затронуло и интересы тех национальных властей, кто и в новых, советских условиях намеревался проводить политику национального конструктивизма, продолжая ещё до-советские традиции административного нациестроительства и принудительной ассимиляции. Член партийного руководства в Литовской ССР писал московскому партийному руководству в это время:

<sup>53</sup> А. Ю. Плотников. Прибалтийский рубеж: К десятилетию заключения российско-литовского договора о границе. М., 2009. С. 29, 41–42. См. также: *Томас Балкелис*. Кризис военных беженцев и этнический конфликт в Литве в 1939–1940 гг. // Журнал российских и восточноевропейских исторических исследований. М., 2015. № 1 (6); *Александр Дюков*. От этнической высылки к депортации «опасного элемента»: литовские и советские депортационные акции в Литве, 1939–1941 гг. // Журнал российских и восточноевропейских исторических исследований. М., 2012. № 1 (4).

<sup>54</sup> *Томас Балкелис*. Кризис военных беженцев и этнический конфликт в Литве в 1939–1940 гг. [2007] // Журнал российских и восточноевропейских исторических исследований. М., 2015. № 1 (6). С. 35.

«считаю, что ещё не всё ясно в определении национальности живущего в районах Вильнюсской области населения, что не нужно торопиться с этим определением, что, по моему мнению, в районах Вильнюсской области так же, как и в смешанных районах Западной Белоруссии, в значительном большинстве проживают белорусы и литовцы, так называемые “тутейши”, за последние 30–50 лет ополяченные католическими ксендзами и политикой польского империализма. Кое-кто ошибочно называет их поляками только потому, что они исповедывают католическое вероисповедание, считают себя людьми “польской веры”, называют друг друга панами и разговаривают на смешанном польско-белорусско-литовском диалекте... Их нужно убеждать, что они сегодня являются гражданами советской страны, советской Литвы, хотя их разговорный язык и является польским языком»<sup>55</sup>.

Нет сомнения, что в описываемом здесь длительном польско-литовском конфликте речь идёт не столько об ускорении самоидентификации и ассимиляции в интересах титульного этноса, сколько о принуждении к выбору титульного этноса в качестве самоидентификации и, вполне вероятно, о фальсификации итогов переписи в политически «нужном» направлении (так, как это произошло в Литве в 2011 году, когда президент Литвы не согласилась с итогами общенациональной переписи, назвав их заниженными, и в результате данные были исправлены в сторону повышения<sup>56</sup>).

Одновременный описанным, процесс ассимиляции поляков в традиционно населённой ими части Восточной Пруссии (территории

<sup>55</sup> Цит. по: П. Блитстайн. Был ли Советский Союз колониальной империей? Сталинские антисемитизм и полонофобия в сравнительной перспективе // История сталинизма: Итоги и проблемы изучения. Материалы международной научной конференции. Москва, 5–7 декабря 2008 г. М., 2011. С. 589.

<sup>56</sup> Суть претензий президента Литвы к государственной статистике состояла в том, что предварительные данные переписи 2011 года показали общую численность населения страны заметно меньше 3 млн человек (в 1992 было 3,7 млн), то есть продемонстрировали символическую грань неутешительных итогов депопуляции, в основном за счёт массовой эмиграции на Запад (по официальным данным — 400 000, но эксперты называют от 700 000 до 1 млн). Президент Литвы Даля Грибаускайте публично и бездоказательно заявила, что данные переписи неверны и что общая численность населения должна быть больше 3 млн. После этого официальные данные переписи повысили итоговую цифру более чем на 100 000 человек и превысили (увы, ненадолго) 3 млн. Вскоре глава службы государственной статистики Литвы получила назначение генеральным консулом в Санкт-Петербург.

Пруссии, а затем — Германской империи) доказывает, что контекст жёсткой этнической конкуренции имел свои государственные рамки, диктовавшие её конкретное содержание, особенно при сравнении этнической динамики поляков в «самом польском» Виленском уезде Литвы с «самым польским» Алленштейнским округом Восточной Пруссии. Иначе говоря: наиболее успешной была принудительная административно-политическая ассимиляция, руководимая титульной этнократией: немецкая в Германии, польская в Польше, литовская в Литве, несмотря на то, что очень часто её инструментом выступали более всего социальная сегрегация и «этническая инженерия» (диктат, фальсификация, подкуп) во время переписей населения. Известно, что эмигрантское Лондонское правительство в 1943–1944 гг. в ходе обсуждения будущего устройства Европы после поражения гитлеровской Германии неизменно претендовало на присоединение к Польше всей немецкой Восточной Пруссии, то есть ранее, во время Варминско-Мазурского плебисцита 1920 года о присоединении не контролируемых Польшей южных районов Восточной Пруссии к Польше, абсолютное большинство местного польского населения проголосовало против присоединения. Это отражало уже фактически свершившуюся здесь ассимиляцию поляков или, как минимум, отсутствие у них общепольского сознания. Несомненным отражением этого факта был и прежде зафиксированный в начале XX века, когда Германская империя была на пике своего могущества, отказ польской физической антропологии от интеллектуальных претензий даже на теоретическое включение восточно-пруссских поляков в единый польский проект — они оказывались вне антропологического исследования, конструирувавшего единый физический «фундамент» польской нации<sup>57</sup>.

Итак, если в XIX — начале XX в. в Германии от немецкой ассимиляции страдали поляки (см. Таблицу 5)<sup>58</sup>, в Российской империи — от естественной польской ассимиляции страдали литовцы, то в 1920–1930-е гг. в независимой Польше (в Виленском крае) — вновь литовцы, на этот раз — от принудительной польской ассимиляции, в независимых Литве и Латвии от столь же принудительной ассимиляции — евреи, поляки и белорусы. Так культурно и политически активное мень-

<sup>57</sup> *Марина Могильнер*. Номо Imperii: История физической антропологии в России (конец XIX — начало XX в.). М., 2008. С. 281.

<sup>58</sup> Составлено по данным В. М. Кабузана: С. 48–49.

Таблица 5. Поляки и немцы Алленштейнского (Ольштынского) округа  
Восточной Пруссии (%)

	1858	1861	1890	1910	1925
Поляки	71,2	67,7	60,4	48,9	17,4
Немцы	28,8	30,2	43,2	50,4	82,3

Таблица 6. Некоторые национальные меньшинства  
в Прибалтике (1795–1939, %)

	1795	1858	1897	1914– 1917	1923– 1925	1939
<b>Литва</b>						
Поляки	9,0	6,2	10,1	12,5	13,1	10,9
Евреи	6,8	10,9	13,0	15,9	8,4	9,1
Белорусы и русские	10,2	12,1	14,0	14,0	13,1	5,1
Немцы	2,9	2,8	3,0	3,9	3,4	2,8
<b>Латвия</b>						
Поляки	2,0	2,7	3,4	4,4	2,8	3,6
Евреи	1,5	3,5	6,4	7,0	5,2	4,8
Русские, белорусы и украинцы	7,6	9,8	12,1	13,8	12,6	9,6
<b>Эстония</b>						
Евреи	—	—	0,4	0,6	0,4	0,4
Немцы	3,5	4,9	3,5	2,8	1,8	1,5
Русские, белорусы и украинцы	0,8	2,6	3,9	4,2	3,8	4,6

шинство на одной территории могло превратиться в доминирующую ассимилирующую силу, а на другой — напротив, стать объектом ассимиляции (см. картину меньшинств в Таблице 6)<sup>59</sup>.

Возвращаясь в историческую глубину, а именно в XIX век с его многократными попытками поляков (1812, 1830, 1863) вернуть себе независимую, но уже *национальную государственность на многонациональной территории*, мы должны поместить эти восстания в этно-демографический контекст бывших Восточных Кресов Речи Посполитой. В контекст, как уже было сказано, не до конца сформировавшейся, двойственной этничности, совпадающей с сословными и социальными рамками, где польская шляхта в целом противостояла литовскому и русскому (белорусскому и украинскому) крестьянству и еврейскому населению местечек. Можно предположить, что именно «господские» польский язык и отчасти католическая / униатская церковь для этого иноэтничного социального большинства служили критерием самоопределения<sup>60</sup>. И иерархически более высокое положение *польскости* делало её социально, по крайней мере, отчасти чуждой для более «низкого» и ещё не полонизированного крестьянского большинства Восточных Кресов, оставляя простор для соединения этой чуждости с очевидной социальной рознью между крестьянами и шляхтой. Известно, что именно эта не сформированная до конца, *социальная* этничность, не пережившая ещё полной ассимиляции, и образовывала пропасть между восстававшими польскими властями и шляхтой. Да и трудно было полякам (за исключением Виленского края) на Восточных Кресах даже в перспективе рассчитывать на этническую солидарность в деле национального освобождения, там, где даже в более позднее время доля поляков была крайне невелика: например, по переписи 1897 года, в белорусской Гродненской губернии поляки (вернее — назвавшие польский язык родным!) составляли всего 10,1%, в то время как евреи — 17,4%, а в украинской Волынской губернии — поляки составляли 6,2% (ср.: немцы — 5,7%), в то время как евреи — 13,2% (при этом естествен-

<sup>59</sup> Там же. С. 124–129.

<sup>60</sup> Исследователь приводит свидетельство того, как во время проведения переписи 1897 «униаты придавали большое значение лингвистическому маркеру и потому требовали, чтобы перепись производилась на польском языке: они боялись, что, если они будут отвечать на вопросы по-русски, их отнесут к православным, а не католикам» (Жюльет Кадио. Лаборатория империи: Россия / СССР, 1860–1940 [2007]. М., 2010. С. 66).

ный прирост евреев традиционно был кратно выше, чем у других групп населения)! И, по-видимому, здравый смысл польской общины именно поэтому после 1863 года направил её культурно-демографические усилия в сторону ассимиляции литовцев и белорусов там, где к этому сложились особые предпосылки, — в Виленском крае.

Вольно или невольно уничтожаемая таким образом — в интересах разнообразного, конкурентного национального и государственного строительства — этнокультурная сложность региона с появлением независимых государств стала главной жертвой их рациональной государственной «биополитики». Но не уничтожила социальной нужды и стимулируемой ею эмиграции, превратив их в один из факторов конкуренции, которую власти использовали или преодолевали, строя этнически более гомогенные общества (вплоть до изгнания немцев в конце 1930-х из Латвии и Эстонии и истребления евреев в 1941–1944 гг. в Литве, Латвии и Эстонии, начатого местными этническими властями ещё до прихода гитлеровских оккупантов).

В. М. Кабузан приводит данные об огромных миграционных потоках в Прибалтике 1920–1930-х: из Литвы (без Виленского края и Мемельского края) в 1920–1940 гг. в основном в США, Бразилию и Аргентину официально эмигрировало 102,4 тыс. человек, из них 85% — в 1920-е гг., из них треть — евреи (при том, что в населении евреи составляли всего 10%) (с. 62)<sup>61</sup>. В 1919–1924 гг. в Латвию прибыло около 230 тыс. эмигрантов, в том числе 96% из России (с. 63). Финальные факторы уничтожения этнической сложности, перечисляемые историком, таковы (с. 67–68):

(1) *истребление и эмиграция: фактор практически необратимый* — «В 1943–1944 гг. из Эстонии, Латвии и Литвы с отступающими немецкими войсками ушло в Германию 165 тыс. человек, Бельгию — 35 тыс., Швецию — 30 тыс. Сверх того, в 1942–1943 гг. из Эстонии в Швецию уехали все проживающие там шведы (более 6 тыс. чел.). Таким образом, общий отток населения составил почти 240 тыс. чел.

<sup>61</sup> Эти процессы аналогичны и вытеснению евреев и из межвоенной Польши: «доля евреев среди эмигрантов из Польши значительно возросла — с 10,8% в середине 1920-х годов до 36,6% (в Полесском и Белостокском воеводствах — до 40–50%) в середине 1930-х годов... По разным оценкам, всего в течение 1920–1930-х годов из Польши выехало от 334 тыс. до 395,2 тыс. евреев» (А. И. Вабищевич. Западноукраинские и западнобелорусские земли накануне Второй мировой войны. С. 20).

Однако по данным Чрезвычайной государственной комиссии СССР по состоянию на 1 марта 1946 г., в Германию на работу было отправлено [из Прибалтики] 415,4 тыс. чел... Сверх того немцы [при соучастии местных литовцев, латышей и эстонцев. — М. К.] уничтожили в Прибалтике 811,6 тыс. чел. мирных жителей (в том числе около 350 тыс. евреев) и 624 тыс. военнопленных. А всего убыль составила по грубым расчётам около 1,7 млн. чел, что составило 28% всего населения трёх прибалтийских республик (6 млн чел. в 1939 г.)<sup>62</sup>;

(2) *ссылка: фактор в большей части обратимый, за исключением естественной и повышенной смертности репрессированных*, — «на 1 января 1953 г. на спецпоселении находилось около 200 тыс. коренных жителей Прибалтики, высланных оттуда [в дальние районы СССР] в 1940–1951 гг.»<sup>63</sup>;

(3) *репатриация части поляков* — фактор не репрессивный, несмотря на то, что В. М. Кабузан терминологически относит его к репрессиям, говоря о «депортации» около 200 тыс. поляков из Литвы в Польшу (около половины, в 1959-м в Литовской ССР оставалось 230 000 поляков).

Таким образом, в истории польской Литвы была поставлена промежуточная пауза: если Российская империя была практически бессила противостоять внутриимперскому «прозелитизму» поляков, то СССР приложил усилия к тому, что польская экспансия на Виленский край была ослаблена изнутри и извне прекращена, но не решил и не мог решить исторического спора о том, кто кого в наибольшей степени принудительно ассимилировал и кто кому «возвращал» утраченную идентичность. В исторической конкуренции за землю и за людей и Польша, и Литва действовали в рамках своих возможностей, но принципиально одинаково.

<sup>62</sup> Другой исследователь сообщает оценочно: в 1941–1944 гг. на территории Литвы гитлеровцами и коллаборационистами было уничтожено около 500 000 гражданских лиц и 200 000 военнопленных, при освобождении Литвы от оккупантов в 1944–1945 гг. погибло 138 000 воинов Красной Армии (А. Ю. Плотников. Прибалтийский рубеж. С. 25).

<sup>63</sup> В последние годы вокруг точных данных о советских репрессивных депортациях из Прибалтики опубликована обширная критическая литература с опорой на архивные данные НКВД/МВД СССР. Это — тема отдельного очерка.

# **ИЗМЕРЕНИЯ МАССОВЫХ РЕПРЕССИЙ И «НОВЫЙ КУРС» А. П. БЕРИЯ В СОВЕТСКОЙ ПРИБАЛТИКЕ**

«Архивная революция» (понятие В. А. Козлова<sup>1</sup>), свершившаяся в России в начале 1990-х гг. после известного указа президента России Б. Н. Ельцина, призванного обеспечить свободный доступ к архив-

---

<sup>1</sup> В. Козлов, О. Локтева. «Архивная революция» в России (1991–1996) // Свободная мысль. М., 1997. №№ 1, 3, 4. Обзор первых итогов этой «архивной революции» см. в: Открытый архив: Справочник опубликованных документов по истории России XX века из государственных и семейных архивов (по отечественной периодике) / Сост. И. А. Кондакова. М., 1997. Теперь русская историография по этой теме фактически необозрима, а иностранная уже конкурирует с ней не в области политических оценок, а в собственно научной сфере: источникеведении и новых интерпретациях (В. И. Меньковский. Англоязычная историография социальной истории сталинизма после «архивной революции» // История России: Исследования и документы. Материалы Международной научной конференции «Архивные документы в системе объективного научного знания по истории России», 19 ноября 2010 г. / Сост. И. А. Анфертьев, Ю. С. Цурганов. М., 2011).

ным материалам о политических репрессиях<sup>2</sup>, фактически затронула, в первую очередь, историю СССР сталинского времени, в наибольшей степени наполненного репрессиями. И «архивная революция» стала научной, источниковедческой революцией в изучении истории СССР, введя в научный оборот тысячи томов новых документов, породив сотни томов новых исследований. В первое время, вспоминают исследователи сталинской статистики и репрессий, против политических и публицистических оценок масштабов репрессий архивная статистика выглядела заниженной.

Возникла некоторая зачарованность глубинами всегда ранее секретных данных о советской макроэкономике, советской микроэкономике и миллионах персональных данных её строителей и жертв. Демагогические споры отечественных и западных критиков СССР о количестве жертв, словно соревновавшихся в том, кто выкрикнет **большую** цифру, оставляли мало места для науки, и сами под науку мимикрировали всё меньше (за редким исключением в лице публи-

<sup>2</sup> Указ президента РСФСР № 658 от 23 июня 1992 года «О снятии ограничительных грифов с законодательных и иных актов, служивших основанием для массовых репрессий и посягательств на права человека»: «1. Рассекретить законодательные акты, решения правительственных, партийных органов и ведомственные акты, служившие основанием для применения массовых репрессий и посягательств на права человека, по вопросам: организации и деятельности общих и специальных судов, внесудебных органов, а также органов внутренних дел и государственной безопасности в области применения мер государственного принуждения; организации и деятельности исправительно-трудовых учреждений, администрации мест поселения, режима отбывания различных видов наказания; установления уголовной и других видов юридической ответственности, применения репрессий в административном порядке (насильственного выселения из мест проживания, направления в ссылку, на спецпоселение и др.); применения принудительного труда, в частности мобилизации в военизированные трудовые формирования с ограничением свободы; применения различных мер принуждения и ограничения прав в отношении бывших военнопленных и интернированных из числа советских и иностранных граждан, лиц без гражданства; помещения лиц на принудительное лечение в психиатрические лечебные учреждения. 2. Перечисленные в пункте 1 настоящего Указа нормативные и иные акты подлежат рассекречиванию независимо от времени их издания. Снять с этих актов ограничения на ознакомление с ними и их публикацию. Рассекречиванию подлежат также сведения о числе лиц, необоснованно подвергшихся наказаниям в уголовном и административном порядке и иным мерам государственного принуждения за политические и религиозные убеждения, по социальным, национальным и другим признакам, протоколы заседаний внесудебных органов, служебная переписка и другие материалы, непосредственно связанные с политическими репрессиями...».

цистов вроде Бориса Соколова<sup>3</sup> или авторов французской «Чёрной книги коммунизма» (1997), ведущих войну против Сталина в духе «абличительных» 1980-х годов). Бесценно признание руководителя правозащитного и исследовательского антисталинского общества «Мемориал» Арсения Рогинского о порождённом — в полном соответствии с логикой «заколдованного круга» (*circulus vitiosus*) — антикоммунистической пропагандой общественном запросе на максимально высокое число жертв сталинизма, приведшее не только к инфляции данных, но и к политически мотивированному умолчанию о реальности — из уст тех, кто требовал от коммунистов «всей правды». А. Б. Рогинский публично признался, когда пик «всей правды» уже прошёл: «В начале 90-х я довольно много занимался статистикой советского террора... Году в 1994-м я все изучил, все расписал и сложил. Дальше — нужно было публиковать. (...) И вот цифра итоговая — 7 миллионов. Это за всю историю советской власти. Что с этим делать? А общественное мнение говорит, что у нас чуть ли не 12 миллионов арестованных только за 1937–1939-й. (...) для круга, к которому я считаю себя принадлежащим, это значило бы, что всё, что нам говорили о цифрах до этих пор вполне уважаемые нами люди, неправда. И отложил я все свои вычисления в сторону. Надолго. А потом уж (через годы) вроде уже можно было публиковать, а времени не нашлось»<sup>4</sup>.

В таком контексте в последние годы СССР первооткрывателю научной статистики советских репрессий В. Н. Земскову, начиная с 1989–1990 гг. публиковавшему данные о «населении ГУЛАГа», «пришлось выслушать немало упреков в фальшивом происхождении используемых документов и, следовательно, недостоверном характере публикуемых цифр, в подлоге и т.д. От работы к работе нужно было доказывать, что целый архивный фонд с тысячами единиц хранения, с солидным массивом первичных материалов лагерей не мог быть сфальсифицирован. Все документы подвергались источниковедческому анали-

<sup>3</sup> Б. В. Соколов. Потери Советского Союза и Германии во Второй мировой войне: методы подсчётов и наиболее вероятные результаты. М., 2011. Квалифицированный ответ на подобные сочинения см. в работах: В. Г. Первышин. Людские потери в Великой Отечественной войне // Вопросы истории. М., 2000. № 7; Л. Л. Рыбаковский. Людские потери СССР и России в Великой Отечественной войне / Изд. 2, испр. и доп. М., 2010.

<sup>4</sup> «Арсений Рогинский о молчании историка»: [www.memo.ru/d/124360.html](http://www.memo.ru/d/124360.html) 25 мая 2012.

зу, сопоставлялись со сводной статистической отчётностью ГУЛАГа и со сведениями, содержащимися в докладных записках руководства лагерного главка на имя Ягоды, Ежова, Берия, а также в информационных донесениях последних И. В. Сталину... “Предположение о том, что в этой документации могли содержаться заниженные сведения, несостоятельно по той причине, что органам НКВД было невыгодно и даже опасно преуменьшать масштабы своей деятельности”...»<sup>5</sup>.

Председатель правления Краснодарского краевого отделения общества «Мемориал» историк С. А. Кропачев вспоминает о коллизии между политическими ожиданиями данных о подлинном числе жертв сталинизма и архивными фактами: «Характерной в этом отношении была полемика, развернувшаяся на страницах “Аргументов и фактов”, выходивших в конце 1980-х — начале 1990-х миллионными тиражами. В 1989–1990 годах “Аргументы и факты” опубликовали серию статей В. Н. Земскова, в которых, в частности, была обнародована подлинная статистика заключённых ГУЛАГа. Она входила в противоречие со сведениями, распространявшимися в масс-медиа, включая и “Аргументы и факты”, Р. Медведевым, А. Солженицыным, А. Антоновым-Овсенко, О. Шатуновской и другими авторами. Такими же полярными были и отклики читателей на данные публикации. Их характер варьировался в широком диапазоне от безусловно одобрительных до резко негативных. Негативная реакция части читателей вызывалась главным образом тем, что они ожидали прочесть о десятках миллионов людей, якобы находившихся на спецпоселении, в ссылке и высылке, а их в действительности там было в начале 1953 г. менее 3 млн человек, о миллионах расстрелянных, замученных, о десятках миллионов пострадавших. На этой почве высказывались сомнения в подлинности информации, приводимой, в частности, В. Н. Земсковым, Делались безапелляционные заявления, что эта статистика будто бы фальшивая, сфальсифицированная и т. п. Причём подобного рода заявления звучали не только из уст журналистов, публицистов, но и историков. Что говорит об очень высокой степени внедрения в массовое сознание недостоверных, многократно преувеличенных “статистических изысканий” тех, кто на волне перестройки зарабатывал себе очки. Острая полемика на страницах печати в эти годы

<sup>5</sup> С. И. Голотик, В. В. Минаев. Население и власть: Очерки демографической истории СССР 1930-х годов. М., 2004. С. 141.

развернулась между профессиональным историком В. Земсковым и публицистом А. Антоновым-Овсеенко. В 1991 году в “Литературной газете” была опубликована статья А. Антонова-Овсеенко “Противостояние”. В ней он обвинил В. Земскова в научной недобросовестности, высказал мнение о фальшивом происхождении используемых оппонентом документов и, следовательно, недостоверном характере публикуемых В. Земсковым цифр. Ему вторил известный писатель, бывший узник сталинских лагерей Л. Э. Разгон. Ответ В. Земскова был дан в статье, опубликованной в этом же году в журнале “История СССР”. Автор справедливо писал о том, что вопрос о подлоге можно было рассматривать, если бы его исследования опирались на один или несколько разрозненных документов. “Однако нельзя подделывать находящийся в государственном хранении целый архивный фонд с тысячами единиц хранения, куда входит и огромный массив первичных материалов (предположить, что первичные материалы — фальшивые, можно только при допущении нелепой мысли, что каждый лагерь имел две канцелярии: одну, ведущую подлинное делопроизводство, а вторую — неподлинное)”, — писал В. Земсков. Тем не менее, весь массив архивных документов был им подвергнут тщательному источниковедческому анализу, и их подлинность была установлена со 100-процентной гарантией. Данные первичных материалов о количестве заключённых и спецпоселенцев в 1930–1950-е годы в итоге совпали со сводной статистической отчётностью ГУЛАГа и со сведениями, содержащимися в докладных записках руководства ГУЛАГа на имя Н. И. Ежова, Л. П. Берии, С. Н. Круглова, а также в докладных записках последних на имя И. В. Сталина. Следовательно, документация всех уровней, которой пользовался В. Земсков, являлась подлинной». <sup>6</sup> Итак, первую, демагогическую проверку истории и архивные документы с честью прошли, продемонстрировав многоуровневую систему государственной статистики репрессий, указав на источник итоговых данных о репрессиях в первичной документации.

На Западе новые и предельно адекватные данные о численности жертв репрессий, опубликованные в последние годы существования СССР в советской литературе, немедленно вызвали заинтересованное научное обсуждение, которое начал Алек Ноув (1915–1994) в статье

<sup>6</sup> С. А. Кропачев. От лжи к покаянию: Отечественная историография о масштабах репрессий и потерях СССР в 1937–1945 годах. СПб., 2011. С. 107–109.

«How Many Victims?»<sup>7</sup>. Западной науке потребовалось лишь несколько лет, чтобы, совместно с действующими русскими исследователями, инкорпорировать новые данные в актуальный историографический багаж, маргинализовав пропагандистские усилия западных «популяризаторов»<sup>8</sup>. Однако изначально пропагандистская суть западной «советологии» и продолжающаяся с разной мерой интенсивности «холодная» информационная война на Западе против России и острая политическая борьба внутри России уверенно поддерживают создание и перевод на русский язык (научно маргинальных, но общественно вполне значимых) сочинений, для которых «архивная революция», первичная статистика, источниковедение — лишь антураж для упаковки архаичного пропагандистского продукта. Например, современный исследователь Н. Неймарк поставил своей целью расширить понятие «геноцида» за счёт включения в него уничтожения социальных и политических групп и обвинения в этом персонально Сталина. При этом налицо желание освободить от ответственности и правящих предшественников, и правящих конкурентов, и правящих противников Сталина за те же акты массового уничтожения: «Термин “геноцид” неприменим к массовому убийству имевшему место до дик-

<sup>7</sup> *Alec Nove. How many Victims in the 1930s? // Soviet Studies. Vol. 42. No.2. 1990; Alec Nove. How many Victims in the 1930s? II // Soviet Studies. Vol. 42. No.4. 1990; S. G. Wheatcroft. More light on the Scale of Repression and Excess Mortality in the Cosiet Union in the 1930s // Soviet Studies. Vol. 42. No.2. 1990; Michael Ellman. A Note on the Number of Famine Victims // Soviet Studies. Vol. 43. No.2. 1991; Stephen G. Wheatcroft. A Further Note of Clarification on the Famine, the Camps and Excess Mortality // Europe-Asia Studies. Vol. 49. No.3. 1997; и так далее). Первый обзор экспертных оценок общего числа заключённых и статистической структуры принудительного труда в СССР в период до публикаций архивных данных, предпринятых в 1989–1991 гг. А. Н. Дугиным и В. Н. Земсковым, и анализ их с точки зрения этих публикаций, а также попытку оценить долю принудительного труда в общем балансе военно-трудовых ресурсов (однако без учета фактора военнопленных) см.: *Edwin Bacon. Glasnost' and the Gulag: New Information on Soviet Forced Labour around World War II // Soviet Studies. Vol. 44. No.6. 1992. А затем его квалифицированное развитие: J. Arch Getty, Gabor T. Rittersporn, Viktor N. Zemskov. Victims of the Soviet Penal System in the Pre-War Years: A First Approach on the Basis of Archival Evidence // American Historical Review. Vol. 98. No. 4. October 1998.**

<sup>8</sup> Обзор см.: *В. И. Меньковский. Англоязычная историография социальной истории сталинизма после «архивной революции» // История России: Исследования и документы. Материалы Международной научной конференции «Архивные документы в системе объективного научного знания по истории России», 19 ноября 2010 г. / Сост. И. А. Анфертьев, Ю. С. Цурганов. М., 2011.*

татуры Сталина, каким бы чудовищным оно ни было, особенно во время гражданской войны 1918–1921 годов. При Сталине — совсем другое дело; именно роль Сталина в массовом убийстве является определяющей для понимания геноцидного характера его режима.<sup>9</sup> Так вот именно этот нетленный пропагандист и подвергает невежественной атаке первичные и сводные архивные данные по статистике репрессий. Сначала он милостиво треплет эти *мириады первичных данных* по архивной щеке, тщательно скрывая историю собственного архивного опыта: «благодаря наличию документов НКВД, какими бы недоверенными они ни были, подсчитать численные потери проще»<sup>10</sup>.

И далее раскрывает полный веер своих *абсолютно невозможных для компетентного лица* претензий к достоверности статистики НКВД — смешно сказать, из-за полной точности её цифровых данных (словно в иной стране, в иных ведомствах, в иной корпоративной или государственной статистике в этих случаях стоят округлённые цифры): «Сам факт, что суммы чисел в столбцах всегда сходятся, а сами числа всегда даются с точностью до последнего знака... наводит на мысль, что эта невероятная точность может свидетельствовать о более глубоких проблемах достоверности приводимых данных». И начинает сочинять, не утруждая себя никакими доказательствами, кроме домыслов: «Иногда работники правоохранительных органов намеренно завышали цифры арестованных и расстрелянных, надеясь таким образом угодить вышестоящему руководству: Сталину и особенно непосредственным начальникам из ОГПУ-НКВД — Ягоде, Ежову и Берии. Но чаще они старались занижить данные или не сообщать их вовсе, особенно, когда речь шла о “побочной” смертности в Гулаге, в том числе в спецпоселениях, а также о смертности в связи с голодом и раскулачиванием»<sup>11</sup>.

Особенно хороша апелляция исследователя к мнению А. Н. Яковлева, человека, который действительно создал фонд, издавший много хорошей архивной литературы по истории репрессий и сталинизма, но сам более известен как идеологический борец против сталинизма, идеолог перестройки в СССР, но ни в коем случае не как исследователь или хотя бы архивный работник. Вот что пишет Н. Неймарк, идя

<sup>9</sup> Норман Неймарк. Геноциды Сталина [2010] / Пер. И. Давидян. М., 2012. С. 13, 22–23.

<sup>10</sup> Там же. С. 136.

<sup>11</sup> Там же. С. 20–21.

на прямую ложь, хоть и закамуфлированную *argumentum ad hominem*: «Александр Яковлев, который... имел беспрецедентный доступ к широкому спектру архивных источников, советует не принимать цифры НКВД за истину в последней инстанции. Он категорически заявляет, что “эти цифры фальшивые... Они не учитывают численности заключённых внутренних тюрем НКВД, а эти тюрьмы были битком набиты. Они не вычлениют показатели смертности в лагерях для политзаключённых и игнорируют численность арестованных крестьян и депортированных народов”. Так или иначе, обманчивая точность данных НКВД вкупе с постоянно меняющейся политической повесткой сталинских репрессивных органов являются достаточным основанием, чтобы внести ноту скепсиса в отношение современных историков к этим цифрам»<sup>12</sup>. «Нота скепсиса» Н. Неймарка, по его мнению, стоит того, чтобы прямо и скандально лгать о том, что якобы нет статистики по тюрьмам НКВД, якобы нет статистики по «арестованным крестьянам» и депортированным народам. Такое профессиональное — перед лицом десятков, если не сотен, документальных изданий с огромным количеством данных НКВД — самоубийство Н. Неймарка стоит того, чтобы именовать его сочинение «комиксом», а его издателей в России — распространителями «лубка».

Впрочем, и в значительной части русской научной литературы (не говоря уже о публицистике) «архивной революции» будто бы не было. Даже такие официальные историки, за истекшие годы поработавшие в некогда секретных архивах по поручению советских и российских властей, как руководитель Центра публикации документов по истории XX века Института всеобщей истории РАН Н. С. Лебедева, трудившаяся при последнем советском лидере М. С. Горбачёве над определением вины СССР в «Катынском расстреле», а при российских президентах В. В. Путине и Д. А. Медведеве — над «трудными вопросами» российско-польских исторических отношений, видимо, следует тому предположению, что в идейной борьбе против сталинизма полезней не фундированные источниками факты, а произвольные, максимальные, поражающие воображение цифры. Так, например, «исследовательница» продолжает отстаивать «абсолютно абсурдное утверждение о том, что в период с 1937 по 1941 год в Советском Союзе было репрес-

<sup>12</sup> Там же. С. 21.

сировано 11 миллионов человек. Несмотря на прозвучавшую критику, это утверждение так и не было дезавуировано». Подвергающий анализу и разрушительной критике этот и другие примеры столь упорного вольного обращения Н. С. Лебедевой с фактами и архивными данными, А. Р. Дюков апеллирует, в том числе, и к исследованиям общества «Мемориал», известного не только своими радикально-либеральными предпочтениями в актуальной российской политике и последовательным антикоммунизмом, но и качественной архивной работой. А. Р. Дюков справедливо отмечает: «Появление в историографии заведомо завышенных, находящихся в прямом противоречии с введённым в научный оборот комплексом архивных документов, статистических “данных” о советских репрессиях происходит по-разному. Порою эти “данные” восходят к цифрам, изобретённым нацистской пропагандой; порою — базируются на неправильных оценках американских советологов времен “холодной войны”. Однако самый интересный (в том числе с методологической точки зрения) случай появления подобных “данных” — неправильное истолкование подлинных архивных документов. На наш взгляд, речь идёт о намеренном пренебрежении Н. С. Лебедевой научной этикой и методами научного исследования с целью формирования неадекватных представлений о масштабах советских репрессий. Это само по себе плохо; однако ещё хуже — то, что не имеющая отношения к науке деятельность Н. С. Лебедевой публикуется под видом официальной российской позиции»<sup>13</sup>.

<sup>13</sup> Александр Дюков. Умножение репрессированных: об одном случае научной непорядочности // REGNUM. 28 августа 2011 ([www.regnum.ru/news/1440030.html](http://www.regnum.ru/news/1440030.html)): при существующем в современной науке консенсусе о том, что общее число репрессированных в 1939–1941 гг. во вновь присоединённых землях Западной Белоруссии и Западной Украины составляет не более 110 000 человек, «Н. С. Лебедева опубликовала... статью, в которой утверждала, что только в период с сентября 1939 по 1 декабря 1940 г. в Западной Украине и Западной Белоруссии советскими властями было репрессировано около 700 тысяч человек... в 2009–2010 гг. Н. С. Лебедева трижды с небольшими изменениями издала статью “Сентябрь 1939 г.: Польша между Германией и СССР”... Все три сборника, в которых была опубликована данная статья Н. С. Лебедевой, были изданы в рамках официальной российской “исторической политики” — под грифами Комиссии при Президенте РФ по борьбе с фальсификацией истории в ущерб интересам России и Российско-польской группы по сложным вопросам. Таким образом, утверждения Лебедевой о 700 тысячах репрессированных советскими властями на территории Западной Украины и Западной Белоруссии получили не только научный, но и официальный политический статус — несмотря на их прямое

Описанной недобросовестности, к счастью, противостоит реальность архивных данных, доступный объём которых служит вполне достаточным основанием не только для разоблачения недобросовестности, но и полноценным материалом для выяснения *степени достоверности репрессивной статистики, уже признанной безусловно достоверной*. То есть, окончательно отвергнув как ничем не обоснованные литературно-публицистические и пропагандистские оценки в десятки миллионов, а в ряде случаев — и в миллионы жертв, наука встала перед необходимостью заняться уже собственным инструментарием («считая с точностью до единицы»), ещё более сужая простор для недобросовестности и демагогии.

Но при огромном объёме новых источников дальнейшей, адекватной ему *источниковедческой — исследующей специфику документообразования и объективную зависимость качества данных от уровня обобщения и связанных с ним исторических факторов* — критики сталинских документов о масштабах репрессий — так и не прозвучало. Несмотря на то, что, помимо внутрисоветского, немедленно после появления первых данных из архивов СССР, многодесятилетний спор западных советологов о количестве жертв сталинских репрессий иссяк, новая дискуссия о *мере достоверности* (бюрократически крайне высокой) советских архивных документов о репрессивной практике и коэффициентах искажения первичных и итоговых данных так и не началась. Только в последнее время, когда работа в архивах уравнила в правах партийных, злонамеренных и профессиональных, проявляется естественное желание подвергнуть анализу качество официальных советских данных по статистике жертв, чтобы в условной борьбе современных «ревизионистов» и традиционных «обвинителей» Сталина (особенно из старых и новых государств бывшего советского блока и бывших советских республик) уличить противоположную сторону в политизации (занижении или завышении) итоговых цифр. К счастью для науки, пределы научно допустимых манипуляций с цифрами резко сократились, оставив законный простор для их истолкования. Но вот именно новые интерпретации уже общепринятых

---

противоречие всей современной историографии вопроса». См. дополненное переиздание процитированного текста в сборнике: Александр Дюков. Ликвидация враждебного элемента: Националистический террор и советские репрессии в Восточной Европе. Избранные исследования. М., 2017. С. 357–364.

данных и требуют особого анализа сталинских архивов, обнаруживающего логику естественных искажений официальной статистики на пути от первичных данных к итоговым.

В сфере изучения истории сталинизма подобному анализу серьёзно подвергались до сих пор, пожалуй, только две группы массовых данных, кроме упомянутых подсчётов потерь в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.: цифры реального экономического роста в СССР и выполнения политических плановых показателей — и цифры сравнительной эффективности (производительности) принудительного труда заключённых в ГУЛАГе и труда формально «вольнонаёмных» рабочих.

Первой работой, непосредственно сфокусированной на проверке, как правило, пропагандистских и политически предопределённых данных эстонских историков во главе с политиком-русофобом Мартом Лааром<sup>14</sup> о количестве жертв сталинских репрессий против жителей Эстонской ССР в довоенный, военный и послевоенный период, стала книга А. Р. Дюкова «Миф о геноциде»<sup>15</sup>. В ней историк подверг успешной источниковедческой критике промежуточные и итоговые цифры жертв и обстоятельства их возникновения (казни, смертность при транспортировке и в местах заключения). Однако в этой работе читателю приходится сталкиваться с проблемой «второго уровня»: адекватно проверяя литературно-пропагандистские human stories, политические формулировки оппонентов о тотальной смертности репрессированных, мифологически массовых казнях, ничем не обоснованных штампах об этнической избирательности репрессий (геноциде), А. Р. Дюков апеллировал, как правило, к нормативным документам НКВД о стандартах при сборе репрессируемых, их транспортировке, работе, нормах их медицинского и продовольственного обеспечения<sup>16</sup>. Одним словом, исследователь успешно противопоставлял пропагандистской литературе силу архивного документа, но не оговаривал естественных пределов точности этого документа, не проводил грани между нормативами и практикой. Не подвергал,

<sup>14</sup> О «классическом» труде Лаара в этом жанре см.: *И. А. Павловский*. [Рец.] Март Лаар. История Эстонии с высоты птичьего полета. Таллин, 2005 // Русский Сборник: Исследования по истории России. Том IV. М., 2007.

<sup>15</sup> *Александр Дюков*. Миф о геноциде: Репрессии советских властей в Эстонии (1940–1953). М., 2007.

<sup>16</sup> См., например: *А. Дюков*. Миф о геноциде. С. 38–43, 47.

к сожалению, встречной верификации качество документов, априори и необоснованно исходя из того, что (действительно в условиях того времени в целом гуманные) нормативные документы НКВД якобы находили при их реализации стопроцентное исполнение.

Проблема исполнения планов, распоряжений советских ведомств и властей всех уровней чрезвычайно обширна. И в применении к социальной практике репрессий и принудительного труда требует многочисленных уточнений. Но в любом случае ясно одно: как и любые социально-экономические нормативы, как и любые планы в СССР, нормативы НКВД в части реализации репрессий *никогда не исполнялись полностью*. Соответственно, и экстраполяция нормативных данных на оценку статистики репрессий, особенно в области, наименее подверженной централизованному (нормативному) контролю (труд, физическое состояние, жилищные условия, медицина, снабжение при транспортировке и в лагере), далеко не всегда может быть корректной. Итоговые документы высшего бюрократического происхождения, несомненно, должны быть оцениваемы со здоровой долей критичности, даже тогда, когда они суммируют данные, поступившие с более низких уровней отчётности, вплоть до первичных.

Тем временем в исторической литературе об эпохе сталинизма становится легитимной и тема проверки первичных данных, которая позволяет избавиться от излишнего поклонения качеству и абсолютной «подлинности» первичных документов. И если, понимая, что полностью нормативы материального обеспечения никогда не исполняются на 100%, при планировании, освоении, распределении ресурсов (в том числе ресурсов для материального обеспечения репрессий и дальнейшего трудового использования репрессированных) естественным мотивом для ведомственного искажения данных было заведомое завышение требуемых от центра ресурсов и, следовательно, формальное или фактическое завышение численности снабжаемого контингента, в том числе за счёт реального снижения смертности. То есть в условиях боевых действий отчётные данные об успешности своей боевой работы носили, в первую очередь, карьерный характер. Например, говоря об известной проблеме подсчёта военных потерь (своих собственных и противника), военный историк отмечает тотальное несоответствие взаимной статистики авиационных потерь в Красной Армии и гитлеровских Люфтваффе: итогом становится взаимное завышение нане-

сённых потерь в два и в три раза<sup>17</sup>. При сведении этих данных разрыв становится совершенно неприемлемым, с трудом поддающимся толкованию без его кратной «усушки». Так, например, по советским источникам, «немецкий воздушный флот понёс 22 июня 1941 г. самые тяжёлые потери как за всё время Великой Отечественной, так и Второй мировой войны... Всего немцы не досчитались за этот день 822 самолётов». Но с другой стороны, по гитлеровским источникам, с 22 июня по 5 июля — Люфтваффе потеряли 807 самолётов, а с 6 по 19 июля — 477: то есть не за день, а почти за месяц — всего 1284<sup>18</sup>.

К этому категорическому несоответствию следует добавить и обнаруженные историками уровни, на которых происходили ключевые искажения информации. Специалист фиксирует несоответствие данных о военных потерях в разных отчётных инстанциях и приходит к выводу: исходные данные о потерях, суммированные на уровне полка, больше, чем на следующем уровне отчётности — в дивизии<sup>19</sup>. Из этого можно сделать вывод, что у производителей первичных данных существовали обстоятельства, мотивы к максимальному подсчёту или завышению данных о потерях, а у вышестоящих инстанций, кроме естественного запаздывания с обработкой данных, присутствовало понимание того, что эти первичные данные чаще всего завышаются, и была воля к тому, чтобы корректировать эти данные.

Но одно дело — завышать данные об уничтоженных противниках в открытом бою, и совсем другое — завышать данные об уничтоженных (подлинных или потенциальных) врагах на «внутреннем фронте». Репрессивная доблесть карательных органов, в духе Большого Террора 1937–1938 гг. соревновавшихся друг с другом в численности обнаруженных и наказанных врагов, неизбежно входила в противоречие с политической судьбой местных органов власти, особенно в послевоенное время и особенно на новых советских территориях в Прибалтике, Белорусской ССР и Украинской ССР, для которых главным интересом в отчётах о своей деятельности было, как минимум, не преувеличение параметров собственной неэффективности и нестабиль-

<sup>17</sup> *Алексей Исаев.* 10 мифов о Второй мировой. М., 2010. С. 303–325.

<sup>18</sup> *Ф. П. Ходеев.* О господстве в воздухе немецкой авиации в начале Великой Отечественной войны // Вопросы истории. М., 2011. № 6. С. 146–147.

<sup>19</sup> *Александр Ржавин.* В ОБД не значится! Как полковые донесения дополняют дивизионные // Военная археология. М., 2010. № 3 (6).

ности, выразившихся, в том числе, в цифрах репрессированных врагов Советской власти.

В своей статье<sup>20</sup> А. Р. Дюков продолжил полемическую линию на верификацию статистики репрессий, которую приводят исследователи сталинской политики в советских республиках Прибалтики. Но на этот раз объектом полемики выступают признанные исследователи, а не Март Лаар. И тем ответственнее задача, которую возлагает на себя А. Р. Дюков. Исследователь подвергает критике сводные данные (в разные годы — главы НКВД, члена / заместителя председателя ГКО, заместителя председателя СНК / Совета министров СССР) представителя высшего советского руководства Л. П. Берия о репрессиях в Прибалтике и на Западной Украине (арестованных, убитых и депортированных), которые используют авторитетные исследователи Тыну Таннберг<sup>21</sup> и Е. Ю. Зубкова<sup>22</sup>, — как «недостоверные»<sup>23</sup>. Сразу отметим, что и эстонский исследователь Тыну Таннберг, и российский историк Е. Ю. Зубкова профессионально опираются в своих работах на полноту архивных данных и к ним не могут быть предъявлены претензии в чрезмерной политической ангажированности, хотя Тыну Таннберг и действует в условиях принудительно господствующей в Эстонии теории «советской оккупации» (которую он, однако, готов компромиссно толковать как форму «контроля» СССР в Прибалтике), а Е. Ю. Зубкова, отнюдь не являясь сторонницей «ревизионизма», корректность формулы «советской оккупации» отрицает. Т. Таннберг и Е. Ю. Зубкова законно приходят к выводу о том, что Берия, ссылаясь на большое число жертв и участников подполья, обосновывал необходимость новой национальной политики Кремля в Советской Прибалтике. Эту политику предлагал Берия реализовать не только в Прибалтике, но и на Украине, а также отчасти

<sup>20</sup> А. Дюков. «Докладные Берия» и проблема достоверности статистики советских репрессий // Журнал российских и восточноевропейских исторических исследований. М., 2010. № 1. См. дополненное переиздание текста в сборнике: Александр Дюков. Ликвидация враждебного элемента: Националистический террор и советские репрессии в Восточной Европе. Избранные исследования. М., 2017. С. 485–495. Здесь автор сообщает, что мои «критические замечания» при переиздании им учтены.

<sup>21</sup> Тыну Таннберг. Политика Москвы в республиках Балтии в послевоенные годы (1944–1956): Исследования и документы. М., 2010. С. 110.

<sup>22</sup> Е. Ю. Зубкова. Прибалтика и Кремль. 1940–1953. М., 2008. С. 321, 327.

<sup>23</sup> А. Дюков. «Докладные Берия». С. 61–62.

в Белоруссии. Эта политика не специально для Прибалтики, а и вообще для территориальных приобретений 1940-х гг. на Западе СССР, была одобрена высшим руководством СССР.

26 мая 1953 Президиум ЦК КПСС с участием Хрущёва, Кагановича, Микояна, Берия, Маленкова и высшего руководства Украинской ССР принял постановление «О политическом и хозяйственном состоянии западных областей Украины», где признал его «неудовлетворительным». В нём подчёркивалась избыточная русификация этой части Украины, в частности традиционных носителей этнического национализма — интеллигенции: «Особенно болезненно воспринимается населением Западной Украины огульное недоверие к местным кадрам из числа интеллигенции. Например: из 1 718 профессоров и преподавателей 12 высших учебных заведений города Львова к числу западноукраинской интеллигенции принадлежат только 320 человек, в составе директоров этих учебных заведений нет ни одного уроженца Западной Украины, а в числе 25 заместителей директоров только один является западным украинцем. (...) Фактический перевод преподавания в западноукраинских вузах на русский язык широко используют враждебные элементы, называя это политикой русификации. (...) Факты говорят, что [буржуазно-националистическое] подполье продолжает существовать, а его банды продолжают терроризировать население»<sup>24</sup>. В тот же день, 26 мая 1953, в том же руководящем составе с участием высших руководителей Литовской ССР А. Снечкуса и М. Гедвиласа, Президиум ЦК принял постановление «Вопросы Литовской ССР», в котором работа местных партийных властей и правительства «по укреплению советской власти в Литве» была признана «неудовлетворительной». Главной причиной было названо то, что власти в республике «не обеспечены руководящими кадрами из коренного литовского населения», местные власти «не сумели обезглавить антисоветское подполье», а дело его ликвидации свели «к массовым репрессиям и чекистско-войсковым операциям, задевающим широкие слои населения». В связи с этим было решено, в частности, заменить руководящие кадры литовцами и знающими литовский язык, а также «отменить ведение делопроизводства во всех партийных, государственных и общественных организациях Литовской ССР на нелитовском языке,

<sup>24</sup> Лаврентий Берия. 1953. Стенограмма июльского пленума ЦК КПСС и другие документы / Сост. В. Наумов, Ю. Сигачев. М., 1999. С. 46–47.

*обеспечив при этом для районов с польским населением ведение местного делопроизводства на польском языке»<sup>25</sup>* (курсив мой. — М. К.). В логичной связи с этими решениями стоит и постановление Президиума ЦК от 12 июня 1953, принятое в составе Берия, Ворошилова, Хрущёва, Молотова и Маленкова, «Вопросы Белорусской ССР», где было отмечено, что в республике «совершенно неудовлетворительно обстоит дело с выдвижением белорусских кадров» на руководящую работу и «особенно неблагоприятным является привлечение на руководящую работу в партийные и советские органы западных областей Белорусской ССР коренных белорусов — уроженцев этих областей»<sup>26</sup>.

Здесь следует сделать краткий экскурс в историю отношений литовских руководителей с ведомством Берия в 1945–1946 гг., когда, как известно, союзный центр (с участием Л. П. Берия) принял беспрецедентное решение и фактически освободил гитлеровских коллаборационистов (в том числе военнотружущих национальных легионов СС) из Прибалтики от минимального наказания, согласившись перевести их на работы на родину, в республики Советской Прибалтики. И помимо этого, по предварительной оценке, к детализации которой я намерен вернуться в отдельном исследовании, доля военнопленных, которые использовались в качестве работников на объектах Советской Прибалтики, была самой высокой в ряду всех союзных республик и достигала 25% общей численности трудовых ресурсов в конкретной республике. Однако это не ограничило претензий литовских советских властей на укрепление своего особого статуса в деле использования принудительного труда. Председатель Совета Министров Литовской ССР М. Гедвилас и секретарь ЦК КП(б) Литвы А. Снечкус 31 мая 1946 написали в адрес заместителя председателя Совета Министров СССР Л. П. Берия письмо с просьбой о новом порядке выхода содержащихся в Литве военнопленных на работы, а именно — с просьбой об их использовании по планам республиканского руководства (капитальные работы, добыча торфа, производство строительных материалов) в весьма значительном объёме 17 500 человек (для переписки Берия с местным руководством о численности рабочих контингентов военнопленных характерна иная численность — в 300–500 человек). Но этого мало: Снечкус

<sup>25</sup> Там же. С. 49–52.

<sup>26</sup> Там же. С. 61–62.

и Гедвилас жаловались на то, что МВД СССР своей волей перемещает из республики военнопленных «без согласования с Советом Министров Литовской ССР», часто основываясь на «неправильных представлениях о реальных потребностях в рабочей силе военнопленных по Республике в целом», что «вносит дезорганизацию в дело планомерного трудоемкого использования военнопленных, что ставит под угрозу срыва выполнение народнохозяйственного плана». Литовские руководители просили Берия «закрепить за Республикой контингент военнопленных» и «предоставить право распределения военнопленных на территории Республики только Совету Министров Литовской ССР, в том числе и по объектам союзного значения», что, конечно, было грубейшим нарушением правил и практики того времени и прямо затрагивало монополию союзного центра на управление своими объектами. Берия расписал письмо главе МВД СССР С. Н. Круглову: «Рассмотреть, принять меры и доложить». Подчинённые Круглова подготовили ответ в Литовскую ССР, указав, что местные власти в принципе не могут претендовать на требуемые полномочия: «Предоставить правительству Литвы право самостоятельного распределения положенного для этой республики количества военнопленных — не считаем возможным, поскольку рабочая сила из военнопленных распределяется строго в централизованном порядке по решениям Союзного правительства. В соответствии с этими решениями, министерства, для которых предусмотрено выделение рабочей силы, имеют право, в зависимости от потребности, с согласия МВД СССР, перемещать военнопленных из одних районов Союза в другие. Полагаем необходимым в этом духе информировать Совет Министров и ЦК КП (б) Литвы»<sup>27</sup>. Эта давняя дискуссия не могла не отложиться в памяти руководства МВД СССР и лично Берия вплоть до весны 1953 года, создав Снечкусу и Гедвиласу репутацию деятелей, склонных к присвоению себе полномочий союзного центра за счёт полномочий именно МВД СССР.

Возвращаясь к ситуации 1953 года, Тыну Таннберг пишет: «Бессмысленность прежних методов борьбы с сопротивлением должна была доказать и собранная по распоряжению Л. Берии статистика репрессий, которая отразилась в направленной членам Президиума ЦК КПСС докладной записке. (...) Изменение курса Кремля в отношении движения сопротивления означало замену тотального террора вы-

<sup>27</sup> ГА РФ. Ф. 9401. Оп. 2. Д. 148. Л. 204–205, 208.

Таблица 1

	Эстонская ССР	Латвийская ССР	Литовская ССР	Украинская ССР	Всего
Арестовано	45 056	72 975	130 337	134 467	382 835
Убито	1 495	2 321	20 005	153 259	177 080
Депортиро- вано	20 919	43 702	126 037	203 737	394 395
Всего	67 470	118 998	276 379	491 463	954 310

борочными репрессиями... Одним из способов подавления сопротивления, считал Берия, является сотрудничество с участниками сопротивления и репрессированными политиками времён независимости... такой подход должен был в конечном итоге прекратить сопротивление режиму как внутри государства, так и за рубежом». И приводит данные о жертвах противостояния с партизанами и карательных операций (см. [Таблицу 1](#))<sup>28</sup>, которые красноречиво демонстрировали, что если столь велики жертвы, то значит — ещё больше число вовлечённых в антисоветскую борьбу лиц или, как минимум, велика неизбирательность репрессий. Историк уточняет, что данные МВД, на которые опирался Берия, были проверены по партийным источникам. Для секретаря ЦК КПСС Н. С. Хрущёва по Эстонии альтернативную справку готовил ответственный сотрудник ЦК Е. Громов: «Громов был человеком Хрущёва, и именно он составил докладную по Эстонской ССР, одним из основных сюжетов которой были ошибки, допущенные в борьбе с движением сопротивления в республике. (...) Приведённые Е. Громовым факты совпадают (с небольшими отклонениями) с данными, собранными Министерством внутренних дел Эстонской ССР весной 1953 г. и переданными на Лубянку»<sup>29</sup>. По докладам МВД

<sup>28</sup> А. Дюков. «Докладные Берия». С. 61.

<sup>29</sup> *Тыну Танинберг*. Новый курс Л. Берии по подавлению движения сопротивления в Балтии и на Западной Украине весной 1953 года // Тыну Танинберг. Политика Москвы в республиках Балтии в послевоенные годы (1944–1956): Исследования и документы. М., 2010. С. 84–88, 109–110. Ср.: *Тыну Танинберг*. Планы Москвы в отношении Эстонии летом 1953 года // Там же. С. 119, прим. 24: «Приведённые

СССР и были приняты решения Президиума ЦК от 26 мая 1953 года по Украинской и Литовской ССР с критикой местных органов власти за наличие масштабного вооружённого антисоветского подполья. Это стало первым бюрократическим ходом для «нового курса»<sup>30</sup>.

Т. Таннберг в своём очерке о послесталинском «новом курсе» Берия в отношении Прибалтики заключает: «Общая схема реализации “нового курса” Л. П. Берии была такова: по линии МВД собиралась информация о внутренней обстановке в союзной республике; с учётом этих данных составлялись докладные, которые обсуждались на высшем уровне — в Президиуме ЦК КПСС. На основании составленных Берией докладов в Кремле принимались конкретные решения и затем передавались в союзные республики для непосредственного исполнения. Согласно решениям Президиума ЦК КПСС от мая—июня 1953 г. в республиках следовало прекратить необоснованную и массовую политику насилия...»<sup>31</sup>. Прекращение массовых карательных операций и замена их более изощрённой системой агентурной работы сопровождалась «национализацией» карательных и партийно-советских органов. Именно эта новая чистка кадров и вызывала наибольшие протесты тех лиц в республиках, кто лично участвовал в проведении прежней карательной политики и чья замена символизировала «новый курс». Поэтому легко понять, почему именно, например, А. Ю. Снечук пытался позже (неубедительно) доказать, что «новый курс» Берия был основан на «неправильной» статистике и, следовательно, нет никаких мотивов к тому, чтобы прекращать ставшее в итоге рекордно длительным (1940–1974) его, А. Ю. Снечука, пребывание во главе Литовской ССР. Специалист по истории Советской Прибалтики Е. Ю. Зубкова детализирует:

---

Громовым факты совпадают (с незначительными отклонениями) с данными, которые весной 1953 г. были собраны МВД Эстонской ССР и переданы на Лубянку.

<sup>30</sup> В целом о плане политических и экономических реформ Берия после смерти Сталина см. обзоры исследователей, лично изучавших и вводивших в научный оборот новые архивные материалы: А. И. Кокурин, А. И. Пожаров. «Новый курс» Л. П. Берии. 1953 г. // Исторический архив. 1996. № 4; О. В. Хлевнюк. Л. П. Берия: пределы исторической «реабилитации» // Исторические исследования в России: Тенденции последних лет / Под ред. Г. А. Бордюгова. М., 1996; Борис Соколов. Как провалилась бериевская «перестройка»: Извержение *enfant terrible* из властных структур. Новые документы. М., 2010.

<sup>31</sup> *Тыну Таннберг*. Новый курс Л. Берии по подавлению движения сопротивления в Балтии и на Западной Украине весной 1953 года. С. 83.

«Судя по оперативности, с которой предложения Берия прошли обычный в таких случаях порядок обсуждения и согласования, а также оформление их в виде постановлений Президиума ЦК КПСС, инициативы министра не встретили серьёзных возражений со стороны его кремлёвских соратников. Некоторые из них, в первую очередь, Н. С. Хрущёв, не только энергично поддерживали начинания шефа Лубянки, но даже попытались перехватить у него инициативу. (...) Записка Л. П. Берия доводится до сведения других членов Президиума ЦК и с этого момента решения “по Прибалтике” начинают отрабатывать по двум линиям — в МВД и в ЦК КПСС. В ЦК эту работу возглавляет Н. С. Хрущёв, а информационные материалы готовит заведующий Отделом партийных, профсоюзных и комсомольских органов ЦК КПСС Е. И. Громов. (...) Хрущёв выступает в качестве автора двух других записок и готовит два других аналогичных решения — по Латвии и Эстонии».

Е. Ю. Зубкова признаёт, что Т. Таннберг — единственный, кто обоснованно считает Хрущёва соавтором «нового курса» Берия:

«До сих пор единственным автором “нового курса” в отношении Прибалтики считается Берия, о “примкнувшем” к нему Хрущёве почти не упоминается. О том, чтобы этот эпизод его биографии был забыт, позаботился сам Хрущёв, представив на июльском пленуме ЦК КПСС 1953 г. Берия в качестве главного инициатора политики коренизации, признанной после ареста Берия “ошибочной”... (...) Первый проект постановления ЦК КПСС “Вопросы Литовской ССР”, в основу которого была положена записка Л. П. Берия от 8 мая, готовили опытные составители такого рода текстов — М. А. Суслов, П. Н. Поспелов и Н. Н. Шаталин».

Хрущёв дал распоряжение доработать документ. Хрущёв развил линию записки Берия: политизировал кадровый анализ и кадровые предложения Берия, вывел ведомственные вопросы МВД на политический уровень: «Существование вооружённого сопротивления стало рассматриваться не как первопричина политической нестабильности, а как следствие целого ряда просчётов и ошибок — как результат пренебрежения национальной спецификой в проведении кадровой и языковой политики, огульного применения репрессивной практики...». Именно Хрущёв вывел данные Берия напрямую против руководства Литвы: «Наличие антисоветского подполья в партийном постановле-

нии было названо “позорным фактом”, а ответственность за сохранение этого положения возложена на ЦК КП и Совет Министров Литвы... если Берия в фокус внимания поставил проблему вооружённого сопротивления, то в решении Президиума ЦК фактически признаётся не буквально, но по смыслу, что речь идёт о серьезных провалах политики советизации этого региона в целом»<sup>32</sup>.

Есть и ещё одно очень важное обстоятельство, на которое обоснованно обращает внимание западный исследователь. Дело в том, что реальная демографическая статистика в целом для 1944–1953 гг., касающаяся Прибалтики, была долгое время просто невозможной: даже несмотря на то, что, в отличие от территории остальных республик СССР, в Латвийской, Литовской и Эстонской ССР в 1947–1948 гг. была проведена сплошная паспортизация сельского населения и соответственно стал принципиально возможен его учёт и контроль за его мобильностью, в том числе — нелегальной. Решение сделать очередное исключение в отношении жителей Советской Прибалтики (другое, более важное, состояло в практическом освобождении рядовых латышей, литовцев и эстонцев от ответственности за службу в гитлеровских и коллаборационистских вооружённых формированиях, которую другие граждане СССР понесли) диктовалось практическим хаосом в сфере демографического и «полицейского» учёта в сельской местности этих республик (то есть территории действий «лесных братьев» — антисоветских партизан).

«В сельских районах присоединённых территорий не существовало никакой эффективной системы обеспечения документами и регистрации населения, в отличие о сельских районов СССР в границах 1939 г. “Значительное большинство” населения всё ещё пользовалось паспортами бывшего буржуазного правительства и даже разнообразными удостоверениями и пропусками с изображениями свастики, выданными немецкими оккупационными властями. При подобном хаосе с документами, в условиях партизанской гражданской войны сельские районы становились прибежищем для преступников и партизан. Последние имели возможность легко скрываться и изменять идентичность за пределами городов, а местные власти не имели представления о том, кто приезжал в их районы или уезжал из них, кто являлся постоянным жителем, а кто нет»<sup>33</sup>.

<sup>32</sup> Елена Зубкова. Прибалтика и Кремль. 1940–1953. М., 2008. С. 320, 323–326.

<sup>33</sup> Дэвид Р. Шифер. Сталинский военный социализм. Репрессии и общественный порядок в Советском Союзе, 1924–1953 [2009]. М., 2014. С. 524–525.

Это говорит о том, что не только данные Берия и МВД носили оценочный характер, но и действительно оспорить эти оценочные данные у недовольных ими республиканских властей не было никаких фактических возможностей. Однако А. Р. Дюков уверенно интерпретирует подготовленные весной 1953 года и использованные Президиумом ЦК сводные данные Л. П. Берия об итогах борьбы с вооружённым антисоветским подпольем в Прибалтике и на Западной Украине в 1944–1953 гг. и *утверждает, что приведённые Берия цифры носят политически препарированный характер, то есть завышены.*

Наибольшая цифра здесь — число арестованных. При этом нет никаких разъяснений: насколько пересекаются цифры арестованных и депортированных (сначала арестованных, а затем высланных), сколько из числа арестованных отпущено, а сколько отправлено в места заключения и т. п. Однако наиболее существенной цифрой, впечатляюще отражающей степень ожесточения борьбы, является, конечно, цифра убитых — она и должна находиться в фокусе нашего внимания, как тот военный показатель, вокруг которого, собственно, и должны строиться оценки масштабов противоборства. Их мы и должны проверять в первую очередь.

Но, не входя в детали, А. Р. Дюков пришёл к убеждению: Берия потому «завышал» число (статистику, а не политические оценки) репрессированных, что придавал «несомненную политическую значимость» своим докладным в Президиум ЦК из-за развернувшейся в нём внутренней борьбы: «статистика советских репрессий в “докладных Берия” была серьёзно **завышена** по политическим соображениям. В качестве достоверного источника по истории советской репрессивной политики данные документы рассматриваться не могут»<sup>34</sup>.

С формальной точки зрения, политическая мотивация здесь действительно налицо. Ведь именно Берия поднял вопрос о национальной политике КПЛ в докладной записке от 8 мая 1953 в Президиум ЦК КПСС, по которой 26 мая Президиум обсуждал «Вопросы Литовской ССР». Видимо, уже тогда началась переделка кадров в необходимом этническом направлении. В этом был виден и руководимый персонально самим Берия курс на «национализацию» управления в новоприсоединённых юридически до войны (1939–1940) и фактически в конце

<sup>34</sup> А. Дюков. «Докладные Берия». С. 63, 67.

войны (1944–1945) республиках Прибалтики и на Западной Украине<sup>35</sup>. «Национализация» Берия очевидным образом ориентировалась на прецедент частичной легализации и привлечения националистов к власти 1920-х гг., реализованный во главе со Сталиным и Л. М. Кагановичем в ходе «коренизации» (административно-принудительной украинизации) на Украине. Ясно, что при таком сценарии роль литовских коммунистов в республиканских властях не только не была бы усилена за счёт сокращения доли русских прикомандированных кадров, а напротив — принципиально сокращена во имя привлечения литовских националистов. Судьба высшего руководства Советской Литвы при Берия, видимо, была предрешена: Пленум ЦК КПЛ 11–13 июня 1953 признал критику в постановлении Президиума ЦК КПСС от 26 мая верной. Пытаясь лично возглавить начатую кампанию и тем самым отвести её удар от себя, 1-й секретарь ЦК КПЛ Снечкус выступил за повышение роли литовского языка, его поддержал председатель Совета Министров Литовской ССР Гедвилас<sup>36</sup>, также потребовав назначения литовцев на должности руководителей всех промышленных предприятий в республике. Прошла первая волна замены руководящих кадров «национальными» (литовцами), но посреди этой кампании в результате политического противостояния в Москве 26 июня 1953 Берия был арестован. И — надо отдать должное аппаратной энергии Снечкуса — уже на следующем же Пленуме ЦК КПЛ 13–14 июля 1953 Снечкус заявил, что политика Берия

<sup>35</sup> «По вопросу о перегибах в Западной Украине Берия в проекте записки и проекте постановления в Президиум ЦК КПСС указывал, что массовые репрессии и другие операции вызывались создавшейся там обстановкой, а устно комментировал в ироническом тоне, что в то, мол, время на Украине работал Н. С. Хрущёв... Представляемые Министерством внутренних дел записки в Президиум ЦК КПСС по конкретным вопросам он часто сопровождал требованием обязательно рассылать свои записки наряду с решениями ЦК секретарям ЦК республик, краёв и областей. Неоднократно были случаи, когда Берия принимал в МВД секретаря ЦК КП Литвы Снечкуса, секретаря ЦК КП Эстонии Кэбина...» (Протокол допроса Б. А. Людвигова от 4 июля 1953 г. // Политбюро и дело Берия. Сборник документов / Под общ. ред. О. Б. Мозохина. М., 2012. С. 38).

<sup>36</sup> 3 июля 1953 на пленуме ЦК КПСС Снечкус признался, отвечая на вопрос: «Он вас вызывал? — Нет, я сам позвонил и сказал, что хотел бы с ним поговорить. Он сказал: чего хотите?» (Лаврентий Берия. 1953. С. 149.) Берия подтвердил это: «Ко мне по своей инициативе зашли в МВД секретарь ЦК КП Литвы Снечкус и председатель Совета министров Литвы (фамилии я не помню), которые были приняты мной» (Протокол допроса Л. П. Берия от 10 июля 1953 г. // Политбюро и дело Берия. Сборник документов. С. 77).

«активизировала» националистические элементы и настроения в Литовской ССР<sup>37</sup>, но «национализацию» кадров не остановил. Если «весной и летом 1953 г. около 6 тыс. работников потеряли работу», то «с июня до начала октября из республики уехали около 2500 разных партийных работников. В большинстве это были приезжие из других советских республик», в первую очередь из РСФСР<sup>38</sup>. Американский историк Восточной Европы, анализирующий её с точки зрения, как правило, польских интересов, не вдаваясь в важные подробности, приписывает главное содержание «нового курса» Берия личным заслугам Снечкус, что лишь доказывает тот факт, что национальная политика Кремля в Литовской ССР не была личным делом ни Берия, ни Снечкус. Он пишет, изображая советско-национальный компромисс с литовцами за счёт поляков, выселенных из Вильнюса, наивно полагая, что это было результатом выбора властей Литовской ССР, а не Кремля:

«Существовал особый компромисс между литовскими коммунистами и литовской интеллигенцией. Около 20 тысяч литовцев выступили против Советов с оружием в руках, большинство из них погибло или было выслано в Сибирь. Между 1945 и 1953 гг. около 120 тысяч жителей Советской Литвы, или 5% населения, были депортированы. Среди них были многие ведущие литовские писатели, 1000 из 1300 римско-католических священников-литовцев. После 1953 г. многие из депортированных вернулись. Они вернулись в Советскую Литву со столицей в Вильнюсе, который становился литовским по своей культуре. Сразу после смерти Сталина удельный вес литовцев в Компартии Литвы стал расти. Многие из представителей литовской интеллигенции приняли выбор: стать членами партии в обмен на определённую свободу сохранения литовской культуры. Достижения были весьма значительны. Литовский язык был исправлен, кодифицирован и утверждён в ка-

<sup>37</sup> В. Сирутавичюс. Десталинизация и национальный вопрос: Литва в 1953–1957 гг. // После Сталина. Реформы 1950-х годов в контексте советской и постсоветской истории: Материалы VIII международной научной конференции. Екатеринбург, 15–17 октября 2015 г. М., 2016. С. 273. Отлично понимая свою роль в этом деле, в «покаянном» письме после ареста Берия пытался придать ей смысл простого нарушения пределов компетенции: «создалось недопустимое положение, что МВД как будто исправляет центральные комитеты коммунистический партий Украины, Литвы и Белоруссии» (Письмо Л. П. Берия Г. М. Маленкову от 1 июля 1953 г. // Политбюро и дело Берия. Сборник документов. С. 17).

<sup>38</sup> В. Сирутавичюс. Десталинизация и национальный вопрос: Литва в 1953–1957 гг. С. 270–272.

честве языка образования. Литовская поэзия и проза добились выдающихся успехов. Вильнюсский университет стал центром балтских исследований»<sup>39</sup>.

Итак, мера достоверности «данных Берия» как резюме массовых источников является характеристикой всего их комплекса в целом, а не одного из входящих в него документов, и отражает не личные политические интриги Берия, а курс Кремля в целом. Кроме того, следует прямо указать: на какой стадии подготовки этих записок в Президиум ЦК, по которым он принял свои решения, была совершена «фальсификация», с которой, как мы видим, согласились и первые лица Литвы, и Хрущёв, причастные к анализу статистики репрессий. И если Хрущёв разделял с Берия ответственность за подготовку «данных», но молчал об этом, то республиканские вожди были в этой ситуации естественными будущими жертвами «перемены курса», но почему-то после ареста Берия они так и не сумели создать альтернативную статистику.

Дезавуируя «данные Берия» как *завышенные*, А. Р. Дюков ничего не говорит о конкретных направлениях и сути упомянутой им внутренней борьбы в высшем эшелоне послесталинской власти в СССР, которая могла бы заставить Берия *именно в 1953 году прямо завышать данные о репрессиях, которые он исправно, начиная с 1939 года, докладывал Сталину и другим членам Президиума (Политбюро), которые участвовали в его заседании 26 мая 1953*. Не объясняет он и то, почему именно в 1953 году Берия решил препарировать данные, которые в 1944–1952 гг., при Сталине, уже были доложены им от своего имени, давая тем самым основания для обвинений в фальсификациях, официально совершённых им не только после смерти Сталина, но и при нём. Наконец, сам получатель «фальсификаций» Хрущёв, разделивший ответственность за политические выводы Берия вместе с другими членами Президиума ЦК, 2 июля 1953, на июльском пленуме ЦК КПСС, посвящённом политическому уничтожению Берия,

---

<sup>39</sup> Тимоти Снайдер. Реконструкция наций [2003]. М., 2013. С. 101–102 (Оригинал: The Reconstruction of Nations: Poland, Ukraine, Lithuania, Belarus, 1569–1999). Перевод этой книги на русский язык был осуществлён и издан в Москве при финансовой поддержке МИД Польши в рамках программы «Распространение знаний о Польше» и, значит, официально признан адекватным, как минимум, значительной части представлений властей Польши на её историю. Т. Снайдер считает Ю. Пилсудского «прагматиком», хотя критически относится к его национальной политике.

прямо сказал, что данные Берия (из МВД) — доступны и самому ЦК (вне МВД) («они собраны через работников МВД, хотя эти материалы имеются все в ЦК»<sup>40</sup>) и ни слова не сказал об их отличиях, хотя именно на названном пленуме и было то время и то место, где любое обвинение против Берия должно было быть произнесено. Даже выражая готовность пересмотреть решения Президиума о нацполитике, «коррективы в свои решения внести»<sup>41</sup>, Хрущёв ничего не говорит о наличии альтернативной статистики, хотя бы ради формального обоснования пересмотра решений. Только Снечук на июльском пленуме ЦК КПСС фактически бездоказательно опровергал данные Берия (которые, повторю, были процитированы и тем узаконены в постановлении Президиума ЦК): «Да, кстати, о цифре. Там дана большая цифра — 270 тысяч всех репрессированных, но она составлялась нечестно. Вот хотя бы взять то, что там, в записке, указано с 1944 года, а между тем входят и репрессированные до войны 1941 года. Это одно, и потом там, видимо, по несколько раз тот же самый человек проходит. В эту цифру входят и немцы, репатриированные в Германию»<sup>42</sup>. Протест Снечука мог быть вызван, в первую очередь, тем, что антисоветское партизанское и подпольное сопротивление в Прибалтике в целом в 1949 году пошло на спад, хотя на его пике в конце 1944 — начале 1945 гг. объединяло 30 000–33 000 человек<sup>43</sup>, что в любом случае для ситуации весны 1953 года было давно ушедшей реальностью. Но он не рискнул апеллировать к этим данным. Не предрешая итогов исследования, которое элементарно может быть сведено к выявлению терминологических соответствий по репрессированным и арифметиче-

<sup>40</sup> Лаврентий Берия. 1953. С. 91. Примечательно, что 1-й секретарь Львовского обкома КПУ З. Т. Сердюк на июльском пленуме (3 июля) откровенно заявил, что во время подготовки доклада МВД отказался предоставить Берия партийные сведения о положении на Западной Украине (С. 119). При этом 1-й секретарь ЦК КПУ А. И. Кириченко, принимавший участие в заседании Президиума ЦК 26 мая, которое приняло упомянутое решение о положении на Западной Украине, на июльском пленуме выступил с протестом не против цифр МВД, а против самого факта их предания бюрократической гласности: «Непонятно, зачем надо было ему [Берия] обнародовать эти цифры» (С. 162).

<sup>41</sup> Там же. С. 96.

<sup>42</sup> Там же. С. 150; А. Дюков. «Докладные Берия». С. 64.

<sup>43</sup> Е. Ю. Зубкова. Национальное вооружённое сопротивление в Прибалтике. 1944–1949 // Труды Института российской истории. Вып. 8 / Отв. ред. А. Н. Сахаров. М., 2009. С. 229, 212.

скому сложению данных по годам, отмечу, что, по крайней мере, часть реплики Снечкуса вызывает сомнения: а именно то его утверждение, что в число, видимо, депортированных (высланных) входят «немцы, репатриированные в Германию». Дело в том, что с терминологической точки зрения «репатриации из СССР» подлежали только военнопленные и интернированные иностранные граждане, но текущий учёт их был привязан к территории союзных республик исключительно в контексте производственной деятельности, централизованной в совершенно отдельном главке внутри НКВД-МВД, не имеющем никакого отношения к обеспечению государственной безопасности на территории СССР, — Главном управлении по делам военнопленных и интернированных (ГУПВИ), действовавшем даже в производственном отношении отдельно от другого пенитенциарно-производственного главка — ГУЛАГа, — в котором сосредоточивались репрессированные (осуждённые) антисоветские элементы. Учёт репатрилируемых немцев-военнопленных носил исключительно общесоюзный характер и не мог быть известен Снечкусу. Может быть, Снечкус имел в виду не репатриированных, а просто по этническому признаку депортированных в Германию литовских немцев? Но и здесь его жалоба на то, что Берия исказил статистику, представляется более чем преувеличенной. Дело в том, что число депортированных (в общем потоке с немцами из советской Восточной Пруссии) из Литовской ССР (депортация проводилась в 1947–1948 гг.) немцев было всего около 2 000 человек<sup>44</sup>, что в сравнении с общим числом депортированных из Литовской ССР в 1944–1953 гг. в 126 000 человек (см. Таблицу 1) — просто ничтожная величина. Если и иные обвинения Снечкуса против статистики Берия столь же на поверку несерьёзны, то их следует игнорировать.

На пленуме ЦК КПСС 2 июля 1953 о главной сути властных претензий к Берия ёмко сказал В. М. Молотов, признав: они состоят в том, что Берия, проведя через Президиум ЦК свои инициативы, фактически «решил сменить первого секретаря Украины, первого секретаря Белоруссии, затем произвести коренные изменения в кадрах Литвы и так далее»<sup>45</sup>, то есть явно превысил свои личные полномочия и сделал Пре-

---

<sup>44</sup> Ю. В. Костяшов. Секретная история Калининградской области. Очерки 1945–1956 гг. Калининград, 2009. С. 173.

<sup>45</sup> Лаврентий Берия. 1953. С. 107. Л. М. Каганович на пленуме 3 июля уверял, говоря о Берии: «он хотел завоевать на свою сторону недовольные националисти-

зидиум своим соучастником, явно угрожая сталинским наследникам установлением режима своего личного единовластия. И не более того. Никакой иной сути риторические и заведомо ложные обвинения Берии в том, что он стремился поставить МВД «выше партии», или в том, что он строил собственную кадровую вертикаль из националистов (словно не Президиум ЦК принимал решения по докладам МВД), не имели.

«Данные Берия», действительно, ярко демонстрируют масштабы борьбы против антисоветского подполья и прямо заставляют заключать о мощности репрессивной машины и об упорстве сопротивления ей. И, похоже, А. Р. Дюков испытывает желание не только подвергнуть критике данные Берия, но и вновь оценить столь политически значимый ныне для прибалтийских государственных критиков Сталина, СССР и современной России масштаб подлинного «сопротивления оккупации».

Решив подвергнуть сомнению «завышенные» данные Берия, А. Р. Дюков допускает рискованные умозаключения. Игнорируя уже отмеченную источниковедческую специфику первичных данных, так же, как и любой источник, имеющих свои закономерности искажения и, в том числе, искажения в сторону завышения, историк противопоставляет первичные данные местных и обобщающие данные союзных органов «НКВД-МГБ» (вернее было бы сказать: НКВД-МВД и НКГБ-МГБ): «первичные данные, разумеется, являются наиболее достоверными источниками. Сфальсифицировать огромный массив первичных данных невозможно, да и не нужно — ведь каждая из этих многочисленных докладных записок и информационных сообщений сама по себе мало что значит; она является лишь крошечным фрагментом общей картины»<sup>46</sup>.

Позволю себе здесь категорически не согласиться: и массив, и каждый первичный документ в отдельности — это личная судьба подписавшего его должностного лица, основа для оценки его деятельности, карьеры, наград, инструмент прямого формирования и перераспределения ответственности должностного лица, инструмент обоснования им запросов на плановые и сверхплановые ресурсы, описания той

---

ческие элементы (...) с целью окрылить и активизировать ярых националистов и шовинистов в республиках — и в Литве, и в Западной Украине. Это его кадры. Он создавал свои кадры» (С. 132).

<sup>46</sup> А. Дюков. «Докладные Берия». С. 61.

реальности, о которой — в конечном счёте — он *предпочитает* сообщать в вышестоящие инстанции. Очевидно, что, сообщая, например, о потерях в личном составе своего подразделения, командир более всего ограничен в изложении и толковании фактов, но столь же очевидно, что одновременно мера его свободы в описании реальности возрастает многократно, когда он сообщает руководству о количестве потерь противника и тем более — о численности противостоящих ему сил. Из тех же легко, вольно или невольно, завышаемых оценок сил противника исходят и легко завышаемые данные о параметрах оказываемой ему поддержки среди местного населения, числе пособников и сочувствующих, подлежащих репрессиям в качестве враждебного элемента.

Далее А. Р. Дюков бездоказательно утверждает: «Итоговые справки должны подвергаться более тщательной источниковедческой критике, чем первичные материалы. Как минимум, некоторые из них готовились не столько в информационных, сколько в политических целях; следовательно, в содержащихся в этих документах данных могут быть заложены серьёзные искажения». С точки зрения архивной техники, такое противопоставление первых и итоговых данных попросту не имеет методологического смысла. Тем более — не имеет никакого методологического смысла априорное утверждение о том, что конкретные итоговые данные подверглись политической фальсификации. Чтобы обнаружить такую фальсификацию, достаточно всего лишь арифметически последовательно сличить данные по уровням их сведения в итоговые согласно административно-территориальной структуре ведомства. И, напомню, убедительно уличая (как было сказано выше) в фальсификации Н. С. Лебедеву, А. Р. Дюков именно арифметически и проверяет её данные, находя в одном из документов арифметический сбой.

Борясь с «завышенными данными» Берия, А. Р. Дюков обращается к данным, послужившим источниками для его итогового доклада. И оказывается, что «данные Берия», например, по Эстонской ССР (1953), — вовсе не данные высшего уровня обобщения (где предполагается «свобода рук» Берия), а повторённые им данные главы МВД ЭССР М. Крассмана. Вот эти данные Берия–Крассмана А. Р. Дюков и сравнивает с данными подчинённых М. Крассмана — 4-го отдела МВД ЭССР (за 1944–1953 гг.), извлекая из них цифры по 1953 году:

Таблица 2<sup>47</sup>

	Данные Берия– Крассмана (1953)	Данные 4-го отдела МВД ЭССР (1953)
Убито	1 495	1 495
Арестовано	45 056	
«Легализовано» бандитов и нелегалов	5 242 <sup>48</sup>	16 671

Из этого сравнения получается, что подчинённые М. Крассмана сделали акцент на число определённо выявленных, *признанных в качестве членов подполья* лиц, а сам М. Крассман и, опираясь на его данные, Берия (который не стал бы сличать его докладную записку с исходными данными его подчинённых, а центральный аппарат МВД не мог этого делать без указания о специальном расследовании) — на общем числе арестованных (задержанных), то есть *подозреваемых* и в большинстве своём затем отпущенных. Таким образом, для постороннего и неопытного читателя документа трёхкратное превышение числа подозреваемых над числом осуждённых — и могло бы выглядеть чем-то новым, но в Президиуме ЦК весной 1953 года, полностью укомплектованном из самых опытных деятелей сталинской карательной системы и её хозяйственных руководителей, таких наивных новичков просто не было. И акцент на общем числе арестованных, который был сделан Берия, вряд ли кому-то в руководстве, особенно после опыта 1930-х гг., мог показаться крайним преувеличением. Он скорее раскрывал потенциал сопротивления. Но не более того. *Именно об этом* говорит приводимая самим А. Р. Дюковым реплика главы МГБ Литовской ССР П. П. Кондакова на допросе по делу уже свергнутого Берия летом 1953 года. Этот П. П. Кондаков также имел все основания беспокоиться о своей личной судьбе при реализации «нового курса», ибо получил от Берия крайне негативную служебную характеристику, во исполнение которой

<sup>47</sup> А. Дюков. «Докладные Берия». С. 64–66.

<sup>48</sup> *Тыну Таннберг*. Справка министра внутренних дел Эстонской ССР М. Крассмана... 4 июня 1953 // Тыну Таннберг. Политика Москвы в республиках Балтии в послевоенные годы (1944–1956). С. 361.

Берия поставил вопрос о его отставке<sup>49</sup>. От П. П. Кондакова, очевидно, требовались только обвинительные показания. Вот что он говорит о цитируемой справке Берия и что использует А. Р. Дюков в качестве доказательства того, что Берия сфальсифицировал данные: «В этой записке данные о репрессированных были увеличены, сюда включили *даже задерживаемых*»<sup>50</sup>. Странное обвинение: если в число репрессированных надо было бы включить «легализованных» антисоветских подпольщиков, то почему бы не считать таковыми тех, кто отпущен был из-под ареста, в том числе в рамках известной советской политики фактического «умиротворения», избирательного освобождения от полноты ответственности прибалтийских коллаборационистов Гитлера, столь основательно, на базе архивных данных, исследованной самим А. Р. Дюковым<sup>51</sup>.

Тем временем даже поверхностное обращение к текущим данным о числе убитых и арестованных участников антисоветского подполья в Литовской ССР обнаруживает гораздо более сложные источниковедческие задачи. Имея в виду, что, по «данным Берия», за 1944–1953 гг. в Литовской ССР было убито более 20 000 противников Советской власти и арестовано свыше 130 000 (то есть налицо республиканская пропорция 1 к 6), интересно проследить, как с ними соотносятся фрагментарные текущие данные столь же высокого, союзного, уровня отчётности. Так главы НКВД и НКГБ Литовской ССР докладывали 26 января 1945 года союзному наркому Берия, что с июля 1944 по 20 января 1945 — обоими ведомствами в республике было арестовано в целом — 22 327 человек<sup>52</sup>. Но ещё 5 января 1945 они же докладывали Берия, что общее число арестованных ими с июля 1944 по 1 января 1945 составляло 12 449 (в том числе в последнюю декаду декабря 1944 — 3 857), что даёт основания полагать, что при указанном темпе репрессий арест дополнительных около 10 000 за 20 дней января 1945 был вполне реальным, а не «завышенным». При этом число убитых

<sup>49</sup> Е. Ю. Зубкова. Прибалтика и Кремль. С. 322.

<sup>50</sup> А. Дюков. «Докладные Берия». С. 65.

<sup>51</sup> А. Дюков. Советские репрессии против прибалтийских коллаборационистов Гитлера: новые документы (1943–1946) // Русский Сборник: Исследования по истории России. Том V. М., 2008; А. Дюков. Милость к падшим: Советские репрессии против нацистских пособников в Прибалтике. М., 2009.

<sup>52</sup> Прибалтийский национализм в документах НКВД, МВД и МГБ СССР: Сборник документов / Гл. ред. Н. Ф. Самохвалов, ред. Ю. Н. Моруков. М., 2011. С. 183.

с июля 1944 по 1 января 1945 составило 2574 человек<sup>53</sup> (что в указанном периоде даёт пропорцию убитых и арестованных 1 к 4). Пропорция этих данных, доложенных подчинёнными Берия, совершенно не противоречит тому, что в тот период сам Берия докладывал И. В. Сталину 22 ноября 1945: с 1 июня до 1 ноября 1945 в Литовской ССР было убито 3925 участников подполья, арестовано и «захвачено живыми» (и очевидно при этом также арестовано) — 13830<sup>54</sup>. Интересно, что за тот же период «явилось с повинной бандитов, находившихся на нелегальном положении дезертиров и уклоняющихся от призыва в Красную Армию», — 33759 (!) человек<sup>55</sup>, каковые, несомненно, по существовавшему порядку должны были автоматически поступить на проверочно-фильтрационные пункты, в которых содержались на положении задержанных, иногда на довольно значительный срок, и часть которых после фильтрации подлежала аресту. В общем массиве эта часть нелегального сообщества, с которым боролся в Литовской ССР НКВД, оказывает существенное влияние на итоговые цифры деятельности НКВД.

Кроме того, учитывая условия всё ещё военного и первых месяцев послевоенного времени, в которых составлялись названные отчёты, с его большей ожесточённостью борьбы, готовности вооружённого противника к сопротивлению и ещё не полностью сформированной советской властной инфраструктурой, позволявшей выявлять и арестовывать сети сочувствующих и поддерживающих противника, а также членов семей, по практике того времени подпадающих под репрессии, можно с уверенностью заключить, что названная итоговая

<sup>53</sup> Прибалтийский национализм в документах НКВД, МВД и МГБ СССР. С. 177.

<sup>54</sup> Корректность приведённых цифр в целом подтверждается и параллельными союзными подсчётами. По сводным данным ГУББ НКВД СССР, за 1944–1946 годы в Литовской ССР было убито — 13560, всего арестовано — 24004, «легализовано» — 7055 (посчитано по: Прибалтийский национализм в документах НКВД, МВД и МГБ СССР. С. 121). Однако для данных ГУББ естественна ведомственная неполнота: за 1944 год ГУББ числит убитыми 1826 человек (с. 121), в то время как приведённые сводные данные НКВД и НКГБ Литовской ССР за этот же период дают, разумеется, больше: 2574. См. также доклад главы МВД СССР С. Н. Крутлову И. В. Сталину, Л. П. Берия, А. А. Жданову по итогам репрессий в Литовской ССР с января по 20 октября 1946: убито 1779, арестовано 6045 (Прибалтийский национализм в документах НКВД, МВД и МГБ СССР. С. 300).

<sup>55</sup> Прибалтийский национализм в документах НКВД, МВД и МГБ СССР. С. 238. Те же цифры Берия сообщил 15 ноября 1945 В. М. Молотову, Г. М. Маленкову и А. И. Микояну: С. 233.

пропорция убитых и арестованных в Литовской ССР (1 к 6) не является вымышленной, а число арестованных в итоговых «данных Берия» за 1944–1953 гг. заметно завышенным.

И неужели против этой реальной, многослойной и терминологически сложной статистической работы все упомянутые политические «показания» П. П. Кондакова и Снечкуса — могут считаться аргументами в пользу фальсификации Берия данных репрессий? В обвинениях, высказанных против Берия тогда, когда требовалось высказывать именно обвинения, не нашлось ничего более существенного, чем избирательность данных, поданных Берия с уровня глав МВД союзных республик, в которых эти министры сделали акцент на общем числе антисоветских элементов и просто подозреваемых, прошедших через карательную машину МВД, а не на тех, кто в итоге был признан антисоветским элементом и был за это наказан.

Здесь требовалось бы доказать, что (1) данные об арестованных / задержанных не имеют отношения к репрессивной политике Советской власти и (2) такое вполне условное «раздувание» цифр было предпринято министрами союзных республик по указанию Берия, то есть стало актом хотя бы условного препарирования.

А. Р. Дюков даёт понять, что причиной «завышенных» данных о числе репрессированных стало именно указание Берия министрам внутренних дел союзных республик Прибалтики и Украинской ССР включить в общее число репрессированных... *да, именно действительно всех репрессированных*, то есть арестованных, но отпущенных. Так что же? Считать ли это «завышением» — вопрос терминологии, то есть вопрос о том, являются ли «репрессией» любые задержания и аресты или таковыми следует считать только расстрелы, каторгу и «легализацию». Что же касается прямых указаний Берия министрам союзных республик, то и здесь всё выглядит не так очевидно, как следует из изложения А. Р. Дюкова. Вот он пишет: «Следует отметить, что П. Мешик был “человеком Берия”; его назначили на должность министра внутренних дел УССР в середине марта 1953 г. Поэтому не исключено, что данные о репрессиях, приведённые в его докладной, также не адекватны»<sup>56</sup>. Однако сравнение данных главы МВД УССР П. Мешика и Берия показывает, при полном совпадении чисел убитых и депортированных, разницу *в числе*

<sup>56</sup> А. Дюков. «Докладные Берия». С. 67, прим. 14.

*арестованных*: у П. Мешика их — 103 003<sup>57</sup>, у Берия — 134 467 (см. Таблицу 1). То есть верный бериевец П. Мешик почему-то «занижает»...

Судя по тому, что в массиве служебной переписки Берия в подавляющем большинстве случаев присутствует *инициативный документ* для комплекса соответствующих документов<sup>58</sup>, следы выискиваемой «фальсификации» должны быть легко обнаружимы. Вот только вся «злость» такой «фальсификации», похоже, проявляется лишь в *большем* числе арестованных: неужели Берия, ведя внутреннюю борьбу в Президиуме ЦК КПСС, так и сказал своим республиканским министрам: «принципиальней, внимательней (больше) пиши про число арестованных бандитов, их — я знаю — у тебя (должно быть) много»? Но и в этом есть сомнения. Ибо — если уж «завышать» данные о мощности антисоветского подполья в союзных республиках Прибалтики и на Западной Украине, — то было бы странно, если бы это «завышение» не коснулось базового показателя опасности этого подполья — числа убитых антисоветчиков в боях с силами НКВД-МВД. Выборочная проверка «данных Берия» обнаруживает, однако, не только отсутствие «завышения», но и напротив — занижение данных, причём данных о числе убитых. Как указано в «данных Берия», в 1944–1953 гг. в Латвийской ССР был убит 2 321 противник Советской власти. Но данные того же МВД заставляют думать, что убито их в Латвийской ССР было в эти годы *гораздо больше*. Только в 1944–1947 гг. (фактически в 1944–1946) были учтены 2 402 убитых<sup>59</sup>! Так вся пирамида аргументации в пользу того, что Берия фальсифицировал данные о широте антисоветского подполья в Прибалтике в сторону их «завышения», рушится.

В заключение — несколько слов о *политическом смысле* якобы «завышения», наличие которого постулировал А. Р. Дюков, но так и не раскрыл его фактическую природу, без чего вся логика его аргументации теряет исследовательский смысл. Почему А. Р. Дюков,

<sup>57</sup> Там же. С. 66.

<sup>58</sup> Архив новейшей истории России. Том IV: «Особая папка» Л. П. Берии: Из материалов Секретариата НКВД-МВД СССР 1946–1949 гг. Каталог документов / Отв. ред. М. А. Колеров. М., 1996.

<sup>59</sup> «Сведения о результатах борьбы с антисоветским националистическим подпольем и бандитизмом на территории западных областей Украинской и Белорусской ССР, Литовской, Латвийской и Эстонской ССР с 1944 года по январь 1947 г.» [15 февраля 1947]: Сводные таблицы и статистика / Публ. А. Гогуна // Русское прошлое. Кн. 11. СПб, 2010. С. 145.

зная приведённые признанными исследователями сведения о личной ангажированности Снечкуса и П. П. Кондакова в отношении усилий Берия в Прибалтике, считает возможным некритически ссылаться на их «свидетельства» при оценке статистического качества «данных Берия»? Почему А. Р. Дюков полагает, что в апреле–мае 1953 года полномостный, наряду с Маленковым и Хрущёвым, не удовлетворяясь согласием Хрущёва, Берия должен был кого-то в Президиуме ЦК дополнительно запугивать фальшивыми цифрами о положении именно в Прибалтике? Нет ответа. Предпринятую А. Р. Дюковым попытку подвергнуть ревизии сложные по истории их формализации, но глубоко эшелонированные в массиве ведомственной статистики, данные НКВД-МВД о масштабах репрессий в Прибалтике следует признать неудачной. И это — важный результат усилий последних 20 лет «архивной революции» в России и в том числе самого А. Р. Дюкова, когда на смену сочинениям западных, отечественных, а теперь и прибалтийских демагогов приходит критическое коллективное знание западных, отечественных, а теперь — и прибалтийских специалистов.

## БИБЛИОГРАФИЯ

### **Введение. Ландшафт истории и политического языка**

Впервые — в качестве первой части статьи: *М. А. Колеров*. «Историческая политика» в современной России: поиск институтов и языка // Русский Сборник: Исследования по истории России. Том XVI. М., 2014. Для настоящего издания дополнено.

### **Большой стиль Сталина: Gesamtkunstwerk als Industriepalast**

Резюме: Доклад на международной конференции «Наследие социализма: архитектура, урбанизм и искусство» в Архиве Сербии в Белграде 27–28 ноября 2013 года. Впервые в печати: *М. А. Колеров*. Большой стиль Сталина: Gesamtkunstwerk als Industriepalast // Логос. М., 2015. № 5. Резюме: Родина: Исторический журнал. М., 2015. № 1. Для настоящего издания дополнено.

### **Фихте, Лист, Витте, Сталин: изолированное государство, протекционизм, первоначальное социалистическое накопление и «социализм в одной стране»**

Резюме: *М. А. Колеров*. Протекционизм, «изолированное государство» и «социализм в одной стране»: от Фихте и Витте к Сталину // Родина. Исторический журнал. М., 2015. № 3.

### **Европейские предпосылки сталинизма: индустриализм, биополитика и тотальная война**

Впервые: *М. А. Колеров*. Европейские предпосылки сталинизма: индустриализм, биополитика и тотальная война // Величие и язвы Российской империи: Международный научный сборник к 50-летию О. Р. Айрапетова. М., 2012. Для настоящего издания дополнено.

**Историческая семантика «Отечественной войны» между общенациональным и этническим / партийным (1812–1914–1918–1941)**

Впервые в сокращении: М. А. Колеров. Историческая семантика «Отечественной войны» между общенациональным и этническим / партийным (1812–1914–1941) // Ключевские чтения-2016. Образ и смысл Победы в российской истории. Сб. научных трудов. М., 2017. Впервые полностью: Русский Сборник. Т. XXII: 1917 год. М., 2017.

**Этничность как инструмент: Литва в фокусе демографической борьбы XIX–XX вв.**

Впервые: М. А. Колеров. Этнодемографическая перспектива полонизации Литвы XIX–XX веков // Русский Сборник: Исследования по истории России. Т. XV: Польское восстание 1863 года. М., 2013. Для настоящего издания дополнено.

**Измерения массовых репрессий и «новый курс» Л. П. Берия в Советской Прибалтике**

Впервые: М. А. Колеров. О достоверности статистики сталинских репрессий и «новом курсе» Л. П. Берия в Прибалтике // Русский Сборник: Исследования по истории России. Т. X. М., 2011. Для настоящего издания дополнено.

## SELECTA

Серия гуманитарных исследований под редакцией М. А. Колерова (2003–2016)

- *О. Р. Айрапетов*. Генералы, либералы и предприниматели: Работа на фронт и на революцию. 1907–1917. (2003)
- *В. А. Козлов*. «Где Гитлер?» Второе расследование НКВД-МВД СССР обстоятельств исчезновения Адольфа Гитлера. 1945–1949. (2003)
- *В. И. Молчанов*. Различение и опыт: феноменология неагрессивного сознания. (2004)
- *Кирилл Шевченко*. Лужицкий вопрос и Чехословакия: 1945–1948. (2004)
- *Кирилл Шевченко*. Русины и Чехословакия: 1919–1939. К истории этнической инженерии. (2006)
- *Ирина Глинка*. Дальше — молчание...: Автобиографическая проза о жизни долгой и счастливой. 1933–2003. (2006)
- *И. В. Дубровский*. Институт и высказывание в конце Римской империи. (2009)
- *Вугар Н. Сеидов*. Архивы Бакинских нефтяных фирм (XIX — начало XX века). (2009)
- *Ю. А. Наумова*. Русская медицинская служба в Крымскую войну (1853–1856). (2010)
- *Ольга Эдельман*. Следствие по делу декабристов. (2010)
- *Горан Милорадович*. Карантин идей: Лагеря для изоляции «подозрительных лиц» в Королевстве сербов, хорватов и словенцев в 1919–1922 гг. (2010)
- *И. В. Дубровский*. Очерки социальной истории средних веков. (2010)
- *В. Б. Каширин*. Взятие горы Маковка: Неизвестная победа русских войск весной 1915 года. (2010)
- *Л. Ф. Кацис, М. П. Одесский*. «Славянская взаимность»: Модель и топика. Очерки. (2011)
- *К. В. Шевченко*. Славянская Атлантида: Карпатская Русь и русины (XIX — 1-я пол. XX в.). (2011)
- *А. В. Марчуков*. Украина в русском сознании. Николай Гоголь и его время. (2011)
- *Анна Резниченко*. О смыслах имён: Булгаков, Лосев, Флоренский, Франк et dii minores. (2012)
- Величие и язвы Российской империи: Международный научный сборник к 50-летию О. Р. Айрапетова / Сост. В. Б. Каширин. (2012)
- *Рачья Арзуманян*. Кромка Хаоса: сложное мышление и сеть: парадигма нелинейности и среда безопасности XXI века. (2012)
- *Яцек Вильчур*. На небо сразу не попасть. Львов, 1941–1943. Авторизованный пер. (2013)
- *Александр Гурин*. Рига в русском сознании. (2013)
- *Владимир Дегоев*. Непостижимая Чечня: Шейх-Мансур и его время (XVIII век). (2013)
- *Alexey Timofeev*. Splintered wind: Russians and the Second World War in Yugoslavia / Transl. by Vojin Majstorović // *Алексей Тимофеев*. Расколотый ветер: Русские и Вторая мировая война в Югославии / Пер. на англ. язык Воина Майсторовича. (2014)
- *Брюс У. Меннинг*. Пуля и штык. Армия Российской империи, 1861–1914 / Авторизованный пер. Н. Эдельмана под науч. ред. О. Р. Айрапетова. (2016)

**Модест Алексеевич Колеров**

# **СТАЛИН**

**ОТ ФИХТЕ К БЕРИЯ**

ОЧЕРКИ ПО ИСТОРИИ ЯЗЫКА  
СТАЛИНСКОГО КОММУНИЗМА

**SELESTA**

**серия гуманитарных исследований  
под редакцией М. А. Колерова**

**Модест Колеров**

Москва, Большой Татарский переулок, 3, кв. 16  
[www.ridr.ru](http://www.ridr.ru)

Подписано в печать 15.05.2017. Формат 60 × 90 <sup>1</sup>/<sub>16</sub>. Бумага офсетная.  
Печать офсетная. Усл. печ. л. 40. Тираж 500 экз. Заказ №

Отпечатано в полном соответствии с качеством предоставленного  
электронного оригинал-макета в ОАО «Ярославский полиграфкомбинат»  
150049, Ярославль, ул. Свободы, 97